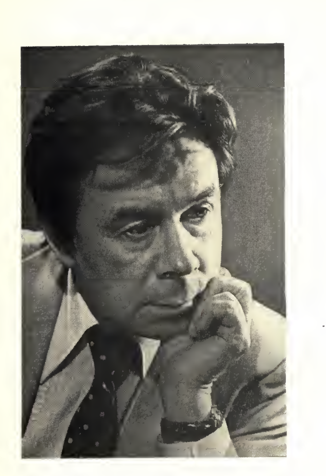
Николай
Шундик

БЕЛЫЙ
ШАМАН

Постановлением Совета Министров РСФСР писателю Шундику Николаю Елисеевичу за роман «Белый шаман» присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького 1979 года.



Николай
Шундик

БЕЛЫЙ ШАМАН

Роман

Москва
«Советская Россия»
1981

Р2
Ш96

Художник Л. Ф. Шканов

Ш $\frac{70302—140}{М\text{-}105(03)81}$ 87—81 4702010200

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Пойгин курил трубку и думал: почему он пригласил Ятчоля на охоту? Этот ли человек, с которым он всю жизнь враждовал, достоин его великодушия? Между тем от сочувствия к Ятчолю, от сострадания к нему даже, кажется, смягчался мороз; а он такой свирепый, что порой раскалывает с гулом ледяные громады морских торосов. Прокатится гул, и снова тишина — слышно, как стучит собственное сердце. Может, это не сердце, а Моржовая матерь стучит головой в ледяной покров моря? Как это важно — не ошибиться, не выстрелить в Моржовую матерь: иначе это будет похоже на выстрел в собственное сердце.

Она добра, очень добра, Моржовая матерь. Лед над морской пучиной для нее все равно что огромный бубен. Она без устали колотит головой в этот бубен, отгоняет злых духов — келет — от морского берега, тем самым оберегая людей от беды.

Пойгин вслушивается в подлунный мир, внемлет звукам ледяного бубна, в который колотит Моржовая матерь. Она добра, очень добра. И Пойгин добр. Не потому ли так усердны его собаки? Больше всех старается прирученный волк Линьлинь. Правда, похоже, волк все-таки обижен тем, что и сегодня не он ведет упряжку, но что поделаешь: стар уже, трудно ему, слепому, чуять самую верную дорогу в нагромождении вздыбленных льдов.

Стар Линьлинь. А кажется, не так давно это было: положил Пойгин перед волчонком печенку нерпы, почки ее и сердце — если набросится звереныш на печенку, это покажет, что у него такая непокорная волчья сущность, что его не приручит даже самый добрый человек; если выберет почки, значит, податлив будет на дружбу с человеком; если предпочтет сердце — совсем хорошо: есть надежда, что станет ручным, будь только сам человеком, имеющим сердце. Волчонок выбрал сердце, по крайней мере, так показалось Пойгину, хотя Ятчоль уверял, что звереныш впился зубами сначала в печенку.

Однако Пойгин решил в душе, что приручит волчонка, даже если бы оказался прав Ятчоль, и дал ему кличку Линьлинь — сердце.

Пойгину запомнилось еще с детства, как приручал волчонка его дед. «Ты думаешь, все дело в том, чтобы волка сделать добрым?— спрашивал он не однажды внука.— Это верно, однако еще не совсем. Больше всего истины в том, что человек при этом должен изгнать дикого зверя из самого себя».

О, сколько раз потом вспоминал Пойгин эти слова, когда приручал Линьлиня. Порой приходил в отчаяние. Но корил больше себя, чем волка, горько размышляя о том, как мало похож он, Пойгин, на деда, как малы в нем силы добра. Однако шло время, человек и зверь все заметней сближались именно потому, что проявляла себя сила добра человека, перед которой ничто устоять не может.

Ятчоль не верил, что волк покорится, ревниво наблюдал за каждым его шагом и взглядом; а когда убедился, что сосед добился своего, сказал ему: «Все дело в том, что ты шаман, имеешь тайную власть над всеми зверями, входишь в особый сговор с каждым из них, а это может пойти во вред людям».

Больше всего не выносил Ятчоль глаза Линьлиня. Уверял, что взгляд волка прокалывает ему душу, и вся она уже в дырах, и дальше терпеть он этого не может: душа не торбаса, не кухлянка, ее не залатаешь. Ятчоль писал заявления в сельсовет, в район, даже в округ, требуя, чтобы заставили Пойгина убить волка, ходил к врачам, просил заключение, что душа его действительно вся в дырах, пусть будет справка врачей, как он выражался, «вечественным доказательством». Но никто не хотел внимать жалобам Ятчоля, и тогда он во спасение собственной души выколол волку глаза. Произошло это в ту пору, когда Пойгина унесло далеко в море на льдине и уже не осталось никакой надежды, что он вернется. Ятчоль никому не сознавался, что совершил зло над волком, глубокомысленно рассуждал, что Линьлинь сам себе выколол глаза об острые выступы морских льдов: «Вы, конечно, все замечали, как он ходил к берегу и высматривал хозяина, вот, наверное, и разозлился на свои глаза, что они не способны увидеть его».

Имя Пойгина, которого скорее всего уже поглотила морская пучина, Ятчоль произносить боялся: тот, кто погиб в море, должен исчезнуть из памяти знавших его. Но Пойгин вернулся. Льдину, на которой он плавал, опять прибило к бе-

реговому припаю. Он, конечно, догадался, что ослепил волка именно Ятчоль; потом сосед и сам в этом признался. Но сегодня Пойгин не хотел думать о прошлом, сегодня он прощал даже это зло.

Нарта стремительно скользит по снежному насту, весело повизгивая полозьями. Пойгин любит как бы вступать в беседу со своей неумолчной нартой. «Поёшь?» — «Пою, пою».— «О чем так длинно поешь?» — «Обо всем, что у тебя на уме».— «А что сейчас у меня на уме?» — «Что ты добрый, готов забыть все обиды, готов все простить даже Ятчолю, не зря же вчера пригласил его на охоту».

Пойгин сочувствовал Ятчолю и потому, что у него ленивые собаки, и потому, что сам он ленив. Вот пришла пора подсчета, кто сколько добыл песцов, лисиц, кто сколько добыл нерпы, лахтаков, моржей; пришла пора громкого объявления охотничьей удачи и неудачи, пора объявления охотничьего почета и позора. И опять почет ему, Пойгину, а позор Ятчолю. И грызет сейчас Ятчоля зависть, зависть к Пойгину. А это, наверное, больно, когда тебя грызет голодной волчицей зависть, очень больно. И главное, ничем тут не поможешь человеку, особенно если он больше всего завидует именно тебе.

Вспомнилось Пойгину, какими глазами смотрел вчера Ятчоль, когда увидел на его груди Золотую Звезду. Оказались они один на один в доме Пойгина. Ятчоль протянул чуть дрожащую руку к звезде и тихо сказал, судорожно улыбаясь:

— Она будто Элькэп-енэр[1].

Это диво просто, какие он хорошие сказал слова, но почему он так противно улыбается?

Элькэп-енэр! Самая главная звезда, неподвижная, как вбитый в небо гвоздь. Самая главная звезда, вокруг которой вращается все сущее в мироздании.

— Как же это тебе, шаману, дали такую звезду? Героем назвали, великим охотником?

Сколько хрипоты в голосе Ятчоля, болезненной хрипоты, словно бы человек вдруг простудился. Не от холода — от зависти человек простудился. Может, не только от зависти? Всю жизнь он хотел сделать худо Пойгину, всю жизнь будто капканы ставил на него. Хитроумные капканы. Иные, случалось, защелкивались. Пойгин рвал капканы и шел дальше тропою, которую снова и снова пытался перебежать Ятчоль.

— Отчего это у тебя стал вдруг таким простуженным

[1] Элькэп-енэр — Полярная звезда, буквально — гвоздь-звезда *(чукот.)*.

голос?— удивился Пойгин, невольно прикрывая звезду на лацкане пиджака, в котором летал в Москву.

Ятчоль потрогал кадык, прокашлялся.

— От злости голос захрипел,— откровенно признался он.— Тебе почет, а мне что? Тебе Элькэп-енэр повесили на грудь, а в моем очаге пусто.

«Сейчас взаймы денег попросит»,— догадался Пойгин.

И действительно, Ятчоль скосил лисьи глазки и сказал:

— Дал бы взаймы пять рублей.

— Ты когда-нибудь долг отдавал?

— Зачем? Ты великий охотник. У тебя всегда в охоте удача...

— Тогда надо говорить: не дал бы взаймы, а подарил бы пять рублей.

— Можно и так.

— Но ты купишь не еду, а спирт.

— Приду домой, на цепь себя посажу, как собаку, чтобы за спиртом не уйти. Деньги жене отдам.

— Знаю я твою цепь,— печально сказал Пойгин и полез за деньгами.— На. Только, если напьешься, я снова с тобой что-нибудь шаманское сотворю...

— Я на тебя суд навлеку,— вяло погрозил Ятчоль, усаживаясь на корточки у стола.

Пойгин сел. Ятчоль приметил, как свободно он откинулся на спинку стула.

— Совсем как русский на стуле сидишь,— сказал он почему-то обиженно.

Пойгин вдруг тихо рассмеялся. Ятчоль протянул ему раскуренную трубку, спросил:

— Чем я тебя рассмешил?

— Да вспомнил, как ты старался быть похожим на других белолицых. Помнишь, прозвище тебе дали — Кэлитуль?[1]

Ятчоль глубоко затянулся, ответил бесстрастно:

— Давно было. Очень давно. Боялись тогда меня. Все боялись.— После долгого молчания с тяжким вздохом добавил:— Кроме тебя.

Да, то было давно, еще когда американские купцы беспрепятственно приплывали к чукотскому берегу. Ятчоль стал их пособником. Умел хитрый человек перенимать повадки чужеземных людей, не зря имя такое носил — Ятчоль — лиса. Купцы на клочках бумажек помечали палочкой, оставляющей след, имена охотников, с умыслом помечали: посмотришь

[1] Кэлитуль — клочок бумажки.

на тонкую бумажку — так себе, почти паутинка, чего бояться ее, а страшно! Все дело было в немоговорящих знаках (буквы и цифры называются): человек может забыть, сколько шкур купцу за чайник обещал, а бумажка помнит. Завел себе такие бумажки и Ятчоль. И палочку, след оставляющую, завел, ножом ее аккуратненько все время заострял. И уж как Ятчоль кичился своим превосходством над всеми, кто не понимал тайны немоговорящих знаков! А кто мог понимать в ту пору разговор по бумаге? Сам он мало-мальски знал только те знаки, которые числа обозначают, и еще несколько американских слов.

Был Ятчоль ровесником Пойгина. Да, молодыми были в ту пору, совсем молодыми. Ятчоль присадистый, толстый, будто медведь. Ненавидели его в стойбище и боялись. Но не все. Пойгин, во всяком случае, не боялся. Как встретится с Ятчолем, так сразу же люди вокруг них собираются: знают, чем это может кончиться. Часто Пойгин на бег, на стрельбу Ятчоля вызывал или вынуждал бороться. Был Пойгин быстрым, как олень; сухой, длинноногий, он не просто бежал — плыл по воздуху; Ятчоль сзади пыхтел, жир из себя вместе с пóтом вытапливал, так что собаки следы его облизывали. Не мог сладить Ятчоль с Пойгином.

Хранил свои бумажки Ятчоль у самого тела, в кармане, который он на чужеземный лад пришил к кухлянке изнутри. Как и все чукчи, Ятчоль тогда не носил рубашек: просто две кухлянки — одна мехом внутрь, вторая наружу.

Вызвал его как-то Пойгин на особенно дальний бег. А был Ятчоль заносчивым и почти никогда от вызова не уклонялся, надеясь рано или поздно одолеть Пойгина, надеялся и на этот раз и потому все силы вложил в тот бег, так что в конце упал и снег стал жрать, чтобы огонь в себе потушить. Хватанул раза два снегу, а потом как волк завыл: что поделаешь, опять побежденным оказался. Люди хохочут, а Пойгин стоит над своим соперником и смотрит на него с презрением. И вдруг Ятчоль, будто собакой укушенный, поднялся на колени, стал в кармане шарить. Глаза таращит как умалишенный и орет: «Кэлитуль! Пропали мои кэлитуль!» Вот после этого и дали ему смешное прозвище. Вытащил свои бумаги Ятчоль, а они от пота и жира, вытопленного из его тучного тела, в месиво превратились, немоговорящие знаки совсем расплылись и ни о чем больше не говорили, как ни разглядывай их. Люди хохочут, а Ятчоль на снегу бумаги свои расправляет; но разве расправишь их, если они тут же в тонкие, хрупкие ледышки превращаются, на кусочки разла-

мываются. Вскочил Ятчоль, начал топтать свои бумаги, за нож схватился.

— Ты виноват, что мои кэлитуль в негодность пришли!— заорал он.— Сам за всех моих должников теперь будешь долги отдавать!

Пойгин свой нож выхватил, а смех в себе унять не может. Стоит с ножом в руках, хохочет, и все люди хохочут, уж больно смешно получилось с теми бумажками. Ятчоль вдруг успокоился (видно, смех Пойгина его в чувство привел) и ушел прочь. С тех пор он Пойгина еще больше возненавидел. А тот по-прежнему на ловкость ему вызов посылал, требуя самого беспощадного поединка.

Но главный поединок начался у них потом. До сих пор, пожалуй, длится тот поединок. Впрочем, кажется, уже точно можно сказать, кто победил...

— Ты думаешь, если тебе прицепили на грудь Элькэп-енэр, ты взял верх?— словно угадав мысли Пойгина, полусонно спросил Ятчоль.— Все равно я докажу, что ты шаман.

Пойгин лукаво вскинул палец, на цыпочках подошел к двери, выглянул в соседнюю комнату, где жили его дочь и зять; убедившись, что там нет никого, сказал:

— Интересно все-таки, как будет выглядеть Элькэп-енэр на моей шаманской кухлянке...

Ятчоль от изумления не донес трубку до рта.

— Ты прицепишь Золотую Звезду к своей шаманской кухлянке?

Отворив шкаф, Пойгин вытащил мешок, сшитый из нерпичьих шкур, извлек из него свою шаманскую кухлянку, аккуратно расстелил на полу.

Это была кухлянка белого шамана. У черного шамана не такая, у черного — из самого хорошего меха, с дорогой опушкой, с украшениями. А эта вся потертая — каждый рубец на ней виден. С левой стороны на груди заплата, отдаленно своей формой напоминающая сердце. Да, это была не просто заплата, а знак жизненной силы, знак сердца. С левой стороны, через грудь вправо, до самого подола, шло много рубцов, обозначающих Песчаную реку[1]. На спине рубцами обозначен круг с лучами, идущими от него во все стороны. Это был знак жизненной силы главного светила — солнца. Вот и все. Ничего больше, никаких узоров, амулетов, никаких побрякушек.

Пойгин полюбовался знаком солнца, перевернул кухлянку, медленно провел рукой по Песчаной реке. Сколько раз при-

[1] Песчаная река — Млечный Путь.

ходилось ему выходить на «тропу волнения», когда человек обязан остаться один на один с мирозданием, с Песчаной рекой. О, это особая тропа! И далеко не каждый может ходить по ней. Человек, вступивший на «тропу волнения», самой судьбой предназначен держать ответ перед всем мирозданием за проступки людей, совершивших подлость и тем самым оскорбивших весь род человеческий.

— Сколько раз я выходил на «тропу волнения», чтобы ответить за твои скверные поступки? — спросил Пойгин, не в силах стерпеть ядовитую ухмылку на круглом, толстощеком лице Ятчоля.

— Два раза, — охотно отозвался Ятчоль. — Всего два. После того, как я ослепил твоего Линьлиня, и прошлым летом, когда сожрал сердце раненого гуся. И чего он тебе дался, гусь этот? Пусть бы лебедь или журавль. Я сам этих птиц еще с детства выше людей ставлю. А то гусь...

Да, то был обыкновенный серый гусь с покалеченным крылом. Ятчоль принес его домой, ухаживал за ним, как за человеком. Пригласил Пойгина на помощь. Лечили гуся вместе и чувствовали, как добрый дух примирения соединяет их в полном согласии: старики и есть старики, зачем им отягощать себя злопамятством? У старого человека сердце должно быть как сума пешехода, прошедшего длинный путь, — ничего лишнего. И совсем было примирил их этот несчастный гусь, как вдруг случилось то, что повергло Пойгина в горе и гнев.

Почему-то пропал сон у Ятчоля, а если и засыпал, то мучился в кошмарных сновидениях. Может, придумал все это — он всегда больным прикидывался, стонал, за поясницу хватался. И вот приснилось ему, что кто-то совет дал: съешь сердце гуся — и самый сладкий сон станет приходить к тебе, словно в небо на крыльях вознесешься.

И сотворил Ятчоль черное дело, свернул шею гусю, который вот-вот готов был подняться на крыло. Приходит как-то Пойгин, чтобы на гуся полюбоваться, крыло его больное полечить, а Ятчоль морду от жира птичьего вытирает и слова сказать не может — от икоты всем своим тучным телом сотрясается.

— Где гусь? — томимый недобрым предчувствием, спросил Пойгин.

— Улетел гусачок, — попробовал было слукавить Ятчоль, а сам зыркнул узенькими глазками в угол своего грязного дома, где лежали два гусиных крыла.

Пойгин схватил одно из крыльев — то самое, которое так старательно лечил, и уткнулся в него лицом. Потом медленно поднял голову, разглядывая Ятчоля каким-то странным неподвижным взглядом.

— Отведи глаза, не делай дыры в моей душе!— закричал Ятчоль.— Ну, свернул гусю голову, сердце сожрал. Что я — человека убил? Лечился от бессонницы, понимаешь?! Теперь в крепком сне, как младенец, буду в облаках летать...

— Мочиться ты будешь во сне, как младенец,— едва слышно сказал Пойгин.— Такое я тебе придумал наказание.

Ятчоль в панике даже забегал по дому, дробно перебирая коротенькими кривыми ножками, будто уже мучаясь от насланной на него напасти.

— Мне больно стало! К врачу побегу! В сельсовет заявлю...

— Заявляй,— мрачно сказал Пойгин, забрал гусиные крылья и ушел домой.

На другой день Ятчоль прибежал к Пойгину, красный от злости и конфуза: оказывается, он и вправду ночью обмочился.

— Ты наслал на меня порчу! Я мокрый. В милицию, прокурору напишу!— грозился Ятчоль.— Есть ве-ве-вече-ственное доказательство!

— В милицию? — как бы что-то прикидывая в уме, спокойно спросил Пойгин.— Прокурору? Может, лучше тебе написать в гочстрах?

— Зачем в гочстрах?— удивился Ятчоль, прекрасно знавший эту организацию, потому что одно время был агентом госстраха в поселке.— Гочстрах тогда хорошо, когда ногу отморозишь или руку прострелишь.

— А у тебя скоро детородный предмет отвалится,— переходя на полушепот, сказал Пойгин.

О, как это пророчески сказал Пойгин, с каким странным взглядом, с каким неумолимым жестом. У ошеломленного Ятчоля начисто исчез голос. Он лишь хватал ртом воздух и прикрывал руками причинное место, как бы защищаясь от вполне вероятной новой шаманской напасти. И наконец вскричал:

— Я убью тебя... дом подожгу! Я сегодня же... улечу в округ на самолете... на вертолете!.. В трубу твою пачку пороху... десять пачек брошу!

— Бросай,— тихо ответил Пойгин с отрешенным видом, погружаясь в то особенное состояние, когда ему больше всего на свете хотелось одиночества.

Ятчоль хлопнул дверью и побежал по поселку, оповещая

каждого, кто встречался на пути, что Пойгин снова собирается шаманить, чтобы наслать на него порчу. А Пойгин связал гусиные крылья, прикрепил их к поясу и медленно ушел из поселка в тундру.

Минул день, другой, Пойгин не появлялся. В поселке с тревогой говорили о том, что он вступил на «тропу волнения». Люди догадывались, что это значит. Совершилось черное дело. И вот теперь надо роду человеческому отвечать за то, что он, этот род, иногда порождает зло. По какому-то тайному предопределению жизнь выбирает ответчика, способного раскалить сердце горем или гневом настолько, что черное зло пережигается в нем до белой золы. Пойгин самой судьбой давно выбран таким ответчиком, искупителем. Несколько суток он не будет пить, есть, не будет спать. Он изнурит себя самой трудной и опасной дорогой. И все это время искупитель будет самозабвенно внушать самому мирозданию, что он без всякой пощады осуждает Скверного. Пусть знает даже самая дальняя звезда, что подлость не осталась безнаказанной, черное зло сгорит в раскаленной душе до белой золы. И потому пусть произойдет в недрах живых существ, именуемых людьми, очищение.

Скверный между тем будет все эти дни пребывать в стыде и тревоге, зная, что искупитель его вины подвергает себя опасности, что он может не только заболеть, но и умереть. И если искупитель не вернется и на седьмые сутки, мужчины всего селения отправятся на его поиски. Не разрешено будет в тот день одному лишь Скверному даже носа высунуть из своего жилья.

Скверным в тот раз был Ятчоль. Он старался убедить себя, что ему безразлично шаманство Пойгина, пусть ходит себе по тундре сколько ему угодно, пусть голодает, мучается от жажды, если так угодно его безумной голове; пытался даже высказывать эти мысли вслух, но его никто не слушал, все отворачивались от него, показывая откровенное презрение. Какое-то странное беспокойство вселилось в душу Ятчоля, он выкуривал трубку за трубкой, пинал собак, кричал на жену, даже сказал, что ему надоело жить и что он не сегодня-завтра застрелится, уйдет навсегда в Долину предков, к верхним людям. И когда было невмоготу оставаться в собственном доме, шел к соседям, долго и нудно оправдывался.

Ну что он такого страшного сделал? Съел сердце обыкновенного серого гусачишки. Просто Пойгин еще с детства не-

взлюбил его, Ятчоля, и всю жизнь досаждает ему своими шаманскими проделками, довел до того, что вынудил ночью, как мальчишку, обмочиться. А это уже нешуточное дело, это судом пахнет...

Между тем суд вершился над самим Ятчолем — суд совести, и он это прекрасно понимал; и чем отчаянней искал себе оправдания, тем откровеннее люди отвечали ему презрением.

Пойгин вернулся в поселок на седьмые сутки. Охотники все были на косе у Моржового мыса: выдался удачный день — подплыло к берегу стадо нерп. Сидел здесь на камнях и Ятчоль, зорко всматриваясь в морские волны, готовый в любое мгновение вскинуть карабин. Рядом с ним лежали три убитые нерпы. Он ревниво поглядывал на других охотников, боясь, как бы кто не обогнал его.

И вдруг Ятчоль кожей спины почувствовал, что позади него стоит Пойгин. «Да, это он,— с ужасом думал Ятчоль.— Это он, проклятый. Сейчас глянет мне в глаза, и я больше не попаду ни в одну нерпу».

Медленно обернулся Ятчоль, еще втайне надеясь, что Пойгин ему почудился. Но это был все-таки он, Пойгин. Ятчоль встал и попятился, едва не шагнув в полосу прибоя. А Пойгин наступал, не отводя от Ятчоля неподвижного взгляда. Был он завидного роста и, несмотря на почтенные годы, прям, с горделивой осанкой, позволявшей ему держать голову высоко и независимо. Изможденное лицо его было настолько непохожим на прежнее, что можно было подумать: это вовсе и не Пойгин, а его брат, что ли,— старше годами и, видимо, еще куда круче нравом, куда сильнее в своей непонятной власти над душой ближнего.

— Не смотри на меня шаманскими глазами!— срывая голос до визга, закричал Ятчоль.— И так у меня вся душа в дырах.

И все охотники, закинув карабины за спину, забыв о море, так щедро пославшем сегодня им нерпу, с суровыми лицами подходили к тому месту, где Пойгин с огромной высоты своего превосходства молча казнил Ятчоля взглядом.

Но вдруг глубоко запавшие глаза Пойгина помутились, и он стал падать, тщетно пытаясь за что-нибудь ухватиться. Один из самых старых охотников опустился на колени, внимательно всмотрелся в лицо Пойгина и сказал:

— Он погрузился в беспамятство от усталости и голода.

Кто-то брызнул водой в лицо Пойгина, и он снова открыл глаза, обвел всех неосмысленным взглядом, наконец узнал Ятчоля. Невероятным усилием заставил себя подняться.

Еще какое-то время он молча смотрел на Ятчоля, потом поднял лицо кверху, что-то с волнением высматривая в небе. И все охотники, и Ятчоль тоже, подняли лица к небу.

Из-за тучи, прямо на косу, медленно, словно виделось это во сне, плыл огромный косяк гусей.

— Это ты их накликал, проклятый шаман!— снова закричал Ятчоль.— А я не боюсь ни твоих гусей, ни тебя! Не боюсь!

И, видимо, чтобы доказать, что говорит правду, Ятчоль вскинул карабин, метясь в косяк перелетных птиц. Кто-то из охотников хотел вышибить карабин из рук Ятчоля.

— Промахнется,— тихо промолвил Пойгин, успокаивая охотников величавым жестом.— Промахнется в гуся, промахнется в нерпу.

Сказал, будто приговор произнес, и пошел в сторону поселка, порой приостанавливаясь, чтобы одолеть дурноту вновь подступающего обморока. Ятчоль бессильно опустил карабин, так и не выстрелив.

Когда Пойгин скрылся с глаз, охотники снова принялись за свое обычное дело. Каждый из них зорко всматривался в морские волны, на которых время от времени то там, то здесь возникал круглый блестящий шар нерпичьей головы, с большими, полными превеликого любопытства глазами. Раздавался выстрел, и нерпа на какое-то короткое время безжизненно всплывала. Охотник взмахивал над головой акыном[1]. Свистел тонкий линь из нерпичьей шкуры, и колотушка с крючками точно падала чуть дальше нерпы. Рывок удачливого охотника — и крючки впивались в нерпу, добыча теперь не уйдет на дно морское.

Ятчоль крепко стискивал в руках карабин и был полон ожесточения и желания доказать, что Пойгин не сумел отнять у него меткость глаза. Наконец прямо перед ним, совсем близко, вынырнула голова на редкость крупной нерпы, тут можно было попасть и с закрытыми глазами. Ятчоль вскинул карабин, выстрелил и обмер от страха: в нерпу он не попал.

Кто-то из охотников тихо рассмеялся, а потом громкий хохот многих людей прокатился над косою у Моржового мыса. Красный, сконфуженный, Ятчоль беспомощно смотрел в ту сторону, где еще недавно маячила спина Пойгина; казалось, если бы он увидел ее вновь — всадил бы пулю без колебаний.

---

[1] Акын — деревянная колотушка на длинном тонком лине, оснащенная острыми крючками.

Еще три раза стрелял Ятчоль в нерпу, и все мимо. Но вот вышло так, что раздалось сразу два выстрела в одну и ту же нерпу — Ятчоля и молодого охотника Тымнэро. Скорее всего попал Тымнэро, однако Ятчоль стал быстро раскручивать над головой акын, стараясь тем самым доказать, что Пойгин оказался неправ: он все-таки попал в нерпу. Тымнэро подмигивал товарищам, приглашая посмеяться над позором Ятчоля.

Однако нерпу мало убить, ее надо еще вовремя зацепить крючками акына. Ятчоль бросил акын мимо нерпы. И опять взрыв хохота прокатился над косой у Моржового мыса. Ятчоль быстро выбрал из воды длинный линь, торопясь сделать второй бросок. Свистнул линь, взмыла в воздух колотушка с крючками. И опять мимо.

Третьего броска Ятчоль сделать не успел — нерпа утонула.

— Я сегодня убью Пойгина!— в отчаянии погрозил Ятчоль.

— Промажешь!— насмешливо сказал Тымнэро и, вскинув карабин, метко поразил следующую нерпу.

...Вечером жена Ятчоля Мэмэль — Нерпа — у соседей сетовала на свою судьбу:

— Лучше бы ослепнуть, чтоб не видеть, как вселяется в мужа ярость медведя. Схватил карабин и кричит: посади меня на цепь, а то беда будет. Убью Пойгина — судить станут.

Слова эти передали Пойгину.

— Пойду посмотрю на него,— сказал Пойгин.— Если сам себя на цепь посадил, значит, боится встречи со мной. А я все-таки еще раз сегодня гляну ему в глаза...

И вот Пойгин вошел в дом Ятчоля. В первой комнате было пусто и грязно. Впрочем, у Ятчоля всегда было грязно — и сейчас, и тогда, когда жил в яранге. В дом перешел одним из первых и сразу же сделал его еще грязнее яранги. Пахнет пережженным нерпичьим жиром, кислыми шкурами, мочой. Печка полуразрушена, на полу немытая посуда.

В соседней комнате послышался пьяный голос Ятчоля:

— Мэмэль, где ты там? Дай мне еще бумаги и другой карандаш. Этот сломался.

Пойгин отворил дверь и увидел Ятчоля, сидевшего на полу. Он действительно посадил себя на цепь: один конец был замкнут тяжелым замком на спинке кровати, а второй обмотан вокруг шеи. На полу недопитая бутылка спирта, железная кружка и чайник, опрокинутый набок, из которого вылилась

вода. Тут же было разбросано несколько листков бумаги, вырванных из тетради. Сидя спиной к двери, Ятчоль безуспешно пытался отодрать от грязного пола один из бумажных листков.

— Мэмэль, где ты? Вытри пол. Дай мне еще бумаги и карандаш...

Длинная цепь гремела на полу. Ятчоль порой поправлял ее на шее, потом опять тянулся к листку. Почувствовав наконец, что за его спиной кто-то стоит, он повернулся и вдруг встал на четвереньки, буравя Пойгина налитыми кровью пьяными глазами:

— Ты зачем сюда пришел?

Пойгин не ответил. Скинув гремящую цепь с шеи, Ятчоль бросился к кровати, запустил руки под тюфяк, выхватил карабин.

— Убью!

— Промажешь,— спокойно ответил Пойгин.

Ятчоль вскинул карабин и долго целился, пьяно поводя стволом из стороны в сторону. Пойгин не двинулся с места. Ятчоль щелкнул незаряженным карабином, отомкнул затвор.

— Я знаю, ты догадался, что карабин пустой. Спрятала от меня Мэмэль все патроны. Но ничего!— Ятчоль поднял с пола карандаш, нацелился в Пойгина, будто копьем.— Вот чем я тебя убью. Заявление напишу... судить тебя надо за шаманство. Видишь, сколько листков бумаги испортил? Когда пьяный — буквы туда-сюда, будто козявки, разбегаются... Садись, спирту выпей. Ну, ну, садись, пока я добрый. Слышишь? Я мириться хочу...

Пойгин молчал, глядя на Ятчоля точно таким же взглядом запавших глаз, каким он привел его в смятение на берегу моря.

— Отвернись! Не смотри на меня так!— пьяно замахал Ятчоль руками.

2

Так покарал Пойгин прошлым летом Ятчоля. И вот, сидя на полу в доме своего судьи, Ятчоль, как всегда, грозился, что рано или поздно совершит свой суд над ним.

— В газету напишу большую заметку.— Ятчоль глубокомысленно поднял к потолку лицо, поудобнее скрещивая на полу ноги, беззвучно пошевелил губами, как бы подыскивая слова, чтобы разоблачить проступки Пойгина.— Начало будет

такое: шаман Пойгин нацепил на грудь себе Золотую Звезду и сказал, что снял с неба Элькэп-енэр...

— Кому я это сказал? Впрочем, мне нравится твоя глупость, на сказку похожа,— миролюбиво сказал Пойгин и, отцепив с лацкана пиджака Золотую Звезду, принялся прикалывать ее к груди своей шаманской кухлянки.— Тебе известно, что я не черный — я белый шаман. Поклоняюсь солнцу, а не светилу злых духов — луне...

— Да, да, солнцу, солнцу,— равнодушно подтвердил Ятчоль, снова набивая трубку.

— Не злые духи, а благожелательные ваиргит[1] стали навсегда моими помощниками.

— Слышал, слышал столько раз, сколько выкурил в своей жизни вот эту трубку.

— Послушай еще раз, чтобы не писал больше всяких писем, что я просто шаман. Я белый, понимаешь, белый шаман. Еще с детства я прогонял от себя всех злых духов. Я не заключал с ними никакого уговора, хотя они очень хотели, чтобы я...

— Слышал, слышал,— уже раздраженно прервал Ятчоль собеседника.— Столько раз слышал, сколько опускал штаны по нужде.

— Ну так вот, послушай в последний раз, если не хочешь, чтобы я еще раз тебя наказал.— Пойгин не принял от Ятчоля трубку, раскурил свою.— Может случиться... опустишь штаны, а снова поднять больше никогда не сможешь...

— Ты меня не запугивай. А то пойду по поселку с неподнятыми штанами, и тогда будет это вечественным доказательством твоего шаманства. Нарочно сделаю, чтобы все видели. Могут даже фотокарточку сделать, чтобы судьям в руки...

— Ты попробуй,— с мрачноватой усмешкой посоветовал Пойгин.

— И попробую.

Пойгин снял пиджак, надел кухлянку, потрогал приколотую к ней Золотую Звезду, стал перед зеркалом.

— Эге! Я еще жениться могу. Вот возьму и переманю к себе твою жену.

— Переманивай,— равнодушно махнул рукой Ятчоль.— Сколько раз ты ее переманивал в молодости.

— В молодости у меня своя жена была,— с неожиданной тоской сказал Пойгин и надолго умолк. И только после того,

[1] Ваиргит — множественное число от слова «ваиргин» — существо.

как до конца выкурил трубку, заговорил снова:— Ты вот главное запомни, чтобы правда в твоих заметках была. Взял я в свои вечные помощники трех благожелательных ваиргит. Солнечные лучи, вечное дыхание моря и свет Элькэп-енэр. И больше ничего. Лечил, успокаивал обиженных теплом и светом солнца, дыханием моря, со стороны которого никогда не приходят злые духи, а еще спокойствием и постоянством Элькэп-енэр. Вот и все. А ты никак не хотел и не хочешь этого понять. Сколько зла на меня напустил...

— Хватит меня укорять, надоело.— Ятчоль потрогал в кармане пятерку Пойгина, заторопился.— Пойду, пожалуй, а то магазин закроют.

— За спиртом? Ты же обещал на цепь себя посадить...

— Ты лучше в бубен свой как следует ударь, а то скучно мне, уйду.

— Капкан мне новый ставишь? — почему-то весело спросил Пойгин и пошел к шкафу, за которым прятал бубен.— Завтра телеграмму в район, в округ пошлешь: Пойгин надел звезду на шаманскую кухлянку и колотил в бубен. Что ж, пиши! Умные люди посмеются и спрячут телеграмму подальше.

— Э, если бы все мои письма собрать! — мечтательно воскликнул Ятчоль и яростно почесал затылок, как бы страдая оттого, что мечте его не сбыться.— Поздно я как следует разговору по бумаге научился, а то бы еще больше было писем. Если бы все собрал — целый год очаг топил бы...

Пойгин между тем вытащил огромный бубен, бережно провел по его ободу рукой. Не успел он отвязать пластинку из китового уса, чтобы ударить ею в бубен, как дверь отворилась и в комнату ввалился Чугунов, а за ним незнакомый человек с фотоаппаратом.

— Вот он, наш прославленный герой! — густым басом не просто сказал, а возвестил Чугунов.— Батюшки! В шкуру-то зачем обрядился, да еще звезду на нее нацепил?

Был Чугунов огромного роста, с косматой седой шевелюрой, человек уже в летах, но полный еще немалой физической силы и неукротимости духа.

— Ты что же так подвел меня, дорогой товарищ герой?

— Он не герой, он шаман! — злорадно хихикнув, сказал Ятчоль и наконец поднялся на ноги.

Щупленький суетливый человек в таких огромных очках, что можно было сказать: не очки находились при нем, а он при них, вдруг щелкнул фотоаппаратом, нацелив его на Пойгина.

— Нет, ты подожди, дорогой товарищ корреспондент,— запротестовал Чугунов.— Ты мне этот кадрик засвети. Да, да, на моих глазах засвети. Ты мне этого человека... А ты знаешь, какой он человек? Ты мне его под удар не ставь. Ему и так за всю жизнь немало крови попортили...

Пойгин засунул бубен за шкаф, снял кухлянку, осторожно сложил ее и спрятал вместе со звездою в нерпичий мешок.

— Нет, ты звезду прицепи к пиджаку!— радостно и вместе с тем властно потребовал Чугунов.— К тебе корреспондент из окружной газеты на самолете прилетел.

Пойгин ничего не ответил, только посмотрел прямо в глаза Чугунову долгим взглядом. Тот виновато потупился, махнул рукой и сказал безнадежным тоном:

— Э, ничего не выйдет! Я, брат, знаю его. Это, я тебе скажу, не просто характер, это...— Чугунов размашисто вычертил пальцем несколько кругов по восходящей спирали, подыскивая необходимое определение.— Это... нрав! Подход нужен...— Почти выхватил фотоаппарат у корреспондента.— Пленочку ты все-таки засвети...

— Вы что?— удивился корреспондент.

— Сказал, засвети — значит, засвети!— не слишком утруждая себя объяснениями, потребовал Чугунов. И вдруг схватил Ятчоля за шиворот.— А тебе все шаман мерещится? Да ведь ежели подсчитать, сколько Пойгин в копилку государства нашего внес... вы бы рты разинули! Особенно постарался он в годы войны! Может, эскадрилью самолетов на его валюту в бой пустили, может, целый танковый корпус! К тому же он был еще и вожаком артели. Записывай, корреспондент, записывай.

— Я с огромным удовольствием,— сказал корреспондент, с тонкой улыбкой постучав карандашом по блокноту.— Но у вас пока одни эмоции. Вас бы на магнитофон записать. Такой прекрасный монолог...

— Эх ты, монолог!— Чугунов хотел было схватить Пойгина за плечи, от всего сердца тряхануть в знак величайшего восхищения его личностью, однако остепенил себя и сказал, опять виновато потупившись:— Да разве дело только в том, дорогой ты мой, что ты столько пушнины сдал?.. У тебя же вот тут...— хотел постучать по груди Пойгина, но опять остепенил себя,— тут вот россыпи целые.

Гости так же неожиданно исчезли, как и появились. Ятчоль присел на стул и вдруг схватился за живот, делая вид, что ему страшно смешно.

— Вот если в газете ты появишься в шаманской кухлян-

ке, со звездой и бубном! Пойду попрошу очкастого, чтобы так и сделал.

— Иди, иди, проси,— безучастно ответил Пойгин.

— Пожалуй, я у него фотокарточки на нерпичьи шкуры выменяю. Пусть себе шапку сделает или куртку. Они любят куртки такие. Для меня же вещественное доказательство.

Пойгин промолчал, неподвижно глядя в одну точку.

— Дай мне еще пять рублей, я напьюсь и не пойду к очкастому. А если и пойду, он пьяного слушать не станет.

Пойгин медленно и тихо сказал:

— Поедем завтра в море к разводьям на нерпу. Я буду изгонять из тебя злого духа зависти.

И вот едут Пойгин и Ятчоль между морских торосов, едут прямо на свет Элькэп-енэр. Волна великодушия затопляет Пойгина. Ему хорошо знакомо это состояние. Когда он зовет своих ваиргит — доброжелательных духов,— чтобы кому-нибудь помочь, на него всегда накатывает чувство необычайной доброты, чувство великодушия. Лучится далекий свет Элькэп-енэр, вселяя ощущение постоянства, уверенности, душевного равновесия. По всему кольцу горизонта клубится фиолетовая мгла. Утренняя заря, встретившись с вечерней, породила подлунный мир. Солнце где-то там, далеко за рубежом печальной страны вечера. Но это неважно, придет срок, и оно снова появится в этом мире. Важно, что оно есть в самом мироздании и в памяти человека. А луна, как бы ни притворялась главным светилом, не вытеснит из памяти человека солнце. По крайней мере, из памяти Пойгина. Он добр сегодня, очень добр. И потому способен вернуть солнце даже в памяти тех, кому кажется, что оно уже никогда не появится. Он добр так же, как Моржовая матерь. Мечется в морской пучине Моржовая матерь, колотит головой в ледяной бубен, оберегая человека от зла. И Пойгин внемлет ей так, будто видит ее сквозь толщу льда. И он сегодня может кого угодно убедить, что Моржовая матерь стучит головой в лед прямо под его ногами, потому что люб он ей своей добротой.

Еще в детстве почувствовал в себе Пойгин приливы какой-то необычайной доброты. Даже самые угрюмые люди вдруг могли ответить улыбкой на его пристальный, по-детски бесконечно доверчивый взгляд, на его словно бы неприметный жест, выражающий уважение, приязнь, участливость. Это размягчало его душу, и потому приходилось ему порой глу-

боко страдать. Случалось, что мальчик погружался в странное состояние беспричинной тоски, чувства какой-то тяжкой вины. «Будешь белым шаманом, человеком, отвергающим луну,— говорили ему старики.— Думай о том. что такое солнце, в чем тайна леворучного и праворучного рассветов. Как можно меньше смотри на луну, тебе нельзя — сойдешь с ума. Ты из тех, у кого душа намного обширней, чем надо бы одному человеку. Если на тебя нападает тоска, значит, ты чувствуешь тоску другого человека, которому плохо. Если не знаешь, куда деваться от тягости непонятной вины, значит, за кого-то тебе очень стыдно, ты еще не знаешь, кто совершил подлость, но ты угадываешь, что роду человеческому причинил зло какой-то Скверный».

Да, такие вот мысли внушали Пойгину мудрые старики, с которыми он проводил времени куда больше, чем со своими сверстниками. Все чаще и чаще уходил он в тундру, в горы, в прибрежные скалы, в торосы морского ледяного припая; он постигал приметы природы, повадки животных, а память цепко удерживала многое из того, что слышал он об этом от стариков. Но еще больше привлекали его люди. Уверовав в то, что может помимо своей воли чувствовать горе или подлость других людей, он пытался понять характеры ближних, причины людских поступков. Бывало так, что неосторожное слово грубого человека, будто камень брошенное в кого-нибудь из слабых, несчастных, больше ранило Пойгина: обиженный лишь беспомощно улыбался обидчику, и, кажется, на том дело кончалось, а Пойгин иногда чувствовал себя так, будто у него с сердца содрали кожу. И чем взрослее становился он, тем точнее постигал, каков тот или другой человек, что от него ждать, чем можно укоротить подлеца и в какую пору следует прийти на помощь беззащитному, какое слово сказать ему, что посоветовать. Сама судьба почему-то выделила Пойгина; он должен был знать и уметь больше других, коли уж душа его, как уверяли старики, оказалась намного обширней, чем надо одному человеку.

Постепенно возникла у Пойгина особая дружба с птицами, голосами которых он научился владеть так же, как это умели они сами. Звери для него тоже таили столько сердечного и мудрого, что он в своих рассказах не мог не очеловечивать их. А главное, они будто бы и сами выделили среди людей именно его, чтобы раскрывать до конца перед человеком все свои тайны.

...Остановив упряжку, Пойгин дождался, когда подъедет Ятчоль.

— Фу, устал, ноги дрожат,— пожаловался Ятчоль, снимая на миг малахай с потной головы.— Твои собаки нарту тащат, как будто это и не нарта, а лисий хвост. А мои перед каждой льдинкой останавливаются, сам нарту ворочаю, чтобы через торосы перевалить.

Пойгин промолчал, задумчиво улыбаясь чему-то своему. Стер оголенной рукой иней с морды передовика упряжки Ятчоля, осмотрел его раненную острой льдинкой или жестким снегом лапу. Подошел к своей нарте, вытащил из нерпичьего мешка кожаный чулочек, надел на раненую лапу собаки.

Ятчоль невольно остановил взгляд на безглазом Линьлине. Волк сидел на задних лапах, понуро глядя незрячими глазами себе под ноги. Он казался задумчивым, усталым старпком, только трубки во рту не хватало. Ятчолю захотелось погладить его по голове, но он не решился: мучила совесть, а еще останавливал невольный страх; он всегда боялся Линьлиня — и когда тот был зрячим, и еще больше — когда ослепил его.

Пойгин проследил за взглядом Ятчоля, подошел к Линьлиню, опустился перед ним на колени. Волк с усилием поднял голову, словно старался разглядеть лицо хозяина. Пойгин осмотрел его лапы и сказал:

— Возле этой льдины поставим палатку, вскипятим чаю.

Ятчоль принялся суетливо устанавливать палатку. Прошло не так уж и много времени, как зашумел в палатке примус. Ятчоль прилег на оленью шкуру, сладко затянулся из трубки.

— Когда давали тебе в Москве звезду, наверное, пили крепкий плиточный чай, а то и кирпичный,— мечтательно предположил он.

— Не будем говорить о звезде.

— Почему?

— Потому что все еще не можешь избавиться от удивления, как это мне дали эту звезду...

— Чему же тут удивляться? Ты великий охотник. Правда, не все знают, что ты умеешь разговаривать со зверем... Ты умеешь заставить песцов совать лапу именно в твой капкан. Моржи плывут к тебе, как только ты начинаешь разговаривать с ними на их языке... Разве это не правда?

Пойгин глубоко затянулся из трубки, надолго зажмурил глаза. Наконец сказал:

— Неправда. Песцы боятся моих капканов, как и твоих. Просто я умею в нужном месте ставить капканы, хорошо налаживать, а главное, часто их проверяю...

— Нет, ты умеешь привораживать зверя...

— Я умею выслеживать его.

— Ну, ну, не будем спорить. Ты не хочешь, чтобы тебя считали шаманом.

— Я белый шаман. Это значит, что я просто человек. Я не вожу дружбы со злыми духами. Я не обманываю с их помощью зверя. Я делаю все то же самое, что и ты...

— Но почему у тебя всегда удача, а у меня капканы пустые?

— Они у тебя забиты снегом, ты их ставишь как попало и где попало...

— Ну, хорошо, пусть будет так,— обиженно и вместе с тем примирительно согласился Ятчоль.— Давай чай пить. Чайник вскипел.

Чай пили молча, наслаждаясь теплом, согревающим кровь. Пойгин иногда на какое-то время замирал, словно прислушиваясь к чему-то.

— Не кажется ли тебе, что лед может расколоться позади нас и разводье не позволит нам вернуться к берегу?— спросил Ятчоль, угадывая беспокойство Пойгина.

— Разводье впереди. Не бойся.

— А почему ты что-то предчувствуешь?

Пойгин ткнул рукой вниз и сказал не то шутя, не то серьезно:

— Моржовая матерь точно под нами. Головой колотит в лед.

Ятчоль почему-то испугался. Напряженно вытянув шею, он мгновение вслушивался, затем припал ухом к шкуре, отодвинул ее, прижался прямо ко льду.

— Булькает что-то. И кажется, пыхтит!— смятенно воскликнул он.— Однако ударов не слышу.

— Почему ты испугался?

— Я в прошлое лето убил трех моржат. Ты же знаешь, какие моржихи мстительные!

— Я никогда не убивал моржат.

— Вот-вот!— Ятчоль обличительно ткнул в Пойгина пальцем.— Ты это нарочно громко сказал, чтобы слышала Моржовая матерь. Она, конечно, тебе пошлет нерпу, а меня ластами своими в разводье утащит.

Пойгин сказал добродушно:

— Я попрошу Моржовую матерь быть доброй к тебе.

Только ты должен поклясться ей, что моржат больше убивать не будешь.

— Хорошо, я поклянусь. Только ты на смех меня в поселке не поднимай... Скажешь, Ятчоль тоже шаманил...

— Я знаю, что достойно осмеяния, а что нет. Вскипяти еще один чайник, а я пойду осмотрюсь. Залезу на самый высокий торос, может, увижу, где разводье.

Пойгин выбрался из палатки. Закинул за спину карабин, медленно пошел между ледяных торосов, выбирая самый большой и удобный для восхождения на его вершину. Пойгину все время хотелось обернуться, будто спина его видела нечто такое, что внушало тревогу. Может, умка[1] где-нибудь таится за торосом? Услышав скулеж Линьлиня, вернулся к собакам, отстегнул волка от потяга. Линьлинь отряхнул с себя иней, медленно пошел между торосами, низко опустив незрячую морду. Пойгин пошел вслед за ним.

— Я чувствую что-то живое,— сказал он вслух, обращаясь к волку.

Линьлинь сел на задние лапы, поднял морду, прислушался, потом потерся о ноги хозяина, устало зевнул.

— Э, я вижу, ты ничего не чувствуешь, если так зеваешь, будто спать собрался.

Линьлинь виновато поскулил, словно бы простонал постарчески.

— Ну-ну, не обижайся.— Пойгин погладил волка по голове.— Пойдем оглядимся. Пожалуй, можно будет залезть вон на тот большой торос.

Полная луна заливала зеленоватым светом ледяной мир скованного стужей моря. В северной стороне клубилась мгла: скорее всего это пар от разводья. Хорошо было бы всмотреться в ту сторону с вершины тороса.

Пойгин начал осторожно обходить с разных сторон облюбованную льдину и вдруг заметил полуразрушенный ледяной купол: похоже, что он образовался от дыхания моржа. Возникают ледяные купола и над лахтачьими отдушинами, но те гораздо меньше.

Иногда случается так, что моржовое стадо не успевает к зиме покинуть летние отмели, где питалось ракушками. Это бедствие для моржей: они не могут жить без открытой воды и без воздуха, не способны, как нерпы, прогрызать ледяной покров. Бывает, что моржи бьют головами в лед, пытаясь взломать его, и часто гибнут, так и не сумев пробиться

[1] Умка — белый медведь.

к воздуху. Умеют моржи и сверлить лед: переворачиваются вверх животом и отчаянно вращают головой, работая бивнями, как сверлами. И если им удается сотворить лунку, они оберегают ее, чтобы спастись от удушья. Ледяной колпак, образованный дыханием моржа, предохраняет отдушину от замерзания.

Кто же разрушил колпак моржовой отдушины? Пойгин ударил прикладом в замерзшую лунку, взломал непрочный лед. Значит, морж где-то еще здесь, отдушина свежая; сейчас он непременно выглянет, чтобы вдохнуть спасительный воздух. Пойгин отошел от лунки, рядом с ним присел на задние лапы Линьлинь. Чутко поводя носом, волк уставился незрячими глазами на отдушину.

И вот где-то в глубине взбурлила вода, и на поверхности показалась огромная голова моржа с выпученными глазами. Морж жадно втянул ноздрями воздух, запыхтел, кашлянул несколько раз и, наконец, зарычал как-то болезненно, будто жалуясь.

Пойгин инстинктивно вскинул карабин, затем медленно занес его за спину; нет, тут даже ствол нельзя направлять в сторону зверя, а не то чтобы позволить себе выстрелить. Морж сейчас беспомощен, единственная возможность остаться живым для него — сохранить отдушину. Колпак над ней мог лопнуть от мороза, но пройдет время — образуется новый, и морж дождется, когда расколются льдины, образуется разводье и придет спасение.

Воткнув бивни в лед, морж замер, закрыв глаза; измученный борьбой за жизнь, он, видимо, мгновенно уснул, надышавшись воздуха; подрагивали его губы, над которыми топорщились усы, из влажных ноздрей вырывалось мерное горячее дыхание.

Линьлинь раздраженно морщил нос, тихо ворчал. Пойгин смотрел на моржа, не смея шелохнуться. Наконец он осторожно положил карабин на снег, присел на его приклад, не отводя взгляда от спящего зверя. Нет, это не была Моржовая матерь, это был самец. А Моржовая матерь где-то колотит головой в лед, как в ледяной бубен. Как знать, быть может, она жива именно потому, что живет, глубоко дышит вот этот уснувший морж. И сейчас выстрелить в него — это все равно что выстрелить в Моржовую матерь или в собственное сердце.

Спит морж. И замер весь ледяной мир, вслушиваясь в его спокойное дыхание. Спит морж. Видит во сне два живых существа: один из них человек, второй — волк, в их власти его жизнь и смерть. Но, наверное, не уснул бы морж, ушел бы

опять под лед, если бы не шепнула ему Моржовая матерь, что он может не бояться этого человека. Пусть спит морж, пусть видит во сне моржат, пусть видит над плывущими льдинами яркое солнце. Пойгин будет сидеть здесь до тех пор, пока не выспится морж; ведь может случиться и такое: подкрадется извечный враг моржа умка, ударит лапой по голове и проломит ему череп; бывает, что умка берет кусок льдины и бросает ее с поразительной меткостью прямо в голову моржа. Пусть спит морж, пусть снятся ему бескрайние отмели, покрытые моллюсками.

Не один раз видел Пойгин, как спят моржи в открытой воде «стоя». И никогда у него не поднималась рука выстрелить в такого моржа. Когда морж спит на льду или на берегу, тогда можно стрелять — охота есть охота. Случалось, видел Пойгин, как моржиха, обхватив передними ластами моржонка, спит с ним «стоя»; как удивительно тогда она похожа на человеческую матерь, прижимающую к груди свое ненаглядное дитя.

Повадки моржих-матерей всегда поражали Пойгина. Он видел, как моржиха, родив детеныша, толкает его в воду и моет с удивительным проворством и нежностью. Он мог бесконечно долго, сидя в байдаре или на льдине, наблюдать, как сажают моржихи себе на спину или загривок моржат, а потом стряхивают их, терпеливо обучая детенышей плаванию. Кружат моржата вокруг матери, жалобно кричат, боясь воды; мать прижимает то одного, то другого к груди, опять усаживает их себе на загривок...

У моржихи четыре соска, и моржата часто сосут мать в воде. Это очень смешно: детеныш поворачивается вниз головой, обхватывает ластами живот стоящей торчком матери и жадно сосет, пока не приходит надобность глотнуть воздуха. Самое безопасное ложе для детеныша в общей громаде моржей — спина матери. Два года не отпускает моржиха от себя детеныша, оберегая его от всех опасностей. А их так много: гибнут моржата в толчее, когда стадо в панике покидает льдину или берег, почувствовав опасность; гибнут от умки, нападающего на беспомощных детенышей; гибнут от пуль и гарпунов охотников.

Для Пойгина было истинным горем видеть, как детеныш упорно не покидает убитую мать, иногда плывет с жалобным криком за байдарой, увозящей труп моржихи. Страшно было видеть, как плачет моржиха, не желая покидать убитого детеныша. Стеная и тяжко вздыхая, она жадно обнюхивает погибшего моржонка, толкает носом его к воде; и если ей

удается достичь воды, она обхватывает мертвого детеныша ластами, крепко прижимает к груди и не может с ним расстаться иногда по нескольку суток.

Пойгин еще смолоду был признанным вожаком охотничьих походов в море на моржа. Его отвага, умение угадать поведение не только отдельных зверей, но целого стада были известны всем. Однако не каждый понимал Пойгина, когда он впадал в угрюмое молчание, в глубокую тоску при большой охотничьей удаче. Возвращаясь с перегруженными байдарами с ледяных полей, Пойгин часто не отвечал на шутки, почти ничего не ел, не мог уснуть. Не всякому объяснял он, что его преследуют крики моржат, стоны их матерей, что ему мерещатся моржихи, совсем по-человечески прижимающие мертвых детенышей к груди. Пойгину, бывало, удивлялись, но никто не смел шутить над ним, мало того, старики предупреждали тех, кто уж слишком был озадачен его поведением: «Не вздумайте язвить его насмешкой, так создан он, что душа нелюдских существ способна вселяться в него, потому и принимают они его за своего. Видно, и он считает их для себя не чужими. Но рожден-то он все-таки человеком, охотником. И чему быть на охоте — тому быть. Однако потом, когда кончается охота, вы спокойно засыпаете, а к нему в сновидениях является Моржовая матерь с убитыми своими детьми и мучает его слезами и стонами. Так что остерегайтесь его обидеть». Слушать подобные увещевания стариков было жутковато, и охотники смотрели на Пойгина с изумлением, сочувствием и суеверным страхом.

Случалось, что Пойгин высаживался с охотниками на льдину и начинал свой разговор с невидимым под водой стадом моржей: фыркал, мычал, вздыхал, рычал, трубил. Проходило какое-то время, и начинали появляться у ледяного поля то там, то здесь моржовые головы. Звери с любопытством осматривались, упирались ластами в лед, высовывались посмелее, с усов их капала вода, лоснились влажные бугристые складки на шее, на спине, животе. Пойгин внимательно оглядывал стадо, примечал малолеток, беременных самок, уже родивших матерей. Указывал на моржей и тоном, не допускающим возражений, накладывал запрет на тех, кого брал под свою защиту. Гремели выстрелы, Пойгин сам стрелял, входя в охотничий азарт. Моржи, случалось, яростно защищали раненых. Матери закрывали собой детенышей, с ревом и стоном устремлялись к охотнику, занося для удара страшные бивни. Особенно опасны были схватки с моржами в воде. Здесь моржи проявляли удивительную ловкость. С ревом

и фырканьем они устремлялись к байдарам, ударяли в них головой, норовили зацепиться бивнями за борт, подплывали вверх животом под днище, распарывали его, как брюшину умки.

Пойгин всегда был вожаком в этих схватках с моржами. Никто лучше его не мог указать, где вынырнет особенно опасный морж, как поведет себя стадо. Команды Пойгина выполнялись беспрекословно. Особенно прославил его по всему побережью отчаянный поединок с моржом, которого охотники с суеверным страхом называют келючи.

Это морж-хищник. Нечасто встречаются с ним охотники. Большинство моржей питается двустворчатыми моллюсками на отмелях, изредка падалью. Может, лишь на несколько тысяч моржей приходится один келючи. Этого моржа смертельно боятся все тюлени, особенно нерпа, нападает он и на моржих с моржатами, разрывая их в клочья; боятся келючи и охотники, с ужасом рассказывая о его повадках самые неправдоподобные истории. Страшным словом «келючи» пугают детей, его произносят вполголоса, пугливо озираясь; в сказках и преданиях келючи самый отвратительный злодей-людоед.

«Келючи! Келючи! Келючи!» — передается порой из стойбища в стойбище. И плачут дети, провожая отцов в море, бледнеют лица женщин, в глазах их поселяются тоска и страх, когда они, предчувствуя беду, высматривают в море возвращающиеся с охоты байдары, воют собаки. «Келючи! Келючи! Келючи!» — шепчут охотники, сжимая до боли в пальцах карабины, чтобы успеть выстрелить в огромного моржа со свирепыми глазами и острыми бивнями. Келючи — морж-бродяга, изгнанный из стада. Бывают среди моржей и другие бродяги, но далеко не все из них келючи.

Пойгин мог безошибочно определить появление в стаде моржей келючи. Тревога моржового стада многое объясняла ему. Случалось, стадо спешно покидало облюбованное лежбище и в панике уходило от келючи, однако не так просто уйти от него; он снова и снова настигал стадо, и тогда моржам приходилось терпеть его.

Когда на льдину взбирается морж-бродяга, его не очень любезно пускают в самую гущу стада, каким бы могучим он ни был. Тычки бивнями с разных сторон встречают его, так что он часто покрывается множеством кровоточащих ран. Случается, что пришелец покорно останавливается, смиренно опускает голову, словно бы кланяясь, и только через некоторое время продвигается дальше, внутрь стада. Зоркий глаз

Пойгина улавливал особенности повадок каждого моржа, ему было понятно, кто из них признанный вожак, кто метит его заменить, кто пришелец, какой из детенышей осиротел, какая из моржих готова усыновить его. Медленно поворачивал он голову, разглядывая стадо; в глазах его вместе с охотничьим азартом светилась доброта; казалось, он страдал оттого, что не может заговорить с этими смышлеными существами на человеческом языке. Если бы они понимали его так, как он понимает их!

Однажды охотники заметили, как побледнело лицо Пойгина, вникавшего в поведение стада моржей. Всем стало ясно: появился келючи. Кое-кто в панике бросился к байдарам, вытащенным на лед. Пойгин властным жестом руки остановил перепуганных. «Келючи! Келючи! Келючи!» — доносился до него шепот пришедших в смятение охотников. Ятчоль, снова бросаясь к байдаре, прохрипел:

— Келючи! Скорее на берег!

Еще у нескольких охотников сдали нервы. Они столкнули легкую, из моржовых шкур байдару на воду.

— Назад! — приказал им Пойгин. — Келючи настигнет вас. Пропорет днище байдары. Я узнал его — это людоед.

Байдара уходила все дальше. Четыре охотника отчаянно гребли веслами, а Ятчоль, вскинув карабин, всматривался в морские волны, быстро поворачиваясь в разные стороны. Волна не позволяла ему твердо стоять на ногах, иногда он почти падал и снова вскакивал, тыча в разные стороны стволом карабина.

И вдруг крик донесся с байдары: «Келючи! Келючи! Келючи!» Ятчоль беспорядочно стрелял, байдара резко накренилась, зачерпнув воды, видимо, келючи ударил в нее головой.

— Назад! — закричал Пойгин. — Плывите назад!

Байдара развернулась, поплыла к ледяному полю. На веслах осталось двое. Ятчоль и еще два охотника схватились за копья, не давая келючи подплыть к байдаре.

Келючи распорол днище байдары уже у самого ледяного поля. Охотники успели выскочить на лед. Келючи зацепил байдару бивнями, поволок ее за собой, рыча и фыркая. Изломав бивнями деревянный остов, он превратил байдару в кучу моржовых шкур, медленно плывущую по воле волн. Ятчоль сел на лед, бормоча трясущимися губами: «О, келючи! Келючи! Проклятый келючи!» Если бы морж-людоед распорол днище байдары не рядом с ледяным полем — никто из пятерых не спасся бы...

Пойгин подошел к Ятчолю, с бесстрастным видом протянул ему свою трубку и сказал:

— Ты всегда поступаешь наперекор мне. Сегодня это могло бы кончиться очень скверно.

— Это ты наслал на меня келючи!— крикнул Ятчоль и тут же осекся под суровыми взглядами охотников.

Моржовое стадо расположилось на соседней льдине. Пойгин, вооружившись биноклем, долго наблюдал за поведением животных.

— Да, это келючи. Одноглазый людоед,— наконец сказал он угрюмо приумолкнувшим охотникам.— Тот самый, который в прошлом году перевернул три байдары охотников из стойбища Китовая челюсть. Погибло шестнадцать мужчин. Кто-то из них все-таки сумел копьем выколоть келючи глаз.

Эту историю знали все охотники, но Пойгина выслушали с таким потрясением, будто услышали ее впервые.

— Если мы не убьем келючи здесь,— сказал Пойгин, не отрывая бинокль от глаз,— он нас догонит в пути. Он будет стеречь байдары до самой зимы. Надо его убить. Сделаю это я...

Охотники смущенно, вместе с тем с надеждой переглянулись, а Ятчоль поднялся со льда и сказал, все еще трясясь от страха:

— Я пойду с тобой. Я его задушу собственными руками! Я выворочу бивни из его вонючей пасти!

Громкий хохот, казалось, удивил даже моржей. Улыбнулся и Пойгин.

— Здорово ты нас развеселил,— сказал он и снова поднес бинокль к глазам.

Плыло над горизонтом солнце. Вблизи море было зеленым, а вдали почти черным. Обширные поля дрейфующих льдов слепили лучистой белизной. С неумолчным криком кружили чайки. В мглистой дымке угадывался морской берег. Снежные вершины гор маячили вдали.

Пойгин, присев на нос одной из байдар, вытащенных на лед, не отрывал бинокль от глаз, наблюдая за келючи. Да, это был самый крупный зверь в стаде, огромный, с могучей грудью. Выбравшись на лед, он победно осмотрелся единственным глазом. Заметив, как трусливо уходит с его дороги вожак стада, засвистел, несколько раз утробно пролаял. Собравшись в комок, он бросил могучее тело вперед, подобрал под себя задние ласты для следующего броска. Стадо, сбиваясь в общую массу, уступало ему дорогу. Замешкалась моржиха с детенышем, ткнула моржонка несколько раз носом,

отодвигая в сторону, однако было уже поздно. Келючи в следующем броске настиг малыша и вогнал в него страшные бивни. Мать жалобно заревела.

Лицо Пойгина страдальчески передернулось. Опустив бинокль, он некоторое время что-то напряженно обдумывал. Охотники с потерянным видом топтались возле него, не решаясь вымолвить ни слова. Лаял и стонал смертельно раненный моржонок, ревела моржиха. Пойгин отомкнул затвор карабина, зачем-то заменил патроны, внимательно оглядывая каждый из них, и тихо сказал:

— Я иду на келючи.

Несколько охотников с решительным видом схватились за свои карабины.

— Нет, я один,— остановил их Пойгин.— Я не знаю, как поведет себя стадо. Моржи могут отомстить за келючи, если они признали его вожаком. Меня они не тронут...

— Это почему же тебя они не тронут?— по укоренившейся привычке не соглашаться с Пойгином заносчиво спросил Ятчоль.

Пойгин даже не глянул в его сторону. Еще раз проверив карабин, он первым схватился за байдару, чтобы столкнуть ее на воду.

Келючи, уже успевший ранить моржиху, внимательно следил и за поведением охотников. Едва заметив, что байдара оказалась на воде, он бросился к краю льдины, намереваясь нырнуть в море. Но он слишком далеко зашел на ледяное поле, упиваясь своей властью над стадом. Грузно переваливаясь, келючи порой приостанавливался, высоко поднимал голову, угрожающе рычал, будто бы изумляясь дерзости приближавшегося к нему охотника.

Пойгин, вскинув карабин, шел на келючи. Теперь он ничего не видел, кроме раскрытой его пасти, из которой торчали два огромных бивня. Надо было выстрелить именно в пасть келючи. Пуля, всаженная в его тушу, может застрять в толстом слое жира, раненый зверь станет намного опаснее. Шея, плечи, грудь его были покрыты, словно кольчугой, бородавчатыми наростами.

Только выстрел в пасть может оказаться смертельным. Какой келючи огромный! Надвигается горячей, сотрясаемой яростью тушей, закрывая собой полсвета. Даже солнце собою закрыл. Вот уже обдает Пойгина горячее, смрадное дыхание. И что же такое варилось в его бездонной утробе? Уж больно отдает смрадом. Как поведут себя другие моржи? Пусть, пусть разорвут Пойгина в клочья, но он должен прежде убить ке-

лючи... Только бы не отказал карабин. Только бы не дрогнула рука. Не подвели бы глаза, залитые горячим потом.

И Пойгин выстрелил прямо в пасть келючи. Зверь вскинул голову еще выше и вдруг с размаху воткнул бивни в лед. Из горла его вместо рыка вырывался хрип. Вот он еще раз поднял голову, раскрывая пасть. И Пойгин снова выстрелил. Келючи повалился на бок, обнажая брюшину. Пойгин послал последние пули ему в живот.

Бесконечно долго длилось мгновение, в которое Пойгин пытался постигнуть, что происходит со стадом. Заходилась в крике совсем низко над его головою чайка. Звенело в ушах. Плескалась волна о днище льдины. Размеренные удары волны казались неправдоподобно спокойными. Море совершало привычную работу, гнало льдину куда-то на север, все дальше от берега, с поверженным келючи и с человеком, который никак не мог прийти в себя и подумать о том, не грозит ли ему новая опасность: бывает, что стадо моржей бросается к погибшему вожаку, сталкивает в море и уносит, стараясь при этом отомстить виновникам его гибели. Если бы сейчас моржи двинулись со всех сторон к убитому келючи, они смяли бы дерзкого охотника.

Видимо, прошло еще одно бесконечно длинное мгновение, отмеченное новым истошным вскриком чайки, прежде чем Пойгин понял, что моржовое стадо не признало келючи за своего вожака. Это было спасение. Моржи, поднимая морды, фыркали, некоторые лаяли, но никто из них не выражал ярости. Мало того, было похоже, что вздох облегчения сотрясает все стадо. А поверженный келючи безжизненно лежал на льду, из пасти его лилась кровь.

Пойгин медленно стащил с себя малахай, вытер потное лицо и, забив магазин карабина патронами, побежал к байдаре. Только сейчас он понял, какую выдержал борьбу с собственным страхом. Ему было совестно, что он бежит,— надо было бы пройти неспешно под восхищенными и благодарными взглядами охотников, но страх, хотя и запоздало, все же настиг его. Вдруг показалось, что келючи ожил. Пойгин смятенно оглянулся, чувствуя, что на этот раз уже не смог бы сделать ни одного выстрела.

Но келючи был неподвижен. И Пойгин вдруг успокоился. Приостановившись, он еще раз вытер лицо малахаем и пошел к байдаре, потрясая в воздухе карабином, счастливо улыбаясь. Охотники в ответ радостно закричали, тоже потрясая карабинами.

Когда Пойгин перебрался на ледяное поле к охотникам,

моржовое стадо вдруг стало шумно покидать свою льдину. Ветер доносил с лежбища густые запахи, среди которых был особенно острым запах моржовой мочи. Раненая моржиха, стеная, толкала мертвого моржонка на край льдины. Несколько моржей, уже успевших нырнуть в воду, снова взобрались на льдину, принялись помогать раненой моржихе. Наконец, оставляя на льду темные пятна крови, и эти моржи скрылись под водой, унося мертвого моржонка. Один келючи остался лежать на льдине: моржи оставили его, явно чувствуя избавление.

Оставили на льдине келючи и охотники. Рассевшись по байдарам, они ушли к берегу, затаив в душах восторг перед своим вожаком Пойгином.

Давно ли это было? Давно и недавно. Линьлиня еще не было на свете. А ведь с тех пор он успел родиться, вырасти и состариться.

Сидит Линьлинь рядом с хозяином, смотрит незрячими глазами на морду спящего моржа. Он не видит его, но слышит мерные глубокие вздохп. Наверное, это добрый зверь, коль скоро хозяин не вскидывает карабин. Да, Линьлинь если пе видит, то всегда чувствует, когда хозяин вскидывает карабин.

Курит Пойгин трубку за трубкой, изумляясь тому, что запах табака не пугает моржа. Наверное, очень устал морж в борьбе за жизнь, а может, Моржовая матерь успела шепнуть ему, что этот человек для него не опасен. Колотит Моржовая матерь в ледяной бубен, и в такт ее ударам бьется сердце Пойгина. Выстрелить в этого спящего моржа — значит выстрелить в собственное сердце.

Почувствовав боль в пояснице, Пойгин встал и тихо сказал волку:

— Пойдем. Пусть спит морж. Пусть будет спокойна Моржовая матерь.

Ятчоль, разогревшись в палатке чаем, умудрился уснуть. Когда Пойгин пришел, он вскочил, едва пе перевернув примус с кипящим чайнпком, ошалело спросил:

— Что?! Лед треспул?!

— Не бойся. Лед не треснул,— успокоил его Пойгин.— До разводья еще далеко. Сейчас попьем чаю и поедем дальше.

Пойгин некоторое время колебался: рассказать ли Ятчолю о спящем в отдушине морже. Не выдержал, рассказал. Ятчоль потянулся к карабину:

— Убьем! Это же сразу пятнадцать, а то и двадцать нерп!

Пойгин, не ждавший ничего иного от Ятчоля, все-таки изумился:

— Но он же спит...

— Ты что, не стрелял в спящих моржей?

— Так то на лежбище. А этот, может быть, едва не задохнулся. Ну, убьем, а что дальше? Как ты его вытащишь из отдушины?

— Собак в него впряжем и вытащим.

Пойгин отпил несколько глотков горячего чая, сказал, не глядя на Ятчоля:

— Моржа я тебе не покажу.

— Я сам найду!

— Не найдешь. Я тебя не пущу.

— Как это ты меня не пустишь?— Всмотревшись в угрюмое лицо Пойгина, Ятчоль сдался.— Ну, ладно, тебя не переспоришь. Поедем к разводью, хватит нам и по нерпе.

На разводье больше повезло Ятчолю: ему удалось убить три довольно крупные нерпы, а Пойгин подстрелил всего лишь одну, к тому же на редкость маленькую.

— Вот я теперь над тобой посмеюсь!— хорохорился Ятчоль.— Звезду получил и сразу разучился охотиться. Все смеяться будут...

— Я рад, что у тебя сегодня удача,— миролюбиво ответил Пойгин.— Но где Линьлинь?

Пойгин окликнул волка, которого не стал впрягать в нарту после отдыха в палатке. Линьлинь не отозвался.

— Наверное, пошел отгрызать голову твоему моржу,— пошутил Ятчоль.

Пойгин шутку не принял. Недоброе предчувствие встревожило его. Вспомнилось, как несколько раз Линьлинь подходил к нему, когда он выжидал на краю разводья нерпу, вяло скулил, терся о ноги, даже пытался увести от разводья, хватая зубами за край кухлянки. «Может, хочет вернуть меня к моржу»,— думал Пойгин, пытаясь понять странное поведение волка. И вот Линьлинь исчез. Пойгин выкурил с озабоченным видом трубку и пошел по следу волка.

Нашел Пойгин Линьлиня мертвым в ледяной нише одного из огромных торосов. Волк лежал, положив морду на вытянутые лапы. Густой иней успел затянуть его незрячие глаза. Пойгин зачем-то сорвал с себя малахай, словно хотел отогреть и оживить волка, пал на колени. Провел оголенной рукой по лбу Линьлиня, по спине, слегка пошевелил. Линьлинь успел окаменеть на морозе.

2 Заказ 1401

Пойгин долго сидел на снегу с непокрытой головой, не чувствуя, как волосы его схватывает иней. В его памяти промчалась вся жизнь волка. Крепко зажмурив глаза, прижался лицом ко лбу Линьлиня, потом медленными движениями сбил со своей головы иней, надел малахай. Долго курил трубку, не спуская с волка скорбных глаз.

К разводью Пойгин подошел медленным, шаркающим шагом, вдруг почувствовав весь груз прожитых лет. «Надо и мне отправляться в Долину предков, к верхним людям»,— скорбно подумал он.

Ятчоль, премного довольный удачной охотой, встретил Пойгина прежней шуткой:

— Ну как, отгрыз Линьлинь голову моржу?

Пойгин медленно поднял на него бесконечно печальный взгляд, глубоко затянулся из трубки и сказал с отчужденным видом:

— Умер Линьлинь.

— Как умер?!— потрясенно спросил Ятчоль.

— От старости, видно.

Пойгину хотелось сказать, что старость Линьлиню приблизил Ятчоль, но он смолчал. По лицу Ятчоля он почувствовал, что ему страшно услышать эти слова.

— Поехали домой,— усталым голосом сказал Пойгин.

Всю дорогу он думал о Линьлине. На этот раз впереди ехал Ятчоль. Собаки Пойгина, словно поняв, что они навсегда расстались с Линьлинем, бежали неохотно, с понурым видом; то одна, то другая жалобно скулили. А Пойгин, выкуривая трубку за трубкой, говорил себе мысленно: «Да, пора, пора и мне уходить к верхним людям». Ему казалось, что появление моржа в отдушине было не случайным; в том, видимо, таилось какое-то предупреждение. Может, Моржовая матерь хотела его испытать перед последней перекочевкой, испытать на доброту, на великодушие? Все, все может быть.

Пойгин оглядывал нагромождение морских торосов, похожих на каких-то огромных зверей, собравшихся в бесчисленное стадо, и в ледяном безмолвии слышалось ему, как неистово колотила Моржовая матерь в ледяной бубен, как выл тоскливо, где-то далеко-далеко, уже не наяву, а в памяти его, верный Линьлинь.

3

Дома Пойгин слег. Дочери, зятю и внукам объяснил, что ему хотелось бы побыть одному в прощальных думах о Линь-

лиже; его растрогало, что все они искренне горевали о несчастном волке. Самый младший внук долго плакал, подходил к деду и спрашивал, точно ли он убедился, что Линьлинь умер, не уснул ли волк?

— Нет, не уснул. Вернее, уснул навсегда,— печально отвечал Пойгин.

Отказавшись от врача, Пойгин все больше расслаблял себя мыслями о желанной смерти, перебирал в памяти всю свою жизнь. Так происходило с ним не однажды.

Сколько уже прошло лет с тех пор, как он увидел впервые солнце на небе? Кажется, столько, сколько пальцев на руках и ногах у пяти человек. Ну, может, и не у пяти, на одного поменьше — все равно много. Пролетела жизнь, как стремительный пойгин — копье, запущенное чьей-то сильной рукой. Ну и дали же ему имя! Что, разве плохое? В молодости был он стремительным, как острое копье, стремительным на ногу, на слово, на решительный поступок. А теперь вот, как тот старый Линьлинь, видно, скоро уйдет к верхним людям.

Не все уходят вверх, в Долину предков, многие проваливаются после смерти в подземное обиталище умерших. Почему так бывает? Это ясно каждому, пожалуй, еще со времен первого творения: кто в своих делах, в своих словах не порождает зла, у кого душа всегда чисто пребывает в теле — тот уходит вверх, в солнечную Долину предков; а кто дружит со злыми духами, кто поклоняется их светилу — холодной луне, кто приносит зло другим людям — тот проваливается под землю, где живут особенно злые духи ивмэнтуны.

Ну а Пойгину, наверно, уготовано место в Долине предков среди верхних людей. Только он там не засидится, вернется на землю снова, оставив за себя в Долине предков свою тень. Нет, что бы там ни говорили, а здесь, на земле, человеку, вероятно, интересней и привычней, чем где бы то ни было.

Пойгин медленно оглядывает комнату, которую с такой заботой всегда содержала в чистоте его дочь Кэргына. У кровати, на вымытом до блеска полу, лежит распластанная шкура умки. Это шкура первого медведя, которого он, Пойгин, еще в молодости убил копьем. Именно после этого начали его называть Пойгином. До той поры его звали просто Нинкай — мальчик. Вот так, мальчик, и все тут. И лишь потом, когда он доказал, что становится мужчиной, получил достойное имя — Пойгин. А мог, мог бы на всю жизнь остаться Нинкаем — бывает и так: уже старый совсем человек, но зовут его мальчиком...

Лежит шкура умки у самой кровати, во многих местах

поистерлась. Что поделаешь, ей уже столько лет, сколько пальцев на руках и ногах, пожалуй, у трех человек. Может, и больше. Побежденный умка, расставаясь с жизнью на окровавленном льду, отдал свою ярость студеному морю и стал другом человека, одержавшего победу в честном поединке. С тех пор много ночей спал Пойгин на этой шкуре, как бы в обнимку с побежденным умкой. Пожалуй, он и умрет на этой шкуре.

Взгляд Пойгина скользит дальше, останавливается на стене, где висит глазастая железная коробка с тупым коротким рогом. Называется это кинокамера. Зять Пойгина, русский человек Антон, сам научился делать кино. И машина у него есть, показывающая кино, там вон, в соседней самой большой комнате, в углу стоит. Попросить бы Антона, чтобы направил глаз этой волшебной коробки прямо на него, на Пойгина, в тот миг, когда он будет перекочевывать в Долину предков. Потом, когда Пойгин опять вернется на землю, интересно будет ему посмотреть, как он уходил к верхним людям.

У Антона много уже сделано кино, в котором Пойгин ходит, разговаривает, смеется, из карабина стреляет, чай пьет, в бубен колотит. Умная голова придумала это кино, никакой шаман не способен на подобное колдовство. Вот Пойгин умрет, а живые люди будут видеть его. Следовало бы еще немножко подумать умной голове, чтобы несуществующего человека не только можно было видеть, но и рукой до него дотронуться, тело его живое почувствовать, мыслями обменяться, чайку вместе попить. Наверно, скоро дойдет и до этого чья-нибудь умная голова, жаль только, что до сих пор еще не додумалась и Пойгину придется оставить здесь, на земле, как бы только свою тень. Но ничего, к тому времени, когда он опять сюда вернется, у Антона новая волшебная коробка появится, может быть, точно такая, о какой сейчас Пойгин мечтает. Ну а в том, что Пойгин не слишком загостится в Долине предков, он нисколько не сомневается. Вернется, и вернется в самом лучшем виде.

Ведь по-всякому можно вернуться в этот мир: камнем, собакой, совой, оленем, а то еще хуже — просто мышиным пометом. Можно и человеком. Почему так по-разному? Да потому, что уж так заведено: лишь тот возвращается на землю опять человеком, кто и пребывал здесь именно человеком, кто не оскорблял род человеческий злом.

А сейчас, пожалуй, пора отправляться в дальний путь. Нелишне бы трубку в последний раз выкурить. Пойгин ша-

рит рукой по тумбочке, нащупывает трубку. Чуть не опрокинул чашку с остывшим чаем. Приподнялся, отпил глоток Остыл чай, надо бы горячего попросить. «Ты, может, еще и стаканчик спирта опорожнить не прочь?» — усмехаясь, спрашивает себя Пойгин.

И где же это Кэргына? Совсем забыла старика. Надо бы напоследок повнимательней посмотреть на ее живот: точно ли не сегодня-завтра родит?..

С родами дочери Пойгин связывал самые заветные свои надежды. Он верил, что, как говорят о том древние вести — сказания, хороший человек может вернуться из Долины предков в образе собственного внука или внучки; надо только умереть в то время, когда дочь или невестка станет тяжела внуком.

Пойгин уже три раза приурочивал свой уход к верхним людям именно к такой счастливой поре. Даже имена своим внукам (а он почему-то был уверен, что родятся именно мальчики) давал, как подсказывал древний обычай. Когда должен был родиться первый внук, Пойгин заранее дал ему имя Рочгилин — С другого берега. Именно под этим именем Пойгин должен был вновь пребывать в этом мире. Но он так и не успел в тот раз уйти к верхним людям. Рочгилину дали еще и русское имя Роман, или еще немножко иначе — Рома. Потом точно так же случилось и со вторым внуком, которому Пойгин заранее придумал имя Пыльченти — Вернувшийся обратно. Этого по-русски назвали Петей. Третьему внуку Пойгин дал имя Гирголь — Верхний. Но и тут не успел уйти вверх. Внук получил и русское имя Гриша.

Теперь вот дочь забеременела в четвертый раз. Пойгин, уверенный, что уж тут-то он сумеет вовремя убраться к верхним людям, мучительно придумывал новое имя из тех, которые обозначают вернувшегося из мира иного. Сначала остановился на имени Рэмкилин — Гость. Но гость, конечно, это хорошо, когда приходишь в чужой дом или в чужую ярангу, а Пойгин всю землю еще с тех пор, как ощутил, что пребывает в этом мире, считал своим родным обиталищем. Нет, уж пусть он и после возвращения из Долины предков будет здесь хозяином. Пожалуй, лучше всего назвать внука Рагтылин — Вернувшийся домой, а еще лучше так: Нуват — Возвращенный. Надо бы успеть сказать об этом дочери и зятю. Но где они?

— Кэргына, где ты?— со стоном позвал дочь умирающий Пойгин. Немножко смутился оттого, что голос прозвучал довольно громко: вряд ли пришло время начать великую пере-

кочевку. Дочь не отозвалась. Пойгин в приливе неожиданного гнева едва не вскочил на ноги. Но это уже совсем было бы неприлично для умирающего. Стараясь успокоиться, он почесал себя за ухом, полежал неподвижно с закрытыми глазами и опять позвал дочь, на сей раз тихим, скрипучим голосом. Чувствуя, что явно притворяется, опять рассердился.

А может, лучше было бы совсем не умирать? Ну что за нужда уходить в Долину предков, если потом все равно вернешься? Еще возвратишься какой-нибудь букашкой или волком, с ума сойдешь от тоски по человечьей жизни, оленей, пастухов перекусаешь. Интересно, знает ли такая букашка или волк, что когда-то были они людьми? Если знает — совсем плохо, можно от тоски взбеситься. Захочется по-человечески чайку крепкого попить, новости с других земель по радио послушать, а то и газетку почитать, и вдруг вспомнишь — волку такое нельзя, не полагается. И зачем только Пойгин разговору по бумаге научился? Неслыханное может произойти: увидит кто-нибудь (если доведется волком вернуться), как сидит зверюга матерый на камне и газетку почитывает — с ума любой крепкоголовый сойдет!

Представив себе волка, сидящего по-человечьи на кочке или камне с газетой в передних лапах, Пойгин беззвучно рассмеялся. «Это диво просто — волк с газетой,— мысленно приговаривал он.— Нет, ты только вообрази себе — волчище с газетой, разные новости читает. Хмыкает с удовольствием, а то и зубами от злости щелкает, если вести плохие».

И опять смех начал сотрясать Пойгина. Он даже за грудь схватился, чтобы остепенить себя. Наконец, успокоившись, посмотрел с тоской в тот угол комнаты, где стоял столик, на котором возвышалась аккуратная стопка газет.

Газеты читать для Пойгина стало любимым делом, жаль только, что разговору по бумаге на русском языке не научился; тут, наверно, все-таки русский разговор по-настоящему знать надо, а не так, как он — усвоил всего несколько слов.

Но ничего, есть газеты и на чукотском разговоре — окружная, районная. Пойгин эти газеты, порой пятилетней давности, от строчки до строчки с огромным удовольствием перечитывает: интересно вспомнить, как все было пять лет назад, прикинув в уме, что изменилось с тех пор.

Пойгин с трудом преодолел соблазн встать, подойти к столику с газетами. И зачем Кэргына так далеко поставила от кровати этот столик? Пойгин медленно завел руки под затылок, крепко сцепил пальцы, долго смотрел неподвижно в потолок. Одну ногу в колене согнул, вторую закинул на колено,

принялся покачивать ступней. «Ничего себе умирающий»,— подумал он, по-прежнему покачивая беззаботно ступней. Подумал об этом незлобиво, даже усмехнулся благодушно. Но улыбка тут же исчезла: его опять посетили мысли о жизни и смерти...

Ворочается Пойгин на шкуре умки, затащив ее на кровать, ворочается, томимый размышлениями о великой перекочевке в Долину предков.

В чем смысл существования тех, кто перекочевал туда? Продляют ли они свой род деторождением? Наверное, нет, если Долина предков заселяется лишь теми, кто приходит из мира земного. Выходит, что мужчины и женщины там скорей всего похожи на тех, которые не чувствуют ни тепла, ни холода, ни света, ни запаха. Выходит, что это не совсем жизнь, если ты не можешь порождать новую жизнь?

Вспомнилась Пойгину его первая жена Киунэ, чье имя означает — Неизвестная женщина. Печальными были эти воспоминания.

Женили Пойгина еще до его рождения. Таков был обычай: при желании роднящихся с той и с другой стороны могла возникнуть и такая семейная пара. Киунэ отдали замуж еще тогда, когда ее свекровь была лишь беременной ее мужем. И вот муж родился. Киунэ уже зрелой девушкой нянчила его, как родная мать. Маленький Пойгин, которого тогда просто звали Мальчиком, и воспринимал свою жену как вторую мать. Рос мальчик, становился юношей, а Киунэ старела. Пойгин и в мыслях не мог представить, что должен проявить себя по отношению к Киунэ как мужчина, хотя не однажды чувствовал по ночам, насколько горячи и трепетны руки этой всегда задумчивой, забитой женщины. О Пойгине стали говорить как о человеке, не способном проявить свое мужское начало. Юношу Пойгина это смущало, даже бесило...

А Киунэ, находясь замужем много лет, так и не стала женой. Однажды в метельную ночь она незаметно ушла из яранги. Ушла навсегда, не оставив после себя ни сына, ни дочери. Ее нашли уже летом в прибрежных скалах, когда сошли сугробы.

Пойгин долго чувствовал смутную вину перед Киунэ, часто видел ее во сне плачущей, сам плакал, пугая тех, кто спал с ним рядом. Иногда она являлась к нему в сновидениях с распущенными седыми волосами, такими длинными, что они постепенно превращались в космы взметенного пургою снега. Космы эти опутывали его, душили, валили на землю, волокли по камням, по ледяным торосам.

Впервые в ту пору Пойгин почувствовал, что ему предопределено какой-то силой выйти на «тропу волнения».

Но кто виноват в смерти Киунэ? Имеет ли право Пойгин выходить на «тропу волнения»? Ведь только честный человек имеет право выходить на такую тропу с чувством гнева и стыда за проступки скверных. Может, виноваты отец и мать Киунэ, потому что выдали ее замуж за человека, который еще не родился? Но тогда и его отец и мать виноваты не меньше. Может, сам он виноват?

Чем беспощаднее изнурял себя подобными вопросами Пойгин, тем больше приходил к выводу, что не имеет права выходить на «тропу волнения». Но Киунэ по-прежнему являлась ему в сновидениях, иногда мерещилась наяву, манила в снежную тундру.

И Пойгин ушел, чтобы остаться один на один с мирозданием, понять, что происходит в его душе; ушел, когда утренняя заря, загоревшись по всему кольцу горизонта, встречалась с зарей вечерней. Это была пора полярной ночи. Солнце уже долгое время находилось вне земного мира. И только лучи его зажигали сплошной круг, обозначая рубеж страны печального вечера, рожденного из быстротечного утра. Внизу, у самой земли, рубеж вечера наполнялся темно-красным холодным огнем; чуть повыше он переходил в огонь оранжевый, потом желтый и еще выше становился зеленым. А в самом зените, в густо-синей мгле, светилась Элькэп-енэр, вокруг которой вращается все сущее в мире.

Скрипит снег под ногами. Гулко лопается от стужи лед на реках и озерах. Пойгин сдирает иней с росомашьей опушки малахая, оглядывает небо, пытаясь определить свой путь в сторону горы молчаливых великанов.

Но что это? Именно в той стороне, куда предстояло идти Пойгину, сегодня всходит луна! Пойгин знает, что нельзя смотреть на луну, но какая-то сила не позволяет ему оторвать от нее взгляд. Пока она внизу, пока окружает ее мгла, у нее совершенно иной лик — темно-багровый, ее словно кто-то безобразно расплющил. Наверное, таков ее истинный лик, это она уже в вышине неба над земным миром пытается притвориться солнцем, становится такой же круглой, как истинное светило. Но все равно у нее ничего не получается: не хватает ей жизненной силы солнечного огня, и никого она не обманет. И нечего ее бояться, если все время помнить, что есть солнце.

И все-таки Пойгину становится жутко. Луна, светило злых духов, насылала на него страх, вызывала в нем чувство не-

уверенности, потерянности в бескрайнем мире, где нет рядом ни одной родной души, зато всюду подстерегают злые духи.

Пойгин споткнулся о заснеженную кочку, со страхом огляделся вокруг. Их было множество, высоких кочек, на которых торчала заиндевелая, жесткая трава. Вьюги вылизали в этом месте снег, и казалось, что здесь торчали головы бесчисленной толпы людей, закопанных по самые плечи в землю, вздыбились и поседели их волосы от ужаса. Возможно, что среди них где-нибудь торчит голова самого страшного земляного духа — Ивмэнтуна. Коварный этот дух нападает из укрытия, застигая свою жертву врасплох. У него черное лицо без тела, огромный рот с острыми кривыми зубами, выпученные красные глаза.

Пойгин внимательно оглядывает заиндевелые кочки, обходит стороной наиболее крупные, принимая их за страшного Ивмэнтуна. И почему эти проклятые духи так пристают к нему? Порой они являются Пойгину во сне целыми толпами, черные, как обгорелые головешки, пытаются заключить с ним согласие, чувствуя в нем человека, способного стать шаманом. Просыпаясь от кошмаров, Пойгин прогонял земляных духов заклятьями, говорил им, что ни за что не заключит с ними никакого шаманского согласия, что он обыкновенный человек и уж во всяком случае никогда не станет черным шаманом, человеком, покорным луне.

Нет, не злые духи, а благожелательные ваиргит станут его неизменными помощниками. Имя их — солнечные лучи, свет Элькэп-енэр и вечное дыхание моря. Вот и все. Он научится управлять этими благожелательными существами.

Почему он отвергает луну? Это ясно, как солнечный свет. Еще дед ему говорил, что, если ты сыт не зверем, добытым тобой, а горем, беззащитностью ближних,— тебе не вынести солнца, все увидят скверность твою, и тебе захочется упрятаться в лживый свет луны. Да, возможно, тебя будут называть гаймичилином[1], но ты будешь скуден, как скуден свет луны, и неутолимый голод злобы будет жрать тебя, как ты жрешь зверя, добытого не тобою. Пойгин успел уже убедиться, насколько был прав его дед. Тот, кто расставляет капканы вымогательства,— сам сидит в капкане собственной злобы и жадности. Не таков ли отец Ятчоля, да и сам Ятчоль? Они покупают муку, чай, табак, винчестеры у чужеземцев, а потом отдают их охотникам в долг. Ятчоль молод еще, а хитрости и жадности в нем едва ли не больше, чем у его отца. Тот

[1] Гаймичилин — богач.

еще может иногда сжалиться над голодным, а Ятчоль ни за что; подстерегает жертву, как росомаха, выжидая страшную пору голода, когда человек за горсть муки, за кусок мяса готов отдать все, только бы выжить. И если выживает, то потом жалеет, что не умер, не зная, как вырваться из капканов Ятчоля. Да, жаден Ятчоль и неумолим. Живот его всегда набит до отказа, однако голод все равно светится в его глазах, голод алчности. А уж как он старается прикинуться добрым, чуть ли не спасителем всех ближних, но доброта его настолько же обманчива, насколько обманчив свет луны.

Нет, Пойгин не будет просто прикидываться добрым, он такой и есть. Он не будет прятаться в лживый свет луны. Отец его спасал как мог в пору голода обреченных и сам оказался обреченным на смерть. И дед Пойгина был таким же, сам голодал, но отдавал последний кусок нерпы соседям; зато в глазах его никогда не светился голод алчности, он не пожирал самого себя жадностью, и ему дышалось легко и свободно.

Пойгин глубоко вдыхает морозный воздух, чувствуя, как и ему от светлых мыслей дышится легко и свободно. Но вот в памяти опять встает Киунэ, и печаль возвращается к нему.

Жжет морозом лицо, заходится дыхание от стужи, и не умолкает звон в ушах, наверное, оттого, что даже сам воздух остекленел и тихо звенит, погружая в немоту все живое. Вот и Пойгин чувствует, как онемела его душа от тоски холода. Впрочем, пожалуй, все-таки больше от тоски по Киунэ. Можно подумать, что скорбь и тоска Пойгина, вступившего на «тропу волнения», как бы превратились в лютую стужу, в великое, беспредельное молчание, в немоту застывших в глубоких скорбных думах звезд; сколько их в этом синем-синем небе, и все это глаза вселенной. Никуда не скроешься от них, не утаишь ни одной мысли. И зачем честному человеку утаивать свои мысли? Бесчестный — тот пусть прячется, пусть ищет у луны защиты — все равно окажется на виду у мироздания, как на ладони.

В той стороне, где находилась гора со стойбищем молчаливых великанов, вдруг вспыхнули огни йынэттэт — северного сияния. Сколько раз на своем веку видел Пойгин эти огни, и всегда они вызывали в нем чувство изумления и невольного страха: ведь это не что иное, как движение душ мертвецов, играющих в мяч, которым служит им голова моржа. Красный цвет — это души умерших от ножа, от пули; синий, зеленый — от удушья; белый — от заразных болезней.

Не отрывая взгляда от мерцающих огней многоцветной арки, Пойгин все ускоряет и ускоряет шаг. Вот он уже бежит легко и свободно, будто олень; иней от частого горячего дыхания оседает наледью на опушке его малахая...

Наконец пришла пора, когда Пойгин стал подниматься по горному распадку в стойбище молчаливых великанов. Он долго смотрел на вершину горы, на которой застыли еще со дня первого творения пэркат — изначальные создания творца. Как говорят древние вести, поторопился творец создать первых людей, зверей, птиц — слишком безобразными вышли; рассердившись, он превратил всех в камни, однако душу живую в них оставил.

Медленно поднимался Пойгин вверх, осторожно входя в стойбище молчаливых великанов, словно боялся нарушить их вечные думы. При звездном свете искрился иней на огромных каменных столбах. Вон тот, которого Пойгин запомнил еще с детства,— самый главный в этом молчаливом стойбище. Чуть подавшись спиной назад, он устремил взор своего каменного лика вверх, неизменно глядя на Элькэп-енэр. Что он там видит? По преданию, под Элькэп-енэр есть дыра, через которую можно разглядеть иные миры, а сверхъестественные существа даже могут проникнуть в ту дыру. Возможно, главный великан этого стойбища мечтает подняться к Элькэп-енэр, проникнуть в иной мир, где он наконец одолеет проклятую тяжесть неизреченности... Да, кажется, что ему еще со дня первого творения очень хочется заговорить, всей своей громадой прийти в движение,— а никак не может.

Пойгин, всегда гонимый неясной тоской — даже в детстве,— приходил сюда, очень сочувствовал этому великану, подолгу стоял перед ним, чтобы все-таки уловить его тайную жизнь, что-нибудь подсказать ему, хоть чем-нибудь помочь. Порой ему казалось, что на каменном лике великана, искаженном какой-то жестокой мукой, вдруг разглаживались складки, словно от мимолетной улыбки. И это было огромной радостью для Пойгина. Он шумно вздыхал, выходя из оцепенения, шел дальше по стойбищу молчаливых великанов, участливо разглядывая каждого из них.

Да, он, Пойгин, пришел к каменным великанам с горем: его мучает смерть несчастной женщины Киунэ. Ему непонятно, имеет ли он право выйти на «тропу волнения», чтобы наказать зло, которое привело Киунэ к гибели? Может, сегодня он все-таки уже прошел по этой тропе? Но как бы ни было, он готов поклясться перед каждым молчаливым великаном, что никогда не станет черным шаманом. А станет ли

белым — это зависит от того, насколько много он сможет сделать людям добра. Пожалуй, его больше всего может сегодня понять вон тот сгорбленный старец, который наклонился к земле, будто бы именно затем, чтобы легче было внимать гостю.

Пойгин подошел к старцу, осторожно прикоснулся оголенными руками к его заиндевелому каменному телу. Ощутив ожог раскаленного морозом камня, Пойгин не вдруг оторвал руку. Старец смотрел на него сверху вниз с молчаливым, мудрым вниманием; и когда уже было немыслимо терпеть ожог раскаленного стужей камня, Пойгин втянул руки в рукава кухлянки.

— Вот так, дедушка, не пойму, что со мной происходит,— тихо сказал он и огляделся, испугавшись собственного голоса, как-то странно прозвучавшего в ледяном безмолвии заиндевелых каменных громад.— Вышел ли я на «тропу волнения»? Победил ли я страх перед луной? Стану ли я белым шаманом?

Пойгин долго не отрывал взгляда от молчаливого старца: если хоть чуть-чуть оживет его каменный лик, если хоть тень проскользнет по нему, то этим самым он скажет: да, ты можешь выходить на «тропу волнения», ты становишься белым шаманом.

Стынут ноги, холод забирается под кухлянку, а Пойгин смотрит в лицо старца, ждет ответа. И вот оно — случилось! Старец мало того что, кажется, разгладил морщинистое лицо в улыбке — он кивнул головой! Да, да, это так, Пойгин ясно видел!

Вскинув руки, Пойгин хотел вскрикнуть от восторга, но воздержался: не надо нарушать покой молчаливых великанов, пусть думают свою вечную думу. Пожалуй, лучше дать им клятву, что никогда он не станет черным шаманом, никогда не станет просто скверным человеком. Да, надо тихо, совсем тихо дать им клятву...

Бросив сумрачный взгляд на луну, Пойгин произнес вполголоса:

— Я человек, непокорный луне. Я клянусь, что не приму в душу злых духов, не сделаю их своими пособниками. Я обещаю защищать обиженных, голодных, слабых, но честных. И пусть Ятчоль, имеющий столько винчестеров, сколько пальцев на одной руке, нацелит их все в меня — я не испугаюсь и не отрекусь от солнца. Да, я человек, непокорный луне. Я сказал все.

И опять Пойгину показалось, что старец кивнул головой: значит, он поверил клятве. Пойгин глубоко вздохнул, еще

раз оглядел стойбище каменных великанов каким-то уже совсем иным взглядом, словно бы обращенным внутрь себя, и медленно пошел вниз. На душе у него было легко и даже торжественно. Он верил, что молчаливые великаны угадали в нем душу белого шамана...

4

Вздыхает, о чем-то шепчет Пойгин, ворочаясь на шкуре умки, идет все дальше и дальше по длинной тропе прожитой жизни. В памяти ожила вторая его жена Кайтиркичейвына — Маленькое ходячее солнышко, или коротко просто Кайти. Излечила Пойгина от страшных снов, от гнета невольной вины перед Киунз именно она, белозубая озорница Кайти. Поначалу Пойгин ее не замечал в стойбище, потом стал удивляться настойчивому желанию девушки развеселить его. Все чаще и чаще ловил Пойгин на себе ее взгляды, порой тревожные, тоскливые, но всегда удивительно нежные.

Однажды отец девушки счел нужным предупредить Пойгина, чтобы он и думать не смел о его дочери. Однако это предупреждение подействовало на него совсем не так, как хотел отец Кайти. Пойгин словно стряхнул с себя остатки тяжкого сна и разглядел девушку проясненным взглядом окончательно проснувшегося человека. И то, что увидел он, оказалось таким солнечно-ярким, теплым, что он как бы выпрямился, помолодел, заулыбался.

Вот и сейчас он заулыбался так, будто стояла белозубая девушка с ним рядом. Нет уже давно Кайти, ушла к верхним людям. Может, и появится она снова в этом мире, если дочь родит внучку. А так она живет пока в думах Пойгина. И это диво — как она вспомнилась, словно не в памяти родилась, вместилище которой голова, а в самой крови, и стоит теперь рядом.

«Ого, вот это умирающий!» — мысленно воскликнул Пойгин, не зная, снова ли смеяться ему или ругать себя как самого легкомысленного человека, достойного беспощадного осуждения. Пожалуй, даже злые духи, которые, вероятно, уже расставили сети, чтобы поймать душу умирающего, корчатся от хохота, понимая, что с ним происходит.

— Га, ата-ата-ата!— воскликнул Пойгин, вскидывая руки вверх ладонями.— Га, якай-якай-якай! Га, кыш-кыш-кыш!

Это были восклицания, отгоняющие злых духов. Хорошо бы еще в бубен как следует ударить. Пойгин сделал движение рукой, будто ударил в спасительный бубен, но это не помогло.

В памяти Пойгина стояла Кайти. Вспоминалась именно такой, какой он впервые познал ее как женщину.

Шли они в тундру летней порой за горный перевал, убегая из родного стойбища, в котором родители Кайти в последнее время не позволяли им обмениваться даже взглядом: не нравилось им то, что Пойгин уже был женат, успел овдоветь и годами немало превосходил их любимую дочь. Тогда Пойгин и Кайти решили уйти за горный перевал, чтобы наняться в пастухи к какому-нибудь чавчыв[1], у которого много оленей. Пересекли благополучно прибрежную долину, опасаясь погони, вошли в горный распадок; чем выше поднимались, тем чаще останавливались, посматривая друг на друга затуманенными глазами. Несколько раз позволил себе Пойгин вплотную приблизить свое лицо к лицу девушки; он чувствовал запах ее разгоряченного тела, и это расслабляло, пьянило его, клонило к земле. И он в самом деле опрокидывался на спину, смотрел на девушку снизу вверх, не стараясь скрыть того, что с ним происходит. Девушка настороженно выпрямлялась, вглядываясь в мир с чуткостью пугливой, дикой оленихи, хотя было видно, что ей очень хотелось опуститься на колени рядом с мужчиной. У самой вершины перевала, когда Пойгин опять опрокинулся на спину, она не выдержала, осторожно опустилась рядом с ним на колени, склонила свое лицо над его лицом. Потом положила руки ему на грудь, помедлила и встала, резко оттолкнувшись. Поднялся и Пойгин.

На вершине перевала они снова остановились. Долго разглядывали раскинувшуюся перед ними речную долину изумленными глазами, будто были пришельцами из иного мира. Седловина перевала оказалась уже бесснежной, вся в ложбинах, покрытых оленьим мхом. Солнце прогревало прозрачный, словно бы уходящий кверху струйками воздух. И не чувствовалось ни малейшего ветерка, не слышалось ни единого птичьего вскрика. И можно было подумать, что это всего лишь первый миг создания земного обиталища для всего живого: для птиц, зверей, людей; а он, Пойгин, и его Кайти тут были не просто людьми, а какими-то особыми существами, от которых и должно возникнуть все живое.

Земная твердь была высоко-высоко, под самым солнцем. И в душе их было высоко-высоко, и еще было тепло-тепло, как не бывает тепло даже в самом теплом пологе из оленьих шкур, где люди на ночь снимают с себя все одежды.

И Кайти высвободила смуглые руки из широких рукавов

[1] Чавчыв — оленный человек.

керкера[1], обнажив себя до пояса. Она была удивительно тонка в талии. Грудь ее много раз видел Пойгин, когда она, как и все женщины, обнажалась до пояса в пологе. Так было принято. Но там обнаженная грудь ее еще ни разу не увиделась Пойгином так, как сейчас.

Грудь ее была смугла и тепла, как солнце. А еще она будила мысли о свежести рассвета. Да, Пойгину Кайти навевала мысли о леворучном и праворучном рассветах, потому что желанная им женщина сейчас явилась перед ним как бы из солнечных лучей. И не зря он потом назвал свою дочь от нее Кэргыной — Женщиной из света.

Леворучный рассвет, праворучный рассвет — извечные берега реки времени, верные приметы дальних путей, символы заклинаний против злого начала. Зачатая в пору рассвета жизнь сулит будущему человеку светлое, солнечное восхождение. И хотя солнце было высоко над синими зубцами горного хребта, Пойгин видел Кайти в зареве воображаемого рассвета: пусть зачатая новая жизнь имеет предрасположение к солнечному восхождению.

Вот она перед ним, бесконечно желанная женщина, и он ничего уже не чувствует, кроме тепла и запаха ее юного тела. Грудь ее наполнена волнением будущего материнского молока. Это еще не молоко, это лишь пока волнение, которому предстоит после превратиться в молоко. О, какая тайна в том пока еще глубоко упрятанном, еще не нашедшем пути к выходу, еще не нашедшем свой белый-белый цвет материнском молоке! Само по себе оно — могучей силы добрый дух с неизменно благосклонным предрасположением. Живой, бунтующий дух материнского молока ищет выход наружу, и оттого грудь женщины становится горячей и упругой. Пойгин скорее не мыслью, а чувством впервые в жизни постиг эту мудрость: то, что было у него с другими женщинами, не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило с ним сейчас.

И сорвал с себя Пойгин одежды, чтобы обнаженным телом ощутить тело впервые так остро желанной женщины. И услышало само солнце, как нарушилась тишина во вселенной от их горячего дыхания. А когда солнце услышало тихий стон женщины — возникли вдруг радостные вскрики птиц, посвист евражек, трубный клич оленей, отчаянно радостное бормотание зайцев, добродушный волчий скулеж, будто были они и не волки вовсе, а ласковые собаки. И казалось мужчине и женщине: то был миг, после которого возникла не только

[1] Керкер — меховая одежда женщины, чем-то похожая на комбинезон.

их будущая дочь Кэргына, но и родилось все живое, чему было суждено обживать навечно земное обиталище.

До зимы они жили то в одном, то в другом стойбище кочевников, не вышедших на лето к морскому берегу. Но вот началась зима. Глубоко в тундру на лучшие пастбища потянулись тяжелые грузовые нарты богатых оленных людей, у которых можно было наняться в пастухи.

Пойгин и Кайти пришли однажды в стойбище Рырки — Моржа, одного из самых известных в тундре оленеводов. У Рырки было четыре жены, три из них имели собственные яранги. Самую молодую жену переселил Рырка в свою ярангу, в которой жил со старухой — первой женой, и сказал пришедшим с морского берега:

— Вот вам новый очаг. Вы мне сразу понравились. Порадуйтесь и оцените мою благосклонность к вам.

Кайти и в самом деле обрадовалась. А Пойгин, умевший угадывать поступки людей на много дней вперед, почувствовал недоброе, однако виду не подал. На вторые же сутки Рырка вечером пришел проведать Кайти, как только Пойгин отправился на ночь в стадо пасти оленей. Кайти к тому времени уже успела поставить в яранге полог[1]. Рырка велел пастухам заколоть молодого оленя прямо у входа в ярангу Пойгина.

— Разделай оленя и свари,— приказал он Кайти,— а пока подай мне в полог чайник, я буду греться чаем.

Кайти, чувствуя враждебные взгляды жен Рырки, быстро разделала на лютом морозе оленя (хотя это было для нее непросто, чаще разделывала нерпу), принялась варить мясо. Иногда поднимала чоургын[2], спрашивала у Рырки, не подать ли новый чайник.

— Подавай,— властно приказывал Рырка,— хотя этот я еще не допил, но он уже остывает.

Наконец сварилось и мясо. Кайти выбрала лучшие куски, подняла полог, подала хозяину.

— Иди и ты сюда,— уже более мягким тоном сказал Рырка и даже широко улыбнулся. У него было крупное лицо с тяжелыми скулами, расписанное синеватыми линиями татуировки; волосы пострижены так, что на голове оказалось четыре венчика, косички на макушке и еще по косичке за

[1] У кочевых чукчей спальное помещение — меховой полог — на день из яранги убирается, а на ночь устанавливается вновь, в отличие от береговых чукчей, у которых эта часть жилища не убирается.

[2] Чоургын — передняя стенка полога, которая служит входом, для этого ее поднимают вверх.

ушами. По всему было видно, что этот мужчина считал себя красавцем, и ему, вероятно, не терпелось, чтобы Кайти поскорее оценила его достоинства.

Кайти робко забралась в полог, присела в углу, осторожно подвинула деревянное блюдо с мясом поближе к гостю. Затем повернулась к светильнику, поправила огонь и замерла, зябко ежась, хотя в пологе уже было довольно жарко. Рырка сосредоточенно жевал мясо, чавкая, не переставая разглядывать Кайти вожделенным взглядом.

— Что же ты не снимаешь керкер? — наконец спросил он. Покопавшись в блюде с мясом, он облюбовал ребрышко, протянул его Кайти.— На, ешь. У тебя всегда будет полно самого вкусного мяса. Я прикажу убивать перед твоей ярангой самых жирных оленей, если ты поймешь, что мне от тебя надо...

Кайти судорожно улыбнулась, приняла мясо, но керкер опускать до пояса, как это обычно делали все женщины в жарком пологе, тем более совсем снимать, она и не подумала.

— Сними керкер! — уже приказал Рырка, раздувая широкие ноздри.— Или хотя бы опусти его.

Кайти помедлила, нехотя опустила керкер, обнажаясь до пояса. Рырка сладострастно зацокал языком, выражая свое восхищение открывшимся перед ним чудом; протянул руку, дотронулся пальцем, лоснящимся от оленьего жира, до груди Кайти. Невольно поморщившись, Кайти вытерла сосок ладонью, отодвинулась подальше в угол. Это не понравилось Рырке.

— Как мне тебя понимать? — с капризным изумлением спросил он.— Или я тебе не нравлюсь?

Кайти промолчала, заливаясь густым румянцем и досадливо кусая губы.

— Скажу тебе прямо,— продолжал Рырка, еще шире раздувая ноздри,— если ты сегодня же не захочешь лечь со мной, я прогоню и тебя и Пойгина из этой яранги. А вместо мяса вы будете есть один рылькэпат[1].

Лицо Кайти сначала побледнело, потом стало темным от гнева.

— Что же ты молчишь? — выходил из себя Рырка.

Кайти вдруг натянула на себя керкер, крепко завязала тесемки у разреза на груди и сказала:

[1] Рылькэпат — что-то похожее на похлебку, приготовленную из содержимого желудка убитого оленя.

— Пойду помогать мужу пасти твоих оленей.

Оторопевший Рырка даже рот раскрыл. Не успел он сообразить, что ответить на слова Кайти, как она вынырнула из полога. Прихватив лежавший у очага малахай, Кайти выбежала из яранги, пытаясь по шуму угадать, в какой стороне пасется оленье стадо.

Мороз обжег распарившееся в пологе лицо Кайти. Сквозь густую мглу изморози едва просвечивала луна. Спотыкаясь о вывороченные оленями комья снега, Кайти пошла на шум стада. Беспрерывно слышался сухой треск прикасающихся друг к другу оленьих рогов. Звенели на разные голоса колокольчики на шеях оленей, покрикивали пастухи. «Гок! Гок! Гок!» — послышался голос Пойгина. Кайти побежала на голос, почувствовав необычайный прилив жалости к Пойгину и к самой себе.

Споткнувшись, она упала и вдруг заплакала. Слезы тут же замерзали на лице, и она отогревала его ладонями. Снова послышался голос Пойгина: «Гок! Гок! Гок!» Кайти встала и опять побежала. Не заметила, как оказалась в самой гуще стада. Разгребая передними ногами снег, олени жадно выискивали ягель — единственную пищу в это время года. Иногда к расчищенному месту сбегалось несколько оленей, и тогда переплетались их ветвистые рога — начиналась борьба. Они поднимались на дыбы, хоркали, били копытами друг друга в грудь. Оленей было так много, что Кайти не могла разглядеть среди них Пойгина; голос его раздавался то в одной, то в другой стороне, и Кайти поняла, как быстро ему приходится бегать.

Кайти показалось, что она наконец увидела Пойгина, однако чем-то встревоженное стадо вдруг стремительно закружилось, взбивая снежную пыль, отчего мгла ночи стала еще гуще. Испуганная Кайти, присев, сжалась в комочек, опасаясь, что обезумевшие олени, мчавшиеся по кругу, могут ее раздавить. Тяжелое дыхание, хорканье оленей, сплошной перестук рогов, топот копыт казались Кайти предзнаменованием какой-то неминуемой беды. Да, жизнь ее уже никогда не обретет спокойствия, все стало зыбким и страшным, как эта нескончаемая кутерьма чем-то перепуганных, взбешенных оленей.

Наконец мало-помалу олени успокоились. Кайти все еще сидела на снегу, сжавшись в комочек, погруженная в предобморочное оцепенение. Не сразу она расслышала голос рядом стоявшего Пойгина:

— Как ты сюда попала? Что с тобой?

Кайти вздрогнула, подняла лицо, не веря своим глазам, что перед ней муж.

— Ты почему здесь?— уже догадываясь, что произошло, спросил Пойгин.— Он пришел к тебе в ярангу, да? Ты слышишь, я спрашиваю, Рырка хотел...

Пойгин не договорил.

— Да,— тихо отозвалась Кайти и заплакала.— Он сказал, что выгонит нас из яранги, не даст ни кусочка мяса, если я...

— Замолчи!— прервал жену Пойгин, поняв, что его предчувствия сбылись слишком скоро.

— Он там, в нашей яранге. Я поила его чаем, кормила мясом. Но когда он...

— Не надо!— опять прервал жену Пойгин.

— Я сказала, что иду пасти оленей.

Пойгин долго молчал, потом вдруг рассмеялся — весело и неудержимо. На душе у него и вправду было необыкновенно хорошо: у него есть Кайти, Маленькое ходячее солнышко; она не просто женщина, которая варит ему пищу, шьет и сушит одежду, спит с ним под одним ниригин[1]; она стала так дорога ему, что он ни с кем не сможет ее делить как женщину, он убьет и Кайти, и себя, и того, кто посмеет принудить ее к тому, к чему пытался сегодня принудить этот гнусный Рырка! Ни за что не склонить! Завтра же, если Рырка будет добиваться своего, они уйдут с Кайти куда глаза глядят. Ничего, что они без своего очага, зато они будут вдвоем. Слышите, олени? Они будут вдвоем! Слышите, звезды? Они будут вдвоем! Слышишь ты, гнусный Рырка? Они будут вечно вдвоем!

Встав на колени перед Кайти в снег, Пойгин прижался своим лицом к ее лицу и тихо сказал:

— Если Рырка опять будет лезть к тебе — мы уйдем. Вернемся на берег моря, поставим свою ярангу. Я буду охотиться. Я стану великим охотником! Если захочешь, мы будем жить только своей ярангой, чтобы больше рядом не было никого. Наше стойбище будет всего из одной яранги.

— А если случится беда? Если надо будет кого-нибудь позвать на помощь?— несмело спросила Кайти.

— Я позову на помощь луч солнца, свет Элькэп-енэр и дыхание моря. Это мои благосклонные духи, мои ваиргит. Я белый шаман. Мне ничего не страшно.

Теперь и Кайти почувствовала себя самым счастливым существом на свете. Еще совсем недавно, когда кружились

[1] Ниригин — специально выделанная шкура, которой укрываются на ночь.

безумно олени, она считала, что пришел конец. Однако Пойгин все перевернул, отогнал страх, вернул ее к жизни. Может ли быть кто-нибудь счастливее, чем она сейчас?

Но вот Кайти вспомнился Рырка, и она вмиг помрачнела.

— Я не пойду туда,— показала она в сторону стойбища.— Я буду пасти с тобой оленей до утра...

— Замерзнешь!

— Ничего. Я буду бегать, как ты. Отчего так перепугались олени?

Пойгин не ответил: несколько десятков оленей отбились от общего стада. «Гок! Гок! Гок!» — закричал Пойгин и побежал в гору наперерез оленям.

На второй день Рырка пришел в ярангу, когда Пойгин был у очага. Встав перед костром, он высокомерно посмотрел на Кайти, потом перевел невозмутимый взгляд па Пойгина. Встретившись с его твердым и чуть насмешливым взглядом, он насупился, присел на шкуру у костра, вытащил из-за ременного пояса тиуйгин[1] — несколько раз ударил по рукавам роскошной кухлянки, сшитой из шкур белоснежного оленя, отороченной мехом огненной лисицы.

Кайти поставила перед гостем дощечку с фарфоровой чашкой, налила в нее чаю. Потом поставила вторую чашку перед мужем. Рырка раскурил длинную деревянную трубку с медной чашечкой на конце, благосклонно протянул ее Пойгину. Тот с достоинством принял трубку, затянулся и вернул ее хозяину.

— Пусть женщина уйдет!— приказал Рырка.— У нас будет с тобой мужской разговор.

Кайти вопросительно взглянула на мужа, тот слегка кивнул головой, мол, уйди. Когда Кайти ушла, Рырка сощурил в усмешке глаза, так что остались едва заметные щелочки, спросил:

— Она все тебе рассказала?

— Все.

— Ну что ж, ладно,— после долгой паузы ответил Рырка, больше не протягивая трубку собеседнику. Глубоко затянулся и повторил:— Ладно. Тогда я тебе скажу так. У меня четыре жены. Выбирай любую. А хочешь — всех четырех. И тогда ты будешь мой тумгынэвын[2]. Настоящий. Не так, как у меня с другими пастухами. Есть тут такие... я остаюсь на ночь с его женой, а он... хорошо, если получит от одной из

---

[1] Тиуйгин — снеговыбивалка из оленьего рога.

[2] Тумгынэвын — товарищ по жене.

моих жен кусочек мяса или чашку чая... Да, ты будешь мой настоящий тумгынэвып, как велит обычай.

— Мой отец говорил, что нет и не может быть у нас такого обычая,— стараясь быть сдержанным, сказал Пойгин.— Это всего лишь дурная привычка неразумных мужчин.

— Почему неразумных?

— Не хотят подумать, что произойдет потом, когда брат женится на сестре по отцу. Разве ты не знаешь, что такое проклятье кровосмешения?

Рырка выслушал Пойгина с высокомерной усмешкой:

— А тебе известно проклятье голода и холода?

— Я готов выбрать именно это проклятье!— уже не смог сдержать себя Пойгин.— Мы уйдем с Кайти сегодня же. А ты подумай, что будет, когда возможные твои дети потом окажутся женой и мужем.

— Я к тому времени буду уже в Долине предков.

— Под землей у ивмэнтунов быть тебе, а не в Долине предков!— не просто сказал, а предрек Пойгин, показывая пальцем в землю.

И повела нелегкая судьба Пойгина с Кайти из одного стойбища в другое. Действительно, проклятье голода и холода неотступно преследовало их, но они были вдвоем и потому знали, что такое счастье. Не скоро они вернулись в свое береговое стойбище...

5

Идет Пойгин в воспоминаниях по длинной тропе своей жизни, то в гору поднимается, то опускается в туманные низины. Достиг ли он самой высокой звезды мудрости? Если учесть, что его наградили Золотой Звездой как великого охотника, то, конечно, почет ему воздали большой. Но мало быть хорошим охотником; мало быть даже великим охотником. Жаль, что в самой полной мудрости человек пребывает не так уж и долго.

Но дело не только в том, что человек из малого несмышленыша постепенно становится мудрым стариком. Разве не известно Пойгину, как прожил свою жизнь его отец Нутэтэгин?[1] Предел его земли был где-то совсем близко, ну, в два, в три дня езды на хорошей собачьей упряжке. Предел этот можно представить в виде круга, в центре которого находилось его небольшое стойбище. Это стойбище для него было словно бы

[1] Нутэтэгин — предел земли.

Элькэп-енэр в небесах, вокруг которой во вселенной все вращается. Да, Элькэп-енэр — самая твердая неподвижная точка во всем мироздании, центр всему сущему. Но как мало сущего вращалось вокруг маленького стойбища, где родился отец и считал десяток яранг самым главным во всем мире людским поселением. Рос он, одолевая одну гору за другой, и почти ничего не увидел больше того, что открылось его глазам, когда он понял, что в этом мире пребывает. И думалось ему, что земной мир весь ограничен этим пределом.

Значит, суть не только в том, что ты растешь, мудрее становишься. Уж его-то отец был для всех куда каким мудрым. Суть, видно, еще и в том, что сама жизнь далеко отодвинула черту предела доступного твоему пониманию мира. Да, отец был в состоянии достигнуть предел доступного ему мира в два-три перегона собачьей упряжки; а его сыну, Пойгину, для этого теперь надо лететь полсуток на самом быстром самолете. И, конечно же, Пойгин теперь не считает свой поселок центром земного мира, не считает, что это земная Элькэп-енэр, вокруг которой все вращается. Э, какая там Элькэп-енэр — просто маленькая, крохотная звездочка, затерянная в снегах и льдах на берегу студеного моря.

Может, отец его был много счастливее в своем заблуждении? Нет, Пойгин так не думает. От незнания отец его был словно олень на приколе. А сын, если уж его сравнивать с оленем, оторвался от прикола и помчался в своем знании сути вещей через горы и долины в бесконечные дали. Но разве дело только в преодолении пространства? Конечно же, главное не в этом. Э, Пойгин не счел бы себя равным по мудрости отцу, если бы не понял другое: главное в том, что если твой поселок и не Элькэп-енэр, то все равно вокруг него неизмеримо больше сущего вращается, чем тогда, когда отец все-таки считал десяток яранг центром земного мира.

Может, лучше было бы жить так, как жил его отец? Не слишком ли беспокойной стала жизнь? Но разве спокойной была она раньше? Какое уж там спокойствие, когда умирали от болезней целые стойбища. И от голода умирали. Не приплывут моржи, исчезнет вдруг куда-то нерпа — вот и все, наступает голодная смерть. Теперь даже смешно представить себе, чтобы кто-нибудь умер от голода...

...Вот, вот, с этого все и началось, когда появились иные пришельцы, прогоняющие голодную смерть. Правда, первые полярные станции, первая культбаза сначала пугали Пойгина, вызывали сомнения; с бóльшим доверием он принял новых торговых людей, их фактории, и то далеко не сразу. Но потом

все-таки понял, что это совсем другие люди, с иными обычаями. То, которые прежде приезжали из Анадыря или приплывали из-за пролива, было откровенно жадными и лживыми: Пойгин не мог не чувствовать к ним вражды, когда видел, как они с помощью таких, как Ятчоль, расставляли капканы самого бессовестного вымогательства. А эти назвали Ятчоля обманщиком, запретили ему торговать; эти отдавали за шкуру лисицы или песца столько разных товаров, сколько раньше никому и не снилось. Никто из них, как это делали прежние торговые люди, не смел поставить винчестер торчком и потребовать: клади песцовые шкуры друг на друга; выложишь такой же высоты, как винчестер,— будешь человеком при оружии, нет — стреляй из лука. А новым торговым людям за винчестер было достаточно отдать всего одну шкуру песца. Это было невероятно, и потому многие охотники ждали какого-то подвоха. Но шло время, и становилось ясно, что никакого тут подвоха нет.

Да, именно так начинались перемены. Или он, Пойгин, слишком много придает значения мелочам? Пусть предстанет перед его глазами безрассудный и скажет такие глупые слова! Уж кто-кто, а Пойгин найдет что ответить на них. Когда вспоминаешь, как один винчестер спасал от голодной смерти целое стойбище, то понимаешь, какие это «мелочи». Это слишком хорошо знали прежние торговые люди, потому и требовали так много шкурок за один винчестер. И не зря считалось, что убитый зверь принадлежит не тому охотнику, который его убил, а тому, кто владел винчестером. Ятчоль иногда раздавал охотникам столько винчестеров, сколько пальцев на одной руке, и вся добыча принадлежала ему. Да, он мог дать кусок моржового или нерпичьего мяса охотнику, стрелявшему из его винчестера, но все остальное забирал себе. Спал Ятчоль в тепле, сладкие сны видел, а охотник выходил один на один с его винчестером на умку, чтобы потом получить хоть небольшой кусок мяса. При новых порядках зверь стал принадлежать тому, кто его убил. К тому же теперь у каждого охотника свой винчестер или карабин. Нет, если у тебя голова, а не болотная кочка, ты не скажешь, что это мелочи...

Но временем начала неслыханных перемен старики до сих пор считают тот далекий год, когда от береговых стойбищ впервые было отогнано видение голодной смерти. Пойгину несколько раз в детстве являлось это страшное видение. Каждому человеку оно приходит в своем облике. Пойгину видение голодной смерти представлялось огромной птицей с жадно

раскрытым черным клювом. Вместо глаз у нее были две луны, такие холодные, что они замораживали кровь в жилах.

Больше всего на свете люди боялись видения голодной смерти, появлявшегося, когда они забывались в бреду. И вот произошло невероятное. Об этом Пойгин впервые услышал от старого охотника Тотто, приехавшего к оленным людям. Высокий, костлявый, с изможденным лицом старик, у которого щеки провалились под скулы, раскачивался, сидя у костра, и все рассказывал и рассказывал, как явилось ему видение голодной смерти, а потом ушло, отогнанное невиданной доселе рукой помощи.

— Я ощупывал тех, кто был слева от меня в пологе... они были уже как холодные камни. Я ощупывал тех, кто был справа... они были тоже словно камни или как льдины... Если бы мог постучать по голове сына или невестки, по головам двух внуков... наверное, они зазвенели бы и раскололись, как лед. Я доедал подошву торбасика младшего внука... Снял торбасик, когда внук уже умер. Я жевал подошву торбасика и слушал, что делалось в стойбище. Я ждал, что заскрипит снег под ногами человека, залает собака... Но тихо было кругом, даже ветер и тот не шумел над ярангой, думаю, не умер ли ветер? Может, все, все умерло в этом мире и я остался один?..

Старик надолго умолк, глядя в костер тусклыми глазами, и только потом, когда ему дали чашку чая и он выпил ее, снова заговорил, покачиваясь:

— Когда я съел и вторую подошву и больше нечего было сунуть в рот... мне стали являться видения голода. Мне представлялось, что я вышел из яранги и увидел лежащего умку. Вот он, рядом совсем, и кажется, еще кровь течет из его раны. Горячая кровь. Хотя бы глоток его крови, хоть бы кончик его уха, и тогда... тогда костер жизненной силы опять загорелся бы во мне...

Старик, кашляя и задыхаясь, стал терзать грудь. Ему дали в чашке мясного бульона, он отхлебнул глоток, засмеялся от счастья, и слезы потекли из его провалившихся глаз. Пойгин смотрел на старика с состраданием и вспоминал, как мучил голод не один раз и его.

— О, эта чашка бульона могла бы спасти моих внуков. Я отдал бы его им весь до капли. Зачем, зачем я, старик, выжил, а они умерли?

— Ну, остался жить,— значит, живи,— успокаивала Тотто хозяйка яранги.— Ты говорил, что тебе привиделся умка...

— Да, да, вспомнил, привиделся умка... Я подполз к не-

му, хотел впиться зубами в ухо... и вдруг почувствовал... О, горе, горе, вдруг почувствовал, что это всего лишь глыба льда. Я грыз лед. Я ломал последние зубы. Я ждал, что хоть маленькую каплю жизненной силы даст мне холодный лед. Но он сам был мертвый, такой же мертвый, как те, кто был справа от меня и слева, как сын мой, невестка и два внука... Жена моя давно умерла, и тоже от голода. Потом мне примерещился заяц. Он прыгал вокруг меня, бил меня лапами по вспухшему животу, грыз мои ноги. А я ловил, ловил зайца и никак не мог поймать. Я умолял его позволить хотя бы понюхать его уши. У него были такие длинные, вкусные уши... Одно ухо... да что там... пол-уха, даже если бы я просто укусил хоть раз его ухо... это спасло бы мою жизнь. Но заяц увертывался и хохотал по-человечески, издевался надо мной. Он ходил на задних лапах, бил себя передними лапами по животу и все хвастался, какой он сытый, потому что сожрал жизненную силу моего сына, невестки и двух внуков, а теперь добрался и до меня. И тогда я понял, что это вовсе не заяц, а голодная смерть. И я не ошибся. Заяц вдруг стал расти... Он поднимался все выше и выше. И я увидел его там, в той стороне, где я поднял, когда был еще в силе, на столбы остов моей байдары. Это был уже не заяц... Там... стояло видение голодной смерти. Оно было все из костей. Череп с пустыми глазницами поднялся до самого неба, так что луна вползала в одну глазницу, а потом выползала из другой... Видение нагибалось, поднимало костлявыми руками куски льда и протягивало мне, чтобы я грыз этот лед. Я грыз лед и чувствовал, как ноги мои и руки становятся льдом. Я понимал, что последние капли жизненной силы покидают меня, что я обожрался льда и сам становлюсь льдом...

Пойгину стало жутко слушать старика, холод заползал ему в душу. Он понимал, что старик, видимо, уже много раз рассказывал, как являлось ему видение голодной смерти, и потому рассказ его уже обрел степень говорения. Но куда и подевался тон сказителя Тотто, когда он заговорил о своем спасении. Глаза его ожили, засветились изумлением и благодарностью. По его словам, произошло что-то совсем невероятное, чего не было до сих пор еще со времен первого творения: в стойбища анкалинов[1] по всему берегу от Певека до мыса Рыркайпый, где уже наступала голодная смерть, приехали на собаках русские и те чукчи, которые стали помощниками

[1] Анкалин — охотник, буквально — человек, живущий на берегу.

новых порядков, эти люди привезли моржовое, оленье мясо, нерпичий жир, муку, чай, сахар; называли они себя посланцами Райсовета. Они спасали умирающих, уверяли, что это последняя голодная смерть в здешних местах, что наступает иная жизнь, когда весть о возможном голоде будет мчаться как ветер в Анадырь, в Певек, а оттуда с той же быстротой помчатся па помощь нарты, груженные едой. А чтобы совсем искоренилось зло вечно подстерегающей человека голодной смерти — охотники получат оружие, патроны, капканы, вельботы. И это не было простым обещанием, вслед за первыми нартами спасения примчались другие, и охотники действительно получили карабины, патроны — то был дар людей, которые называли себя Райсоветом. Именно дар, потому что никто из этих людей не подсчитывал, сколько шкурок песцов и лисиц надо будет отдать в ближайшее время; это была помощь без всяких условий, с пожеланием поскорее окрепнуть, а когда охотники выйдут на промысел — пусть каждому из них сопутствует удача.

Да, это было неслыханно! Сколько ни жили люди на морском берегу со времен еще первого творения — никто никогда не приходил им па помощь, отгоняя видение голодной смерти.

Пойгин слушал старика Тотто и не верил своим ушам. Но весть о спасении обреченных приносили и другие люди, и она уже ни у кого не вызывала сомнений в своей достоверности, о ней говорили как о чуде. Так говорил и Тотто. Да и разве не являлось чудом то, что человек, которого уже кормило льдом видение смерти, вдруг услышал говор людей, лай собак, а потом ощутил теплые руки, огонь светильника и пищу, спасительную пищу во рту...

Вот когда Пойгин впервые услышал слово Райсовет. Было оно для него таинственным. То, что обозначало это слово, представлялось ему удивительной силой, имеющей значение ваиргина, благосклонного к людям духа. Теперь-то знает Пойгин, что Райсовет — это обыкновенные люди, теперь он сам Райсовет, частичка его. И хорошо, что это просто люди, имеющие рассудок. Все-таки светлый рассудок — это и есть главнейший из всех ваиргит.

6

Ворочается Пойгин на шкуре умки, постланной на кровати,— все бока отлежал. Может, ничего не будет в том странного, если он немножко посидит и даже походит? Хо-

рошо бы достать из-за шкафа бубен, услышать в последний раз, как гремит он.

Поднявшись, Пойгин приложил руку к сердцу, скорее не затем, чтобы унять боль, а затем, чтобы услышать, не болит ли оно. Однако сердце билось так, будто ему не было никакого дела до великой перекочевки к верхним людям. Пойгин опустил ноги на пол, нащупал туфли из нерпичьей шкуры, любовно расшитые бисером искусными руками дочери, привстал. Удивился тому, что ноги оказались не такими и слабыми, не дрожат, кажется, можно ходить, уж до шкафа-то, за которым упрятан бубен, он доберется.

Сделав шаг, другой, Пойгин приостановился, зачем-то присел, привстал, точно так, как это делал зять Антон (зарядка называется), потрогал колени. «Хорошо бы еще в стойбище молчаливых великанов сходить»,— подумал он, хотя знал, что туда идти даже здоровому, нестарому человеку нужно столько времени, за сколько солнце в майскую пору круглосуточного дня обходит весь небесный путь.

Вытащив из-за шкафа бубен, Пойгин долго оглаживал его, улыбаясь мягко и грустно. Сотворил он его из воздушных мешков моржей, благодаря которым эти звери удерживаются на воде и «лежа» и «стоя».

Напряженно вытянув шею, Пойгин чуть ударил ногтями полусогнутых пальцев в бубен, жадно вслушиваясь в едва возникший звук. О, это диво просто, что значит для Пойгина этот звук! Кажется, что возник он еще во времена первого творения и вот донесся теперь через сны и мечтания многих и многих поколений, которые уже давным-давно ушли в иные миры, оставив Пойгину способность слышать то, что когда-то слышали они. Возможно, что звуки и его бубна поплывут в будущее через сны и мечтания многих поколений, чтобы хоть слабым намеком рассказать, о чем думал он, чего он хотел, как понимал свою жизнь, как прожил ее. И еще раз Пойгин ударил в бубен, уже чуть громче, завораживая себя каким-то замысловатым ритмом. Это была речь бубна, возможно, добрый совет, успокоение или предостережение тому, кто был способен ее понимать.

Бывает, что бубен Пойгина после тихой речи вдруг разражается громким голосом на всю вселенную от гнева ли, от радости ли. Но Пойгин больше всего любит, когда бубен его гремит на всю вселенную именно от радости, допустим, когда люди встречают после долгой полярной ночи первый восход солнца. Ударить бы сейчас в самую середку бубна, в сердце его, ударить сто, тысячу раз, услышать голос его,

от которого все твое существо наполняется каким-то особым восторгом.

Пойгин, чуть побледнев, взмахивает рукой, чтобы во всю мощь ударить в бубен, чувствуя, как пронзают все его тело огненные стрелы знакомого возбуждения. Неужели он не одолеет себя, неужели бубен его сейчас заговорит таким голосом, что сюда сбежится весь поселок?

Но Пойгин все-таки одолел себя, не ударил в бубен, в самую середину его, в самое сердце, где он особенно звучен; однако пальцы его сами собой, пусть без грохота, но весело, даже озорно побежали по бубну. И что за странная прихоть? Вдруг вздумалось Пойгину (и это было с ним не однажды) сплясать танец русских людей. Как они пляшут, видел Пойгин и в кино, и наяву, в дни праздников на культбазе, на полярной станции. Желание научиться пляске русских людей было какой-то смешной болезнью Пойгина. Сначала он не видел никакого смысла в этом беспорядочном, как ему казалось, топанье ногами. В чукотских танцах всегда есть смысл: человек подражает движениям того или иного зверя или пытается намекнуть на то, что руки его — словно крылья птицы. А в пляске русских нет ничего, что напоминало бы иные существа, да и сам человек никогда так не ходит и не бегает. Не скоро Пойгин понял, что тут есть все-таки какой-то ритм. А раз есть ритм — значит, есть смысл. В чем он заключается? В этом и вся загадка, которую хотелось постичь Пойгину. Вот почему он иногда, оставшись один на один в доме или где-нибудь в тундре, пытался повторить пляску русских людей. У него ничего не получалось, но он не столько злился, сколько потешался над собой: вот если бы кто посмотрел со стороны — наверное, лишился бы рассудка от смеха или страха.

Выбив на бубне еще раз, как ему казалось, знакомый ритм русской пляски, Пойгин притопнул одной ногой, другой, потом отложил бубен в сторону. Прихлопнув в ладоши, он прошелся по кругу, смешно приседая, притопывая босыми ногами; белые теплые кальсоны, в которые заботливо обрядила его дочь, приспустились. Поддернув их, Пойгин еще раз попытался пройтись по кругу, выделывая ногами замысловатые петли, на которые не способен и заяц, убегающий от волка.

В этот момент и увидела Пойгина дочь. Разошедшись, он не вдруг заметил Кэргыну. Когда понял, что дочь все видела, страшно смутился, бросился к кровати, повалился навзничь, застонав и заохав.

— Что с тобой?— спросила Кэргына.

— Онемели кости,— со стоном ответил Пойгин,— хотел

размяться немного. Встал с постели и вдруг почувствовал, что какие-то духи стали меня дергать в разные стороны.

Кэргына рассмеялась, и это очень обидело Пойгина.

— Ты чему смеешься? Разве не видишь, что мне совсем немного жить осталось? Ухожу сегодня же к верхним людям.— Слегка приподнявшись, Пойгин бесцеремонно уставился на живот дочери.— Когда родишь четвертого внука?

— Может, даже сегодня.

Пойгина словно мышь укусила.

— Это правда?! Но я же могу не успеть уйти в Долину предков...

— Зачем тебе туда? Я не хочу, чтобы ты уходил.— Кэргына присела на кровать, рассматривая отца повлажневшими глазами.— Подождешь, когда рожу следующего, а там и еще одного. Наверное, на этот раз у тебя будет все-таки внучка...

— Как внучка?— всполошился Пойгин.— Будет внук! Я ему уже имя придумал — Нуват, то есть Возвращенный. Так хочет твой отец — Пойгин, который после пребывания в Долине предков снова сюда вернется.

— Но разве ты успеешь туда уйти и сюда вернуться?

— Не задавай глупых вопросов!— изображая из себя крайне рассерженного человека, прикрикнул Пойгин, а сам подумал: если родится внучка, значит, это вернется его Кайти — Маленькое ходячее солнышко.

Однако ему необходимо уйти к верхним людям сегодня же, в крайнем случае завтра: все равно настоящей встречи с Кайти у него не получится, это будет внучка, а не жена, малый ребенок, крохотная девочка, которая так никогда и не узнает, что была когда-то взрослой женщиной. Пройдет время, подрастет Кайти, станет девушкой, наверное, такой же красивой, какой была в первое свое пребывание в этом мире, полюбит хорошего парня, станет его женой... Пусть живет своей жизнью нового пребывания в этом мире, лишь бы только снова дышала, видела солнце, смеялась, радовалась мужу, своим детям. А он, Пойгин, должен поторопиться уйти к верхним людям, чтобы поскорее сюда вернуться и расти заново, вместе с его Кайти. Может, они опять станут нужны друг другу, как было когда-то?

Словом, все клонится к тому, что ему, Пойгину, необходимо поторапливаться с великой перекочевкой.

— Когда придет Антон?— спросил он, прервав свои мысли. Посмотрел на стену, где висела кинокамера, показал на нее пальцем.— Пусть возьмет эту коробку и сядет у моей постели. Как только начну уходить к верхним людям — пусть

делает кино. Если человеком опять сюда вернусь, а не волком или зайчишкой,— проверю, хорошо ли он сделал, старался ли...

Кэргына молчала, глядя на отца печальными глазами. Как она похожа на Кайти: такие же белые-белые зубы, такие же мягкие глаза.

— Почему молчишь?— нарочито ворчливо спросил Пойгин, чувствуя, как вдруг ему стало жалко расставаться с дочерью.— Я знаю, о чем ты думаешь. Хочешь, скажу?

— Скажи.

— Ты думаешь: что же это Антон будет сидеть возле тебя и ждать, когда ты умрешь? А если ты будешь жить еще год или два? Что ж, он так все будет сидеть со своей коробкой возле тебя?

Кэргына судорожно улыбнулась, потом заплакала.

— Ну, ну, я пошутил,— растрогался и Пойгин,— перестань плакать. Надоел я вам, очень надоел. Антон не говорил тебе об этом?

Кэргына закрыла лицо руками, сказала сквозь слезы:

— Зачем ты так говоришь, отец? Антон любит тебя. Знаешь, как он тебя называет?

— Как?

— По-своему как-то, я и то не все понимаю. Знаю только, что в словах тех много уважения к тебе.

— Ну все-таки? Как говорятся по-русски эти слова уважения? Может, я догадаюсь об их смысле.

Кэргына вытерла слезы, сделала неопределенный жест рукой, сказала неуверенно:

— Личность — так он говорит про тебя, светлая личность.

— Что такое личность? Слово «светлая» — немножко понятно, это от слова «кэргыкэр», что означает по-русски свет. Что ж, хорошо, что он так про меня думает, признаюсь, мне очень приятно было про это услышать.

— И еще он тебя как-то странно называет,— Кэргына помедлила, не столько припоминая незнакомое слово, сколько боясь, что не сможет правильно произнести его,— говорит про тебя пи-ло-соф.

— Повтори еще раз.

— Пи-ло-соф.

Пойгин наморщил лоб, стараясь определить, что же такое — пи-ло-соф. Наконец спросил:

— Как ты думаешь, не таит ли в себе странное слово что-нибудь недостойное, бранное или насмешку какую?

— Что ты!— запротестовала Кэргына.— Антон не может

говорить о тебе бранно или насмешливо. А еще он тебя называет гордым индейцем.

— Это я знаю,— с самодовольной улыбкой ответил Пойгин.— Мне он о том не раз говорил. Рассказывал про племя людское — индейцы называются. Живут там, далеко, на Аляске, и еще дальше...

Дверь отворилась, и на пороге появился Антон. Как много было связано в жизни Пойгина с этим человеком и с его отцом!

Увидев бубен, прислоненный к шкафу, Антон шутливо сказал по-чукотски:

— Я вижу, у нас сегодня в доме будет встреча восходящего солнца. Правда, над нашими горами его краешек покажется лишь через трое суток. Но если не терпится, можно уже сегодня как следует ударить в бубен.

Пойгин поднес руки к глазам, растопырив пальцы. Большой палец левой руки загнул.

— Да, по моему счету тоже так получается,— подтвердил он.

Зять Пойгина работал на полярной станции главным человеком по солнцу. Он следил за солнцем глазами каких-то диковинных железных коробок, что-то измерял, вычислял, записывал в толстые тетради. Потом писал про солнце ученые книги, ездил с ними в Москву.

Пойгин знает, что в тех краях, где Москва, солнце ведет себя совсем по-другому, никогда не покидает земной мир на долгое время, половину года греет так тепло, что там растет не только трава, но и огромные деревья. Все это Пойгин видел собственными глазами, когда летал туда первый раз на самолете. И что странно: чем выше там над землей поднимается солнце — тем жарче становятся его лучи. А здесь оно совсем близко, до самой середки небесного купола никогда не поднимается, а греет намного слабее. Однако это, может быть, и лучше, хотя само по себе и непонятно.

В Москву первый раз Пойгин прилетел летом и попал в такую жару, что ему показалось: во вселенной что-то случилось, может, сместилась со своей твердой точки сама Элькэпенэр, и как бы земной мир не заполыхал от пожара. Но Пойгину объяснили другие чукчи, прилетевшие вместе с ним, которые здесь бывали не однажды, что в этих местах летом всегда бывает именно так, нужно терпеть. А один мудрец из чукотских охотников даже пришел к такому выводу: жара — это холод наоборот, кто может переносить холод, тот перенесет и жару. И Пойгина настолько успокоили эти слова, что

он и вправду стал свыкаться с жарой. Но все-таки нет лучше места для жизни человека, чем его родная Чукотка, и жаль, что Москву построили не там.

...Антон взял бубен, но ударить в него не посмел, опять осторожно поставил его у шкафа.

— Знаешь, как бы я рад был послушать твой бубен,— сказал он Пойгину, усаживаясь рядом с Кэргыной на кровати.

Был он широкоплечим, очень похожим на отца, с такой же кудрявой рыжей бородой. А вот глаза у него, пожалуй, от матери. Удивительные глаза: когда смотришь в них, то приходят на память море, синее небо и лучистое, теплое солнышко.

Пойгин долго смотрел на зятя и вдруг спросил:

— Что такое пи-ло-соф?

Антон изумленно вскинул брови, посмотрел на Кэргыну.

— Я ему сказала, что ты его иногда так называешь,— призналась Кэргына.

Антон улыбнулся, но тут же посерьезнел, сказал после некоторого молчания:

— Философ — это человек, умеющий думать о самом главном в жизни, он пытается понять, в чем смысл ее, и даже кое-что в ней исправить.

Пойгин приподнялся, устремляя по-детски радостный взор на дочь:

— Что я тебе говорил? Антон не мог сказать обо мне иное.

— Это я тебе говорила.

— Ну ладно, пусть ты. Дайте-ка мне бубен. Хотя нет, я сам.

Пойгин встал и, поддернув кальсоны, довольно твердым шагом подошел к бубну. Долго стоял в глубокой задумчивости, наконец сказал, горько улыбаясь:

— Нет, не могу, Липьлинь стоит перед глазами. Скорбно мне, очень скорбно.

— Ну что ж, тогда мы подождем,— сказал Антон с глубоким сочувствием.— Подождем. Хочешь, я тебе кино покажу о Линьлине? У меня есть...

— Да, да, я знаю,— сказал Пойгин, переводя взгляд на кинокамеру, висевшую на стене.— Но я не смогу пока что смотреть это кино, печаль не позволяет. Я лучше побуду один в думах о нем. Не обижайтесь. Я сейчас снова лягу на шкуру умки, буду вспоминать всю свою жизнь. Так надо...

— Когда же ты будешь есть?— досадливо спросила Кэргына.

— Когда захочу, тогда и поем. А сейчас принесите мне горячий чайник и уходите. Я буду долго идти по тропе воспоминаний. Да, да, мне надо еще кое-что вспомнить такое, без чего невозможно уйти в Долину предков...

— Она еще далеко, эта долина,— шутливо сказал Антон.— Ты нам нужен здесь...

— Подайте чайник чаю!— уже не попросил, а приказал Пойгин.— И никого ко мне не пускайте. Разве только Ятчоля. Я должен с ним еще поспорить...

И Ятчоль, будто услышав слова Пойгина, оказался тут как тут.

— Я тебе большущий кусок нерпы принес!— воскликнул он, распираемый чувством самодовольства.— Откуда-то уже весь поселок знает, что я убил три огромные нерпы, а ты всего лишь одну, притом очень маленькую.

Пойгин тонко усмехнулся и весь подобрался, поудобнее усаживаясь на кровати, как бы всем своим видом говоря: «А ну, ну, мне-то как раз тебя и надо».

— Странно,— сказал он все с той же тонкой усмешкой,— кто бы это мог такую весть по всему поселку разнести? Ты человек нехвастливый, вряд ли бы стал о своей удаче и моей неудаче болтать...

— Что ты! Я скорей язык себе откушу и собакам выплюну.

Пойгин поморщился, налил из чашки в блюдце крепко заваренного чаю, сдержанно пригласил:

— Садись чай пить. Кэргына, подвинь стул.

— Нет, я лучше на полу.— Ятчоль сорвал с себя кухлянку, бросил на пол, уселся.— Я чукча. Был чукчей — останусь чукчей. Не хочу сидеть на деревянных подставках.

— А я кто?— предвкушая неизбежность поединка, спросил Пойгин.

— Не знаю, кто ты. А я чукча.— Ятчоль поискал пуговицы на вороте засаленной, неопределенного цвета рубахи, но они все были оборваны.— Вот сейчас сниму и рубаху, а потом и штаны. Буду сидеть голый.

— Нет, ты уж штаны не снимай, а то мне будет противно чай пить. Кэргына, дай гостю чашку и оставь нас вдвоем. Это хорошо, что он пришел, очень хорошо. Я не смог бы перекочевать в Долину предков, если бы еще раз не поспорил с ним.

— Ты собрался к верхним людям?— без особого удивления спросил Ятчоль, зная, что Пойгин уже не однажды объявлял о предстоящей великой перекочевке.

— Да. Собрался. Слышу, как Линьлинь зовет меня. Умер волк. А ты, конечно, знаешь, сколько моей души переселилось в него...

— Знаю. Порой мне казалось, что ты скоро научишь его по-человечески разговаривать. Даже снилось, как он со мной по-человечески говорил...

Кэргына поставила перед гостем, сидевшим на полу, чайный столик на коротких ножках, принесла чашку с блюдцем и вышла с видом глубокого отчуждения и даже вражды: Ятчоля она ненавидела. Пойгин встал, снял с кровати медвежью шкуру, постелил на полу, сел на нее напротив гостя. Да, это очень хорошо, что Ятчоль пришел. Он, Пойгин, заставит его ответить на самые главные вопросы. Спорить о пустяках нет ни желания, ни времени.

Ятчоль снял с себя рубаху, принялся усердно и словно бы даже с вызовом чесать оголенные плечи, живот.

«Будет опять говорить, что хочет вернуться к прежней чукотской жизни, когда не было ни бани, ни матерчатых одежд, ни электрического света»,— подумал Пойгин. Совсем недавно Ятчоль уже говорил об этом Пойгину, стараясь навязать спор о том, что же такое настоящий чукча. Странный человек, сам еще смолоду старался быть похожим на пришельцев, приплывавших на шхунах из-за пролива. Ноги широко расставлял, как это делал его американский частый гость, губу нижнюю оттопыривал, сплевывал сквозь зубы. Даже слух пустил, что истинным родителем у него, пожалуй, был кто-нибудь из американцев. Похвалялся своей выдумкой и нисколько не беспокоился, что это оскорбляет его мать и отца. Потом и под русских подлаживался настолько нелепо, что тем самым смешил и здорово их удивлял. Однажды заставил жену пошить ему «русские» штаны с крыльями по бокам, «галипэ» называются. И Мэмэль сотворила ему «галипэ» из оленьих шкур, такие крылья выкроила, что Ятчоль стал похож не то на птицу, не то на летучую мышь. Весь поселок потешался над ним, кое-кто норовил подергать крылья его меховых «галипэ» или залезть ему в карман. Ятчоль отбивался от насмешников, стращал, что упрячет в крылья «галипэ» капканы, пусть после этого кто-нибудь попробует залезть в его карман — без руки останется. Ятчолю отвечали, что он сам, пожалуй, может остаться без того единственного признака, по которому его пока различают как мужчину, и тогда ему придется сменить «галипэ» на женский коркер.

Приноравливаясь к новым порядкам, Ятчоль часто ездил в районный центр, заходил в райгосстрах, каким-то чутьем

постигнув, что это как раз то самое место, где из него могут сделать очоча — начальника. И своего добился: однажды вернулся домой агентом «райгочстраха».

В дом из яранги Ятчоль перешел одним из первых в поселке и ничего в новом очаге не оставил чукотского. Купил три стола, расставил их в таком же порядке, какой запомнился ему, когда он приглядывался к конторе «райгочстраха»; ничего не забыл, даже купил корзину для бумаг, и на каждый из столов установил по тяжелому чернильному прибору из камня — мрамор называется. Зазывал в свой дом людей, показывал на столы и важно говорил: «Да будет вам известно, что я теперь здесь самый главный очоч. Главнее председателя сельсовета и председателя колхоза. Я все про вас записываю. Видите, сколько у меня бумаг? А вот это портфель называется. Скоро скажу, кто из вас должен отморозить ногу, а кто — прострелить руку. Иначе как же я вам буду выписывать страховку?» И трудно было понять — шутит он или говорит всерьез.

Недолго продержался Ятчоль в «самых главных очочах»; выбросил из дома столы, потом кровати, стал стелить шкуры на пол. Когда у него развалилась печь, а углы дома покрылись инеем, он поставил в комнате обыкновенный меховой полог и стал жить, как в яранге. Снаружи посмотришь — дом как дом, а внутрь зайдешь — все как в яранге. Но это не помешало ему однажды купить жене туфли на высоком каблуке.

Обулась Мэмэль в лютый мороз в туфли, надела ватные штаны, пошла в кино. Пока добежала до клуба — обморозила ноги. Плакала Мэмэль, когда оттирали ей ноги, мужа проклинала. «Не знаю, где он нашел такие обутки. Это же копыта, а не обутки.— Норовила ударить мужа по голове каблуком туфли.— Может, это какие-то птицы с клювами, а ты заставил меня обуться в них, как в торбаса». Ятчоль разглядывал туфли, сконфуженный, рассерженный, и упрекал жену за то, что она как была чукчанкой, так и осталась чукчанкой. А уж как он хотел, чтобы Мэмэль его потеряла чукотский облик, стала похожей на русскую женщину.

И вот теперь Ятчоль упрекал Пойгина за то, что он перестал быть чукчей, и похвалялся тем, что сам-то он не собирается изменять ничему чукотскому.

— Хватит об этом,— оборвал его Пойгин.— Лучше вспомни свое галипэ. Главное дело не в том — чукча ты, американец или русский, дело в том — какой ты человек...

Ятчоль насупился и сказал с искренним страданием:

— Не знаю, какой я человек, знаю только, что я несчастный...

Пойгин снял со спинки кровати полотенце, вытер вспотевшее от чая лицо, спросил несколько озадаченно:

— Наверное, понял, что люди тебя не любят, а? Потому и вселилась мысль, что ты несчастный...

— Нет, в меня вселилась мысль, что люди не боятся меня, как боялись когда-то. Надо мной смеются. Я даже привык к тому, что я — человек, вызывающий смех. Другой раз нарочно дурачусь, чтобы посмешнее было. Тогда люди смеются и, кажется, меньше ненавидят меня.

Пойгин печально покачал головой, словно сочувствуя собеседнику, и сказал:

— Да-а-а, хотел быть страшным, а стал смешным.— Улыбнулся торжествующе.— Хорошо-о-о-о. Очень хорошо-о-о-о. Пожалуй, за всю жизнь ты первый раз сказал мне самое приятное, что я хотел бы слышать от тебя. Особенно теперь... перед моей великой перекочевкой.

— Ну, ну, радуйся.— Ятчоль яростно подул на блюдце с чаем.— Зубы когда-то у меня были. Крепкие зубы. Правда, тогда тоже посмеивались надо мной, но тайно... в рукав кухлянки посмеивались, рукавицей прикрывались, чтобы я не заметил. Потом повыбивала жизнь мои зубы... А я-то думал, что к своим костяным еще и железные добавлю.— Ятчоль ощерился, постучал пальцем по съеденным зубам.— В шаманстве тебя уличал, думал, гожусь для новых порядков, надеялся, что русские большим очочем меня сделают. Не сделали...

— Не сделали,— охотно подтвердил Пойгин.

— Все началось с Чугунова. Думал, глупый он человек, совсем торговать не умеет. А что получилось?

— Ай-я-я-яй, как все скверно получилось,— с притворным сочувствием подыгрывал Ятчолю Пойгин и даже сокрушенно покачал головой.

— Не люблю я его...

— Не любишь?

Пойгин, издевательски улыбаясь, какое-то время разглядывал Ятчоля в упор. Потом лицо его помягчело, умиротворилось, глаза отрешенно уставились куда-то вдаль, чуть выше головы собеседника. Странный взгляд. Ятчолю даже хотелось оглянуться, но ему было страшновато: что, если Пойгин уже увидел ту черту, за которой начинается Долина предков? Неужели он не боится великой перекочевки? И почему это он, Ятчоль, так часто стал думать с содроганием о смерти? Не

уверен, что уйдет к верхним людям, боится, что провалится под землю, к ивмэнтунам?

Ятчолю очень хотелось прервать затянувшееся молчание, но Пойгин все еще неподвижно разглядывал что-то такое, что было видно только ему одному. Суеверный страх заползал в душу Ятчоля. «Проклятый шаман»,— подумал он и тут же испугался, что Пойгин угадает его мысль. Осторожно прокашлявшись, сказал с видом угодливым и льстивым:

— У тебя глаза такие, будто видят что-то для меня недоступное. Что ты видишь?

Пойгин с огромным трудом очнулся, но, кажется, вопроса Ятчоля не понял, спросил о своем:

— Значит, не любишь ты Чугунова? А скажи, к кому ты за всю свою жизнь хоть один раз по-настоящему мягким сердцем располагался?

— Мягким сердцем?

— Да.

— Что это такое?

— Вот видишь, ты даже не знаешь. Это... когда ты кроме себя чувствуешь... будто еще и другой человек в тебя вселился... Сидит в тебе и ждет...

— Чего ждет?

— Твоей души.

— Он что, как злой дух, за твоей душой охотится?

— Нет. Он не злой дух. Он — мать. Он, возможно, твой отец. Он, допустим, твой друг. Он тот, кем была для меня, допустим, Кайти...

— Не знаю, ждала ли моей души Мэмэль. Если и ждала, то как ждет душу человека злой дух.— Ятчоль рассмеялся своей шутке и добавил, ткнув себя пальцем в грудь:— Нет, я — это я, и только я. И никто другой во мне никогда не сидел и ничего не ждал.

— Значит, ты всегда был не обширнее собственной груди.— Пойгин болезненно поморщился, сделал такое движение, будто хотел высвободиться из какой-то щели.— Узко, тесно. Дышать невозможно.

— Как это человек может быть обширнее самого себя?— Ятчоль недоуменно помигал, прикладывая руки к пухлой груди.

— Когда человек вселяет в себя других людей... он... настолько становится обширным внутри, что кажется, там может стая лебедей с одной стороны далеко-далеко показаться... пролететь под солнцем... и в другой стороне в небе исчезнуть. А люди, которых ты вселил в себя... смотрят на тех лебедей

и тебя самого в себя вселяют. Пролетали в тебе хоть один раз такие вот лебеди?

— Это шаманское наитие порождает в тебе подобные видения. Жаль, что ты раньше об этом не говорил... было бы вечественное доказательство. Я не шаман. Внутри меня утроба, и больше ничего. Иногда слышу, как в животе бурчит, вот и все. А может, это медведь во мне ворочается? У тебя лебеди... у меня медведь.— Ятчоль пошлепал себя обеими ладонями по голому животу и снова рассмеялся, премного довольный своей новой шуткой.

Пойгин раскурил трубку и словно забыл о Ятчоле. Уязвленный тем, что собеседник не протягивает ему трубку, Ятчоль закурил свою, спросил с ядовитой усмешкой:

— Ты и к Антону сердцем располагаешься? Он тоже сидит в тебе и ждет?

— Сидит, сидит,— не выходя из состояния отрешенности, подтвердил Пойгин.

— Может, вспомнишь, как плакала твоя дочь, когда он ее бросил?

Пойгин только на какой-то миг кинул в сторону собеседника пронзительный взгляд и снова застыл в отрешенности, не вынимая трубку изо рта.

Было, было такое. Несколько лет тому назад. Уехал Антон в Москву со своими бумагами о солнце, чтобы сделать их ученой книгой. Полгода ждали его, еще полгода. Кэргына ходила сама не своя, однажды призналась отцу: «Наверное, мы уже никогда не увидим Антона».— «Как не увидим? — спросил Пойгин потрясенно.— Он что, заболел, умирает?» — «Нет, не заболел. Он, наверное, ушел к другой женщине»,— с печальной улыбкой сказала Кэргына и заплакала. Лицо Пойгина потемнело, будто скала в дождь. Ушел он в тундру и бродил в одиночестве целые сутки. Антон прочно вселился в него, и потому этот русский парень мог представить себе, каков простор в душе его тестя для той особой лебединой стаи, которая должна бы видеться и ему, как во сне. И вот теперь, блуждая по тундре в угрюмом одиночестве, Пойгин вглядывался вовнутрь себя и видел уже не вереницу лебедей, а беспорядочную стаю черных воронов. Это не было ненавистью, это скорее была глубокая печаль, обида за дочь, за себя, за внуков.

Да, случилось что-то такое нехорошее с Антоном. Но он все-таки вернулся, потому что любил Кэргыну, не мог жить без своих детей, без не заходящего в летнюю пору чукотского солнца, которое он наблюдал уже много лет через таинствен-

ные стекла и трубки на полярной станции. Да и он, Пойгин, тесть его, наверное, был для Антона не чужим человеком, сколько они вместе дум передумали, охотничьих троп исходили, полморя на вельботах измерили.

— А если Антон опять Кэргыпу бросит?— осторожно спросил Ятчоль с улыбкой того притворного сочувствия, за которым еще откровеннее оскаливалось мышиными зубами злорадство.

— Почему ты радуешься, когда делаешь людям больно?— тихо спросил Пойгин, не уходя взглядом от какой-то бесконечно дальней точки, которую продолжал разглядывать отрешенно.

— Я не верю твоему Антону. Он такой же, как Чугунов. Может, и Чугунов сидит в тебе и ждет твоих лебедей?

— Сидит, сидит.

— Ну ладно, пусть будет так. Зато я никогда в тебе не сидел и ничего не ждал. А вот скажи... Мэмэль моя вселялась в тебя?

— Во мне всегда была Кайти...

— Да, твоя Кайти, пожалуй, вселялась и в меня.— Ятчоль вздохнул с таким откровенным чувством тихой, искренней радости, что Пойгин опять очнулся и какое-то время разглядывал собеседника с крайним изумлением.— Да, Кайти вселялась в меня,— повторил Ятчоль, испытывая все ту же радость, однако нисколько на сей раз не стараясь сделать собеседнику больно: это была не месть, это было человеческое признание.— Так что и моя утроба становилась небом и долиной, и там пролетали какие-то птицы. Может, и не лебеди, но и не просто жирные морские утки.

Пойгин трудно прокашлялся, будто слова, которые он собирался произнести, вдруг стали рыбьей костью. Переждал, когда рыбья кость опять станет словом, и сказал:

— Что ж, Кайти есть Кайти. Даже у камня стучало сердце, когда он смотрел на нее. Жаль, что она не знала Линьлиня. Впрягла бы его в парту, чтобы принять меня за земной чертой печальной страны вечера...

Ятчоль почувствовал, как спину его поскреб острыми коготками мороз. А Пойгин кинул на него взгляд, наполненный страдальческим упреком, и заговорил о другом:

— Ты вот признался, что Линьлинь во сне говорил с тобой человеческим голосом. О чем был тот разговор?

Ятчоль потупился, долго набивал трубку табаком, старательно уминая его в медной чашечке. Наконец отозвался:

— Плохо помню. Голос у него, пожалуй, был твой.—

Вдруг вскинул голову, разглядывая собеседника тем подозрительным взглядом, в котором все заметнее обнаруживала себя злая сила обличения.— Э, постой-постой, не ты ли обернулся в Линьлиня и явился ко мне? Вот это шаманство! Вот это вечественное доказательство!

— Нет, то был не я. Наверное, осталась еще в тебе совесть. Пусть с мышь величиной, однако осталась. Мышь эта и обернулась Линьлинем. Теперь... когда волк умер... скажи... испытал ли ты мучения, зная, что ослепил его?

— Не скажу. Кайти сказал бы... Тебе не скажу.

Пойгин медленным жестом показал в угол комнаты:

— Повернись туда. Там незримо сидит Кайти. Скажи ей...

Ятчоль побледнел. Он не хотел смотреть туда, куда показывал Пойгин, но какая-то сила заставила его повернуться. Чтобы одолеть чувство суеверного страха, он заставил себя разозлиться:

— Ты брось меня пугать своим шаманством!

— Все-таки испугался?

— Нисколько!

— Ты мне никогда не рассказывал, как ослепил волка. Но я догадываюсь. В твоей кладовке я нашел обрывок аркана... От него шел запах волка. Я почуял это и все понял. Ты связал волка этим арканом. Сначала накинул петлю ему на шею и потом...

— Не надо!— умоляюще попросил Ятчоль, снова бледнея.— От тебя ничего невозможно скрыть...

Опять долго длилось молчание. Только было слышно, как у собеседников сопели трубки.

— Я почувствовал беду Линьлиня, когда сам уже прощался с жизнью,— первым заговорил Пойгин, стараясь не смотреть на Ятчоля и тем самым показывая, какое он испытывает к нему отвращение. Зябко поежился, вспоминая, как было ему холодно и смертельно тоскливо на плывущей в никуда морской льдине.

Оторвалась часть ледяного припая. Пойгина унесло на льдине в открытое море. Мертвый свет луны едва пробивал мглу, которой исходила черная морская вода. Волны неумолчно били в днище льдины. Сначала она была огромная, потом раскололась надвое, еще раз раскололась на три части. Пойгин остался едва ли не на самой малой льдине, боясь расстаться с десятком нерп, которых он успел подстрелить и вытащить на лед. Это была пища. Соорудил из нерпичьих туш что-то наподобие маленького убежища, залепил дыры мокрым

снегом. В тот его выезд к разводью в упряжке не оказалось Линьлиня: волк приболел. Упряжка осталась у ледяного тороса, у которого Пойгин закрепил нарту. Выли собаки, почуяв недоброе, когда их хозяина понесло в море, рвались из алыков. Пойгину чудилось, что он слышит и вой волка, донесшийся с далекого берега.

Пойгину удалось убить еще до десятка нерп, и он расширил свое убежище, застелил его нерпичьими шкурами, которые на морозе, казалось, превратились в жесть. Плыла в никуда льдина. Дымилась пронизанная смутным лунным светом мгла. Порой открывались взору дрожащие звезды, отражались расплывчато в черной воде. И Пойгину казалось, что это светятся сквозь воду глаза Моржовой матери и ее детей. Вглядывалась Моржовая матерь в человека и, видно, гадала: что же с ним сделать? Если был человек слишком беспощадным к ее детям, то надо ударить головой в днище льдины, расколоть — пусть погрузится он в пучину, представ перед ней один на один. Если чтил человек Моржовую матерь, не убивал беременных самок, не убивал моржовых детенышей — пусть плывет на льдине. Пройдет время, и Моржовая матерь повернет ветер в сторону берега — пусть человек надеется, что достигнет земной тверди.

Проступают смутно в черной воде глаза Моржовой матери и ее детей. Что в них — приговор или поддержка? Мгла клубится тяжело, безысходно. И Пойгину кажется, что так вот выглядит теперь его угнетенная страхом душа. Все тело пробивал озноб. А потом начала колотить Пойгина лихорадка. Мерцала тусклыми бликами от зеленого лунного света рябь на волнах. И Пойгину казалось, что это от его лихорадки дрожит даже море. Дрожали звезды, слабо пробиваясь сквозь мглу, и Пойгину чудилось, что это им передалась его лихорадка. И, наверное, берег вдали трясется от его лихорадки. И мечется Линьлинь на привязи, землю лапами скребет, вскидывает морду и воет на луну, заставляя поселковых собак задыхаться от лая.

В бреду Пойгин иногда видел, что Линьлинь плавает в морской пучине рядом с Моржовой матерью; и взгляд его преданных глаз, пробивающийся сквозь морскую толщу воды, умоляет не отчаиваться.

Но отчаянье затопляло Пойгина, как затопило весь мир бескрайнее море. Одолевали галлюцинации. Явственно слышался вой Линьлиня, протяжный и жалобный. Порой волк скулил, как собака, которой было мучительно больно. Как знать, может, именно тогда, когда Ятчоль совершал над вол-

ком свое страшное зло, Пойгин и слышал этот жалобный скулеж. И плакала Моржовая матерь, как плачут моржихи, прижимая ластами к груди свое бездыханное дитя. То в одном, то в другом месте выныривала ее голова. И тогда море ухало от тяжкого вздоха Моржовой матери. Волк и Моржовая матерь для Пойгина становились чем-то единым, вызывающим пронзительную жалость. Порой Пойгину хотелось броситься головой в морскую пучину, чтобы и самому стать частью того, чем теперь представлялись ему Моржовая матерь и волк. Но в такие мгновения возникала тенью Кайти. Блуждала невесомо в клубящейся мгле Кайти и поднимала предостережительно палец, мол, не двигайся с места, одолей безумие, иначе бросишься в воду, погибнешь.

И, наверное, Моржовая матерь все-таки признала в Пойгине того человека, которого надо спасти, повернула к берегу ветер. Пойгин выбрался на твердь далеко от своего поселка, но, к счастью, попал в стан гидрологической экспедиции. На вертолете отправили его в Певек. Месяц он пролежал в больнице. И когда прибыл домой, то первой вестью...

Э, лучше об этом не вспоминать. Пойгин повернулся к Ятчолю боком, глядя на него с откровенной ненавистью. Помнится, тогда он едва не привел в дом Ятчоля волка, чтобы повелеть ослепленному зверю впиться зубами в горло его мучителя. Но кровь человека, пролитая зверем, была бы знаком недобрым, а потому не имеющим в себе необходимого начала справедливости. Липьлинь хотя и был бы отомщенным, но Ятчоль не оказался бы в полной мере наказанным: неустыженная совесть его погибла бы вместе с его телом. А волку люди вменили бы в вину гибель человека. Нет, пусть Ятчоль узнает другое возмездие: да будет ему известно, что Пойгин выходит на «тропу волнения», чтобы наказать скверного!

— Ты заставил меня своими поступками два раза выходить на тропу волнения,— печально сказал Пойгин, по-прежнему не глядя на собеседника.— Что ты при этом чувствовал? Только говори правду...

Ятчоль медленно поднял тяжелое лицо на Пойгина, долго ждал встречи с его взглядом. Да, Ятчолю почему-то очень хотелось посмотреть в глаза Пойгина. Он еще не знал, что ему скажет, но старался внушить, что он очень искренний. И Пойгин посмотрел ему в глаза. Отвернулся, что-то напряженно обдумывая, и опять посмотрел в глаза Ятчолю, уже умиротворенно:

— Можешь ничего не говорить. По глазам вижу... что у тебя, пожалуй, есть еще совесть. Правда, она не больше мы-

ши, но есть. И если во сне твоя мышь превратилась в Линьлиня... то ты еще немножко человек.

— Немножко,— передразнил Ятчоль и тут же осекся, чувствуя, что в этом случае не следовало бы ему высказывать непочтение Пойгину.

— Вот и все. Я спросил у тебя о главном. Теперь иди. Не знаю, быть ли тебе в солнечной Долине предков, но я готов поспорить с тобой еще и там.— Пойгин повелительно показал рукой на дверь.— Иди. А мне надо еще кое-что вспомнить.

Когда Ятчоль ушел, Пойгин лег на кровать, заложил руки под голову. Да, до весны они с Кайти побывали еще в трех стойбищах чавчыват — оленьих людей, потом вернулись на берег. Кажется, все беды остались позади, родители Кайти помирились с Пойгином, похитившим их дочь. Однако жизненная тропа опять повела их к новым превратностям...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

То были годы, когда на Чукотке впервые появились советские фактории. Однажды к береговому стойбищу Лисий хвост пришел пароход, из которого выгрузили деревянные щиты круглого дома, похожего на ярангу. Это и была фактория. Собирал дом вместе с матросами, а потом торговал в нем русский человек Степан Степанович Чугунов. Был он молод, могуч сложением, черноус, веселого и доброго нрава. Чукотского языка он не знал и потому не мог объяснить чукчам, в чем заключалась его высокая миссия. В день открытия фактории он собрал чукчей и произнес речь. Из всех чукчей поначалу он выделил Ятчоля, приметив, что тот носит рубаху, знает несколько русских слов. Не догадывался тогда Чугунов, что перед ним не только его торговый соперник, но и нехороший человек, который принесет ему впоследствии немало зла.

— Ну, вот что, Яшка,— по-своему нарек Ятчоля заведующий факторией,— донеси с полнейшим чувством, голубарь, каждое мое слово... Впрочем, вряд ли получится. Не шибко ты крупный знаток русской речи. Донеси хотя бы тысячную долю того, что я хочу сказать, чем полна моя душа. Понял?

Ятчоль подобострастно закивал головой:

— Да, да, я понимает.

Пойгин сидел на корточках у самой двери, позади всех, с видом замкнутым и мрачным: ему не нравилось, что русский торговый человек точно так же, как американцы, явно расположен к Ятчолю.

Степан Степанович прошелся за прилавком, показал на полки, заполненные товарами, и сказал, громыхая густым басом:

— Скажи им, дорогой мой Яшка, что это не просто советские товары — шило, мыло и всякое там прочее. Это по-ли-ти-ка! Вас тут, понимаешь ли, грабили американские купчишки... да и русские, отродье царского режима, были не лучше. А мы их вот так, крест-накрест, пауков-толстосумов, перечеркнем к ядреной бабушке! Перечеркнем своей кристальной

честностью! Переводи, Яшка, только, пожалуйста, без ядреной бабушки, это уж так, понимаешь ли, в сердцах у меня вырвалось. Я же культуру вам должен нести, свет. В этом миссия моя, высокая миссия! Я не просто, понимаешь ли, торговый работник, я тут представитель новой эры. Насчет эры я, может, хватил высоко, не понять пока вам этого прекрасного слова. Но ничего, я вас обучу. Мы еще тут кружок политграмоты откроем. Переводи, Яшка!

Ятчоль, сидя па фанерном ящике, изо всех сил пытался уразуметь, о чем говорит русский, но даже в малой степени не догадывался о смысле его бурной и страстной речи. А люди видели, что русский обращается именно к Ятчолю, ждали, что тот в конце концов объяснит, о чем хочет сказать усатый русский.

— Почему он так громко кричит?— спросил старик Акко.— Может, считает, что мы глухие? Сначала подумал — бранится, но по лицу непохоже, глаза добрые.

— Я так полагаю, что он перед началом торговли шаманит,— предположил тесть Пойгина Уквугэ.

— Ну что же ты молчишь? Переводи, Яшка,— все тем же громким голосом продолжал Чугунов.— Ну, хоть чуть-чуть... в общих чертах растолкуй...

Ятчоль с важным видом раскурил трубку, встал с ящика, прокашлялся. Чугунов, присев на прилавок, с нетерпением и величайшим любопытством разглядывал лица чукчей, надеясь, что сейчас, как только Ятчоль переведет хоть приблизительно его слова, появятся на лицах улыбки, раздадутся голоса одобрения.

— Русский просит меня, чтобы я стал его помощником,— важно сказал Ятчоль.— Он всех предупреждает, чтобы вы относились ко мне с почтением. Но я еще не знаю, стану ли его помощником. Мне надоели американцы, а теперь вот новый пришелец...

Услышав слово «американцы», Степан Степанович соскочил с прилавка, пристукнул по нему кулаком.

— Верно, Яшка! Значит, понял, что я толкую про американцев. Наконец-то мы их попросили убраться восвояси! Шутка сказать, восемнадцать годков исполнилось Советской власти, а они тут на своих шхунах шастают. Теперь по-другому заживем мы с вами. Главное — честность, честность и еще раз честность! Советская власть весь мир покорит не чем-нибудь, а вот именно честностью!

Ятчоль выждал, когда успокоится русский, и продолжил свою лукавую мысль:

— Так вот я и говорю... надоели мне американцы. Вы думаете, почему я им помогал? Чтобы всех вас хоть немного охранить от обмана. Без меня они даже подошвы с ваших торбасов на ходу сдирали бы...

— По-моему, ты только этому у них и не научился,— съязвил Пойгин.

Слова его вызвали смех. Чугунов тоже засмеялся радостно, полагая, что у него возникает с чукчами самый сердечный контакт.

— Молодец, Яшка! Значит, все-таки донес, донес главное. Если радуются люди моим словам, значит, миссия моя начинается славно.

Ятчоль ткнул в сторону Пойгина пальцем и сказал Чугунову:

— Пойгин шаман. Пойгин плёка!

— Шаман, говоришь? А ну, ну, где он? Это даже очень любопытно... Тот вон, у самой двери? Странно, а он мне, понимаешь ли, как-то приглянулся. Вполне с виду симпатичный мужчина. И лицо серьезное. А рядом с ним кто?— указал на Кайти.— Удивительно милая женщина. Впрочем, суть не в женщине. Мне, понимаешь ли, про это и думать ни к чему. У меня высокая миссия. Если начнешь на женщин заглядываться... Ты это опусти, Яшка, опусти про баб. Переводи основное.

Ятчоль понял, что русский опять разрешает ему говорить, повернулся к Пойгину:

— Ты лучше бы откусил свой язык и выплюнул собакам. Ты лучше молчи. Тебе известно, что я все время из одного конца в другой по берегу езжу. Все самые новые вести всегда первому мне в уши вползают. Есть одна для тебя самая страшная весть. Шаманов русские будут изгонять, как самых злых духов. И этот вот усатый русский за тебя первого возьмется...

— Если он станет твоим другом, то мне он, конечно, будет врагом.

— Странно, почему тебя перебивает этот серьезный мужчина?— спросил Степан Степанович, выходя из-за прилавка. Подошел к Пойгину, присел рядом с ним у стены на корточки.— Ну так что, приятель, закурим, что ли?— Протянул Пойгину папиросу.— Неужели ты шаман? Я их как-то по-иному, понимаешь ли, представляю. По-моему, мы с тобой поладим. Дай мне хоть чуть-чуть твоему языку научиться, я тебя за неделю перекую.

Чувствуя страшную неловкость, Пойгин разглядывал па-

пиросу, напряженно улыбался; он догадывался, что русский, кажется, выказывает ему дружелюбие, и это было приятно ему. Почувствовав, как прижалась к нему плечом Кайти, глянул ей в глаза, снова повернулся к русскому и улыбнулся уже откровеннее.

— Ты вот что, приятель, уразумей,— продолжал Степан Степанович с добродушным назиданием,— уразумей одно. Если ты не эксплуататор — мы с тобой действительно поладим. Темноту твою, веру во всяких там ваших чертей, именуемых злыми духами, мы как-нибудь одолеем. Когда я сюда уезжал... меня инструктировал сам секретарь крайкома. В Хабаровске, понимаешь ли, дело было. Чуткость, чуткость и еще раз чуткость! Никаких перегибов! Я коммунист, понимаешь? Вот он, партийный билет.— Извлек из кармана гимнастерки красную книжечку.— Вот видишь, физиономия моя на фотокарточке.

Пойгин передал незажженную папиросу Кайти, покрутил в руках красную книжечку, понюхал. Чугунов рассмеялся:

— Странно, никогда еще не видел, чтобы партийный билет нюхали. Нечего нюхать, друг. Знай, у меня к вам душа чистая, без постороннего запаха. Будем друзьями. Конечно, при условии, что ты не куркуль. Ничего, приглядимся, разберемся... Давай же в конце-то концов закурим.

Осторожно взяв из рук Кайти папиросу, Чугунов отдал ее Пойгину, зажег спичку.

— Ну, ну, смелее. Вот так, как я. Вижу, к папиросе совсем непривычный. Трубки все смолите, и мужики, и бабы, и, кажется, даже дети. Будет у меня с вами мороки.

И когда Пойгин раскурил папиросу, Чугунов встал, прошел за прилавок, прихрамывая.

— За пять минут ноги отсидел, а вам хоть бы хны. Видать, привычка. Переведи, Яшка, поаккуратнее хоть немного из того, что я сказал этому серьезному человеку.

— Пойгин шаман, Пойгин плёка,— повторил Ятчоль, явно обиженный тем, что русский торговый человек ищет расположения у его неприятеля.

— Что ты, как попугай, заладил: шаман да шаман. Поживем, разберемся. Ты смотри, не нагороди чепухи от моего имени.— Степан Степанович погрозил Ятчолю пальцем.— Ты уж, пожалуй, лучше молчи, а то действительно попрешь отсебятину. Я жестами остальное доскажу.

Чугунов с чувством приложил руку к сердцу, низко поклонился. Помедлил, соображая, что можно изобразить еще, затем крепко сцепил руки, потряс над головой и объявил:

— На этом нашу торжественную часть по случаю открытия советской фактории, где вас никто и на полкопеечки не околпачит, считаю закрытой. Приступим к практическому делу. Вот у меня в полнейшем порядке товары. Чай, табак, мыло, патроны, напильники, посуда всякая. Есть даже здоровенный котел.

Чукчи заулыбались, устремились к прилавку, глаза их блестели, широкие улыбки выражали восторг.

— А вот карабин. Наш русский карабин. Он ничуть не хуже американского винчестера. Сейчас я вам это докажу со всей наглядностью.

Чугунов вышел на волю в одной гимнастерке, несмотря на холодный осенний ветер.

— Вон видите, на перекладине ваших вешалов для рыбы стоит тринадцать консервных банок. Сам специально установил и песком набил, чтобы ветром не сдуло. А сейчас посмотрите, как стреляет бывший чоновец.

Вскинув карабин, Степан Степанович выстрелил, сшибая консервную банку.

— Вот каков он, наш карабин. Я могу и в спичечную коробку попасть. Ну а вы и подавно. Вы, говорят, тут можете даже из кочерги стрелять, как из винтовки. Ну, кто из вас смелый?— Отыскав взглядом Пойгина, протянул ему карабин:— Покажи, орел, каков твой глаз, иоди, в комара за километр на лету попадешь.

Пойгин принял карабин, долго его осматривал, наконец взвел затвор, неуловимо вскинул и выстрелил, сшибая вторую банку с вешалов.

Что-то радостное кричали чукчи, прыгали и смеялись их детишки. Один Ятчоль с отчужденным видом стоял чуть в стороне: его коробило, что русский торговый человек позволил Пойгину выстрелить первому.

— А ну, Яшка, отличись ты!

Ятчоль помедлил, затем с важным, надутым видом взял карабин, осмотрел, поставил прикладом на землю, определяя его высоту. Карабин был короче винчестера, а стало быть, и шкурок, подумалось Ятчолю, в оплату потребуется меньше. Пожалуй, он его сегодня же купит. Пусть к пяти винчестерам добавится еще и карабин.

— Что ты карабин примеряешь, будто костыль? Стреляй, Яшка, да смотри, не промахнись.

Ятчоль выстрелил, и еще одна консервная банка слетела с вешалов. Когда были расстреляны все мишени, Чугунов опять распахнул дверь фактории:

— Прошу! Я готов начать нашу советскую торговлю.

В пушнине Чугунов в то время еще мало что понимал и решил все шкуры принимать по самому высшему сорту. Первым с добрым десятком песцовых шкур явился Ятчоль.

— Ого! Вот это ты, брат, поднакопил мягкого золотишка!— восхищенно воскликнул Степан Степанович, встряхивая шкурку песца. Подул на ворс, припоминая, чему учили его в Хабаровске на курсах по пушному делу.— Да ты у меня, Яшка, всю факторию скупишь. Чего ты хотел бы приобрести?

Ятчоль показал на карабин. Поставив его на прилавок торчком, попросил старика Акко попридержать за ствол. Поглядывая лукаво на Чугунова, принялся укладывать шкурки песцов, стараясь, чтобы одна не слишком придавливала другую.

— А ты укладывай шкурки так же, как заставляешь укладывать нас,— сказал насмешливо Пойгин и придавил шкурки ладонями, спрессовывая стопку.

Ятчоль вскинул кулаки, закричал до натуги в лице:

— Я не с тобой торгую! Ты всегда стараешься мне досадить!

Чугунов удивленно наблюдал за происходящим, наконец догадался, в чем дело.

— Понимаю, вы думаете, что я буду торговать на американский манер. Вот сколько мне надо за карабин... одну, всего одну-единственную шкурку.— Вскинул указательный палец и повторил:— Одну, и не больше.

Когда чукчи поняли, что за карабин торговый человек берет всего лишь одну шкурку песца, то никак не могли поверить, что над ними не шутят. Потом бросились к ярангам, чтобы пустить в ход неприкосновенный запас пушнины, припрятанный на самый тяжкий случай.

Ятчоль, потрясенный необычайно выгодной торговой сделкой, поднял руку с растопыренными пальцами, потряс перед лицом Чугунова:

— Еще карабин!

— Зачем тебе два? О, даже не два, а пять! Да ты что, Яшка, никак одурел?

Красный от возбуждения, боясь, что карабины раскупят другие охотники, Ятчоль потряс пятерней и снова потребовал:

— Пять! Пять карабин!

— Э, нет, голубчик, не выйдет,— урезонивал Степан Степанович вошедшего в раж покупателя.— Уж не думаешь ли

ты карабинчики перепродавать? — увесисто погрозил пальцем.— Если узнаю, что занимаешься спекуляцией,— не взыщи! Я, понимаешь ли, добр, но крут.

Ятчоль долго смотрел в лицо Чугунова, пытаясь понять странного купца. Не сумасшедший ли он? Скорее всего очень хитрый, видно, есть в том какой-то тайный умысел, что он взял за карабин всего лишь одного песца...

2

Еще не скоро разобрался Чугунов, кто же такой по своей сути Ятчоль. А тот после долгих размышлений пришел к выводу, что русский решил обосноваться в стойбище надолго и потому не нуждается, как это было с заезжими американскими купцами, в его помощи. Это очень опечалило Ятчоля. Однако он изо всех сил старался понравиться русскому, приглядывался к его торговле, порой в душе смеялся над ним, а жене говорил:

— Не знаю, он или очень глупый — почти задаром отдает товары, — или хитрый. Но в чем его хитрость? Не хватает моего рассудка понять, какие он расставляет капканы.

Внимательно следил Ятчоль за отношением Чугунова к Пойгину. И когда стал примечать, что Чугунов как-то особенно смотрит на Кайти, сказал жене загадочно:

— Если Кайти больше понравится русскому, чем ты... Пойгин станет его другом, а не я. Ты понимаешь?

Мэмэль поняла. К тому же не могла она примириться с тем, что Кайти считалась первой красавицей на всем побережье. Любила Мэмэль поговорить о своих женских прелестях, которые, по ее мнению, не оставляли равнодушными ни одного мужчину. Украшений у нее было не счесть: расшитые бисером ремешки опоясывали ее руки выше и ниже локтей, снизки бус украшали шею и висели в мочках ушей, несколько медных пуговиц с двуглавыми орлами вплела она в черные косы.

После намека мужа, что ей необходимо очаровать русского торгового человека, Мэмэль долго сидела перед зеркальцем в пологе своей яранги, придирчиво разглядывая толстощекое румяное лицо. Зеркальце, выторгованное Ятчолем у американцев, было особой ее гордостью. Ни одной женщине стойбища не удавалось заглянуть в него безвозмездно: за это полагалось или разделать нерпу, или раскроить шкуру, пошить торбаса, рукавицы.

...В маленькую комнатушку Чугунова Мэмэль вошла бес-

шумно, сняла малахай, уселась на корточки возле порога. Степан Степанович брился. Увидев его намыленное лицо, Мэмэль рассмеялась, лукаво играя глазами.

«Вот уж не вовремя явилась гостья»,— подумал Степан Степанович, торопясь добрить подбородок. Порезавшись, чертыхнулся. Увидев кровь на подбородке русского, Мэмэль участливо покачала головой, поднялась, пытаясь пальцем дотронуться до ранки.

— Э, нет, лучше не надо, — благодушно запротестовал Чугунов.— Я, понимаешь ли, лучше остановлю кровь квасцами.

Мэмэль опять уселась на корточки у двери. Приведя физиономию в порядок, Чугунов откинулся на спинку стула, внимательно вгляделся в гостью.

— Ну что, милая, купить что-нибудь надо? Пойдем. Хотя у меня вроде бы обеденный перерыв. Жрать, как пес, хочу. Жаль, нет у меня своей поварихи... Может, ты пойдешь? Обыкновенную котлетку состряпать сможешь? Нет, конечно, уж лучше я сам буду обеды варганить. А вот уборщица мне по штату полагается. Но, пожалуй, взял бы не тебя, а Кайти. Кажется, удивительно опрятная женщина.

Услышав имя Кайти, Мэмэль надулась.

— Ну, ну, пойдем в магазин,— Степан Степанович открыл дверь, которая вела из его комнаты прямо за прилавок.— Проходи сюда. Только бы мне надо открыть наружную дверь, а то, понимаешь ли, двусмысленная возникает ситуация. Закрылся с бабой в магазине. Тут такое могут подумать, что свет не мил станет.

Степан Степанович провел Мэмэль в магазин, открыл наружную дверь.

— Ну, что тебе, чаю, спичек, табаку?

Мэмэль смущенно переступала с ноги на ногу и, как понял Чугунов, ничего покупать не собиралась.

— Странно, понимаешь ли, весьма странно,— сказал он озадаченно.— Не охмурить ли ты меня собираешься? Улыбка уж больно у тебя томная.— Показал на товары, разложенные по полкам:— Ну, выбирай, что тебе надо. Может, иголки?

Чугунов достал пакетик иголок, протянул Мэмэль. Выхватив пакетик, Мэмэль зарделась и, радостно рассмеявшись, спрятала их за пазуху керкера.

— Ну а платить кто будет? Белый медведь? Оно конечно, иголки — пустяк, однако...

Степан Степанович недоговорил, чувствуя смущение от присутствия улыбающейся женщины.

— Ну, если больше ничего не надо, то иди, а я пойду мяса себе поджарю.

Выпроводив Мэмэль, Степан Степанович вошел в свою келью, растянулся на кровати, тоскливо глядя в ослепленное стужей, бельмастое окно. Как вышло, что он оказался здесь, на краю света? Ну, прежде всего попал в отборную десятку. В крайкоме партии ему так и сказали: из полсотни кандидатур выбрали десять. Что ж, он солдат, если приказано... Однако была еще одна причина, и очень существенная. Его жена Рита ушла к другому. Это был для Чугунова такой удар, что он убежал бы к самому дьяволу, только бы хоть немного прийти в себя. К торговле он никакого отношения не имел, работал прорабом на строительстве лесозавода и потому немало изумился, когда подступились к нему с таким предложением. Впрочем, и остальные из отборной десятки не все были торговыми работниками. Секретарь крайкома сказал им, напутствуя в дальний путь: «Прилавок — это, конечно, важно, очень важно, вы должны его освоить со всей ответственностью. Но ваш прилавок будет еще и трамплином, и трибуной. Многое вам придется делать от имени и во имя Советской власти...»

«Учтите, — говорил секретарь, — в тех местах, куда вы едете, вашими предшественниками были, как правило, отпетые авантюристы и хищники. У чукчей есть свое представление об этих людях. Ради дорогой пушнины, ради легкой наживы творились самые гнусные дела. И вот появляетесь вы — представители новой власти. Появляетесь с иной душой, иной психологией, с вашей человечностью, честностью. И это должно быть воспринято чукчами как спасение. За вами придут другие — учителя, врачи. Уже пошли в наиболее крупные поселения. Но вас мы направляем в самую глушь».

Секретарь помолчал, почему-то задержав взгляд на нем, на Степане Чугунове. Может, вдруг засомневался, достоин ли? А может, наоборот, на него особенно понадеялся?

«Я буду с вами откровенным, — продолжал напутствовать секретарь крайкома. — Вам придется нелегко. Вы не знаете чукотского языка. Надо его учить. Вы не знаете местных обычаев. Надо усваивать их. Вам потребуется особенное мужество даже в том, чтобы не захандрить, элементарно не опуститься. Не дай бог, если вы запьете. Север — он подминает слабовольных, как белый медведь. Вы должны победить этого страшного медведя».

Да, секретарь был откровенным. Вон он, косматый белый

медведь, беснуется за окном. Как быстро наступила зима! Медведь этот незримо вкрался и в душу чувством одиночества. Эх, Рита, Рита, оказались бы здесь вдвоем — рай был бы в этом шалаше. А так — сущий ад. Холодно. Поддувает откуда-то снизу. Стены заиндевели. Оленьими шкурами обить их, что ли? Посуда не мыта. Похоже, начинает подминать тебя белый медведь, опускаешься, Степан Чугунов, сукин ты сын...

Ругал себя Чугунов, а сам не мог сдвинуться с кровати. Да и ругался как-то вяло, можно было подумать, что душа его замерзает. Господи, хотя бы сверчок какой завелся, что ли...

И вдруг дверь отворилась, и на пороге опять возникла Мзмзль. И что-то непонятное шевельнулось в душе Чугунова: он и обрадовался, что порог его переступил человек, мало того — женщина, и, кажется, испугался, даже разозлился: «Только этого не хватало».

Чугунов рывком поднялся с кровати.

— Тебе что, иголок мало? Ты уж, голубушка, понимаешь ли, не ставь меня в дурацкое положение. Не знаю, насколько болтливы здешние женщины, но боюсь, что они любят посудачить так же, как все бабы на свете.

Мзмзль, улыбаясь, несмело подошла к Чугунову, осторожно погладила по его нечесаному, давно не стриженному чубу. И потемнело в глазах Степана Степановича.

— Отойди от меня, чертова баба!— вдруг закричал Чугунов, сатанея.— Я же мужик, понимаешь, мужик!..

Мзмзль испуганно отпрянула, потом опять заулыбалась по-женски вызывающе, медленно вытащила из-за пазухи меховые рукавицы, положила на пол перед ногами торгового человека и быстро ушла.

Чугунов поднял рукавицы, машинально примерил их, бросил на кровать, подумав: «Вот чертова кукла. Чего ей от меня надо? Может, все-таки взять ее в уборщицы?»

И вдруг заорал:

— Я тебе возьму! Я тебе покажу уборщицу!— Схватил засаленную сковородку.— Это что такое?! Когда ты выскребал эту сковородку? А когда пол подметал? Не помнишь! Ну так я тебе, негодяй, напомню!

И, словно чего-то испугавшись, Степан Степанович осторожно присел на кровать, бессмысленно разглядывая сковородку, которую все еще держал в руках: разговаривать с самим собой у него вошло в привычку, но чтобы орать на себя, как на постороннего человека,— это случилось впервые.

И начал мыть, выскабливать свое жилище Степан Чугунов. Вечером, после торговли, расставил несколько ламп в магазине, объявил собравшимся по его зову чукчам:

— Отныне это не только фактория, но и клуб. А может быть, и школа. Я, понимаете ли, не позволю, чтобы меня подмял медведь. Переводи, Яшка. Про медведя можешь промолчать, чтобы не было понято буквально.

Ятчоль, хитро щурясь, поглядывал искоса на свою разнаряженную Мэмэль. А она подсела как можно ближе к Чугунову, улыбалась томно и вызывающе. На сей раз в косах ее, кроме пуговиц с двуглавыми орлами, появилась увесистая пряжка с якорем и, что особенно рассмешило Степана Степановича,— корпус от карманных часов с сохранившимся циферблатом и стрелками.

— Господи, а это зачем? — дотронулся он до странного украшения.

Мэмэль засмеялась, игриво перекинула косы со спины на грудь.

— Ну ладно, хватит красотками любоваться,— угрюмо потупившись, сказал себе вслух Чугунов.— Прослушайте лучше мою политическую информацию. Знаю, что ничего не поймете, но надо же с чего-то начинать! Яшка, сними свой малахай, навостри уши. Может, хоть что-то уловишь... Жаль, что я ничего не захватил с Большой земли для наглядности.

Степан Степанович оторвал большой кусок оберточной бумаги, принялся изображать частокол из дымящихся труб. В свое время у себя на производстве он иногда оформлял стенную газету и больше всего любил изображать заводские трубы, корпуса, домны. Прикрепив «наглядный листок» к магазинной полке, Степан Степанович какое-то время любовался своим художественным творением, затем показал на него широким жестом.

— Вот видите? Это трубы. Высоченные!— Ткнул рукой в потолок.— Под самое небо! А из труб дымище валит. Что это такое? А? Это, Яшка, ин-ду-стри-а-ли-за-ция. Трудное, брат, слово, знаю, что пока ни в жизнь не выговоришь. Но ты в суть вникай и доноси ее людям. Знаешь, какая меня тоска разъедает, что я не получаю нужных сведений о текущем моменте? Хотя бы какую-нибудь районную газетенку почитать, да что там, хотя бы стенную с нашего лесозавода. Во какую махину вымахали! Я про лесозавод толкую. Пилорамы повыше этого потолка. Кроят бревнышки на бруски, на доски за милое почтение. Опилки летят, смолой пахнет, красотища! Сам стоял на пилораме. А еще трактор ле-

совозный освоил. Да, да, Яшка, освоил эту железную громадину! Ревет, трясется от избытка силы, потому как в ней целый табун лошадей заключен! Э, прикоснуться бы мне хотя бы к одному рычагу этой машины. Поверишь, Яшка, зуд в ладонях чувствую, требуют прикосновения к железу. Погиб во мне хороший механик. Смешно просто подумать... Стал, понимаешь ли, работником прилавка. А хотел дела свои прорабские забросить и удариться в механику...

Конфузливо улыбнувшись, Чугунов какое-то время бессмысленно смотрел на свой рисунок, потом сказал сурово:

— Разнюнился, понимаешь ли, и про наглядный листок забыл. Ты уж прости, Яшка, особенно в вышесказанное мною не вникай. Я же, брат, политинформацию хотел провести, а впал в слюнтяйство. Разжалобился в смысле несуразности личной судьбы.

Ятчоль, чуть склонив голову набок, внимательно следил за русским, стараясь уловить тот момент, когда следовало бы что-нибудь сказать людям, якобы понятое им из речи торгового человека. Было уже заикнулся, отчаянно придумывая, что бы такое сказать, но Чугунов предупреждающе вскинул руку.

— Запоминай, Яшка, и все запоминайте наиглавнейшие в нашей жизни слова. Пя-ти-лет-ка! Это такое, скажу вам, словечко, весь мир оно заставило дух затаить! У капиталистов глаза на лоб полезли, ну а у рабочего класса соответственно иная реакция. Радуются трудовые люди темпам Советов. Радуются, потому как тут действует международная солидарность про-ле-та-ри-а-та! Запоминайте, хорошо запоминайте и эти слова. Без них нынче ни одному человеку на земле ни за что не обойтись. Ну а что касается первой нашей пятилетки, то я вам про такой конфуз одного американского буржуя расскажу. Вот послушайте. Постарайся хоть малую малость, Яшка, уразуметь. Напечатали газеты такие его несуразные слова. Если, дескать, большевики выполнят четверть своей пятилетки даже за двадцать лет, то он позволит содрать с себя шкуру и натянуть на барабан! И что же получилось, я вас спрашиваю? Что, Яшка, получилось? Мы выполнили первую пятилетку за четыре года! И не четверть ее, а на все сто! Хотел бы я поглядеть на этого буржуя... содрал он с себя шкуру или нет? Надо бы снять и натянуть на барабан, а то и на ваш бубен! Я бы сам такую дробь выбил на том бубне, что лихорадка всех буржуев насквозь пробила бы! Впрочем, их и так пробивает лихорадка от наших гигантских темпов. Вникните сами: Днепрогэс, Магнитка,

Харьковский тракторный! Вот, вот, смотрите на эти трубы! Смотрите, как мы дали прикурить старому отжившему миру. Запоминайте слова, без которых вам тут тоже уже не прожить. Ин-ду-стри-а-ли-за-ция. Кол-лек-ти-ви-за-ци-я. А-со-ви-а-хим. Словечки непростые, конечно, их так с ходу, понимаешь ли, не выпулишь. Вот попробуй, Яшка, ну скажи вслух пя-ти-лет-ка.

Ятчоль, вытянув шею, пожирал русского глазами, не в силах понять, чего он хочет.

— Что-то просит, а никак не пойму,— признался он,— может, закурить?

Ятчоль поспешно отстегнул от поясного ремня трубку.

— Да на что мне твоя трубка,— с досадой отмахнулся Степан Степанович.— Ты усваивай азбуку политграмоты. Повтори за мной: Маг-нит-ка. Ну вот слово попроще — МОПР!

— Пойгин шаман! Пойгин плёка!— рявкнул Ятчоль.

— Да что ты мне заладил: шаман да шаман! Поживу, разберусь. Не уходи в сторону от моей главной линии.— Чугунов подрисовал на одной из труб еще несколько клубов дыма, порвал карандашом бумагу, вдруг рассердился.— Ты, Яшка, темный еще. И все вы тут, понимаешь ли, темнота. Да что поделаешь, не ваша вина, а ваша беда. Ну хоть про челюскинцев что-нибудь слышали? Это же у вас под боком героизм совершался! В прошлом году всех эвакуировали! Правда, это много восточнее, отсюда до мыса Дежнева тысячи две километров с гаком. Но это же э-по-пея! Должна же была и до вас информация о челюскинцах дойти. Ну, слышал, Яшка, слово такое «Че-люс-кин»? Отто Юльевич Шмидт! Чукчи на собаках спасали челюскинцев. Не слышал? Ах, какая темнота. Будет же у меня с вами мороки...

— Пойгин шаман!— еще раз рявкнул Ятчоль.

— А где он, кстати? — спросил Степан Степанович, махнув безнадежно рукой на Ятчоля.— Где Пойгин и его Кайти? Позовите их сюда. Я буду учить вас считать деньги и пользоваться весами.

А Пойгин, хоть и оценил честность нового торгового человека, никак не мог пойти с ним на сближение, полагая, что тот завел дружбу с Ятчолем. Сам Ятчоль делал все возможное, чтобы в стойбище люди думали: русский — его лучший друг. Мэмэль не стеснялась намекать об особом расположении русского к ней, показывала женщинам пачку иголок, якобы подаренную ей торговым человеком. По стойбищу пошли пересуды, дескать, бесстыжая Мэмэль всегда липла к чужеземцам, жаль, что русский, такой, судя по все-

му, хороший человек, не смог все-таки устоять перед ее нахальством. Кайти в пересудах участия не принимала, но на Мэмэль смотрела с величайшим презрением. Потерял для нее всякий интерес и русский, которого она поначалу, как и ее муж, сердечно приняла за честность в торговле. В магазин заходила она все реже и реже и только тогда, когда надо было что-нибудь купить. Однако, наслышавшись, что русский по вечерам не торгует в магазине, а учит считать деньги, смешит людей песнями, громкими непонятными говорениями, она не могла одолеть любопытства, пришла посмотреть, что там происходит.

Русского Кайти увидела за странным занятием. Сидел он на прилавке с какой-то коробкой в руках, у которой была длинная шея, с тремя тонкими, туго натянутыми проволочками, пальцем бил по проволочкам, от чего они издавали громкий, веселый звук, и что-то громко пел.

Чугунов давал концерт самодеятельности. Балалайку он обнаружил при очередном осмотре ящиков с товарами, которые хранились в складе, сооруженном из брезента, натянутого на деревянный каркас. Он сам еще в Хабаровске после некоторых колебаний сунул балалайку в ящик вместе с другими товарами и теперь был несказанно рад. Усевшись на прилавок, Степан Степанович сыграл все, что умел, а затем решил пропеть и частушки, кое-что сочиняя прямо на ходу.

Ветер дует, ветер дует,
И трещит лютой мороз,
Степка с чукчами торгует
И смешит их всех до слез.

Чукчи и в самом деле смеялись, тем более что видели: русскому это нравится, а им так хотелось ему угодить.

Если б видела Ритуля,
Развеселый я какой,
Прилетела бы, как пуля:
Здравствуй, милый, дорогой.

Степан Степанович и сам смеялся, стараясь заглушить ядовитую горечь, и было трудно понять, как выдерживают струны его балалайки — так усердно он их терзал. Когда вошла Кайти, он еще несколько раз ударил по струнам, не в силах остановить своего буйного разбега, а потом отложил балалайку в сторону и воскликнул:

— Смотрите, Кайти... Кайти пришла! Проходи сюда, голубушка, здесь есть место. Проходи, сейчас я научу тебя

мерить вот этим метром мануфактуру. Да и деньги считать надо бы тебе научиться...

Увидев, с каким преувеличенным вниманием русский встретил Кайти, Мэмэль обиженно надулась, опустила голову, ревниво кусая губы. Степан Степанович, развернув на прилавке ситец, принялся показывать, как отмеряют его метром.

— Смотри, смотри сюда, Кайти. Допустим, на платье тебе надо четыре метра...

И устремились к прилавку, кроме Кайти, все, кто был в магазине: спасибо русскому, он учит понимать полезные вещи, спасибо ему и за то, что в стойбище стало жить веселее.

Кайти стала звать мужа на вечера в факторию:

— Пойдем посмотрим. Русский смешной и очень добрый. Я за всю жизнь так много не смеялась, как там.

Пойгин согласился. В магазин он вошел в тот момент, когда Чугунов декламировал Некрасова, «Мужичок с ноготок» — единственные стихи, которые он помнил со школьных лет. Приветливо помахав рукой Пойгину и Кайти, он продолжал добросовестно дочитывать до конца и, когда в одном месте сбился, сказал:

— Вот, дьявол, забыл. Вы уж простите, я этот куплет начну сначала...

Когда русский умолк, Пойгин сказал, наблюдая, в какой глубокой задумчивости сидят люди:

— Вы настолько погрузились в думы, что я позавидовал... Неужели вы научились русскому разговору и все поняли, о чем говорит торговый человек?

— Неважно, что мы не понимаем его разговор, — возразил старик Акко,— важно, что мы чувствуем... это не простые слова, это — говорения. Наверное, он все-таки шаман. — И, помолчав, уважительно добавил:— Наверное, он, как и ты, белый шаман...

— Не изрекай, старик, глупостей!— сердито воскликнул Ятчоль.— Я скажу русскому, о чем твои глупые мысли... он не слишком за это будет к тебе благосклонным.

— А ты все пугаешь? — спросил Пойгин, разглядывая своего неприятеля недобрым, сумрачным взглядом.— Не выдавай свою неблагосклонность к людям за неблагосклонность русского. Я думаю, он мало похож на тебя.

— Вы что, опять бранитесь? — раздосадованно спросил

Чугунов.— Вот это зря. Скорей бы мне вашему языку научиться. Будьте уверены, я вас быстро помирю...

— О чем говорит русский? — спросил Акко, обращаясь к Ятчолю.

— Надо полагать, рассердился на Пойгина.

— Я не чувствую, что он на меня рассердился...

— Почему не чувствуешь?

— Я вижу его глаза, слышу его голос. Этого мне достаточно...

— Может, ты думаешь, он ругает меня? Ошибаешься. Мы с ним друзья. Знал бы ты, чему он меня научил. Вот скоро увидишь...

Ятчоль изумил не только Пойгина, но и всех людей стойбища. Чугунов протянул ему балалайку и громко сказал:

— Сегодня произойдет у нас целое событие! Если до сих пор наша самодеятельность, понимаешь ли, состояла только из одного меня, то нынче нас уже двое! Ятчоль научился на балалайке играть «барыню». Вот увидите, как он ее лихо наяривает. А я под «барыню» спляшу. Мне бы только чуть-чуть побольше места. Раздвиньтесь, пожалуйста. А ты, Яшка, сядь сюда, на прилавок. Итак, начинаем!

Ятчоль с важным видом долго приспосабливал на коленях балалайку, наконец ударил по струнам.

— Ка кумэй!— вырвался у Акко возглас изумления.

Степан Степанович слушал какое-то время с умилением балалайку Ятчоля, потом осмотрел торжествующим взглядом всех, кто сидел в магазине, и вдруг ударился в пляс с таким жаром, с каким не плясал даже тогда, когда женился на Рите.

— Вот так, так, моя разлюбезная Ритуля,— приговаривал он, задыхаясь.— Ты думаешь, я одурею от горя, запью! Дудки!

И снова врезал такую дробь, что пол магазина словно бы превратился в бубен.

— Все, Яшка! Спасибо, голубарь! Дай я тебя обниму и поцелую!

Увидев, как русский обнимает Ятчоля, Пойгин печально усмехнулся и тихо сказал Кайти:

— Ты можешь остаться. А я уйду. Друг Ятчоля не может быть моим другом...

Но Кайти ушла вместе с мужем, что очень расстроило Чугунова. По пути в свою ярангу Пойгин горестно недоумевал: почему русский выказывает такое дружелюбие к Ятчолю? Разве он не догадывается, что Ятчоль — тоже торгую-

щий человек, однако торгует совсем по-другому. Хитрый Ятчоль. Поняв, что русский не позволит ему купить в фактории слишком много товаров, он начал подсылать к нему других жителей стойбища, вручив им своих песцов. Какой там своих — награбленных песцов, отданных ему теми, кто попал в его долговой капкан. Другие люди покупают за Ятчоля товары, а потом отдают ему, и он опять расставляет капканы, ловит новых должников: ведь русский в долг пока не торгует. Рассказать бы русскому... Но как расскажешь? Пора бы ему самому догадаться, кто такой Ятчоль, да, пора, если он действительно честно торгующий человек, если он к тому же человек с рассудком.

А Чугунов продолжал покорять души жителей стойбища своей сердечностью и общительностью. Все чаще и чаще он заходил в яранги, приглядывался к быту чукчей, учил язык. Начал наведываться и в ярангу Пойгина.

— Чистенько у вас, видно, хозяюшка, понимаешь ли, аккуратистка,— нахваливал он Кайти.

Степана Степановича хозяева гостеприимно угощали чаем, но вели себя сдержанно, даже замкнуто.

— Почему вы ко мне не как другие? — допытывался Чугунов.— Но вот что странно, именно вы мне больше всех и нравитесь. Нет, нет, не только Кайти, оба, понимаете, оба нравитесь. Два! Ипрак!— добавил Чугунов, демонстрируя первые успехи в чукотском языке.

Как-то проехал через стойбище инструктор райисполкома и попросил Чугунова приглядеться к чукчам, посоветовать, кого бы можно было избрать председателем сельсовета. «Только смотри, не порекомендуй шамана». И надо же было ему высказать это предупреждение. А Степан Степанович прежде всего подумал о Пойгине. «Хороший охотник, вес имеет, надо быть слепым, чтобы не видеть, как его уважают».

Да, кажется, по всем статьям подходил Пойгин для вожака сельсовета, всем решительно, если бы не называли его шаманом. Но, может, он все же никакой не шаман?

И решил Чугунов во всем разобраться самолично. Все чаще и чаще появлялся он в яранге Пойгина, разглядывал многие незнакомые ему предметы:

— Если ты шаман, то где же твой бубен?

Пойгин задумчиво вслушивался в русскую речь, сдержанно пожимал плечами, дескать, не понимаю.

— Надо бы тебе расстаться со своим бубном. На кой черт

он тебе? Новая, брат, жизнь начинается. Движемся от тьмы прямым ходом к свету...

Как-то увидел Чугунов в яранге Пойгина огнивные доски. По виду своему они напоминали человека: есть голова, плечи, на лице нос, глаза, рот; на туловище много гнезд для сверла, с помощью которого добывают огонь. Не знал Степан Степанович, что в каждой яранге есть такие, как он назвал для себя, деревянные идолы. По праздникам хозяева очага смазывали их рты оленьим или нерпичьим жиром, всячески ублажали с помощью особых заклинаний: пропажа огнивных досок, имеющих суть священных предметов,— знак грядущей беды, их никогда не переносят в другую ярангу, не отдают в подарок.

Степан Степанович долго крутил в руках одну из досок с мрачным, подавленным видом.

— Э, я вижу, ты и вправду шаман, если держишь в своей яранге этаких идолов. Что же нам делать? Я же собираюсь, брат ты мой, дать тебе серьезную рекомендацию. Мне, брат, нельзя ошибиться, не затем я сюда послан...

Пойгин покуривал трубку, пытался понять, чем расстроен русский.

— А что, если мы, дорогой ты мой, пустим их на дрова? Вот взял бы ты сам да и сжег своих идолов посредине стойбища, чтобы все видели. Знаешь, какое бы это произвело впечатление! От сплетен, что ты какой-то там шаман, и следа не осталось бы...

Чтобы хоть как-то донести свою мысль, Чугунов поморщился, показывая, насколько ему не нравятся деревянные идолы, постучал одним о другой, показывая, что их надо изломать. И когда он, выбрав самого крупного идола, сунул его на миг головой в костер, горевший посреди яранги,— Кайти вскрикнула, а лицо Пойгина стало серым.

— Э, да я, кажется, что-то не то сделал. Никак, понимаешь ли, испугал вас. Черт его знает, на какой козе к вам подъехать...

Кайти подошла к Чугунову и с враждебным видом вырвала из его рук огнивную доску.

— Э, да ты, голубушка, я вижу, разгневалась. Извини,— Чугунов поклонился Пойгину, приложив руку к сердцу.— Извини, брат, и ты. Надо тебе перевоспитываться, и как можно скорее. Время не ждет, надо, понимаешь ли, созревать для новой жизни ускоренными темпами. Ты мужик крепкий, выдюжишь. Знал бы ты, как я тебе добра желаю...

Натолкнувшись на глухую враждебность, Чугунов ушел

из яранги Пойгина раздосадованный и встревоженный. «Неужели шаманство это в нем сидит, как зараза? Да и в чем оно, это шаманство? Ну, идолов держит, подумаешь, беда какая. И зачем я ткнул этого деревянного болвана головой в огонь? Только-только стали налаживаться добрые отношения, и вот на тебе, все, понимаешь ли, насмарку. Но я своего добьюсь. Мы еще будем друзьями!»

Поздним вечером Степан Степанович опять вошел в ярангу Пойгина, забрался в полог. Всевидящий Ятчоль, прихватив Мэмэль, явился вслед за русским.

— Я пришел в твой очаг, хотя ты и не звал меня, — несколько вызывающе сказал он Пойгину.— Я должен помочь русскому поговорить с тобой. Он очень на тебя сердится...

— Можешь ему передать, что я на него еще больше сержусь,— мрачно ответил Пойгин.

Ятчоль с трудом скрыл, насколько он обрадовался. Усевшись в углу полога, он внимательно посмотрел на Чугунова, приветливо улыбнулся.

— Нет палалайка, париня нато.

— Подожди ты со своей балалайкой, не до «барыни» мне. И на кой шут, понимаешь ли, ты приперся со своей благоверной? Без вас обошлись бы.

— Русский говорит, что ты плохо покупаешь. Купил всего лишь один карабин, напильник да две плитки чая,— беззастенчиво лгал Ятчоль, стараясь поссорить Пойгина с торговым человеком.

— Ему бы лучше знать, как ты все его товары скупаешь чужими руками. Скоро вся фактория окажется в твоей яранге. Голода будешь ждать, чтобы капканы людям расставить...

— Ну, вот что, по тону вашему и по взглядам я вижу, вы опять ругаетесь!— сказал Степан Степанович и положил одну руку на спину Пойгина, вторую на спину Ятчоля.— Пора вам мириться. И вообще, давайте жить веселее. К черту споры, нытье. Я сегодня покажу вам свой коронный номер. Опробую на вас. А завтра вечером в фактории выйду, понимаешь ли, на широкую публику.

У Чугунова действительно был «коронный» номер: не однажды он выступал на вечерах самодеятельности как фокусник. Был целый год в его жизни, когда он работал в цирке конюхом (лошади были его страстью), пригляделся к фокуснику, кое-чему у него научился.

Привычно подтянув рукава гимнастерки, Степан Степанович поднял руки, показал два красных шарика.

— А ну, друзья, расширьте ваши милые зенки. Сейчас

вы увидите чудеса. Видите шарики? Хоп! Где же они? Куда запропастились?

Чукчи, изумленные исчезновением шариков, с недоумением переглядывались, не выражая пока ни малейшего желания рассмеяться.

— Так, сейчас, сейчас, дорогие мои, я все-таки вас пройму. Вы у меня, голубчики, все равно захохочете! Так где же шарики? — Чугунов пришлепнул себя ладонью по левой щеке, и вдруг изо рта его выскочил шарик, пришлепнул по правой — выскочил второй. «Чудотворец» ждал оживления, смеха, но зрители его словно окаменели.

— Да вы что?! — удивился Степан Степанович. — Не произвело ни малейшего впечатления?! Ну хорошо, я вам еще кое-что покажу.

Достав из кармана треугольные лоскуточки разноцветного шелка и лист бумаги, Чугунов сделал бумажный кулечек, вложил в него один за другим все лоскуточки.

— Прошу вас, прошу удостовериться! — показал кулечек, предлагая убедиться, что лоскутки все до одного именно там, а не где-нибудь в другом месте. — Внимание, внимание и еще раз внимание!

Чугунов смял кулечек, развернул бумагу — лоскутков не оказалось.

— Ка кумэй! — наконец нарушил молчание Ятчоль.

— Ну а теперь поищем, где же наша пропажа.

«Чудотворец» сделал вид, будто принюхивается. Неуловимым движением нырнул рукой за ворот керкера Мэмэль и вытащил оттуда синий лоскуток.

Мэмэль вскрикнула и в ужасе отшатнулась. Пойгин както неестественно выпрямился, влип в стену полога спиной. Степан Степанович глянул на Кайти и поразился тому, насколько она побледнела.

— Да что с вами? — в недоумении спросил он. — Чего вы так испугались?

Помедлив, он нырнул в рукав приспущенного керкера Кайти и вытащил оттуда зеленый лоскут. Кайти шарахнулась в угол полога и задрожала так, будто настал ее смертный час.

— Э, вот беда-то, я, кажется, вас напугал. Ну и суеверный же вы народ. Хотел, понимаешь ли, насмешить, а вышло наоборот. Ну, хорошо, может, хоть вот этим я вас все-таки рассмешу. Целый день трудился, консервные банки резал.— Чугунов развернул бумажный сверток.— Вот видите, рогатый чертик. А тут вот я ниточки в дырки продел. Если ни-

точки дергать, чертик будет плясать, как сумасшедший. Я сам хохотал... Приготовились! Жаль, балалайку не прихватили. Хорошо бы этому бесу поплясать под балалайку...

И пошел, пошел плясать чертик.

— Ишь как выкаблучивает, словно живой,— весело выкрикивал Чугунов, надеясь, что уж на сей раз он рассмешит своих зрителей.

Но вместо смеха послышался крик женщин. Ятчоль закрыл лицо малахаем и начал икать. А Пойгин, напряженно наклонившись к замершему чертику, смотрел на него так, будто было перед ним какое-то омерзительное существо, которое надо схватить и поскорее вышвырнуть из яранги.

— Ну, знаете, если вы и этого испугались, то я вам не завидую.— Чугунов поднес чертика к лицу Пойгина. Тот отшатнулся.— Да вглядись, вглядись, чудак-человек, это жесть. Банка консервная!

Согнув несколько раз жестяное свое сооружение, Степан Степанович сунул его в карман, не зная, что делать дальше.

— Вот ведь как вышло. Э, Степан, балда ты, я вижу, а не перевоспитатель. Вы уж меня извините. И себе и вам настроение испортил. Хорошо, что хоть на широкую публику не полез со своими дурацкими фокусами. Ч-черт, и балалайку не прихватил. Эх, Рита, Рита, поглядела бы ты сейчас на меня. Тоже мне маг, понимаешь ли, нашелся. Но и чукчи мои хороши, обрезка консервной банки испугались...

А чукчи увидели в жестяном чертике не обрезки консервной банки, а железного Ивмэнтуна. Весть о том, что Чугунов выпустил в яранге Пойгина железного Ивмэнтуна, разнеслась по всему стойбищу. Именно это пугало больше всего. Ятчоль и Мэмэль ходили из яранги в ярангу, дополняя свои жуткие рассказы все новыми и новыми подробностями. Теперь они отказывались от славы лучших друзей торгового человека. И поскольку русский свое колдовство показал именно в яранге Пойгина и Кайти, стало быть, им и отвечать за страшные последствия, которые грозят теперь стойбищу. В рассказах Ятчоля и его жены было столько невероятного, что жителей стойбища обуял ужас. Услышав, что в яранге Пойгина гремит бубен — ударили в бубны перепуганные люди у всех остальных очагов.

Плыла луна в мглистой дымке полярной стужи, как бы выискивая в беспредельных снежных пространствах именно то тревожное место, где гремели бубны и выли собаки. Казалось, что полярное безмолвие взламывалось грохотом бубнов, как от шторма взламывается лед в океане.

Колотил в бубен Пойгин, заунывно вытягивая осаженным голосом: «О-о-о, го-го-го, о-о-о, го-го-го!» Кайти вытирала пот на лице мужа, на которое время от времени наплывала мертвенная бледность. «О-о-о-о! Го-го-го-го! О-о-о-о! Го-го-го-го!» — не умолкал Пойгин и колотил самозабвенно в бубен. Ждать защиты можно было лишь от бубна, только от него. Кайти следила за костром. Тусклый огонек его освещал шатер яранги, в котором толпились тени. Кайти со страхом смотрела, как двигались тени, и ей чудился железный Ивмэнтун.

Чугунов собирался уже было улечься спать, но грохот заставил его быстро одеться. Когда он выбежал на улицу, то испытал что-то похожее на ужас: в каждой яранге гремел бубен. «Да они все тут шаманы, что ли?» Подойдя к яранге Пойгина, он осторожно открыл ее вход, заглянул вовнутрь. При тусклом свете костра колотил в бубен Пойгин. Степан Степанович шагнул в ярангу, громко спросил:

— Ты что, шаманишь?

Пойгин на какое-то время замер, глядя неосмысленными глазами на русского, а когда наконец понял, кто перед ним, показал рукой на выход.

— Уходи!— прохрипел он.— Уходи отсюда. Ты обидел хранителя моего очага, ты сунул его голову в огонь. Ты выпустил в моем очаге железного Ивмэнтуна!

— Ну что ты бранишься? — попробовал было перевести разговор на благодушный, примирительный тон Чугунов, но, увидев, как снова ударил в бубен Пойгин, махнул рукой и вышел вон.

Плыла луна в раскаленной морозом небесной мгле, давились лаем собаки. Чугунов потуже завязал шарф на шее и с тоскою сказал, обжигая морозным воздухом горло:

— Эх, Рита, Рита, знала бы ты, как я опростоволосился. А еще говорил серьезным людям, что миссию свою понимаю...

...На следующий день Чугунов стал свидетелем события, смысл которого никак не мог понять. Пойгин разобрал свою ярангу и вместе с Кайти начал по частям увозить на нарте, в которую они сами впряглись, далеко в море. По стойбищу ходил важный, с каким-то мстительным выражением на лице Ятчоль, громко отдавал распоряжения, кое на кого покрикивал. «О, да он здесь, кажется, имеет какую-то власть,— пришел к неожиданному открытию Степан Степанович. — Не куркуль ли он?»

Чугунов видел, что рядом с ярангой Ятчоля давно уже появилось что-то похожее не то на землянку, не то на пог-

реб; не знал он, что это был склад, в котором хранилось немало товаров, перекочевавших с фактории. «Надо бы поинтересоваться, что у него там хранится»,— сказал себе Степан Степанович, томимый подозрением, что Ятчоль совсем не тот, кем он ему до сих пор казался.

А Пойгин между тем перевозил последние остатки своей яранги в морские льды. Чугунов подходил к нему несколько раз, пытался заговорить, но тот смотрел на него отстраненным взглядом, так, будто перед ним было пустое место. Чугунов ушел в морские льды по следу нарты Пойгина, увидел разбросанные шкуры, жердины каркаса яранги, домашнюю утварь, посуду и даже карабин, купленный недавно в фактории. «Они что, сумасшедшие? Даже новый карабин выбросили».

К той поре, когда сумерки жидкого рассвета начали гаснуть, Степан Степанович увидел, что Пойгин и Кайти на упряжке всего из четырех собак едут прочь от берега в тундру.

— Куда они уехали? — спрашивал Чугунов у Ятчоля, с тоской наблюдая за удаляющейся нартой.

Ятчоль с бесстрастным видом сосал трубку, смотрел вслед Пойгину и Кайти и молчал. С таким же бесстрастным видом молчали и все остальные жители стойбища, наблюдавшие за уходящей нартой.

— Вы что, их выгнали?

— Пойгин шаман. Пойгин плёка,— не глядя на русского, ответил Ятчоль.

— Мы еще посмотрим, насколько ты, голубчик, хорош. Тут что-то нечисто!

Не знал Чугунов, насколько близок он был к истине в своей догадке. Имея над жителями стойбища немалую власть, Ятчоль убедил стариков, что очаг Пойгина стал нечистым.

— Пусть он разбросает во льдах свою ярангу и все, что в ней было. Море проснется и унесет оскверненный железным Ивмэнтуном очаг, и тогда стойбищу не будут угрожать несчастья от злых духов. А Пойгин должен будет навсегда покинуть стойбище Лисий хвост.

Ятчолю было важнее всего убедить в этом отца Кайти — Уквугэ. Именно он скажет Пойгину о решении всех стариков стойбища. Да, мол, так порешили старики, а не он, Ятчоль. И если Пойгин действительно белый шаман, которому дороже всего не собственная судьба, а судьба ближних,— он должен исполнить повеление стариков. Именно на это надо упирать. Если Пойгин не согласится — станет ясно, что он не белый шаман, если согласится — Ятчоль избавится от его досаждающего соседства.

Уквугэ долго думал, как ему поступить. Да, он слишком много был должен Ятчолю, к тому же не исчезла у него глухая обида на Пойгина, который увел в свое время его дочь, сделал своей женой без всякого на то разрешения ее родителей.

— Я скажу ему о решении стариков,— наконец объявил он Ятчолю.— Пусть уходит один. А дочь будет жить в моем очаге.

— Ты мудро решил, старик. Не отдавай Кайти Пойгину,— сказал Ятчоль и подумал: «Быть ей второй моей женой».

Но Кайти не согласилась оставить Пойгина. Уквугэ долго смотрел в ее печальное и непреклонное лицо и сказал:

— Можешь уходить с ним, как ушла тогда, когда я запрещал тебе даже смотреть на него.

Пойгин ушел из стойбища Лисий хвост в тундру, ушел белый шаман, не желая, чтобы над ближними висело проклятье его оскверненного очага. Ушла с ним и Кайти. Русский долго с тоской смотрел им вслед. Что-то необъяснимо дорогое было Степану Степановичу в этих людях, и если бы он знал чукотский язык — все могло бы кончиться, как ему думалось, совсем по-другому.

«Надо, надо учить язык,— убеждал себя Чугунов.— Поеду за двести километров на культбазу, там мне помогут».

Вечером Степан Степанович опять собрал все стойбище в фактории. На сей раз он был задумчивым и очень серьезным.

— Ната палалайка, париня ната! — весело воскликнул Ятчоль, желая отпраздновать победу над Пойгином.

— Балалайка — это, конечно, хорошо, — в глубокой зазадумчивости ответил ему Степан Степанович.— Но с балалаечкой я далеко не уеду. Нужны вещи куда посерьезнее...

Окинув Ятчоля угрюмо-насмешливым взглядом, Чугунов вытащил из-за прилавка огромные буквы, которые он сам нарисовал на квадратных картонках, и сказал:

— Грамоте я вас, может, и не обучу. Это сделают учителя, которые скоро приедут в ваше стойбище. Но вот писать свое имя... этому я вас научу...

3

И опять ветер невзгод погнал Пойгина и Кайти в глубокую тундру у отрогов Анадырского хребта, куда уходили от советских порядков самые богатые оленеводы, шаманы. Ока-

зался там и Рырка. Со злорадством встретил он Пойгина:

— Ну что, далеко ли ты от меня убежал?

— Я не к тебе вернулся, — ответил Пойгин, угрюмо разглядывая других богатеев, собравшихся в стойбище Эттыкая — Собачки.

— Не говори ему обидных слов, — миролюбиво посоветовал Эттыкай Рырке. — Все мы здесь беглецы, надо ли нам ссориться?

Эттыкай был маленьким невзрачным старичком, с голоском тоненьким, как у женщины. Но он был богат, очень богат. Пойгин знал, что, хотя у Эттыкая и была жена, всю женскую работу по хозяйству делал мужчина, которого звали Гатле — Птица. Высокий, нескладный, он ходил в женской одежде, заплетал волосы по-женски в длинные косы. Жил он в голоде и холоде, почти не бывая в пологе яранги. Пойгин знал этого несчастного человека и раньше, глубоко ему сочувствовал и никак не мог понять: почему он не снимет керкер, не обрежет косы и не уйдет как можно дальше от мучителя «мужа», которому просто нужен был раб.

Эттыкай установил в своей огромной яранге второй маленький полог, поселил в него Пойгина и Кайти.

Пойгин начал пасти стадо Эттыкая, радуясь тому, что никто не преследует Кайти. Мало того, старуха Эттыкая, никогда не имевшая детей, кажется, приняла ее, как родную дочь. У старухи было смешное имя — Мумкыль — Пуговица. Всегда с добродушной улыбкой на сухоньком лице, она была, однако, очень жестокой с пастухами, их женами, издевалась над Гатле, заставляя его выполнять все тяжелую женскую работу по очагу, да и мужскую тоже.

Рырка кочевал где-то рядом, часто приезжал к Эттыкаю. Почти каждый день приезжали другие богатеи, несколько шаманов, один из них черный шаман, издавна поклонявшийся луне, — Вапыскат — Болячка; был он весь в часоточных болячках, часто мигал красными веками, обезображенными трахомой. Разъедаемый чесоточным зудом, он ненавидел все мироздание и, если бы на то была его сила, кажется, сдвинул бы с места даже Элькэп-енэр.

Долгое время самые главные люди тундры не посвящали в свои разговоры Пойгина, держали его на расстоянии от себя, как и всех пастухов-батраков, но вот однажды Мумкыль сказала ему:

— Войди в полог. Тебя приглашают.

Пойгин забрался в полог. Тут было душно от десятка

выпитых чайников чаю, от неугасающих курительных трубок. Как и полагалось неименитому гостю, Пойгин сел в углу, у самого входа.

Ему дали чашку с чаем, потом кусок мяса. Пока никто к нему не обращался, просто разрешили слушать, о чем тут идет речь. Больше всех говорил Вапыскат, время от времени нещадно раздирая свое тело ногтями.

— У Моржового мыса русские построили огромное вместилище для людей — культпач[1] называется. На самом верху на палке прикрепили кусок красной ткани.

— Ка кумэй! — изумился Рырка. — А еще говорят, что внутри этого вместилища для людей нет ни одной шкуры, всюду дерево, как войдешь — все бока пообиваешь.

— Бока — это еще бы совсем не беда, — продолжал Вапыскат, унимая кашель от глубокой затяжки из трубки, предложенной Эттыкаем. — В культпач людям мозги отбивают!

— Ка кумэй! — еще более потрясенно изумился Рырка. — Бьют по голове?! Чем бьют? Камнем, железом, кулаками?

— Словами бьют, — терпеливо выждав, когда умолкнет Рырка, пояснил Вапыскат.

Наступило глубокое молчание. Почувствовав, какое произвел впечатление, Вапыскат зло засмеялся:

— Тебе, Рырка, и скалой из головы мозги не вышибить. Но есть такие особые слова. Русские знают эти слова. На детей они очень действуют. Собрали русские в культпач детей, усадили за какие-то деревянные ящики и заставляют слушать эти страшные слова. Русский говорит, и все должны слушать. Даже пошевелиться не смей.

— Ну как же так, а если вошь тебя укусит? — спросил Рырка.— Или вот как тебя, Вапыскат, болячки донимают, если почесаться надо?

— Все равно сиди и не шевелись!— сделав страшное лицо, ответил Вапыскат. — Дышать и то надо совсем тихо. Слова особые через уши в мозг проникают. И дети наши разговор русских постепенно начинают понимать и, что еще страшнее, постигают язык немоговорящих вестей.

— Это еще что такое?— спросил Эттыкай тоненьким голоском, полным крайнего удивления и страха.

— Беда это, беда!— все более возбуждался Вапыскат. — Дети наши могут разучиться обыкновенному человеческому

[1] Культпач — культбаза.

разговору. Язык немоговорящих вестей, разговор по бумаге, сделает их совсем немыми, возможно, даже глухими. Не нужен им будет ни язык, ни уши.

— Ка кумэй! — заревел Рырка густым, простуженным басом.

— Русские делают наших детей ненавидящими своих родителей. Вот почему я и сказал, что они не камнем, не железом, не кулаком, а словом мозги отбивают. — Вапыскат постучал себя кулаком по голове. — Дети наши начинают жить совсем другими обычаями, одеваются в чужую одежду. Девочек заставляют говорить по-мужски, потому что немоговорящие вести по-женски говорить не умеют[1].

Тут уж и Пойгин воскликнул: «Ка кумэй!»

Это все приметили и, видимо, оценили, потому что Вапыскат протянул ему свою курительную трубку.

В этот раз у Пойгина ничего не спрашивали, ничего ему не предлагали, просто дали понять, что ему оказана честь посидеть вместе за важным разговором с самыми главными людьми тундры. Но он понимал, что все это не случайно.

Вести с морского берега по-прежнему приходили одна невероятней другой. Оказывается, начальник культбач носит огненную бороду, так что если до нее дотронуться — можно обжечься. Красный цвет для него, наверное, имеет какую-то особую таинственную силу, потому что, кроме красного куска материи на крыше, он повязал шеи некоторым детям красными повязками с узлом у горла и двумя хвостиками. Иногда он берет в руки какую-то трубу из блестящего железа, прикладывает ко рту и начинает реветь так громко, что ни одному моржу, даже келючи, так не зареветь. А дети, услышав тот рев, сломя голову бегут к высокому шесту и начинают с помощью веревки поднимать красный кусок ткани, точно такой же, какой развевается на крыше. Дети все смотрят вверх, на красную ткань, и, наверное, на них находит в это время безумие, как на тех, кто долго смотрит на луну, отчего они громко смеются, хлопают в ладоши, а иногда начинают петь. Потом выстраиваются в ровный ряд. Рыжебородый что-то им кричит, и они после каждого его крика поворачиваются то в одну, то в другую сторону, а потом ходят, глядя друг другу в затылок, четко ступая след в след.

Вапыскат уверял, что Рыжебородый и прибыл из каких-то дальних земель, чтобы в здешних детей вселить безумие.

---

[1] У чукчей есть фонетическое различие в произношении многих слов мужчиной и женщиной.

Что может быть страшнее, чем безумный человек? Как он будет пасти оленей, запрягать их, совершать перекочевки? Оленьи стада разбегутся, не будут дымиться костры яранг — придет запустение, наступит всеобщая погибель.

Пойгин питал отвращение к черному шаману, не верил ему, однако его душа начинала приходить в смятение: что, если все к тому и клонится?

Главное — люди тундры все чаще приглашали Пойгина на свои советы. Постепенно он стал понимать, что рано или поздно его заставят вступить в противоборство с пришельцами. Пойгин и сам думал, что схватки не миновать. Однако он надеялся, что будет противоборствовать своим способом, что он никогда не войдет в сговор с черным шаманом.

После одного из говорений в яранге Эттыкая Вапыскат подозвал к себе Пойгина и, оставшись с ним с глазу на глаз, спросил:

— Ну как, ты все еще считаешь себя белым шаманом?

— Да, я белый шаман, — убежденно ответил Пойгин.

— А известно ли тебе, насколько загрязнился ты там, на берегу, если старики заставили тебя унести твою ярангу в море?

— Я унес в море все. И ярангу, и все, что было в ней. Я ничего не пожалел, только бы не угрожала стойбищу беда...

— Этого мало. Люди тундры боятся тебя. Они требуют искупительную жертву.

— Какую?

Вапыскат почесался, вобрав руки в рукава кухлянки, сказал таинственно:

— Кровь твоя будет искупительной жертвой. Я должен буду при свете луны, когда обращу к ней на шесте мертвую голову белого оленя с черными ушами, отрубить тебе средний палец левой руки...

Пойгин медленно поднес руку к глазам, пошевелил пальцами, сказал нерешительно:

— При солнце дам отрубить себе палец. При луне ни за что.

— Нет, при луне! — воскликнул Вапыскат. — При луне, у мертвой головы белого оленя с черными ушами!

— При солнце!— упрямо повторил Пойгин.

Вапыскат долго смотрел на него, часто мигая красными веками, потом резко повернулся и пошел к своей упряжке.

— При луне!— выкрикнул он и помчался в свое стойбище, кочевавшее неподалеку в одном из горных распадков.

В эту ночь Пойгин не уходил пасти оленей: не его был

черед. Залез в полог мрачный, неразговорчивый. Кайти осторожно спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, — постарался он успокоить жену. — Позови Гатле.

— Мумкыль злится, что мы впускаем на ночь Гатле. Говорит, что его место с собаками в шатре яранги.

— Там ее место! — взорвался Пойгин. — Позови Гатле. Я не могу спокойно спать, когда он дрожит на холоде.

Гатле на зов Кайти просунул голову в полог, смущенно улыбнулся.

— Вас будут ругать за меня,— тихо сказал он и зашелся в удушающем кашле. — Мне бы только маленький кусочек мяса. Сегодня почти ничего не ел.

Пойгин мучительно поморщился, страдая за этого несчастного человека, решительно повторил:

— Лезь в полог. Если будут ругать — вместе уйдем отсюда.

— Нельзя. Убьют.

— Да, здесь это могут, — думая о чем-то другом, как бы только самому себе сказал Пойгин.

Гатле все-таки несмело забрался в полог, снова закашлялся. Приняв кусок мяса из рук Кайти, начал жадно жевать, поглядывая на чоургын, закрывающий вход в полог: боялся появления Эттыкая или Мумкыль. Тело его тряслось в ознобе.

— На, попей чаю, согрейся,— сказал Пойгин, протягивая Гатле железную кружку.

Зубы Гатле зацокали о край кружки. Измученное лицо его ничего, кроме обреченности, не выражало. Он не привык к людскому участию, слезы благодарности наполняли его печальные глаза.

— Меня еще никто здесь не принимал за человека,— скороговоркой сказал он, боясь, что кто-нибудь помешает ему выразить его боль.— Только вы напомнили мне, что я человек. Иногда мне кажется, что я должен был появиться в этом мире собакой, но случилась какая-то ошибка, и я вот пребываю здесь в человеческом облике.

— Кто тебя заставил надеть женскую одежду, отрастить косы? — спросил Пойгин.

Гатле жалко улыбнулся, развел руками:

— С детства меня стали одевать в керкер. Мой отец был пастухом у Эттыкая. Почему-то Эттыкай его очень не любил. Мы почти не ели мяса. Жили на одном рылькэпате. Пришла

большая болезнь, многие люди в стойбище умерли, отец и мать умерли. Мне совсем стало плохо. Эттыкай сказал: ты хилый, мужчина из тебя не получится, будешь женщиной. Вот тебе керкер. Если хоть раз наденешь штаны — выгоню в тундру и скажу, чтобы никто тебя не подбирал. Холод выморозит твою кровь из жил, или волки съедят тебя. Так и живу с тех пор.

Вдруг чоургын поднялся, показалась голова Эттыкая.

— Вы опять его впустили? — тоненьким голоском, словно бы даже миролюбиво, спросил Эттыкай.— Что ж, Пойгин, если тебе нравится эта моя жена, я готов поменять ее на Кайти.

Гатле отложил в сторону недопитую кружку чая и поспешил выбраться из полога со смущенной, жалкой улыбкой. А Эттыкай забрался в полог, сел возле светильника. Кайти подала ему чашку чая.

— Ну, ну, я пошутил, — сказал Эттыкай, разглядывая удрученное лицо Пойгина.— Ты хороший настух. Но не только хороший пастух. Ты и отважный мужчина. А потому у нас будут с тобой еще очень важные дела, — многозначительно поднял палец, — очень важные. Скоро ты поедешь к морю.

Эттыкай ушел, оставив Пойгина и Кайти в тяжелых размышлениях.

— Зачем он тебя посылает на морской берег? — тревожно спросила Кайти.

— Не знаю, — не сразу ответил Пойгин.

...На следующем совете, когда собрались все самые главные люди тундры, Эттыкай сказал Пойгину:

— Мы все много думали и пришли к такому согласию: ты нам очень нужен... Ты больше нас знаешь пришельцев. К тому же один из них осквернил твой очаг железным Ивмэнтуном и сунул в костер голову главного хранителя очага. Я думаю, ты должен ненавидеть осквернителя.

Пойгин промолчал, как бы прислушиваясь к самому себе: точно ли он ненавидит русского торгового человека?

— Так вот, мы хотим знать... думаешь ли ты простить свою обиду осквернителю?

Пойгин долго разглядывал Эттыкая отсутствующим взглядом и наконец ответил:

— Я посмотрю, как он будет жить у нас дальше. Я не могу забыть, что он честно торгующий. Никто так с нами не торговал, как торгует он.

— Ты сам ему продаешься! — вскричал доселе молчавший Ваныскат.

— Я не продаюсь ни ему, ни вам.

— Нет, ты должен выбрать... или пришельцы, или мы! — воскликнул Рырка и сначала ткнул пальцем куда-то выше головы Пойгина, затем себе в грудь.— Ты слышал, что говорит Вапыскат о Рыжебородом? Этот пришелец вселяет в наших детей безумие. Какой же ты белый шаман, если намерен прощать такое страшное зло?

— Да, я белый шаман. Я не прощаю зло. Но я должен сам убедиться в правоте слов Вапыската...

— Вот и хорошо. Ты поедешь к Рыжебородому,— сказал Эттыкай, с тревогой поглядывая на черного шамана: ему казалось, что Вапыскат опять вот-вот взорвется.

— Ты поедешь и убьешь его!— сказал Рырка, сделав движение, будто он вскидывает винчестер.

— Я ничего не делаю по чужому наказу. Если я пойму, что Рыжебородого надо убить... я сделаю это без вашего повеления.

— Хватит! Мне надоело слушать этого нищего анкалина!— вскричал Вапыскат.— Его надо выгнать из наших мест. Пусть подохнет с голода в тундре. А жену его заберу я. Мне мало уже моей старухи.

Пойгин какое-то время с негодованием смотрел на черного шамана и вдруг расхохотался:

— Тебе мало твоей старухи?

— Да, мало! Мы изгоним тебя. Ты трус. Я сам накажу Рыжебородого. Я нашлю на него порчу. Он умрет от язв, которые будут куда пострашнее, чем мои язвы.

Вапыскат считал, что какой-то другой шаман наслал на него порчу, оттого он покрылся болячками; и если до сих пор не пришла к нему смерть, то лишь потому, что он сильнее своего тайного противника и поэтому способен, несмотря ни на что, поддерживать в себе жизненную силу.

— Да, я заставлю Рыжебородого умереть в мучениях от язв. Мне нужно заполучить хоть малую часть его ногтя, хоть один волос из его бороды.

На лицах главных людей тундры было откровенное раздражение.

— Ждать, когда Рыжебородый умрет от язв,— слишком долго,— сказал Рырка.— Пусть лучше умрет побыстрее от пули Пойгина.

— Неужели вы думаете, что на такое способен этот трус? — Вапыскат ткнул пальцем в сторону Пойгина.

— Я не трус. Я завтра же поеду на морской берег и посмотрю на Рыжебородого. Я это сделаю не потому, что вы

велите, а потому, что сам хочу понять, с чем он к нам пришел. И горе будет ему, если он принес зло...

— Я не верю, что Пойгин трус, он отважный мужчина,— сказал льстиво Эттыкай.— Пусть едет на берег, пусть поступает по велению собственного разума. А мы подождем...

4

К Моржовому мысу Пойгин выехал на собаках. Три перегона занял у него этот путь. Две ночи провел в снегу. Мороз, казалось, превратил в стекло даже воздух, так что при дыхании он ранил горло. Встреча утренней зари с вечерней по всему кольцу горизонта была, как всегда, быстротечной; многоцветные краски гасли в мглистой морозной дымке, едва успев возникнуть. Потом наступало время бесчисленных звезд; они смутно просматривались сквозь морозную мглу и, казалось, дрожали в ознобе от стужи.

На реках, встречавшихся в пути, дымился мглистый пар. Из выпученных стужей огромных ледяных шатров растекалась вода, затвердевавшая на морозе подобно вулканической лаве. Время от времени раздавался оглушительный грохот: это мороз взрывал в другом месте лед, образуя такой же дымящийся шатер.

По голубоватому снегу то там, то здесь тянулись узоры звериных следов. Синие горы с огромными темными клиньями теней манили к себе обманчивой близостью. На некоторых из них Пойгин смутно различал столбы каменных великанов. Что-то настороженное, тревожное чудилось Пойгину в их облике. Можно было подумать, что молчаливые великаны вышли откуда-то из-за гор, чтобы проследить за человеком, у которого так смутно на душе. Пойгин вглядывался в молчаливых великанов, и ему порой чудилось, что иные из них как бы зазывно качали головой, мол, иди сюда к нам, дадим тебе самый мудрый совет, и ты найдешь выход.

На одном из перевалов Пойгин проехал через огромное стойбище таких великанов. Возле некоторых из них приостанавливался. Но никто из великанов так и не смог преодолеть проклятье своей неизреченности; и Пойгин снова пускал собак в путь, так и не получив мудрого совета. Все дальше оставались позади молчаливые великаны, задумчивые и даже скорбные, словно понимали, что так и не смогли помочь человеку, который вступил на тропу нелегких раздумий.

В самом деле, как он стал бы стрелять в Рыжебородого,

еще не чувствуя его вины перед ним, Пойгином? Нет, он постарается все постигнуть собственным разумением. Если Рыжебородый действительно вселяет в детей безумие, то это невозможно простить. Но мало ли что может сказать Вапыскат! Он, Пойгин, не настолько глуп, чтобы сразу поверить его словам.

Останавливаясь на очередной ночлег, Пойгин отыскал у обрывистого речного берега затишье от ветра и прежде всего накормил собак. Нарубив кусками оленье мясо, он бросал его каждой собаке по очереди. Собаки хватали окаменевшее от мороза мясо на лету, принимались жадно грызть. Утолив голод, они сворачивались клубочками в лунках, заботливо выкопанных Пойгиным в снегу, и засыпали, поджав лапы к животу.

Пойгин насобирал сухих сучьев, выброшенных на берег реки течением, принялся разжигать костер. Не всякий мог так искусно добывать огонь, как он, с помощью кремня и кресала. Удар кресала о кремень высек искры, воспламенил трут. Знакомый запах едва уловимого дымка приятно защекотал ноздри. А вот и загорелись тонкие стружки, заранее приготовленные Пойгином.

Горел костер, нагревая подвешенный над ним закопченный походный чайник. Пламя огня изумляло Пойгина своим бесстрашным поединком с лютой стужей. Огонь ему сейчас казался каким-то живым сверхъестественным существом. Таял в котелке лед, трещали сухие сучья. Пойгин подставлял руки теплу костра и чему-то едва приметно улыбался; если бы не тоска по Кайти, он согласился бы остаться навечно в непрерывном одиночестве, один на один с этим костром. Но трудно ему без Кайти, тревога за ее судьбу, как волчица, грызет сердце. Как она там? Не пытается ли Эттыкай склонить ее к тому, к чему склонял Рырка?

Недавно Кайти призналась Пойгину, что в ней возникла жизнь иного человека, что ей очень хотелось бы родить сына. Пойгин так обрадовался, что едва не стал колотить в бубен. «Потом, — решил он, — потом буду колотить в бубен двое, трое суток подряд от радости, когда Кайти родит сына».

Горит костер. Вот и чайник подал свой тихий голос, скоро закипит вода, наступит блаженная пора, когда горячий чай начнет согревать изнутри. Пойгин будет пить чай и думать о Кайти, о будущем сыне. Тихо кругом. Только повизгивает время от времени то одна, то другая собака во сне. Смотрят сверху звезды, и Пойгин отвечает им задумчивым взглядом. Вселенная ему сейчас кажется огромным ухом,

чутко вслушивающимся в его думы. Кого все-таки родит Кайти? Если сына, то его, пожалуй, надо будет назвать Энатлиныи — Звезда или еще лучше — Тотынто — Рассвет. Какой будет жизнь у его Тотынто? Был ли он зачат в пору рассвета? Если так, то пусть его сына не минет предрасположенность к солнечному восхождению.

Движутся звезды вокруг Элькэп-енэр, определяя течение времени. Пойгин пьет одну кружку горячего чая за другой, стараясь как можно дольше не расставаться с чувством доброй надежды на лучшее. Хорошо бы так вот и уснуть умиротворенным, чтоб не мучила во сне тревога. А она где-то шевелится на самом дне души, как кэйнын — бурый медведь — в берлоге. Пусть поспит еще немного этот косматый кэйнын в своей берлоге, пусть и ему, Пойгину, даст спокойно поспать. Поспи, поспи, кэйнын, не разрывай душу Пойгина когтями тревоги, не заставляй его думать о том, что ему предстоит завтра на тропе мести.

Спрятав чайник, кружку, кусок плиточного чая в мешочек из нерпичьей шкуры, Пойгин выкопал в снегу углубление, постелил оленью шкуру, сняв ее с нарты, втянул руки в рукава кухлянки, наконец улегся. Затем втянул голову в вырез кухлянки, чтобы согревать себя собственным дыханием и не подставлять щеки и нос стуже.

Сон сразу же сморил Пойгина. Косматый кэйнын тревоги не внял его мольбам: начали мучить кошмарные сновидения.

На культбазу Пойгин прибыл в конце третьих суток. Закрепив нарту у какого-то низенького строения, он пошел бродить среди жилищ с огромными окнами, за которыми не чувствовалось никакой жизни. Окна эти напоминали Пойгину внимательные недобрые глаза, следившие за каждым его шагом. Жилища казались ему огромными и страшно неприютными. Да, он уже видел дом фактории, но тот был круглым и все же напоминал ярангу.

Медленно переходил Пойгин от жилища к жилищу, пытаясь хоть в малой степени постигнуть тайну их незнакомой жизни, но пока, кроме отчужденности и глухой вражды, ничего не чувствовал.

Подул ветерок. Над самым большим жилищем затрепетал прикрепленный к шесту кусок материи. Да, это именно то, о чем рассказывал Ваныскат. Долго смотрел Пойгин на этот непонятный для него знак, видимо, имеющий для здешних

обитателей какую-то особенную силу. Может, он выполняет роль хранителя очага? Возможно, что своим движением, получив силу любого из ветров, он отгоняет враждебных духов? А что, если на знак этот нельзя смотреть долго, как и на луну? Однако странно, что он все-таки имеет скорее цвет солнца, а не луны.

Где же здесь заночевать? Постучать во вход одного из деревянных вместилищ? Нет, лучше переспать в снегу. Хорошо бы разжечь костер, вскипятить чаю, погреться. Но где взять сухих сучьев?

Пойгин подошел к высокому шесту, подумал, что надо бы срубить его, исколоть. Но это же не просто дерево, которое выросло здесь; такие деревья вырастают где-то далеко-далеко, их стволы иногда приносят сюда морские волны. Значит, шест этот вкопали в землю люди. Зачем? Видимо, на то есть причина. Не на этом ли месте, как рассказывал Вапыскат, Рыжебородый вселяет в детей безумие? Может, потому и следует срубить шест? Почему бы не послать Рыжебородому вызов именно таким способом? Надо все хорошо обдумать, но сначала необходимо накормить собак.

Когда собаки свернулись в комочки на сон, Пойгин вытащил из нерпичьего мешка небольшой походный топорик и решительно направился к шесту. Обошел вокруг него, чуть ударил обушком по стволу. Мерзлое дерево отозвалось глухим звуком. От верхушки шеста почти до самой земли шла веревка. Пойгин дотронулся до узла на большом гвозде, на котором внизу закреплялась веревка. Странно, зачем она? Может, это прикол для оленей? Но почему такой высокий?

Пойгину вспомнился рассказ Вапыската о том, как на высокий шест по утрам дети поднимают кусок красной материи. Наверное, потому и нужна эта веревка. Значит, Вапыскат знал, о чем говорил? Может, и другие вести его вполне достоверны? Что, если и вправду именно у этого шеста в детей вселяют безумие? Но это надо проверить. Да, все, все надо увидеть собственными глазами.

Нагнувшись, Пойгин с обостренным чутьем следопыта начал осматривать утоптанный снег вокруг шеста. Да, здесь, видимо, каждый день топчутся многие люди; у шеста снег прибит так, что не различить ни одного следа. Вот здесь, подальше, много детских следов. Не рваные ли у них торбаса, не простуживают ли ноги? Кажется, нет. Всюду следы беспорядочно бегавших людей. Ну что ж, дети есть дети. Хотя Вапыскат, наверное, сказал бы, что здесь совершался танец безумных. А если Вапыскат прав?

Пойгин подошел к шесту и, размахнувшись, ударил в него топором. Мерзлое дерево было крепким, и легкий топор, зазвенев, отскочил, как от железа. Это лишь разозлило Пойгина. Он ударил топором еще и еще раз.

И вдруг позади себя он услышал чьи-то шаги. В мглистом свете луны разглядел огромного человека; одет он был в чукотскую кухлянку, однако на ногах было что-то странное, совсем непохожее на торбаса.

«Рыжебородый!» — пронеслось в уме Пойгина.

— Ты пришел, гость! — поздоровался по-чукотски человек, замедляя шаг.

— Да,— промолвил Пойгин, отвечая на приветствие.

— Почему же не вошел в мое жилище, как я вошел бы в твое?

— Я не знаю, как входить в твое жилище.

— Потому и решил разжечь костер?

— Да, я хотел срубить шест и разжечь костер.

Пока происходил этот разговор, Пойгин разглядел лицо пришельца: сомнений нет — это Рыжебородый.

— По твоему лику... и еще по тому, как ты обут,— ты пришелец,— сказал Пойгин, стараясь, чтобы голос его звучал если не с вызовом, то и не очень расположительно.— Почему разговариваешь так же, как разговариваю я?

— Я научился твоему разговору.

— Зачем?

— Чтобы ты меня понимал, а я понимал тебя.

Пойгин задумчиво помолчал, разглядывая ноги пришельца, наконец спросил:

— Во что ты обут?

— Это называется валенки. Они не так удобны, как торбаса, однако в них довольно тепло. Войдем в мое жилище, я напою тебя чаем.

— Нет. Я не могу войти в твое жилище, — несколько помедлив, ответил Пойгин.

— Почему?

— Недобрые вести о твоем деревянном стойбище смущают меня.

— Вот как! В таком случае ты должен на все посмотреть сам.

— Я потому и приехал.

— Начнем с моего очага. Там ты можешь согреться и утолить голод,— Рыжебородый широким жестом показал на жилище, над которым развевался красный кусок ткани.

— Я войду в твое жилище, когда исчезнет луна. Я белый шаман. Мне нужно солнце.

Рыжебородый какое-то время озадаченно разглядывал Пойгина, затем спокойно сказал:

— Солнце покажется над горами не скоро.

— Мне будет достаточно быстротечного рассвета. Огненный свет по всему кругу неба у рубежа печальной страны вечера и есть солнце.

— Да, это его свет. Но ждать долго.— Рыжебородый посмотрел на небо. — Янотляут и Ятляут[1] еще не скоро обойдут Элькэп-енэр с левой на правую сторону.

— Да, ты прав. Как видишь, мне долго ждать твоего чая. Буду пить свой, для чего необходимо разжечь костер.

— Ты не должен рубить этот шест. Он имеет значение священного предмета.

Пойгин медленно повернул лицо к шесту, оглядел его сумрачным взглядом, в котором глубоко таилась тревога: да, возможно, здесь Рыжебородый насылает на детей безумие.

— Что ж, я усну в снегу вон там, у моей нарты, без чая,— отчужденно сказал он.

— За тем вон дальним домом, если еще немного пройти по берегу моря, стоит яранга.

— Чья?! — спросил Пойгин, выражая искреннюю радость.— Кто там живет?

— Ятчоль...

Брови Пойгина изумленно вскинулись вверх.

— Ятчоль? Тот самый Ятчоль, который жил в стойбище Лисий хвост?

— Ты прав, он перекочевал оттуда.

— И ты его друг?

Рыжебородый долго не отвечал на вопрос, пытливо разглядывая лицо Пойгина. Наконец ответил уклончиво:

— Я не знаю, друг ли он тебе.

— Нет! Нет! Он не может быть моим другом!— запальчиво воскликнул Пойгин.— Это вы, пришельцы, почему-то сразу становитесь его друзьями.

— Я не буду тебя ни в чем разубеждать. Разбирайся сам, кто кому друг, — почему-то грустно ответил Рыжебородый.— Жаль, что придется тебе спать в снегу. Давай все-таки разожжем костер.

Открыв вход одного из небольших деревянных вместилищ, Рыжебородый вытащил обломки досок, топор, принял-

[1] Янотляут — Арктур; Ятляут — Вега.

ся колоть их. Потом выбрали место для костра. Рыжебородый вытащил из кармана спички. Пойгин раскурил трубку, жадно затянулся, протянул Рыжебородому.

— Не курю,— сказал тот, не приняв трубку.

И это неприятно изумило Пойгина. Как это человек может не курить? Это же все равно что не пить или не есть. И почему он не принял трубку? Разве трудно хотя бы один раз затянуться из нее дымом, тем самым показав свою предрасположенность к мирной беседе?

Горел костер. Пойгин и Рыжебородый пили чай в молчаливой задумчивости.

— Верно ли, что твоя борода может обжечь руку, если до нее дотронуться? — нарушил молчание Пойгин.

— Разве до тебя дошли такие вести?

— Да.

— В таком случае проверь сам. Или боишься обжечь руку?

— Не боюсь. Но я это сделаю потом, не при луне,— немного поразмыслив, ответил Пойгин.

Переночевал Пойгин в снегу у нарты. Вскоре после того, как Рыжебородый ушел в свое деревянное жилище, начал падать мягкий снег, мороз поубавился. Пойгин спал до рассвета, ни разу не поднявшись, чтобы потоптаться, согреть ноги. Когда проснулся, сразу вспомнил, что обещал Рыжебородому войти в его жилище, как только даст о себе знать солнце быстротечным рассветом. Надо было поторопиться принять решение, пока снова не началось время луны: входить или не входить в деревянное жилище? Не лучше ли дождаться еще одного рассвета, а сегодня приглядеться, что будет делать Рыжебородый у того шеста, который, как он сам сказал, имеет для него значение священного предмета? Да и готов ли Рыжебородый принимать гостя, не спит ли он?

Рыжебородого Пойгин увидел еще до того, как смог прийти к какому-либо решению. Это было странное зрелище. Рыжебородый вышел почти голый, всего лишь в коротеньких матерчатых штанишках; в обеих руках его было по два каких-то, судя по всему, очень тяжелых предмета — ведра не ведра и на чайники непохожи. Но больше всего поразило Пойгина то, что на груди, на спине и даже на ногах у Рыжебородого росла довольно густая шерсть. «Да человек ли он?» — не без страха спросил себя Пойгин.

Потоптавшись на одном месте, Рыжебородый схватил тяжелые предметы и начал по очереди то один, то другой поднимать выше головы и снова опускать. Мускулы его волосатого тела могуче напрягались, и казалось, что он сильнее всякого зверя. Когда Рыжебородому надоело поднимать тяжелые предметы, он принялся обтирать себя снегом. Делал он это, кажется, с огромным удовольствием, порой смеясь и покряхтывая. «Да он, видимо, сам безумный»,— вдруг пришло Пойгину в голову.

Ему очень хотелось подойти к Рыжебородому поближе, но что-то его останавливало. Когда Рыжебородый вдруг встал на руки и пошел по снегу, Пойгин окончательно пришел к выводу, что видит проявление человеческого безумия. «Может, он и детей будет переучивать ходить на ногах и поставит их головой вниз?» — размышлял он, изумляясь увиденному.

Рыжебородый наконец встал на ноги, поманил к себе Пойгина рукой.

— Проснулся? — спросил он, снова принимаясь обтирать себя снегом.

Остановившись на почтительном расстоянии, Пойгин смущенно спросил:

— Что с тобой происходит?

— Это по-русски называется зарядка, — улыбаясь, ответил Рыжебородый.— Хочу быть сильным. К тому же это лучший способ прогонять простудные болезни. Так и рассказывай всем, что я очень сильный. А вот добрый или злой — сам постигай.

— Ты не безумный? — осторожно спросил Пойгин.

— Я так и подумал, что тебе в голову может прийти подобная мысль. Разубеждать не стану. Присматривайся, соображай. Сегодня мягкий, приятный снежок, не каждый раз вот так выскочишь на мороз. Не утерпел, выскочил.

— Да, сегодня стало теплее, — согласился Пойгин.

Когда Рыжебородый скрылся в своем жилище, Пойгин подошел к железным предметам, попытался поднять сначала один, потом второй. Поднять-то поднял, но удивился, насколько они тяжелы. «Как же Рыжебородый их вскидывает выше головы? Мне этого не сделать, хотя я, кажется, не такой уж и слабый».

Пока Пойгин возился с железными предметами, Рыжебородый вышел опять, уже в одежде.

— Это называется — гири, — пояснил он.

— Неужели я слабее тебя?— не без досады спросил Пойгин.— Не могу поднять их выше головы.

— Стоит ли об этом думать. В чем-нибудь другом ты сильнее меня. В беге, в ходьбе, к примеру, в стрельбе.

— Да, быстрее меня мало кто бегает.

— Это можно проверить. Скоро будет здесь праздник. Оленьи гонки будут, мужчины покажут свою ловкость в беге, в прыжках. Арканы метать будем, стрелять из луков, карабинов, винчестеров.

— Разве пришельцы умеют ездить на оленях, метать аркан?

— Зачем пришельцы? Вы будете главными гостями на празднике. Охотники, оленные люди. Призы хорошие выставим. Большие медные чайники, карабины, подполозки для нарт, котлы. Буду рад, если ты станешь достойным хоть одного из этих призов.

Кажется, этот странный человек намерен был удивлять Пойгина бесконечно.

— Праздник Моржа еще далеко. Праздник рождения оленя тоже не близко. О каком из них ты говоришь?

— Праздник честно живущего человека, — ответил Рыжебородый.

— Разве есть такой праздник?

— Есть.— Рыжебородый улыбался мягко и задумчиво.— Как видишь, быстротечный рассвет в разгаре, солнце дало знать о себе. Ты можешь войти в мое жилище.

— Да, я, пожалуй, войду, — согласился Пойгин, оглядев едва приметный в падающем снеге посветлевший горизонт.

Вошел Пойгин в деревянное жилище с чувством преодоления какой-то сверхъестественной черты, словно бы входил в совершенно иной мир, мало имеющий отношения к миру земному. Прежде всего поразили незнакомые запахи. И наоборот, он совершенно не почувствовал духа человеческого жилья: здесь не было запаха дыма, шкур, запаха светильника и многого другого, чем отличается любой чукотский очаг.

Рыжебородый открыл еще один вход, и перед Пойгином оказалось огромное вместилище, заставленное какими-то деревянными подставками разной формы и величины.

— Это называется стол, а это стул, — пояснил Рыжебородый, дотрагиваясь до деревянных предметов рукой, — мы с тобой находимся в клубе, куда собираются люди, чтобы послушать новые вести, вместе подумать о жизни.

Пойгин со скованным видом человека, рискующего встретить какой-нибудь опасный подвох, медленно оглядывал стены, потолок, пол, окна.

— Почему здесь так тепло? — хрипловато спросил он, не сумев справиться от волнения с собственным голосом. Осторожно потрогал рукой стену. — Это же дерево. Неужели оно может быть теплее оленьей шкуры?

— В этом жилище есть вместилище огня — печка называется,— Рыжебородый поманил Пойгина, открыл маленькую железную дверку в выступе, который, кажется, был сделан из камня.

Пойгин, увидев огонь, от неожиданности закрыл глаза рукой. Так вот где тот источник дыма, запах которого всю ночь он чувствовал, когда спал у нарты. Когда проснулся, то увидел, что из выступа на острой вершине деревянного жилища шел дым. Пойгин долго всматривался в выступ, думая, что кто-то там, вверху, жжет костер. Зачем? Это же дерево. От костра дерево может загореться, особенно, в ветер. Но как ни приглядывался Пойгин — костра не увидел. Тогда пришла ему мысль, что костер где-то внутри, под деревянным островерхим шатром, и дым выходит, как это бывает, когда курится верхушка яранги.

И вот теперь он увидел огонь, упрятанный в каменное вместилище. Пойгин потрогал белый выступ рукой, ощутил если не ожог, то очень сильное тепло. Значит, Рыжебородый с помощью огня, упрятанного в каменное вместилище, создал в своем жилище что-то похожее на лето.

На одной из стен Пойгин увидел солнечного цвета трубу с прикрепленным к ней куском красной ткани. Вспомнился рассказ Вапыската о том, что Рыжебородый с помощью трубы ревет громче келючи. Пойгин медленно подошел к трубе, боязливо дотронулся пальцем до ее блестящей поверхности.

— Вести говорят, что ты с помощью этой трубы ревешь, как морж-келючи. От этого, должно быть, всем очень страшно. Зачем?

— Вести преувеличивают.— Рыжебородый снял со стены трубу, покрутил ее в руках.— Это называется горн. Звуками его мы здесь зовем детей выполнять различные действия, полезность которых тебе еще предстоит постичь.

— Это камланье? Белых или черных шаманов?

— Нет, не камланье. Но в этих действиях есть одинаковое с тем, к чему ты стремишься как белый шаман.

— В чем одинаковое?

— В добре. Но тебе это сразу трудно понять. Присмотрись.

— Зареви в свою трубу. Только не оглуши меня. — Пойгин часто замигал, ожидая чего-то невероятного.

Рыжебородый приложил узкий конец трубы ко рту, издал несколько различных, не столь уж и громких звуков. В них не было ничего устрашающего, однако Пойгин все еще напряженно мигал; наконец спросил:

— Громче можешь?

— Могу. Но не хочу тебя пугать. Это может каждый, надо лишь немного поучиться. Попробуй сам. Дуй вот сюда.

Невольное любопытство одолело осторожность Пойгина. Он приложил конец трубы ко рту, принялся дуть. Но, кроме шипения, ничего из трубы не шло. Пойгин набрал полные легкие воздуха, принялся дуть до натуги в лице; щеки его раздувались, а труба если не шипела, то в лучшем случае хрипела.

— Не слушается, — огорченно сказал Пойгин, постучав согнутым пальцем по трубе.— Голос этой трубы не похож ни на какой другой из тех, которые мне приходилось слышать.

Каждый следующий шаг Пойгина в этом странном жилище, где люди создали в зимнюю пору лето, приносил новые и новые невероятные открытия. Рыжебородый ввел его в свое, как он сам сказал, спальное вместилище.

— По-русски это называется квартира,— терпеливо объяснял он,— здесь мы едим, а вот здесь спим. Подставка эта называется кровать.

— Как же ты не боишься спать на ней? Ночью можно упасть, зашибиться о дерево,— Пойгин топнул несколько раз ногой, потом нагнулся, потрогал пол рукой.— Может, ты себя на ночь ремнями привязываешь?

— Нет, сплю точно так же, как ты в пологе. Привычка. Никогда не падал. А вот моя жена, — сказал Рыжебородый, когда из входа еще в одно вместилище вышла женщина с солнечными волосами и с глазами, как малые частички неба или голубой морской воды в пору тишины, когда море как будто спит, не шелохнувшись даже самой слабой волною. Что-то неземное почудилось Пойгину в этой тоненькой женщине с волнистыми распущенными волосами, словно явилась она из каких-то голубых далей, из тех далей, откуда порой наплывают, как безмятежный сон, вереницы лебединых стай. Казалось, что эта женщина сама способна летать, и цвет глаз ее потому и похож на малые частицы синего неба.

И вдруг Пойгина неприятно поразило, что ноги ее ого-

лены почти до колен. Да, это было, по представлениям Пойгина, как и любого из его соплеменников, более чем непристойно. Как может она показываться мужчине на глаза в таком виде?

— Почему твоя жена бесстыдная? — вдруг спросил Пойгин со всей прямотой.

— Бесстыдная?! — изумился Рыжебородый.

— Нельзя женщине показывать ноги мужчине до самых колен.

Рыжебородый посмотрел на ноги жены, и по всему было видно, что он готов рассмеяться. Но он сдержал себя, заговорил с женой на своем языке.

— Понимаешь, Надя, наш гость шокирован тем, что ноги твои оголены до колен. Хорошо, мы это с тобой усвоим. Я думал, что знаю о чукчах все, но, как видишь, заблуждался.

Женщина смущенно улыбнулась, глянула на свои ноги и скрылась в соседнем вместилище. Вскоре она явилась в том же наряде, однако под синей одеждой ее оказались матерчатые штаны.

Через некоторое время Пойгин ел мясо, пил чай, сидя за столом на страшно неудобной деревянной подставке. Ему очень хотелось опуститься на пол, удобно сесть на корточки, но внизу не было мягких шкур. Когда стало жарко, он снял кухлянку, обнажаясь до пояса. Не знал он, что говорит Рыжебородый о нем жене.

— Посмотри, Надя, как великолепно вылеплен этот чукча, — рассуждал заведующий культбазой Артем Петрович Медведев.— Будто вдруг ожившая бронзовая скульптура. А какая осанка! Право же, осанка истинного аристократа.

— Миклухо-Маклай, кажется, делал такие же открытия,— отвечала шутливо Надежда Сергеевна, заведующая школой в культбазе.— И нос у нашего гостя с горбинкой... Какой четкий профиль, хоть чекань на медали.

Утолив голод и напившись чаю, Пойгин с удовольствием раскурил трубку.

— А вот это вроде бы здесь ни к чему,— сказала Надежда Сергеевна.

— Ничего, придется потерпеть.

— Я бы предложил тебе и твоей жене трубку,— сказал Пойгин, глубоко затягиваясь.— Но ты вчера удивил меня, не приняв трубку.

— Однако беседа наша все равно была очень мирной и дружелюбной,—возразил Рыжебородый,—считай, что я при-

нял у тебя трубку. Просто по моим обычаям каждый, кто курит, должен курить только свою трубку.

— Почему? От жадности?

— Нет, по другой причине. Когда-нибудь поймешь. Приглядывайся. Я пытаюсь постигнуть ваши обычаи, а ты, быть может, найдешь нужным постигнуть наши.

Пойгин промолчал, обдумывая, что кроется за словами Рыжебородого. Вдруг он чуть откинулся назад и сказал:

— Теперь позволь мне дотронуться до твоей бороды.

— Не боишься обжечься?

Пойгин посмотрел на руку, помахал ею в воздухе, словно уже чувствуя ожог.

— Решайся,— шутливо промолвил Рыжебородый, как-то странно подмигнув ему. — Решайся. Судя по всему, ты храбрый мужчина.

Пойгин помедлил, затем осторожно протянул руку и вдруг крепко ухватился за бороду Артема Петровича.

— Это еще что за выходка? — спросила Надежда Сергеевна, не все поняв в речи Пойгина.

— Надо тебе поскорее овладевать чукотским языком,— спокойно ответил Артем Петрович, когда гость наконец отпустил его бороду.

Какое-то время Пойгин внимательно оглядывал собственную руку.

— Никакого ожога не чувствую, — сказал он, кажется, несколько разочарованно.— Даже тепла не почувствовал. Обыкновенная шерсть, как если бы я притронулся к гриве чимнэ[1].

— Вот видишь, я обыкновенный человек, — сказал Рыжебородый, дотрагиваясь до бороды, — ничего сверхъестественного во мне нет. Надеюсь, что именно эту весть ты и увезешь в тундру.

— Не лучше было бы для тебя, если бы по тундре шла весть, что твоя борода как огонь?

— Зачем обман?

— Да, обман не нужен.

— Ну вот, кое в чем, кажется, мы уже сошлись.

«Это еще надо до конца проверить»,— подумал Пойгин, однако высказывать свою мысль вслух не стал: может, и вправду Рыжебородый — тот, за кого себя выдает, зачем обижать человека?

Теперь надо посмотреть на детей, да главное — понять,

[1] Чимнэ — олень-бык.

что здесь делают с ними. Злое начало иногда кроется под очень доброй улыбкой.

— Не хочешь ли еще чаю? — спросил Рыжебородый.

— Что вон там непонятно так пахнет? — спросил Пойгин, показав в угол возле вместилища огня, па котором жена Рыжебородого кипятила чай.

— Это называется умывальник,— пояснил Рыжебородый, направляясь в угол и показывая, как он моет руки.— Это мыло. Очень хорошо смывает грязь. И оно действительно пахнет. Надеюсь, не скверно?

— Непонятно пахнет, — сказал Пойгин, втягивая носом воздух.— Пожалуй, от такого запаха может заболеть голова.

— У тебя болит?

— Пока нет. И огонь у вас пахнет совсем по-другому, не так, как в костре.

— В костре горят деревянные сучья. А тут — вот это. Называется каменный уголь.

— Костер пахнет лучше. Надо бы тебе в твоем жилище жечь костер, как в яранге. Дым — это ничего. Дым даже хорошо. Я всегда радуюсь, когда вдруг услышу в пути запах дыма далекого стойбища.

— Я тебя понимаю. Пойми и меня. Трудно дышать дымом. Грудь болит. — Рыжебородый приложил ладонь к груди. — Так выпьешь ли еще чаю?

— Пожалуй, попью. Потом пойду смотреть, что вы тут делаете с нашими детьми. Вести дошли, что вы делаете их безумными там, у того шеста, который я вчера хотел срубить.

Рыжебородый изумленно переглянулся с женой.

— О, это лживая весть,— сказал он, помрачнев. — Очень лживая. Нас кто-то хочет оклеветать. Тебе тут особенно надо во всем разобраться. У нас не было сегодня намерения совершать действие у высокого шеста. Но мы, пожалуй, его все-таки совершим в твою честь?

— Как это в мою честь?

— Потом поймешь. Смотри и разбирайся.

Заревела труба Рыжебородого у высокого шеста, заревела призывно. У Пойгина пробежал мороз по спине. Нет, это не было похоже на рев моржа, это не было похоже и на грохот бубна. Однако что-то шевельнулось в душе Пойгина такое, будто он колотил в бубен или слушал, как колотят другие.

Из другого деревянного жилища, которое стояло рядом с тем, в котором только что побывал Пойгин, вышли один за другим дети. Шли, глядя друг другу в затылок, а рядом с ними шагал молодой парень из пришельцев и что-то весело выкрикивал, широко улыбаясь. Все дети были одеты в кухлянки, обуты в торбаса, кроме одного, который явно был русским; этот был обут точно так же, как Рыжебородый.

Мог ли знать в ту пору Пойгин, что в этом мальчике он видит своего будущего зятя? Пройдут годы, вырастет мальчик, станет похожим на своего отца Рыжебородого. О, сколько еще впереди событий, о которых Пойгин не мог догадываться даже в самой малой степени!

А сейчас он наблюдал за странным ритуалом и мучительно пытался понять: прав или не прав черный шаман Вапыскат, говоря о безумии, вселяемом в головы детей страшным пришельцем с рыжей бородой.

Молодой парень теперь шагал впереди ровной цепочки детей и продолжал весело выкрикивать какие-то слова. Самое странное было в том, что поверх глаз парня были еще и вторые глаза, по виду стеклянные, с темными держалками, которые цеплялись за уши. Пойгин сразу же для себя назвал парня Тин-лилет — Стеклянные глаза.

Дети были веселы, что-то шаловливо выкрикивали, чувствуя себя вполне привычно и свободно. Вот они выстроились в длинный ряд перед высоким шестом, и лица их стали торжественными. Тин-лилет прошелся вдоль ряда, кое-кого из детей поправляя руками, чтобы стояли ровнее. Тин-лилет снова что-то выкрикнул, и все дети как один повернулись в левую сторону. Снова раздался возглас Тин-лилета, и дети как один повернулись на этот раз в правую сторону. Рыжебородый спокойно улыбался, только изредка бросая пытливые взгляды в сторону Пойгина.

Тин-лилет встал впереди ряда и пошел, высоко поднимая ноги, совсем не так, как надо бы ходить человеку, если он в своем уме. И что больше всего удивило Пойгина: все дети, как птенцы за журавлем, пошли шаг в шаг, точно так же смешно поднимая ноги. Да, если со стороны посмотреть — это мало похоже на проявление здравого рассудка. Тин-лилет, как помешанный, машет руками, и все дети точно так же машут руками под его громкие выкрики.

Рыжебородый, будто завороженный, молча наблюдал за этой странной ходьбой и чему-то улыбался. Дети между тем снова остановились, по-прежнему соблюдая ровный ряд, и по резкому требовательному выкрику Тин-лилета точно в одно

и то же время повернулись лицом к Рыжебородому. На этот раз уже Рыжебородый выкрикнул что-то протяжное, вскинул трубу и заревел. Из ряда вышел один из мальчиков, ловко прикрепил кусок красной ткани к веревке. Мальчик тянул веревку вниз, а красный кусок материи, как ни странно, поднимался вверх и вскоре достиг самой вершины шеста.

Дети радостно зашумели, ударяя в ладоши. Некоторые из них кричали в таком восторге, будто увидели восход солнца после долгой ночи. Но снова раздался окрик Тин-лилета, и дети замерли, выравнивая ряд, боясь ступить в сторону даже самую малость. И это всеобщее послушание показалось Пойгину каким-то странным, вызванным сверхъестественной силой, и ему подумалось, что Ваныскат, возможно, говорил истинную правду.

Рыжебородый поглядывал в сторону Пойгина, и на лице его по-прежнему блуждала загадочная усмешка.

Из деревянного жилища, из которого недавно выбежали дети, точно так же, шагая затылок в затылок, вышла вторая группа детей. Только на этот раз у первого мальчика был какой-то странный двойной бубен, в который он отчаянно колотил двумя палочками. Чуткое ухо Пойгина уловило, что мальчик колотил палочками далеко не беспорядочно, он выбивал определенный ритм, под который шагали все остальные дети, так же смешно поднимая ноги. В руках у другого мальчика был новенький карабин, а у остальных, судя по всему, по пачке патронов.

Под выкрики Тин-лилета эта группа детей остановилась прямо перед Пойгином и замерла, словно им приказали не дышать. Однако у каждого из них в глазах было столько радости и благожелательства, словно они присутствовали на самом веселом празднике отела олепей.

Красный кусок ткани трепетал на верхушке шеста, порой хлопая от ветра так, будто раздавались выстрелы. Пойгин кидал вверх тревожный взгляд и снова во все глаза смотрел на детей, переполненный величайшим недоумением, тревогой, подозрением.

Наконец заговорил Рыжебородый:

— Дети! К нам пришел очень хороший человек, дорогой для нас гость, зовут его Пойгин!

Дети опять радостно закричали, захлопали в ладоши, разглядывая Пойгина так, словно был он каждому из них родным отцом.

— Пойгин впервые пришел на культбазу, и ему здесь

многое непонятно. Я вижу, что ему показалось очень странным, что мы поднимаем вверх вот эту ткань, которая называется красным флагом. Объясните ему, когда он будет разговаривать с вами, что красный флаг, который мы часто поднимаем, как бы обозначает солнечное восхождение. Да, да, этот человек, насколько я понял, очень любит солнце, и пусть он красный флаг понимает именно так.

Пойгин слушал Рыжебородого и не мог понять: как все-таки относиться к его словам? С одной стороны, они ему были приятными, да, это были хорошие слова, с другой стороны, его не покидало чувство подозрительности, мучило ожидание подвоха.

— Совершив подъем красного флага в твою честь, Пойгин, мы теперь торжественно вручим тебе наши подарки — карабин и патроны к нему. Пусть тебе всегда сопутствует удача в охоте!

Дети положили карабин и патроны у ног Пойгина, а Рыжебородый опять заревел в трубу. Потом дети вдруг все вместе запели громкую песню. Пойгин еще ни разу не слышал, чтобы много людей пели одну и ту же песню вместе. Ведь у каждого человека своя песня, и никто другой не должен ее петь, если он не хочет навлечь на себя злых духов. Однако дети пели общую песню. Как понять, хорошо это или плохо? Дети пели громко и дружно, и было видно, что им это очень нравится.

Когда дети наконец закончили петь, Пойгин поднял карабин, внимательно оглядел его и сказал в наступившей тишине:

— Я не могу принять подарок.

— Почему? — удивленно спросил Рыжебородый.

— Я пока еще не понял, что тут происходит, и не сделаю ли я дурного дела, приняв подарок. Я благодарю, но карабин не возьму...

— Тогда поступим так, — Рыжебородый задумался, соображая, как найти выход из затруднительного положения.— Поступим так,— повторил он.— Я карабин спрячу. Но он твой. Ты заберешь его, когда поверишь нам, когда поймешь, что, кроме добра, мы ничего не желаем.

— Дело твое, — не сразу ответил Пойгин.— Я хотел бы поговорить с детьми, но без пришельцев.

— Хорошо, разговаривай с любым из них и со всеми сразу, как тебе захочется,— с готовностью согласился Рыжебородый.

Пойгин провел с детьми целый день. Начал он с ними

разговор еще там, у высокого шеста, едва ушли Рыжебородый и Тин-лилет.

— Тебя как зовут?— спросил он у мальчика, у которого был странный двойной бубен.

— Омрыкай — Маленький силач.

— Не потерял ли ты тут свою силу?

Розовощекий крепыш шмыгнул носом, улыбнулся, так что почти исчезли его узенькие веселые глазенки.

— Мы здесь прыгаем, бегаем, чтобы стать ловкими,— ответил он и добавил не без важности:— Физкультура называется.

Повернувшись к девочке, одетой по-мальчишечьи в кухлянку, Пойгин спросил:

— Верно ли, что тебя заставляют говорить по-мужски?

— Только когда читаю букварь, говорю по-мужски. Букварь по-женски разговаривать не умеет, — ответила девочка.

— Что такое букварь? Можешь ли ты мне его показать?

— Пойдем, покажу.

Рассматривал Пойгин букварь в жилище для детей перед тем, как их должны были позвать на завтрак. В деревянном жилище оказалось несколько вместилищ, в которых стояло по четыре подставки для сна. Здесь было тепло и чисто. Пойгина, превыше всего ценившего опрятность, поразила именно эта чистота, которая вроде бы излучалась, как нечто такое, что имеет отношение к солнечному началу. Белые стены, голубые окна, желтого цвета пол, белая ткань на спальных подставках, наконец, спинки спальных подставок, сделанные из какого-то сверкающего металла, — все это лучилось чистотой, мягким светом.

Однако Пойгин не дал себе волю оказаться во власти первого благоприятного впечатления; он придирчиво выискивал что-нибудь такое, что могло ему не понравиться, даже заглянул под одну из спальных подставок.

— Падаете ночью?

— Сначала падали, — призналась девочка.— Теперь привыкли. У нас Рагтына до сих пор падает. Она знает тебя, ты ее лечил...

— Рагтына? Дочь Выльпы?

— Да, дочь Выльпы.

— Где она?

— Вот она, смотрит на тебя.

Из толпы девочек к Пойгину приблизилась Рагтына, дочь безоленного чавчыв Выльпы. Позапрошлым летом Выльпа просил Пойгина изгнать злую немочь из сердца дочери, ко-

торая была больной еще со дня рождения. Пойгин уходил с Рагтыной в тундру в летнюю пору, выбирая солнечные дни, рассказывал ей сказки, расспрашивал о снах. Рагтына задумчиво слушала сказки, с волнением вспоминала подробности своих страшных снов. И Пойгин незаметно переводил разговор на что-нибудь другое. «Вон видишь, летят лебеди? Следи за ними и думай о них». Девочка всматривалась в небо и видела, как далеко-далеко не то лебеди летели, не то плыли два облачка. Может, и вправду лебеди? Это так легко перепутать. Бывает, плывет вдали вереница лебедей, едва заметная, как сон, как мечтания, и ты сначала ее принимаешь за облачко и смотришь, смотришь в небо, а потом убеждаешься: нет, это все-таки лебеди, и так становится легко, будто они выманили твою немочь и унесли с собой, чтобы сбросить в такое место, откуда она уже никогда не вернется. Так говорил об этом и Пойгин, и слушать его хотелось бесконечно долго. Рагтына тихо смеялась, обрадованная и успокоенная. Пойгин рассматривал под ее глазами синеву и с глубокой печалью думал о том, что помочь больной не в силах. «Тебя, несчастная, назвали Рагтыной — Женщиной, вернувшейся домой, а ты, кажется, собралась навсегда уходить из дому», — размышлял он. Он произносил мысленно одно заклинание за другим, умолял солнечный луч проникнуть в самое сердце девочки, чтобы изгнать из него злую немочь, однако лучше больной не становилось.

Теперь вот Рагтына стояла перед ним, оказавшись обитательницей деревянного стойбища Рыжебородого.

— О, как ты выросла, я тебя и не узнал, — с грустной улыбкой сказал Пойгин, присаживаясь на одну из подставок. Почувствовав, что подставка колышется, быстро встал. Девочки засмеялись, улыбнулась и Рагтына.

— Не бойся, — тоненьким голоском успокоила она Пойгина,— кровать колышется, но никогда не проваливается. На ней засыпаешь так, будто уплываешь на байдарочке в море. Только мне часто снится, что байдарочка тонет, и тогда я падаю на пол. Потому мне на полу стелют шкуру оленя.

— Как тебе дышится здесь? — осторожно спросил Пойгин, прикладывая руку к собственному сердцу.

— Меня лечит доктор. Он, как ты... белый шаман. У него и одежды все белые-белые. И мне кажется, что злая немочь уходит из сердца.

Пойгин весь подался вперед, внимательно разглядывая лицо Рагтыны: ах, если бы он мог поверить ее словам — он немедленно побежал бы разыскивать русского белого шама-

на, чтобы сказать ему самые высокие слова уважения и благодарности. Но по лицу Рагтыны он видел, что злая немочь все еще находится в ее сердце.

Пойгин долго молчал. Наконец вскинул голову, выходя из глубокой задумчивости, и попросил:

— Ну, показывайте этот самый ваш, как он называется...

— Букварь, — подсказала Рагтына.

С шумом и гамом совали девочки в руки Пойгина свои буквари. Явились и мальчики. Омрыкай пытался вручить гостю еще и учебник арифметики. Пойгин раскрыл один из букварей с такой осторожностью, будто боялся, что из него выскочит злой дух. Шелест тонкой бумаги, испещренной черными знаками, рисунками, он воспринимал как шепот сверхъестественной силы, которая, вполне возможно, таит в себе зло.

— Как же он с вами разговаривает, этот букварь? Вы слышите его шепот или голос? На что это похоже — на человеческую речь или на птичий крик? Или пищит, как мышь?

Дети молча переглядывались, не зная, как объяснить совершенно необъяснимое.

— У него нет голоса, — с важным видом ответил Омрыкай,— он немоговорящий. Эти знаки... буквы называются... рассказывают не для ушей, а для глаз, мы как бы глазами слышим то, что они нам рассказывают.

И, выхватив букварь из рук Пойгина, Омрыкай с усердием прочел несколько слов, обозначающих предметы, названия животных, в числе которых оказался и рэв — кит.

— Ну, рэв, и что? — прервал мальчика Пойгин.

— Ничего. Просто здесь букварь говорит знаками: «рэв»,— ответил Омрыкай, явно обидевшись, что его умение понимать букварь нисколько не оценено.— Я вот подальше с букварем поговорю, в самой его середине. Послушай...

Мальчик лихорадочно перелистал букварь, набрал полную грудь воздуха и прочел по складам внятно и четко, и еще с упрямством человека, который умеет постоять за себя:

— О-тец пой-мал ли-су. У ли-сы пу-шис-тый хвост.

— Постой, ты нагнал мне полную голову тумана, — несколько раздраженно воспротивился напору упрямого мальчугана Пойгин.— Чей отец поймал лису? Где он ее поймал? Когда?

Мальчик развел руками.

— Я не знаю, чей отец поймал лису,— досадливо сказал он.— Этого никто не знает.

— Зачем же в таком случае ваш букварь рассказывает глупости? Надо же знать, о чем говорить, если ты намерен сообщить какую-то серьезную весть. И потом, кто же не знает, что у лисы пушистый хвост? Разве ты не знаешь?

— Знаю,— угрюмо ответил Омрыкай.

— И еще я не могу понять: как это возможно слышать глазами? А ушами видеть тут вас не учат? Может, это верно, что вы все посходили с ума?

— Нет, ушами видеть нас еще не учили, — раскрасневшись от явной досады, ответил Омрыкай.— Разве ушами видят?

— Ну, если вы слышите глазами, то почему бы не видеть ушами?

— Не знаю, нам об этом тут еще ничего не говорили, — озадаченно ответил мальчик, подержав себя за уши, словно хотел удостовериться в их способности видеть.

Отворилась дверь, и кто-то крикнул, что пора на завтрак. Детей как ветром сдуло, осталась одна Рагтына.

— Куда они побежали? — спросил Пойгин, опять ласково дотрагиваясь до головы девочки.

— В камэтваран — в дом, где едят.

— Здесь есть и такой дом?

— Есть.

— А ты почему не побежала?

— Я соскучилась по тебе. Пойдем, будем вместе есть.

— Чем вас кормят? Оленя едите?

— Едим оленя, нерпу, рыбу. Много другой неизвестной тебе еды. Пойдем. Только не ешь соль.

— Разве бывает такая еда?

— Немножко ее сыплют в другую еду.

— Соль в еду? Они что, посходили с ума? Ох и не нравится мне все это, — скорее для самого себя, чем для девочки, сказал Пойгин.— Букварь рассказывает глупости, дети едят соль... У меня голова распухла от непонимания. Приеду в тундру... не знаю, что и рассказывать...

— Здесь хорошо!— тоном, не допускающим никакого сомнения, вдруг заявила Рагтына. — Здесь весело.

— Ну, если тебе хорошо, то я рад. Да, да, я очень рад,— снова погружаясь в мучительную задумчивость, сказал Пойгин.— Пойдем есть, посмотрю, чем вас кормят.

В доме для еды дети вовсю работали ложками и еще какими-то маленькими четырехзубыми копьями. Пойгин присел рядом с Рагтыной, заглянул в ее миску.

— Это называется рисовая каша,— смущенно, словно из-

виняясь за то, что вынуждена просвещать взрослого человека, объяснила Рагтына. — Попробуй. Вот котлеты.

Незнакомый вкус рисовой каши не произвел на Пойгина особого впечатления. Котлета, приготовленная из оленьего мяса, ему понравилась.

— Это, кажется, вкусно.

— Все говорят, что вкусно, — согласилась Рагтына,— только вот охоты к еде у меня меньше, чем у других. — И, горестно вздохнув, девочка добавила:— Что поделаешь, больная...

У Пойгина заныло сердце от жалости. Ничего не ответив девочке, он принялся наблюдать за русской женщиной, разносившей еду. Полное лицо ее было приветливым, а белая одежда и такой же белый, смешной формы малахай на голове излучали ту же чистоту, которая запала в память Пойгина, когда он оказался в жилище девочек. «Что ж, это хорошо,— отмечал он для себя.— Кайти тоже любит, чтобы чисто было. Уж ее полог всегда самый опрятный».

Заметив, как Рагтына, принявшись за котлету, ловко управляется с четырехзубым маленьким копьем, Пойгин спросил:

— Не боишься уколоться?

— Мы все уже привыкли, — ответила девочка.— Это вилка называется.

Желая удостовериться, всем ли нравится пища, Пойгин пошел между рядами деревянных подставок, застланных чем-то похожим на гладкую кожу.

— Ты здесь всегда наедаешься? — спросил он у Омрыкая.

Мальчик похлопал себя по животу и важно ответил:

— Я ем больше всех, потому что силач.

— Ну, ну, ешь, лишь бы не был голодным.

В дом для еды вошел Тин-лилет, строго всех оглядел, остановил взгляд на Пойгине, что-то сказал русской женщине. Та смутилась, развела руками. Не знал Пойгин, что речь шла о нем.

— Почему здесь посторонний человек? — спросил у поварихи дежурный по столовой, учитель Александр Васильевич Журавлев.

— Что я поделаю, если он пришел, — ответила повариха,— не могу же я его выгнать. Артем Петрович сердится, если мы неприветливы к чукчам.

Журавлев широко улыбнулся, и стало понятно, что строгость его напускная:

— Милая Анастасия Ивановна. Я сам могу страшно рассердиться по той же самой причине.

Журавлев говорил правду. На Север он поехал с жаждой согреть всем жаром своего сердца маленький народ, о котором прочел все, что было возможно. Он мечтал о романтике, о подвижничестве, в котором надеялся раскрыть, как ему думалось, недюжинные свои силы. В горячем воображении он сражался со злыми и коварными шаманами, шел сквозь пургу, чтобы спасти старика, который, не желая быть лишним ртом, согласился на добровольную смерть (об этом читал он в книгах), вступал в поединок с вооруженными до зубов американскими контрабандистами, которые все еще пытались подойти на шхунах к чукотским берегам.

К великому его сожалению, на культбазе пока ничего подобного не происходило, и он не знал, куда девать свою энергию.

«Тебе, Саша, надо почувствовать истинный героизм в обыкновенных буднях»,— внушал ему начальник культбазы Медведев. «Я пытаюсь, Артем Петрович, но мне этого мало»,— искренне признавался Журавлев.

Медведева Александр Васильевич любил беззаветно, однако не пропускал ни одной возможности поспорить с ним и один на один, и на людях, стараясь показать свою независимость и принципиальность.

Журавлеву казалось, что начальник культбазы излишне осторожен, слишком педантичен; ему уже давно пора совершать рейды в самую глубокую тундру, куда попряталось кулачье да шаманы, а он непростительно медлит. Между тем он, Журавлев, готов хоть сейчас возглавить любой из самых дальних рейдов. В чукотских детишках Александр Васильевич не чаял души, искренне восхищался каждым из них, и они платили ему тем же.

Вот и сейчас Пойгин заметил, как доверчиво и влюбленно смотрели детишки на русского парня, которого он прозвал Тин-плетом, с одобрением отмечая для себя, что у него веселое лицо, и совершенно непонятно — зачем он закрывает стекляшками глаза, если в них светится такая приветливость.

Улыбнувшись Пойгину, Александр Васильевич подошел к нему, сказал по-чукотски, правда, не столь чисто, как умел говорить Рыжебородый:

— Я рад видеть тебя гостем. Присядем и за едой поговорим. Мне совсем непонятно, почему ты отказался от нашего подарка, когда мы поднимали красный флаг в твою честь.

Пойгин сел за стол против учителя, внимательно посмотрел ему в глаза, откровенно сказал:

— Я еще не знаю, не заставит ли меня ветер ярости стрелять в вашу сторону.

Журавлев откинулся на спинку стула, изумленно воскликнул:

— Ого! Да ты, кажется, умеешь странно шутить.

— Что ж, будем считать, что я пошутил.

— Хотя ты и гость, но я должен сказать, что шутка твоя не понравилась мне. Ты бы лучше принял наш подарок и направил карабин против шаманов, если на то они тебя вынудят.

— Я сам шаман. — Помолчав, Пойгин уточнил со значением:— Белый шаман.

Окончательно сбитый с толку, Журавлев медленно протер носовым платком очки, стараясь, чтобы лицо его выглядело сурово и мужественно. Вытащил трубку, которую пока еще никогда не курил, замедленным жестом сунул в рот и, снова вынув, сказал:

— Шаман есть шаман. Думается мне, что ты на себя наговариваешь.

Журавлев не вошел, а ворвался в кабинет начальника культбазы с видом воинственным и развеселым.

— Что, Саша, не удалось ли тебе задушить в схватке белого медведя? — пошутил Артем Петрович.

— У меня состоялся странный разговор с нашим гостем. Он так откровенно объяснил, почему не принял карабин в подарок, что я опешил...

— Ну, уж так и опешил. На тебя совсем непохоже.

— А что, если он и вправду шаман?

— Вполне возможно.

— И мы закатили в его честь подъем флага?

— Закатывают банкеты, Саша.

— Согласен, выразился неудачно...

— Уверяю тебя, что это тот шаман, с которым надо сражаться не оружием, а добротой...

— Боюсь, что это похоже на баптистскую проповедь.

— Что, что?!

— Извините, Артем Петрович, вы знаете, как я вас уважаю, даже люблю. Но я все чаще и чаще перестаю вас понимать.

— Поймешь, поймешь, Саша. Не зря же я взял тебя

в свой культотряд. Обаяние твое, беззаветность комсомольская при тебе останутся, а от чрезмерного максимализма постепенно освободишься. Переболеешь...

— Понимаю, вы хотите сказать, что у меня корь или скарлатина.

— Может быть, может быть, Саша.— Медведев вышел изза стола, по-отечески положил руки на плечи Журавлева. — Но излишний твой максимализм может наделать немало беды. Пойми, мы находимся в такой обстановке, когда малейший наш неверный шаг, неловкий поворот наносит раны. Вот так, дорогой Саша. Не торопись объявлять войну нашему шаману. В жизни все гораздо сложнее. Кстати, займись чукотским языком посерьезнее. У тебя неправильно звучат «к» и «л». Чукчи «л» произносят мягко и чуть с пришипом.

— Хорошо, буду произносить «л» с пришипом, — напряженно думая о чем-то своем, сказал Александр Васильевич. Вскинул голову, бесстрашно глядя в глаза начальника культбазы: — А почему вы так быстро объявили войну Ятчолю? Вы прогнали с работы истопника Ятчоля, человека, который действительно тянется к нам, а в честь неведомого человека, возможно враждебного нам, подняли флаг...

— Ведом, очень даже ведом для меня этот человек,— Артем Петрович поманил Журавлева к себе пальцем с лукавым видом.— Скажу тебе по секрету. Вчера чуть ли не всю ночь я провел с ним у костра.

— У какого костра? Вы же никуда не уезжали.

— Верно, не уезжал. Гость не решился заночевать в незнакомом для него русском жилище, заявил, что будет спать у порога. Вот я и предложил разжечь костер. И мы его разожгли почти у самого порога.

Александр Васильевич вдруг расхохотался:

— Оригинально! О-очень оригинально. За это я, наверное, и люблю вас, за все новые и новые неожиданности в вашем характере. Впрочем, не только за это...

В кабинет вошел с крайне взволнованным видом Ятчоль. Прижав малахай к груди, он выпалил:

— Я видел шаман Пойгин! Плёка Пойгин. Очень сильно шаман Пойгин.

Медведев улыбнулся Журавлеву:

— Вот и еще один борец с шаманами.

— А если он прав?

— Прав я, Саша. Прав не только потому, что прогнал Ятчоля за пьянство...

— Вообще-то, конечно, он мог нам и пожар устроить.

— Вот, вот, пожар, — подтвердил Медведев в какой-то глубокой сосредоточенности.— Но дело не только в этом. Я его уволил за двоедушие, за холуйство. Нам, дорогой Саша, не нужны угодливые людишки, не нужны марионетки, нам нужны равные среди равных. И это не просто громкая фраза, в этом наша суть. Ради этого я лично подался на край света, полагаю, что и ты тоже...

— Да, в этом вы можете быть уверены.

— Уверен, вполне уверен, Саша.

А Пойгин продолжал постигать порядки в стойбище Рыжебородого. После завтрака он пошел вслед за детьми и оказался в другом деревянном вместилище, где учили их разгадывать тайну немоговорящих вестей. Дети разместились за деревянными подставками, которые они называли партами, разложили перед собой буквари. Едва протиснувшись, сел за одну из парт и Пойгин.

Когда вошла учительница — жена Рыжебородого, то все дети встали и на ее слова ответили каким-то единым дружным возгласом. Пойгину еще не приходилось слышать, чтобы сразу много людей произносили одно и то же слово. Потом учительница еще что-то сказала, и дети, видимо ей повинуясь, сели, раскрыли буквари. Учительница подошла к черной доске и принялась вычерчивать куском белой глины какие-то знаки; оставляла следы на доске, будто куропатка на снегу, и усердно что-то объясняла. Голос ее был приветливым, а глаза, похожие на частички синего неба или синей воды спокойного моря, лучились добротой и каким-то особенным желанием раскрыть тайну белых знаков; она так старалась, что, казалось, готова была вынуть собственное сердце, только бы поскорее догадались дети, что она хочет им объяснить. Разговор ее на чукотском языке звучал порой очень смешно, однако все слова можно было понять, беда была лишь в том, что Пойгин не мог уразуметь их смысла. Его изумляло, что дети все-таки учительницу понимали, отвечали на ее вопросы, зачем-то высоко поднимая перед этим руку. Особенно старался Омрыкай. Он чаще всех поднимал руку, порой привставал, на лице его отражались мольба и упрямство. И учительница, видимо, поняла, что происходит с мальчиком, пригласила его встать рядом с собой, передала ему кусочек белой глины, сказав при этом:

— Напиши: мама шила рукавицы.

Омрыкай, высунув язык, принялся вычерчивать на чер-

ной доске знаки с таким усердием, что белая глина крошилась в его пальцах. Дети смеялись, улыбалась и учительница, советовала не слишком надавливать белой глиной на доску. Наконец Омрыкай оставил следы на доске намного крупнее, чем это делала жена Рыжебородого,— будто медведь косолапый прошел. И странно, по мнению учительницы, Омрыкай сумел этими знаками сообщить весть, что чья-то мама шила кому-то рукавицы.

— А не можешь ли ты, Омрыкай, сообщить белыми знаками, что я приехал к вам в гости?— спросил Пойгин, покидая тесную деревянную подставку и садясь в угол на корточки. Омрыкай обескураженно развел руками, очень раздосадованный тем, что его попросили сделать нечто пока для него непосильное.

— Я лучше тебе сообщу весть о том, что брат убил зайца,— сказал Омрыкай, отчаянно пытаясь доказать, что он здесь один из лучших знатоков разговора для глаз, в котором совершенно необязательны уши.

— Зачем мне твой заяц, гоняйся за ним сам вместе с твоим братом,— шутливо сказал Пойгин, раскуривая трубку.— Ты мне сообщи именно ту весть, о которой я тебя попросил.

— Он еще не может этого сделать,— с улыбкой сказала жена Рыжебородого.— Я это сделаю сама. Вытри, Омрыкай, тряпкой доску и садись на место.

Мальчик принялся уничтожать следы на черной доске влажной тряпкой с таким старанием, что дети опять рассмеялись, кто-то даже пошутил:

— Пыхтит так, будто моржа из моря на берег вытаскивает.

И когда Омрыкай сел на место, учительница взяла кусок белой глины и сказала:

— Весть эта будет выглядеть так.

Пойгин, не донеся трубку до рта, напряженно следил за тем, как возникали на черной доске белые знаки.

— Ну вот, а теперь я раскрою тайну знаков этой вести, прочту написанное. Слушай, Пойгин, слушайте, дети,— торжественно объявила жена Рыжебородого и медленно, внятно прочла:— Пойгин приехал к нам в гости.— Помолчала, как бы любуясь произведенным впечатлением, и сказала:— Я могу кое-что еще и добавить.

И опять Пойгин не донес трубку до рта, наблюдая за тем, как учительница вычерчивала новые белые знаки.

— Слушайте, вот тут я сообщаю: Пойгин очень желанный для нас гость, потому что он честно живущий человек.

Пойгин встал, напряженно вглядываясь в доску издали, потом медленно подошел к ней вплотную, потрогал знаки рукой и спросил очень тихо, как обычно бывает, когда хотят узнать тайну:

— Какие знаки здесь обозначают мое имя?

Жена Рыжебородого подчеркнула несколько плотно стоящих рядом друг с другом знаков.

— Вот это слово обозначает твое имя.

Пойгин пересчитал все знаки, дотрагиваясь до каждого из них пальцем, и, одолевая непонятный страх, смущенно улыбнулся:

— Значит, мое имя состоит из шести знаков. Почему ты полагаешь, что я честно живущий человек?

— Я чувствую и все мы тут чувствуем, что ты пришел с добром, что ты хочешь узнать, как здесь живется детям, волнуешься за них.— Учительница показала широким жестом на детей.— Вот потому я и догадалась, что ты добрый и честно живущий человек.

— Конечно, тут можно кое о чем догадаться,— раздумчиво согласился Пойгин.— Хотя можно и ошибиться. Мне приятно, что ты так думаешь обо мне. Не затянешься ли из моей трубки?

Пойгин помнил, что говорил Рыжебородый про табак, но согласиться с ним не мог: трубка есть трубка, ее курят и мужчины, и женщины, она согревает своим теплом всех, кто предрасположен к мирной беседе.

Жена Рыжебородого какое-то время помедлила и вдруг с отчаянной решимостью приняла трубку, вдохнула дым и закашлялась до слез. Дети сначала испугались, но когда учительница засмеялась — ответили ей облегченным вздохом, а затем дружным смехом. И было видно по их лицам, как они благодарны учительнице за приветливое отношение к гостю, как они, пожалуй, даже любят ее. Смеялась учительница, смеялись дети, рассмеялся наконец и Пойгин, думая о том, что за действиями и словами этой синеглазой женщины, кроме добра, пожалуй, ничего другого не кроется, и вряд ли здесь возможно проявление затаенных злых помыслов.

С этим чувством и вышел Пойгин на волю, у входа повстречался с Рыжебородым:

— Твоя жена приняла мою трубку. Белыми знаками на черной доске она сообщила очень приятную для меня весть, что я дорогой здесь гость и что я честно живущий человек.

— Это истинная правда! — обрадованно воскликнул Рыжебородый.— Надеюсь, ты расскажешь в тундре, чтобы все

знали, как мы умеем понимать хороших людей, пусть все едут к нам посмотреть, как мы живем.

И опять холодок настороженности вселился в душу Пойгина: нет ли в словах Рыжебородого хвастовства и еще чего-то такого, что рождает злые помыслы? А может, кроме всего прочего, еще и потому не понравились слова Рыжебородого Пойгину, что он пока и в самой малой степени не представлял, с какими вестями предстанет перед главными людьми тундры? Не лучше ли будет, если он ничего им не скажет: пусть приезжают сами и все постигают собственной головой, а уж потом он выскажет свое мнение. Но каково оно, его мнение, что надо думать ему обо всем увиденном?..

С этой мыслью Пойгин ходил по культбазе до самого вечера, приглядываясь к каждой мелочи, заглянул даже в деревянное вместилище, где, как рассказали дети, их моют с ног до головы теплой водой. Пойгин и сам хотел бы ощутить теплую воду на собственном теле, но что-то смущало и даже пугало его: детишкам это, может, и позволительно, для них это вроде бы забава, а как он, взрослый человек, разденется догола и станет обливать себя водой?

5

Когда в стойбище Рыжебородого было все осмотрено, Пойгин все-таки решил заглянуть в ярангу Ятчоля и заночевать у него. Неплохо было бы высушить одежду и обувь после трех ночевок, проведенных в снегу. К тому же Пойгин оказался настолько переполнен впечатлениями от всего увиденного и услышанного, что надо было хоть немного прийти в себя в привычной обстановке. Не помешает, пожалуй, послушать и Ятчоля, хотя и нет особого смысла ждать от него серьезных и правдивых вестей.

Ятчоль встретил Пойгина возле своей яранги возгласом искреннего изумления:

— Ка кумэй! Ты откуда здесь взялся?

Не знал Пойгин, что Ятчоль еще с утра заприметил, кто прибыл из тундры, и что на совести бывшего соседа уже есть на него донос.

— Приехал посмотреть, что происходит в стойбище Рыжебородого, хочу понять здешнюю жизнь.

— Заехал бы прямо ко мне, я бы тебе рассказал...

— Не мог я надеяться, что ты обрадуешься моему появлению.

— Нет, ты не прав, Пойгин! Я буду очень рад твоему по-

явлению в моей яранге. И Мэмэль тоже будет рада. Пойдем поскорее в полог, я буду угощать тебя бражкой.

— Что такое бражка?

— Это такая веселящая жидкость. Научил меня готовить ее Кулитуль из берегового стойбища Волчья голова.

— Знаю я Кулитуля, любит он ходить с дурной головой, кричать на всю вселенную. Боюсь я вашей веселящей жидкости, да и не очень хочу веселиться.

— Почему же так? Наверно, не понравились тебе порядки в стойбище Рыжебородого? — хитро вильнув узенькими глазами, поинтересовался Ятчоль.— Мне самому здесь многое не нравится, пойдем поскорее в полог, я обо всем расскажу. И почему покинул стойбище Лисий хвост, расскажу.

Пойгин не стал отвечать на вопрос Ятчоля, а тот болтал без умолку:

— Сюда много приезжает и морских, и оленных людей посмотреть на культпач, послушать, что тут говорят о новых порядках. А я вот, видишь, перекочевал сюда, стал хозяином огня всех деревянных жилищ, делал там теплоту. Без меня они все померзли бы, как букашки. Теперь отказался быть хозяином огня, надоело мне делать им теплоту, опять стал охотником.

Пойгин слушал Ятчоля с едва приметной усмешкой и думал о том, что предстоит нежеланная ночевка бок о бок с лживым человеком и что лучше было бы опять переночевать в снегу или в деревянном жилище Рыжебородого. Но Ятчоль уже тащил его за руку в ярангу.

Мэмэль встретила Пойгина радостным возгласом:

— О, ты пришел! Если бы ждала, хотя бы немного прибрала в пологе.

Пойгин давно знал, насколько Мэмэль неряшлива, и ничего не ответил, выбирая место, не столь захламленное шкурами, посудой и еще какими-то странными предметами.

— Это вот называется бочонок, в нем возникает веселящая сила бражки, — пояснил Ятчоль.

Мэмэль спешно надевала на себя свои украшения. На ней была матерчатая одежда пришельцев, только очень засаленная, так что трудно разобрать ее цвет.

— Видишь, как она себя украшает? — лукаво спросил Ятчоль, кивнув в сторону жены. — Она всегда хотела тебе понравиться, а ты не желаешь этого понять.

— Ничего, сегодня поймет, — многозначительно сказала Мэмэль, кидая кокетливые взгляды на Пойгина. — Попробует веселящей жидкости и поймет.

Пойгин наклонился к бочонку, понюхал его и так сморщился, что Мэмэль расхохоталась.

— Никогда еще я не знал такого дурного запаха, — сказал Пойгин, отодвигаясь от бочонка.— Если это так скверно по запаху, то как же будет на вкус? Наверно, очень противно.

— Сейчас попробуем! — все более возбуждался Ятчоль, предвкушая веселье.— Прибери, Мэмэль, хоть немного в пологе и дай нам чаю и нерпичьего мяса.

Чай Пойгин пил с огромным наслаждением, блаженно закрывая глаза. Его клонило ко сну: сказывались три ночи, проведенные в снегу, где сон был не столь уж и крепким.

— Если ты приехал сюда затем, чтобы опять перекочевать на берег, то лучше уходи от этого места как можно дальше, — советовал Ятчоль, протягивая трубку Пойгину.— Шаманов здесь очень не любят. Рыжебородому все равно, какой ты шаман — белый или черный, для него ты просто шаман.

— Я слыхала, шаманам будут отрубать руки, чтобы не могли колотить в бубен, и отрезать языки, чтобы не могли произносить заклинания, — округлив глаза, сообщила жуткую весть Мэмэль.— Русские только прикидываются добрыми. Чугунов запретил торговать Ятчолю, все перестали брать у нас хоть что-нибудь в долг. Совсем обессилил Чугунов Ятчоля. А Рыжебородый прогнал Ятчоля от печей, не велит ему быть хозяином огня.

Ятчоль возмущенно посмотрел на жену, наболтавшую лишнего.

— Я сам ушел!— сердито сказал он.— Если голова твоя глупа, как у нерпы, то и молчи.

— Это твоя голова не имеет ума, как болотная кочка!— вскричала Мэмэль. Пухлые щеки ее стали еще краснее, а в глазах бушевало негодование.— Когда ты был хозяином огня, нам было хорошо, ели всякую вкусную еду пришельцев. Теперь жди, когда ты притащишь нерпу с моря.

— Да, плохо, совсем плохо стало, — пожаловался Ятчоль Пойгину, стараясь не обращать внимания на сварливую жену.— Ухожу в морские льды каждый день, ищу нерпичьи отдушины, а их нет, ушла куда-то нерпа.

— Это ты каждый день уходишь в морские льды? — со злой насмешкой спросила Мэмэль.— Да ты все спишь и спишь, как медведь в берлоге.

Пойгин слушал перебранку хозяев яранги и думал о Кайти. Разве она позволила бы себе разговаривать с мужем вот

так неуважительно? Как давно он ее не видел. Правда, прошло всего несколько суток, а можно подумать, что с тех пор уже посетило землю солнце и опять укочевало в другие миры, оставив людей один на один с луной на долгую зиму.

— Значит, Рыжебородый не стал вашим другом?— дознавался Пойгин, стараясь понять, каков же в конце концов этот человек.

— Зачем нам такой друг! — сварливо воскликнула Мэмэль.— У него борода, как у кэйнына, и все тело в волосах, так что еще неизвестно, человек ли он, может, кэйнын, обернувшийся человеком.

— Да какой он кэйнын, обыкновенный человек, — вяло возразил Ятчоль, не желая в своем представлении наделять Рыжебородого сверхъестественной силой. — Давайте лучше поскорее выпьем бражки.

А Пойгин думал о своем: если нет у Ятчоля дружбы с Рыжебородым, то это многое объясняет, тут можно прийти к благоприятному выводу. Выходит, совсем не случайно и то, что Ятчоля все-таки понял русский торговый человек.

— Зачем безбородый пришелец носит вторые стеклянные глаза? — спросил Пойгин, наблюдая, как выворачивает Мэмэль для просушки его торбаса.

— Я так думаю, что носит он их для туману,— объяснил Ятчоль, откупоривая бочонок.— Я как-то сам надел на нос эти стекляшки, и сразу передо мной появился туман.

— Зачем для глаз человека туман, если он лучше всего видит при солнце? — спросил Пойгин, не очень веря тому, что сказал Ятчоль.

— Кто их поймет, этих пришельцев. У них все наоборот. Это я понял давно, еще когда приплывали к нам американцы из-за пролива на шхунах. Людям, к примеру, полагается сначала попить чаю, потом поесть мяса и опять попить чайку. Однако они пьют чай только после еды.

— А женщины зачем-то закрывают грудь, а ноги оголяют до самых коленей,— поделился и Пойгин своим наблюдением о странностях пришельцев.

Пробку Ятчоль вытаскивал из дыры бочонка с крайней осторожностью, время от времени прикладывая ухо к нему.

— Мэмэль, где кружки? — закричал он, тараща глаза.

Мэмэль торопливо поставила перед мужем три железные кружки. Резкий незнакомый запах заставил Пойгина отшатнуться. Из бочки, пенясь, хлынула темная жидкость, проливаясь на шкуры.

— Подставляй кружки! — закричал Ятчоль, обращаясь

к жене.— Видишь, как зря уходит веселящая сила! Кастрюлю, лучше кастрюлю подставь!

Наконец кружки были наполнены. Одну из них Ятчоль протянул Пойгину и просительно сказал:

— Ты выпей, не бойся. Я хочу, чтобы веселящая сила обезвредила духа вражды между нами.

Ятчоль и Мэмэль опорожнили кружки, не переводя дыхания. Пойгин отпил всего глоток и так сморщился, что Мэмэль опять расхохоталась.

— Не могу. Дайте сначала поесть как следует мяса,— попросил Пойгин, отставляя кружку в сторону.— Я не успел сегодня увидеть русских шаманов. Верно ли, что они умеют изгонять из людей болезни?

Ятчоль приложил руки к животу, чему-то засмеялся.

— У меня сильно разболелся живот. Пришел к доктору — так называют здесь пришельцы своих шаманов. Он сидел во всем белом, положил меня на белую подставку, велел спустить штаны. Потом стал мять руками мой живот. Я от щекотки сначала смеялся, потом закричал. Он подумал, что я кричу от боли, схватил вот такой большущий нож и говорит: потерпи немножко, я сейчас вырежу болезнь из твоего живота. И потом воткнул в меня нож по самую рукоятку.

— Да врет, врет он!— замахала обеими руками Мэмэль на мужа.— Он однажды пришел и сказал, что доктор отрезал его детородный предмет. Я сначала немножко пожалела, а потом стала смеяться. Так он едва меня не убил!

Ятчоль выпил еще одну кружку веселящей жидкости, потребовал, чтобы то же самое сделал и Пойгин. Отпив несколько глотков бражки, Пойгин какое-то время старался понять, в чем причина ее опьяняющей силы. Так и не поняв, отпил еще несколько глотков.

— Эта бражка не из мухоморов ли приготовлена?— спросил он.

Пойгин все собирался испытать сверхъестественную силу особого племени мухоморов. Он верил, что каждый мухомор способен головой рассекать корни деревьев, крушить в куски камни и даже скалы. Иногда Пойгин присаживался у мухомора, разглядывал его красную с белыми пятнами голову, разговаривал с ним, как с живым существом, стараясь задобрить на тот случай, если решится проглотить кусочек его тела.

Пойгин верил, что мухомор способен увести на какое-то время человека, проглотившего кусочек его засушенной нож-

ки, в Долину предков. Он знал одного белого шамана, который хотел встретиться с братом, добровольно ушедшим к верхним людям. Шаман заглатывал тело мухомора, и к нему вскоре являлись одноногие обрубки в виде человечков, брали его под руки и уводили в Долину предков самыми страшными тропами. Его встречали в пути горные обвалы, глубокие пропасти, болотные топи; но самое страшное происходило, когда одноногие человечки толкали его в огонь, в кипящий котел, бросали на острые копья, поставленные торчком. Слишком много заглатывать тела мухомора нельзя, потому что в Долину предков уйдешь, а оттуда уже не вернешься. Белый шаман возвращался и потом рассказывал о своих злоключениях в страшном пути.

Вот почему Пойгин, не совсем в шутку, задал Ятчолю еще один вопрос:

— Не выйдет ли так, что бражка твоя толкнет меня в кипящий котел или в пропасть, где живет огромная черная птица с огненными глазами и железным клювом?

— Не бойся, — успокоил Пойгина Ятчоль, — моя бражка не из мухоморов. Я ее готовлю из муки и сахара. Иногда я в нее бросаю немного табаку. На этот раз я не бросил табак, мало осталось для трубки. Жаль, не настоящая бражка получилась, что-то не разбирает меня ее веселящая сила... — Толкнув Мэмэль в бок, потребовал: — Дай нам еще мяса нерпы, угощай гостя как следует! Мы сегодня уничтожим духа нашей вражды.

Пойгин почувствовал, что на него накатывает волна великодушия и доброты, ему подумалось, что Ятчоль искренне желает с ним помириться. Выпив еще одну кружку веселящей жидкости, Пойгин растроганно сказал:

— Я согласен, давай уничтожим духа нашей вражды. Я, может, снова вернусь на берег. Возьму Кайти и поставлю свою ярангу рядом с твоей.

— Не надо Кайти! — капризно потребовала Мэмэль.— Я не люблю твою Кайти. Я лучше ее.

Пойгин нахмурился, обиженный за Кайти, сказал Ятчолю:

— Упрекни свою жену за плохие слова о Кайти. Упрекни. Иначе я покину ваш очаг.

Ятчоль ткнул в сторону жены пальцем, с трудом поднял отяжелевшие веки.

— Мэмэль, я тебя упрекаю! Ты не должна обижать нашего гостя. Дай нам лучше еще мяса нерпы.

— Ладно, я доволен,— сказал Пойгин, благодарно глядя

на Ятчоля.— Мне хорошо, что дух вражды покидает нас. Я белый шаман. Я не хочу никому зла.

Ятчоль вскинул голову, какое-то время с откровенной ненавистью смотрел на Пойгина и вдруг зло засмеялся.

— Вот за это тебе пришельцы и отрубят руки, отрежут язык и, может, еще и выколют глаза, чтобы ты не видел солнца.

Изумленный Пойгин не мог поверить своим ушам: человек, который только что хотел изгнать духа вражды, вдруг опять заговорил как враг, даже налились кровью его глаза.

— Почему ты опять стал злой? — с величайшим недоумением спросил Пойгин.

— Ты всегда побеждал меня, и люди смеялись надо мной. Теперь я хочу победить тебя! Я скажу Рыжебородому, что ты шаман, пусть он выколет тебе глаза.

Пойгин хотел заявить, что он немедленно покидает очаг Ятчоля, но волна великодушия утопила его в море доброты:

— Я знаю, ты шутишь, Ятчоль, Рыжебородый совсем не злой. Я видел его. Я сидел с ним целую ночь у костра.

— Я подожгу его дом! Почему он обидел меня? Почему?— Ятчоль приблизил свое лицо почти вплотную к лицу Пойгина.— Он сначала сделал меня хозяином огня. Я гордился этим. Он сам сказал, что я хозяин огня, учил разжигать печи. Потом сказал, чтобы я на расстояние одного выстрела не подходил ни к одной печке...

— Значит, ты что-то делал не так...

— Это я, я делал не так?

Мэмэль попыталась оттащить Ятчоля от Пойгина, боясь, как бы он не стал драться. Прильнув к Пойгину так, как это может сделать лишь женщина, она сказала голосом, размягченным необоримым желанием понравиться гостю:

— Я лучше, лучше твоей Кайти. — Почувствовав, что Пойгин пытается отстраниться, она добавила обиженно: — Ты всегда смотрел на меня так, будто я тень или туман. А я не тень и не туман, вот приложи сюда руку...

Ятчоль, не обращая внимания на явные попытки жены соблазнить Пойгина, наливал из бочонка в кастрюлю бражку. Затем попытался разлить ее по кружкам. Плеснув на шкуры, принялся пить прямо из кастрюли.

— Вот увидишь, я подожгу его дом, — опять вернулся он к угрозам Рыжебородому.

— Ты сказал, что твоя бражка имеет веселящую силу, а почему стал такой злой?.. — печально спросил Пойгин, чувствуя, как у него непривычно закружилась голова.

— Я не могу веселиться, когда ты рядом. Я всегда ненавидел тебя!

— Э, выходит, у твоей бражки сила злобная. Когда ты не был пьяный, ты говорил добрые слова, был рад, что я пришел к твоему очагу.

— Я не был рад. И Мэмэль не была рада.

— Нет, я очень рада! — пьяно покачиваясь, возразила Мэмэль.— Я всегда рада видеть его...

Мэмэль говорила правду: Пойгин давно вызывал в ней желание казаться самой красивой женщиной. Она ловила его взгляды, ждала, когда он ответит на ее улыбку, ревновала к Кайти. Если существовал на свете мужчина, который являлся ей во сне,— так это был Пойгин. Но странно, он редко останавливал на ней взгляд, а если и смотрел на нее, то как на пустое место.

— Ну, если рада, то можешь спать сегодня с ним! — Ятчоль хотел было плеснуть в Пойгина бражкой, но раздумал, выпил ее. — Можешь спать с ним. Я поеду в тундру, буду спать с Кайти. А ты, глупая нерпа, мне надоела.

Волна великодушия постепенно покидала Пойгина. Ему вдруг стало очень обидно за Кайти, за себя. Можно было бы немедленно уйти из яранги Ятчоля, но Мэмэль вывернула всю его одежду, чтобы просушить. «Буду молчать», — решил он. С ним случалось иногда такое, он мог молчать по нескольку суток, если в его душу вселялась обида.

Расстелив наваленные как попало оленьи шкуры у стенки полога, он лег лицом вверх, закрыл глаза. Ятчоль какое-то время грозился уже поджечь всю вселенную, поскольку по-прежнему считал себя хозяином огня, потом затих, внезапно сморенный беспробудным сном.

Мэмэль, насколько было возможно, прибрала в пологе. Она хотела создать хоть какой-то уют, надеясь расположить к себе Пойгина. Он должен сегодня всю ночь принадлежать ей, ей, ей! А Ятчоля даже рев умки у самого его уха не разбудит. Томимая чувственной силой, она почти сорвала с себя засаленное платье и, склонившись над Пойгином, какое-то время смотрела ему в лицо, тяжело дыша. Тот лежал словно мертвый, не открывая глаза. Мэмэль судорожно ощупала лицо Пойгина, жадно вдыхая запах его тела, коснулась грудью его груди. Пойгин вдруг резко поднялся, глядя не столько на Мэмэль, сколько сквозь нее, словно она действительно была сотворена не из живой плоти, а из тумана.

— Ты почему опять смотришь на меня и не видишь ме-

ня? Ты хочешь Кайти увидеть? Так нет, нет здесь ее, нет! Я лучше, лучше ее!

— Уйди, ты мне противна,— сказал Пойгин и снова уронил голову на шкуры, закрыв глаза.

Мэмэль уткнула голову себе в колени и заплакала. Пойгин по-прежнему лежал неподвижно, казалось, что он и дышать перестал.

И вдруг Мэмэль, погасив светильник, ударила обеими ладошками по груди Пойгина и зло сказала ему прямо в лицо:

— Ты не живой. Ты не из тела, а весь из камня. Не зря говорят, что ты не способен на детородный восторг!

Одолевая головокружение, Пойгин приподнялся.

— Не способный? — вымолвил он с яростью. — Я не способный?!

И засмеялась Мэмэль от злорадства и счастья, опрокинутая на шкуры. Она смеялась и плакала, не в силах поверить, что Пойгин теперь знает, из чего она создана. Нет, она не тень, она не из тумана, она из горячего, живого тела. Мэмэль плакала и смеялась и так бурно дышала, словно хотела, чтобы все сущее в этом мире знало, что с ней происходит.

Тяжким было утро для обитателей яранги Ятчоля. Особенно страдал сам Ятчоль. Прикладывая руку ко лбу, он качал по-медвежьи головой и глухо не то стонал, не то рычал. У Пойгина было мутно не только в голове, но и на душе. Он ненавидел Мэмэль, еще больше — самого себя.

Мэмэль готовила завтрак, украдкой поглядывая на Пойгина. Во взгляде ее было больше тревоги, чем торжества победительницы: она боялась, как бы Пойгин чем-нибудь не унизил ее — это могло умалить ее победу. Мэмэль понимала, что заслужить благосклонность Пойгина очень трудно и лучше стараться ничем не напоминать ему о случившемся.

— Ты с кем спала эту ночь? — вдруг грубо спросил Ятчоль, переводя полный подозрения взгляд с жены на Пойгина.— Я тебя спрашиваю, глупая нерпа!

Пойгин вкладывал травяные стельки в свои просушенные торбаса. Засунув руку в один из торбасов, он замер, мучительно ожидая, что ответит Мэмэль.

— Уходила в море, чтобы найти себе моржа!— с вызовом ответила Мэмэль, вырывая из рук Пойгина торбас. Поправи-

на в нем стельку и добавила:— Я хоть и глупая нерпа, но догадалась, что в этом пологе нет настоящих мужчин.

Ятчолю ответ жены настолько понравился, что он рассмеялся, затем сказал Пойгину:

— А я, будь Кайти рядом, не забыл бы, что пребываю в этом мире мужчиной.

Пойгин промолчал. Выпив кружку чая, он вяло съел кусок нерпичьего мяса, принялся обуваться.

— Ты почему молчишь? — спросил Ятчоль. — Обиделся? Ну, ну, обижайся. Я сам всю жизнь на тебя обижаюсь.

Пойгин и на этот раз промолчал. Он так и ушел из яранги, не сказав ни слова. Ятчоль не проводил гостя. Мэмэль выбежала из яранги, когда Пойгин был уже далеко. Она долго смотрела ему в спину, горько улыбаясь. И чем дальше уходил Пойгин, тем сиротливее становилось ей, пожалуй, впервые в жизни она так остро почувствовала, что такое тоска.

Пойгин проведал собак, осмотрел упряжь, нарту, готовясь в обратный путь. Корма для собак оказалось мало, не было и для самого Пойгина никаких запасов, кроме небольшого кусочка плиточного чая. Была здесь фактория, однако, чтобы купить хотя бы плитку чая, требовались деньги. Где их возьмет Пойгин? Идти к Ятчолю за помощью? Нет, Пойгин ни за что такое себе не позволит.

Раскурив трубку, Пойгин присел на нарту, угрюмо задумался. Кажется, никогда еще не было у него на душе так плохо. Что он скажет, когда вернется в стойбище Эттыкая? Как будет вести себя с главными людьми тундры? Как он посмотрит в глаза Кайти после того, что произошло у него с Мэмэль? Зачем он пошел в ярангу Ятчоля? Лучше бы переночевал с собаками или уж в деревянном жилище Рыжебородого.

6

Пойгин сидел в безнадежном оцепенении. Скулила одна из собак, зализывая ранку на левой передней лапе. Пойгин присел на корточки перед собакой, оглядел рану, подул на нее; потом достал из походного нерпичьего мешка меховой чулочек, осторожно надел на лапу. Собака благодарно завиляла хвостом, улеглась в снежной лунке, свернувшись в комочек. Пойгин опять присел на нарту.

Услышав позади себя скрип снега от шагов человека, нехотя оглянулся: к нарте шел Рыжебородый.

— Выходит, ты заночевал у Ятчоля? — спросил Рыжебородый, внимательно вглядываясь в лицо Пойгина.— Я ждал тебя.

Пойгин промолчал, стараясь не встречаться со взглядом Рыжебородого.

— У тебя плохое настроение, — продолжал Рыжебородый, усаживаясь на нарту.— И я постарался бы этого не замечать, если бы надеялся, что смогу тебе помочь. Я вижу, ты собираешься в обратный путь.

— Надо ехать, — скупо отозвался Пойгин.

— Путь твой, насколько я помню по твоему рассказу, в три перегона собачьей упряжки, с двумя ночевками в тундре. К тому же может случиться пурга. — Рыжебородый заглянул в нерпичью сумку, где находились остатки мерзлого оленьего мяса для собак.— Пищи для упряжки у тебя на одну кормежку, не больше.

— Да, не больше.

— Сейчас принесут нерпичьего мяса для собак на десять кормежек. Будет и для тебя в дорогу на десять дней чая, мяса, галет, сахару, табаку.

— У меня нет ничего, что я мог бы дать взамен.

— Может так случиться, что ты будешь провожать и меня в дальний путь. И ничего у меня не окажется взамен, кроме сердечной благодарности.

— Что ж, люди так и должны жить.

— Именно так, — согласился Рыжебородый. — Теперь пойдем ко мне пить чай. Омрыкай со своими друзьями снарядит твою нарту в дальний путь, он умеет это делать. Мы таким образом часто провожаем своих гостей, это наш обычай.

— Хороший обычай, — по-прежнему сдержанно ответил Пойгин, хотя на душе у него стало теплее.

Пил чай Пойгин с Рыжебородым в том же деревянном жилище, в которое он впервые вошел не далее вчерашнего дня. За столом они на этот раз сидели вдвоем. Когда Пойгин выпил третью чашку чая — почувствовал, что в голове стало светлее. Рыжебородый молча наблюдал за ним. Заметив, что Пойгин слабо улыбнулся, сказал:

— Бражку Ятчоля ты пил зря.

— Откуда знаешь, что я пил бражку?

— Я это увидел по твоему лицу. Не было бы для меня ничего печальнее, если бы ты стал таким же, как Ятчоль.

— Нет, я не хочу быть таким, как Ятчоль! — протестующе воскликнул Пойгин.

— У тебя есть друзья там, куда ты едешь? — думая о чем-то своем, спросил Рыжебородый.

— У меня есть жена Кайти. Ее и только ее очень хочу поскорее увидеть.

— Понимаю. А кроме жены?

— Есть там еще Гатле. С детства ему было предопределено быть женщиной, хотя он родился мужчиной. Плохо живет Гатле. Его почти никогда не пускают в полог. Лишь я да Кайти пытаемся тайно накормить и согреть его.

Рыжебородый грустно качал головой, разглядывая лицо Пойгина с выражением горького сочувствия.

— Враги у тебя там есть?

— Не знаю. Главные люди тундры хотели бы, чтобы я стал их другом.

Пойгину показалось, что у Рыжебородого есть к нему еще какой-то вопрос, но высказать его он не решался. «Ну ясно же, он человек, имеющий ум, и ему надо понять, зачем я нужен главным людям тундры».

— Ты хочешь знать, почему те, кто ушел в горы, хотят, чтобы я был с ними?

— Я рад, что ты угадал мои мысли.

— Всего я тебе пока не скажу, — после долгого молчания ответил Пойгин.— И когда приеду туда, им тоже не все расскажу о тебе.

— Почему?

— Не все в тебе понимаю. И все-таки, думается мне, ты совсем не такой, каким представляют тебя главные люди тундры.

— Каким они меня представляют?

— Человеком, вселяющим безумие в наших детей. Но я, кажется, догадался, что дети здесь стали не безумными... Тут что-то другое.

— Что именно?

— Пока не знаю. Мне надо понять, таит ли в себе злое начало тайна немоговорящих вестей... Черный шаман Вапыскат говорит, что в этом может быть только самое страшное зло.

— Вапыскат? Почему его так назвали?

— Потому что он весь в болячках. Кто-то наслал на него порчу. — Пойгин показал пальцем на бороду собеседника.— Не хотел говорить тебе, но, пожалуй, скажу. Вапыскат велел мне привезти хотя бы несколько волосков из твоей бороды.

— Зачем?

Пойгин замялся.

— Ну, ну, говори. Я умру, если не узнаю, зачем понадобились волосы из моей бороды черному шаману, — пошутил Рыжебородый.

Пойгина озадачило столь легкомысленное отношение Рыжебородого к тому, что ему было сказано о намерении черного шамана.

— Ты зря смеешься, — понизив голос, сказал Пойгин с таинственным видом человека, знающего всю степень опасности, нависшей над его собеседником. — Если Вапыскат заполучит хоть кусочек твоего ногтя, он нашлет на тебя порчу, и все твое тело покроется язвами.

Пойгин ждал следов невольного страха на лице Рыжебородого, но тот вдруг откровенно расхохотался.

— Ты на меня не обижайся, — попросил он, унимая хохот. — Я над черным шаманом смеюсь. Я готов отстричь клок своей бороды и передать ему.

Рыжебородый отыскал ножницы, отхватил клок своей бороды.

— Вот, на, возьми. Хватит? Я могу и больше, да боюсь, жена разлюбит, — продолжал он шутить самым легкомысленным образом. — Я сейчас заверну эти волосы в бумагу. Вот так. На, передай мой подарок черному шаману, страдающему от болячек. Пусть насылает на меня порчу. А я попытаюсь с помощью докторов вылечить его болячки, если он на то согласится. Пусть приезжает, и мы устроим наш поединок! Я к нему с добром, а он ко мне со злом, посмотрим, за кем будет победа.

Пойгин принял завернутые в бумагу волосы, не зная, что с ними делать.

— Нет, я это не возьму, — наконец решительно сказал он, — хотя ты мне и не друг, но, наверно, все-таки и не враг. Я не хочу, чтобы тело твое покрылось язвами.

— Нет, ты возьмешь! — весело настаивал Рыжебородый. — Я на тебя очень обижусь, если ты не исполнишь мою просьбу. Я вступаю в поединок с черным шаманом, понимаешь? Ты не можешь мне отказать, если я вступаю в поединок.

— Ну, если ты вступаешь в поединок, я передам, — не совсем уверенно пообещал Пойгин и спрятал волосы в кожаный мешочек для табака. — Пожалуй, надо отправляться в путь. Но мне очень хотелось бы повидать Рагтыну.

— Ты ее знаешь?

— Да, я ее лечил.

— Как?

— Я уводил ее к солнцу, просил в заклятьях солнечный

луч проникнуть в ее сердце, изгнать немочь. Не помогло.

Рыжебородый опять грустно покачал головой и сказал:

— Да, она очень больна. Врач говорит, что у нее очень больное сердце. Девочка родилась с этой болезнью.

Пойгин резко наклонился к Рыжебородому, заглядывая в его лицо с острой надеждой:

— Если ты изгонишь немочь из ее сердца — я до конца поверю тебе. И тогда никто не заставит меня думать, что вы враги. Рагтына мне как дочь.

— Да, да, я понимаю.

От Пойгина не скрылось, что в глазах Рыжебородого, в самой их глубине, таились боль и тревога.

— Ну, так приедешь к нам на праздник настоящего человека? — перевел Рыжебородый разговор на другое.— Будут большие оленьи скачки.

— У меня нет своих оленей.— Пойгин раскурил трубку, хотел было предложить Рыжебородому, но, заметив его улыбку, рассмеялся.— Жена твоя заплакала от моей трубки.

— Вот и я боюсь заплакать,— пошутил Рыжебородый.

— А оленьих скачек у тебя не будет, — вдруг предрек Пойгин.

— Почему?

— У берега снег ветрами прибит, олени здесь не могут добывать ягель.

— Что ж, уедем в тундру.

— Я покажу тебе хорошее место, в долине Золотого камня, там можно устроить оленьи скачки, — пообещал Пойгин.— Это как раз на моем пути.

Рыжебородый обрадовался предложению гостя:

— Я готов поехать с тобой немедленно. Сейчас велю запрячь мою собачью упряжку.

Вход распахнулся, и Пойгин опять увидел сына Рыжебородого. Щеки мальчика румянились от мороза, синие, как у матери, глаза смотрели весело и приветливо.

— Мы вместе с Омрыкаем упаковали нарту, — сказал он по-чукотски.— Я хочу, чтобы в дороге нашему гостю была во всем удача.

Чукотские слова мальчик выговаривал плоховато, однако Пойгин догадался, о чем он сообщил.

— Спасибо тебе, — поблагодарил Пойгин.

Мальчик смущенно заулыбался, что-то сказал отцу и ушел.

Мог ли знать в ту пору Пойгин, кого он благодарил? Если бы ему кто-нибудь предсказал, что он увидел своего бу-

дущего зятя, что он когда-нибудь породнится с Рыжебородым — он только расхохотался бы, изумляясь нелепости такого предсказания...

7

Вторые сутки едет Пойгин, добираясь до стойбища Эттыкая, упрятанного в дальних отрогах Анадырского хребта. Вчера он простился в долине Золотого камня с Рыжебородым. Остановив упряжки против мыса, на котором возвышался каменный столб, прозванный Золотым, они разожгли костер, чтобы на прощанье попить чаю.

— Лучшее место для праздника найти трудно, — сказал Рыжебородый, оглядывая речную долину.

Пойгин в знак согласия кивнул головой и спросил, думая о своем:

— Что, если я не отдам волосы из твоей бороды черному шаману?

— Я на тебя обижусь.

— Могу ли я сказать, что ты делаешь вызов на поединок?

Рыжебородый помолчал, задумчиво разглядывая лицо Пойгина.

— Я хотел бы, чтобы Вапыскат знал, что это вызов.

— Тебе или неведом страх, или ты не знаешь силу шаманов.

— Я чувствую свою силу...

Так они попрощались.

Бегут накормленные, отдохнувшие собаки, скрипят полозья нарты. Пойгина одолевает дрема. Седая стужа горбит его, как старика, сковывает тело, сковывает мысли. Время от времени в полусонной памяти всплывает худенькое лицо Рагтыны с синими обводами под печальными глазами. «Летом я вернусь в стойбище, — вспоминаются ее слова. — Ты приедешь к нам в гости, и мы опять пойдем в тундру, будем смотреть на солнце и ждать в небе лебединую стаю». Пойгин знает, что в стеклянной стыни зимнего неба, кроме ворона или сокола, никакой другой птицы не увидишь, но он вскидывает лицо, одолевая дрему, высматривает памятью лебединую вереницу. Вон те облака под луной, пожалуй, немного похожи на летящих лебедей. Когда облака исчезают, Пойгин опять роняет голову в полудреме, улыбается так, будто Рагтына с ним по-прежнему рядом. Если бы русские шаманы смогли выгнать немочь из ее сердца...

Бегут и бегут собаки. Морды их заиндевели, глаза поблескивают сквозь бахрому изморози. Пойгин останавливает нарту, обтирает морды собак от инея. И опять скрипят полозья.

Чтобы согреться, Пойгин долго бежал рядом с нартой. Любил он долгий, неутомимый бег. Случалось, что за весь перегон собачьей упряжки ни разу не садился он на нарту. Ему было знакомо чувство, когда сердце, казалось, готовое выскочить из груди, постепенно, как птица, переходило в ровный, ненатужный полет и грудь дышала глубоко и вольно. Тогда можно было и дальше бежать и бежать, словно бы догоняя самую светлую мечту.

Сейчас Пойгин мечтал о Кайти. Пока она далеко-далеко, где-то в горах, которые даже легкой синей тенью не намекают о себе в бескрайней подлунной дали. Но с каждым мгновением он все ближе, ближе к тому месту, где его ждет Кайти. Увидит он ее в конце третьего перегона, как раз тогда, когда люди спрячутся в полог для сна. Только бы никто ему не помешал увидеть Кайти! Только бы остаться с ней один на один в ее теплом, всегда таком опрятном пологе.

Когда Пойгин уезжал, Кайти созналась, что в ней зародилась новая жизнь. Значит, у них будет сын. А может, дочь. Закончится еще одна ночевка в снегу, а на следующую Пойгин уже будет лежать рядом с Кайти. Он положит руку на ее живот, будет слушать, как проявляет себя новая жизнь. Как тепло и светло ему всегда с Кайти! Она будет что-то нашептывать ему, а он, согревшись, начнет заново постигать ее не только глазами, слухом, но и вот этими ладонями, которым так жарко в рукавицах от бесконечного бега. Пойгин сорвал с себя рукавицы, вгляделся на бегу в ладони: они знали каждый изгиб тела Кайти, они были словно бы его вторыми глазами в непроницаемой тьме теплого полога.

Прибыл Пойгин в стойбище Эттыкая точно в то самое время, когда люди только что спрятались каждый в свой полог на ночь, вошел в ярангу Эттыкая и обмер, не увидев рядом с пологом хозяев маленького полога Кайти. Недоброе предчувствие подломило ноги Пойгина. Он присел на ворох шкур, потянулся за трубкой, чутко прислушиваясь к голосам в пологе хозяина. Вот, кажется, что-то сказал Рырка. А вот и послышался раздраженный голос Ватыската: значит, главные люди тундры все здесь. Будь они прокляты! Меньше всего хотел бы Пойгин видеть именно их. Ему нужна Кайти, Кайти и только Кайти! Где же Гатле? Он всегда ютился, как тень, в этом холодном шатре, подстилая шкуры

где-нибудь в уголке, тщетно стараясь согреться. Где же он теперь?

Шкура, закрывающая вход в ярангу, шевельнулась, и привидением показался Гатле, жестом предложил Пойгину выйти из яранги. Тот бесшумно поднялся, пошел вслед за Гатле, вкрадчиво шагавшим к грузовым оленьим нартам.

— Где Кайти?!

Гатле трудно сглотнул, будто у него мучительно болело горло, и ответил:

— Они куда-то ее увезли.

— Кто увез?

— Вапыскат, — и, еще более понизив голос, Гатле добавил: — Я прислушивался, что говорят в пологе Эттыкая, но никак не мог понять, куда они упрятали Кайти.

— Я их перестреляю!— в бешенстве погрозил Пойгин.

— Будь благоразумен, — с печальной просительной улыбкой сказал Гатле.— Они могут убить тебя. Они тебя очень ждут. Думаю, если ты хоть чем-нибудь порадуешь их,— они скажут, где Кайти.

— Не знаю, смогу ли я их порадовать, — словно только для самого себя тихо сказал Пойгин.

— Будь осторожен, — опять попросил Гатле. — Вы с Кайти самые дорогие для меня люди. Если и надо еще пребывать мне в этом мире, то лишь для того, чтобы видеть и слышать вас.

Медленно, в глубокой задумчивости подошел Пойгин к яранге Эттыкая. Войдя в шатер, замер.

Чоургын полога поднялся, и Пойгин увидел голову Мумкыль.

— О, ты пришел!— громко воскликнула она и тут же спряталась. Голоса в пологе смолкли. Чоургын опять приподнялся, и на этот раз показалась голова Эттыкая.

— Наконец ты вернулся! Скорее входи в полог.

Выбив снег из кухлянки тиуйгином, Пойгин забрался в полог с видом мрачным и глубоко отчужденным. Здесь действительно были все главные люди тундры. Разомлевшие от чая и обильной еды, они лоснились потом и жиром. Молча разглядывал Пойгин каждого из них.

— Сними кухлянку и попей чаю, — наконец нарушил молчание Эттыкай, кивнув жене, чтобы подала чашку.

— Где Кайти? — стараясь сдержать ярость, спросил Пойгин.

— Сними кухлянку и попей сначала чаю, — уже повелительным тоном повторил Эттыкай.

Пойгин медленно стянул с себя кухлянку, принял из рук Мумкыль чашку крепко заваренного чая. Поглядывая зверовато на обитателей полога, остановил пристальный взгляд на Вапыскате. Тот какое-то время выдерживал его взгляд и вдруг принялся усердно чесать свои болячки на груди и боках.

— Зуд моих болячек говорит о том, что Пойгин не выполнил нашего повеления, — изрек он во всеобщей тишине.

— Где Кайти?! — уже не скрывая ярости, повторил Пойгин.

— Ты почему разговариваешь с нами таким громким голосом? — гневно спросил Рырка, высоко вскидывая голову.

— Кайти мы упрятали от Гатле, — притворно-ласковым голоском сказал Эттыкай.— Нам показалось, что она уж слишком его согревала в своем пологе. Я понаблюдал за всем этим и подумал: не станет ли моя вторая жена Гатле вторым мужем твоей Кайти? Или ты согласен, чтобы так было?

— Я спрашиваю, где Кайти?

— Ты почему не отвечаешь на вопрос Эттыкая? — раздувая от бешенства ноздри, спросил Рырка.

— Выгнать его отсюда!— взвился Вапыскат и снова принялся расчесывать свои болячки.

— Сначала мы все-таки послушаем, какие вести принес Пойгин,— примирительно сказал Эттыкай.— Видел ли Рыжебородого?

— Видел,— односложно ответил Пойгин.

В пологе опять установилась тишина, главные люди тундры с нетерпением ждали, что скажет Пойгин дальше. Но тот молчал.

— Ну?! Ты что, подавился мясом?! — Рырка отодвинул от Пойгина деревянное блюдо с олениной.— Или ревность помутила твой рассудок? Ты же знаешь, какого презрения достоин мужчина, если он способен на ревность. Я давно за тобой замечал...

— Помолчи! — оборвал Вапыскат Рырку. — Я хочу слышать Пойгина, а не тебя.

Рырка угрюмо опустил голову, скулы его, казалось, стали еще тяжелее.

— Я дотронулся до бороды главного пришельца, — зло улыбаясь, сказал Пойгин.— Схватил его за бороду и обжег руку...

— Покажи!— потребовал Вапыскат.

Пойгин протянул руку. Главные люди тундры, касаясь друг друга потными лбами, уставились на его ладонь.

— Твои слова лживые!— вскричал Вапыскат.

— Да, лживые, как оказалась лживой и твоя весть, что борода главного пришельца обжигает, как огонь. Я трогал ее. Это такие же волосы, как вот на голове Рырки.

Пойгин сделал движение, будто хотел дернуть за косичку на макушке Рырки.

— Ты лгун! Ты не был у Рыжебородого! — Вапыскат ткнул пальцем в сторону Пойгина.— Ты побоялся ехать на культпач.

— Не луна ли помогла черному шаману стать таким провидцем?

— Вы слышите? Это опять вызов!

— Да, я, белый шаман, посылаю тебе, черному шаману, вызов! И посрамлю тебя. Увидишь, что в своем провидении ты так же слеп, как слепа луна в сравнении с солнцем.

После этих слов, заставивших онеметь всех главных людей тундры, Пойгин достал мешочек для табака, извлек из него бумажный пакетик. Развернув его, Пойгин показал на протянутой ладони клок ярко-рыжих волос.

— Вот смотрите! Эти волосы — часть существа Рыжебородого.

Главные люди тундры склонились над ладонью Пойгина, опять касаясь друг друга потными лбами. Вапыскат осторожно взял один из волосков, внимательно осмотрел его, часто мигая красными веками. Потом взял весь бумажный пакетик, еще больше раскрыл его и сказал:

— Да, это волосы, и, кажется, рыжие. Неужели ты действительно добыл частичку существа Рыжебородого? Если так — то умереть ему в язвах от моей порчи.

Бумажный пакетик с волосами переходил из рук в руки главных людей тундры. Пойгин наблюдал за ними с откровенной насмешкой.

— Я думаю, что Пойгина следует по-прежнему считать нашим другом,— льстиво сказал Эттыкай, кинув при этом настороженный взгляд в сторону черного шамана.

— Не торопись, Эттыкай,— посоветовал Рырка. — Пусть сначала Пойгин расскажет, как ему удалось добыть эти волосы.

— Да, да, пусть расскажет, — потребовал Вапыскат, уязвленный тем, что Пойгин, кажется, и вправду посрамил его.

— Сначала скажите, где Кайти.

— Ну что ты все — Кайти да Кайти! — с добродушной ворчливостью сказал Эттыкай.— Нельзя, чтобы мужчина те-

рял рассудок из-за женщины, даже если это его жена.
— Тогда я вам ничего не скажу.

Вапыскат медленно завернул волосы в бумагу, спрятал пакетик в свой мешочек для табака и, окинув Пойгина сумрачным взглядом, сказал:

— Я поставил запасную ярангу в ущелье Вечно живущей совы. Оттуда мне лучше говорить с луной. Кайти в той яранге с моей старухой. Там я должен буду отрубить тебе средний палец левой руки и тем самым превратить тебя в черного шамана. Иначе мы не сможем верить тебе. Так решили все главные люди тундры.

Пойгин лихорадочно натянул на себя кухлянку и, вынырнув из полога, закричал:

— Мне нужна Кайти!

Долго молчали главные люди тундры после ухода Пойгина, сосредоточенно выкуривая трубки.

— По-моему, он не стал послушным нам человеком, — наконец изрек Рырка. — Надо показать ему два патрона.

— Почему два? — спросил Эттыкай, принимая от Рырки трубку.

— Скажем ему: один патрон своим выстрелом в Рыжебородого заставит сидеть спокойно пулю во втором патроне. Иначе пуля второго...

Рырка не договорил.

— Да, да, пуля второго патрона найдет Пойгина, — досказал за Рырку Эттыкай.

Вапыскат какое-то время сидел молча с крепко зажмуренными глазами. Наконец, раскрыв глаза, он сказал:

— Я согласен.

И опять скрипели полозья нарты Пойгина. Все круче становился подъем в гору. Мороз казался еще злее от того, что ярко светила луна. Да, Пойгин готов был поверить, что луна порождает мороз так же, как солнце порождает тепло. Не скоро он оказался на небольшом плоскогорье. Прямо перед ним зиял вход в ущелье Вечно живущей совы. Уступы гор, усыпанные зеленоватыми искрами отраженного лунного света, уходили в бесконечную высь. В самом центре ущелья стояла яранга. У входа в ярангу торчал высокий шест, увенчанный мертвой головой оленя. К шесту была привязана черная собака; почувствовав приближение человека, она глухо зарычала, заиндевелая шерсть на ее спине вздыбилась.

Желтое око луны словно бы остановилось на небе, чтобы

смотреть именно в это ущелье. Пойгин поднял на нее глаза и тут же опустил голову, произнося заклятье:

— Я взглянул на тебя, луна, не потому, что принял за солнце. Свет твой не может проникнуть в меня через мои глаза, потому что я весь заполнен солнцем, солнцем и только солнцем. Места во мне для тебя не было, нет и не будет.

Пойгин тронул упряжку. Залаяла черная собака. В ответ заливисто зашлись в лае собаки Пойгина. В яранге с тщательно укрытым входом не чувствовалось никаких признаков жизни. Пойгину подумалось, что Кайти здесь нет, что его обманули. Он осторожно обошел вокруг яранги, приостановился в том месте, где обычно крепится полог. Гулко стучало сердце, Пойгину вдруг показалось, что он улавливает в яранге какие-то звуки. Но тут же убедился, что, кроме ударов собственного сердца, не слышит ничего.

— Есть здесь кто?

Испугавшись собственного голоса, Пойгин разозлился. Одолевая страх, он попытался подступиться к входу в ярангу. Но черная собака рыча преградила ему путь.

Пойгин выхватил нож и перерезал ремень, привязанный к шесту, отпуская собаку на волю. Шест закачался. Тускло блеснули при лунном свете мертвые глаза оленьей головы. Собака отбежала в сторону, подняла голову и завыла.

Пойгин решительно рванул шкуру, вошел в ярангу. Полога здесь не было. На цепи над очагом висел небольшой котел. Кто-то под ним разжигал костер: в круге из камней виднелись потухшие головешки. Чуть в стороне от очага беспорядочной кучей громоздился хворост для костра.

— Где Кайти? — громко спросил Пойгин, словно надеялся, что некто невидимый ответит ему.

Расшвыряв в гневе хворост, Пойгин сорвал с цепи котел, бросил его об землю. И вдруг ему пришла мысль сжечь ярангу. Упав на колени, он выбрал сухие сучья, выхватил из чехла нож, настрогал стружек. Руки его тряслись от волнения, он долго не мог высечь кресалом огонь. Но вот наконец стружки вспыхнули. Костер быстро разрастался, освещая перекошенное яростью лицо Пойгина. Взвалив весь хворост на огонь, Пойгин выбежал из яранги, задыхаясь от дыма. Надавив плечом, сломал одну из перекладин каркаса яранги, затем вторую, третью. Языки пламени вырывались наружу, резкий запах горелых шкур забил дыхание. Громко лаяли собаки Пойгина. А черный пес подошел к шесту с мертвой оленьей головой и улегся на снег, положив морду на вытянутые лапы. Пойгин подбежал к шесту, ударил по

нему ногой. Сломался шест, голова мертвого оленя полетела в огонь.

Все выше вырывалось пламя, освещая сумрачным светом ущелье. Пойгин поднял лицо к небу и не увидел луны.

— Ты все-таки скрылась!— воскликнул он. — Жаль, надо было бы тебе посмотреть на огонь моей ярости!..

Пойгин нашел Кайти в стойбище Ваныската. Когда он выехал из ущелья, ему подумалось, что Кайти действительно вместе с женой черного шамана побывала в яранге, которую он сжег. По каким-то причинам они покинули ущелье Вечно живущей совы: может, страшно им стало в одинокой яранге, может, Кайти убежала.

В ярангу Ваныската Пойгин ворвался уже под утро.

— Кто пришел? — послышался скрипучий голос старухи Омрыны.

— Где Кайти? — вместо ответа спросил Пойгин.

— Я здесь, здесь!— вдруг закричала Кайти.

Пойгин ввалился в полог.

— Ты хоть бы снег из кухлянки выбил, — проворчала Омрына, зажигая светильник.

Пойгин с трудом дождался, когда слабые язычки пламени наконец осветят полог. Кайти сидела в углу, прижав к груди шкуру, которой укрывалась. В немигающих, широко раскрытых глазах ее были слезы. Пойгин смотрел на нее и боялся, что долгожданная эта встреча лишь видится ему во сне.

— Ты что смотришь на нее, как будто не узнаешь? — спросила Омрына, подбирая костлявыми руками седые космы. — Сними поскорее кухлянку и выбрось, пока с нее не потекло.

Пойгин сорвал с себя кухлянку и выбросил ее из полога. Омрына подвинулась, освобождая место возле Кайти. Пойгин бросился к Кайти, но унял порыв и осторожно приложил ладони к ее щекам.

— Я думал, больше не увижу тебя.

— Я тоже так думала,— тихо сказала Кайти и заплакала.

Омрына, широко зевнув, равнодушно сказала:

— Уже, кажется, утро. Пойду кипятить чай.

Пойгин благодарно глянул на старуху. Как только Омрына выбралась из полога, Кайти расплакалась еще сильнее.

— Меня увезли сюда насильно,— рассказывала она сквозь слезы.— Мы жили с Омрыной в ущелье... Там стоит яранга... а возле нее голова мертвого оленя... Вчера приехал брат Омрыны, увез нас из ущелья, потому что там нет ни еды, ни полога.

— Ну не плачь, не плачь, Кайти. Ты видишь, я вернулся. Я теперь все время буду с тобой.— Пойгин смотрел на Кайти и мучительно думал, куда же им теперь деваться? После того как он сжег ярангу черного шамана, трудно было рассчитывать, что главные люди тундры будут терпеть его здесь.— Надо нам с тобой куда-то бежать. Я сжег ярангу в ущелье Вечно живущей совы...

У Кайти расширились глаза от ужаса.

— Как сжег? Почему?

— От ярости. Да, да, это был огонь моей ярости! Я едва не лишился рассудка от мысли, что не найду тебя.

— Теперь они будут мстить тебе.

Пойгин как-то странно улыбнулся, окинул полог затравленным взглядом и сказал:

— Что ж, тогда вместе уйдем к верхним людям.

Глаза Кайти еще больше расширились от ужаса.

— Я не хочу. Мне страшно.

— Тогда я уйду один.

Кайти обхватила плечи Пойгина, прижалась головой к его груди:

— Я не пущу! Ты не уйдешь. Если уйдешь, то я и мгновения жить не буду.

За пологом послышались голоса мужчин.

— Кажется, Вапыскат! — едва слышно сказала Кайти.

Она не ошиблась, в полог ввалились Вапыскат, Эттыкай и Рырка.

— Нашел свою Кайти? — с дружеским, казалось, сочувствием спросил Эттыкай.

«Они еще не знают, что я сжег ярангу»,— подумал Пойгин.

— Успел ли ты порадовать жену или тебе помешали? — осклабившись, спросил Рырка, разглядывая Кайти с откровенным вожделением.

Кайти, судорожно прикрывая грудь, втискивалась, насколько возможно, в угол полога.

— Мы поедем дальше, в стойбище Рырки. Я заберу с собой и старуху, оставайтесь вдвоем, если ты вслед за нами приедешь в стойбище Рырки,— покровительственно скаaал Вапыскат.

«Да, конечно, они еще не знают, что я сжег ярангу»,— окончательно убедился Пойгин, вслух сказал:

— Я приеду.

Попив чаю и насытившись оленьим мясом, главные люди тундры уехали в стойбище Рыркы, прихватив с собой Омрыну. Наконец Пойгин и Кайти остались вдвоем. Они долго молча смотрели друг на друга, то улыбаясь, то уходя в тревожную задумчивость.

— Мне почему-то холодно,— зябко поеживаясь, сказала Кайти.

— Чувствуешь ли ты в себе новую жизнь? — спросил Пойгин, как бы сопоставляя то, что он видел в памяти, неотступно думая о Кайти, и то, что видел сейчас: да, она все такая же, нет, намного лучше, потому что пережитая им тоска позволяет по-новому видеть ее грудь, бедра, эти тяжелые черные косы, всегда такие чистые, мягкие глаза, из глубины которых никогда ложь не выглядывает, как мышь из норы.

Кайти осторожно притронулась к груди:

— Да, мне кажется, у нас будет сын.

Кайти быстро расстелила иниргит и улеглась, по-прежнему зябко поеживаясь. Чуть запавшие глаза ее были тревожны: она боялась, что счастье встречи с мужем вот-вот оборвется вмешательством какой-то злой силы. А Пойгин медлил, не в силах выйти из глубокой задумчивости. Как он ждал этого мгновенья! Бежал, будто дикий олень, через долины, горные перевалы, подгоняя упряжку. «Быстрее, быстрее! — кричал он собакам.— У вас пустая нарта, я берегу ваши силы. Быстрее!» Горячие ладони его, словно отдельные от него существа, ждали прикосновения к телу Кайти, мучительно ждали. И даже лютый мороз никак не мог их остудить.

Пойгин поднес ладони к глазам, потом вкрадчиво, как бы опасаясь, что Кайти вдруг исчезнет и вместо нее окажется лишь морозный воздух, приложил их к ее животу. Кайти вздрогнула и замерла, даже, кажется, перестала дышать.

— Я хочу почувствовать в тебе новую жизнь.

И не смогла Кайти дольше сдерживать дыхание. Оно было глубоким и прерывистым. А еще через мгновение другое стало ей чудиться — что в груди у нее, в распахнутой ее душе, ворочается, пытаясь половчее улечься, мягкая, пушистая лисица. И хотелось Кайти плакать и смеяться от того, что такая ласковая пушистая лисица нашла удивительно светлое и уютное место где-то под самым ее сердцем. Ластилась ли

сица к ее сердцу, порой притрагивалась к нему острыми коготками. Ох, лисица, лисица, и как ты сумела так уютно улечься под сердцем самой счастливой на свете женщины? И уже потом, когда лисица, как бы встряхнувшись, ушла, играя пушистым хвостом и сладко потягиваясь, Кайти сказала:

— Я готова, если надо уйти к верхним людям.

Приложила вздрагивающие пальцы к губам Пойгина и угадала, что он улыбается.

— Я не хочу к верхним людям,— ответил Пойгин.— Там я не буду чувствовать твое тело.

У яранги громко кричали и смеялись дети, переговаривались женщины, вытаскивая из своих очагов пологи, чтобы как следует выморозить вспотевший за ночь олений мех и выколотить пней тяжелыми тиуйгинами; потом, когда придет время для сна, пологи снова будут установлены в ярангах.

— Надо вытаскивать и наш полог, — сказала Кайти, вздохнув бесконечно тяжко.

— Наш полог, — с горечью передразнил жену Пойгин.— Нет у нас с тобой своего полога, скоро будем, как Гатле, в шатре мерзнуть.

Кайти поправила огонь в почти потухшем светильнике и принялась надевать керкер.

— Подожди,— попросил Пойгин, любуясь ее телом.— Подожди. Мне надо тебя запомнить.

Кайти вскинула на мужа испуганные глаза:

— Ты что, опять хочешь от меня уехать?

— Нет, нет. Я хочу запомнить тебя навсегда. Возможно, я когда-нибудь вернусь в этот мир из Долины предков камнем. Буду стоять вечно на высокой горе и разглядывать памятью, какая ты есть.

— Тогда я рядом с тобой тоже встану камнем.

Пойгин засмеялся.

— О, тогда кто-нибудь увидит, что камень сошел со своего места. Ты думаешь, я выдержу, если ты окажешься рядом?

8

Неумолимое время совершало свой бег, вращались звезды вокруг Элькэп-енэр, плыла по небу луна, упиваясь своей безраздельной властью, пока солнце гостило где-то в других мирах. Оставив Кайти в стойбище черного шамана, Пойгин,

повинуясь ходу времени, ехал на встречу с главными людьми тундры, не зная, что будет с ним. В пологе яранги Рырки его уже ждали.

— Донесешь ли ты чашку с чаем до рта, не расплескав на шкуры? — добродушно щуря узенькие глазки, спросил Эттыкай.— Наверное, это нелегко сделать после долгожданной встречи с женой.

Пойгин скупо улыбнулся, не столько в ответ шутнику, сколько Кайти, которую он так отчетливо видел в памяти.

Пойгина поили чаем, кормили мясом, пока ни о чем не расспрашивая. Но вот Рырка вытер лоснящиеся от оленьего жира руки сухой травой, раскурил трубку, протянул ее Эттыкаю и сказал:

— Начнем наш самый важный разговор. Мы желаем, Пойгин, послушать твои вести с морского берега. Рассказывай все по порядку, постарайся ничего не забыть.

Ванискат с вялым видом обгрызал ребрышко оленя, на Пойгина он, казалось, не обращал ни малейшего внимания.

Пойгин медленно допивал чашку чая, чувствуя, как тревожно колотится его сердце. «Невидимый свет Элькэп-енэр, проникни в меня, дай мне спокойствие. Я не знаю, что мне им говорить, как быть дальше».

— Ты что, опять будешь молчать? — показывая, как ему трудно испытывать свое терпение, спросил Эттыкай.

— Я не знаю, что вам говорить. Я пока не понял, что происходит в стойбище Рыжебородого. Безумных детей я там не видел...

Ванискат швырнул обглоданную кость в продолговатое деревянное блюдо и вдруг беззвучно засмеялся.

— Теперь я понимаю, почему он так долго молчал,— промолвил черный шаман, резко прерывая смех.— Он уже, наверное, приглядел себе местечко в деревянном стойбище Рыжебородого. Будет дуть в железную трубу и реветь, как сто моржей, вместе взятых.

— Я дул в эту трубу,— неожиданно для самого себя признался Пойгин.— У меня она не ревела, а только шипела и хрипела.

— Ты дул в эту трубу?! — в величайшем изумлении спросил Эттыкай.— Что ты там делал еще?

— Слушал, как жена Рыжебородого учила детей понимать знаки немоговорящих вестей. Мое имя таит в себе шесть знаков. Я их почти запомнил, потом попытаюсь начертить на снегу.

— Как же ты выдрал волосы из бороды пришельца? — спросил Рырка, нетерпеливо набивая трубку табаком.

— Я не выдирал. Он сам отстриг клок бороды и завернул в бумагу.

— Сам?! — взревел Рырка, роняя трубку и просыпая на шкуры табак.

— Да, сам. Это вызов тебе, Вапыскат. Рыжебородый сказал, что не боится твоей порчи.

Вапыскат все это выслушал, крепко зажмурив глаза и до боли закусив мундштук трубки так, что вздулись на его тонкокожем сморщенном лице желваки.

— Ну вот, кажется, и дождались желанных вестей,— наконец сказал он усталым, расслабленным голосом. И вдруг выкрикнул:— Предатель! Я знаю, ты уже успел своими солнечными заклятиями оградить Рыжебородого от моей порчи. Теперь я ничего не смогу с ним поделать.

— Зачем же хитрить, Вапыскат,— дерзко усмехаясь, сказал Пойгин.— Ты свое бессилие не объясняй тем, что я тебе противостою. Я не охранял Рыжебородого заклятиями. Он мне пока не друг и не враг...

— Не друг и не враг? — все больше свирепея, спросил Рырка.— Нет, мы тебе растолкуем, что он именно враг! Мы тебя еще заставим расправиться с ним, как с врагом.

— Заставить меня невозможно.

— Замолчи! — прервал Пойгина Вапыскат.— Мы не желаем больше выслушивать твои безумные слова. Я сейчас же поеду в ущелье Вечно живущей совы и сделаю заклинание перед луной у головы мертвого оленя. И пусть на тебя и на Рыжебородого найдет порча.

— Нет там теперь головы мертвого оленя,— сказал Пойгин, увлекаемый ветром своего дерзкого вызова. Да, он чувствовал, что находится не в ладу с благоразумием, но ничего поделать с собой не мог.— Я сжег ярангу. Твоя черная собака, настоящий хозяин которой Келе, видела, как бежала от моего огня луна!

Вапыскат закрыл лицо руками, тихо выборматывая невнятные слова. Вдруг оторвал ладони от лица, выкрикнул, указывая пальцем на Пойгина:

— Он безумный! Рыжебородый вселил в него безумие. Свяжите его. Я буду выгонять из него духа безумия.

На Пойгина всей своей тяжелой тушей навалился Рырка, за ним Эттыкай. Ему связали арканом руки, опутали ноги, а на лицо накинули шкуру черной собаки. Пойгин начал задыхаться, теряя сознание.

6 Заказ 1401

Пришел он в себя, когда голову высунули из-под чоургына в шатер яранги. Глотнув свежего воздуха, он застонал, не в силах понять, что с ним происходит. Его опять вволокли в полог. Мигало, едва не угасая, пламя светильника, шевелились тени от голов главных людей тундры.

Вапыскат налаживал бубен, осторожно проводя ладонью по его коже, ощупывая ободок. Время от времени он вздрагивал, подергивая головой, выкрикивал бессвязные слова: начались «невнятные шаманские говорения». То Рырка, то Эттыкай протягивали шаману трубки, и тот жадно затягивался: табачный дым помогал ему погрузиться в «иной мир».

Пойгин с проясненным сознанием молча наблюдал за тем, что происходит в пологе: он понимал, что аркан, которым его связали, не порвать, сейчас он мог противостоять черному шаману лишь заклинаниями. «Я лежу лицом вверх и смотрю сквозь полог, сквозь дыру в верхушке яранги, смотрю на тебя, Элькэп-енэр. Свет твой, имеющий силу ничем не поколебимого неподвижного стояния, входит в мое сердце, внушает спокойствие. Он очень чистый, твой свет. Он дарует силу неумирания. Я наполняюсь этим светом и прогоняю им духов страха. Устыдись, черный шаман, своего бессилия. Ты связал арканом мои руки и ноги, пусть я пока буду пребывать в таком состоянии. Но ты не связал своим мерзким арканом мое сердце. Я не боюсь тебя, черный шаман! Свет Элькэп-енэр поможет моему рассудку. Я лежу лицом вверх и смотрю на тебя, Элькэп-енэр. Я чувствую, что твой свет со мной, и мне совсем не страшно».

Вапыскат порой низко склонялся над лицом Пойгина, заглядывая в его неподвижные, совершенно спокойные глаза.

— Я знаю, ты сейчас мысленно произносишь свои солнечные заклинания, обращаешься к Элькэп-енэр.— Черный шаман ткнул пальцем в потолок полога. — И если ты не закроешь глаза, я опять накину на тебя шкуру черной собаки. Вот она, видишь?

— Я не закрою глаза.

Вапыскат накинул на Пойгина шкуру, навалился на него сам. Чувствуя, что задыхается, Пойгин собрал все силы, повернулся на бок. Вапыскат попытался повернуть его лицом вверх.

— Помогите мне!— крикнул он Рырке и Эттыкаю, хватаясь за сердце.— Я слишком накурился, у меня заходится сердце.

Рырка бросился было к Пойгину, однако Эттыкай жестом остановил его. И когда Вапыскат, закинув голову кверху,

начал опять произносить «невнятные говорения», Эттыкай тихо сказал:

— Пойгин может умереть от удушья.

— Пусть умирает,— ответил Рырка.

— Все больше и больше приходит вестей, что русские убийство не прощают. Они могут год разыскивать убийцу, пять лет и все равно находят...

— Не слишком ли ты их боишься?— вдруг вскрикнул Вапыскат, прекращая свои «невнятные говорения».— Я еще не так глубоко погрузился в «иной мир», чтобы не слышать твои трусливые речи.

Эттыкай промолчал.

Вапыскат схватил бубен, ударил в него несколько раз, тихо запел: «о-го-го-го, о-о-о». Потом толкнул в плечо Пойгина, тот без сопротивления опять повернулся на спину, глядя на воображаемую Элькэп-енэр. Вапыскат почти накрыл лицо Пойгина бубном, дробно и гулко ударяя пластинкой китового уса. Затем вскинул бубен кверху, встал на колени и завыл по-волчьи, порой прерывая завывания всхлипом и стоном. Бубен грохотал все неистовей, все чаще вырывались из тщедушной груди шамана возгласы, смысл которых было невозможно понять. Бросив бубен на шкуры, Вапыскат схватился за голову, начал качаться из стороны в сторону, стеная и ухая. Порой он вскидывал голову и принимался душить себя, закатывая глаза так, что исчезали зрачки. И было жутко смотреть в эти бельмастые, слепые глаза.

Рырка невольно ежился, подвигаясь к стенке полога. А Эттыкай, забыв о раскуренной трубке, смотрел на шамана в каменной неподвижности. Пронзительно взвизгнув, Вапыскат упал на спину, забился в припадке, изо рта его потекла пена.

Рырка чуть приподнял полог, крикнул женщинам в шатер:

— Подайте воды!

Приняв чайник с водой, Рырка набрал ее в рот, брызнул на шамана, тело которого корчилось в судорожных конвульсиях. Вода должна была помочь душе шамана не покинуть тело своего носителя. Если этого не сделать вовремя, душа может совсем покинуть тело, и тогда придет смерть. Вапыскат понемногу успокаивался, зрачки его глаз вернулись в нормальное положение.

— Где я?— тихо простонал он, когда Рырка еще раз брызнул на него водой.

— Ты опять пребываешь здесь, в земном мире,— тихо сказал Рырка.

— Я был сейчас под самой луной, ловил человека, которого она утащила к себе, вселив в него безумие. Не можете ли вы напомнить мне его имя? Я что-то забыл.

— Его имя Пойгин, вот он, с тобой рядом,— сказал Эттыкай, торопливо разжигая потухшую трубку.— На, затянись, это поможет тебе обрести память.

Вапыскат несколько раз затянулся, судорожно сунул трубку в руки Эттыкая, наклонился над Пойгином.

— Да, это он, я его сейчас видел под самой луной...

— Я не был под луной. Я все время нахожусь под солнцем,— глухим, но внятным голосом сказал Пойгин.

— Нет, ты был под луной!— визгливо воскликнул шаман, яростно раздирая свои болячки.

— Я всегда под солнцем,— упрямо повторил Пойгин, отрешенно глядя в потолок полога.

— Он опять бросает мне вызов,— почти плачущим голосом промолвил Вапыскат, страдая от боли растравленных болячек.— Закрой глаза, иначе я опять буду душить тебя шкурой черной собаки!

— Я не закрываю глаза на солнце даже тогда, когда ты душишь меня шкурой черной собаки.

Застонав, Вапыскат опять схватил шкуру, накинул на лицо Пойгина, навалился на него всем телом. Связанные ноги Пойгина метнулись в одну сторону, в другую, наконец ему удалось повернуться лицом вниз. Поднявшись на колени, он вдруг засмеялся, страшный в своей яростной непокорности.

— Повалите его!— закричал Вапыскат.— Повалите! Иначе он порвет аркан и передушит нас.

Рырка схватил Пойгина за плечи, с трудом повалил его на спину. Вапыскат еще раз накинул на него шкуру и так усердно принялся душить, что Эттыкай снова забеспокоился:

— Он задушит его, и за нами придут русские.

— Будем в них стрелять,— сказал Рырка, наблюдая, как затихает тело Пойгина.

Эттыкай все-таки вцепился в шамана, высвобождая Пойгина.

— Открой полог, дай воздуху,— приказал он Рырке, бросился к чоургыну сам, приподнял его.

...Медленно возвращалось сознание к Пойгину. Долго он не мог понять, где он и что с ним происходит. Наконец грохот бубна вернул ему память. «Они задушат меня,— подумал Пойгин, наблюдая в полумраке мигающего светильника за черным шаманом.— Что же будет с Кайти, когда она узнает, что меня задушили?»

Пойгипу виделись глаза Кайти. Все шире и шире раскрывались они, полные ужаса и скорби. Вот они уже заполняют собой все, и Пойгин как бы уплывает в их глубину... Сознание опять покидало его. Очнулся он от чьих-то грубых толчков.

— Скажи, что ты отныне считаешь своим солнцем луну. Всего одно слово ждем от тебя, скажи: лу-на.

Пойгин никак не мог угадать, кому принадлежит голос: не то женский, не то мужской. С трудом узнал склоненное над собой лицо Эттыкая. «Да, да, это у него такой тоненький голос»,— подумал Пойгин, мучаясь от грохота бубна. Закрыть бы уши руками, да аркан впился в тело, даже не шевельнуть рукой. От грохота бубна разламывался череп. Пойгину казалось, что он слушает этот грохот уже целую вечность. Если б утих бубен хоть на мгновение — наверное, взошло бы такое яркое солнце, что лучи его пробили бы даже шкуры яранги. Мигало пламя тусклого светильника, метались по стенам полога тени от бубна и головы шамана, от его рук.

Над Пойгином опять склонилось лицо Эттыкая.

— Скажи одно слово: лу-на. Скажи, и я выведу шамана из иного мира.

— Солнце,— скорее по губам Пойгина угадал Эттыкай, чем расслышал его голос.— И только солнце...

— Безумец, шаман тебя задушит!

— Солнце!— уже клекотом из хрипящей груди вырвалось у Пойгина.

— Пусть задушит,— сказал Рырка, глядя с бессильной ненавистью на непокорного Пойгина.

— Я не хочу, чтобы русские шли по моему следу в горах, как за волком.

— Никто не узнает.

— Рыжебородый мог запомнить Пойгина лучше, чем ты своего брата. Не думай, что русские глупее тебя.

— Что им тут надо?!— рассвирепел Рырка.— Почему они лезут в нашу жизнь? Это моя земля, кого хочу — заморю голодом, кого хочу — накормлю, пусть только тот, кто хочет есть, как следует пасет моих оленей.

Приподняв чоургын, Эттыкай высунул голову в шатер яранги, потащил за собой Рырку, чтобы Пойгин не слышал, о чем идет речь, благо к тому же грохот бубна заглушал голоса.

— Если Пойгин и должен умереть, то не в твоем очаге. Забыл, что мы говорили о двух патронах?

— Может, ты и прав,— скрепя сердце согласился Рырка.

— Давай сделаем вид, что мы его спасли от шамана...

— Но Вапыскат может нам отомстить!

— Для нас русские пострашнее...

— Пусть бы нашел на них самый страшный мор,— задыхался от ярости Рырка.— Ладно, сделаем так, как ты говоришь. Не знаю только, чего в тебе больше — ума или трусости...

— Ума, ума больше.— Эттыкай постучал кулаком себя по лбу.

А Вапыскат колотил в бубен, выводя хриплым голосом: «о-о-го-го-о-о-го-го-го». Пойгин смотрел неподвижным взглядом в потолок, и Эттыкаю на мгновение показалось, что он умер. Склонившись над лицом Пойгина, он выкрикнул, стараясь пересилить грохот бубна:

— Ты живой?

Пойгин не понял вопроса и, как во сне, едва слышно ответил:

— Солнце...

Эттыкай выпрямился и с невольным уважением сказал Рырке:

— Вот какие мужчины есть у нас. Было бы все-таки самым мудрым сделать его нашим другом.

— Хватит, ты уже пытался сделать его другом, а что из этого вышло?

Раздраженный несговорчивостью Рырки, Эттыкай поморщился, набрал из рожка чайника полный рот воды, брызнул на шамана. Вапыскат выронил бубен, потряс головой, затих, безвольно опустив руки на голые костлявые колени.

— Полежи вот здесь,— попросил его Эттыкай.— Приди в себя, иначе душа твоя может навсегда уйти из тела.

Вапыскат застонал, послушно укладываясь на шкуры. Эттыкай, поправив огонь в светильнике, принялся развязывать аркан на Пойгине. Шаман это почувствовал, приподнял голову, тут же обессиленно уронил ее.

— Зачем вы его развязываете?— опять застонав, спросил он и приложил руки ко лбу.— У меня сильно болит голова...

— Пройдет,— сказал Рырка.

— Не развязывайте Пойгина. Я отдохну и начну все сначала.

— Он смирился,— стараясь, чтобы не расслышал Пойгин, тихо произнес Эттыкай.

— Смирился?!— Вапыскат нашел в себе силы подняться со шкур с видом победителя.

— Я не смирился,— довольно внятно промолвил Пойгин.— Я повторяю: солнце... сильнее луны...

Вапыскат устремился к бубну, но Эттыкай его остановил.

— Отдохни. Твоя жизнь нам дороже всего. Душа твоя уже почти уходила из тела. Лежи спокойно. Сейчас мы напоим тебя чаем.

Рырка безучастно курил трубку, уставившись неподвижным взглядом на огонь светильника.

Эттыкай снова принялся лихорадочно развязывать аркан, которым был опутан Пойгин.

— Больно?— участливо осведомился он.— Потерпи. Я думаю, что нам удалось спасти вас обоих. Вапыскат едва не расстался с душой, да и ты мог окончательно задохнуться. Забудем этот страшный день и сделаем все возможное, чтобы он никогда не повторился.

— Ох и хитрая лиса,— мрачно промолвил Рырка, наблюдая за суетливыми движениями Эттыкая, распутывавшего аркан.

Пойгин обессиленно шевельнул освобожденными руками и снова замер...

В тот же день Эттыкай перевез Пойгина в свое стойбище, велел Кайти поставить полог. Перепуганная Кайти упала на колени перед нартой, на которой лежал Пойгин, громко заплакала.

— Ты что оплакиваешь его, как покойника?— сердито спросил Эттыкай.— Жив он, жив. Духи безумия душили его, но Вапыскат выгнал их. Я и Рырка помогали шаману...

В пологе Пойгин долго смотрел неподвижными глазами на плачущую Кайти, наконец едва слышно спросил:

— Это ты, Кайти?

— Да, это я, я! Вот моя рука. Возьми мою руку! Чувствуешь?

— Они хотели, чтобы я покорился луне... Я не покорился. Я не предал солнце...

Пойгин закашлялся, хватаясь за грудь, в приступе удушья.

Несколько дней не мог подняться Пойгин на ноги. Кайти ухаживала за ним. Часто в полог наведывался Эттыкай, необычайно участливый, добрый. Велел убить для Пойгина молодого оленя, заговаривал с больным, как с самым близким другом. Заглядывал и Гатле, когда в пологе Эттыкая наступал сон.

— Я весть услышал,— тихо сказал он однажды, разгляды-

вая Пойгина преданными глазами.— Рыжебородый устраивает в долине Золотого камня праздник...

Пойгин впервые за эти дни заметно оживился. Приподняв голову, он спросил:

— Кто сказал?

— Приезжал Выльпа из стойбища Рырки. Сказал, что поедет на праздник, а потом на берег в стойбище Рыжебородого. Там его дочь...

— Да, я знаю. Я видел Рагтыну. Что-то она часто снится мне...

Кайти настороженно вскинула руку, умоляя говорить потише, чтобы не услышали хозяева яранги.

На следующий день весть о празднике в долине Золотого камня передал Пойгину и сам Эттыкай.

— Как думаешь, следует ли нам ехать на этот праздник?— спросил он заискивающим тоном, всеми силами стараясь показать, что чрезвычайно нуждается в совете Пойгина.

— Не знаю,— отчужденно ответил тот.

— А ты поедешь?

— На чем?

— Я дам тебе лучших оленей, и ты победишь в гонке. Тебе достанется главный инэпирин[1].

Глаза у Пойгина невольно засветились жаждой поединка.

— Хорошо бы, конечно,— мечтательно сказал он.— Только я очень слаб...

— Мы будем все эти дни до отъезда хорошо тебя кормить. Может, я сам поеду в долину Золотого камня. Надо же и мне самому посмотреть на Рыжебородого.

9

На праздник Настоящего человека, как его назвал Рыжебородый, приехали все главные люди тундры. Они долго, в строжайшем секрете от Пойгина и от всех других пастухов, советовались, как им вести себя на этом празднике. И только перед самым отъездом пригласили Пойгина в полог Эттыкая.

— Могу ли я надеяться, что ты не скажешь о нас ничего плохого Рыжебородому?— спросил Эттыкай.

— Если Вапыскат сожжет шкуру черной собаки — не скажу.

Черный шаман было взвился, но Эттыкай остановил его:

---

[1] Инэпирин — приз.

— Подожди, Вапыскат. Да, мы сожжем шкуру и станем верными друзьями.

— Другом черному шаману не стану,— возразил Пойгин.— Пусть уж тогда лучше будет цела его шкура, пусть он нюхает ее и днем и ночью.

Вапыскат застонал от унижения, отвернулся в сторону.

— Смотри, Пойгин, как бы снова не пришлось нюхать эту шкуру тебе,— пригрозил Рырка.

— Ну вот, сейчас опять разругаемся!— сокрушался Эттыкай.— Надо ли давать волю ветру вражды, если мы собираемся все вместе посмотреть на пришельцев?

В долину Золотого камня выехали на оленях. Через два перегона оказались на месте. Здесь уже было много гостей. Стояло несколько палаток, яранг, паслось десятка три оленей, предназначенных на убой для угощения гостей. Оленей закупила культбаза в стойбищах, кочевавших вблизи долины Золотого камня.

Пойгин издали, стараясь быть незамеченным, наблюдал за Рыжебородым. Вспоминалось, как они совсем еще недавно жгли здесь костер. Огонь того костра, казалось, растопил в душе Пойгина лед недоверия к этому человеку. Вернее всего было бы подойти к нему и сказать, что он рад его видеть. Правда ли рад? Ведь Пойгин сказал главным людям тундры, что пока не знает, кто ему этот пришелец: друг или враг. Но что еще мешает Пойгину подойти к Рыжебородому? Не хочет ли он показать главным людям тундры, что он не ищет у Рыжебородого защиты от них? Это верно — гордость есть гордость, и Пойгин не из тех, кто легко поступается ею. К тому же после недавней борьбы за жизнь, когда его едва не задушили, он чувствовал такой упадок сил, что ему все было безразлично.

Полыхал костер из амольгина[1], которым был завален берег реки. Да, здесь можно разжечь жаркие костры. Один из горных выступов глубоко вдавался в долину, самый конец его увенчивался высоким каменным столбом золотистого цвета. Пойгин долго смотрел на столб. Наверное, еще с первых дней творения этот одинокий молчаливый великан оглядывает долину, запоминая, что здесь происходит,— хорошо бы подойти к нему, всмотреться в его лик, пожалуй, туда не очень трудно добраться.

На долину наплывала густая синева после быстротечной

[1] Амольгин — сухие сучья, выброшенные течением реки на берег.

встречи утренней зари с вечерней. Молчаливый великан, прозванный Золотым камнем, словно бы плыл в этой синеве. Полыхали костры, возле которых женщины разделывали убитых оленей. Надо было взять с собой Кайти...

Рыжебородый возился у высокого шеста, кажется, прикреплял к веревке кусок красной материи, которая, по его словам, имеет суть солнечного начала. Может, он говорил правду? Тогда надо бы подойти к нему и сказать: «Разреши мне потянуть веревку, чтобы от моих рук красная материя начала солнечное восхождение». Наверное, он разрешил бы это сделать. Пойгин перевел взгляд на молчаливого великана, имя которого Золотой камень. Смотрит молчаливый великан на то, что происходит в долине, и все запоминает...

Над самой большой палаткой трепетал на ветру кусок красной материи; Рыжебородый часто входил в эту палатку, снова выходил. Гости чувствовали себя все смелее, толпились у костров, громко переговаривались, весело смеялись. Рырка заметил у одного из костров своего бывшего пастуха Выльпу, сказал Пойгину тоном повеления:

— Позови этого лодыря ко мне.

Пойгин бросил на Рырку сумрачный взгляд:

— Зови, если тебе он нужен.

— Опять хотите поругаться,— досадливо упрекнул Эттыкай.— Я сам его позову, только не перегрызитесь, как собаки.

Но Эттыкай не успел сделать и шагу: из палатки с трубой в руках вышел Рыжебородый. Приложив конец трубы ко рту, он заревел протяжно и призывно. Вапыскат, оттолкнув Рырку и Эттыкая, казалось, готов был ринуться на Рыжебородого, но все-таки сдержал себя, предпочтя разглядывать пришельца издали.

— Вот, вот она, та проклятая труба!— наконец тихо промолвил он.— Голос у нее совсем как у неземного существа. Похоже, что из ее горла вылетают самые свирепые духи. Так и передайте всем, пусть получше затыкают уши.

— Однако ты свои уши почему-то не затыкаешь,— насмешливо сказал Пойгин.

— Я черный шаман! Я ничего не боюсь, даже этой трубы!— с хвастливой заносчивостью ответил Вапыскат.

Пойгин посмотрел на молчаливого великана: не шевельнется ли он от неслыханного и невиданного им? На голову великана опустился тильмытиль — орел. Посидел мгновение-другое и снова взмыл, словно дума великана обратилась в орла и поднялась высоко-высоко, чтобы понять, что же происходит в долине.

Рыжебородый наконец перестал трубить, подошел к шесту, громко сказал:

— Здесь должен быть очень дорогой для нас гость, которому уже знакомо солнечное восхождение красного флага. Пусть он подойдет сюда и поднимет вверх красный флаг.

Пойгин почувствовал, что кровь отхлынула от его лица: конечно же, Рыжебородый имел в виду именно его.

— Он, кажется, приглашает тебя,— изумленно сказал Эттыкай Пойгину.

— Может, и меня...

— Ну что ж, видно, дорогой для нас гость почему-то не смог прибыть на праздник Настоящего человека,— казалось, совершенно искренне сокрушался Рыжебородый.

«Это он нарочно сказал, что гость не пришел,— подумал Пойгин, не понимая, радоваться ему или досадовать.— Он, наверное, все же увидел меня, но догадался, что я от него прячусь».

Рыжебородый еще раз потрубил в трубу и сказал:

— Прошу моих помощников подойти ко мне.

Из самой большой палатки вышло несколько русских и чукчей с карабинами в руках, выстроились у шеста в ровную линию, подняли карабины кверху. Рыжебородый потянул веревку, прикрепленную к самой верхушке шеста, и кусок красной материи начал медленно подниматься. Как только он достиг вершины шеста, Рыжебородый взмахнул рукой, что-то выкрикнул, и его помощники все разом выстрелили в небо.

— Ка кумэй!— пронеслись возгласы изумления над толпами гостей.

— А в нас они стрелять не станут?— приходя все больше в возбуждение, спросил Вапыскат, обращаясь к Пойгину.

— Откуда я знаю,— ответил тот безучастно.

— Ты жег с ним костер, пил чай, отстриг клок его бороды...

— Он сам отстриг клок бороды — как раз для тебя. Можешь подойти и спросить. Он не пожалеет, еще отстрижет.

Рыжебородый между тем снова огласил долину Золотого камня протяжным голосом солнечно сверкающей трубы и громко возвестил:

— Слушайте, слушайте добрые вести! Мы начинаем праздник Настоящего человека. Вы только что видели восхождение красного флага. Я знаю, как вы встречаете восход солнца. Тогда чаще всего звучит ваше замечательное слово «ынанкен! ынанкен!» — «что за диво!». Мне известно, с каким нетерпе-

нием вы ждете после долгой ночи наступления дня. День, говорят в вашем народе,— это надежда на благосклонность судьбы. И первый восход солнца не зря у вас именуется Днем благосклонности. Но судьба тогда благосклонна к человеку, когда он берет ее в свои руки. И вот восхождение красного флага на празднике Настоящего человека означает, что отныне вы берете судьбу в собственные руки.

— Куда ведет тропа его мысли?— как бы у самого себя спросил Эттыкай, примечая, с каким напряженным вниманием все гости слушают русского.

— Торговал ли кто-нибудь из вас хоть в одной из наших факторий? Был ли такой случай, чтобы вы почувствовали обман и вымогательство?

И ответили гости:

— Нет обмана.

— Нет.

— Капканы на людей, кажется, там не ставят.

— Значит, не с жадностью, не с алчностью пришли новые торговые люди, а с добром и щедростью. Верно ли я говорю?

— Верно.

— Щедры новые торговые люди, щедры и честны. Только знать хотелось бы... долго ли именно так будет?— спросил старик Тотто.

— Так будет отныне и навечно,— торжественно сказал Рыжебородый.

— Чем поклянешься?

— Вот этим флагом и солнцем. Наступает новая жизнь, имя которой — Советская власть.

— Что это — ваш благосклонный ваиргин?

— Это прежде всего справедливый закон.

— Что такое закон?

— Это запрет на несправедливость и полная воля добру. Я знаю, здесь есть безоленные люди. Справедливо ли то, что они безоленные? Не они ли день и ночь пасут оленей, принадлежащих тем, кого вы называете главными людьми тундры? Но главные люди тундры — это те из вас, кто день и ночь пасет оленей. Вас много, настоящих людей. В вашу честь и произошло сегодня восхождение красного флага. Не вы ли во время отела готовы собственным дыханием отогреть каждого олененка? Не вы ли спасаете оленей и от волка, и от гибельного гололеда? Однако вас самих до сих пор никто не спасал от гололеда несправедливости. Новая жизнь сделает это! Подумайте сами, разве мои слова не имеют силу славных вестей?

Гости зашумели, изумленные говорениями русского. Да, кажется, это были не простые слова, а именно говорения, непривычные и неслыханные доселе. Вапыскат сказал Эттыкаю, желчно усмехаясь:

— Ну, теперь ясно тебе, куда ведет тропа его мысли?

А Пойгин, чувствуя, что ему становится весело, произнес восхищенно одно-единственное слово:

— Пычветгавык[1].

— Кто, Рыжебородый?— остро нащурившись на Пойгина, спросил Эттыкай.

— Именно он.

— Может, может, ты и прав,— очень нехотя, с тяжким вздохом согласился Эттыкай.

Вапыскат с возмущением посмотрел на Пойгина, потом на Эттыкая, ступил шаг, другой с таким воинственным видом, словно собирался броситься на Рыжебородого, но тут же вернулся обратно.

— Я вот встану рядом с ним и скажу свои слова. И люди увидят, кто из нас пычветгавык.

— Давай-ка!— воскликнул вызывающе Пойгин.

И, словно угадав мысли черного шамана, Рыжебородый сказал:

— Пусть тот, кому кажется, что в моих словах нет правды, открыто и прямо мне возразит.

Пойгин с откровенно насмешливым видом повернулся к черному шаману.

— Он, кажется, угадал твои мысли. Иди, иди к нему, иди, возрази. Давай-ка!

— Мы еще заставим тебя самого возразить ему. Ты еще не знаешь, что таят для тебя два патрона,— сказал Рырка и сделал такое движение, будто заряжал винчестер.

— Ну, ну, догадываюсь, один из патронов таит смерть для меня,— очень спокойно, будто вел речь не о себе, ответил Пойгин.

— Да, именно так! Если пуля первого патрона не найдет Рыжебородого, то пуля второго...

Эттыкай дернул Рырку за рукав — дескать, нашел время для подобных разговоров. Тот хотел сказать Эттыкаю что-то резкое, но лишь свирепо прокашлялся.

— Ну, есть такой гость, который хотел бы со мной поспорить?— Рыжебородый еще немного подождал.— Значит,

---

[1] Пычветгавык — красноречиво говорит, проникновенно, задушевно.

нет. Но вполне вероятно, что кое-кому и хотелось бы со мной поспорить. Что ж, не будем торопиться. Возможный наш спор доведет до конца сама жизнь. Бывает и так, что к справедливости приходит даже тот, кому она поначалу кажется страшной. Такому человеку мы всегда ответим благосклонностью и уважением.

— Пычвэтгавык,— опять повторил Пойгин и, даже не глянув на главных людей тундры, пошел с независимым видом к одному из костров, возле которого увидел Выльпу.

Рыжебородый вошел в толпу гостей и, взяв под руку старика Тотто, повел его к самому большому костру.

— Этот старый почтенный анкалин был недавно спасен от голодной смерти. Я постелю у костра шкуру белого оленя, усажу Тотто, как самого почетного гостя, и пусть он расскажет, кто его спас.

Рыжебородый принял от своих помощников белую шкуру, постелил у костра.

— Садись, дорогой гость культбазы. Женщины, налейте ему чаю.

Высокий старик, глаза которого казались пустыми глазницами, настолько глубоко провалились они, уселся на шкуру.

— Вот кого при новых порядках усаживают на шкуру белого оленя,— угрюмо сказал Рырка.— Он еще и Выльпу рядом с ним посадит, забыв, что у него всего четыре оленя...

— Нет, он это знает и помнит,— возразил Эттыкай.— Именно потому и воздает почет.

Рырка в крайнем недоумении пожал плечами.

— Я вижу, у этого русского все наоборот. Такого не было еще со дня творения. Не пойму, глупость это или...

— Нет, не глупость,— не дал досказать Эттыкай.— Это умысел...

— В чем его смысл?

— Отнять силу у нас с тобой...

И опять Рырка свирепо прокашлялся.

Старик Тотто, выпив чашку чая, начал раскачиваться, настраиваясь на говорения об отогнанной голодной смерти.

Эттыкая трудно было удивить вестью, что от голода вымерло то или иное стойбище анкалит, которых постигла неудача в охоте. Человек, живущий на берегу, потому и внушал ему презрение, что поставил свою жизнь в зависимость от случая: не подойдут к берегу моржи, нерпы — и ты обречен. Нет, только олень способен и накормить, и согреть человека. И если оленей много, очень много, как у него, зна-

чит, ты становишься кормильцем и для других людей, их спасителем от голодной смерти. Сколько безоленных кормится возле него, и каждый выражает ему почтение, каждый пытается задобрить. Человек, спасающий других людей от голода,— большой человек, от него зависит, жить или умереть безоленному пастуху, с этим невозможно не считаться. Сказать бы эти слова русскому, когда он вызывал на спор. Да, можно было бы и сказать, однако лучше пока помолчать, выждать и посмотреть: не утихнет ли ветер нежданных перемен...

— Я ощупывал тех, кто был слева и справа у меня в пологе... они были уже как холодные камни,— начал Тотто, напрягая голос.

И снова услышал Пойгин рассказ Тотто, запомнившийся ему на всю жизнь. Раскачивается старик, надсадно звучит его хрипловатый голос, порой дрожит от волнения и, кажется, вот-вот прервется. Смотрит Пойгин на старика, слушает его и отчетливо представляет, как издевается над обреченным страшный заяц, колотит передними лапами по вспухшему животу старика, грызет ему ноги. Ловит Тотто зайца, умоляет позволить хотя бы понюхать его уши. Тот увертывается, по-человечески хохочет, хвастается, какой он сытый, потому что сожрал жизненную силу сына, невестки и двух внуков Тотто. А потом заяц превращается в огромный скелет с пустыми глазницами. Вползает луна в одну глазницу и выползает из другой. Нагибается видение голодной смерти, протягивает умирающему старику вместо мяса кусок льда. И грызет, грызет, грызет старик лед, ломая последние зубы. И это страшно представить, Пойгин готов закрыть уши, чтобы не слышать хруста льда в зубах обреченного. И ему кажется, что у него самого заныли зубы от этого твердого, невыносимо холодного льда.

Но вот во рту старика вместо льда оказывается спасительная пища. Откуда? Кто дал? Может, и это примерещилось в бреду? Но нет, во рту не лед, а бульон, теплый бульон, пахнущий мясом. Кто дал? Откуда явились спасители? Ынанкен! Что за диво! Такого не было со дня первого творения. Приехали издалека люди, посланные Райсоветом спасать умирающих. Райсовет! Что это? Откуда явился этот непонятный ваиргин, благосклонный к тем, кто был уже обречен?

Жадно слушают старика гости и начинают догадываться, почему русский постелил ему шкуру белого оленя. Мудрый, видать, этот русский, он посадил на белую шкуру того, кто

обликом еще был как сама смерть, а душою, разумом — жизнь, жизнь, спасенная жизнь!

— Надо бы выдернуть белую шкуру из-под полумертвого старика,— сказал Рырка, отворачиваясь от костра.— И где разыскал его этот хитрый Рыжебородый?..

— Умный Рыжебородый,— невольно возразил Эттыкай. Почувствовав, какими глазами посмотрели на него Рырка и Вапыскат, добавил: — Кто не способен оценить ум другого, тот сам не имеет рассудка...

— Вот как ты заговорил,— со злой горечью сказал Рырка.— В одной ли упряжке мы бежим?

Эттыкай промолчал.

— Спасибо, Тотто, за твои говорения.— Рыжебородый низко поклонился умолкнувшему старику.— Ты очень взволновал нас горестным рассказом, который все-таки имеет счастливый конец. Вот почему я и хочу сказать, что день после долгой, долгой ночи, в которой жило видение голодной смерти, наступил и прогнал смерть. Да, наступил день. И тут в самую пору воскликнуть: «Ынанкеп!» И я хочу сказать, что и нам, русским, день тоже всегда вселяет надежду на встречу с добром. Потому еще издревле русские так и говорят при встрече, желая друг другу всего самого лучшего: добрый день. Вот и я громко говорю вам с поклоном: добрый день! А сейчас я объявляю начало оленьих гонок. Запрягайте, дорогие гости, своих быстроногих оленей, и пусть вам будет удача!

Гости зашумели, возбужденно переговариваясь, заторопились к оленям. Пойгин улыбнулся Выльпе, шутливо сказал:

— Ну а что же ты, главный человек тундры, не спешишь к своим оленям?

Выльпа скупо улыбнулся в ответ. Это был уже немолодой мужчина с длинным сумрачным лицом, с затравленными, звероватыми глазами. Выльпу преследовали вечный голод, унижения и несчастья: сначала умерла его жена, потом два сына, а дочь родилась с больным сердцем.

— Какие там олени,— простуженно прохрипел он.— Мыши в моем очаге водятся, это верно. Я приехал сюда на собаках. Весть тревожную передали мне... Русские шаманы хотят резать мою дочь...

— Как резать?! — потрясенно спросил Пойгин.

— Грудь хотят разрезать, до сердца добраться, чтобы выгнать немочь. Но разве выживет Рагтына, если ей разрежут грудь?

Пойгин поискал взглядом Рыжебородого. Тот стоял возле главной палатки.

— Иди со мной. Спросим у русского...

Медведев вошел в палатку, присел на фанерный ящик, покрытый шкурой оленя. Что ж, праздник начался как надо, главное, кажется, найден верный подход к чукчам. Жаль, что до сих пор не приехали нарты с товарами фактории. Заведующий культбазовским магазином заболел, а Чугунов так и не появляется. Конечно, ехать за двести с лишним километров непросто, но если дал слово — сдержи. А какой праздник без торговли? Хотел приехать и главный врач культбазы, но его слишком тревожит больная девочка Рагтына. Не дает покоя тревога и Медведеву. Он даже подумал, не перенести ли праздник. Но люди обширного района тундры и побережья были уже оповещены, и менять сроки — значило бы сорвать праздник.

В палатку вошли Пойгин и Выльпа.

— О, вы пришли!— приветствовал гостей Медведев и задержал взгляд на Пойгине.— Ты, кажется, чем-то встревожен?

— Верно ли, что Рагтыну будут резать русские шаманы?— спросил Пойгин и показал на Выльпу.— Это ее отец. Он хочет знать правду...

Медведев поправил оленьи шкуры, устилавшие палатку.

— Садитесь. Согреемся чаем. Я рад, что ты все-таки приехал. Не забыл, как мы выбирали место для праздника?

— Ты не ответил на мой вопрос. Верно ли, что Рагтыну будут резать?

— Весть лживая,— ответил Артем Петрович, выдерживая взгляд Пойгина.— Я клянусь тебе в этом. Врачи пытаются изгнать немочь из сердца Рагтыны другим способом.

— Каким?— спросил Пойгин, присаживаясь на шкуры. Кивнул Выльпе, приглашая сесть рядом. Раскурив трубку, повторил вопрос:— Каким?

— Ты лечишь людей травами?

— Да, я знаю травы. Изгоняют боль из головы, из живота, изгоняют кашель...

— Вот и наши врачи знают такие травы.

— Поможет ли это моей дочери?— спросил Выльпа.— Если умрет... у меня больше никого не останется.

Хриплый голос Выльпы как-то натужно вырывался из его простуженного горла, бесцветные губы дрожали от напряжения.

Медведев поставил на фанерную дощечку чашки, открыл термос.

— Вот видите, какое вместилище для горячего чая придумали умные люди. Налил я его еще дома, а до сих пор не остыл...

Пойгин проследил, как Рыжебородый наполнил чашки горячим чаем, с невольным любопытством потянулся к термосу, покрутил его в руках, заглянул в горлышко, бережно передал хозяину и снова заговорил о своем:

— Выльпа хочет ехать к дочери. Пустят ли его к ней шаманы?

И опять задумался Артем Петрович. Как ответить на этот вопрос? Врачи действительно могут и не пустить отца к больной. А может, наоборот, ему надо спешить, чтобы увидеть ее в последний раз?

— Не поехать ли нам после праздника вместе?— осторожно спросил Медведев.

Пойгин и Выльпа переглянулись, как бы спрашивая друг друга, что ответить Рыжебородому.

— Если резать дочь твои шаманы не будут... поедем вместе,— страдальчески поморщившись, наконец ответил Выльпа.

— Не будут! — клятвенно ответил Артем Петрович.

— Тогда и я с вами поеду,— с глубоким вздохом облегчения сказал Пойгин.

За палаткой слышалось многоголосье гостей. Перекликались женщины, суетившиеся у котлов над кострами, шутили, пересмеивались мужчины, готовясь к состязаниям в оленьих гонках.

— Будете ли вы участвовать в гонках?— спросил Медведев, озабоченно поглядывая на ручные часы.

— Выльпа приехал на собаках. У него нет своих оленей. У меня тоже нет. На чужих не поеду,— угрюмо нахохлившись, ответил Пойгин.

— Ты почему так изменился? Болел, что ли?— спросил Артем Петрович участливо, разглядывая лицо Пойгина.

— Болел,— скупо ответил Пойгин.— Так что ни бегать, ни прыгать, ни бороться я сегодня не буду.

— Меня это очень печалит. Я привез твой карабин, подаренный тебе на культбазе при восхождении красного флага. Могу отдать сейчас...

— Карабин не возьму...

В палатку ввалился в заиндевелых меховых одеждах Чугунов, и сразу стало тесно от его огромной фигуры.

— Докладываю, товарищ начальник культбазы: развозторг фактории стойбища Лисий хвост прибыл, хотя, понимаешь ли, с некоторым вынужденным опозданием...

Русские крепко обнялись, похлопывая друг друга по спинам.

— Знал бы ты, как меня обрадовал, дорогой Степан Степанович. Попей чаю, подкрепись и разворачивай ярмарку. Какой праздник без ярмарки?..

— Постараюсь. От товаров нарты трещат. Потому и запоздали. Упряжки и каюры выбились из сил.

Чувствуя на себе напряженный взгляд Пойгина, Чугунов наклонился, разглядывая его лицо, обрамленное густой опушкой малахая.

— О! Кого я вижу! Это же ты, ты, дорогой мой человек! — повернулся к Медведеву.— Это же Пойгин.

— Да, это он.

— Эх, как я призадумался, когда изгнали тебя из стойбища. Главное, кажется, я, я виноват! Переведи ему, Артем Петрович...

Пойгин выслушал Медведева с бесстрастным видом, порой кидая непроницаемый взгляд на Чугунова.

— Ты зря так испугался этого моего дурацкого чертика.— Степан Степанович с виноватой улыбкой сорвал с себя малахай, швырнул в угол палатки, запустил пятерню в слежавшиеся волосы.— Это же были просто железки, банка консервная...

Медведев знал уже, как провалился Чугунов со своими фокусами: тот покаялся ему во всем в первый же приезд на культбазу.

— Переведи ему, Артем, помири нас, ради бога. Хорошо, если бы он вернулся в свое стойбище.

Приняв от Медведева кружку горячего чая, Чугунов сделал один глоток, второй, блаженно щуря усталые глаза. Долго слушал разговор между Медведевым и Пойгином. Время от времени кивал головой, прикладывал руку к сердцу, надеясь, что Пойгин наконец поймет его и все простит.

— Оказывается, ты мне, Степан Степанович, в тот раз не сказал самого главного,— с некоторым отчуждением промолвил Медведев.— Как же это тебя угораздило сунуть огнивную доску в костер? Ведь это же... это священный предмет, самый главный хранитель очага... Надо же думать, батенька мой, надо считаться...

— Так я... я хотел добра,— не дал досказать Чугунов.— Я хотел отвести от него всякие сплетни о его шаманстве.

Если бы знал язык... посоветовал бы сложить всех этих идолов в кучу и поджечь посреди стойбища! Мол, вот, отрекаюсь к чертовой матери, и не говорите, что я шаман!

Артем Петрович задумчиво теребил бороду, словно старался упрятать в ней невольную ядовитую усмешку.

— Добра хотеть мало, его надо уметь делать.

— Да я уж понял, что больше зла натворил. Подыграл, понимаешь ли, этому куркулю Ятчолю.

Услышав имя своего неприятеля, Пойгин сказал, обращаясь к Медведеву:

— Объясни торговому человеку, я очень обрадовался, когда узнал, что он все-таки выследил хитрую лису, понял, кто такой Ятчоль.

— Да я... я его... я из него чуть душу не вытряс, когда раскрылась для меня его куркульская душонка. Спекулянт! Чуть ли не полфактории, понимаешь ли, через подставных лиц перетащил в свою нору. А поначалу-то принял мерзавца вот так, с распростертыми объятиями.— Чугунов широко развел руки.— Заставил, понимаешь ли, куркуля кое-что вернуть в факторию, освободил охотников от его долговой кабалы... И странно, думал, в горы, в глушь уйдет, а он под боком у культбазы оказался.

— Видишь ли, Ятчоль из тех, кто усвоил роль пособника пришельцев. Его не смущало, что был он при американцах, по сути, холуем. Он видел в том выгоду. Искал ту же выгоду при новых «пришельцах». На тебе обжегся. Попробовал прижиться на культбазе — не прижился. Иные сейчас пришельцы, не желают иметь холуев, не желают подкармливать марионеток... Ну, как твои успехи в языке? Пригодился ли мой словарь?

— Да кое-что, с пятого на десятое, уже кумекаю. Но трудно, не дается язык. Завидую тебе...

— У меня, брат, другое дело. Призвание. Я ведь кандидат наук, лингвист, на этом собаку съел. Вот пишу сразу два учебника для чукотских школ.— Медведев глянул на часы.— Ну, ты тут подкрепляйся, а мне пора. Начинаются оленьи гонки.

Умчались оленьи упряжки, вздымая над снежной долиной мглистое облако. «Ги! Ги! Ги!» — неслись издали возгласы наездников, погонявших оленей. У костров свежевали убитых оленей женщины, с нетерпением поглядывая в ту сторону, где разбивал свою торговую палатку Чугунов. Ра-

довались празднику детишки, боролись, метали арканы.

Пришла пора ждать возвращения гонщиков оленьих упряжек. Да, все ближе перемещается мглистое облако, возникшее от взметенного снега и горячего дыхания оленей. Вот уже видны и первые упряжки.

Женщины и те мужчины, которые не приняли участия в гонках, шумно угадывали победителей. У финиша были выставлены инэпирит — призы. Самым богатым из них был огромный котел, заполненный плитками кирпичного чая, пачками листового табака, спичками. Второй приз тоже вызывал всеобщее восхищение. Это был большой медный чайник с набором фарфоровых чашек и блюдец к ним. Третий многим казался едва ли не первым по своему значению: кому не хотелось бы иметь карабин с десятком пачек патронов к нему?

«Ги! Ги! Ги!» — уже не кричали, а хрипели наездники. Свистели тинэ[1], с храпом дышали олени.

Вот и вырвался к финишу счастливый обладатель первого приза, за ним второй, третий. Тяжко ходят бока загнанных оленей, дико смотрят их помутившиеся глаза, влажные языки высунуты. К оленям подбегают юноши, быстро отпрягают от нарт. Освобожденные, олени всем телом вздрагивают, стряхивают с себя иней, отбегают в сторону, высоко и плавно поднимая тонкие ноги. Радостные люди хлопают обладателей призов по плечам, весело шутят, завистливо цокают языками.

Пойгин наблюдал за праздником с задумчивой улыбкой. Рядом с ним стоял, уныло ссутулясь, Выльпа.

— За всю свою жизнь я не смог порадоваться ни одному инэпирину,— угрюмо сказал он.— Оленей своих не имел, а бороться и бегать — силу надо иметь. Но где взять силу, если мясо видишь только во сне?

Пойгин повернулся к Выльпе, протянул ему трубку, мечтательно сказал:

— Скорей бы дождаться весны. Вернусь снова на берег, поставлю ярангу у птичьего стойбища. Люблю слушать, как кричат птицы, люблю смотреть, как они гнездятся на скалах. Не могу без моря. Я охотник. Моржовая матерь является мне во сне.— Помолчав, добавил убежденно: — Тебе надо покидать тундру. Ты должен стать охотником. Будем вместе охотиться. Тогда будет у тебя мясо...

---

[1] Тинэ — погоныч. Прут метровой длины с костяным набалдашником на конце.

Все гуще становилась синева неба, снова набирал силу мороз, сменив короткую оттепель, все ярче светились костры. То там, то здесь схватывались борцы. Оголенные по пояс, они хлопали в ладоши, резко наклоняясь и воинственно выкрикивая: «Гы-а! Гы-а!» Топтались борцы на снегу, стараясь уловить тот миг, когда можно будет ухватить соперника за ногу или сомкнуть руки на его шее. И кто был попроворнее, резко поднимал ногу соперника, и тот, теряя равновесие, валился на спину. Крики одобрения, незлобивые насмешки, советы борцам оглашали долину.

Молчаливый великан Золотой камень смотрел бесстрастно со своей высоты на то, что происходило в долине, а из-за его спины выглядывала такая же бесстрастная луна. Пойгин кидал на луну короткие взгляды и думал, что надо было посоветовать Рыжебородому дождаться возвращения в земной мир солнца и провести этот праздник не под луной, а под настоящим светилом.

У одного из костров возникло особенное оживление: оказалось, что там решил испытать свои силы борца сам Рыжебородый. Оголив себя до пояса, он широко раскинул руки, весело выкликая соперника; люди изумились тому, что тело его покрыто волосами, в шутку называли Кэйныном — бурым медведем; борцы смущенно переглядывались, не решаясь принять вызов. Но вот вызов принял самый сильный. «Гы-а!» — азартно выкрикивал Рыжебородый, хлопая в ладоши. Двигался он медленно, грузно вдавливая ноги в снег, и казалось, что к нему невозможно подступиться ни с какой стороны. Но сам-то он оказался удивительно цепким и проворным и, что самое главное,— могучим несокрушимо. Зрители не успели даже уловить, как он подмял под себя помедвежьи обескураженного соперника. Возгласы изумления прокатились над долиной Золотого камня: здесь умели восхищаться ловкостью и силой.

Все выше поднималась луна, крепчал мороз, словно бы разъяренный тем, что люди, которые должны бы дуть на окоченевшие руки, топтаться на снегу, отогревая ноги, наоборот, вытирают потные лица, мчатся наперегонки, обнажив дымящиеся потные головы. Да, им жарко, настолько жарко, что плавится снег под их голыми спинами, когда один борец укладывает на лопатки другого.

Началось состязание в беге. Пойгин не выдержал, побежал в группе молодых парней. Ах, как горячо поначалу взбунтовалась кровь, как перехватило восторгом грудь. Сколько раз он на своем веку оказывался у главного приза

первым, разгоряченный, с мокрой головой. Какое-то время Пойгин и на этот раз был впереди всех, но вдруг почувствовал, что грудь не выдерживает, а ноги наливаются незнакомой тяжестью. Мимо, словно стремительные тени, пробегали соперники.

Когда наступила пора поворачивать в обратную сторону, к манящим издалека кострам, Пойгин понял, что оказался самым последним. Это его настолько удручило, что он остановился и долго слушал, как натужно колотится сердце. Было тихо вокруг, только звон в ушах да удары собственного сердца, казалось, заполняли всю вселенную, словно бы замершую от изумления: что случилось с человеком? А человек стоял неподвижно, вглядываясь в седую мглу, сквозь которую едва пробивались мутные, расплывающиеся точки костров. Вдруг взрыв восторженных голосов донесся оттуда, где горели костры: наверное, примчался к главному призу победитель. Кто он? Кто? Э, не все ли равно, ясно одно, что это не он, не Пойгин. На какой-то миг в глазах помутилось так, что мелькнула мысль: «Это опять Вапыскат накидывает на мое лицо шкуру черной собаки». Пойгин протер глаза, глубоко передохнул. Красные точки костров возникли снова. Порой они расплывались, словно бы гасли, и опять ярко разгорались, манили к себе.

Пойгин еще раз глубоко вздохнул и повернулся в сторону Золотого камня. Молчаливый великан отсюда казался чуть-чуть наклоненным в сторону долины; можно было подумать, что он склонился, чтобы убедиться: точно ли случилось невероятное с человеком, которого вся тундра и побережье считали быстрее ветра? Пойгин и сам чуть наклонился, вглядываясь в молчаливого великана. По снежной долине, залитой мертвым лунным светом, мчалась какая-то черная точка. Или волк бежит, или опять превратилась в собаку черная шкура, которой душили его? И мчится теперь злая собака, чтобы перебежать дорогу Пойгину, не пустить его к молчаливому великану. Но Пойгин все-таки поднимется к нему. Он сядет у ног великана и долго будет думать, как жить ему дальше. Оставаться по-прежнему в тундре? Однако странная у него здесь жизнь. Порой представляется, что схватили его за шею, как это делает росомаха, главные люди тундры и клонят, клонят голову книзу, стараясь изгнать из него дух противоборства. Но не был бы Пойгин Пойгином, если бы смирился с ними, с их росомашьей повадкой. Кто здесь не чувствует их зубы? Даже те, кто кочует отдельно от главных людей тундры, кто старается найти свою тропу

жизни, даже они слышат, как свистят черные арканы над головами: стада их сгоняют с лучших пастбищ, отбивают целыми косяками оленей, метят своим клеймом. Особенно свирепствует Рырка. А черный шаман все мечет и мечет такие страшные арканы, будто взял их у самой луны. Умеет он вгонять душу в озноб таким несчастным, как Выльпа, кому и без того холодно и голодно. Вот почему Пойгин ни на одно мгновение не смирится с черным шаманом. Порой он видит себя белым оленем, а Вапыската черным. Сплелись их рога, сплелись в смертельной схватке, и тот и другой готовы упасть замертво, но не уступить. Вот такая жизнь у Пойгина в тундре...

Может, все-таки вернуться ему на берег? Он со дня рождения истинный анкалин. Он не может без моря. Да, надо вернуться. Но куда? В стойбище Лисий хвост он ни за что не вернется. Правда, там уже нет Ятчоля, однако Пойгин не забыл, как его заставили увезти свою ярангу и все, что было в ней, в морские льды. Надо все-таки подняться к каменному великану и еще раз хорошо обдумать, как жить дальше...

Кажется, все ниже наклоняется молчаливый великан, вникая в думы человека, которому так необходимо найти самую верную тропу в жизни; мелькает тень ожившей черной собаки, похоже, что она замыкает Пойгина в какой-то заколдованный круг. Ах, как хочется разорвать этот проклятый круг!

Непросто было добраться до Золотого камня. Несколько раз Пойгину, карабкавшемуся по скользким, покрытым инеем скалам, приходилось возвращаться вниз с полпути. Дрожали от усталости ноги, кружилась голова, но он вновь и вновь искал подъем на гору. И все-таки поднялся к молчаливому великану. Здесь Золотой камень был неизмеримо выше, чем виделся оттуда, снизу. Прислонившись всем телом к холодной скале, Пойгин долго вслушивался в гулкие удары собственного сердца; порой ему казалось, что он слышит, как колотится и сердце молчаливого великана. Когда немного отдышался — присел на каменный выступ, направил свой взгляд вниз, туда, где полыхали костры, громко разговаривали, смеялись люди.

Как гулко доносятся сюда голоса. Хорошо, когда радость порождает безудержный смех. Вот чему-то расхохотался торговый человек. Ну и умеет же он смеяться! До сих пор думалось Пойгину, что не может быть веселый человек злым. Не был злым и этот странный пришелец. Только вот

как же он посмел сунуть огнивную доску в огонь? Пойгину тогда показалось, что закричал от боли и обиды его главный хранитель очага, закричал совсем по-человечески. Услышал бы этот крик торговый человек, наверное, у него стали бы волосы дыбом. Нет теперь того обожженного и обиженного хранителя очага, да и самого очага нет. Придет пора, и уйдут в море льды, на которых покоится яранга Пойгина и все, что было в ней. Что ж, пусть море примет прежний очаг Пойгина. Пусть. Уплывут в бескрайние дали и хранители его прежнего очага. Пусть будет так. Пойгин поставит новую ярангу, заведет новых хранителей очага. Скорей бы пришла весна. Но прежде чем придет весна, Пойгин побывает на морском берегу. Да, он уедет с Выльпой туда завтра же.

Как там дышится Рагтыне? Она так часто задыхалась, чувствуя боль в сердце... Только бы не резали ее русские шаманы. Конечно, никто ее резать не будет. Рыжебородый не мог обмануть. Кажется, пришла такая пора, когда Пойгин хотел бы сказать, что он верит этому человеку...

10

На культбазу Медведев выехал вместе с Пойгином и Выльпой через двое суток. Чукчи ехали впереди. Упряжка их была всего из пяти собак. Чукчи соскакивали с нарты и долго бежали рядом с упряжкой. «Видимо, не один раз здесь бились все рекорды по марафонскому бегу, только пока об этом никто не знает»,— размышлял Артем Петрович. Порой он оглядывался назад и видел вдали цепочки собачьих упряжек береговых чукчей, которые выехали значительно позже, оставшись разбирать палатки, упаковывать грузы.

Километрах в пяти от культбазы, когда уже перевалили прибрежный хребет, вдруг из-за поворота, огибающего каменный выступ, выехала навстречу упряжка, которую ожесточенно погонял Ятчоль. Позади него сидел Журавлев. По лицу учителя Артем Петрович понял, что случилось несчастье. Спрыгнув с нарты, Журавлев побежал навстречу Медведеву, обгоняя собак.

— Артем Петрович, беда!

Медведев все понял: девочка умерла. Он почему-то не мог прямо глянуть в растерянное лицо Журавлева, наконец все-таки поднял на него глаза.

— Она умерла?

— Да, умерла.— Журавлев кинул смятенный взгляд на чукчей. Пойгин, почувствовав неладное, спросил у Медведева:

— Что случилось? Я понял, что этот русский сообщил тебе плохую весть.

Артем Петрович прокашлялся, дотрагиваясь до горла, болезненно поморщился и тихо сказал:

— Умерла Рагтына...

Пойгин зажмурил глаза, словно только так он был в силах осмыслить, что сказал Рыжебородый, и когда открыл снова, то увидел прежде всего лицо Выльпы, бескровное, с перекошенным, вздрагивающим ртом.

— Он, кажется, сказал, что Рагтына умерла,— промолвил Выльпа так, будто умолял Пойгина разуверить его. Все в нем, казалось, кричало: это неправда, я ослышался.

Пойгин промолчал. Глянув с откровенной враждебностью на русских, он кивнул головой Выльпе и, тронув нарту, помчался к берегу. Выльпа сделал несколько неверных шагов вслед за Пойгином и потом побежал, низко опустив голову.

— Что здесь надо этому шаману?— угрюмо спросил Журавлев.— Не вовремя принесло служителя духов...

Медведев не слышал Журавлева. Машинально обрывая наледь с бороды, он спросил:

— Детишки знают о смерти Рагтыны?

— Знают. Девочки плачут. Мальчики забились по углам и молчат. Вскрытие показало...

Увидев, как меняется лицо Медведева, Александр Васильевич бросился к нему, схватил за плечи.

— Вам плохо? Присядьте. Ах ты ж... Скверно-то как, все скверно...

— Разворачивайте свою упряжку. Поезжайте, я догоню. Мне надо побыть одному.

— С какой злостью и презрением посмотрел на меня этот шаман...

— Не слишком ли вы обеспокоены собой?

— Я не о себе. Я о шамане. Теперь не оберемся беды. Можно себе представить, как он это использует...

Медведев махнул рукой, неприязненно отвернулся от Журавлева. Присев на нарту, зачерпнул горсть снега, поднес ко рту. «Вскрытие. Врачи произвели вскрытие. Конечно, за этим стоит элементарный врачебный долг и непререкаемые юридические правила. Иначе поступить они не могли.

И все же, все же... Как теперь доказать чукчам, что Рагтыну резали уже после смерти? Вот, вот она, страшная несуразица, более чем страшная...»

Журавлев давно уехал, а Медведев все еще сидел на нарте, не чувствуя холода. Когда поехал, собак не погонял, словно старался выиграть время, собраться с силами. И вдруг начал яростно торопить упряжку. «Что же я делаю? Пойгин и Выльпа умчались на берег. Кто знает, как они себя поведут».

Едва въехал Медведев на культбазу, как навстречу ему выбежала жена.

— Скорее к больнице! Только будь осторожен. У них ножи!

— У кого?

— У Пойгина и отца Рагтыны.

Артем Петрович прикрикнул на собак и помчался к больнице. На крыльце стационара, закрывая собою дверь, стоял Журавлев и уговаривал чукчей:

— Вы лучше спрячьте свои ножи. Не боюсь я их, не боюсь, понимаете?

— Отдай Рагтыну!— хрипел Выльпа.— Вы ее зарезали...

— Кто тебе сказал эту глупость?

— Ятчоль сказал. Вы ее зарезали... Теперь в деревянном ящике закопаете в землю. Я не хочу, чтобы она умерла два раза. Из ямы она не может уйти в Долину предков. Отдай Рагтыну!

Пойгин молчал, однако нож был крепко зажат в его руке. Александр Васильевич видел это и старался показать именно Пойгину, что он решительно ничего не боится. Нет, Журавлев не упивался своим бесстрашием, не думал, что вот наконец и случилось то, что не раз виделось ему в разгоряченном воображении. Он не думал о том, пустят или не пустят в ход ножи разгневанные чукчи, ему хотелось только одного: не позволить Пойгину и Выльпе ворваться в больницу, перепугать врачей. Да и мало ли что могло случиться в этой непредвиденной ситуации. Увидев Медведева, Журавлев облегченно вздохнул, сказав со спокойствием человека, который, быть может, впервые в жизни почувствовал, что значит самообладание мужчины:

— Мы здесь немножко поссорились. Они требуют труп Рагтыны...

Артем Петрович на мгновение задержал взгляд на Журавлеве, как бы оценив его заново, подошел к Пойгину, спокойно сказал, дотрагиваясь до чехла на его поясе:

— Спрячь нож. Случилось горе. Неужели мы будем добавлять к нему еще и другое?

— Ты мне ответь... Резали Рагтыну русские шаманы? — спросил Пойгин, медленно засовывая нож в чехол.— Только говори правду. Мы все равно увидим ее. Если закопаете в землю — мы выкопаем ее и увезем.

— Рагтыну резали, когда она уже была мертвой...

— О-о-о, так все-таки резали! — Пойгин опять потянулся к ножу.— Ты же сказал... Ты же поклялся...

— Ну как мне тебе доказать, что Рагтыну резали уже неживую.

— Зачем резать мертвую?! Зачем?!

— Пойдем в больницу. Врач вам все объяснит...— Медведев повернулся к Журавлеву.— Идите к детям.

Пойгина поразили резкие незнакомые запахи, едва перед ним открылся вход в обиталище русских шаманов, он даже на какое-то время зажал нос. Болезненно морщился и Выльпа, с испугом оглядываясь вокруг. Убитый горем, он не заметил, как оказался вместе с Пойгином и Рыжебородым в большом деревянном вместилище с белыми стенами и таким же белым потолком. Навстречу им поднялся седой человек с сухощавым усталым лицом. Одет он был во все белое. На подставке сидела русская женщина, тоже в белом. Лицо ее было заплаканным.

— Тут вам все объяснят,— осторожно прокашлявшись, сказал Рыжебородый. Он притронулся к локтю Выльпы и добавил: — Сядь вон на ту подставку. Если тебе здесь неудобно, садись на пол. Наша скорбная беседа может оказаться долгой...

Выльпа сел на пол у стены, предварительно осмотревшись, достал дрожащими руками трубку, раскурил. Рядом с ним присел и Пойгин, принял от Выльпы трубку, жадно затянулся.

— Разрешите мне сначала поговорить по-русски с этим человеком,— попросил Рыжебородый, показав на седого.— Мне надо знать, как все было...

Пойгин не ответил, уставившись с бесстрастным видом в окно, а Выльпа едва приметно кивнул в знак согласия головой, несколько удивленный, что потребовалось его позволение.

— Ах, Вениамин Михайлович, как же это?..— сказал Медведев, присаживаясь на стул против главврача Сорокопудова.

— Надо удивляться, что с таким сердцем она дожила до девяти лет,— печально сказал Сорокопудов.

— Где она сейчас?

— В операционной...

— Я хочу подготовить вас к самому страшному... Кто-то пустил среди чукчей слух, что вы оперировали девочку... По их представлениям, мы, русские, ее зарезали...

— Вот даже как...

— Самое драматическое в нашем положении то, что вы произвели вскрытие... Я понимаю, это закон... Но я мучительно гадаю: что делать дальше?

Сорокопудов пожал плечами, устало потер лоб, сказал с тяжким вздохом:

— Хоронить, Артем Петрович, хоронить.— Кинул горестный и несколько недоуменный взгляд в сторону чукчей.— Удивительно спокойные лица. А ведь только что размахивали ножами.

— Бесстрастные... внешне бесстрастные лица,— уточнил Медведев.— Таков обычай. Но если мы будем хоронить девочку по нашим обычаям... боюсь, что вы увидите лица этих мужчин иными...

— Я вас не понимаю...

— Я очень прошу понять меня, дорогой Вениамин Михайлович.— Медведев помолчал, как бы еще раз мучительно что-то взвешивая.— Да, прошу понять и поддержать. Самое верное было бы покойную отдать отцу...

— Это естественно, родители есть родители. Они должны вместе с нами... похоронить...

— Вместе с нами не выйдет, Вениамин Михайлович, они увезут ее в тундру и похоронят по-своему...

Медсестра Ирина Матвеевна, полная, повышенной чувствительности женщина, о которых говорят, что у них глаза на мокром месте, поморгала белесыми ресницами, спросила в крайнем недоумении:

— Как? Просто положат на холм, чтобы съели звери? Я знаю... у них так хоронят...

— Да, так...

Медсестра не сдержалась, заплакала.

— Господи, это же дико... Надо же по-человечески...

— Ирина Матвеевна, голубушка, поймите другое,— умолял Медведев.— Для чукчей по-человечески именно то, как они хоронят...

— Ах, беда-то... Конечно, я все понимаю, но как же это... надо же их приучать...

Сорокопудов устало сгорбился, наморщил лоб.

— Слов нет, насаждать цивилизацию через похоронную обрядность... это нелепо. Однако боюсь, что найдутся и такие, кто обвинит нас в потакании дикости. Хотя вы, Артем Петрович, безусловно, правы... Воля родителей — превыше всего.

Медведев долго молчал, тяжело упираясь руками в колени, наконец медленно поднял голову:

— Итак, решили. Покойную отдаем отцу. Надо ее показать. Сделаю это я... я сам...

— Нет уж, Артем Петрович, хозяин здесь я!— Сорокопудов встал, вдруг обнаружив во всей своей сухопарой фигуре внутреннюю собранность и силу, подошел к чукчам, положил руку на плечо Выльпы, затем слегка поклонился Пойгину.— Если бы вы могли меня понять, если бы могли... Жаль, что я не говорю по-чукотски.

Выльпа поежился от прикосновения русского шамана, а Пойгин ответил откровенной ненавистью во взгляде. Сорокопудов поднялся и сказал:

— Они, кажется, меня ненавидят...

Медведев осторожно, как бы ступая по ненадежному льду, прошелся по кабинету, остановился перед чукчами.

— Когда вы хороните людей, то вынуждены вскрывать горло или живот мертвого, чтобы выпустить злого духа. Таков ваш обычай. Врачи тоже должны были разрезать Рагтыну, уже мертвую, чтобы понять причину ее смерти. Уверяю вас, это было уже после смерти...

— Покажи Рагтыну! — потребовал Пойгин, не повышая голоса, но наполняя его откровенной непримиримостью.

— Сейчас покажу.— Артем Петрович на какое-то время ушел в себя, скорбно неутешный и в то же время бесконечно терпеливый.— Врачам всегда необходимо понять причину смерти, чтобы легче было потом изгнать ее из тела другого больного. Таков обычай. Не думаю, что он чем-нибудь отличается от вашего. Мы не нарушили ваших обычаев и не нарушим. Мы не будем закапывать Рагтыну в землю. Мы отдадим ее вам...

Выльпа наконец поднял голову и долго смотрел на Медведева, часто мигая. Потом перевел взгляд на Пойгина, тихо сказал:

— Может, он говорит правду? Пожалуй, они ее не зарезали...

— Нет, я больше не верю Рыжебородому!— ответил Пой-

гин так, будто человека, о котором он говорил, не было рядом.

Слова эти настолько изумили Медведева, что Пойгин понял: русский оскорблен и даже возмущен.

— Меня удивляет, что ты высказался обо мне так неуважительно. Да, очень неуважительно.

Произнес эти слова Рыжебородый твердо и даже сурово. В другое время Пойгин, может, и оценил бы это, он сам не прощал, когда о нем говорили неуважительно. Да, может, и оценил бы. Но сейчас... сейчас суровость Медведева усиливала его подозрительность и чувство вражды. Что, если это его настоящий лик, а добрым он только прикидывается? И Пойгин сказал с вызовом:

— А меня удивляет, что нам до сих пор не показывают Рагтыну. Где она?!

Артем Петрович жестом пригласил чукчей выйти с ним в коридор и, показав на дверь операционной, едва слышно промолвил:

— Здесь.

Сорокопудов, помедлив, осторожно приподнял простыню с лица умершей девочки. Выльпа наклонился над дочерью, глядя в неподвижное лицо ее с горестным недоумением, потом с огромным трудом выпрямился, перевел смятенный взгляд на Пойгина. Похоже, он умолял сказать, что все это неправда, что дочь его жива... Но Пойгин тоже отказывался верить, что перед ним та самая девочка, которую он лечил солнцем и мечтами о белых лебедях.

— Ее не зарезали? — тихо спросил у Пойгина Выльпа, стараясь понять по лицу Рагтыны, какими были ее последние мгновения.— По лицу непохоже, что она очень мучилась.

Пойгин промолчал, изо всех сил стараясь обрести бесстрастный вид. Протянув руку к простыне, он бесконечно долго медлил, наконец сорвал ее с тела девочки...

...Медленно везли голодные собаки скорбную кладь. Пойгин и Выльпа шли рядом с нартой. Когда перевалили прибрежные горы, увидели, что их догоняет упряжка собак.

— Кажется, едет Рыжебородый,— испуганно сказал Выльпа, пристально вглядываясь в цепочку прытко бегущих собак.— Может, хочет отнять тело Рагтыны?

Пойгин мрачно промолчал, нехотя поворачивая голову в сторону преследователя.

— Пусть лучше застрелит меня,— промолвил Выльпа, погоняя собак.— Давай поторопимся.

— Он все равно догонит,— ответил Пойгин, бережно поправляя на нарте спальный мешок, в котором находилось тело девочки.

Медведев действительно вскоре догнал упряжку всего из пяти собак.

— Я прошу вас остановиться и разжечь костер,— сказал он, окидывая ищущим взглядом берега речушки, покрытые редким кустарником.

— Зачем? — сурово спросил Пойгин.

— Вы голодные. Ваши собаки тоже. Притом их очень мало...

— Не притворяйся добрым!

И опять лицо Медведева стало жестким. Он выдержал взгляд Пойгина и сказал:

— Я не хочу скрывать, что обижен и даже рассержен. И я докажу, что ты не прав.

— Когда? И знаешь ли ты, как еще долго жить тебе?

— Сколько же, по-твоему?

— До первого восхода солнца.— Пойгин показал на синие зубчатые вершины далекого хребта где-то на самом краю тундры.— Вот как только над горами покажется солнце... я убью тебя...

Артем Петрович долго смотрел на синие горы, наконец перевел взгляд на Пойгина, и того поразило, что он не увидел в глазах русского ни страха, ни ненависти, ни мольбы, ни ответной угрозы.

— Да, времени у меня действительно мало,— как-то очень спокойно ответил Рыжебородый.— Солнце, по моим подсчетам, взойдет через полтора месяца... Но все-таки давайте разожжем костер, попьем чаю.

— Странный, очень странный ты человек.— Пойгин направил упряжку к кустарнику, туда, где он наиболее приметно торчал из-под снега.

Когда костер уже горел, Медведев расстелил шкуру, холщовое полотенце, разложил на нем куски мяса, хлеба.

Ели мясо и пили чай молча. Отложив в сторону железную кружку, Артем Петрович снял со своей нарты два нерпичьих мешка.

— Здесь еда для вас и для ваших собак.

Чукчи промолчали. Потоптавшись с тяжелыми мешками, Медведев положил их у костра. Затем достал кусок запасного потяга[1], привязал его к потягу упряжки чукчей.

[1] Потяг — ремень с петлями, к которому пристегиваются собаки.

— Что он делает? — спросил Выльпа, недоуменно наблюдая за действиями Рыжебородого.

— Кажется, хочет отдать нам несколько своих собак,— сказал Пойгин, не зная, чем отвечать на странные поступки русского.— Этот человек самый для меня непонятный из всех, кого я видел до сих пор...

И действительно, Рыжебородый впряг в нарту Выльпы пять своих собак и, подойдя к костру, сказал:

— Собак вернете, когда приедете на культбазу в следующий раз.

— Когда я приеду... ты знать не будешь,— ответил Пойгин, отводя взгляд от Рыжебородого.

Медведев покрутил головой, как бы высвобождая шею из тесного ворота заиндевелой кухлянки, посмотрел на небо.

— Ты меня не пугай,— сказал он по-прежнему сурово.— Угрожать так, как угрожаешь ты,— опасно. Для тебя опасно.

— Ты обо мне думаешь или о себе?

— Больше о тебе. Мне кажется, что тебя чем-то заарканили так называемые главные люди тундры. Смотри, не стань их послушным пособником...

— Я никому не был и не буду пособником! Я сам по себе. Я белый шаман и знаю, где зло, где добро...

— Это хорошо, если действительно знаешь. Тогда ты должен со мной согласиться вот в чем. У зла и у добра есть лицо. И часто это лицо человека, знакомого нам. Мне понятно, за что ты ненавидишь Ятчоля. И понятно, почему так участлив вот к этому человеку.— Рыжебородый поклонился Выльпе.— И догадываюсь, что у тебя на душе, когда встречаешься с главными людьми тундры...

— Я их ненавижу так же, как и тебя.

— Если ты ненавидишь их, то меня рано или поздно признаешь другом... А ненависть твоя ко мне пройдет, как черный туман. Рассудок твой помрачился от горя.

— Не ты ли со своими шаманами поверг меня в горе? Меня и вот его... человека, у которого больше никого не осталось... Вот почему я, возможно, подниму на тебя винчестер, когда взойдет солнце.

— Я очень надеюсь, что к тому времени ты поймешь вот какую истину: выстрелив в меня, ты выстрелишь в себя. Никому не говори о своей угрозе, если не хочешь беды. Я слышал твою угрозу, но я тебя прощаю.

Пойгин зло рассмеялся:

— Ты слышишь, Выльпа? Он... он меня прощает!

— А вот этого... насмешки твоей... я простить не могу.

Я больше не буду с тобой разговаривать, пока рассудок твой затуманен. Я сказал все!

Рыжебородый подошел к нарте чукчей, снял малахай и замер, в скорбном отчуждении прощаясь с Рагтыной. Потом положил руку на плечо Выльпы, еще немного постоял и решительным шагом направился к своей упряжке. Тронув собак, уехал, так и не взглянув больше на Пойгина.

— Ты прав, он непонятный человек,— угрюмо сказал Выльпа.

— Да, непонятный,— не сразу ответил Пойгин, долго провожая взглядом нарту Рыжебородого.

11

На похороны Рагтыны приехал черный шаман Вапыскат. В стойбище Рырки, где стояла яранга Выльпы, собралось много оленных людей, прибывших даже из самых дальных мест. Весть, что русские шаманы зарезали больную девочку, потрясла всех; те, кто видел тело покойницы, рассказывали, что разрез на ее груди зашит. Это вызывало самые невероятные догадки. Скорее всего русские шаманы хотели скрыть, что зарезали ребенка; но неужели они настолько глупы, чтобы не понимать всю тщетность этой попытки: шов может разглядеть даже слепой.

Суетились люди у яранги Выльпы, перед ее входом устанавливали нарту на два деревянных катка, которыми уже не раз пользовался на похоронах Вапыскат. Рагтыну одели в керкер, привязали к нему мешочек, заполненный кусочками шкур, олеными жилами, вложили в него несколько иголок, наперсток. Все это были предметы, необходимые женщине, отправляющейся в Долину предков. Рядом с мешочком прикрепили олеными жилами кусочек плиточного чая, чашку, ложку. Положили покойницу на нарту. Вапыскат наблюдал за суетой женщин в печальной задумчивости, не выпуская изо рта трубку. Полузакрытые, с больными веками глаза его были похожи на две красные щели. Порой он вскрикивал голосом, непохожим на голос ни одного из земных существ, женщины вздрагивали, обращали к нему заплаканные лица. Когда нарту с покойницей вывезли из яранги и установили на катки, женщины уселись вокруг нее на корточки и протяжно завыли на разные голоса, оплакивая ушедшую из земного мира.

Пойгин сидел на грузовой нарте невдалеке от яранги Выльпы. Вслушивался в плач женщин, среди которых была

и Кайти, и спрашивал себя: в чем тайна перекочевки в Долину предков? Будет ли он знать, когда и его так вот положат неподвижным на нарту, что жил когда-то в земном мире, в состоянии ли будет помнить лицо, глаза, голос Кайти? И если суждено ему в конце концов убить Рыжебородого, то где будет после смерти этот человек? Уходят ли русские к верхним людям?

Оплакивают женщины покойницу, мужчины, сидя группами чуть поодаль, курят трубки — само воплощение ничем не возмутимого бесстрастия: пусть злые духи не ищут себе здесь очередной жертвы.

Но вот умолкли женщины. К нарте медленно, высоко подняв руки, бормоча шаманские невнятные говорения, подошел Вапыскат; вдруг он умолк, пристально оглядел столпившихся у нарты людей, повелительным взмахом руки пригласил подойти поближе тех, чьи дети находятся в деревянном стойбище Рыжебородого. В тундре оказалось таких всего пять семей, остальные — из береговых стойбищ: береговые неразборчивы в связях с пришельцами, потому охотно отдают своих детей Рыжебородому. Но Вапыскат доберется и до них. А теперь он возвестит, что будет с детьми вот этих людей, которые склонились над покойной девочкой, он предскажет, что каждого ребенка, безрассудно отданного в руки чужеземцев, ждет страшная участь дочери глупого Выльпы.

Черный шаман встал на колени, взялся за копылья нарты, попробовал проволочить ее по деревянным каткам. Завизжали катки в снегу, а люди замерли, зная, что сейчас начнется самое страшное: шаман назовет чье-то имя, толкнет нарту, а потом потянет ее на себя; если нарта покатится легко, без всякой задержки — значит, человек, названный им, скоро умрет. Сегодня Вапыскат будет называть лишь имена детей, которых безрассудные родители отдали в деревянное стойбище Рыжебородого,— так он объявил всем, кто собрался на похороны дочери Выльпы.

Замерли люди. Не выдерживают томительного молчания шамана родители детей, отданных в деревянное стойбище, особенно страдают матери.

— Я называю первым имя твоего сына, безрассудный Майна-Воопка, твоего сына, безрассудная Пэпэв, слушайте. Сейчас я его громко окликну и узнаю, что скажет нарта с покойницей в ответ. Потерпите еще немного.— Зажмурившись, Вапыскат низко опускает голову, крепко сжимает копылья нарты и медлит, медлит, медлит.

«Проклятый, можно подумать, что он научился мучить людей еще в чреве своей матери»,— думает Пойгин, наблюдая, как бледнеет Пэпэв, как горбится Майна-Воопка.

— Омрыкай!— наконец выкрикивает черный шаман.

Пэпэв закрывает лицо руками. А Вапыскат опять медлит. Наконец громко спрашивает, обращаясь к похоронной нарте:

— Скажи, не утаив ничего, заболеет ли сын безрассудных родителей, мальчик по имени Омрыкай? Заболеет ли настолько, что шаманы пришельцев воткнут в него свои ножи? Воткнут ножи и лишат его, как вот эту покойную девочку, жизненной силы, имеющей суть горячей, красной крови? Скажи правду, ничего не тая! Скажи!!!

И снова прошло еще столько тяжких мгновений, сколько звезд на небе, прежде чем черный шаман сдвинул нарту. И вскричала Пэпэв, падая в обморок: нарта сдвинулась сразу же.

— Он умрет,— едва слышно промолвил Вапыскат,— умрет... Нарта сдвинулась так, будто это перо птицы, которое движется даже при самом слабом ветерке...

Обезумевший от страха и горя Майна-Воопка растолкал людей, подбежал к своей нарте, отвязал чехол с винчестером. Трудно было понять, что он хочет делать: отправляться ли немедленно в дальний путь на берег, чтобы расправиться с пришельцами, или пришло ему на ум разрядить винчестер в себя...

Пойгин подошел к Майна-Воопке, взял из его рук чехол с винчестером, опять привязал к нарте, негромко сказал:

— Вапыскат слишком сильно дергает нарту, потому она лжет. Я сам после него узнаю ее предсказания.

Майна-Воопка, большой, горбоносый, как лось, передохнул, с надеждой сказал умоляюще:

— Я прошу тебя, очень прошу... Проверь нарту. Руками черного шамана, наверное, движут ложь и злоба.

А Вапыскат и вправду в своих предсказаниях был беспощаден. Вот уже и пятое имя выкликает он громко, с каким-то мстительным упоением, и снова тот же приговор:

— Он умрет! Нарта оказалась легче былинки, летящей по воздуху в осеннюю пору. О, горе вам, безрассудные отцы и матери! Сами породили детей, сами обрекли их на смерть!

— Нарта в твоих руках лжет!— воскликнул Пойгин, склоняясь над черным шаманом.— Я проверю ее предсказания заново!

Вапыскат медленно поднял голову, глядя красными щелками на Пойгина снизу вверх, тихо спросил:

— Это ты посмел своим громким голосом отвлечь меня от похоронного прорицания?

— Я!

— Как ты смеешь, подлый потакальщик пришельцам?

— Нарта в твоих руках лжет!— упрямо повторил Пойгин, чутко улавливая в людской толпе поддержку.— Уступи место мне...

И закричали люди:

— Уступи!

— Пусть спросит нарту Пойгин!

— Пусть Пойгин! Он никого никогда не пугает!

Вапыскат медленно поднялся, отряхнул колени от снега; было видно, что он растерян и никак не может найти выход из унизительного положения. Пойгин чувствовал на себе взгляды людей, полные благодарности и надежды. Но не все смотрели на него с надеждой — у иных во взгляде был только страх. Рырка и Эттыкай смотрели на Пойгина так, будто они ослепли от ненависти.

Вапыскат выбросил перед собой руки и медленно двинулся через толпу, выборматывая невнятные говорения. Остановившись у яранги Рырки, громко сказал:

— Я вас не пугал, я просто предрекал, что должно случиться помимо моей воли. Будет все так, как предсказала в моих руках похоронная нарта! Запрягите моих оленей. Я оскорблен! Я буду мчаться отсюда прочь быстрее самого сильного ветра!

Но никто не бросился запрягать оленей черному шаману, все смотрели на Пойгина. Даже хозяин стойбища Рырка, которому следовало бы обеспокоиться, что дорогой ему гость оскорблен и хочет уехать,— даже он не двинулся с места, дожидаясь, что скажет нарта в руках Пойгина.

Сбросив с себя малахай, Пойгин опустился на колени, обхватил оголенными руками копылья нарты и назвал негромко имя сына Майна-Воопки.

И напрягся Пойгин. Покраснело от натуги его лицо, даже пот выступил на лбу. Да, да, это был пот! И руки Пойгина, сильные руки его, напряглись, как это бывает, когда надо сдвинуть огромную тяжесть. Да, нарта была тяжела, неимоверно тяжела! Сдвинуть ее даже такому сильному, здоровому человеку, как Пойгин, оказалось не так-то легко. Значит, Омрыкай будет жить. И люди, не скрывая радости, зашумели:

— Будет жить!

— Будет!

— Нарта в руках Пойгина не лжет! Он никому не желает зла.

Тяжко вдавливая полозья в снег, нарта едва-едва сдвинулась с места и снова замерла.

— Будет жить! — наконец изрек и Пойгин.

— Он умрет! — пронзительно закричал Вапыскат: непонятно было, как мог возникнуть подобный голос в такой чахлой груди.

— Будет жить! — ответил ему Пойгин, вытирая пот со лба.

И еще четыре раза двигал нарту Пойгин, искажая лицо от натуги, и провозглашал:

— Будет жить!

А Вапыскат тыкал в сторону толпы костлявые кулачки и кричал так, что закипала слюна на губах:

— Умрет! Умрет! Умрет!

Пойгин встал, преисполненный печальной, как и подобает на похоронах, и торжественной доброты.

Рырка отделился от толпы, подошел к Вапыскату взбешенный и растерянный: встать открыто на сторону черного шамана означало бы разделить с ним поражение, нанесенное Пойгином, не поддержать его — значит признать победу дерзкого поклонника солнца. Нет, с этим мириться дальше немыслимо, надо сделать так, чтобы Пойгин уже никогда не увидел нового восхода солнца.

— Жаль, что ты не задушил его шкурой черной собаки, — сказал он тихо, чувствуя еще большее унижение оттого, что вынужден говорить эти слова чуть ли не на ухо оскорбленному гостю.

Отыскав в толпе Эттыкая, Рырка кивнул ему головой, приглашая в свою ярангу для уединения. Смущенный и озадаченный поступком Пойгина, Эттыкай пробился сквозь толпу и только после того, как очутился в яранге Рырки, сказал:

— Я уж и не знаю, каким арканом можно связать этого анкалина. Лучше бы он жил у себя на берегу и охотился на моржей.

— Лучше бы его увезти на похоронной нарте, как сейчас повезут Рагтыну! — наконец словно спустил себя с аркана Рырка. — Это ты спас его от шкуры черной собаки! Хочешь перехитрить самого себя...

Долго пререкались главные люди тундры, стараясь расставить хитроумные капканы Пойгину. Сошлись на том, что вынашивали уже давно: принудить Пойгина поднять винчестер

на Рыжебородого. Или смерть Рыжебородому, или смерть самому Пойгину — третьей тропы в этом мире у него быть не должно. Когда они вышли из яранги, цепочка похоронной процессии была уже далеко. Рагтыну увозили на высокий холм, открытый всем ветрам...

12

Семерых учеников забрали родители из интерната культбазовской школы, и не было никакой уверенности, что завтра не придут за другими.

— Артем Петрович, нельзя, нельзя отдавать детей!— выходил из себя Журавлев, удивляясь спокойствию начальника культбазы.— Это развал школы... Против нас действуют враждебные силы, а мы сидим сложа руки...

— А ты собираешься давать рукам волю?

— Но ведь надо же действовать! Всем, кто спекулирует на смерти школьницы, надо заткнуть рот.

— Есть, есть и такие, которые спекулируют на этом горе. Но рот им не заткнешь. Нам надо действовать по-другому...

— Пошлите меня в тундру. Я готов схватиться с кем угодно.

Журавлев соскочил со стула, стремительный, нетерпеливый.

— Сядьте, Журавлев! Что вы мечетесь!— прикрикнул Медведев.

— Извините, Артем Петрович.

Учитель сел на стул, зябко поежился.

— Если увезут еще хоть одного ученика, я... я не знаю, что сделаю.— Встретившись со взглядом Медведева, тихо сказал: — Я так мечтал быть вам во всем помощником, когда там, в Хабаровске, вы внесли меня в свой заветный список. Теперь вот спорю. И так мне от этого тяжко, что хоть на луну вой...

— Оставьте это занятие, Саша, для полярных волков. И давайте делать все возможное, чтобы чукчи вернули детей в школу. Добровольно, понимаешь?

Но не только Журавлев боялся развала школы, кое-кто обеспокоился и в районном центре. На культбазу прибыла комиссия во главе с заведующим районо Игорем Семеновичем Величко. Кроме него, приехал работник райздрава Шульгин и заведующий факторией Чугунов. «Пусть едет, ему там рукой подать, всего двести километров»,— пошутил председатель райисполкома.

Величко, молодой, но уже полнеющий человек с белозубой обаятельной улыбкой, производил впечатление добродушного малого; однако он изо всех сил старался показать свою твердость и принципиальность.

— Я к вам с полнейшей расположенностью, но я должен быть объективным. Истина дороже всего.

— Да, да, конечно, истина дороже всего,— соглашался Медведев.

— Из школы убыло семь учеников. Семь!— Величко потряс пятерней одной руки, поднял два пальца второй.— У вас богатейшая культбаза. Таких на Чукотке пока всего три. Правительство не поскупилось ни на штаты, ни на оборудование...

— Да, это верно...

— Но у вас произошел смертный случай! Испуганные чукчи забирают детей. Как я все это должен квалифицировать при самом полнейшем расположении к вам?

Величко улыбнулся с искренним сочувствием, но тут же прогнал улыбку и как-то еще более монументально утвердился в кресле за столом начальника культбазы.

— Мне вам пока нечего сказать. Не буду же я обращать ваше внимание на то, что жизнь есть жизнь, со всеми ее противоречиями и сложностями. А здесь их хоть отбавляй. Мы не рассчитываем на дорогу гладкую, как скатерть. Думаю, что вы со мной согласны.

— Согласен, дорогой Артем Петрович. Я глубоко уважаю вас как ученого. Ваш букварь на чукотском языке не имеет цены.

— Несовершенный еще букварь, очень несовершенный. Работаю над новым.

В кабинет вошел Чугунов. Был он в прекраснейшем расположении духа, какой-то размашистый, экзотичный в своих меховых одеждах: унты из собачьей шкуры, меховые штаны, кухлянка, огромный волчий малахай.

— Удивительные детишки! Боролся сейчас с ними. Облепили, как муравьи.— Сняв малахай и кухлянку, Чугунов швырнул их в угол на стулья, уселся в кресло.— Порядок у тебя, Артем Петрович, отменный. В интернате чистота, в школе — как во дворце...

Величко сощурил большие, чуть навыкате глаза, изящным жестом мизинца сбил пепел с папиросы, спросил с легкой насмешкой:

— Часто ли вам, товарищ Чугунов, приходилось встречаться с просветительными учреждениями, так сказать, в деловом контакте?

— Ну и заноза ты, Игорь Семенович. Понимаю, на что намекаешь. Работал завхозом в семилетке. Устраивает тебя?

— Солидно. Весьма солидно.

Величко расхохотался, да так добродушно, что и Чугунов не выдержал, рассмеялся в ответ.

— Вот это другой разговор, когда по-человечески... картина сразу, понимаешь ли, проясняется.

— Продолжим работу. Прошу вас, Степан Степанович, настроиться на подобающий лад. Вы член комиссии...

Чугунов посерьезнел, подтянулся.

— Я не хотел бы акцентировать внимание на одном весьма щепетильном вопросе.— Величко полистал бумаги, что-то подчеркнул в одной из них.— Но все-таки кое-что уточнить надо. Как вышло, что вы, Артем Петрович, отказались... м-м... похоронить школьницу?

Глаза Медведева набрякли тоскою и обидой. Долго сидел он молча, горестно-задумчивый, наглухо замкнутый в себя. Наконец ответил из какой-то непомерной дали глубокого отчуждения:

— Она похоронена.

— Кем?

— Ее отцом.

— Как похоронена?

— По чукотским обычаям.

— С шаманскими плясками?

— Шаманы на похоронах не пляшут.

— Извините, я не такой тонкий знаток чукотских обычаев, как вы. Однако не кажется ли вам, что вы совершили какую-то непростительную...— Величко поискал подходящее слово.— Непростительное...

— Преступление,— подсказал Артем Петрович.

— Зачем вы так... я говорю о недопонимании. Ну, могли же вы, с вашим знанием языка, с вашим подходом, убедить родителей... склонить, так сказать, к иной обрядности...

— Не мог! Не мог я мановением волшебной палочки заставить их принять иные обычаи, отказаться от своих складывавшихся не один век ..

— Не знаю, насколько все это убедительно. Невольно приходит мысль, что вы пошли на поводу людей, которые находятся в плену диких суеверий, мало того, на поводу шаманских элементов. В районе наслышаны о шамане Пойгине...

— Ты вот что, Игорь Семенович, поменьше слушай, что болтают об этом самом Пойгине. Ты лучше меня расспроси.— Чугунов постучал себя в грудь.— Уж кто-кто, а я его знаю.

— Я всякое слышал о нем. И хорошее тоже. У нас там два инструктора так о нем заспорили, что хоть водой разливай. Ну а раз нет единого мнения... значит, есть о чем задуматься...

— Мы сюда и приехали, чтобы крепко задумываться,— примирительно сказал Артем Петрович.— Здесь особенно, прежде чем раз отрезать, надо семь раз отмерить...

— Что ж, разберемся. Ваша осторожность мне могла бы и понравиться, если бы не тревожные симптомы. Кое-что, скажем прямо, у вас тут похоже на отступление. Но это же культбаза! Слово-то какое! Наша задача — наступать, наступать! Ну, вот давайте попробуем оценить ваши первые шаги. Конкретно...

— Пожалуйста. Мы уже знаем людей обширного района тундры и берега. Не в полной мере, конечно, но уже знаем тех, на кого можно опереться. Культбаза построена с расчетом, что здесь рядом возникнет полярная станция, даже аэропорт. Прекрасное географическое расположение. Бухта, устье реки. До недавнего времени тут стояла одна яранга анкалина Ятчоля. Теперь несколько береговых стойбищ передвинулось к нам. Образовывается центр. Дня не проходит, чтобы сюда не приезжали гости из самых дальних мест. И каждого мы привечаем именно как гостя культбазы. Не всем сразу понятно, кто мы и что мы. Но люди задумываются. В сознании их происходит очень важная работа. Наши медработники побывали во многих поселениях, пытаются понять причины заболеваний...

— Да, да, мне уже докладывал Шульгин. По его мнению, больница ваша... Впрочем, не будем торопиться с выводами. Слишком многое перечеркивает этот прискорбный случай...

— Ах ты ж, господи боже мой. Как можно перечеркнуть подвижническую работу врачей по той лишь причине, что...— Медведев не договорил, отвернулся.

— Мы не в ту сторону смотрим, товарищ председатель комиссии,— сердито сказал Чугунов.— Вот если бы обнаружилась халатность врачей или там, понимаешь ли, неумение какое... А то ведь Шульгин о врачах прекрасные слова говорит...

— Да, да, все это верно,— Величко помолчал, посмотрел на часы.— Я приглашал на двенадцать ноль-ноль Журавлева.

— Будет, будет Журавлев минута в минуту,— пообещал Артем Петрович и тоже посмотрел на часы.

Александр Васильевич явился минута в минуту. Однако отвечал на вопросы Величко вяло, однозначно, хотя перед на-

чалом работы комиссии он заявил Медведеву, что разногласий своих с ним скрывать не собирается, выскажет все, что считает нужным.

— Что же вы так пассивны?— сказал Величко, разглядывая Журавлева с некоторой досадой.— Или вас не волнует, что детишек забирают из школы?

— Волнует. Так же волнует, как и всех, и прежде всего начальника культбазы... Но мы верим, что завтра дети вернутся. И вот именно те, возвращенные, нам станут еще дороже, потому что...

— Ну, ну, развивайте вашу мысль!

— Я ее разовью, когда дети вернутся.

— Вот это будет вернее, потому что желаемое не всегда становится действительным. Ну а теперь расскажите, как это было, когда чукчи перед больницей схватились за ножи...

Журавлев удивленно посмотрел на Медведева и сказал:

— Что-то я не припомню такого случая...

— Напрасно, напрасно утаиваете...— Величко не просто погасил, а раздавил окурок в пепельнице.— Ведь вы же, Александр Васильевич, проявили немалое мужество. Мне обо всем рассказала медсестра...

Журавлев засмеялся, вытащил трубку, пососал, не решаясь раскурить ее в кабинете начальника культбазы.

— Медсестра — милая женщина, готова романтизировать здесь каждого из нас. Особенно почему-то меня. Наверное, потому, что курю трубку. Она, конечно, сильно все преувеличила...

— Ну что ж, Александр Васильевич, вы пока свободны. Занимайтесь своим делом.

Когда Журавлев ушел, Величко довольно улыбнулся:

— Как вам это нравится? Его, видите ли, излишне романтизируют. Симпатичный малый. Другой бы действительно... героем ходил, никак не меньше. Трубку-то изо рта, поди, не вынимает, полярный волк!

— Прекрасный учитель,— сдержанно сказал Медведев.

Величко сладко потянулся, нисколько не заботясь, что теряет свой начальнический вид, и промолвил мечтательно:

— Хорошо бы вечерком сыграть в преферанс. А? Как вы смотрите на эту идею, граждане северяне?

— Что ж, приходите вечером в гости,— после некоторого раздумья откликнулся Артем Петрович.— Если, разумеется, не сочтете, что я задабриваю комиссию...

— Нас не задобришь!— многозначительно сказал Величко, собирая в папку бумаги.

На пятый день работы комиссии на культбазу приехали чукчи из тундры, требуя, чтобы им отдали детей. На этот раз школа должна была расстаться сразу с тремя учениками. Встречал чукчей вместе с начальником культбазы и Величко. Зная десяток чукотских слов, он старался выказать полнейшее радушие гостям и был искренне раздосадован, когда понял, что гости отвечают ему ничем не пробиваемым бесстрастием.

Среди приехавших был и Майна-Воопка.

— Мы должны забрать своих детей,— внешне спокойно сказал он.

— Сначала надо попить чаю с дороги,— предложил Артем Петрович, вдруг почувствовав себя необычайно сиротливо на этой холодной, снежной земле. «Ах ты ж, страна Беломедведия... какие ты еще преподнесешь нам сюрпризы?»

— Мы хотим видеть наших детей!— уже тоном ультиматума сказал Майна-Воопка.

— Сейчас вы их увидите. Почему вы хотите их забрать?

— Им надо учиться понимать оленей.

— А не потому, что вас кто-то пугает бедою? Доходили до меня вести, что очень уж старается черный шаман Вапыскат.

Спутник Майна-Воопки, сухой старичок, закивал головой, охотно подтверждая:

— Да, Вапыскат всегда пугает. Он предрек Омрыкаю смерть...

— Омрыкай — мой сын,— сказал Майна-Воопка, блуждая тоскливым взглядом по снежной поляне у школы, где возились ребятишки.— Я не очень верю черному шаману, больше хочется верить Пойгину... Этот человек предрек моему сыну жизнь... Но как знать, какой из шаманов окажется прав?

— О чем они толкуют?— слегка приплясывая, чтобы согреть ноги, спросил Величко.— Если они приехали за детьми — это уже скандал. Большой скандал. Поверьте, я не хотел бы, чтобы в нашем акте... Очень прошу вас, сделайте все возможное, чтобы родители успокоились и оставили детей.

Медведев чувствовал, что Величко говорит искренне. «Что ж, его можно понять. Но кто поймет меня?»

— Идемте пить чай,— пригласил чукчей Медведев.— Там и поговорите с вашими детьми.

— У меня внук, внучек,— уточнил старичок.

За чаем в комнате для гостей Майна-Воопка разглядывал Медведева со скрытым любопытством, на вопросы отвечал осторожно, но постепенно разговорился.

— Не сказал ли Пойгин, когда приедет ко мне?

— Ты не очень жди его...

— Почему?

— Неизвестно, чем кончатся его думы о тебе к началу восхождения солнца. Берегись, если его пригонит сюда ветер ярости...

— Ты боишься за меня или за него?

— Я не хочу, чтобы такой добрый человек, как Пойгин, совершил от ярости зло. Вапыскат перестанет закрывать рот от хохота... Я не хочу, чтобы радовался черный шаман. Радость черного шамана страшнее всякой печали.

Артем Петрович слушал Майна-Воопку с подчеркнутым уважением и надеждой, что судьба, возможно, послала ему союзника.

— Твои слова достойны самого серьезного внимания. Я рад, что повстречался с человеком такого рассудка.

— Рассудок есть у него, это диво просто, какой рассудок!— закивал седовласой головой старичок. Сморщенное личико его излучало важность и гордость.— Да будет известно тебе, что этот умный человек мой племянник.

Майна-Воопка застенчиво улыбнулся, кинув смущенный взгляд на старичка, и, видимо боясь размягчиться, нарочито строго сказал:

— Мы хотим видеть наших детей.

— Я уже сказал помощникам, чтобы их послали сюда.

Майна-Воопка снова наполнил чашку чаем, покосился на Медведева и вдруг спросил:

— Не можешь ли ты показать нам свою грудь, живот и спину?

Артем Петрович медленно поставил чашку на стол.

— Могу показать. Но зачем?

— Вапыскат наслал на тебя порчу. По срокам, ты уже должен быть весь в язвах.

— Ну, ну, я так и подумал.— Медведев, стараясь скрыть улыбку, снял гимнастерку, нижнюю рубашку.— Вот, смотрите, на мне никаких болячек...

Чукчи внимательно осмотрели Рыжебородого, старичок дотронулся до волосатой груди.

— Тебе, я вижу, можно ходить совсем без одежды,— пошутил он,— никогда не видел такого волосатого человека.— И после некоторого раздумья добавил:— Что ж, Вапыскат оказался бессильным. Так и скажем всем. Я сам скажу ему об этом в лицо.

— Вапыскат оказался еще и лжецом.— Артем Петрович

подлил в чашку старика чаю.— Он боится культбазы. Он боится перемен...

— Да, о переменах говорят все люди тундры,— подтвердил Майна-Воопка.— Ваныскат пугает тем, что, возможно, сдвинулась сама Элькэп-енэр. Раньше никогда со стороны моря ничего не приходило дурного, говорит он, а теперь все переменилось. Со стороны моря веет бедой...

— Ну а как думаешь ты?

— Пока просто думаю. Жду. Хотя каждому ясно... если из стойбищ анкалит прогнали видение смерти, то, значит, со стороны моря веет не запахом смерти, а дымом живых очагов. И надо бы черному шаману как следует понюхать этот дым и прикусить язык.

— Так заставьте его прикусить язык!

— Заставим.— Майна-Воопка снова наполнил чашку чаем, покосился на Медведева.— Ты не удивляйся, что я сердито говорю о черном шамане. Его ненавидел мой отец, ненавижу и я... Ваныскат задушил шкурой черной собаки моего старшего брата...

— Да, задушил,— подтвердил старичок.— И сказал, что его задушили духи луны за непочтительное к ней отношение. Давно это было. Перед тем как уехать на праздник в долину Золотого камня, Ваныскат этой шкурой едва не задушил Пойгина...

Артем Петрович от изумления не донес блюдце с чаем до рта.

— Почему же тогда ты боишься, что ветер ярости приведет сюда Пойгина моим врагом?

— Он пережил выскэвык[1]. Это страшно, когда такой человек переживает выскэвык. У него душа намного обширней, чем надо одному человеку. На озере волна скоро проходит, а на море, сам знаешь, как долго не утихает буря.

— Да. Я тебя понимаю. Передай Пойгину, что я хочу, чтобы мороз непонимания ушел и подул теплый ветер доверия. Хочу, чтобы мы были друзьями. Сейчас придут к вам ваши дети. Говорите с ними, сколько вам будет необходимо...

В глубокой задумчивости вошел Медведев в свой кабинет. Не слишком ли рискованно было оставлять гостей один на один с их детьми? Мало ли по какому руслу пойдет их беседа. Не захлестнет ли детские души радость встречи с родными людьми настолько, что в них не останется ничего другого, кроме желания поскорее уехать домой? Проявят ли взрослые

[1] Выскэвык — разочарование.

столько терпения и мудрости, чтобы самим не утонуть в радости встречи и тоске по детям? Не лучше ли было бы присутствовать при этом свидании и осторожно, исподволь, направлять его ход?

Артем Петрович сел в глубокое кресло у стола, не включив свет; ему хотелось побыть одному, дожидаясь исхода встречи трех школьников с их отцами и дедом. Да, он понимал, что это своего рода испытание. На что он надеется? Ну, прежде всего на детскую непосредственность, на то, что славные эти детишки не смогут не высказать всего, чем они здесь удивлены, захвачены, в конце концов, по-человечески согреты. Они в состоянии объяснить куда больше встревоженным их родителям, чем кто-либо другой. Рановато надеяться на такой исход? Может быть, может быть... И все-таки, все-таки пусть будет так, как он решил; в конце концов, пусть гости из тундры почувствуют, что у него нет от них никаких тайн...

В кабинет вошли Величко, Чугунов и Журавлев.

— Что это вы впотьмах?— спросил Величко, нащупывая выключатель.— Кстати замечу, движок ваш работает отменно. Мы у себя больше на керосиновые лампы надеемся.

Медведеву очень не хотелось вступать в разговор. Сидел он все в той же задумчивой позе, устало полуприкрыв веки.

— Не больны ли вы, Артем Петрович?— участливо спросил Журавлев.

— Спасибо, Саша, креплюсь.

Все ждали, что скажет Медведев еще: неужели чукчи все-таки заберут своих детей?

— Простите, Артем Петрович, но нервы мои не выдерживают,— чистосердечно признался Журавлев.— Если чукчи будут забирать детей... я лягу перед их оленями — пусть переезжают через меня...

Медведев неожиданно улыбнулся:

— Такого метода мы еще не испытывали.

Величко, стараясь не нагнетать тревоги, спросил шутливо:

— Чем же все-таки закончились ваши переговоры с послами матушки-тундры?

— Они еще не кончились.

— Кто же их ведет?

— Временные поверенные этой самой матушки, аккредитованные в нашем культбазовском граде,— попытался ответить шуткой Артем Петрович.

— То есть?

— Ну, разрешил детишкам побыть один на один с родителями...

Журавлев хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой и отвернулся к окошку.

— Что ж, пусть поговорят,— сочувственно сказал Чугунов.— Пусть отведут свою душу с детишками. Да, да, Артем Петрович знает, что делает...

— Будем надеяться,— суховато ответил Величко и добавил, явно стараясь подбодрить начальника культбазы:— Да, сложна жизнь за Полярным кругом. Впрочем, никто из нас на легкий пух вместо жесткого снега и не надеялся.

Медведев поднял голову, внимательно всмотрелся в Величко, и в уставших, воспаленных глазах его засветилась благодарность.

— Ну а если они потребуют детей... неужели и на этот раз отдадим?— спросил Журавлев с каким-то тоскливым, просительным видом: дескать, умоляю вас не делать этого.

— Как бы там ни было, разрешаю, Александр Васильевич, закурить трубку!— шутливо воскликнул Медведев.

— Да, да, закури трубку,— подыграл Медведеву Величко.

Журавлев хотел сказать что-то запальчивое, но на пороге показался Майна-Воопка; уже по его виду можно было понять, что он мало чем обрадует собравшихся.

— Мы увозим детей. Может, вернем их в первый день восхождения солнца.

Это был удар. Журавлев застонал и снова отвернулся к окошку. А Медведев даже не шевельнулся, как бы стараясь не расплескать остатки сил.

— Ты сказал «может, вернем...». Но, может, и не вернете?— спросил он гостя.

— Не знаю. Пусть попасут оленей, побудут с нами. Надо приглядеться, какими стали они. Вапыскат говорит, что вы испортили им рассудок. Я ему не верю. Но надо все-таки приглядеться. Я дал бы тебе слово, что привезем детей точно в день восхождения солнца, но хочу сначала услышать слово Пойгина. Если он согласится — дети будут снова у вас.

— Так ли уж охотно покидает твой сын школу?

— О, нет, нет. Заплакал даже. Но и обрадовался, что увидит мать, оленей. Должен сказать тебе правду... дети любят тебя. Они рады тому, что постигают тайну немоговорящих вестей. Они говорят, что хотят жить здесь, только очень скучают по дому и по оленям...

Наконец Артем Петрович мог выпрямиться и вздохнуть полной грудью. Произошло самое главное: надежда его оправ-

далась — детские сердца сказали свое. Им есть, есть что сказать! И пусть едут эти детишки в тундру именно сейчас, а не в каникулы, пусть едут немедленно. Пусть и там выскажут то, что услышал от них вот этот думающий, умный человек Майна-Воопка — то есть Большой лось. И даже если их в этом году в школу не пустят — не беда! Это лишь для формалиста может показаться, что происходит едва ли не катастрофа. Катастрофы никакой нет, есть победа. Родилось в детских душах свое доброе представление о школе, об учителях, о врачах. Доброе представление! Может, этого мало? Нет, черт побери, много, достаточно много на сегодняшний день. Интересно, поймет ли это Величко? Чугунов — тот поймет, все поймет...

Когда Медведев объяснил, что произошло, все долго молчали. Артем Петрович жестом попросил Майна-Воопку присесть. Тот, чувствуя напряженную тишину, осторожно опустился на краешек стула.

Величко прошелся по кабинету, разглядывая в глубокой задумчивости свои роскошные, расшитые замысловатыми узорами торбаса, наконец сказал:

— Да, сложна, сложна жизнь в Заполярье. Возможно, что вы и правы... развала школы нет, есть становление советской школы за Полярным кругом. И я, кажется, на вашей стороне, Артем Петрович. Но...— Величко вскинул палец, повторил еще выразительней:— Но! Убежден, что в районе найдутся люди, которые будут думать иначе. Возможно, из наблюдений комиссии они сделают совершенно иные выводы...

Медведев тяжело подпирал большими руками кудлатую голову. Было заметно, что он в чем-то с огромным трудом одолевает себя. И все-таки не одолел.

— «Но!» Вот это проклятое «но». Знаю, знаю, что найдутся Фомки деревянные... Им все подай на блюдечке с каемочкой, сотворенной по трафарету. «Родители заставили детей покинуть школу до каникул,— подражая кому-то нудному, скрипучим голосом произнес Артем Петрович.— Неизвестно, вернутся ли ученики вообще. Ваш риск, товарищ Медведев, неоправдан, поскольку это самое настоящее слюнтяйство, а не риск. Надо было не допустить! Надо было предотвратить! Надо воспитательную работу среди чукотских масс вести на должной высоте». Господи, и сколько еще вот таких заклинаний у Фомки деревянного...

— Вы кого, собственно, имеете в виду?— настороженно спросил Величко.

— Формалистов, Игорь Семенович, формалистов. Именно

их я так величаю... Фомками деревянными. Да, я знаю, в районе кое-кто дела на культбазе увидит в самом мрачном свете... Не буду называть фамилий. Кое с кем столкнулся еще в Хабаровске, когда нас направляли сюда. Уже слышу их голоса. Не оправдал. Растерялся. Пошел на поводу. Проявил мягкотелость. Отступил от твердой линии по осуществлению всеобуча...

— А знаешь, товарищ Величко, я, пожалуй, еще раз перечитаю акт,— вдруг заявил Чугунов, подвигаясь к столу.— Мне кажется, что он составлен, понимаешь ли, и так, и этак.

— То есть?— Величко оскорбленно потупился и снова вскинул глаза.— Не очень-то вы, по-моему, деликатно выразились...

— На кой черт мне эта деликатность, если я не совсем уверен в принципиальности заключения? Нам надо четко сформулировать наше мнение. Однако вот того самого, чтобы, значит, четко... я, кажется, в акте и не совсем почувствовал. Фактик, понимаешь ли, можно повернуть и туда, и сюда.

— Фактик,— иронично повторил Медведев и зачем-то вынес стул на середину кабинета, развернул его, сел, как в седло.— Фомка деревянный любой факт проглатывает с ходу, как живого поросенка. Но ждет при этом поросенка зажаренного, с гарниром, на блюде. Ну и, разумеется, раздражен — не то! И приключается у него несварение... несварение факта. Вот и в данном случае, возможно, кое у кого разболится живот. И тогда последуют заявления, что Медведев-де все пустил на самотек, что хозяева положения не работники культбазы, а местные сомнительные элементы. Вот как может завизжать этот живой поросенок, проглоченный Фомкой...

Величко все еще никак не мог прийти в себя после заявления Чугунова. Где-то в глубине души Игорь Семенович ловил себя на том, что этот грубоватый усач в чем-то прав: акт действительно составлен таким образом, что если дела повернутся для Медведева круто... Впрочем, чушь, чушь все это! Акт объективный. И он, Величко, в конце концов выскажет свою личную точку зрения... И что это Медведева потянуло на философию? Есть, есть в нем этакое... любит поумничать. Не всем это нравится. Ишь какой актер, даже стул на середину кабинета выставил, в подмостках нуждается... Стараясь ничем не обнаружить свои мысли, вслух Величко сказал:

— Ну что вы, Артем Петрович, на себя накликаете? Ну, кто-нибудь и скажет нечто подобное. Что ж, постараемся возразить, прольем соответствующий свет.

— Да я в принципе! Такой вот непереваренный поросенок, неосмысленный факт в конце концов превращается в ту злополучную свинью, которую подкладывают под настоящее дело...

Величко рассмеялся: он умел ценить острое слово!

— Бывает, бывает. Вы, оказывается, человек с перчиком. Ей-богу, здорово сказали!

Похвала Величко почему-то покоробила Артема Петровича.

— Я уж давно слежу за Фомкой деревянным. И у меня есть на этот счет весьма определенное мнение. Опасный тип. Ведь формализм... категория, в сущности, глубоко безнравственная... Во-первых, формализм — это бессовестный обман. Да, да, обман, потому как Фомка деревянный выдает свое равнодушие за кипучую деятельность. Будучи совершенно беспомощным, Фомка деревянный пытается внушить, что он страсть какой деятельный. Это, видите ли, на нем, и только на нем, все держится. Но на нем ни черта не держится! Дело, за которое он берется, потом заново переделывают другие люди. А Фомка деревянный, будучи кипучим бездельником, лишь пускает пыль в глаза. Он паразитирует на трепетной сути острейших проблем, тогда как сам никогда их не решал, а тем более... заметьте... тем более никогда не предвосхищал. Однако в этом и суть живой личности... суть в том, чтобы вовремя почувствовать, как надвигается порой штормовым валом острейшая жизненная проблема...

— Хорошо, хорошо заштормил, Артем Петрович! — воскликнул Чугунов, чувствуя, как ему передается возбуждение Медведева.

— Да, да, Фомка деревянный — нахальнейший иждивенец. Он живет чужим умом. Он не терпит истинного ума, но плоды его, плоды успешно решенного дела, он приписывает себе, и только себе. А у самого-то умишко инертный, ленивый, ни одной собственной мысли. Он никогда не размышляет, он не хочет и не может разобраться ни в одном деле, не в состоянии докопаться до истинной сути вещей. Многозначный взгляд он называет вредной путаницей и подозрительным туманом. Ему подай ясность одномерности, простой и плоской, как крышка табуретки.

Артем Петрович поднялся со стула, яростно постучал по его сиденью. Вытер платком разгоряченное свирепое лицо, снова оседлал стул.

— Но какая же это, к черту, ясность? Это слепота! При такой, с позволения сказать, ясности все сводится к полному непониманию реальной жизненной обстановки. Фомка дере-

вянный не в состоянии постигнуть вещи такими, какие они есть. Ему подай эти вещи такими, какими он хотел бы их видеть. Да и сам... сам рисует обстановку, информируя верха по этому же подлому правилу, как в той веселенькой песенке: «Все хорошо, прекрасная маркиза...» Он не способен осмыслить истоки ошибок, недочетов, бед. Попробуй при такой ясности увидеть завтрашний день! Далеко ли увидишь? Дальше собственного носа не увидишь ни бельмеса! Но жизнь есть жизнь. Она полна неожиданностей. Особенно наша жизнь, где все ново, где все — величайший исторический эксперимент. Да, жизнь наша порой задает такие задачи — черепа трещат! Высшей математики мало, чтобы решить иные задачи — свои математические законы открывай. А тут подступаются с простейшим арифметическим правилом и радуются, что все совпадает: дважды два — четыре. Ответ сходится! Дудки! Ни черта не сходится! Но попробуй скажи Фомке деревянному, что ответ не сходится, что дважды два не всегда четыре,— всех дохлых кошек на тебя навешает. Он тебе ни за что не простит, что ты не желаешь... не можешь сбиваться на примитив. Но когда, когда, я вас спрашиваю, истинный ум мирился с примитивом? А совесть, а честь? Это же не чижик-пыжик, где ты был, это симфония. Твой ум, твоя честь, твоя совесть не могут себя проявить, если ты не способен оценить вещи многозначно. Не могут! Иначе, к примеру, тот же Пойгин, честнейший человек, вдруг может показаться вредным и даже преступным элементом. Какой уж тут, к черту, ум!..

— Ну, положим, Пойгин — это не тот пример, чтобы им подкреплять такие глубокие обобщения,— как бы мимоходом, вскользь, кинул Величко.

Медведев на какое-то мгновение сбился с мысли, словно споткнулся, и продолжил еще злее, не отозвавшись на реплику Величко:

— Фомка деревянный любит демагогически обвинять других в демагогии. В этом он, шельмец, непревзойден. Так осадит, особенно подчиненного! Так пристукнет по столу своей, как он полагает, твердой рукой! А рука-то у него деревянная, а не твердая. Это огромная разница...

— Да, это, конечно, разница,— согласился Величко, как бы стараясь внушить, что уж он-то к такого рода людям, у которых рука деревянная, не имеет никакого отношения.

— У Фомки деревянного никогда не было и не может быть истинных убеждений, истинной веры. У него лишь игра в убеждения, в глубокую веру. Истинная убежденность делает

человека бесстрашным, самозабвенным. Для него превыше всего забота о государственных интересах. Он никогда не втягивает голову в плечи. А у пресловутого Фомки деревянного... у него не отвага, нет, у него карьеристская прыть! У него главное не голова, а его, извините, задница, вельможно восседающая в кресле. Для него именно служебное кресло дороже всего. Вот почему он никогда и ни за что не отступит от трафарета. А почему? По-че-му? Да потому, что, как только он выйдет из этих рамок... тут же обнаружит свое ничтожество. Формализм — это торжество дешевого, казенного оптимизма. Но зачем, зачем нам... вот ответь ты, Степан Степанович, зачем нам этот проклятый казенный оптимизм, если за нами сама душа истории, или, как говорят, ис-то-ри-чес-кий оптимизм?

— Да уж нам щекотать самих себя под мышками для бодрого смеха вроде бы незачем,— сказал Чугунов, явно польщенный тем, что Медведев обратился именно к нему.— Однако Фомка этот... ну и прозвище дал... Фомка так себя щекочет — аж щепки летят.

— Именно сам себя щекочет. Вот почему Фомка деревянный с его казенным оптимизмом не заряжает людей энергией, а наоборот... расхолаживает. Он даже способен породить разочарование, неверие... Выходит, этот Фомка далеко не безобидный еще и потому, что он способен компрометировать наше святое дело... И вспомните, вспомните, еще Ильич предупреждал, насколько формализм противопоказан нашему делу. Почитайте как следует!— Медведев как-то сразу обмяк, расслабился, будто после тяжкой работы.— Все! Черт знает, прорвало почему-то... Хотелось, видно, на ком-то зло сорвать, вот и набросился на несчастного Фомку. Вы уж меня извините...

— Помилуйте, Артем Петрович, за что же вас извинять!— воскликнул Величко великодушно, как бы желая показать: он вполне одобряет завидную трепку, устроенную Фомке деревянному. И было в этом проявлении великодушия чуть-чуть чего-то лишку, что почувствовал и сам Игорь Семенович и потому в глубине души подумал неприязненно: «И что я под него подлаживаюсь? Ну, есть в его рассуждениях кое-какие мысли, все это не просто краснобайство, однако зачем уж так перед ним заискивать?»

— Конечно, не надо себе представлять, что Фомка деревянный народился только-только что,— продолжал Медведев уже спокойно,— э, не-е-ет, это далеко не младенец. У него обомшелая борода. Его, наверное, знали еще во времена Рим-

ской империи. Но истина в том, что мы, и только мы, способны пустить его на дрова, больше некому.

Чугунов в знак подтверждения важности вывода, сделанного Медведевым, поднял обе руки и резко опустил с придыханием, будто раскалывая чурбан.

— Расколошматим! Даже такого, что весь в сучках. Аж смола брызнет!

Величко рассмеялся и опять в душе разозлился, что никак не может найти нужную меру в общении с этими двумя полярными медведями. И как бы стараясь все-таки достигнуть желаемого, строго прокашлялся и сказал:

— Завтра я уезжаю. Надо, Артем Петрович, собрать учителей. Я хочу потолковать уже по сугубо нашим профессиональным делам.— Посмотрел на часы.— Хорошо бы в шестнадцать ноль-ноль.

— Я соберу, Игорь Семенович,— не столько с почтением, сколько с подчеркнутой корректностью ответил Медведев.

— Ну а что касается актика, то я его почитаю еще раз, иначе не подпишу,— упрямо повторил Чугунов.

— Ну, ну, пожалуйста,— с легким отчуждением и с чувством подчеркнутого достоинства согласился Величко.— Вот он, читайте...

13

Стойбище Майна-Воопки состояло всего из пяти яранг таких же небогатых чавчыват, как и он сам. Каждой семье принадлежало не больше шестидесяти голов оленей. Это было очень дружное стойбище, которое старалось никому не давать себя в обиду.

Подъезжал Майна-Воопка с сынишкой к собственному очагу на третьи сутки; спутники его, с которыми он выехал из культбазы, свернули на свои кочевые тракты сутками раньше.

— Ну, не совсем еще замерз?— спросил Майна-Воопка, чувствуя, что сынишка у него за спиной начинает клевать носом.

Омрыкай стряхнул с себя оцепенение сна и стужи, вгляделся в мерцающий зелеными искрами подлунный мир тундры и хотел было сказать, что путь их, наверное, не имеет конца, как вдруг возбужденно воскликнул:

— Я чувствую дым! Я чувствую запах стойбища[1].

— То-то же!— усмешливо ответил отец.— Я думал, что

[1] У чукчей чрезвычайно развито обоняние.

ты разучился понимать запахи. Вы там, говорят, все перепутали... глазами слышите, ушами видите, а что с носом вашим происходит — не знаю...

— Неправда это, отец! — весело выкрикнул Омрыкай и, соскочив с нарты, побежал рядом.

Чуя близкое стойбище, прибавили бегу и собаки. Однако Майна-Воопка вдруг остановил упряжку, принялся неторопливо раскуривать трубку. Омрыкай в душе подосадовал: зачем отец медлит, когда так не терпится поскорее увидеть маму? Но вот мальчишка насторожился, потом нетерпеливо развязал ремешки малахая, обнажил ухо и закричал:

— Стадо! Я слышу стадо! Вон в той стороне пасутся олени!

— То-то же! — опять воскликнул Майна-Воопка, радуясь, что сын выдержал еще одно испытание.— Значит, уши у тебя как уши...

Отец улыбался, сладко затягиваясь из трубки, а Омрыкай все слушал и слушал, как шумит оленье стадо. Оно было далеко, скрытое густой мглой подлунной изморози; мгла образовывалась от дыхания оленей и пыли взбитого снега. Оттуда доносилось оленье хорканье, сухой перестук рогов, перезвон колокольчиков, подвешенных к шеям вожаков. Мальчику казалось, что он различает звон колокольчика, который сам когда-то подвешивал к шее огромного быка-чимнэ. О, это диво просто — слушать в морозной ночи далекий-далекий колокольчик. Омрыкаю чудится, что это звенят копытца его любимого кэюкая[1] Чернохвостика, о котором он очень тосковал там, в школе.

Однажды Надежда Сергеевна сказала ему на уроке: «Ты, кажется, в мыслях не здесь, ушел куда-то».— «Ушел в свое стойбище».— «Тоскуешь?» — «Как не тосковать, стадо оставил совсем без присмотра, боюсь, не напали бы волки на моего кэюкая». Класс рассмеялся. Заулыбалась и Надежда Сергеевна. «Расскажи нам про своего кэюкая»,— попросила она, прерывая урок арифметики. Омрыкай долго смотрел в потолок и наконец сказал: «Родился он существом иного вида[2]. Весь-весь, как снег, белый, а хвост черный. Я и назвал его Чернохвостиком. Очень быстрый кэюкай. Когда вырастет, я буду брать все самые главные призы на гонках. Только, наверное, не доживет он до той поры. Оленей иного вида чаще

---

[1] Кэюкай — теленок.

[2] Так чукчи называют животных необычной масти или же уродцев.

всего приносят в жертву духам...» Да, то была неутолимая тоска маленького оленного человека, который «оставил стадо без присмотра», по привычной жизни.

И вот Омрыкай наконец едет домой. Завтра он увидит своего Чернохвостика. Вон там, где клубится мгла, пасется олененок. Это же близко, совсем близко! Пасется Чернохвостик и не подозревает, что хозяин его где-то уже совсем рядом. Плывет и плывет в морозном воздухе звон колокольчика, подвешенного к шее вожака стада. Может, и Чернохвостик станет когда-нибудь вожаком, если не принесут его в жертву злым духам. А что, если его уже закололи? Об этом жутко подумать. Не один раз просыпался Омрыкай в интернате в холодном поту от мысли, что Чернохвостика уже нет. Звенит вдали колокольчик. И странно, Омрыкаю отчетливо представляется и этот колокольчик, и школьный звонок. И то и другое уже для него неразделимо. Все громче звенят колокольчик и школьный звонок. Звенят рога оленей, звенит снежный наст под их копытами, копытца Чернохвостика тоже звенят. Даже стылые звезды сверху отвечают тихим звоном. И далеко-далеко едва заметно проглядывает в морозной мгле улыбающееся лицо Надежды Сергеевны; высоко подняла над головой учительница серебряный звоночек и зовет, зовет Омрыкая неумолчным звоном к себе, улыбается, беззвучно шевелит губами.

— Ты что, неужто уснул? — доносится голос отца.

Омрыкай очнулся, с трудом понял, о чем спрашивает отец.

— Да нет, не сплю я, колокольчик слушаю. В школе у нас тоже есть почти такой же...

— К шеям подвешивают вам?

— Да нет. Что мы — олени?

И опять замер Омрыкай, вслушиваясь в далекий шум стада. И вдруг звон колокольчика вошел в его сердце как-то совсем по-иному, какой-то пронзительно острой иглой: что, если и вправду Чернохвостика уже нет в живых? Всю дорогу спрашивал Омрыкай про белоснежного олененка, и отец неизменно отвечал с загадочным видом: «Сам все скоро увидишь. Может, и не увидишь. Ты теперь, наверное, зайца от оленя отличить не сможешь». Почему он так отвечал? Решил, что сын его отвык от жизни обыкновенного оленного человека? Или не хочет пока сознаваться, что белоснежный олененок принесен в жертву злым духам?

Майна-Воопка, внимательно наблюдавший за сыном, уловил перемену в его настроении, догадался, о чем он думает:

— Жив, жив твой Чернохвостик! — сказал он с великоду-

шием, которому не давал прорваться за весь долгий путь.— Только он уже не кэюкай, а настоящий пээчвак[1], может, завтра ты и не узнаешь его.

Омрыкай засмеялся от счастья. Какой у него хороший отец, угадал его мысли! Чернохвостик жив! И завтра Омрыкай увидит его. Конечно же, он узнает олененка, и отец верит в это, он просто шутит.

— Раскопай снег и посмотри, какое здесь пастбище,— сказал отец, усаживаясь поудобнее на нарте.

Омрыкай вытащил из-за пояса тяжелый тиуйгин из оленьих рогов, отошел от нарты, крайне польщенный, и вдруг смутился: что, если он оскандалится? Поразмыслив немного с видом солидным и сдержанным, он все-таки не выдержал, помальчишески заторопился, усердно разгреб снег сначала ногами, потом тиуйгином. Добравшись до земли, встал на колени, сбросил рукавицы. Мерзлая земля тускло серебрилась при лунном свете лапками густого ваатапа — оленьего мха. Да, это, кажется, было прекрасное пастбище. Но нельзя торопиться с ответом, надо посмотреть, что скрыто под снегом, еще в нескольких местах. Да, и во второй, и в третьей снежных лунках тундра густо серебрилась оленьим мхом. Омрыкай уже хотел было сказать свое «веское» слово, что пастбищем он вполне доволен, однако вовремя одумался: снег был здесь глубок, с жесткой коркой наста: э, нет, сейчас сюда гнать оленей опасно — порежут ноги.

— Давно ли здесь наделала беды оттепель?— с озабоченным видом спросил Омрыкай и, солидно прокашлявшись, добавил:— Порежут олени ноги. Пожалуй, стадо надо гнать на склоны гор, где ветром сдуло снег.

Майна-Воопка заулыбался, чрезвычайно довольный:

— О, да ты совсем уже пастух — настоящий чавчыв. Ты прав, оленей надо гнать на склоны гор. Садись, поедем...

Но прежде чем тронуть с места нарту, Майна-Воопка протянул сыну трубку в знак признания некоторых его пастушьих достоинств. Омрыкай нерешительно взял трубку и тут же вернул:

— Нельзя, отец. Когда курит малый — в грудь к нему входит немочь. Так нам говорят в школе. Там на куренье наложен запрет...

Майна-Воопка изумленно вскинул заиндевелые брови.

— Запрет, говоришь?— спросил он, пока не зная, как отнестись к словам сына.— А я думаю, почему он так и не покурил ни разу в долгом пути?

[1] Пээчвак — годовалый бычок.

— Да, запрет,— солидно подтвердил Омрыкай.— Когда у меня учительница отобрала трубку, я чуть не заплакал. Ты же знаешь, какая у меня красивая трубка. Потом я и забыл о ней, кашлять меньше стал, голова не кружится...

— Значит, на трубку там запрет,— уже в глубокой задумчивости повторил Майна-Воопка, погоняя собак.— На что еще у вас там запрет?

— На драку запрет, на лживые наговоры, на лень...

— О, и на лень тоже!

— Да, и на лень. Я никогда не ленился. Сколько надо читать — читал, писать — писал. Задачи даже во сне решаю...

— Постой, постой, я ничего не пойму, что такое читал, писал? А задачи — что это такое?

— Я все потом покажу. Я взял с собой тетради, букварь, задачник и даже «Родную речь»...

И опять ничего не понял Майна-Воопка.

— Я видел, что ты совал в свою сумку эти всякие непонятные вещи. Но не таят ли они в себе зло? Может, не следует тащить их в ярангу? Не лучше ли закопать их в снег?

Омрыкай, казалось, даже дышать перестал:

— Что ты, отец! Это просто бумага. Ну, как очень-очень тоненькая шкура. Я буду вам читать букварь и даже «Родную речь». Я лучше всех читаю, потому что у меня большая голова. И очень умная.

— Почему сам о себе так говоришь? Разве на хвастовство у вас нет запрета?

Омрыкай конфузливо потупился и чистосердечно признался:

— Есть и такой запрет. Меня учительница иногда за это стыдит...

— Как она стыдит? Смеется над тобой, бранные слова говорит?

— Нет, она добрая. Очень добрая... И еще я люблю, как пахнут ее руки... Сядет со мной за парту и показывает, как надо писать. Я пишу и чувствую, как пахнут ее руки. И волосы тоже.

— Чудно, очень все это чудно,— дивясь рассказу сына, задумчиво промолвил Майна-Воопка.— И чем же пахнут ее руки, волосы?

— Не смогу объяснить. Добротой, наверное, пахнут, чистотой...

— Вот уж никогда не слышал таких запахов... Ты что, похоже, уже заскучал по той жизни?

— Я и по своей жизни скучаю, по тундре, по своему стойбищу, и теперь по школе тоже...

— Уже? Так скоро скучаешь по школе?

— Немножко.

Майна-Воопка надолго умолк, размышляя над словами сына. Не произошло ли с ним что-нибудь нехорошее, пока он жил там, в стойбище Рыжебородого? На первый взгляд ничего такого не видно. Отказался от трубки? Так это совсем не беда, мудрые старики всегда предупреждают, чтобы не слишком рано и не слишком много баловали детей трубкой. Отказался закопать в снег свои вещи, которых никогда не было в очаге оленных людей? Да, это уже хуже. Неплохо было бы все-таки закопать их в приметном месте в снег, хотя бы до той поры, когда сын опять поедет на берег. Но надо ли его возвращать? Если он, Майна-Воопка, и пообещал, что с первым восхождением солнца привезет сына обратно, то все-таки не без оговорок: еще неизвестно, как посмотрит на это Пойгин.

— Что, если я не пущу тебя на берег?— осторожно спросил Майна-Воопка, не оборачиваясь к сыну.— Ты чавчыв, тебе оленей надо пасти, на берегу тебе нечего делать.

Омрыкай молчал. Очень странно и долго молчал, только все громче и громче сопел.

— Ты плачешь, что ли?— наконец повернулся к сыну Майна-Воопка.

Омрыкай не плакал, но, кажется, готов был заплакать.

— Не пойму я тебя,— угрюмо и в то же время ласково промолвил Майна-Воопка.— Посмотрим, кто ты теперь — настоящий чавчыв или какой-то там анкалин...

Омрыкай и на этот раз промолчал, не зная, что ответить отцу: он не мыслил себя без тундры, без оленей, без родного стойбища, и было страшно предположить, что он больше никогда не сядет за парту в школе.

— Запрет на драку, на лень и на хвастовство — это мне нравится,— как бы только для самого себя сказал Майна-Воопка. И, желая подбодрить сынишку, перевел разговор на другое:— Я аркан тебе сделал, настоящий аркан! Посмотрю завтра, как ты поймаешь своего Чернохвостика.

И опять Омрыкай соскочил с нарты и побежал, чувствуя, как высоко в груди поднимается сердце. Наконец под лунным светом увиделись островерхие шатры яранг. Стойбище стояло на высоком берегу реки. Кто-то еще долбил пешней лед, видимо, обновлял лунку, чтобы набрать воды.

— Не все еще спят. Кто-то, видно, собирается чай кипя-

тить,— весело сказал Майна-Воопка.— Сейчас полный полог наберется гостей. Придут на тебя смотреть...

...Майна-Воопка не ошибся: не успел Омрыкай юркнуть в полог, как в шатре яранги послышались голоса соседей. Пэпэв, обняв сына, жадно вдыхала его запах, с досадой поглядывала на чоургын полога: хотя бы еще хоть мгновение помедлили гости, позволили ей побыть один на один с сыном.

— Да ты вырос, кажется,— приговаривала она, поглаживая стриженую голову Омрыкая.— И пахнуть стал иначе. Какой-то непонятный запах идет от твоей головы.

— Это, наверное, от мыла. Там люди каждую неделю моются от пяток до кончиков волос.

— Эвы![1] — изумилась Пэпэв.

Трудно было ей представить, как это могут люди мыть себя от пяток до кончиков волос. Прямо на морозе мыться немыслимо, вода на теле льдом возьмется; в таком вот пологе тоже не вымоешься — шкуры намокнут, хоть тут же выбрасывай. Суровая необходимость заставила ее, как это делают все женщины чавчыват, обтереть после рождения сынишки его тело сухой травой и вложить через головной вырез в меховую одежду с глухими штанинами и глухими рукавами, так что не надо было ребенку ни обуви, ни рукавиц. Между штанами оставалась большая дыра, которую закрывал пристегиваемый на костяные пуговицы меховой колпак. Накладывалась в этот колпак сухая трава, ее время от времени меняли, поскольку случалось с ребенком то, что случается в эту пору со всеми детьми. Так и рос человек, не зная, что такое теплая вода для тела. Мягкий нежный мех оленьих выпоротков или погибших при рождении телят сушил тело ребенка, согревал его.

— Мыло пенится, щиплет глаза!— со смехом рассказывал Омрыкай, изображая руками, как он обычно намыливает голову.

Пэпэв близко заглянула в глаза сына:

— Ты от этого не ослепнешь?

— Я, ослепну?! Да я стойбище наше увидел еще с первого перевала. Хочешь, я вдену нитку в самую тонкую иголку при потушенном светильнике?

— Ну, этого и я не смогу,— рассмеялась Пэпэв и снова крепко прижала сынишку к груди.

Гости в шатре выбивали снег из кухлянок, расспрашивали Майна-Воопку о новостях, явно намереваясь забраться в по-

[1] Эвы — разве, неужели.

лог и самолично разглядеть мальчишку, побывавшего на культбазе.

— Говорят, они там совсем разучились своему разговору и мясо боятся взять в руки, нанизывают его на четырехзубое копье и суют себе в горло...

Омрыкай вслушался в голос соседки старухи Екки, не выдержал, высунул голову из-под чоургына и сделал свое первое опровержение нелепых слухов:

— Я не разучился нашему разговору. И мясо могу есть, как все. Увидите! Могу съесть целого оленя!

В шатре после некоторой паузы рассмеялись, а Омрыкай снова бросился к матери, прижался носом к ее лицу.

— Ты часто являлась мне во время сна. Однажды приснилось, что ты, как учительница, ходишь по классу, мелом пишешь на доске...

Пэпэв морщила лоб, стараясь догадаться, о чем говорит сын; сухонькая, хрупкая, она была похожа на испуганную птицу, готовую вот-вот взлететь.

— О, сколько ты непонятных слов сказал. Не знаю, к добру ли это... Злые духи падки к непонятным говорениям, не зря их таким способом скликает к себе черный шаман.

— Так я, по-твоему, черный шаман?— изумился Омрыкай и громко рассмеялся.

Пэпэв смотрела на сына и думала: не появилось ли в нем что-нибудь такое, чем он может привлечь внимание черного шамана? Если приедет Вапыскат, она от страху умрет. Однако Вапыскат так или иначе все равно приедет... Прижав руку к сердцу, Пэпэв поправила огонь светильника и подняла чоургын, приглашая гостей.

Сколько таил в себе Омрыкай загадок для всех этих встревоженных людей! Они тоже почувствовали его незнакомый запах, удивлялись непонятным словам, которые так легко слетали с языка мальчишки, будто он выговаривал их еще со дня рождения. Омрыкай, взволнованный таким повышенным вниманием к себе, уплетал оленье мясо и то впадал в мальчишеское хвастовство, то вдруг умолкал, смущенный, порой сбитый с толку неожиданным вопросом.

— Верно ли, что там вас учат ходить вверх ногами?— спросил старик Кукэну, наклоняя к самому лицу Омрыкая плешивую голову.— Рыжебородый, говорят, учит вас этому...

— Да, я умею, как он, ходить вверх ногами,— радуясь случаю прихвастнуть, сказал Омрыкай, ловко отрезав у самых губ острым ножом очередной кусочек мяса.

— Ну и что в том толку — ходить вверх ногами?— допы-

тывался Кукэну.— Ни побежать, ни выстрелить в зверя, руки все время заняты. И непонятно, для чего тогда человеку ноги?

— Это так, для смеху. И чтобы ловкость свою показать.

— Ну, если для смеху... это еще можно понять,— успокоился Кукэну и снова принялся обрабатывать ребрышко оленя маленьким ножичком, не оставляя на кости ни крошки мяса.

— Еще такая смешная весть дошла, что белолицые шаманы не в бубен колотят, а в медный таз,— сказала старуха Екки.

— У русских нет шаманов,— ответил Омрыкай, поглядывая то на мать, то на отца, чтобы определить, довольны ли они его ответами.— У них есть в р а ч и, что значит лечащие люди. Совсем обыкновенные. Нестрашные люди. Трубкой грудь прослушивают...

— Как это?— спросил молодой пастух Татро, сидевший в самом углу полога, как и полагалось гостю его лет.— Что за трубка? Из которой курят?

— Вот такой длины,— показал Омрыкай, вытягивая перед собой руки.— Один конец к груди, другой к уху врача. Приложит и слушает, как бьется сердце, не хрипит ли что внутри.

— Страшно?

— Да нет же, щекотно. Смех разбирает. Врач тоже смеется. Шлепнет меня по спине и говорит: здоров, как моржонок.

— Значит, не страшно, а щекотно,— все еще сомневалась Екки.

— У меня нет к ним страха. Нас там ничем не пугают. Я только один раз испугался.— Омрыкай поднял руку, потрогал себя под мышкой.— Положил мне врач вот сюда такую стеклянную палочку и говорит: прижми. Я думал, больно будет, да как закричу...

— Ну а что дальше? Больно было?— На сей раз уже спросил сам отец, отставляя в сторону чашку с чаем.

— Да нет же, не больно. Просто я очень щекотки боюсь. Палочка эта гра-дус-ник называется. В самой середине ее что-то вверх и вниз ходит. Если у человека жар от простуды, то...— Омрыкай запнулся, не в силах объяснить, как действует градусник.— Если жар, то в палочке, в самой середке ее, что-то черное просыпается, вверх лезет...

Екки пробормотала невнятное говорение, полагая, что здесь совершенно необходимо заклинание. А мать осторожно

подняла руку Омрыкая, заглянула под мышку и спросила тревожно:

— Боли не чувствуешь?

— Да я силу, только силу чувствую!— воскликнул Омрыкай и согнул руку в локте, демонстрируя мощь своих мускулов.— Вот пощупайте, будто железо!

Отец пощупал и спросил с мягкой насмешкой:

— Как же быть с запретом на хвастовство? Или думаешь, что дома не обязателен этот запрет?

Омрыкай засмущался, вяло опустил руку. Гости не поняли, о чем идет речь, а когда Майна-Воопка объяснил, все разом зашумели.

— На чрезмерный аппетит у них нет запрета?— шутливо спросил Кукэну, выбирая кусок мяса получше.— Мне бы такой запрет не повредил: зубов нет. Однако все равно втолкал в старое брюхо пол-оленя...

— На аппетит запрета нет,— воспользовался поводом опять привлечь к себе внимание Омрыкай.— Я гречку люблю, вот такую миску съедаю...

— Что такое гречка?— спросила Екки.— Похожа ли она на оленье мясо?

Омрыкай подумал-подумал и, чтобы не запутаться в ответе на столь неожиданный вопрос, махнул рукой.

— Можно сказать, похожа, если там много масла. Главное, что вселяет сытость!— и постучал себя ладонью по животу.

— Да, живот у тебя как хороший бубен,— опять потянуло на шутку Кукэну.— Пришел бы ко мне завтра. Уж очень досаждает дух какой-то. Надо бы изгнать, а мой бубен прорвался...

— Не слишком ли ты расшутился?— Екки замахнулась костлявым кулачком на мужа.— От старости весь ум потерял...

— К тебе, видать, он к старости только-только пришел,— отыгрался Кукэну.— Всю жизнь без ума прожила, теперь вот помирать — и ум тут как тут, наконец явился...

Омрыкаю стало немножко обидно, что о нем на какое-то время забыли. Конечно, он смог бы напомнить о себе так, что все от изумления рты раскрыли бы, стоило только ему вытащить из сумки тетради и учебники; но был наказ отца пока от этого воздержаться.

— Дай-ка и я посмотрю, что там у тебя осталось под мышкой после этой стеклянной палочки,— посерьезнев, сказал Кукэну.— Что-то мне в память она запала...

Омрыкай с удовольствием поднял руку, радуясь, что опять оказался в центре внимания. Старик осторожно дотронулся до его тела, велел повернуться боком к светильнику, попросил увеличить пламя. Пэпэв дрожащей рукой поправила тонкой палочкой фитиль из травы в плошке с нерпичьим жиром. Все, кто был в пологе, с величайшим напряжением ждали, что скажет старик. И тот наконец изрек:

— Боюсь, что у тебя когда-нибудь здесь женские груди вырастут, как у жены земляного духа Ивмэнтуна.

И снова вскрикнула Пэпэв, прикладывая сухонькие пальцы к горестно перекошенному рту, а Омрыкай полез рукой под мышку: ему стало страшно.

Кукэну вдруг опять захохотал, и все вспомнили, что он известный шутник; вздох облегчения едва ли не заколебал пламя в светильнике. Смеялись гости и хозяева яранги, смеялись до слез, чувствуя, как тревога отпускает сердце. Рассмеялся позже всех и Омрыкай, и это вызвало новый взрыв хохота.

Переполненный впечатлениями, намерзшийся за трое суток в пути, усталый, но необычайно счастливый, Омрыкай улегся спать, едва ушли гости. О, как было сладко спать в родном очаге! Никогда не казались такими мягкими и ласковыми оленьи шкуры, никогда так не смотрели на него переполненные любовью глаза матери. Вот он засыпает, но чувствует, что мать смотрит на него. Склонилась над ним и что-то шепчет и шепчет, может, рассказывает, как тосковала о нем, а может, произносит заклинания, оберегая сына от злых духов. Как жаль, что сон не позволяет разлепить веки.

Утром, перед тем как уйти вместе с отцом в стадо, Омрыкай с затаенным дыханием бродил по яранге. Полог мать уже вытащила на снег, и в шатре стало просторно. Омрыкай внимательно осмотрел круг из камней, в котором тлели угли. Да, это были все те же камни, которыми издавна выкладывался круг очага, Омрыкай хорошо знал каждый из них. При перекочевках их прячут в специальный мешок из нерпичьей шкуры. Над очагом, на цепи, прикрепленной к верхушке яранги, висел чайник. Омрыкай посмотрел вверх, где сходились в пучок чуть выгнутые закопченные жерди остова яранги, на который натягивался рэтэм[1]. На поперечных перекладинах висели шкуры, ремни, винчестер в чехле, арканы, одежда. А вот связка амулетов: несколько деревянных рогулек, лапка совы со скрюченными когтями, медвежий клык,

[1] **Рэтэм** — покрышка яранги из оленьих шкур специальной выделки.

несколько волчьих когтей, нанизанных на оленью жилу, кончик оленьего рога. Сняв связку, Омрыкай осторожно перебрал все амулеты и повесил на прежнее место, испытывая чувство глубокого суеверного благоговения к хранителям очага. Потом присел на корточки у большого моржового лукошка, в котором мать обычно дробила каменным молотком мерзлое оленье мясо. На дне лукошка — камень, а рядом с ним каменный молоток с деревянной ручкой. Подле лукошка, на поломанной нарте, лежал нерпичий мешок, наполненный кусками мерзлого оленьего мяса.

Омрыкай заглядывал в каждый уголочек шатра яранги, различая предметы не только по их внешнему виду, но и по запаху. Как знакомо пахнут вот эти огнивные доски! Сколько раз Омрыкай на праздники намазывал их рты оленьим жиром — кормил самых главных хранителей очага. Яранга разбиралась на части при перекочевках, опять собиралась, но где бы ее ни устанавливали — она была для ее обитателей родным очагом. В ней родился Омрыкай, в ней рос, в ней слушал сказки в долгие зимние вечера. Да, здесь не так тепло и уютно, как в школе, как в интернате, но это его родной очаг, и ему здесь хорошо.

Хотя действительно холодно в яранге, иней густо заткал внутреннюю сторону рэтэма, заиндевела посуда, аккуратно составленная у моржового лукошка: закопченный котел, еще два котелочка, кастрюли, железные миски. И только чайник висел по-прежнему на крюке над очагом. Скоро примчится на оленях отец, ушедший в стадо, еще когда Омрыкай крепко спал, попьет чаю и снова уедет к оленям, только на этот раз уже не один. Скоро, очень скоро Омрыкай увидит своего Чернохвостика!

Ворохнув угли в костре, Омрыкай подбросил несколько хворостинок, лежавших кучей возле входа в ярангу, снял с крюка чайник, чтобы проследить, как поднимается дым. Это было любимым занятием Омрыкая. Бывало, сядет рядом с матерью у костра и все смотрит, смотрит, как струится дым, который представлялся ему живым существом, напоминающим доброго бородатого деда. Правда, когда бушевала пурга, дым расползался по всей яранге, разгоняемый ветром, забивал дыхание, ел до слез глаза. Это запомнил Омрыкай еще с тех пор, когда его вкладывали в меховой конверт и подвешивали, как всех малых детей, к перекладинам яранги. Если дым струился ровно — мальчик радовался, потому что «дед» был добрым, спокойно струилась его борода. Если злился «дед» — борода его металась по всей яранге, и тогда волей-не-

волей мокрели глаза от дыма и страха. Вон к той перекладине обычно подвешивали Омрыкая, иногда он стоял в конверте, а когда подвязывали два нижних ремешка, прикрепленных к уголкам конверта, ко второй перекладине, он уже лежал — как бы в колыбели, которую кто-нибудь покачивал; огонь костра то исчезал, то снова слепил глаза, а дым начинал колебаться сильнее, и казалось, что «дед» все пытается заглянуть ему в лицо.

Омрыкай не так уж и заспался, хотя отец и мать проснулись намного раньше. Они всегда просыпаются раньше всех в стойбище. Вот и нынче: мать уже выбивает из полога иней, а другие хозяйки еще только кипятят чай. Выбираются на мороз детишки. Сейчас они прибегут к Омрыкаю и начнут расспрашивать о школе, о культбазе. Что ж, он сумеет их удивить, тут уж он постарается.

Вышел Омрыкай из яранги степенно, с чувством величайшего превосходства и над своими сверстниками, и даже над теми, кто был постарше его. Увидев, что к нему бегут дети соседей, вдруг ловко встал вверх ногами и пошел на руках, изумляя малых и старух. Пэпэв схватилась за обнаженную голову, белую от инея.

Встав на ноги, Омрыкай передохнул, победно огляделся; в раскрасневшемся лице его было отчаянное озорство и радость встречи с друзьями. И загалдели ребятишки, выражая удивление и восторг, посыпались вопросы. Пэпэв, было спрятавшая руку в широкий рукав керкера, снова оголила ее, обнажая правое плечо и грудь, принялась с удвоенной силой выбивать полог, радуясь, что перед ее глазами шутит, смеется, что-то бурно объясняет приятелям ее сын, живой и здоровый. Однако совсем недавно на похоронах Рагтыны черный шаман предрек ему смерть. Правда, было еще одно говорение над похоронной нартой — Пойгин предрек Омрыкаю жизнь... Вот и гадай теперь, чье предсказание сбудется. У Пэпэв холодеет сердце, когда начинает думать об этом. Скорее бы приехал Пойгин. Уже одним своим видом он изгоняет страх, вселяет спокойствие. А Вапыскат лучше бы провалился под землю к ивмэнтунам. Здесь все его ненавидят и боятся. Особенно ненавидит Майна-Воопка: не может простить черному шаману, что он удушил его брата шкурой собаки. При одном имени черного шамана он становится сам не свой, теряет всякую осторожность.

Майна-Воопка примчался на оленях как-то незаметно, будто вынырнул из-под земли, испугав Пэпэв. Омрыкай бросился к нему, помог распрячь оленей, привязал их к грузо-

вым нартам. Отец одобрительно улыбнулся, таинственно сказал:

— Сейчас ты от радости взлетишь над стойбищем, как птица.

Отвернул шкуру на нарте и встряхнул перед глазами сына кольца новенького аркана. Ах, что это был за аркан! Омрыкай какое-то время разглядывал его, медленно перебирая кольца, потом крикнул одному из приятелей: «Беги!» Мальчик бросился со всех ног, изображая оленя. Омрыкай взмахнул над головой кольцами аркана, метнул так, что заныло плечо. Ого, как ловко пойман «олень»! Кричат от радости дети, улыбаются взрослые, важничает Омрыкай, снова собирая аркан в кольца. Скорей бы в стадо!

Отец, отлично понимая сына, попил наскоро чаю, снова запряг оленей, Омрыкай, к зависти приятелей, сел позади отца. Олени тронулись медленно, коренной чуть присел на задние ноги: боялся удара по крупу свистящим тинэ, однако наездник был расчетлив, тинэ пустил в ход лишь тогда, когда надо было вселить в упряжку истинное безумие,— не то олени бегут, не то мчится снежный вихрь. Подскакивает нарта на кочках и комьях снега, вывороченного прошедшим оленьим стадом. Свистит тинэ в руках отчаянного наездника. Ух, как захватывает дыхание! Взметается из-под копыт оленей снег, забивает рот, глаза. Омрыкай изо всех сил держится за ремень отца, боясь вылететь из нарты. Тяжко дышат олени, высунув горячие, влажные языки, Омрыкай знает: таким образом потеют они; как бы ни мчался олень — шерсть его остается сухой, иначе не выжил бы он в лютые морозы.

Упряжка с ходу влетела на склон горы, по которому разбрелось стадо. Где же Чернохвостик? Омрыкай соскочил с нарты, суматошно отряхнул себя от снега, жадно оглядел стадо. Спросил нетерпеливо:

— Где Чернохвостик?!

— Ищи!— с усмешкой ответил отец.— Смотри, не спутай зайца с оленем.

Омрыкай напряженно улыбнулся, стараясь показать, что шутка отца его не обижает. Собрав аркан для броска, Омрыкай вкрадчиво пошел по стаду; олени косились на него, чуть отбегали в сторону и снова принимались разгребать снег, погружая в снежные ямы заиндевелые морды.

Олени. Вот они, олени! Нелегко давалась Омрыкаю разлука с ними. Почти каждую ночь наплывали на него во сне олени — в замедленном беге, и на рогах самого крупного чимнэ алел красный солнечный шар. Но чем красивее были сны,

тем еще мучительнее становилась тоска. Может, и сейчас это всего лишь сон? Э, нет, во сне так не жжет морозом лицо. Но что мороз для настоящего чавчыв. Олени! Перед его глазами олени, сотни оленей, их рогами ощетинилась гора и словно бы сдвинулась с места. Правда, сейчас с рогами только самки, а на головах самцов короткие, не разветвившиеся отростки, покрытые нежной кожицей; у некоторых всего лишь бугорки. Вон тот огромный бык терял свои рога в осеннюю пору перед морозами, когда уезжал Омрыкай на берег, в школу. После гона бык потерял сначала левый рог, голова его была залита кровью; через сутки отвалился второй — тяжелый, со множеством отростков; трудно было поверить, что с наступлением лета опять возвысятся над его головой огромные рога и добавится слева и справа еще по одному отростку. К осени окончательно окостенеют рога, и тяжко придется соперникам этого великана: Омрыкай хорошо знал его ярость и отвагу.

Выйдет бык на возвышенность, чтобы предстать во всей своей красе и мощи не только перед стадом — перед самой вселенной, и затрубит так, что даже солнце задрожит, поддетое на его огромные, страшные рога; затрубит великан и начнет яростно копытить землю, полетят из-под его ног земля и камни. Запахнет в воздухе чем-то похожим на паленую шерсть или на жженое копыто, и проснется в оленях непонятное беспокойство: не то мчаться надо — мчаться куда глядят глаза, даже если впереди пропасть, не то замереть в каменной неподвижности, ожидая, когда кто-нибудь все-таки примет вызов.

Но не всем под силу томиться в ожидании. Некоторые из оленей начинают бегать по кругу, возбуждаясь все больше и больше, а некоторые все ниже клонят голову, нацеливая рога туда, где трубит великан.

Но где, где же тот, который примет вызов? Вот он, такой же могучий и яростный. Затрубит и словно оттолкнет задними ногами от себя весь земной мир, так что покажется, будто сдвинулась с места сама Элькэп-енэр. И вздыбятся рогатые звери, ударят друг друга копытами в грудь, и тот, кто принял вызов, едва не опрокинется на спину. Станет жутко стаду от тяжкого хрипа, от топота копыт, от треска рогов двух великанов. Затрещат рога, польется кровь, и осеннее солнце, кажется, станет еще багровее — словно бы само закровоточит, заливая полнеба. Заполыхает заря победы одного из великанов. Но для кого из них взойдет эта заря, заря безраздельной власти над стадом, власти над важенкой, которой будет суж-

дено уже при весенней заре родить ему подобного?.. Трещат рога, пока не сплетутся намертво. А когда сплетутся, то покажется, что затрещали даже хребты обезумевших от ярости быков. Кровоточит солнце, смятенно трубит стадо, чуя кровь. На какое-то время замрут великаны, словно превратившись в каменные глыбы, и только горячее их дыхание выдаст, что они живые, что они готовы стоять вот так вечность, не уступая друг другу. Случалось, что умирали самцы диких оленей. Равные силой умирали не только от ран и напряжения — умирали от голода и жажды, так и не расцепив рога.

Но если не равны соперники в силе, дрогнут передние ноги у одного из них, пройдет мгновение — и он упадет на колени, а потом встанет и подставит бок победителю, показывая, что сдается, и, обливаясь кровью, поплетется, шатаясь в тундру, чтобы пережить горечь поражения в одиночестве...

Да, уже не один раз видел Омрыкай все это: чавчыв должен знать про оленя все — чем раньше, тем лучше. В этот раз безрогий олень не внушал Омрыкаю прежнего чувства жуткого восторга; и все же как заколотилось сердце маленького пастуха, едва он кинул взгляд на великана: ведь перед ним был отец любимого его Чернохвостика. Колышется под могучей шеей самца седой волос, глаза его внимательны — все видят, и нос, удивительно чуткий нос, пытается унюхать, насколько велика опасность. Можно было и не покидать расчищенное от снега место, да вот рядом человек, который давно не появлялся в стаде. Кто его знает, с чем он пришел. Хоть и мал человек, но в руках у него аркан, занесенный чуть назад для броска, а с этим шутки плохи. Недовольно фыркнув, олень метнулся в сторону и замер, как бы прикидывая: на ком сорвать зло? Косят его глаза налево, направо, все ниже клонится голова, готовая боднуть со страшной силой. Наконец устремился к трехлетнему быку, в котором угадывал зреющую силу возможного соперника. Молодой бык пока бой не принял, отпрянул и спокойно пошел прочь, можно было сказать, пошел даже с достоинством, лишь изредка оглядываясь, как бы желая предупредить обидчика: он еще очень пожалеет, что позволил себе такую выходку.

Мирно паслось стадо, самцы все выше и выше поднимались по склону горы, порой вступая в схватку друг с другом; самки предпочитали пастись у подножия на пологих склонах, особенно те из них, которым через три месяца предстояло пополнить стадо новым потомством. Беременную важенку можно узнать по ее миролюбию, по задумчиво-мечтательному виду.

Степенна в эту пору важенка, укрощает свою страсть к стремительному бегу, только испуг может заставить ее мчаться, перегоняя ветер; а если все спокойно — осторожно обойдет крутой склон, не ввяжется в серьезную борьбу за расчищенное место.

Важенки потеряют рога после отела, а сейчас они гордо несут свою корону, которая много легче, изящней, чем у самцов, время от времени низко наклоняют голову, становясь в защитную позу; самцы великодушно обходят их стороной, и только годовалые оленята и тут не прочь показать, что они теперь тоже олени и умеют бодаться. Случается, что двухгодовалый бычок, почувствовав в себе силу непонятного влечения к самке, начинает выявлять завидную прыть, и тогда неизменно показывают свой строгий нрав блюстителей высокого порядка самцы-старики: пока будет жив, ни за что во время гона не подпустит к важенке незрелого бычка, которому нет еще трех лет, а иногда и шестилетнего отгонит с позором прочь, заботясь о жизнеспособности будущего потомства. Но это будет потом, осенью, а сейчас самцы-старики лишь внимательно приглядываются к проказникам, запоминают на всякий случай.

Не все еще тайны оленьего стада знал Омрыкай, но многое вошло в него с молоком матери и потому было доступно его разумению. Знал он и то, что оленята порой собираются в одно место, затевают шалости, меряются силой. Но сегодня оленята предпочитали пастись рядом со своими матерями. Вон тот, который уже успел сломать стрелочку своего рога, по-прежнему, как он это делал, когда был еще молочным теленком — кзюкаем, словно бы передразнивает мать. Опустит важенка голову в снежную яму, и олененок делает то же самое, ударит мать копытом по снегу, и сын в точности повторяет ее движения. И даже когда олениха, изогнув шею, принялась чесать бок отростком рога, олененок тоже попытался пощекотать себя. Но не было у него еще настоящих рогов, и он понуро опустил голову, широко расставив голенастые ножки, как бы горестно задумавшись о собственном несовершенстве. Омрыкай едва поборол в себе желание метнуть в него аркан.

Где же все-таки Черпохвостик? Конечно, при его белоснежном цвете он тут почти невидимка. Только по черному хвостику, по копытцам, по глазам да по носику можно разглядеть его на снегу. Однако у настоящего чавчыв должно быть особое чутье на оленя, пора, давно пора уж и обнаружить Чернохвостика.

Омрыкай прошел через все стадо вдоль склона горы, поднялся вверх, снова опустился и вдруг замер: у каменистого выступа лежал рядом с матерью его Чернохвостик. Да, конечно, это был он! Издали можно подумать, что это сугробик снега. Однако почему олененок лежит? Омрыкай знал, что в сильный холод слабеющие олени порой ложатся в снег, сберегая силы. Пастуху в это время необходимо быть особенно наблюдательным: если олень пережевывает жвачку — не тронь его, но бывает, что уже нечего бедняге пережевывать, а встать не может; здесь уж не зевай, пастух, помоги оленю собраться с силами, иначе голод и холод сделают свое страшное дело.

Чернохвостик и его мать мечтательно пережевывали жвачку, и Омрыкай облегченно вздохнул, заулыбался.

Все ближе подкрадывался мальчик к своему любимцу. Оленихе это не понравилось, она легко встала, наклонила вниз голову, подозрительно разглядывая маленького человека. Вскочил и Чернохвостик, в точности повторив все движения матери. Как он вырос! Ножки тоненькие, а колени узловатые и копыта крупные: быть ему вожаком стада. Вот только жаль, что родился он существом иного вида, таких и люди не милуют, стараясь ублажить духов, и волки почему-то режут чаще всего. Но ничего, Чернохвостик сумеет себя защитить от любого волка, а отец не заколет его, он и сам полюбил этого олененка.

Важенка не выдержала опасной близости пастуха, отпрянула в сторону. Отпрянул и олененок, показав черненький хвостик. Но тут же повернулся, разглядывая маленького пастуха так, будто в его голове пробуждалось какое-то смутное воспоминание.

— Что, узнаешь?— тихо, боясь вспугнуть олененка, спросил Омрыкай.

Чернохвостик пошевелил оттопыренными ушами, совсем по-детски склонил голову, как бы желая еще раз услышать голос маленького человека, который, видно, сам был среди людей их кэюкаем. Хоркнув, Чернохвостик покосился на мать, верно бы спрашивая у нее разрешения поближе познакомиться с маленьким человеком, и, не в силах одолеть любопытство, пошел к нему, вытягивая заиндевелую морду. Однако олениха, которая до сих пор делала вид, что пришелец ей безразличен, сердито фыркнула, и Чернохвостик сделал стремительный скачок в сторону, отбежал на порядочное расстояние и принялся пастись, проявляя к Омрыкаю обиднейшее равнодушие.

Омрыкай долго бродил вокруг олененка, намереваясь на-

бросить на него аркан, но уж очень не хотелось ему портить отношения с Чернохвостиком: аркан есть аркан, он всегда пугает оленя. Отстегнув от ремня ачульгин[1] из тюленьей шкуры, Омрыкай, как это делают взрослые пастухи, помочился в него, протянул в сторону олененка: он знал, как мучает оленей соляное голодание. Приходилось Омрыкаю видеть не раз, как лизали олени солончаки в тундре, как устремлялись к снежным комьям, на которые выливается по ночам моча из ачульгинов, как обгладывали скинутые рога. Случается, что олени съедают леммингов, чуя соль в их крови, и важенки обгрызают рожки собственных телят.

Все ближе подходил Омрыкай к олененку, неся в вытянутой руке ачульгин, но тот еще явно не понимал, в чем суть великодушного жеста маленького пастуха; зато взрослые олени, забыв всякую осторожность, бросились к человеку. Омрыкай отгонял оленей, настойчиво пытаясь сблизиться с Чернохвостиком. В конце концов ачульгин опустошила мать олененка. Пристегнув ачульгин опять к поясу, Омрыкай пришел к выводу, что Чернохвостика надо поучить, и ничего особенного не случится, если он испытает, что такое аркан в руках настоящего чавчыв.

Это было для Омрыкая удивительное мгновение, когда он чуть занес руку с арканом назад, потом взмахнул над головой. Он знал, чувствовал спиной, что за ним пристально наблюдает отец, казалось, видел затылком, как он то улыбается, то хмурится, оценивая каждый его шаг, каждый жест. Как это было бы ужасно, если бы Омрыкай промахнулся. К тому же надо было метнуть аркан так, чтобы петля не пришлась на самую шею олененка, иначе он задохнется. Однако Омрыкай превзошел самого себя — аркан обхватил только крошечные рожки Чернохвостика. Вздыбился испуганный олененок, шарахнулся в одну, в другую сторону. Забегала, тревожно хоркая, важенка.

Омрыкай тянул к себе Чернохвостика, напряженно перебирая аркан. В раскрасневшемся лице его были упрямство и восторг истинного чавчыв. Вот уже совсем рядом Чернохвостик, упирается, мечется, порой падает на бок. Не обломать бы ему рожки! Наконец Чернохвостик уже совсем рядом. О, какая белая и мягкая у него шерстка! Хорошо бы осмотреть его копыта, не поранились ли под ними подушечки, но для этого Чернохвостика надо повалить на бок. Изловчился Омрыкай, обхватил олененка, повалил на бок. Дрожит олене-

[1] Ачульгин — горшок для мочи.

нок, хоркает жалобно, и важенка уже совсем близко, порой обдает пастушка яростным дыханием. Где же отец? Не заругает ли? Чернохвостик, лежа на боку, перебирал ножками, и не было никакой возможности заглянуть ему под копытца.

— Ну что, нашел своего Чернохвостика?— послышался сверху голос отца.

Омрыкай смятенно поднял лицо: не оскандалился ли, не навлек ли гнев отца? Но нет, глаза у него добрые, очень добрые — значит, не сердится.

— А что бы ты делал, если бы аркан захлестнулся на шее? Задушил бы своего любимца?

Как понять эти слова отца, неужели в них упрек?

— Ну, ну, не волнуйся. Я тобой доволен, очень доволен, ты настоящий чавчыв,— приговаривает отец, опускаясь на корточки.— Давай посмотрим на его копытца. Я придержу, а ты посмотри.

Едва ли был в жизни Омрыкая более счастливый миг, чем этот: отец назвал его настоящим чавчыв! Не чувствуя холода, Омрыкай ощупал под копытцами подушечки, заросшие жесткой шерстью, несмело сказал:

— Кажется, нет болячек.

— Кажется или в самом деле нет?

— Нет,— уже твердо сказал Омрыкай.

Отец сам внимательно осмотрел копытца олененка, погладил его по шее, почесал за ушами и сказал:

— Здоров твой олень, хоть запрягай в нарту. Но до той поры еще далеко. Думаю, что ты сам обучишь его ходить в нарте.

Конечно же, это не простые слова: значит, отец будет растить Чернохвостика, не заколет его в жертву духам.

— Я буду учить его! Я лучшие награды заберу с ним на гонках!— воскликнул Омрыкай, расслабляя на рожках олененка петлю аркана, чтобы отпустить его на волю.

— Забыл запрет на хвастовство?— довольно строго спросил отец, но тут же рассмеялся.

И зазвенел вдруг в памяти Омрыкая школьный звонок, склонилась над его головой Надежда Сергеевна, тихо сказала: «Сегодня у тебя еще лучше получается». Омрыкай покрутил головой, прогоняя воспоминание, и едва не признался: «Отец, я очень хочу в школу». Однако мальчик промолчал, не потому, что решил утаить от отца свою тоску по школе, а потому, что и с олененком расстаться не было сил. Как же быть в таком случае?

— Ну, отпускай своего будущего бегуна,— сказал отец,

поправляя на плече аркан.— И можешь знать: я ни за что его не заколю в жертву духам. Это твой олень!

Омрыкай погладил олененка, почесал за ухом, как это делал отец, и снял с рожек аркан. Ох, как помчался прочь олененок, почувствовав свободу. Словно безумный рыскал по стаду, отыскивая мать, а когда нашел, потерся о ее ноги, уткнулся мордочкой в гриву под шеей; было похоже, что он хотел пожаловаться, какой ужас перенес: ведь человек впервые набросил на него аркан.

Не было дня, чтобы в ярангу Майна-Воопки не являлись гости из самых дальних стойбищ: многим хотелось посмотреть на Омрыкая, которому черный шаман предрек смерть, а белый — жизнь. Однажды поздним вечером приехал Пойгин. Этому гостю хозяева яранги особенно обрадовались. Пойгин молча съел немного оленьего мяса и долго пил чай с видом угрюмым и отрешенным. На Омрыкая он, казалось, даже не смотрел, разговаривая с Майна-Воопкой о погоде, о пастбищах, о волках, повадившихся в стадо. Омрыкай, предоставленный самому себе, перелистывал тетради. Каждая страничка навевала воспоминания. Как там сейчас живут его друзья? Помнит ли о нем Надежда Сергеевна? Омрыкаю виделось в памяти, как ярко светятся окна школы, других домов культбазы; спокойные эти огни манили его, будили в нем тоску. Странно, когда был там, точно так же видел в памяти огонь костра, дымок над ярангой.

Пойгин, наконец обратив на него внимание, осторожно взял из рук Омрыкая тетрадь, бережно перелистнул страницу, другую, спросил:

— Не забывается ли твое умение понимать немоговорящие вести?

— Нет, я все, что постиг, запомнил навсегда!

Пойгина поразило, каким тоном это сказал мальчик: так произносят клятву.

— Надо ли помнить это?— задал он еще один вопрос, листая тетрадь и поглядывая искоса на Омрыкая.

— Мне снится, как я читаю...

— А олени снятся?

— Каждую ночь снились, когда я жил в школе.

— Я не буду у тебя спрашивать, что для тебя важнее...

— Я сам не знаю, что важнее... Может — и то, и это, одинаково...

Пойгин внимательно посмотрел на Майна-Воопку, неопределенно пожал плечами.

— Вот и пойми... хорошо это или плохо...

— Я знаю, что сын мой настоящий чавчыв,— спокойно ответил Майна-Воопка.— Я это понял, когда мы были вместе в стаде...

Пойгин положил руку на шею Омрыкая, привлек его к себе:

— Уж очень ты мне нравишься, Маленький силач. Не зря тебе дали такое имя. Скоро сможешь унести на шее оленя...— И вдруг, казалось без всякой связи, спросил:— Кто самый лучший человек в стойбище Рыжебородого?

— Надежда Сергеевна!

— Кто такая? Жена Рыжебородого?

— Да, жена Артема Петровича.

— Почему ты называешь Рыжебородого двумя именами?

— У русских даже три имени. Артем, Петрович да еще Медведев.

— Зачем же столько имен сразу?— больше обращаясь к самому себе, спросил Пойгин.

— Наверно, чтобы сбить с толку злых духов,— робко высказала свое предположение Пэпэв, стараясь вовремя подливать чай дорогому гостю.

Пойгин опять положил руку на шею Омрыкая:

— Ты как думаешь?

— Артем Петрович так объяснял,— Омрыкай с важным видом помолчал, собираясь с мыслями,— он сказал, что каждому человеку надо все время помнить, кто был его отец, и напоминать об этом другим людям. Потому «Артем Петрович» надо понимать так... Артем сын Петра. Но у родителей и детей должно быть еще одно общее имя — фамилия называется. Такой у них обычай.

— Может, это и неплохой обычай. Хорошо, когда сын или дочь всегда помнят отца,— сказал Майна-Воопка.

— Может быть, может быть,— вяло согласился Пойгин, уперев неподвижный взгляд в огонь светильника.

— А мать... разве мать не должны все время помнить дети?— с некоторым недоумением спросила Пэпэв, заплетая кончики своих тяжелых черных кос.

— Не будем думать о странных обычаях русских,— раздраженно махнул рукой Пойгин.— Мы помним и матерей, и отцов без упоминания их имен. Я и деда помню. Хороший был человек. Очень хороший. Сумел приручить волка. А это возможно лишь при самом добром сердце...

— Отогнал бы ты заклинаниями волков от моего стада,—

попросил Майна-Воопка, разглядывая лицо гостя с затаенной озадаченностью.

Пойгин почувствовал его взгляд, досадливо изломал брови:

— Я должен убить росомаху. Вчера гнался за ней, но она ушла. Отбила от стада важенку Выльпы. У него и так всего четыре оленя. И надо же было выбрать именно его важенку. Гналась, проклятая, пока важенка не выкинула плод. Сожрала плод и важенку едва не загрызла. Такая уж у росомах подлая повадка.

Пэпэв закрыла руками лицо, простонала:

— О, какое несчастье.

В пологе долго длилось молчание: росомаха внушает отвращение и суеверный страх, потому что покровительствует земляному духу — Ивмэнтуну; своей похотливостью она превосходит даже жен земляных духов, часто вступает в сожительство с самым злым из них и потому рожает вонючих детей. Способность росомахи помечать землю отвратительными и очень устойчивыми запахами на тех просторах, где должна властвовать только она, вызывает чувство гадливости. И если надо кого-нибудь очень унизить за нечистоплотность, за злой нрав, за склонность к клевете и обману — называют его росомахой.

— Несчастный Выльпа, все беды склонны настигать его,— продолжала сокрушаться Пэпэв, не отрывая рук от лица и мерно покачиваясь.— Дочь его, говорят, все так и лежит на холме... звери не тронули ее. О, горе, горе, духи недовольны... требуют новую жертву...

— Рагтына уже ушла,— мрачно сказал Пойгин, по-прежнему не отрывая взгляда от пламени светильника.— Ушла к верхним людям. Звери оставили одни косточки... Это были волки... Я понял по следам. Да, волки, но не росомаха.

Омрыкай горестно молчал. Пойгин, подобрев лицом, провел по его голове рукой и спросил:

— Боялся ли ты русских шаманов?

— У них не шаманы... врачи называются. Я их не боялся. Они очень стараются, чтобы не было больно. У Тотыка болячки вот здесь, между пальцами были... Врачи мазью мазали, белыми полосками тоненькой материи обматывали. Бинт называется. И прошли болячки. Совсем прошли.

Пойгин близко наклонил лицо к Омрыкаю, глубоко заглядывая в глаза мальчика, спросил совсем тихо:

— Слышал ли кто из вас, как кричала Рагтына, когда ее резали русские шаманы?

Омрыкай испуганно отшатнулся, потом отрицательно покачал головой.

— Нет, никто такое не слышал. Только Ятчоль болтал, будто слышал даже в своей яранге, как кричала Рагтына.

— Ну, если Ятчоль болтал, значит, неправда,— глубоко передохнув, с облегчением сказал Пойгин.

— Антон поклялся мне жизнью матери, что Рагтыну, когда она была живой... не резали. Так и сказал... пусть умрет моя мать... если я говорю неправду.

— Сын Рыжебородого, что ли?— спросил Пойгин и тут же добавил, не дожидаясь ответа:— Что ж, может, он был просто не сведущ. А может, русским легко давать такие клятвы.

— Почему говоришь, как Вапыскат?— не глядя в глаза Пойгину, спросил Майна-Воопка.

Пойгин болезненно поморщился:

— Да, ты прав. Точно так говорит Вапыскат.

— Значит ли это, что вы теперь думаете одинаково?

Пойгин промолчал. Еще раз полистав тетрадь Омрыкая, приложил ухо к его груди, долго слушал:

— Хорошее у тебя сердце. Будто пешеход, ушедший в дальний путь. Ровно бьется. Будешь долго жить. Долго...

Пэпэв счастливо заулыбалась, выхватила из деревянного блюда олений язык, протянула гостю:

— Съешь еще. Ты очень желанный гость. Ты всегда с хорошими вестями. Мы хотели бы видеть тебя каждый день... Надеемся, заночуешь в нашем очаге.

— Нет, я поеду в стойбище Эттыкая. Меня ждет Кайти. Последнее время она все дни в страхе.— Пойгин медленно повернулся к Майна-Воопке, тронул по-дружески его плечо.— Я знаю, как ты ненавидишь черного шамана. Я тоже его ненавижу. Но неясно мне, что будет со мной, когда взойдет солнце. Может, главные люди тундры назовут меня своим другом, а может, убьют, если пощажу Рыжебородого.

Омрыкай со страхом и недоумением уставился на Пойгина:

— Почему ты его должен не щадить?

— Это не для детей разговор,— сказал Пойгин и опять болезненно поморщился.— Ты, я вижу, чтишь Рыжебородого...

— Да. Его все чтят...

— Все? А вот я... На меня почему-то нашло помрачение... Мне мало головой понять, Омрыкай, что ты прав. Мне в это надо душой поверить... Ты мальчик еще, и тебе...

Не досказав, Пойгин умолк, настолько погружаясь в себя, что, кажется, даже забыл, где находится.

— Ну, я поехал,— наконец очнулся он.— Не провожайте

меня.— Повернулся к Майна-Воопке: — Я буду к тебе приезжать. Только ты можешь дать мне достойный совет...

Пойгин оделся и покинул ярангу. На вторые сутки с самого утра приехали новые гости, разглядывали Омрыкая и мучили его расспросами. Мальчик удрученно спросил у матери:

— Что они едут смотреть на меня, будто я существо иного вида?

— Не сердись,— просила мать, стараясь скрыть, насколько сжигала ее тревога за сына.— Разговаривай с гостями, как советовал отец... Рассказывай только достоверные вести. И не будь болтуном, ничего не выдумывай...

— На болтунов у нас там тоже запрет.

— Нужный, очень нужный запрет. Помни о нем.

Омрыкай садился на шкуры у костра в круг гостей, сначала отвечал на вопросы степенно, с важным видом, как взрослый, но детская непоседливость брала свое, и он начинал скучать, забываться, все чаще поглядывая на выход из яранги: там ждали приятели, которых он обучал грамоте. За стойбищем, на обширной горной террасе, где снег еще не былископычен оленьим стадом, детишки учились писать свои имена. И не только дети, но и молодые парни и даже вполне солидные отцы семейств просили Омрыкая начертать таинственные знаки, обозначающие их имена, и тот старался как мог.

Какая это была радость — мчаться на горную террасу, наконец вырвавшись из плена гостей. Но Омрыкая снова и снова зазывали в ярангу, задавали один вопрос нелепее другого.

— Верно ли, что там пищу варят не на костре, а на каком-то странном огне, втиснутом в каменное вместилище, и потому она совершенно не пахнет дымом? Это же, наверно, в горло не лезет...

— Я забыл, пахнет ли там пища дымом. Но я был всегда сыт и очень любил картошку...

— Что такое картошка?

— Растет в земле, как корни травы или кустов, только она круглая, будто мяч...

— Ой-ой! Не вонючий ли это помет Ивмэнтуна?

— Ну какой помет, что, у меня нюха нет, что ли?

— Ты не сердись, не сердись,— успокаивал мальчика старик Кукэну, не пропускавший ни одного случая потолковать с дальними гостями.— Сам говорил, что там на злость наложен запрет...

— Ка кумэй! Верно ли это, что на злость запрет?

— Да, запрет,— терпеливо подтверждал Омрыкай, прилежно внимая совету старика.

— Слыхал я, что, как только ты пришел в стадо, в оленей страшный испуг вселился. Слух пошел, что это от дурного запаха пришельцев, которым ты насквозь пропитался,— сказал Аляек[1], мрачный мужчина с костяными серьгами в ушах — двоюродный брат Вапыската.

Омрыкай изумленно посмотрел на мать, жалея, что отец ушел в стадо: уж он-то рассказал бы, как было все на самом деле и почему он назвал сына настоящим чавчыв. Пэпэв, кинув в сторону Аляека укоризненный взгляд, обиженно поджала губы.

— Может, чьи-нибудь олени и взбесились, а наши как паслись, так и пасутся.

— Ну что ж, еще взбесятся,— загадочно предрек Аляек, разглядывая хозяйку яранги сонно сощуренными глазами.

Старик Кукэну снял малахай, почесал кончиком трубки лысину, весело воскликнул:

— Это диво просто, какая память у тебя, Аляек! Как же ты забыл, что именно от твоего запаха подох на самой высокой горе кытэпальгин[2] и прямо под ноги тебе свалился? Да, еще одну весть чуть было не запамятовал. Ах, какая у меня голова, все забывает, ну просто болотная кочка. Слух дошел, что от твоего запаха до смерти одурела даже вонючая росомаха! Не зря же ты так на всю жизнь и остался Аляеком...

— Я не могу сидеть у очага, где меня оскорбляют!— воскликнул Аляек и, плюнув в костер, пошел прочь из яранги. У входа обернулся, ткнул пальцем в сторону Омрыкая:— Жить ему осталось недолго, совсем недолго! И олени ваши взбесятся. Еще дойдет до них мерзопакостный запах пришельцев.

Омрыкай уткнулся в колени матери и заплакал. Кукэну подсел к мальчику, положил руку на его вздрагивающую спину.

— Ты, кажется, хохочешь? Ну, конечно, хохот трясет тебя, как олени нарту на кочках. Послушай, о чем я хочу тебя попросить...

Омрыкай поднял заплаканное лицо, заулыбался: он любил этого старика, шутки которого, как люди уверяли, могли заставить засмеяться и камень.

— Я же толковал вам, что парень смеется. А мне тут нашептывали, что он плачет. Чтобы Омрыкай и вдруг заплакал?! Если и появились слезы у него на глазах, то это от смеха.

---

[1] Аляек — по-детски пачкающийся.
[2] Кытэпальгин — горный баран.

Омрыкай быстро вытер кулачками слезы и вправду засмеялся. Старик, воодушевляясь, подбирался уже к новой шутке:

— О, настоящий чавчыв смеется даже тогда, когда сова приносит ему весть, что из ее яиц вылупились его дети. Услышал бы кто другой такую весть, как я услышал в молодости,— рассудка лишился бы. Однако я остался при своем уме, только уж очень смеялся, челюсти едва с места не сдвинул.

Гости, а за ними Омрыкай расхохотались. А Кукэну, радуясь, что прогнал тучу страха, наплывшую после гнусных слов Аляека, продолжал шутить.

— Так вот, послушай, о чем попрошу. Научи мою старуху понимать немоговорящие вести. Память у нее от старости совсем оскудела, не помнит имя мое. Но не беда, внук мой нашел выход. Ты научил его чертить знаки, обозначающие мое имя, подарил ему палочку, след оставляющую. Верно ли это?

— Да, верно,— охотно подтвердил Омрыкай, еще не понимая, к чему клонит старик.

— Слышали, гости, что сказал Омрыкай? Так вот, имейте это в виду. Как вам известно, у меня вполне достойное имя, не какой-нибудь там Аляек — Кукэну![1] — Старик постучал по котлу, стоявшему у костра.— Вот от этой посудины происходит мое достойное имя. Кто может без котла обойтись? Так и без меня вы ни за что не обойдетесь. Но вот надо же, старуха забывает, как меня звать. Вчера обозвала плешивым болваном. Кто из вас слышал, чтобы когда-нибудь у меня было такое странное имя? Выходит, никто не слышал. Однако старуха моя так и старается сменить мое имя. Но у нее ничего не получится. Я надежно предостерегся. Внук помог. Настоящее мое имя теперь обозначено тайными знаками вот здесь!— Старик пошлепал себя по голове и наклонил ее к Омрыкаю.— Смотри и произнеси вслух, что начертил там мой внук твоей палочкой, оставляющей след. Особенно хорошо оставляет след, если послюнишь ее...

Омрыкай встал на колени, бережно прикоснулся руками к голове старика и увидел, что чуть пониже макушки было написано: «Кукэну». Набрав полную грудь воздуха, мальчик прочитал во всеобщей тишине громко и торжественно: «Кукэну».

— Ка кумэй!— изумились гости.

— Вот так! Что я вам говорил?— радовался старик, пошлепывая себя ладонью по лысине.— Если бы умела старуха эти знаки понимать — никогда меня плешивым болваном

[1] Кукэну — котел.

уже не назвала бы. Кукэну я. Вот тут так и обозначено! — и опять пошлепал себя по лысине.

Гости вставали один за другим, разглядывая знаки на лысине старика, кто смеялся, а кто, не понимая шутки, высказывал мрачное предположение, что пришельцы, возможно, скоро начнут помечать подобными знаками всех оленных людей.

— Будут! — сделав страшные глаза, подтвердил Кукэну.— Не всех, а кто не способен понимать шутку. У тебя нет такой способности. Зато волос на голове, как травы на кочке. Придется тут вот каленым железом выжигать, как оленя тавром клеймить.— И старик пошлепал себя, вызвав всеобщий хохот, чуть пониже спины.

На следующие сутки опять прибыли гости. На этот раз заявился и Вапыскат. Молча вошел он в ярангу Майна-Воопки, внимательно огляделся. Пэпэв, меняясь в лице, бросилась доставать шкуру белого оленя, предназначенную для самого важного гостя. Майна-Воопка дал ей знак, чтобы не вытаскивала белую шкуру. Черный шаман потоптался у костра и, не дождавшись особого приглашения сесть на почетное место, присел на корточки у самого входа. Пэпэв поставила перед ним деревянную дощечку с чашкой чая. Руки ее так дрожали, что чай расплескался.

Майна-Воопка встал и сказал:

— Я хочу, чтобы гости знали. Мой сын уже восемь суток живет дома. Он здоров. В стаде он все понимает, как настоящий чавчыв. Рассудок его меня восхищает. Мы уходим с сыном в стадо... Я сказал все.

Вапыскат слушал хозяина яранги, часто мигая красными веками и крепко закусывая мундштук трубки.

— В стадо твой сын не уйдет,— наконец изрек он.— Мне надо как следует на него посмотреть, чтобы понять... смогу ли отвратить от него то, что предрекла похоронная нарта?

— Я знаю предречение Пойгина! — с вызовом сказал Майна-Воопка и, взяв сына за руку, вышел из яранги.

Пэпэв было бросилась к выходу, но остановилась против шамана, медленно опустилась на корточки и тихо сказала с видом беспредельной покорности:

— Отврати. Я знаю, ты можешь быть добрым. Отврати...

— Я не всесилен. И ничего не смогу, если не поможете вы — его отец и мать...

— Я, я помогу! Только отврати...

— Попытаюсь... Я приеду через день, через два. Будешь ли поступать так, как я велю?

Пэпэв некоторое время колебалась, что сказать в ответ, но тревога за сына заставила ее в знак согласия низко склонить голову.

— Я не ослушаюсь, только отврати...

14

Несколько дней гости из других стойбищ не появлялись. И Майна-Воопка совсем было уже успокоился, как вдруг кто-то обстрелял стадо. Была темная ночь, луна ныряла, как рыба, в темные рваные тучи. Стадо мирно паслось под присмотром молодого пастуха Татро. Несмотря на темноту, Татро увлеченно писал свое имя на снегу. Усвоил он от Омрыкая начертания еще нескольких слов, и для него было огромной радостью вычерчивать их походной палкой, дивясь тайному смыслу каждой буквы, которые называл он для себя магическими знаками. Да, он считал себя причастным к настоящему таинству, и потому, когда разглядывал свои письмена на снегу, в круглом лице его с заиндевелым пушком под носом был восторг и еще чуточку жути.

Мерно позванивал колокольчик на шее одного из быков, стучали о твердь стылой тундры копыта оленей, сухо потрескивали рога. Все было обычно, кроме таинственных знаков, начертанных на снегу, которые в своем сочетании немо говорили, что тут имеется в виду именно Татро, а не кто-нибудь иной.

И вдруг откуда-то с вершины горы раздались выстрелы. Их было всего четыре или пять. И этого было достаточно, чтобы перепуганные олени бросились в разные стороны. Стадо разбилось на несколько групп, и Татро видел, как каждая из них стремительно убегала в ночь. Одну из групп в полсотни оленей он сумел остановить и успокоить. Но где, где же остальные? Кто стрелял? Как быть? Ныряла скользкой неуловимой рыбой луна, пробивая тучи, выли где-то далеко-далеко волки, и доносился едва уловимый топот копыт разрозненного стада.

Что же делать? Гнать оставшихся оленей к ярангам, оповещать людей о беде? Но пока пригонишь этих, далеко уйдут остальные. Надо немедленно поднять на ноги всех мужчин и женщин! И Татро побежал к стойбищу.

Пять суток чавчыват стойбища Майна-Воопки собирали оленей. Пойгин, взбешенный тем, что кто-то метнул черный аркан над головой его друга, ездил с Майна-Воопкой по тундре, стараясь обнаружить того, кого он пока без имени назы-

вал Скверным. Эттыкай уже привык к тому, что Пойгин почти не пас его оленей, и все удивлялись, почему он его терпит. А тот терпел его скрепя сердце. Да, он с превеликим удовольствием дал бы волю своему гневу, но он был умный и хитрый человек, он умел управлять своими взволнованными чувствами, как управляет хороший наездник распалившимися в беге оленями. За поступками Пойгина он видел не только его непокорный характер, но и то, что придавало ему силу и смелость. Конечно же, ветер перемен, который дул с моря, наполнял паруса байдары этого дерзкого анкалина. Может, он сам пока меньше всего думал об этом ветре, однако байдара его мчалась именно туда, куда поворачивались главные события жизни,— и это надо учитывать. Кто знает, может, еще наступит время, когда именно у Пойгина придется искать защиты: «Не я ли принял тебя в свой очаг, не я ли остепенял тех, кто таил к тебе враждебность?» Ненависть ненавистью, а рассудок рассудком, нельзя его ослеплять.

А Пойгин помогал Майна-Воопке собирать стадо, и снова ему казалось, что он идет по следам росомахи. Оленей нашли не всех. Нескольких важенок порвали волки, несколько десятков ушли в горы, наверное, прибились к диким оленям.

Однажды, глядя с горы на стадо Рырки, Пойгин сказал загадочно:

— Ты не чувствуешь запаха паленой шерсти и горелого мяса?

Майна-Воопка повел носом, принюхиваясь:

— Чувствую.

— Я тоже чувствую. Надо спуститься в стадо Рырки. Ты же знаешь, как любит он метить своим клеймом чужих оленей. И не один он. Вести дошли... В Пильгинской тундре люди из Певека отобрали всех тайно клейменных оленей и отдали прежним хозяевам... Ты же знаешь, кто тайно клеймит чужих оленей. Вот такие, как Рырка, в стаде которого можно легко спрятать всех до одного твоих оленей.

— Что за люди из Певека?— спросил Майна-Воопка, жадно вглядываясь в стадо Рырки.

— Не знаю. Называют их Райсовет.

Пойгин оказался прав: Майна-Воопка обнаружил в стаде Рырки семнадцать своих оленей, на крупах которых еще не успело зажить новое клеймо. Рырка встретил Майна-Воопку громким смехом.

— Твои, твои олени!— откровенно признался он.— Перестарались мои пастухи. Можешь отстегать любого арканом...

— А если тебя?— спросил Пойгин, играя арканом.

— Имеешь ли ты право, нищий анкалин, держать в руках аркан? Ты же и метнуть его как следует не умеешь.

Пойгин взмахнул арканом, и огромный чимнэ врылся копытами в снег, низко нагнув голову. Медленно подтаскивал Пойгин заарканенного оленя, а когда подтащил, Рырка выхватил нож, ударил чимнэ в сердце. Захрапел олень, падая на колени, а затем заваливаясь на правый бок. Пойгин смотрел, как тускнеют его глаза, и чувство вины и острой жалости мучило его.

— Забери, анкалин, этого оленя. Можешь сожрать его, мне совсем не жалко...

— Жри его сам. Я погоню с Майна-Воопкой его оленей, которых ты украл. Придет время, и мы еще посмотрим, сколько в твоем стаде уворованных оленей!

— Кто это «мы»?

— Жди. Узнаешь...

Когда стадо, распуганное чьими-то выстрелами, разбежалось, Омрыкай боялся, что его олененка настигнут волки. Но все обошлось — Чернохвостик жив! Теперь Омрыкай наравне со взрослыми выходил в ночь караулить стадо. Кукэну, несмотря на свою старость, тоже был вместе со всеми. Правда, стадо по распоряжению Майна-Воопки на сей раз паслось возле самого стойбища.

Всех волновало одно: кто стрелял? Кукэну казалось, что это сделал Аляек.

— Ищите Аляека, как росомаху, по его вонючему следу,— напутствовал мужчин Кукэну.

Однажды утром в стойбище приехал Вапыскат и сразу же направился в ярангу Майна-Воопки. Пэпэв почувствовала, как обмерло ее сердце: она и ждала появления черного шамана, и боялась, что это случится. О том, что Вапыскат собирался приехать, она ничего не сказала мужу: давнишняя вражда между ними всегда пугала ее, особенно теперь, когда тревога за сына не давала ей жить. Пэпэв казалось, что, находясь во вражде с ее мужем, Вапыскат может быть особенно опасным, а значит, надо его задобрить. Если не может сделать это муж, то, стало быть, надо ей самой постараться. Едва Вапыскат вошел в ярангу, как она вытащила белую шкуру, постелила у костра.

— Где муж?— спросил гость, усаживаясь основательно, как бы подчеркивая тем самым, что он отлично помнит, как

несколько дней назад ему пришлось сидеть у самого входа.

— Ищет оленей. Кто-то стрелял две ночи назад по стаду.

— Стрелял, говоришь? Кто пас оленей в ту ночь?

— Татро.

— И только он один?

— Да, только он.

Черный шаман попыхтел трубкой, докуривая до конца, выбил ее о носок торбаса, не спеша прицепил к поясу, сказал сердито:

— Знаю Татро. Молодой, глупый. Говорят, больше всех тут чертит поганые знаки на снегу. Сынок твой научил...

— Прошу, не сердись на моего Омрыкая.— Пэпэв умоляюще прижала концы кос к груди.— Мал он еще, не знает, что делает...

— Зато отец и мать должны знать, что он делает. Знаки эти прикликают самых свирепых ивмэнтунов, способных помрачать рассудок любому человеку. У Татро в ту ночь помрачился рассудок, и ему почудились выстрелы. Это проделки Ивмэнтуна. Он оленей разогнал...

— О, горе, горе пришло к нам!— воскликнула Пэпэв, закрыв лицо руками, как это случалось с ней часто, когда ей было страшно смотреть в лик беды.

— Подлей мне горячего чаю.

Пэпэв встрепенулась, сняла с крюка чайник, висевший над костром, обожгла руку. Наполнив чашку чаем, сама подняла ее с деревянной дощечки, протянула гостю. Тот отпил глоток, другой, поморгал красными веками и сказал:

— Ивмэнтун идет по следу твоего сына, как собака за росомахой. Уж очень противный запах принес с собой твой сын, запах пришельца. Вот почему Ивмэнтун пришел в ваше стадо. Взбесились от страха олени... Где твой сын? Наверное, опять чертит на снегу поганые знаки?

— Я его позову.

Черный шаман вскинул руку.

— Не надо. Ты сказала, что будешь послушна мне. Я попытаюсь очистить Омрыкая. Я вытравлю из него дурной запах. Надо бы дождаться пурги. Тогда Омрыкай голый, каким ты его родила, должен будет обойти вокруг яранги три раза с моими заклятиями...

Пэпэв опять закрыла лицо руками: она слишком хорошо знала, что предлагает черный шаман и чем может кончиться такое очищение.

— Я угадываю твои мысли,— сказал Вапыскат. От выпитого чая тело его разгорелось, и он запустил руки внутрь

кухлянки, чтобы унять зуд болячек.— Да, угадываю. Ты боишься, что в сына вселится огонь простуды. Но только этот огонь и способен его очистить. Простуда пройдет, а Ивмэнтун не пощадит, Ивмэнтун рано или поздно настигнет.

Пэпэв молчала, покачивая головой из стороны в сторону, лицо ее было искажено гримасой страдания.

— Но пурги, может, придется ждать слишком долго,— размышлял Вапыскат, не глядя на хозяйку яранги.— Да и муж твой не позволит выпустить Омрыкая голого в пургу. Он не очень чтит меня. До сих пор не может понять, что не я задушил его брата, а духи луны. Да, это они накинули на его шею невидимый аркан и вытащили из него душу. Утащили душу туда,— он ткнул пальцем вверх.— Утащили, хотя душа его и упиралась, как заарканенный олень. Вот это может случиться и с Омрыкаем.

— Нет! Нет!— закричала Пэпэв и заплакала, уткнув лицо себе в колени.

— Можно иначе задобрить Ивмэнтуна.— Вапыскат коснулся мундштуком трубки головы Пэпэв.— На, покури и послушай.

Пэпэв вскинула лицо с заплаканными глазами, какое-то время неподвижно смотрела на черного шамана блуждающим взглядом, потом схватила трубку, затянулась, крепко зажмурив глаза.

— Говори. Я слушаю. Я знаю, ты добрый. Очень добрый.

Вапыскат резко наклонился, сощурил красные веки, так что глаза почти исчезли, спросил вкрадчиво:

— Добрее Пойгина?

Долго, бесконечно долго молчала Пэпэв и наконец уронила голову, прошептала:

— Да, добрее Пойгина.

Чего не сделает мать ради спасения сына. Вапыскат с довольной ухмылкой выпрямился, отпил еще несколько глотков чая.

— Тогда слушай меня и вникай, в чем моя доброта. Кто знает, может, сначала покажется она тебе злом...

— Говори...

— Стадо сейчас пасется у самого стойбища. Омрыкай должен заарканить белого олененка, и ты заколешь его. Только такая жертва ублажит Ивмэнтуна, и он уйдет, не пожелав узреть лик Омрыкая. Это значит, что он уйдет искать иную жертву...

Пэпэв, едва не вскрикнув, опять уткнула лицо себе в колени. Заколоть Чернохвостика? Не значит ли это — ударить прямо в сердце сыну?..

— Ты что молчишь?— раздраженно воскликнул Вапыскат.— Или тебе неизвестно, что этот олененок — существо иного вида? Его, и только его, следует принести в жертву Ивмэнтуну. Может, он тебе дороже, чем сын?

— Нет, нет, сын дороже всего... что я видела и увижу в этом мире.

— Тогда вставай и иди! Иди в стадо. Сын там, я видел его. Но он меня пока не заметил. Не говори, что я здесь. Пусть заарканит пээчвака и тащит сюда, к самому входу в ярангу...

Пэпэв медленно поднялась, сделала несколько неверных шагов, схватилась за голову.

— Я не могу...

— Иди, пока Ивмэнтун не узрел лик твоего сына. Торопись!

Пэпэв вышла из яранги, посмотрела в сторону стада. Оно было недалеко, к тому же пастухи перегоняли оленей на другую сторону пастбища. Олени бежали прямо на стойбище. «Гок! Гок! Гок!» — кричали пастухи, и среди их голосов звонко звучал детский голосок Омрыкая. Пэпэв заплакала, присела на корточки и, чтобы унять головную боль, приложила горсть снега ко лбу.

Вбегали в стойбище первые олени. Вот уже яранги оказались островками с дымными верхушками среди шумного моря оленей. Омрыкай с собранным для броска арканом подбежал к матери, возбужденно крикнул:

— Вон, вон, видишь, мой Чернохвостик!

Пэпэв поднялась на ноги, опираясь на плечо сына.

— Да, да, вижу. Заарканъ его... Я хочу посмотреть, какой ты чавчыв...

Мальчишка провел рукавицей под носом, глаза его выражали восторг и готовность к действию.

— Я могу и быка!

— Не надо быка. Приведи на аркане Чернохвостика. Я хочу посмотреть...

На какое-то мгновение Омрыкай почувствовал что-то неладное. Но может ли мать приносить Чернохвостика в жертву духам без разрешения отца, без особых на то приготовлений? Да нет же, нет! Надо спешить, пока не убежал Чернохвостик слишком далеко. Надо заарканить его на глазах у матери. Пусть посмотрит, какой он чавчыв!

Резко нагнувшись, Омрыкай побежал к белому олененку, принюхивавшемуся к огромной грузовой нарте возле яранги Кукэну. «Ишь, какой любопытный! Ну, ну, принюхивайся. Придет время, и сам повезешь нарту».

Омрыкай, примеряясь метнуть аркан, зашел к олененку с одной стороны, с другой и наконец метнул. И, к величайшему своему конфузу, промахнулся. Это же надо! Так хотел показать маме, какой он чавчыв, а теперь вот хохочут позади приятели, насмешливые слова выкрикивают.

Чернохвостик отбежал от нарты, но недалеко, снова повернул к ней голову, видимо не удовлетворив до конца свое любопытство. Не успел он решить, бежать ли дальше или вернуться к тому месту, где пахло чем-то таким незнакомым, как голову и челюсти его захлестнула петля аркана.

Упирается олененок, мотает головой, чувствуя резкую боль. Маленький человек — все тот же, который так напугал его недавно,— затягивает петлю все туже, и нет уже никаких сил ему противиться.

А Омрыкай, подбадриваемый друзьями, тащил Чернохвостика к своей яранге, и чудилось ему лицо матери, восторженное, с широкой счастливой улыбкой. Не видел он, как помертвело ее лицо, какая гримаса отчаяния исказила его.

— Смотри... смотри, мама, смотри... какой он сильный!— задыхался Омрыкай, подтягивая Чернохвостика все ближе к себе.

Не заметил Омрыкай, как за его спиной встал Вапыскат. Вытащив свой нож из ножен, он сунул его рукояткой в дрожащую руку Пэпэв.

Что происходило дальше, Омрыкай представлял себе, как в страшном сне. Мать подбежала к Чернохвостику с ножом. Омрыкай вскрикнул, выпуская аркан. Но кто-то схватил конец аркана, и снова забился олененок, захрипел. Омрыкай бросился к Чернохвостику на помощь, споткнулся, упал в снег и только в этот миг увидел черного шамана. Да, это он, он перебирал аркан, подтягивая к себе олененка... Чуть поодаль стояли люди — и взрослые, и детишки, и каждый замер от страха. Олененок бьется уже почти у самых ног черного шамана. А мама, родная мама, любимая его мама, целится узким ножом в сердце Чернохвостика. Неужели это не сон? Конечно, сон. Надо проснуться. Скорее, скорее проснуться! И закричал Омрыкай так, как никогда не кричал в жизни. Мать выронила нож, простонала:

— Не могу...

— Держи!— воскликнул Вапыскат.— Держи аркан! Держи! Ивмэнтун смотрит на твоего сына...

Пэпэв вцепилась в аркан, намотала его на руку, поднимая к небу бескровное лицо с закрытыми глазами. Вапыскат схватил уроненный в снег нож, затоптался у олененка, выбирая момент, чтобы ударить прямо в сердце.

Ну почему, почему Омрыкай не вскочил, не заслонил собой олененка? Почему он лежал в снегу и не мог шевельнуться? Думал, что спит? Думал, что видит все это во сне? Или Вапыскат обессилил его? Почему он не встал и не убил черного шамана?

Поднялся Омрыкай только тогда, когда услышал крики смятения многих людей: мертвый олененок упал вниз раной...

Нет для чавчыват ничего страшнее, чем то, когда заколотый олень упадет вниз раной. Тот, кто держит аркан, должен так дернуть его перед смертным мигом оленя, чтобы обреченный упал в снег на правый бок, вверх, и только вверх раной. Если олень упадет на левый бок — примчатся со стороны леворучного рассвета самые зловредные духи, и тогда пусть все стойбище ждет, что смерть посетит тот или иной очаг, и только чудо да самоотверженность шамана могут отвратить беду.

Кричали люди, выли собаки, мчалось по кругу в безумном беге стадо, едва не опрокидывая нарты и яранги. Омрыкай смотрел на все это, плохо соображая, что с ним происходит, порой переводил взгляд на бездыханного Чернохвостика, окрасившего снег под собою. Рядом с олененком сидела в снегу мать и громко завывала, раскачиваясь из стороны в сторону. Над нею склонился Вапыскат, тряс ее за плечи и кричал:

— Ты, ты виновата! Твои грязные руки уронили пэчвака на левый бок. Все вы здесь нечестивые! Я и мгновения больше здесь не останусь. Повернитесь все в сторону леворучного рассвета и ужаснитесь! Оттуда уже идет беда... Я сказал все.

Прокричал черный шаман свои страшные слова и скрылся в безумной круговерти испуганных оленей, словно растворился в снежной кутерьме. Омрыкаю казалось, что и сам он превращается в снежную пыль: сознание покидало его...

Очнулся Омрыкай в пологе. Не сразу различил при тусклом огне светильника лица матери, отца, старика Кукэну. Еще один человек угадывался в углу полога. Омрыкай слабо махнул в ту сторону рукой и скорее простонал, чем спросил:

— Кто там?

— Гатле. Я Гатле,— ответил человек, сидевший в углу.

— Ты мужчина или женщина?

— Не знаю. Рожден мужчиной, косы ношу женские.

Омрыкай ощупал руку матери.

— Что было со мной?

— Ты спал,— печально ответила мать.— Сначала очень долго плакал, а потом уснул. Двое суток не покидал тебя сон. После этого ты перестал быть Омрыкаем.

Мальчику стало жутко: может, он умер, или его мать лишилась рассудка?

— Почему я перестал быть Омрыкаем?

— Пусть тебе объяснит гость,— заговорил отец, подвигаясь чуть в сторону.

Человек с лицом мужчины, но с волосами женщины придвинулся к Омрыкаю, склонился над ним.

— Я гонец от белого шамана Пойгина. Он не может пока прийти к тебе сам. Но попросил меня сообщить тебе важную ве́сть...

— Какую?

— Ты теперь не Омрыкай. Ты Тильмытиль.— Гатле широко расставил руки, изображая парящего орла.— Вот кто ты теперь — человек с именем орла.

— Почему я теперь не Омрыкай?

— Так надо. Белый шаман отвел от тебя Ивмэнтуна. Он и на этот раз победил черного шамана.

И тут Омрыкай в одно мгновение пережил все заново. Мечется Чернохвостик на аркане. Вапыскат выкрикивает злые слова. А потом кровь... кровь под левым боком поверженного насмерть белоснежного олененка — существа иного вида. Мальчику хотелось закричать, как крикнул он в тот раз, когда увидел нож в руке матери, но он только захрипел и зашелся в кашле. Над ним склонились три головы: матери, отца и гостя. Мигал, почти угасая, светильник. Что-то говорил отец, плакала мать, и горестно улыбался гость. Но вот поближе протиснулся старик Кукэну, неподвижно сидевший до сих пор с потухшей трубкой во рту.

— Это диво просто, какое славное у тебя имя!— Вскинув

кверху лицо, словно бы рассматривая небо сквозь полог, старик торжественно произнес: — Тильмытиль.

— Я Омрыкай.

Мать в смятении закрыла ему рот рукой, а отец, приложив палец к губам, всем своим видом показывал, насколько опасно теперь произносить имя Омрыкай.

— Ты Тильмытиль,— ласково уверял Гатле.— Запомни навсегда. И даже во сне откликайся только на это имя... Об этом тебя очень просит твой спаситель Пойгин...

— Где он?— спросил мальчик, когда мать убрала руку с его рта.

— Он преследует росомаху. Но скоро придет. Может, завтра.

Пойгин прибыл в тот же вечер. Медленно снял он кухлянку, погрел руки о горячий чайник, приложил обе ладони ко лбу мальчика. Потом приложил ухо к его груди, долго слушал.

— Какое верное сердце в твоей груди, Тильмытиль. Ровно стучит, гулко стучит. Крепкий ты, очень крепкий, Тильмытиль.

Мальчику хотелось опять возразить: он — Омрыкай, всегда был Омрыкаем, но по напряженным лицам матери и отца понял, что они очень боятся услышать именно это.

Мальчик приложил руку к груди Пойгина и впервые за этот вечер слабо улыбнулся.

— Я тоже слышу твое сердце...

— Ну, и каким оно тебе кажется, Тильмытиль?— подчеркнуто весело спросил Пойгин.

— Ровно стучит, гулко стучит.

— Ну вот и хорошо, что ты откликнулся на новое имя.

— Почему никто из вас ничего не ест?— спросил переименованный в Тильмытиля и опять уронил на шкуры голову, почувствовав слабость.

— Наконец он попросил есть!— воскликнула Пэпэв.

Майна-Воопка неуверенно посмотрел на жену:

— Разве он попросил?

— Да, я, кажется, хочу есть,— сказал Тильмытиль, поворачиваясь на бок.

И начался в пологе пир. Тильмытилю дали кусочек оленьего языка. Сначала мальчик обмер, подумав, что это язык Чернохвостика, но Кукэну понял его, сказал с шутливой укоризной:

— Ай-я-яй, не может отличить язык чимнэ от языка пэчвака.

Да, это, несомненно, был язык чимнэ, и только чимнэ. Тильмытилю очень хотелось спросить, что сделали с Чернохвостиком после его смерти, но он боялся разрыдаться, и Пойгин почувствовал зто. Он понимал, что после такого горя мальчик не скоро успокоится и еще не один раз воспоминания о гибели олененка толкнут его душу во мрак уныния, тем более что ему известно еще и страшное похоронное прорицание черного шамана. А духи различных болезней очень привязчивы к поверженным в мрак уныния, и здесь выход один: вселить в больного свет солнца, устойчивость и спокойствие Элькэп-енэр. Нет, он, Пойгин, когда думал, какое новое имя выбрать мальчику, доведенному до помрачения, не зря остановился именно на орле. Надо внушить больному, что у человека могут появиться невидимые крылья, способные поднять его над самим собой, слабым и сомневающимся. Тот, слабый, сомневающийся, остается где-то внизу; зто уже не ты, да, да, ты уже другой. У тебя, в конце концов, даже имя теперь другое.

Пойгин полагал, что имя надо сменить еще и для того, чтобы сбить с толку злых духов. Они идут за слабым и сомневающимся, как волк за больным оленем, имя его для них как запах их жертвы. И вдруг (зто диво просто!) прежнее имя исчезло, нет запаха, следы потеряны. Скулят, бранятся зловредные духи, спорят, где искать след жертвы. Но нет следа! И остаются зловредные духи ни с чем — больной исцеляется. Вот что значит поднять его на крыльях над самим собой.

Спасал Пойгин помраченного горем и страхом мальчика и тем самым бросал вызов своему врагу — черному шаману, обезвреживал его зло. Если бы не скверные поступки черного шамана — мальчик был бы здоров. Но Вапыскат выпустил по его следу росомаху собственной злобы. Именно росомахой представлял теперь Пойгин злобу черного шамана и верил, что не однажды видел ее; именно злобу видел, преследуя вонючую росомаху в горах и долинах. Дело не в живом облике росомахи, придет время — и он расправится с ней. Гораздо труднее победить невидимую суть зла черного шамана, суть, упрятанную в его слова, жесты, мысли, поступки. И вот теперь, глядя на выздоравливающего мальчика, как-то еще глубже понял Пойгин, что, идя по следу росомахи, он о черном шамане думал, душу для противостояния возвышал. И возвысил ее. Вот почему он теперь способен сделать недосягаемым для зла черного шамана и этого мальчика, с новым именем Тильмытиль, и его мать

и отца, и многих других людей, которые порой чувствуют себя отставшими от стада оленями. Мнится им, что за ними гонятся и гонятся волки или еще хуже — вонючая росомаха. Однако Пойгин внушает им: не бойтесь, за вами никто не гонится, я с вами, черный шаман бессилен вам сделать зло...

— Ты хотел заплакать, но пересилил себя,— сказал Пойгин мальчишке таким тоном, который звучал высокой, очень высокой похвалой.

— Но рыдание все равно живет во мне.— Тильмытиль несколько раз глубоко передохнул, стараясь избавиться от тяжести в груди.— Что-то теснит мне сердце, и я задыхаюсь.

Пойгин понимающе покачал головой и сказал:

— Наблюдай за мной. Постарайся понять, что со мной происходит.

И уселся Пойгин поудобнее, как-то сначала расслабился, потом сомкнул руки на затылке, долго смотрел в одну точку, о чем-то спокойно размышляя. Лицо его было проясненным и очень благожелательным к чему-то такому, что он видел в своем воображении. Порой едва заметная улыбка, как солнечный луч, прорвавшийся сквозь тучи, скользила по его лицу, а взгляд уходил вдаль и в то же время был обращен вовнутрь; и можно было подумать, что у этого человека глаза имеют зрачки еще и с обратной стороны • и он способен видеть себя, каков он там, где живут рассудок и сердце. Пойгин молчал, чуть откинув голову, поддерживая ее легко и свободно сцепленными на затылке руками, но всем, кто на него смотрел, думалось, что он в чем-то их убеждает, успокаивает, обнадеживает, что он видит каждого из них тоже изнутри, где живут рассудок и сердце, что-то меняет в каждом из них, прогоняет уныние и неуверенность.

Было трудно сказать, как долго это длилось, но никто не пожаловался хотя бы втайне самому себе, что испытал чувство суеверного страха, неловкости, устал от напряжения; нет, всем было покойно и светло, как бывает после миновавшей опасности или трудной работы.

Расцепив руки на затылке, Пойгин с той же проясненностью улыбнулся и спросил у мальчишки:

— Понял ли, что со мной было?

— Ты думал...

— Верно. Я думал о тебе, о матери твоей, об отце, о Кукэну, о Гатле. Но особенно о тебе, потому что именно в тебе сейчас для всех этих людей суть особенного беспо-

койства. Если будешь спокоен ты — будут спокойны они. Понимаешь?

— Стараюсь понять.

— Вот-вот, надо стараться понять. Я сейчас тоже старался сосредоточиться на тебе, внушить твоему рассудку, что ты находишься под защитой моей доброты и спокойствия. Я смотрел в одну точку, и мне казалось, что я был способен видеть сквозь полог бескрайние дали и даже будущее твоей судьбы. Мое сострадание к тебе, к твоему отцу и матери, к олененку, гибель которого тебя толкнула в мрак уныния, разлилось далеко-далеко морем доброты. А с моря никогда не приходит ничего скверного. И если ты хочешь подняться, словно орел, высоко и посмотреть, как обширно море этой доброты, то постарайся подражать мне, как олененок подражает матери. Если ты хочешь видеть мать и отца спокойными и уверенными в себе, если ты хочешь, чтобы их не грызла вонючей росомахой тревога, а страх не заставлял унижаться их, как унижалась мать перед черным шаманом,— ты должен, как и я, превращать свое сострадание к ним в море доброты.

Тильмытиль слушал Пойгина и не подозревал, что это было заклинанием белого шамана, заклинанием без бубна, без воплей, без невнятных говорений, лишенных всякого смысла. Наоборот, говорения белого шамана должны иметь глубину смысла, ясность чувства и определенность желаний. Это было разумное, доброе внушение, которое должно успокоить больного, вселить в него веру в себя и прояснить надежды...

Тильмытиль не заметил, как, лежа на мягких шкурах, сцепил руки на затылке, подобно доброму гостю, и тихо радовался уюту родного очага, близости матери, отца — вот они, протяни к ним руку и почувствуешь их живое тепло. И то, что склонный к разговорчивости, к бурным шуткам старик Кукэну сегодня задумчиво молчал, понималось мальчишкой так, что этот старый человек тоже сумел сосредоточиться в думах на нем, что и его доброта разливается морем, со стороны которого не приходит ничего скверного.

16

Пойгин уехал из стойбища Майна-Воопки на собачьей упряжке вместе с Гатле. Ночной мир тундры был раскален студеным мертвым огнем луны. Казалось, что сам снег горел, плавясь и перекипая в зеленом мерцании лунного света,

горел тихо, неугасаемо, горел в огне, излучающем стужу, вызывающем у всех живых существ тоску, которую могут выразить только волки, когда они поднимают морды и воют на луну, как бы умоляя ее поскорее уступить место истинному светилу — солнцу.

Пойгин искал взглядом темно-синие тени, идущие от гор, чтобы не наблюдать лунный мертвый огонь, излучающий стужу. Он любил смотреть на горы, на резкие тени от них, было в их густой синеве что-то от человеческих глаз, когда они наполняются грустью. С горами вместе хотелось смотреть в бесконечность мироздания, они не вызывали грусть, а помогали грустить, и потому живому существу было легче. К тому же сама синева гор и тени от них как бы спорили с лунным светом, гасили ее мертвый зеленый огонь и, кажется, смягчали стужу. Да, было приятно смотреть на незыблемые горы, постигая их высоту и устойчивость, смотреть на клинья густо-синих теней, радоваться, когда они удлинялись, и печалиться, когда укорачивались. Поднимаясь все выше, луна словно торжествовала победу, отвоевывая все больше и больше пространства в свой подлунный мир, сжигая зеленым огнем темно-синие тени. И только дальние горы как бы уплывали из подлунного мира, сохраняя свой темно-синий цвет.

Гатле сидел позади Пойгина. В стойбище Майна-Воопки он приехал всего на двух собаках. Теперь они бежали в упряжке Пойгина, а нарта волочилась на привязи. О том, что Пойгин хотел сменить имя сына Майна-Воопки, он узнал от Кайти; приподняв чоургын своего полога, она поманила его к себе и тихо сказала:

— Сегодня последние сутки того срока, когда у мальчика должно появиться новое имя. Пойгин может опоздать. Его слишком далеко увела росомаха...

— Пойгин появится в яранге Майна-Воопки ровно тогда, когда следует,— возразил Гатле.

— Я не хочу, чтобы в споре с черным шаманом он был побежденным. Омрыкай должен жить! Для этого ему как можно скорее надо сменить имя. Пойгин сказал, что даст ему имя орла. Да, так сказал Пойгин. И разве не жалко тебе мальчика?

Кайти была возбуждена. Последнее время она часто выходила из себя, порой бранила Гатле, кричала на собак, а хозяев яранги прожигала откровенно ненавидящим взглядом.

Гатле понимал, чем может обернуться для него поездка

в стойбище Майна-Воопки, но он покорился Кайти. И вот теперь Пойгин упрекал его:

— Зачем ты ее послушался? Эттыкай не простит тебе этого.

— Пусть не прощает!— вдруг воскликнул Гатле.

Было похоже, что Гатле обрадовался возможности возмутиться громко, ни от кого не таясь.

— Мне надоело быть рабом!— еще громче закричал он.— Я всю жизнь раб. Я всю жизнь оглядываюсь и разговариваю шепотом. Мне надоели женские одежды и эти косы! Дай нож, я их сейчас обрежу. Ты видишь, у меня нет даже собственного ножа, как положено мужчине.

Пойгин вдруг остановил собак, встал с нарты. Медленно поднялся и Гатле. По лицу его пробежала жалкая, просительная улыбка: казалось, что он уже готов был раскаяться за свою неожиданную даже для самого себя вспышку.

Пойгин положил руки на его плечи, близко заглянул в лицо:

— Послушай ты, мужчина, что я тебе скажу.

Гатле вдруг заплакал.

— Ты почему плачешь?

— Меня никто еще не называл мужчиной.

— Но ты же мужчина!

— Да, да, я мужчина!— опять закричал Гатле и принялся рвать свои волосы.

Пойгин схватил его за руки, крепко сжал.

— Мужчина должен быть хладнокровным. А ты кричишь и рвешь волосы, как женщина.

Гатле обмяк, сел на нарту, вытирая оголенной рукой слезы. Пойгин присел перед ним на корточки, раскурил трубку.

— На, покури и успокойся. И слушай, что я скажу. Сейчас мы вернемся в стойбище Майна-Воопки. Но войдем в ярангу Кукэну. Там тебе обрежем косы, пострижем, как мужчину. Кукэну даст тебе мужскую одежду. И ты вернешься к Эттыкаю мужчиной! Понимаешь? Муж-чи-ной!

Гатле слушал Пойгина как бы во сне, страх на его лице сменялся решимостью и решимость снова страхом.

— Нет,— наконец простонал Гатле,— нет. Они убьют меня и тебя.

— Я много думал... убьют они меня или нет. Чем больше думал, тем глубже душа уходила в мрак уныния. Росомаха ужаса начинала идти по моему следу. Но знай, теперь я иду по ее следу! Я перестал бояться смерти. Бесстрашие сделало меня неуязвимым. Мне кажется, что они давно убили бы

меня, если бы росомаха шла за мной, а не я за ней. Они... они и есть росомахи. Да, они могут прыгнуть мне на спину и загрызть. Росомаха умеет затаиться у самой тропы своей жертвы. Но если росомаха и убьет меня, то не так, как убила олениху Выльпы.

Пойгин помолчал с лицом, искаженным болью: память перенесла его на тот страшный кровавый след, оставленный обезумевшей от страха оленихой, за которой неумолимо гналась подлая росомаха. Многое можно простить голодному зверю, но не такое зло: гнаться за беременной оленихой, гнаться до тех пор, пока она не выкинет плод,— этого простить невозможно.

Пойгин какое-то время с ненавистью смотрел на луну, потом перевел взгляд на Гатле и продолжил свои говорения, которыми был обуреваем еще там, в яранге Майна-Воопки, именно говорения, а не просто обыкновенный разговор.

— Да, росомаха в лике главных людей тундры хотела бы загнать меня, как ту олениху. Загнать, чтобы я выкинул плод моей верности солнцу. И потом... потом при свете вот этого мертвого светила,— ткнул тиуйгином, вырванным из-за пояса, в луну,— при ее свете сожрать этот плод. Но что станет потом со мной? Я буду все время дрожать от страха, я никому не смогу помочь. Так нет же, луна не увидит меня бегущим от росомахи.— Опять ткнул тиуйгином вверх.— Я, я буду гнаться за росомахой!.. Я долго стоял возле того окровавленного снега, где росомаха сожрала плод оленихи. Там моя ненависть и сострадание окончательно пересилили во мне страх. Я не боюсь главных людей тундры! Ты понял меня?

Гатле медленно заправил под ворот керкера косы, надел малахай.

— Я слушаю тебя сегодня второй раз, и ты кажешься мне каким-то иным, хотя ты тот же самый. Я знал, знал, что ты добрый, но я не знал, что ты умеешь изгонять из человека страх.— После долгой паузы Гатле добавил: — Я готов с тобой согласиться. Пусть, пусть я стану тем, кем родился,— мужчиной...

Пойгин без промедления повернул собак в обратную сторону, восклицая:

— Ого! Затмись самой черной тучей, луна! Не росомаха идет по нашему следу, а мы преследуем ее!

Пойгин дерзко рассмеялся, погоняя собак. А Гатле жалко улыбался за его спиной и с ужасом думал, что через мгновение-другое попросит повернуть упряжку в сторону стойбища Эттыкая.

— Э, ты зачем впадаешь в робость! Выгони думы бессилия прочь из головы! — весело ободрял Пойгин дрогнувшего Гатле, угадав его мысли. — Я не поверну в сторону стойбища Эттыкая!

— Может, все-таки повернем? Он убьет меня и тебя тоже...

— Я не хочу жить подобно зайцу! Пусть Эттыкай побудет в заячьей шкуре. Я знаю... я вижу, он уже начинает со страхом смотреть на меня.

— Но на меня он никогда не будет смотреть со страхом...

— Пусть смотрит с удивлением. Пусть изумится и почувствует и в тебе силу. Мы едем будить Кукэну! Пусть точит ножницы. Мы сейчас обрежем твои косы...

— Но он может испугаться. Он не позволит обрезать мне косы в своем очаге.

— Позволит! Я знаю его. Он поймет, что так надо.

Кукэну уже спал, но поднялся, едва заслышав голос Пойгина, разбудил жену:

— Вставай, старая, кипяти чай. У нас гости.

Прошло не так уж много времени, и в пологе появился горячий чайник. Старуха Екки с суровым лицом недоуменно смотрела на гостей, стараясь понять, что им надо. Несколько недоумевал и сам хозяин. И когда Пойгин все объяснил, он сначала долго таращил глаза на Гатле, потом зашелся в хохоте. Екки испуганно попятилась от Гатле, вскинула темные, узловатые руки, полузакрыла ими лицо. Начинала пробивать дрожь и самого Гатле. А Кукэну продолжал хохотать, подбадривая Гатле:

— Ты не трясись, если решил стать мужчиной! Не обращай внимания на мою старуху. И чего она так испугалась? Я думал, что Екки уже давно забыла, какая разница между мужчиной и женщиной. — Игриво бочком придвинулся к жене, толкнул плечом. — Неужели помнишь, старая? Сколько это мы детей с тобой нашли вот здесь. — Он ворохнул шкуру в углу полога. — Ах, хорошо было искать их во тьме. Ты красивая была у меня, Екки, и добрая. Особенно когда мы искали детей. Только найдем одного, через год уже другой отыскался...

Екки было замахнулась, чтобы огреть старика торбасом, подвешенным для просушки, однако опустила руку, заулыбалась, отчего лицо ее как подменили, и можно было поверить, что она и вправду была когда-то красивой.

— Ну вот, все вспомнила, моя Екки, повесь торбас на место. — Кукэну осторожно дотронулся до растрепанной го-

ловы Гатле.— Не такие уж у тебя косы, чтобы жалеть их. Мужчина есть мужчина, и настоящих кос ему не надо. Зато дано кое-что другое.— Он шутливо шарахнулся от старухи, как бы предполагая, что она опять вознамерится чем-нибудь огреть его.— Я говорю, что мужчине надо иметь, к примеру, усы! А ты про что подумала, моя Екки? Подай ножницы, пусть Гатле станет мужчиной! Мы еще до восхождения солнца женим его.

Гатле не знал, куда деваться от смущения, и это лишь распаляло старого шутника.

— Если ты не знаешь, что делает мужчина с молодой женой, когда они остаются в пологе одни... я тебе объясню. Я помню еще многое! Сам еще, пожалуй, женился бы на молодой, да боюсь, Екки убьет и меня и молодую жену...

На сей раз старуха ударила торбасом по лысине Кукэну. Изобразив на лице страдание, тот притворно вздохнул:

— Вот так и отшибет старуха мне память, чтобы забыл, что я как-никак еще мужчина.— Повернулся к жене с притворно свирепым видом.— Подай ножницы!

Кукэну сам потянулся за мешочком из оленьих камусов, в котором хранились иголки, наперстки, нитки из жил, кусочки шкур. Старуха попыталась вырвать мешочек.

— Ты что надумал, плешивая кочка? Ты хочешь опозорить наш очаг? Ты хочешь навлечь на себя гнев главных людей тундры?

Виноватая улыбка блуждала по лицу Гатле. Ему очень хотелось сказать, что старуха Екки права, но он молчал, в душе надеясь, что хозяйка яранги не позволит остричь его.

— Послушай меня, Екки,— мягко попросил Пойгин, протягивая старухе трубку,— видела ли когда-нибудь ты покровительницу Ивмэнтуна — вонючую, горбатую росомаху?

Старуха отодвинулась в угол, не приняв трубку:

— Почему напомнил о ней?

— Потому что она преследует Гатле. Ну, если не сама росомаха, то страх в ее облике... Ему надо изгнать из себя страх. Но для этого он должен стать тем, кем родился. Дай мне ножницы. Я обрежу ему косы сам. Я мог бы это сделать не в твоем очаге, прямо под открытым небом, да вот не хочу, чтобы видела луна...

Екки наконец приняла трубку, несколько раз затянулась.

— Нет, под луной не надо,— наконец сказала она твердо и спокойно.— Обрезай ему косы здесь. Только их потом следует сжечь. Нельзя, чтобы хоть один волосок попал черному шаману...

— Зачем сжигать?! — вскричал Кукэну, схватив потрескавшуюся фарфоровую чашечку, аккуратно опутанную оплеткой из медной проволоки.— Посмотрите, какую оплетку я умею делать. Оплету себе голову, а волосы Гатле закреплю на своей плеши. Не женские, конечно, посеку их ножницами под мужские...

Шутил Кукэну, а сам на Гатле поглядывал: не оживет ли его лицо, покрытое смертельной бледностью? Но Гатле был глух к его шуткам, казалось, что он готов броситься прочь из полога.

— Подай мне ножницы сам,— сказал Пойгин Гатле, стараясь взглядом, голосом, всем своим видом внушить ему решимость.

Кукэну положил Гатле на колени мешочек с принадлежностями для шитья, в котором находились и ножницы, и лукаво спросил:

— Ну, что же ты такой недогадливый? Неужели не понимаешь, зачем я тебе положил на колени этот мешок?

— Дайте трубку,— наконец промолвил Гатле, выходя из оцепенения.

Хозяева яранги и Пойгин принялись поспешно раскуривать трубки. Гатле сначала принял трубку Пойгина, глубоко затянулся, потом сделал по затяжке из трубок Кукэну и Екки и опять вернулся к трубке Пойгина, все так и не решаясь вытащить ножницы.

— Скоро ты поймешь, что испытывает мужчина, когда от него пятится росомаха,— сказал Пойгин, пристально наблюдая за лицом Гатле.— Я вижу тебя идущим по тундре в облике мужчины и говорю: это диво просто, как к лицу ему мужская одежда! Я вижу, как идешь ты в сторону солнечного восхода и росомаха пятится от тебя...

Гатле медленно засунул руку в мешочек, нащупал ножницы и с отчаянной решимостью вытащил их.

— Может, потушить светильник? — спросила Екки, а сама между тем поправила пламя, чтобы стало светлей.

— Нет, пусть горит! — почти выкрикнул Гатле и, отдав ножницы Пойгину, нагнулся так, будто не косы предстояло ему потерять, а голову.

— Екки, расплети ему косы,— попросил Пойгин.

Старуха помедлила, затем вытерла руки об один из торбасов, висевших для просушки, и принялась расплетать косы Гатле. Кукэну хотел было разразиться очередной шуткой, но не решился, потому что сам испытал что-то похожее на смятение.

— Я хочу, чтобы вы знали, что росомаха начинает пятиться! — громко возвестил Пойгин и обрезал первую косу Гатле.

Екки чуть вскрикнула, а Гатле еще ниже опустил голову и опять замер в непомерном напряжении. Отдав обрезанную косу Кукэну, Пойгин обрезал вторую. Гатле наклонился еще ниже, почти уткнув лицо в шкуры, не смея подняться.

— Теперь ты, Кукэну, постриги его под мужчину,— попросил Пойгин, чуть похлопав по оголенной шее Гатле.

— О, это я умею! Уж я постригу! — воскликнул Кукэну, принимая ножницы.— Пожалуй, я оставлю на макушке тоненькую косичку, как хвост у мыши, и за ушами еще по одной. Не одному Рырке ходить с такими косичками.

— Нет, не хочу! — запротестовал Гатле, поднимая голову.— Стриги совсем. Я ненавижу свои волосы.

Без кос Гатле было трудно узнать, словно в пологе оказался совсем другой человек.

— Это не он! — воскликнула Екки.

— Нет, это именно он, Гатле,— спокойно возразил Пойгин и добавил торжественно: — Именно он, человек, рожденный мужчиной...

Наутро стойбище Майна-Воопки было поражено тем, что из яранги Кукэну Гатле вышел мужчиной. Он был одет в праздничные одежды Кукэну и выглядел настолько необычно, что его было трудно узнать. По лицу его, как и прежде, блуждала смущенная, беззащитная улыбка, и казалось, что он и ходить-то разучился, настолько неловко и непривычно было ему.

Майна-Воопка вошел в ярангу Кукэну и сказал:

— Екки мне уже сообщила, что произошло с Гатле. И я жалею только об одном, что это случилось не в моей яранге.

— Я рад, что это произошло именно в моем очаге! — весело воскликнул Кукэну.— И правильно, что они пришли именно ко мне. Тут нужен был мой мудрый совет. Ты думаешь, отчего я стал безволосым? Не только оттого, что Екки таскала меня за волосы. Э, нет, была еще одна причина. Скажу вам, что каждый волосок чувствовал, как шевелится мой ум от мыслей. А мысли мои иногда были страшноваты. Вся макушка враз облысела, когда я вдруг подумал: почему бы не перебить всех до одного мужчин, почему бы не забрать их жен и не заселить весь свет только моими детьми? Надо бы вам знать, что мои дети всегда от-

личались послушанием. Столько бы появилось послушных людей! И тогда в этом мире был бы вечный порядок и спокойствие.

— Мудрые мысли, ничего не скажешь,— подыграл соседу Майна-Воопка.

— Пока думал, какой способ выбрать, чтобы загубить всех мужчин,— волосы совсем с моей головы разбежались. Теперь, пожалуй, лишь голова Гатле может сравниться с моей. Покажи моему соседу, какая у тебя голова, сними малахай!

Болезненно улыбаясь, Гатле несмело протянул руку к малахаю и вдруг не просто снял его с себя, а содрал. И съежился, словно его раздели донага. Майна-Воопка осторожно провел рукой по стриженой голове Гатле и сказал:

— Теперь ты тот, кем родился. Если бы у меня была дочь — я бы выдал ее за тебя замуж.

— Я, я ему найду невесту. Через год к этому дню у него уже будет сын!— Кукэну покачал на руках воображаемого ребенка.— А теперь главное — понять ему... как только женщина поставит ему полог и погасит светильник — нельзя терять ни мгновения! Я времени зря не терял, и кто знает, когда я спал в молодости.

— Скорее всего, когда пас оленей,— пошутил Майна-Воопка,— вот уж, наверное, волки любили тебя.

— Волки любят лентяев. А я не был лентяем. Волки чуяли, что я не был ленив — и когда пас оленей, и когда заботился о продлении человеческого рода. Волки ценили это и уводили волчиц туда, где было им угодно заботиться о продлении своего волчьего рода...

— Я-то думаю, отчего в наших местах так много расплодилось волков!— с хохотом ответил Майна-Воопка.

Расхохотался и Кукэну, с удовольствием оценив шутку соседа. Улыбался и Пойгин, покуривая трубку и разглядывая сквозь табачный дым лицо Гатле. Оно не потеряло выражения прежней униженности, но настолько обозначилось в своей естественной мужской сути, что стало намного привлекательней.

— Я так думаю, что Гатле пока не следует показываться на глаза Эттыкаю,— сказал Майна-Воопка.— Там замучают его злыми насмешками. Пусть поживет в нашем стойбище...

— Я хотел просить тебя об этом. Но ты, человек, понимающий горе других, сам догадался,— сказал Пойгин, покрывая голову Гатле малахаем.— Я поеду в стойбище Эттыкая и скажу, что Гатле теперь тот, кем родился.

— Они тебя убьют,— тихо промолвил Гатле.

— Я им скажу, что если это случится,— ты отомстишь за меня. И сам не прощу, если они вздумают сделать что-нибудь плохое с тобой.

— Передай им, что и я не прощу,— сказал Майна-Воопка, сузив вдруг вспыхнувшие гневом глаза.— Тем более что я знаю, кто стрелял по нашему стаду. В стойбище Рырки я осмотрел полозья нарты Аляека. Это его был след на горе. Он подкрался, как волк.

— Как росомаха,— поправил Пойгин.

— Передай им, что я, Майна-Воопка, никогда не давал себя в обиду и не дам впредь. И друзей своих тоже. И пусть Аляек готовит себе запасные штаны, я ему напомню, что означает его имя!

Кукэну опять зашелся в хохоте, затем воинственно вскинул кулаки и воскликнул:

— Передай этим подлым людям, что я, Кукэну, найду их и под землей, когда они провалятся к ивмэнтунам! И тогда самый страшный Ивмэнтун покажется им кротким кэюкаем в сравнении со мной!

Гатле решил остаться в стойбище Майна-Воопки. Проводив Пойгина далеко за стойбище, он сказал ему на прощанье:

— Ты вернул мне то, что было дано мне от рождения. И знай, что я ничего не боюсь. Росомаха пятится от меня. А косы я разбросаю вот здесь, по тундре, пусть ветер уносит их. Будем считать, что женщина с именем Гатле умерла и заново родился мужчина. Возможно, ты поможешь сменить мне имя. Надеюсь, что это будет достойное имя.

Гатле вытащил из-за пазухи свои обрезанные косы и начал разбрасывать по снегу. Студеные белые струи поземки подхватили их и понесли по снежной тундре. И было похоже, что волосы Гатле превратились в длинные, седые космы; нескончаемо тянулись они, извиваясь и уходя куда-то вдаль, в никуда. Гатле следил за их движением с горькой усмешкой и прощался со своим унизительным прошлым.

Выкурив на прощанье общую трубку, Пойгин и Гатле расстались. Гатле долго провожал взглядом удаляющуюся упряжку и плакал. Он знал, что теперь, когда стал мужчиной, ему нельзя плакать, но он не мог унять слез. Пусть это будут последние слезы. Сейчас он успокоится и вернется в стойбище и впервые за всю свою жизнь уйдет с арканом в стадо — пасти оленей, как подобает мужчине, и больше никогда не будет разделывать заколотых оленей, варить мя-

со, кроить шкуры. Хватит! Он не женщина, он стал тем, кем явился в этот мир.

Целые сутки провел Гатле в стаде. Его звали в стойбище поесть, поспать, просушить одежду, но он отказывался, предпочитая вживаться в свое новое положение пока среди оленей. На вторые сутки он решился пройтись по стойбищу. Он по-прежнему чувствовал себя очень неловко на людях, и все-таки постепенно крепло в нем представление, будто он стал выше, а руки и ноги наливались еще неведомой для него мужской силой; и даже голос, который он всю свою жизнь насиловал, становился естественным, и ему было боязно заговорить: выдержит ли горло эту непривычную силу и не оглохнут ли собственные уши? Измученное лицо его по-прежнему было беззащитным и затравленным, но чувствовалось, что вот-вот сквозь гримасу униженности, сквозь выражение безропотности прорвется что-то жестокое, упрямое, даже мстительное. Однако пока в нем больше всего было неуверенности и боязни, что кто-нибудь насмешкой, грубым окриком сделает его застарелую боль еще мучительней.

Но не только это испытание предстояло выдержать Гатле: его повергали в смущение взгляды женщин. Ни одна из них, пока он был в женском обличье, не смотрела на него такими глазами. Казалось, ничего не изменилось — глаза как глаза, однако во взглядах некоторых молодых женщин, направленных на него, кроме любопытства, пряталась какая-то тайна. Раньше он улавливал во взглядах женщин только сочувствие, сострадание, иногда откровенную насмешку, а теперь все переменилось, похоже, он стал чем-то для них притягательным. Хотелось смотреть и смотреть в их глаза — тайна манила, но он смущенно отворачивался и несмело шел к мужчинам, весь превращаясь в слух и зрение: не слишком ли рано он счел себя равным им, не выпустил ли кто из них насмешку, как невидимую стрелу из лука? Но самое трудное было для него заговорить с мужчинами: ведь он до сих пор разговаривал на женском языке. Страшно было по привычке оговориться, да и казалось почему-то стыдным говорить на мужском языке. И он молчал, а когда немыслимо было молчать — мычал, как немой, нелепо жестикулируя.

На пятые сутки жизни Гатле в облике мужчины в стойбище Майна-Воопки приехал на оленях Эттыкай. Он долго смотрел на Гатле, чинившего нарту, и наконец спросил при напряженном молчании жителей стойбища:

— Может, это не Гатле?

— Да, это не тот Гатле, которого ты знал,— спокойно ответил Майна-Воопка.

Эттыкай какое-то время смотрел на Майна-Воопку, одолевая бешенство, и опять закружил вокруг Гатле, как лиса вокруг приманки.

— Оказывается, ты умеешь, как мужчина, держать в руках топор? Ты что сидишь? Боишься, чтобы не слетели штаны?

Как никогда чувствуя себя униженным, Гатле не смел поднять голову, по-прежнему сидел на снегу у нарты. И вдруг глянул снизу вверх в лицо Эттыкая.

— А разве я в твоем стойбище не работал и за женщину, и за мужчину?

— Но ты забыл, что я тебя еще в детстве спас от голода!

— Лучше бы ты меня не спасал.

— Да, лучше бы я тебя не спасал.— Эттыкай дернул Гатле за ворот кухлянки.— Встань, когда я с тобой разговариваю!

Гатле не вставал.

— Встань, я тебе говорю! Надевай керкер и отправляйся домой.

— У меня нет керкера. Я сжег его вместе со вшами.

— Как сжег?— Эттыкай оглядел всех, кто наблюдал за его разговором с Гатле, словно надеясь на сочувствие, но всюду натыкался на откровенно насмешливые взгляды.— Чем ты меня благодаришь? Чем?! Не я ли тебя кормил?

Гатле медленно встал, страдая оттого, что Эттыкай видит его в мужской одежде, поднявшимся во весь рост.

— Это я тебя кормил. Костер жег, оленей свежевал, мясо варил. Вспомни, сколько ты сожрал мяса, сваренного мной...

Эттыкай словно подавился морозным, колючим воздухом:

— Ты... меня... кормил?!

— Да, я. Тебя все там кормят. Пастухи оленей пасут, женщины обшивают тебя и твою скверную Мумкыль...

— Мумкыль — скверная?!

— Да, да, скверная!— вдруг закричал Гатле выпрямляясь.— Я для нее был хуже собаки! И для тебя тоже...

— Ты у кого научился так разговаривать? Анкалин тебя научил? Пойгин?! Сегодня же выгоню его, как самого гнусного духа, из своего очага! Пусть, пусть едет туда! — Эттыкай указал в сторону моря.— Это оттуда идет самая страшная скверна, какую я знал в жизни! Вы уже все заразились.

Вас надо сжечь в ваших ярангах, чтобы не шла дальше зараза, как это бывает при больших черных болезнях!

Лицо Эттыкая заострилось, дрожащие губы посинели, на них пузырилась пена.

— Не укусил ли тебя бешеный волк?— спокойно покуривая трубку, спросил Майна-Воопка.

— Вы сами... сами здесь уже все бешеные волки. Даже Гатле, который был как тень, смеет мне возражать.— Подступился вплотную к Гатле лицом к лицу, будто собирался откусить ему нос.— Или тебе захотелось моих оленей?! Иди, иди, бери! Я слышал... уже отбирают оленей такие вот... в других местах... Вчера пастух, а сегодня хозяин. Все, все хотят быть хозяином. И ты хочешь, да? На, бери мой аркан! Бери! Ну, что ж ты не берешь? Вы посмотрите на него! — Эттыкай вдруг расхохотался.— Посмотрите! Это же не человек, а собачья лапа в штанах! Мышиный помет в мужской одежде!

Гатле покрутил головой, невыносимо страдая от унижения, и вдруг нагнулся, схватил топор. И с такой яростью замахнулся, что Эттыкай попятился.

— Я... я расколю твою голову, как мерзлое дерьмо! Я...

Дыхания у Гатле не хватило, и он, отбросив топор, потянулся обеими руками к своему горлу, зашелся в кашле.

Эттыкай наблюдал, как разрывает кашель грудь Гатле, и постепенно приходил в себя.

— Дайте мне трубку...

Старик Кукэну засуетился, набивая трубку табаком, но тут же унял себя, подчеркнуто показывая, что он не так уж угодлив перед богатым чавчыв, как могло показаться поначалу.

Эттыкай жадно затянулся несколько раз и сказал, ни на кого не глядя:

— Забудьте, что я здесь говорил. Передайте Пойгину, если появится... я его уважаю и рад видеть его в моем очаге. Я сказал все.

И, по-прежнему ни на кого не глядя, пошел к своей упряжке, проклиная себя, что на этот раз не смог не дать волю гневу.

17

А Пойгин в это время блуждал в ущельях Анадырского хребта; он упорно шел по следу той самой росомахи, которая загнала олениху и сожрала ее плод. Да, он хорошо распо-

знал след этой росомахи. Два когтя передней левой ее лапы были сломаны, задняя правая лапа чуть волочилась, загребая снег. Была понятна Пойгину и ее повадка запутывать свой след. К тому же Пойгин угадывал запах именно этой росомахи, который казался ему особенно отвратительным. Он видел вонючую уже несколько раз. Как у всякой росомахи, задние лапы ее были длиннее передних, а башка несоразмерно огромна, словно прикрепили ее к горбатому, с втянутыми боками туловищу, отняв у другого, более крупного зверя. Бурая шерсть у этой росомахи была особенно взлохмаченной, неопрятно топорщилась во все стороны. «Словно ивмэнтуны валяли ее в грязи в своем подземелье»,— неприязненно думал Пойгин о звере. Несколько раз он мог стрелять в росомаху без особого риска промахнуться, но что-то заставляло его подкрадываться к ней все ближе. Росомаха была осторожна, вкрадчиво перебегала от скалы к скале, и Пойгин видел, как сильно она косолапит.

Порой Пойгин надолго терял зверя из виду. Подстрелив горного барана, он освежевал его, три куска мяса использовал для приманок, зарядив возле них волчьи капканы; спустился с остатками баранины в горную долину, где оставил упряжку собак.

Поставив палатку, Пойгин накормил собак, вскипятил на костре чай. Сырой кустарник горел плохо. Пойгин дул в костер до натуги в лице, следил за язычками пламени и представлял себе сумрачные огоньки в глазах росомахи. Обостренное воображение его порой подменяло морду росомахи ликом то одного, то другого из главных людей тундры. Особенно устойчиво виделся Вапыскат: туловище росомахи, а лик черного шамана, даже трубка в зубах. Пытался Пойгин вызвать в воображении лик Рыжебородого, совместить его с росомахой, но странно: вместо ненависти, которая заставляла мысленно поднимать винчестер, Пойгина разбирал смех. Потом он забывал о Рыжебородом и продолжал мысленно следить не то за росомахой, не то за своими врагами. И всякий раз, в зависимости от того, какой лик ему представлялся, росомаха вела себя по-новому.

Росомаха-Вапыскат злобно лаяла, металась из стороны в сторону, порой поднималась на дыбы, вскидывала передние лапы, скалила зубы. Росомаха-Рырка не убегала, а тяжело пятилась, рычала, била по снегу лапами, порой норовила пойти напролом, чтобы свалить с ног преследователя и впиться ему в горло. Росомаха-Эттыкай была хитрее самой лисы, заметала след хвостом, пряталась за скалами, замани-

вала преследователя в свои засады, норовя при этом оказаться где-нибудь вверху, на скале, чтобы неожиданно свалиться ему на спину. Пойгин мысленно целился в многоликого врага из винчестера. Но вот наплывала росомаха с рыжей бородой, и опускал Пойгин винчестер, чувствуя, как распирает его неудержимый хохот.

«Чему же ты смеешься?— мысленно спрашивал себя Пойгин.— До смеха ли тебе?» А смешного действительно было мало. Главные люди тундры все настойчивей напоминали: скоро взойдет солнце, не забудь наш уговор — или ты убьешь Рыжебородого, или в ход пойдет второй патрон.

Пойгин слишком хорошо знал, для чего прибережен второй патрон. Главные люди тундры хотели, чтобы этот патрон, еще не выстрелив, сначала убил его пулей страха. Но эта пуля уже пролетела мимо Пойгина. Главные люди тундры окончательно убедились, что Пойгин не только не струсил, но позволил себе изгонять страх из тех, кто всю жизнь дрожал от одного их взгляда. То, что он сделал с Гатле,— это, конечно, новый дерзкий вызов.

Главные люди тундры не спешили принимать вызов Пойгина, особенно настаивал на этом осторожный Эттыкай. Они лишь с еще большей определенностью давали понять Пойгину, что как только взойдет солнце, так сразу же произойдут события, которым будет суждено развязать все узлы. Но какими будут эти события? Что принесет этот, еще один новый восход солнца в жизни Пойгина? Погонит ли его ветер ярости к берегу моря? Пока что ветер ярости гонит его сюда, в горы, где прячется росомаха. Убить росомаху для Пойгина — значит вынести окончательный приговор главным людям тундры...

Мясо горного барана утолило голод Пойгина. Попив чаю, он покрепче привязал упряжку собак к выступу скалы и опять подался в горы. Седые от инея скалы — существа первого творения — манили его в свои бесконечные молчаливые стойбища. Где-то здесь бродит росомаха; возможно, что она уже попала в один из капканов. Не рано ли он поставил капканы? Ведь если росомаха попалась — надо будет не только выносить окончательный приговор, но и совершать наказание.

К своему изумлению и даже некоторому облегчению, Пойгин обнаружил, что росомаха умудрилась сожрать все три приманки, не задев ни одного капкана. Хитра, о, как хитра! Больше всего похожа на Эттыкая. Но это и хорошо,

что росомаха не попала в капкан: надо еще походить по ее следу и поразмышлять, как быть дальше.

Все выше и выше поднимается Пойгин по каменным выступам в горы, где заиндевелые камни скользки, как лед. Горы похожи на гигантские ледяные торосы. И тишина здесь такая же, как в море, закованном льдами,— до звона в ушах тишина, даже слышен стук собственного сердца. В море, бывало, Пойгин часто гадал, что же это такое: колотится сердце или Моржовая матерь бьет головой в ледяной покров, как в бубен? Вот и сейчас казалось Пойгину, что он слышит Моржовую матерь; тоска по морю, по охоте на морского зверя последнее время все сильнее одолевала его.

Медленно осматривал Пойгин заснеженные горы, усеянные бесчисленными стойбищами каменных обитателей, среди которых было немало молчаливых великанов. Молчат великаны, думают свою бесконечную думу. Муки их вековечной неизреченности, казалось, наполняют годы особенной тяжестью; не потому ли вон те далекие вершины налились такой густой синевой? Наверное, у тоски именно синий-синий цвет. Отвесные ущелья настолько круты, что на них даже не задерживается снег. Глубоки ущелья, и как знать, есть ли у них дно, может, там, внизу, где клубится мгла, кончается земной мир и за ним начинается какой-то другой; а возможно, что это главные входы в подземелье, где живут ивмэнтуны. Не зря же росомаха так жмется к ущельям в своем одиноком блуждании по горам.

Пойгин оглядывал скалы, громоздящиеся над его головой: не таится ли где-нибудь там росомаха? Жутковато в этом безмолвии, за каждой скалой чудятся ивмэнтуны, уж они-то, наверное, целыми скопищами следуют за своей покровительницей. По запаху Пойгин чувствовал, что зверь где-то близко. Вскинул на всякий случай винчестер и вдруг замер: совсем рядом, внизу, по узкому карнизу ущелья, кралась росомаха.

Медленно передвигалась росомаха. Пойгин знал, что у этого зверя очень острое зрение, но слаб он на ухо, и нос у него далеко не такой чуткий, как у лисы или волка. Надо умело затаиться, чтобы не попасть росомахе на глаза,— тогда смотри на нее сколько хочешь.

Вот она остановилась на каменной площадке, присела на задние лапы, а передними начала остервенело чесать себе живот, грудь, шею. Пойгин едва не вскрикнул от изумления: настолько росомаха была похожа на черного шамана, рас-

чесывающего свои болячки. Вапыскат! Да, да, перед ним росомаха-Вапыскат! Только бубна не хватает ей в передние лапы. И какой одуряющий у нее запах, не зря говорят, что даже волки дуреют от этой вони. Вскинув тяжелую голову, росомаха все-таки заметила преследователя и мгновенно скрылась между скал.

Пойгину захотелось как можно быстрее спуститься вниз, к собакам, в которых он сейчас особенно остро почувствовал родных для себя существ. Перед глазами его все еще расчесывала себя росомаха — точно так же, как это делал Вапыскат.

Поскользнувшись, Пойгин больно зашиб колено, присел на выступ скалы, с невольным содроганием огляделся: уж не козни ли это Ивмэнтуна? Он внимательно вгляделся в горные ярусы, уходившие в бесконечную даль. Самый высокий из них, налитый густой синевой, казалось, переставал быть земным камнем и превращался во что-то такое, из чего сотворено само небо. Пройдет еще какое-то время, и над острыми зубцами этих гор покажется краешек солнца. О, какой это будет удивительный миг! Все осветится долгожданным светом главного светила! И сам воздух, застуженный за долгую ночь холодной луной, отогреется и наполнится удивительным светом. И все живое вдохнет его глубоко-глубоко и вскрикнет от радости. Быть может, даже камни чуть шевельнутся и прошепчут свое приветствие солнцу, преодолев проклятье неизреченности.

Предчувствие возвращения солнца в земной мир наполняло Пойгина радостью. Мучительно захотелось увидеть Кайти. Это, конечно, жестоко, что он все чаще покидает ее на несколько суток. Кайти никак не может понять: зачем он так упорно и долго бродит за проклятой росомахой? В последний раз, когда Пойгин собирался на рассвете в свой непонятный для нее путь, она почти сорвала с него кухлянку, заставила снять торбаса, наконец раздела его донага.

Застенчивая, стыдливая Кайти обычно терпеливо ждала, когда Пойгин поведет ее по той особой тропе, когда все сущее как бы остается далеко позади и начинается какой-то иной мир. Тогда наступало забвение, и Кайти казалось, что она сама превращается в этот «иной» мир, принимающий одного-единственного путешественника с солнечным ликом. Руки Пойгина, блуждающие по телу Кайти, представлялись ей осторожными, ласковыми волчатами; научил путешественник этих волчат искать тропу за тропкой к светлой реке, которая берет начало в самой глубине ее сердца. И не-

правда, что сердце ее всего лишь маленький живой комочек тела,— это, наверно, та скрытая часть мироздания, которую можно увидеть только в забытьи. Да, она, как и всякая женщина, испытывала вполне земные ощущения, однако забытье ей посылало что-то похожее на сны, которые она потом рассказывала мужу, уверяя, что видела собственную душу, как совершенно отдельное от нее существо. И представлялась ей душа ликом, похожим на ее собственный лик, только был он какой-то прозрачный, сквозь него можно было видеть и горы, и звезды, и солнце, и плывущих в поднебесье лебедей; а одежды души были не просто из шкур самых красных лисиц, скорее они были сотканы из того свечения, которое возникает вокруг лисы, когда она стремительно мчится, распушив хвост, или высоко взмывает в прыжке перед тем, как нырнуть в сугроб за мышью. Пойгин дивился воображению Кайти и говорил не то в шутку, не то всерьез: «По-моему, ты, как и я, белая шаманка. Но тебе приходят такие видения, на которые я не способен... Значит, ты сильнее меня». Кайти всем своим существом внимала, как блуждают руки мужа по ее телу, и ждала, что вот-вот снова увидит в забытьи горы, солнце, звезды, плывущих в поднебесье лебедей сквозь прозрачный лик собственной души.

А в этот раз, когда Кайти раздела Пойгина, уже было собравшегося в путь, она сама принялась блуждать горячими ладонями по его груди, спине, лицу. «Мне кажется, что это в последний раз,— сказала она, потом притронулась к своему животу, печально улыбнулась,— может случиться, что он, уже во мне живущий, так и не увидит света».— «Ну зачем ты говоришь такие страшные слова?»— начал сердиться Пойгин. Кайти укоризненно покачала головой и сказала все с той же печальной улыбкой: «Ты, оказывается, можешь на меня сердиться...» Пойгин приложил руки к животу Кайти, улыбнулся в ответ: «Живущий в тебе родится весной, так я тебя понял. К тому времени мы поставим свою ярангу на берегу моря. Если бы ты знала, как нам будет хорошо! Я хочу, чтобы родился сын. И станет он у нас великим охотником».— «Уедем на берег завтра, сегодня же! — Кайти приподнялась над мужем, заглядывая ему в глаза.— У тебя есть пять собак, которых ты должен вернуть Рыжебородому. Уедем на них! Ты почему молчишь? Почему лицо твое стало для меня непонятным? Я не могу различить... гнев в твоем лице, страх или сомнения...» — «Гнев есть — гнев на росомаху, сомнения тоже есть, но страха нет,— тихо ответил

Пойгин, неподвижно глядя в огонь светильника, и вдруг принялся одеваться.— Жди меня через сутки. Я пошел смотреть на мироздание и на самого себя изнутри. Мне надо многое понять, иначе не быть нам на морском берегу никогда...»

Пообещал Пойгин жене вернуться через сутки, а вот пошли уже третьи... Немного поспав в палатке, Пойгин опять отправился в горы. На этот раз ему удалось подстрелить особенно крупного горного барана. Решил наказать росомаху, зная ее склонность к обжорству: зверь этот другой раз наедается так, что не может сдвинуться с места.

Расчет Пойгина оправдался: не прошло и полусуток, как он настиг росомаху совершенно беспомощной у съеденного барана. Она лежала на каменистой площадке возле жалких останков барана и время от времени хрипло лаяла: видимо, старалась запугать возможных врагов. Пойгин подошел к зверю вплотную — глаза в глаза. Росомаха пыталась попятиться, но тут же осела, тяжко дыша, давясь лаем и рычанием. Неуклюжая, со свалявшейся шерстью, она внушала Пойгину только отвращение.

— Ну что, подыхаешь от собственной жадности?— спросил он, присаживаясь на корточки и заглядывая зверю в глаза.

Росомаха нашла в себе силы сделать бросок, и Пойгин едва отскочил, испытав острое чувство страха. И это разъярило его: ведь он потому так упорно и преследовал вонючую, чтобы победить в себе страх, и не только перед ней, а и перед теми, кого отождествлял в своем воображении с нею. Пойгин едва не разрядил в росомаху винчестер, но успокоил себя, подумав: «Выходит, что я хочу убить ее от страха».

Зверь рычал, с трудом двигаясь вспять, стараясь упрятаться за выступом скалы; Пойгин перебежал росомахе дорогу, заставив вернуться на прежнее место.

— Рычишь, вонючая, стонешь, жалуешься? А кто сожрал плод оленихи? Ну, ну, почеши, почеши себя, покажи, как ты похожа на черного шамана...

Росомаха упрятала голову в передние лапы, выставив горб. И только время от времени чуть поднимала морду, злобно глядя на преследователя; в глазах ее бродили таинственные сумрачные огоньки, выдавая в ней нечистое существо: не зря ивмэнтуны выбрали своей покровительницей вонючую!

— Ты думаешь, я тебя боюсь? Ну, ну, прикинься Рыркой и Эттыкаем, я тебе объясню, что я о них думаю... и бо-

юсь ли я их. Нет, я их не боюсь! Ну, ну, замри и послушай до конца мои говорения. Ты сожрала барана, который, наверное, в пять раз тебя тяжелее, и не можешь теперь убежать от меня. Вот так бывает... существо, жадно пожирающее другие существа, случается, сжирает собственную силу. Вапыскат почти уже сожрал себя собственной злобой, он объелся страхом людей, как ты вот этим бараном. Я могу всадить пулю в твою голову или воткнуть нож в сердце, но мне достаточно, что ты обмерла передо мной от страха. Я оставлю тебе жизнь. И теперь само мироздание видит, что скверное существо, испускающее вонь и злобу, беспомощно распростерто на камнях передо мной, отомстившим не только тебе, но и тем, кого вижу в тебе. Отомстившим не пулей, а совестью... Вот какие мои говорения. Я не могу стрелять в тебя вот в такую, неподвижную. Я убью тебя в другой раз, уже просто как охотник, которому нужна твоя шкура на опушку малахая и на ворот кухлянки. Да, я убью тебя просто как зверя в другой раз, а теперь я еще и еще раз убиваю свой страх перед теми, кого в тебе вижу. Я убиваю их зло своей совестью...

Росомаха тяжело подняла голову, залаяла.

— Не нарушай тишину, когда меня слушает само мироздание! Где-то в его бесконечных пространствах движется по своему звездному кочевому пути в наш мир главное светило — солнце. Оно близко. Совсем уже близко. Лучи его освещают меня изнутри. Я веду свои говорения не для того, чтобы задобрить тебя, вонючая, а чтобы почувствовали те, кто на тебя похож, непроходящее беспокойство. Если они спят, то пусть им в это мгновение видятся сны с тяжким предвестием, что их уже не спасают своим покровительством скверные существа, подобные ивмэнтунам. Я обессилил эти существа, как и тебя, вонючая. Я выразил все. Теперь я не жалею, что потратил столько времени, преследуя тебя, гнусную покровительницу скверных существ...

Какое-то время он еще смотрел на росомаху, уже отстраненным взглядом, будто был теперь не рядом с ней, а с теми, кого угадывал в ней, смотрел с огромной высоты своего превосходства, и лицо его было торжественно спокойным. И больше не сказав ни слова, ибо каждое из них теперь было бы лишенным силы говорения, он ушел, не оглядываясь на росомаху; и так, наверное, и спустился бы вниз с проясненным чувством человека, сумевшего привести свою душу в соответствие со спокойствием и порядком самого мироздания, если бы не случилось неожиданное...

Прогремел выстрел, прокатившись гулким эхом в ущельях гор, и пуля выщербила камень у самой головы Пойгина. Он в два прыжка оказался за спиной молчаливого великана, принявшего в себя пулю. Но спокойствие, возникшее у него там, возле росомахи, когда он совершал свои говорения, вернулось к нему; равновесие, на миг нарушенное выстрелом, восстановилось. Странно, он словно ждал этого выстрела и нисколько не удивился, что он прозвучал. По тихим, вкрадчивым шагам Пойгин различил, по какой тропе идет человек, стрелявший сверху. Э, у него один путь — пройти мимо поверженного молчаливого великана, или он в противном случае должен вернуться вон к тому согбенному старцу.

За несколько суток, проведенных в преследовании росомахи, Пойгин запомнил здесь каждый камень, жители каменных стойбищ теперь были его друзьями и верными покровителями. По звукам вкрадчивых шагов нетрудно было понять, что злой человек идет к поверженному великану. Что ж, теперь Пойгин знает, как очутиться за спиной у врага. Кто этот невидимый злой человек? Или росомаха сумела превратиться в одного из тех, кого он видел в ней? Даже если бы случилось такое — Пойгин не дрогнул бы: в душу его вселилось спокойствие самого мироздания. Хладнокровие Пойгина вступало в поединок с неуравновешенностью того, кто выстрелил, целясь ему в голову: видно, слишком дрожали у него руки, если он промахнулся. Мечется тот, неизвестный, в стойбище каменных великанов, наверное, чувствует, что он здесь чужой. Зато Пойгин здесь свой. Внимательно наблюдают молчаливые великаны за поединком: они все видят и все понимают; они просто не могут пошевелиться, иначе любой из них прикрыл бы собою Пойгина и обрушился преградой у ног того, кто пришел сюда со зловредными намерениями. Впрочем, один из молчаливых великанов рухнул, быть может, еще тысячу лет назад, словно бы именно затем, чтобы преградить путь человеку, пришедшему сюда по воле злого начала. Пойгин знает, что чуть левее есть в этом камне трещины, в них свободно входит нога. Если не увидишь эти трещины — уткнешься в каменную глыбу, не зная, как через нее перебраться, и тогда все — ты в ловушке. Да, возможно, что тот, кто стрелял, сейчас попадет в эту ловушку. Кто он? Ага, вот его спина. Шарит злой человек свободной рукой по камню, ищет трещины, а в другой руке винчестер.

Аляек! Да, это именно он, брат черного шамана и вонючей росомахи. Не зря у него не только опушка, но и весь малахай из шкуры росомахи. Пойгин поднял камушек, бро-

сил немного левее Аляека. Тот смятенно повернулся в ту сторону, куда упал камушек, вскинул винчестер, прицелился. Хорошо, пусть именно туда и целится. Ишь как напрягся, готовый выстрелить в любое мгновение. Вскинул и Пойгин свой винчестер. Можно всадить пулю прямо в приклад винчестера Аляека, только бы не поранить его самого — пока не надо крови...

И выстрелил Пойгин, вышибая винчестер из рук Аляека. Тот повернулся на выстрел, в глазах его был ужас. Как ненавидел Пойгин эти глаза, всегда в обычное время сонно полуприкрытые, будто этот человек никогда не высыпался. Затекла сине-багровым синяком его щека: зашиб приклад винчестера, в который угодила пуля Пойгина. Винчестер с выщербленным прикладом ударился о камень, отлетел в сторону. Пойгин какое-то время разглядывал оглушенного Аляека с насмешливой задумчивостью, наконец сказал с дерзким великодушием:

— Разрешаю закурить трубку. Но едва шагнешь к винчестеру — убью!

Аляек провел рукой по зашибленному лицу, потрогал языком зубы, сплюнул, окрасив снег кровью.

— Ты мне выбил зубы,— прохрипел он,— вся правая сторона шатается...

— Это неплохо, когда росомаха теряет зубы. Как вышло, что ты промахнулся?

— Я стрелял не в тебя.

— В кого же?

— Почудилась росомаха.

Аляек бросал короткие взгляды на винчестер, который мог в любое время соскользнуть вниз, в ущелье.

— Не смотри на винчестер, все равно не успеешь его поднять,— посоветовал Пойгин со спокойствием человека, которому было совершенно очевидно жалкое бессилие его врага.— А росомаху я тебе сейчас покажу, хотя ты охотился именно за мной, а не за своей сестрой...

— Это еще неизвестно, кому она сестра,— сказал Аляек и полез за трубкой.

Раскурив трубку, он жадно затянулся, затем приложил руку к правой стороне лица, покривился от боли.

— До сих пор звенит в ушах,— словно бы даже вполне миролюбиво пожаловался Аляек.— Ты мог меня убить...

— Ты хотел меня убить.

— Я стрелял в росомаху.

— Лживые слова от повторения не становятся правдой.

— На, покури... мою трубку.

— Меня стошнило бы, если бы я взял ее в рот. Ну а теперь иди туда, куда я тебе велю. Слева есть трещины в камне. Поднимайся вверх, перелазь. Винчестер не тронь.

Аляек докурил трубку, пошел искать трещины в камне. Когда перебрались на другую сторону поверженного каменного великана, Пойгин сказал:

— Иди прямо и не оглядывайся.

Аляек все-таки оглянулся и спросил:

— Ты что, хочешь убить меня? Обратись к благоразумию, поверь, я стрелял в росомаху. Разве ты не чувствуешь ее запаха?

— Я чувствую твой запах.

Хотя Аляек и готов был для встречи с росомахой, все-таки он обмер от неожиданности, как только наткнулся на нее. Зверь, видимо, дремал до этого; проснувшись, попытался сдвинуться с места, скаля пасть и тихо рыча.

— Ты что с ней сделал?— спросил Аляек, изумляясь неподвижности зверя.

— Вселил в нее ужас перед моим гневом. Я видел ее в образе твоего брата. Так что можешь спросить... не она ли подговорила тебя стрелять в мою голову?

Аляек, будучи не в силах преодолеть страх перед росомахой, медленно обошел вокруг нее, наконец сказал:

— Она сожрала огромного барана, потому и не может двигаться. Да, так бывает. Но почему ты ее не убил?

— Тебе это не понять...

— Я догадался! — вдруг вскричал Аляек.— Ты вошел в сговор с этой покровительницей Ивмэнтуна.

— Если бы я вошел с ней в сговор, я убил бы вонючую, содрал с нее шкуру и душил бы людей, как душит твой брат шкурой черной собаки.

— Зачем ты ее оставил живой? Хочешь, чтобы она сожрала меня?!

— Нет, я хочу, чтобы ты ео понюхал...

Аляек поморщил нос, отвернулся от росомахи. Пойгин заметил, как он все время касается рукоятки ножа, висевшего у него на поясе.

— На нож не надейся...— Пойгин не договорил, вскидывая винчестер.— Лучше брось его себе под ноги, так будет вернее.

— Не слишком ли ты труслив? У тебя в руках винчестер, а ты боишься человека, у которого только нож...

— Я не боюсь, я просто угадываю твои подлые мысли.

Аляек притронулся к щеке, выплюнул окровавленную слюну, застонал.

— Брось нож себе под ноги! — еще раз приказал Пойгин.

Аляек опять сплюнул, окрасив снег, медленно вытащил из чехла нож, потрогал ногтем его острие, сказал с недоброй усмешкой:

— Это мой лучший нож. Я мог бы воткнуть его тебе в спину.

— Именно в спину!..

Аляек провел ножом по редкой бородке, соскребая наледь, еще раз тронул ногтем острие и только после этого бросил себе под ноги.

— Ну а теперь пойдем вниз к моим собакам,— приказал Пойгин.

— У меня олени...

— Те самые, на которых ты ночью подъезжал к стаду Майна-Воопки?

— Это не я стрелял по его стаду...

— Ну да, конечно, не ты, видно, стреляла вот эта росомаха...

Пойгин привез Аляека в стойбище черного шамана связанным. На безмолвный вопрос хозяина стойбища он ответил:

— Я заставил твоего брата понюхать росомаху.

Вапыскат бросился развязывать брата.

— Если ты еще раз надоумишь Аляека стрелять в меня... я превращу тебя в росомаху,— продолжал Пойгин, усмехаясь тому, что Вапыскат никак не мог развязать ремни на руках брата.— Я уже несколько раз превращал росомаху в тебя, и мне это легко удавалось.

— Проклятый анкалин!— прохрипел Аляек, встряхнув освобожденными руками. Подув на пальцы, потрогал затекшую синевой щеку, пожаловался брату:— У меня шатаются все зубы на правой стороне, не знаю, как я теперь буду жевать мясо...

Пойгин тронул собак и уже издали крикнул:

— Не вздумайте стрелять в меня второй раз. Ваша пуля полетит в обратную сторону — прямо вам в сердце.

18

Вскоре в стойбище Эттыкая приехал на собаках очоч — начальник, чукча-анкалин, которого называли странным именем Инструктор. Было у него и чукотское имя — Тагро. Совсем еще молодой, этот парень поразил Эттыкая своей независи-

мостью, уверенностью. У него было приятное лицо, еще по-юношески мягкое, на лоб его падала черная челка не по-чукотски подстриженных волос. Он не был заносчивым, но и смутить его оказалось нелегко.

Но самым невероятным было то, что Тагро прибыл не к кому-нибудь, а именно к Пойгину. Вытащив из кожаной сумки бумагу, он с важным видом развернул ее у костра в яранге Эттыкая и протянул Пойгину при общем внимании почти всего стойбища.

— Даю тебе бумагу с немоговорящей вестью о том, что тебя ждут на большом говорении, которое будет в Певеке,— торжественно сказал он.

Пойгин долго крутил бумагу, протянул ее Кайти, наконец спросил:

— Как я туда доберусь? Это очень далеко.

— Ты приедешь на культбазу и оттуда отправишься в дальний путь с человеком, которого вы называете Рыжебородым.

Кайти вскрикнула от неожиданности, выронив бумагу едва ли не в костер. Пойгин схватил бумагу, опять долго смотрел в нее, и по его непроницаемому лицу было трудно понять, что он думает о столь неожиданной вести.

— Когда ехать?— спросил наконец он.

— На культбазу приедешь в первый день восхода солнца.

Эттыкай заметил, как побледнело лицо Пойгина.

— Что будет, если я не поеду?

— Ничего не будет. Просто люди, которые недавно спасли от голодной смерти обреченных, очень опечалятся. Они хотят делать добро. Много добра. Но им нужны надежные помощники.

— Верно ли, что видение голодной смерти не появится больше в стойбищах анкалит?

— Да, это верно. Теперь в Певеке Райсовет будет знать, в каких местах море не послало людям добычу, где грозит опасность голодной смерти. И если такая опасность возникнет — в ход пойдут особые запасы. Все дело в том, как их создавать, как доставлять. На большом говорении все должно быть обусловлено. А для этого нужны люди с таким рассудком, как у тебя, Пойгин.

— Кому известно, насколько полезный для такого дела мой рассудок?

— Многим известно. И чукчам, и русским.

— О, даже русским... кому из них?— спросил Эттыкай, выходя из задумчивости.

— Начальник культбазы Медведев, которого вы называете Рыжебородым, очень высокого мнения о рассудке Пойгина.

Эттыкай с многозначительной усмешкой посмотрел на Пойгина и ничего не ответил. А тот еще раз покрутил в руках бумагу, зачем-то понюхал ее и сказал:

— Я не знаю, что тебе ответить, Тагро. Ответ дам завтра в это время.— Повернулся к жене:— Жди меня поздним вечером или к утру.

Кайти сделала невольное движение, чтобы остановить Пойгина, но тот стремительно вышел из яранги.

Росомаха загнала еще одну олениху, сожрала ее плод. И на сей раз Пойгин решил убить зверя во что бы то ни стало. Он настиг его недалеко от стада Майна-Воопки. Затаившаяся в скалах горы, у подножия которой паслись олени, росомаха терпеливо выжидала, когда отобьется подальше от стада одна из беременных важенок. Она так была поглощена охотой, что не услышала подкравшегося охотника. Первый же выстрел уложил вонючую наповал.

Медленно подошел Пойгин к росомахе. И странно, он не почувствовал удовлетворения охотника, было похоже, что она для него была уже как бы давно убитой. Теперь же оставалось только снять с нее шкуру. Присев на корточки, Пойгин закурил трубку. Курил и оживлял в памяти думы, которые посетили его, когда он выслеживал росомаху. В этих думах оказалось много такого, от чего ушли его сомнения, стало понятнее, как жить дальше.

Да, жизнь его скоро круто изменится. И хорошо, что это приходится на пору восхождения солнца. Отблески его уже все дольше и дольше задерживаются на горных вершинах. Вот и теперь, пройдет еще немного времени, и вершины гор зарумянятся от солнечных лучей, как щеки человека, от которого уходит болезнь. Солнца еще не будет, оно покажется через столько суток, сколько пальцев на одной руке. И тогда Пойгин ударит в бубен. Да, он поднимется на холм или на перевал и так начнет колотить в бубен, что сама вселенная направит в сторону грома невидимое ухо и замрет от восторга. Гром радости, вызванной долгожданным появлением солнца, гром, исторгнутый из души Пойгина с помощью бубна, докатится до самой далекой звезды и снова вернется в его душу.

Это будет ровно через столько суток, сколько пальцев на одной руке. А теперь надо окончательно решить: где это будет? Где тот холм или перевал, с которого покатится гром ра-

дости до самой далекой звезды, а потом вернется обратно? Если Пойгин поедет на большое говорение — то это будет на последнем перевале прибрежного хребта. О, Пойгин так ударит в бубен, что гром приведет в праздничное возбуждение Рыжебородого и заставит его поднять краспую ткань на вершину шеста в честь восхождения солнца. Можно было бы ударить в бубен возле того шеста, имеющего силу священного предмета, но Пойгин не намерен изменять своему обычаю; с тех пор как появился у него свой бубен, он каждый год его громом оповещал вселенную о том, что солнце вернулось в земной мир, вернулось в родной свой очаг и теперь распрягает медногорогих оленей. Так встречал Пойгин солнце каждый год, так встретит и теперь. Но где, где все-таки это будет? Неужели на том перевале, за которым открывается бескрайнее море, покрытое льдами? Если это произойдет там, значит, он, Пойгин, станет другом Рыжебородого. Если же здесь...

Нет, это будет именно там, там и только там! Росомаха убита, и, стало быть, покончено с тем, что таила в себе его странная связь с главными людьми тундры. Какая там связь — вражда, вражда и только вражда! Пойгину до сих пор слышится запах шкуры черной собаки, которой душил его Вапыскат. Запах черного зла, запах вражды, запах смерти. Вот он источается, этот отвратительный запах, убитой росомахой, в которой Пойгин чувствовал сущность своих истинных врагов. С росомахой покончено. Покончено и с главными людьми тундры. Лик росомахи так и не совместился с ликом Рыжебородого. До сих пор, когда Пойгин разглядывал этого человека в своем воображении, он старался отодвинуть его на расстояние выстрела. Не один раз мысленно прицеливался в него Пойгин и тут же опускал винчестер: цель исчезала. Но странно: Рыжебородый не бежал от него, а, напротив, верно бы оказывался где-то совсем рядом, если не сказать, что совмещался с самим Пойгином. А как будешь целиться в самого себя?

Пожалуй, к этой мысли пришел Пойгин вот только что, в сей миг, сидя на корточках возле убитой росомахи. Пойгин понимал, насколько важна эта мысль — едва ли не самая главная в его долгом, мучительном постижении истины. Как будешь целиться в самого себя? В таком случае стреляют не целясь. Но зачем стрелять, зачем убивать в себе жизненную силу, способную одолевать страх и сомнения не только в себе, но и в других людях, которые так нуждаются в помощи? Выходит, что Рыжебородый в чем-то незаметно, исподволь добавил ему, Пойгину, этой жизненной силы...

Если именно в этом истина, то можно считать, что Пойгин уже дал согласие Тагро на поездку в Певек. Да, Пойгин поедет на берег отгонять прочь видение голодной смерти. Ради этого можно отправиться в далекий путь даже пешком. Но у него есть пять собак Рыжебородого. Пойгин добавит их к упряжке Тагро, и тогда на нарту можно будет усадить еще и Кайти. Нет, он ни за что не оставит здесь Кайти, он уезжает на морской берег уже навсегда. Он анкалин, он будет уходить в море так далеко, что даже скроется из виду берег: надо упорством и бесстрашием добывать зверя — только так можно прогнать видение голодной смерти.

Покуривает трубку Пойгин и все смотрит и смотрит на вершины гор: кажется, щеки их уже начинают румяниться. Да, это уже свет солнца, а не луны, свет жизни, свет радости, свет самых добрых надежд. Он еще очень слабый, этот свет, но все равно кажется, что в земном мире вдруг стало теплее. О, это диво просто, что может сделать с человеком солнечный свет: была усталость в тебе, было уныние, даже плечи как-то чуть ли не по-старчески горбились; но вот увиделись отблески солнца — и ты выпрямил плечи, помолодел, вздохнул глубоко-глубоко, словно бы тем вздохом изгоняя из себя усталость, уныние, сомнения.

Пойгин поднялся, сделал такое движение, будто ударил в бубен. Однако рано, рано еще бить в бубен. Краешек солнца покажется над вершинами гор лишь через пять дней. Пойгин снимает рукавицу, показывает на все четыре направления земного мира пять широко растопыренных пальцев — смотрите, сколько суток еще ждать до первого восхождения солнца. Смотри, север,— пять. Смотри, юг,— пять. Смотри, восток,— пять. Смотри, запад,— пять.

Когда погасли отблески солнца на вершинах гор, Пойгин немного погрустил, выкуривая трубку, и принялся снимать шкуру с росомахи: надо было торопиться, пока зверь не окаменел от мороза. Пойгин привычно орудовал ножом и думал, что он, пожалуй, подарит шкуру росомахи Пэпэв — пусть сошьет малахай своему сынишке. Тильмытиль должен носить малахай из шкуры именно этой росомахи, побежденной Пойгином не только пулей, но и совестью.

Судьба Тильмытиля по-прежнему волновала многих чавчыват: Ваныскат предрек ему смерть, Пойгин — жизнь. Черный шаман хотел умертвить его страхом, для этого и убил олененка и все сделал, чтобы тот упал раной в снег. С тех пор стойбище Майна-Воопки ждет несчастья. Но Пойгин сказал людям стойбища, что отгонит прочь злых духов, почуяв-

ших кровь олененка, ушедшую в снег, кровь из раны, которой не суждено было оказаться обращенной к небу. И пусть шкура побежденной росомахи станет подтверждением тому, что он сказал правду. Тильмытиль будет носить малахай из этой шкуры, чтобы чувствовать свою неуязвимость, свое превосходство над теми, кто накликает на него беду и пророчает ему смерть.

Еще немного усилий, и шкура будет снята, Пойгин свернет ее в трубку и спустится вниз, к подножию горы, где дымятся яранги стойбища Майна-Воопки. Отсюда, из нагромождения этих скал, оно видится как на ладони. Не здесь ли таился Аляек, когда стрелял по стаду Майна-Воопки? Наверное, здесь. Теперь осталась от Аляека одна шкура. Нет, Аляек, конечно, жив, он ест, пьет, курит трубку, но он не может теперь, как прежде, внушать людям страх. Пожалуй, надо, чтобы каждый чавчыв из стойбища Майна-Воопки получил по куску шкуры этой росомахи, как знак своего превосходства над враждебной людям силой. Да и сам Пойгин возьмет себе, допустим, вот эту лапу или лучше кончик хвоста; он попросит Кайти пришить этот кончик к макушке малахая или прикрепить к связке семейных амулетов.

Вот и все. Шкура свернута в трубку, пора спускаться вниз. Майна-Воопка ждет очень важного совета: увозить или не увозить сынишку на культбазу. Увозить! Конечно, увозить! Пусть Тильмытиль появится в школе в первый же день восхождения солнца, как и обещал его отец.

Взвалив на плечо рулон уже затвердевшей на морозе росомашьей шкуры, Пойгин начал спускаться вниз, направляясь к горной террасе, где оставил собачью упряжку. И вдруг заметил, что из-за каменного мыса ему навстречу вышел человек. Что-то было очень знакомое и в то же время непривычное в его облике. «Так это же Гатле! — наконец догадался Пойгин.— Гатле в одежде мужчины. Вот еще и ему надо пошить из росомашьей шкуры малахай. Тут хватит и для него».

Пойгин сбросил с плеча шкуру, развернул ее, как бы мысленно раскраивая. Опустившись на корточки, потрогал когти на росомашьих лапах; вот этот, сломанный, он подарит черному шаману — именно сломанный! О, это будет подарок не без значения.

Чем ближе подходил Гатле к Пойгину, тем нетерпеливее был его шаг. Не выдержав, он побежал. «Не случилось ли что-нибудь?» — подумал Пойгин. Но лицо Гатле не выражало тревоги, наоборот, оно было радостным. Улыбаясь, Гатле что-то выкрикивал, задыхаясь, на бегу. «О, это ты! Это все-таки ты! —

наконец различил его слова Пойгин.— Я узнал тебя, когда был еще в самом низу».

Подбежав к Пойгину, Гатле упал на колени возле росомашьей шкуры, боязливо дотронулся до нее рукой.

— Неужели это именно та росомаха?

— Именно та. Носить тебе из ее шкуры малахай.

Гатле сорвал с потной головы малахай, провел обеими руками по коротким волосам.

— Не слишком ли отросли мои волосы? Не пора ли остричься снова?

— Нет нужды. У тебя теперь мужская голова. Даже не узнал тебя сначала... Не могу себе представить, что ты еще недавно был одет в керкер...

— Сжег я свой керкер. Здесь, на горе. Разожгли костер Майна-Воопка и старик Кукэну, и я бросил в него свой старый, полный вшей керкер...

Гатле надел малахай, задумался, уставившись неподвижным взглядом в одну точку. Пойгин внимательно разглядывал его. Было похоже, что отпустила прежняя мука лицо Гатле, исчезли с него следы обиды и отчаянья. И все-таки оно еще не было здоровым.

— Не проклинаешь ли меня, что я изменил твою жизнь?

Гатле встрепенулся, изумленно спросил:

— Я тебя проклинаю?! Да я только о том и думаю, как благодарен тебе...

— Не обижают ли в стойбище Майна-Воопки?

— Нет. Здесь добрые люди. Мне иногда кажется, что все это сон, который вот-вот пройдет.— Гатле помолчал, чему-то печально улыбаясь.— Не хотел тебе говорить... никому еще не говорил... Кое-кто, кажется, хочет разбудить меня...

— О чем ты?

— Я часто ухожу в ночь пасти оленей. Я так люблю ночью бродить по стаду. Случается, что пасу оленей один. И вот уже несколько раз... когда я был один... над моей головой свистели чьи-то пули. Наверное, все-таки не хотят простить мне, что я стал мужчиной...

Рот Пойгина жестко сомкнулся. Он внимательно огляделся вокруг, как бы стараясь уловить ускользающую тень того, кто тайно ходит здесь по ночам со злым умыслом.

— Когда я выслеживал росомаху, мне показалось, что я видел здесь след от нарты Аляека...

— Да, это он. Я однажды гнался за ним. Удивляюсь, почему он не убил меня. У него же винчестер, а у меня только нож.

Гатле вытащил нож из чехла, восхищенно осмотрел его.

— Не убил потому, что боится,— сказал Пойгин, присаживаясь на корточки рядом с Гатле. Взял его нож, повторил в глубокой задумчивости:— Боится. Это значит, что мы показали им свою силу. Но все равно будь осторожен... А нож этот, видно, подарил тебе Майна-Воопка.

— Да, это его нож. Майна-Воопка очень ждет тебя. Тильмытиль стал какой-то странный. Иногда чуть ли не целый день склоняется над своими немоговорящими вестями, что-то шепчет невнятно, поднимает руку, встает, называет имя жены Рыжебородого. Кое-кто в сомнение впал... не помрачается ли рассудок мальчишки?

Пойгин понимающе покачал головой.

— Ничего с его рассудком не случилось. Просто вспомнил свою жизнь на культбазе, заскучал. Надо вернуть его на берег. Я именно это посоветую Майна-Воопке. Послезавтра я тоже уеду на берег. На последнем перевале, с которого видно море, я встречу восхождение солнца.

В лице Гатле отразилось смятение.

— Значит, ты уезжаешь?!

— Да, я уезжаю. Я анкалин. Я не могу без моря. Я уезжаю на берег совсем. Я буду прогонять с прибрежных стойбищ видение голодной смерти.

Низко опустив голову, Гатле с тоской повторил:

— Значит, ты уезжаешь. Как жаль, что ты не успел сменить мне имя.

Пойгин торжественно поднял руку:

— Я сменю твое имя сегодня же в яранге Майна-Воопки. И пусть у тебя будет достойное имя — Клявыль[1].

Гатле сначала беззвучно пошевелил губами, не смея пока произнести новое имя вслух, потом громко воскликнул:

— Клявыль! Ого, вот это имя! Благодарю тебя, Пойгин. Благодарю мать, родившую тебя. Благодарю землю, по которой ты ходишь, воздух, которым ты дышишь. И хочу тебе высказать просьбу.— Гатле сложил руки на груди, лицо его выражало мольбу.— Не оставляй меня здесь. Не оставляй. Меня убьют, если ты уедешь. Только тебя боятся тут нехорошие люди. Я слышал весть, что Аляек недавно как будто выкрикнул во сне: «Не стреляйте в Пойгина, он вернет пулю обратно, прямо в сердце того, кто стрелял. Не стреляйте. Его надо задушить шкурой черной собаки».

Пойгин усмехнулся, отрезая сломанный коготь росомахи.

[1] Клявыль — мужчина.

— Не знаю, умею ли я вернуть пулю в сердце стрелявшего. Однако разуверять Аляека и его друзей не стану. Хорошо, очень хорошо, что Аляек придумал себе такой сон. Он, конечно, придумал этот сон со страху. Наверное, главные люди тундры заставляют его стрелять в меня. Конечно, ему лучше было бы, если бы его брат задушил меня шкурой черной собаки. Впрочем, Аляек один раз в меня уже стрелял и промахнулся. Как ты думаешь, случайно ли промахнулся?

— Ты вселил в него страх. Ты перекосил ему зрение и отнял твердость руки...

— Может, и так.— Пойгин повертел, разглядывая, сломанный коготь росомахи и добавил с усмешкой:— А это я подарю его брату...

Гатле осмотрел коготь, вернул его Пойгину и снова взмолился:

— Не оставляй меня здесь! Я поеду с тобой. Я готов стать анкалином. Да и какой из меня чавчыв... ни одного оленя.

Пойгин попытался снова свернуть шкуру росомахи в трубку, но она стала уже словно железной.

— Придется унести ее так.— Поправил чехол на поясе Гатле, близко заглянул ему в глаза.— Что ж, пусть будет по-твоему. Ты поедешь со мной!

Гатле долго смотрел на Пойгина, словно не веря своим ушам, наконец тихо промолвил:

— Я благодарю женщину, родившую тебя. Я благодарю землю, по которой ты ходишь, воздух, которым ты дышишь...

19

Путь Пойгина, уезжавшего на берег, лежал мимо стойбища Майна-Воопки. Хорошо было бы заночевать у друга, чтобы ранним утром отправиться в дальнюю дорогу. Инструктор Тагро с Пойгином согласился. Отправив жену с Тагро вперед, Пойгин на некоторое время задержался со своей упряжкой: ему надо было сказать кое-что на прощание Эттыкаю.

Воткнув в сугроб шест, Пойгин подвесил к его верхушке на нитке из оленьих жил сломанный коготь росомахи.

— Это мой подарок черному шаману и тем, кто с ним заодно,— объяснил он немало озадаченному Эттыкаю.— Если ты с ним заодно — считай, что это и тебе подарок.

Эттыкай долго смотрел на сломанный коготь, наконец сказал:

— Я понял, о чем говорит твой подарок. Но я его не принимаю...

— Не хочешь ли сказать, что ты не заодно с черным шаманом?

— У меня достаточно силы, чтобы иметь рядом с собой чавчыват, которые были бы достойны оказаться со мной заодно...

— Твои слова я принимаю как мудрое уклонение от прямого ответа.— Пойгин подергал нитку из оленьих жил, чтобы проверить, надежно ли прикреплена она к верхушке шеста.— Я чувствую, что твой рассудок в тревожных думах. Я тоже пережил много сомнений. Потому и ходил так долго по следу росомахи, коготь которой ты видишь. Порой твой лик совмещался с ее ликом. А это значит, что я не могу считать тебя другом. Но враг ли ты мне... этого я не сказал... Я запомнил, что ты говорил Рырке и черному шаману, когда тот душил меня шкурой черной собаки. Если бы ты их не остановил своим благоразумием — они меня задушили бы...

— Да, они тебя задушили бы,— не глядя на Пойгина, в глубоком раздумье согласился Эттыкай.— Если ты оценил мое благоразумие, то я ценю и твой рассудок. И запомни мое предостережение... они не расстались с мыслью убить тебя. Я их останавливаю, но кто знает, как долго они будут соглашаться со мной?

— Благодарю за предостережение. Благодарю, что дал мне и моей жене приют в своем очаге. Правда, у тебя были свои намерения, но ты, кажется, теперь отказываешься от них...

— Да, я отказываюсь от прежних намерений. Я не хочу, чтобы ты поднял руку на Рыжебородого. Я об этом уже объявил тем, кто вел сговор в моем очаге...

— Я тебя понял. Я желаю, чтобы олени твои были всегда сыты и не знали, что такое мор. Я покидаю твое стойбище навсегда...

Эттыкай с бесстрастным видом чуть кивнул, крепко закусив трубку. Долго провожал он сумрачным взглядом удаляющуюся нарту Пойгина и думал о том, что не в силах понять, какого чувства больше у него к этому человеку — уважения или ненависти.

Из стойбища Майна-Воопки выехали ранним утром на трех собачьих упряжках: на одной Пойгин и Кайти, на второй Майна-Воопка с сыном и на третьей Тагро с Гатле, которого уже вторые сутки называли новым именем — Клявыль.

Пойгин давно не видел жену такой веселой; она то смеялась, то пела, то начинала мечтать вслух о том, как они будут

жить на берегу своим очагом. Она уверяла, что ее мать и отец примут их со всей сердечностью, радовалась скорой встрече с ними и все просила погонять собак.

— Все равно раньше чем на третьи сутки до берега мы не доедем,— мягко вразумлял жену Пойгин,— потерпи. Я сам не знаю, что поделать с собой от радости. Вот увидишь, как я ударю в бубен на последнем перевале, перед тем как спуститься к берегу. Это очень добрая примета, что мы возвращаемся в родные места в день первого восхождения солнца.

Кайти долго смотрела на вершины гор и вдруг протянула руку и восторженно закричала, чтобы услышал Тильмытиль:

— Посмотри на вершины, Тильмытиль! Ты видишь, как загорелись снега? Это солнце! Мы еще не видим его, а оно уже видит нас...

Тильмытиль соскочил со своей нарты, которая ехала чуть впереди, дождался упряжку Пойгина и побежал рядом.

— Эй, солнце! — закричал он.— Скорее взойди! Посмотри, как быстро мчимся мы к берегу.

— Не очень-то быстро,— капризно возразила Кайти.— Можно было бы куда быстрей...

Возбужден был и Клявыль. Он тоже соскочил со своей нарты и долго, долго бежал, подбадривая упряжку Тагро.

В первую ночь они спали в снегу. Вторую провели в стойбище, встретившемся на пути. Здесь чавчыват только о том и говорили, что от прибрежных стойбищ отогнано видение голодной смерти и что на завтрашний день приходится первое восхождение солнца. Выехали затемно, чтобы на последнем перевале оказаться ровно тогда, когда покажется над вершинами гор краешек солнца. Всех одолевало радостное нетерпение. Кайти грозилась, что если собаки не прибавят ходу, то она побежит впереди упряжки и всех посрамит. Пойгин ответил шуткой:

— Я бы посоветовал тебе снять керкер, а то он слишком широк, чтобы ты могла быстро бежать.

— И сниму!

— Ты уж дождись солнца. Если оно увидит тебя обнаженной — ни за что не захочет скрываться.

Быстро наступал рассвет. Это был не тот быстротечный рассвет, когда утренняя заря встречалась с зарею вечерней, сочась сумрачным светом. Нет, теперь уже чувствовалось, что солнце совсем близко от земного мира: на небе виден был отблеск медных рогов его белоснежных оленей. Тоненькая льдинка луны как бы таяла в этом отблеске, но упорно не покидала небо, по-прежнему излучая нестерпимый холод.

Все круче и круче становился путь: упряжки поднимались на перевал последней горной гряды, за которой начинались прибрежная равнина и море.

Пойгин на этот раз ехал впереди. К удовольствию Кайти, он все нетерпеливее подгонял собак, часто соскакивал с нарты, подталкивал ее, помогая упряжке преодолевать заструги.

Но вот наконец и перевал — тот самый перевал, на котором в летнюю пору Пойгин и Кайти однажды почувствовали себя единственными существами на свете, способными породить все живое. И теперь они, посмотрев друг другу в глаза, тихо и счастливо рассмеялись.

Поглядывая на вершины гор, зарумянившиеся от солнечного света, Пойгин вытащил из мехового мешка бубен, принялся отогревать его оголенными руками. Предчувствие солнца возбуждало его, он уже слышал внутри себя как бы далеко-далеко возникающий гром своего бубна. И ему представлялось, что он сам — это вселенная, а там, где живут его сердце и рассудок, стоит человек и колотит в бубен. Насколько же он, Пойгин, огромен внутри, если гром бубна доносится из такого далека!

Подъехали вторая и третья упряжки. Тагро, увидев в руках Пойгина бубен, заметно смутился, сдержанно спросил:

— Что ты намерен делать?

— Я буду громом бубна встречать первое восхождение солнца. Я хочу, чтобы этот гром докатился до самой Элькэп-енэр и снова вернулся мне в сердце.

— Я не хотел бы, чтобы тебя считали шаманом,— не скрывая досады, сказал Тагро.

— Я белый шаман!

— Лучше бы ты не был никаким шаманом и навсегда расстался со своим бубном.

Лицо Пойгина омрачилось, но он тут же заулыбался, показывая на вершины сопок.

— Вон там, возле самого высокого зубца, слева, вот-вот покажется краешек солнца. Радуйся, Тагро! Радуйтесь все!

Пойгин с какой-то одержимостью начал подниматься вверх, стараясь достичь широкой плоской скалы, чтобы оттуда возвестить громом бубна о прибытии в земной мир долгожданного солнца.

Как высоко он поднялся! Тишина в мироздании, такая тишина, что, пожалуй, человеческий вздох может услышать сама Элькэп-енэр. Прибрежный хребет ярус за ярусом поднимается в небо, и над самым высоким из них, у острого пика, должно взойти солнце. Оно уже совсем близко. Золотятся

снега. Все живое в земном мире замерло, чтобы через несколько мгновений вскрикнуть от восторга. Пойгин кинул взгляд вниз. Кайти сняла малахай и, прикрыв глаза рукой, напряженно смотрит вверх. Широко расставив ноги, запрокинул голову и Клявыль. Тильмытиль карабкается на скалу. А Майна-Воопка и Тагро смотрят вверх, сидя на нартах, покуривая трубки.

Скоро, очень скоро они забудут о своих трубках. Над острыми зубцами хребта золотится воздух. Как гулко бьется сердце. От такого гула, пожалуй, могут обвалиться скалы. Но горы замерли в предчувствии солнца, как и люди; кажется, что их сейчас не сдвинет с места даже землетрясение. Еще несколько раз ударит сердце, и совершится чудо...

Вот, вот оно! Над вершиной горы, такой острой, что о нее могла бы обрезать крылья птица, возник краешек солнца. И, казалось, вскрикнуло все живое от восторга, и даже шевельнулись каменные великаны и прошептали что-то во славу солнца, одолев на краткий миг тягость вековечной неизреченности. Пойгин набрал полную грудь пронизанного солнцем воздуха и вскрикнул так, что сам не узнал своего голоса. Вскрикнул и ударил в бубен. И покатился гром через все мироздание до самой дальней звезды. Повторило эхо стократно каждый удар бубна в бесчисленных ущельях гор. Ликовали люди внизу. Кричала Кайти, размахивая над головой малахаем:

— Солнце, слушай! Я тоже маленькое солнце. Я дочь твоя!

Клявыль, как мальчишка, прыгал на одном месте, подняв над головой руки, словно пытался достать солнце. Тильмытиль, наоборот, восторженно смотрел на солнце, боясь шевельнуться. Майна-Воопка и Тагро привстали с нарты, действительно забыв о своих трубках.

А грохот бубна в руках Пойгина заполнял вселенную. И чудилось ему, человеку, исторгнувшему гром радости всего сущего, что горы стали невесомыми и поплыли в воздухе, пронизанном солнцем, поплыли вслед за громом бубна, уходившим к самой далекой звезде.

И вдруг Пойгин увидел в своем бубне дыру. Маленькую, круглую дыру. Что это? Как получилось? Затуманенное сознание никак не могло примириться с тем, что, кроме грохота бубна, кажется, был еще и звук выстрела. Да, это был выстрел. Вот еще один. За ним еще...

Пойгин глянул вниз и едва не прыгнул со скалы. Его Кайти лежала на снегу лицом кверху. И снег под ней был такой красный, что он, казалось, бросал вызов самому солнцу. Да

это и был вызов — вызов, который смерть бросила жизни. Кайти его умирала. Ее убили...

Выронив бубен, Пойгин бросился вниз. Прогремело один за другим еще несколько выстрелов. Схватившись за грудь, навстречу Пойгину сделал несколько неверных шагов Клявыль и рухнул лицом вниз. Пойгин схватил Кайти, оттащил за выступ скалы, надеясь, что она еще жива. В то же мгновение за выступом оказались все остальные, кроме Клявыля, под которым все шире расплывалось красное пятно.

— Кайти! Кайти! — кричал Пойгин, глядя в ее лицо. — Ты жива, Кайти?!

Услышав стон жены, Пойгин прильнул к ней лицом, затем развязал тесемки керкера, попытался остановить кровь. Сорвав с себя верхнюю кухлянку, располосовал ее ножом на ленты, крепко завязал рану на ее груди.

Тильмытиль, прижавшись к скале, мелко дрожал. Майна-Воопка и Тагро с винчестерами в руках осторожно выглядывали из-за выступа. Выхватив винчестер из рук Майна-Воопки, Пойгин нырнул в расщелину между камней, начал стремительно подниматься вверх. Ему казалось, что он слышит запах росомахи, которую недавно убил. На сей раз лик ее в воображении Пойгина совместился с ликом Аляека.

— Узнаю твой запах, Аляек! — громко воскликнул Пойгин. — Запах вонючей росомахи!

Пойгин, несмотря на потрясение, сумел оценить обстановку. Аляек — а Пойгин был уверен, что это именно он, — с повадкой росомахи затаился в скалах намного выше того места, по которому должны были проследовать его жертвы. И конечно же, подняться он мог лишь вот по этой расщелине. Отступать ему некуда. Но он мог выстрелить в Пойгина из-за скалы в упор.

— Ну, выходи, выходи, вонючая росомаха! — задыхаясь от ярости и стремительного подъема, кричал Пойгин. — И знай... пуля, выпущенная в меня... вернется тебе прямо в сердце.

Аляек медлил с выстрелом.

— Выходи! Я чувствую тебя по запаху!

Сделав еще несколько стремительных бросков, Пойгин перевалился через гряду острых камней и оказался на узкой каменистой площадке. В конце ее, прижимаясь спиной к скале, действительно стоял Аляек. Вскинув винчестер, он выстрелил... И когда увидел, что Пойгин жив и невредим и неотвратимо надвигается на него, бросил винчестер, схватился за нож...

Выстрел Пойгина заставил его выронить нож. Медленно

опустился он на колени, цепляясь за скалу. Пойгин выстрелил еще дважды.

— Ну вот, я убил в тебе три росомахи,— сказал он, протирая тыльной стороной руки глаза.— Одну с твоим ликом, вторую с ликом твоего брата, третью с ликом Рырки. А четвертой — с ликом Эттыкая — я шлю предупреждение!..

Пойгин выстрелил в скалу, чуть повыше мертвого Аляека. В памяти всплыли красные пятна крови под Кайти и Клявылем. Застонав, Пойгин бросился вниз, рискуя разбить о камни голову.

Кайти внизу не оказалось.

— Где, где она?— закричал Пойгин.

— Тагро увез ее на берег. Она еще жива,— ответил Майна-Воопка и кивнул угрюмо в сторону Клявыля.— А он... он... Ему уже никто не поможет, даже русские шаманы...

Пойгин медленно подошел к Клявылю. Был он перевернут вверх лицом, и незакрытые глаза его незряче смотрели в небо. И казалось, что он разглядывает недоступную взору живого Долину предков, выбирая тропу иной своей судьбы...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Велика сила памяти: сколько лет прошло, а Пойгин до сих пор слышит гром того бубна, что поднял он над головой на освещенном первым солнечным лучом перевале... Гремит бубен. Звуки его уплывают к самой дальней звезде. Вот, кажется, и горы, и Пойгин поплыли в небо. И вдруг в бубне возникла дыра. Словно бы и не дыра, а злобный глаз росомахи. Так Пойгин узнал о несчастье...

Давно сошел тот снег, который окрасила кровь Кайти и Клявыля, много раз падал новый. Но не выпал снег забвения. Как наяву, видятся Пойгину те кровавые пятна на перевале...

Русские шаманы (теперь-то Пойгин знает, что их называют врачами) спасли Кайти. Долго мучила ее росомаха смерти. Пойгин был на грани безумия: от надежды на русских шаманов он переходил к подозрению, что ее зарежут, рвался в больницу, требовал, чтобы ему показали Кайти. Даже бросился с ножом на Рыжебородого, и тот отнял нож, связал Пойгину руки — сила у него была нечеловеческая.

— Ты... ты рыжая росомаха!— задыхался Пойгин, сидя на полу больницы со связанными руками.

Против него сидели Рыжебородый, Майна-Воопка и Тагро. Да, Рыжебородый тоже сидел на полу и уговаривал:

— Приди в себя.

— Ты росомаха! Почему я не убил тебя!

— Не поддавайся ветру безумия,— остановил его Тагро.— Кайти уже совсем умирала. И если кто может ее спасти, то лишь русские шаманы-врачи.

— Надо в это поверить,— сказал Майна-Воопка, осторожно поднося ко рту Пойгина раскуренную трубку.

Пойгин уклонился от трубки.

— Зачем он связал мне руки?

— Ты не в себе,— стараясь быть как можно вразумительнее, объяснял Тагро.— Мешаешь спасать врачам твою жену. Образумься.

— Да, да, образумься,— просил и Майна-Воопка.

А Кайти несколько дней пролежала без сознания. Наконец рассудок ее осторожно, будто немощный старик, вышел из мрака. Сначала Кайти увидела над собой чьи-то глаза. Большие и синие. Такие глаза она еще не видела, словно на нее смотрел неземной житель. Облизав пересохшие губы, Кайти хотела попросить воды, но голос еще не вернулся к жизни. Где она? Может, уже перекочевала к верхним людям? Наверное, так, если вот эти непонятные существа в белом совсем непохожи на обыкновенных людей. Хотя бы трубку кто-нибудь из них закурил, чтобы ощутить земной дух. Но нет, никто не курит, и ничего невозможно понять из их странной тихой речи. Почему она вся в белом? И грудь ее завязана чем-то белым. Болит, очень болит грудь, никогда ей не было так трудно дышать. И хочется пить.

Над Кайти склонилась женщина с неземными волосами. Земные волосы черные, а эти светлые и почему-то не заплетены в косы. Потом, уже много позднее, Кайти узнала, что это была жена Рыжебородого. Она умела говорить по-чукотски.

— Вот и хорошо,— тихо сказала женщина с неземными волосами,— рассудок вернулся к тебе. Ты будешь жить.

— Где я?— спросила Кайти.

— Ты в больнице.

— Что такое больница?

— Потом узнаешь.

— Я очень хочу пить...

Кайти смочили губы. Только смочили... Неужели этим странным людям жалко воды? Какая-то неясная мысль мучила ее. Она напряженно силилась понять, что ее так беспокоит? Вот, вот уже совсем близко догадка. Только бы не ушел во мрак рассудок. Ну о чем, о чем ей так хочется спросить?! И вдруг ворвалось в сознание: «Пойгин! Где Пойгин?!» И стало Кайти еще труднее дышать. Она попыталась высвободиться из тугих белых повязок и опять потеряла сознание.

Прошло еще несколько суток, и Кайти уже могла все время помнить о Пойгине. Теперь она связывала себя с жизнью только этой неотступной мыслью: если помнит о Пойгине, значит, еще жива. Наконец Пойгин предстал перед ней. Ему объяснили, что он должен постоять возле жены всего несколько мгновений и что ей нельзя разговаривать. Пойгин смотрел на Кайти и не узнавал ее: как далеко ушла она, еще немного, и, наверное, совсем покинула бы этот мир. Кайти болезненно улыбнулась, хотела что-то сказать, но Пойгин остановил ее.

— Тебе нельзя говорить. Голос порвет рану в груди.

Я знаю, ты будешь жить. Русские шаманы вытащили пулю Аляека из твоей груди. Я видел... эту пулю...

Кайти едва приметно кивнула головой и заплакала.

— Не плачь, Кайти, ты жива, и это главное. Я скоро поставлю ярангу, и мы опять будем жить своим очагом. Я поверил в этих людей в белых одеждах. Поверь и ты...

Кайти опять кивнула головой.

Посетив Кайти в больнице, Пойгин ушел в морские льды и долго бродил в одиночестве, вслушиваясь в ледяное безмолвие с надеждой, что услышит, как Моржовая матерь стучит в ледяной бубен. Кайти жива! Люди в белых одеждах уверяют, что все самое страшное уже позади. Как же получилось, что он поначалу только мешал им? Теперь ему так стыдно перед ними, особенно перед Рыжебородым! Надо бы ему сказать об этом, но гордость мешает...

И все-таки, вернувшись поздним вечером с моря, Пойгин пришел к Рыжебородому, сказал в крайнем смущении:

— Мне стыдно...

Медведев долго смотрел на позднего гостя, стоявшего у порога, потом сказал:

— Садись пить чай. Важно, что Кайти жива...

— Я сам ушел бы к верхним людям, если бы она умерла...

«Да, этот мог бы, мог бы покончить с собой»,— подумал Артем Петрович.

— Я тебе подарю свой нож. Хорошо, что ты оказался такой сильный и отнял его у меня.— Пойгин снял с пояса нож в чехле из лахтачьей шкуры.— Я бы тебе подарил еще и свою трубку... ее курил мой дед... но ты не куришь.

Медведев хотел сказать, что у русских не принято дарить и получать в подарок нож, однако передумал.

— За нож спасибо. А трубку храни, это же у тебя память о деде.

— Да, мой дед достоин того, чтобы о нем помнить больше, чем о себе. Я бы с радостью думал, что дед вернулся в моем лике в этот мир, если бы не знал, что он был намного лучше меня...

— Пей чай...

— Спасибо. Чаю очень хочу. Долго был в море, застыл. Слушал, как стучит Моржовая матерь в ледяной бубен.

— Услышал?

— Такое человеку слышится не только ушами. Не ушами слышал...

— Понимаю. Ты хотел успокоиться.

— Да, я успокоился. Завтра буду ставить новую ярангу.

Майна-Воопка помог... На пяти оленьих упряжках привез шкур, рэтэм и вполне достаточно жердей для каркаса.

— Я вижу, вы большие друзья.

— Он мне как брат.

— Желаю тебе как можно скорее войти в свой новый очаг вместе с женой.

— Если бы умерла Кайти, умер бы и ребенок в ней...

Медведев знал тревогу врачей: больная была на предпоследнем месяце беременности, могли произойти преждевременные роды; но и эта опасность, как надеялись врачи, теперь уже миновала.

— Где твоя жена?— спросил Пойгин, поглядывая на дверь во вторую комнату.— Я хотел бы сказать... насколько благодарен ей за то, что она помогает Кайти в разговоре с твоими шаманами...

— Она там, в больнице.

Пойгин надолго умолк, какой-то необычайно мягкий, доверчивый и тихий, наконец сказал:

— Завтра же начну ставить ярангу. Вот обрадуется Кайти, когда узнает, что у нас есть новый очаг...

Медведев понимающе кивнул головой. Пойгин опять весь ушел в себя. «Как он осунулся и похудел»,— с глубоким сочувствием подумал Артем Петрович.

Не так уж и много слов Пойгин промолвил в этой вечерней беседе, но, как сказал он, «человек слышит не только ушами». Вот и Артем Петрович кое-что расслышал не только ушами: сегодня, пожалуй, Пойгин признал его окончательно. Что ж, этому можно только радоваться...

2

Яранга Пойгина стала одиннадцатой возле культбазы. Все ближе сюда подвигались и другие стойбища анкалит: возникало большое селение, которое чукчи назвали Тынуп — Возвышенность. Назвали так потому, что стояло селение на возвышенном месте, к тому же дома культбазы казались им удивительно высокими. Вот в этом селении из деревянных домов и яранг и появился у Пойгина новый очаг, появились и новые его хранители. У Кайти родилась в этом очаге дочь. Началась новая жизнь. И можно было бы опять взойти на гору с бубном и возвестить всему свету о рождении дочери. Пойгин уже готовился к этому, но в ярангу вошел человек, который назвал себя следователем.

Допрос шел на культбазе, в комнате для гостей. Следова-

тель милиции Дмитрий Егорович Желваков искренне пытался понять Пойгина. Переводчиком у Желвакова был инструктор райисполкома Тагро.

— Внуши Пойгину,— просил его Желваков,— пусть он все объясняет точно, а то похоже, что он, чудак такой, наговаривает на себя. Пусть расскажет еще раз, как он убил Аляека. Почему у него оказались три раны?

Пойгин отвечал нехотя, порой выражал удивление, что ему задают странные вопросы.

— Скажи русскому, что я в Аляеке еще раз убил росомаху. И не одну. Я убил в нем росомаху с ликом Рырки и еще одну — с ликом Вапыската. Четвертый выстрел послал в камень как предупреждение росомахе с ликом Эттыкая...

Тагро добросовестно перевел ответ. Желваков попытался было записать, однако бросил карандаш на стол, мрачно задумался.

— Черт его знает, что и записывать.— Долго смотрел на Тагро отсутствующим взглядом, вдруг спросил:— Почему он называет себя шаманом?

— Он белый шаман...

— Но все-таки шаман. Я вынужден занести это в протокол. Теперь вот и доказывай, что он не верблюд.— Догадавшись, что Тагро не понял, при чем здесь верблюд, досадливо махнул рукой.— Запутались мы с тобой окончательно. Надо поговорить с Медведевым, чтобы кое-что прояснил. Кстати, мне и его допросить надо... Шутка сказать, ему пришлось, как я теперь понял, связывать этого молодца,— кивнул на Пойгина.— Лихой малый, ничего не скажешь.

Пойгин встретил Медведева облегченным вздохом: он уже окончательно уверился, что этот человек приходит к нему на помощь в самых трудных случаях. Артем Петрович подбросил угля в печь, подогрел чайник, разлил чай по чашкам. Желваков между тем делился своими впечатлениями о Пойгине.

— Помешался на какой-то росомахе. Не пойму, дурачит он меня или, может, с каким-то заскоком...

Медведев осторожно поставил чашку на стол.

— Нет, дорогой Дмитрий Егорович, не то и не другое. Размышления вашего подследственного о росомахе — это целая философия, или, если хотите, сложный нравственный поиск...

У Желвакова вытянулась шея, еще больше обозначился кадык.

— Даже так?

— Именно. Этот человек, так сказать, на собственной шку-

ре понял, что носителями зла являются, как правило, сильные мира сего, которых называли «главными людьми» тундры. Он не мог им простить их сытость, когда рядом другие умирали с голода. Он чувствовал в них отвратительную росомаху, которая следует по пятам за своей жертвой. Но если Пойгин до сих пор был борцом-одиночкой, то теперь у него есть друзья. Вот я, к примеру...

Артем Петрович шутливо постучал себя в грудь.

— Ничего себе дружка вы нашли. Он признался, что долго думал... не убить ли вас...

— Я не верил и не верю его угрозам. Возможно, он и хотел поднять на меня свой винчестер, но главное для него было — разглядеть, не живет ли и во мне та самая росомаха, которая таит в себе, как выражаются чукчи, злое начало. И в этом тоже был поиск истины. Поначалу Пойгин был наслышан, что культбаза — исчадие самого страшного зла. И кому, как не ему, белому шаману, непримиримому врагу всяческого зла, было не встревожиться? Вот он и явился однажды на культбазу, чтобы убедиться воочию, как тут обстоят дела. Видели бы вы и слышали бы, как он дотошно все тут высматривал и выспрашивал.

— То есть, другими словами, этот чукча пытался дойти до всего своим умом?

— Именно так. Не сразу постиг он истину. В своем воображении он, может быть, прошел полвселенной по моим следам, прежде чем понял, куда они ведут. И пусть, пусть он мысленно целился в меня, чтобы острее разглядеть, кто я, кто мы тут все. Но выстрелил-то он в Аляека, в этого гнусного подручного здешних богатеев.

— Не знаю, будет ли оправдан этот выстрел с юридической точки зрения... Даже три выстрела.

Медведев изумленно отодвинул от себя чашку с чаем.

— Но ведь тут... тут шел самый настоящий бой. Аляек мог всех перестрелять из своей засады...

— Скорее всего вы правы,— задумчиво сказал следователь.

Насколько Медведев оказался прав, Желваков убедился очень скоро. Ночью кто-то стрелял по окнам культбазы. Три пули пробили и ярангу Пойгина. А наутро Желваков и Пойгин догоняли за перевалом Рырку. То, что стрелял Рырка, Пойгин определил совершенно точно: он угадывал его следы так же легко, как и след убитой им недавно росомахи.

Рырка загнал обессиленных на береговой бескормице оленей, укрылся в скалах. Пойгин тоже погнал собачью

упряжку в скалы. Он объяснил русскому жестами, чтобы тот спрятался за камни. Но Желваков лишь усмехнулся, мол, за кого ты меня принимаешь, выхватил из кобуры наган и пошел на сближение с Рыркой. Пули винчестера, дробившие камни, не остановили Желвакова. Вдруг следователь схватился за плечо и повалился на снег. Пойгин выстрелил наугад между камней и утащил русского за скалу. Рырка был где-то рядом.

— Русский жив?— спросил он из-за скалы так, будто нащупывал возможность примирения с Пойгином.

— Он жив. Но ты будешь мертв!— ответил Пойгин, ужасаясь тому, как быстро под русским краснеет снег.

Да, это такая же кровь, как у Кайти, как у Клявыля: покидает человека жизненная сила...

— Добей русского, и я все тебе прощу!— крикнул Рырка.

— Зато я тебе ничего не прощу!

— Иди к своим собакам и уезжай. Я не буду в тебя стрелять.

— Не хитри, вонючая росомаха. Сегодня я сниму с тебя шкуру.

— Я знаю, у тебя родилась дочь. Недолго ты будешь видеть, как она сосет грудь твоей Кайти, если даже уйдешь из этих камней живым. Выбирай: или этот недобитый русский, или дочь...

— Я не хочу слышать твоего лая, подлая росомаха.

Пойгин смотрел на русского и думал о том, что его надо как можно быстрее увезти на берег. Но как? Рырка убьет их обоих, как только они покинут камни. Желваков, кривясь от боли, с надеждой смотрел на Пойгина.

— Не оплошай, брат,— прошептал он одеревеневшими губами.— Не оплошай.

Пойгин лег на снег и пополз за скалу. Рырку он увидел так близко, что мог схватить его за ноги. Тот шарил рукой в расщелине, видимо намереваясь взобраться наверх. Если бы ему это удалось, он мог бы прыгнуть на русского сверху, как росомаха. Почувствовав опасность, Рырка быстро обернулся, вскинул винчестер, но было поздно: Пойгин опередил его...

Подув на окоченевшую руку, Желваков поднял наган: он не знал, кто покажется из-за скалы после выстрела, который только что прозвучал. Показался Пойгин...

— Спасибо, брат,— прохрипел Желваков и потерял сознание.

Пришел он в себя уже в больнице культбазы.

3

Кайти кормила грудью ребенка, прислушиваясь к каждому шагу у яранги: не вернулся ли Пойгин? Тревога за него, казалось, иссушала молоко. Маленькая Кэргына почти беспрестанно плакала: никак не могла насытиться... Кайти знала, что Пойгин вместе с русским, которого звали милиционером, помчался на собаках, чтобы настигнуть подлую росомаху с ликом Рырки. О, она слишком хорошо знала, что такое Рырка. Ей вспомнилась первая встреча с ним. Самодовольный, всесильный, он нисколько не сомневался, что Кайти покорится беспрекословно, стоит ему сказать ей лишь одно слово. Но вышло по-другому. С какой яростью Рырка воспринял ее отпор! Казалось, что широкие ноздри его разорвутся — так свирепо он дышал, словно бык, у которого увели важенку. Рырка представлялся Кайти страшным существом, способным рушить камни, перегрызать железо. И вот теперь по следу этого зверя устремился Пойгин. И Кайти не знала, чем унять тревогу, как прогнать липкий озноб страха. Добавив огня в светильнике, плотнее прижала к себе Кэргыну. Вот она, крошечная девочка, женщина из солнечного света — таков смысл ее имени. Рядом мать и дочь — Маленькое ходячее солнышко и Женщина из солнечного света. И если в них так много солнца, то все, все должно быть хорошо. Нельзя так волноваться, иначе страх пережжет молоко. Надо успокоиться. Надо вспомнить, что говорит Пойгин о солнце, которое прогоняет любое зло, а стало быть, и зло страха. Как жаль, что Кэргына еще совсем мала и не годится в собеседницы. Но пусть, пусть слушает, она все-таки живое существо, пусть и крошечный, но человечек.

Осторожно дотронувшись губами до ушка дочери, Кайти заговорила, раскачиваясь:

— Ты не знаешь, какой этот Рырка. Даже лик у него как будто не человеческий. У него столько оленей, что уже никто не может их сосчитать, и половина — с чужим тавром. Когда я смотрела на Рырку, мне казалось, что из-под ног его, как из-под копыт, летят камни и земля, а из ноздрей пышет пламя. Вот с кем пошел мериться силой твой отец.

Кэргына, словно поняв страшный рассказ матери, вдруг снова заплакала, личико ее сморщилось, покраснело.

— Ну, ну, успокойся, отец твой может одолеть любого зверя, одолеет и Рырку, хотя этот Рырка — настоящий келючи. Но твой отец выходил и на келючи и остался жив, а келючи сожрали звери и расклевали птицы. Я вижу, ты ме-

ня понимаешь, ты успокоилась. Вот и мне стало спокойнее. Как хорошо мне видеть тебя, слышать твой запах! Ты будешь здоровой и красивой, как твой отец. Нам бы только дождаться его возвращения. Он такой сильный и ловкий. О нем говорят, что он человек, которому не может помешать ни один, даже самый злой дух страха. Ты появилась в этом мире потому, что я убежала с ним, не послушав ни мать, ни отца. Мы блуждали по тундре из стойбища в стойбище, холод и голод бежали за нами и кусали, как собаки. Мы вернулись на берег, и, кажется, мать с отцом нам все простили. И я не знала, какую принести жертву духам за их благосклонность ко мне, за благосклонность к человеку, которого я люблю больше жизни. Я бы принесла в жертву духам даже собственную жизнь, но тогда умер бы и Пойгин. Я думала, что духи будут к нам благосклонны еще долго-долго, но случилось по-другому. Нас изгнали из родного стойбища, потому что был осквернен наш очаг. Так сказали старики. Так в каждой яранге говорил Ятчоль. Ему очень хотелось изгнать Пойгина. Он думал, что Пойгину станет жалко ярангу и все, что было в ней. И тогда люди перестанут верить, что он белый шаман. Но Ятчоль и на этот раз оказался с пустым капканом. Твой отец не пожалел ничего. Даже карабина совсем нового не пожалел, только бы не ждали люди со страхом нашествия рассвирепевших духов.

Кайти умолкла, наблюдая, как жадно сосет ее грудь маленькая Кэргына. Вскинув напряженно голову, Кайти вслушалась с чуткостью нерпы в чьи-то отдаленные шаги за ярангой и, убедившись, что это не Пойгин, горестно вздохнула.

— Нет, это не он. Так вот, послушай, что было дальше. Мы разобрали ярангу и унесли ее в море, а заодно и все, что было в ней. Даже свой мешочек с иголками и нитками, полный оленьих камусов, я оставила в море, во льдах. Посмотрела бы ты, какой там был наперсток, подарок моей бабушки. Это диво просто что за наперсток! Когда я шила при огне светильника, он мерцал, будто глаз лисицы. Мне так было жалко наперстка, но я не вынула его из мешочка, полного камусов и ниток из оленьих жил. Я могла бы вынуть и припрятать наперсток, и Пойгин вряд ли меня упрекнул бы. Но я хотела быть достойной женой белому шаману. Море приняло наш очаг. Море приняло и мой чудесный наперсток. Море всегда благосклонно к Пойгину. И свет Элькэп-енэр благосклонен к нему. И лучи солнца тоже. Потому, наверное, я и осталась жива. Может, потому и сегодня ночью пули пролетели мимо нас...

Кайти невольно остановила взгляд на едва приметных дырочках в пологе, возникших после ночных выстрелов.

— Хорошо, что ты еще ничего не понимаешь и страх не терзает тебя. Но мне страшно, очень страшно. Однако вот креплюсь. Я не хочу, чтобы страх пережег молоко в моей груди. Я вижу, тебе достаточно молока, и ты улыбаешься.

Кэргына и в самом деле, не выпуская грудь матери, причмокивала, даже как-то смешно, будто лисенок, урчала и улыбалась — она была довольна.

— Мы остались живы с тобой, Кэргына, да, живы, а могли бы и умереть,— продолжала вслух свои думы Кайти, раскачиваясь вместе с ребенком.— Мне страшно подумать, что ты умерла бы во мне с моим последним вздохом. Теперь ты урчишь, как лисенок. Ты довольна. Значит, у меня есть, есть молоко. Я успокоилась. Недоброе предчувствие покинуло меня. Скоро вернется твой отец. Я напою его чаем, и мы будем смотреть на тебя и угадывать, на кого ты похожа.

Возле яранги послышались чьи-то шаги. Кайти замерла, чувствуя, как мчится загнанным оленем ее сердце. Человек не уходил от яранги. Ступает осторожно. Вот он у задней стенки полога. Сделал еще несколько шагов. Опять вернулся. Теперь он подошел к самому входу. Кайти хотелось крикнуть: «Кто там?!» Но она лишь крепче прижала Кэргыну к груди и отодвинулась в угол полога. Вдруг поднялся чоургын, и показалась голова Ятчоля. В первое мгновение Кайти даже обрадовалась. Ятчоль заметил это, забрался в полог.

— Ходил вокруг яранги, смотрел на дыры от пуль. Вот и здесь я вижу дыры. Как низко прошли пули. Значит, стрелявший не только пугал... Он хотел вас убить...

Кайти ничего не ответила. Теперь, когда страх прошел, она поняла, что ей меньше всего хотелось бы видеть Ятчоля.

— Я буду пить чай,— бесцеремонно сказал Ятчоль.

— Наливай. Чайник еще не остыл.

Ятчоль пил чай и рассматривал Кайти тоскливым взглядом.

— Мне иногда кажется, что ты стала моей второй женой,— грустно улыбаясь, сказал он.

Кайти медленно подняла на Ятчоля изумленные глаза:

— Ты лучше бы сказал об этом своей жене.

— Я сказал.

— Ну, и что было потом?

— Она схватила кроильную доску и расколола о мою голову.

— Жаль, конечно, кроильную доску, но Мэмэль сделала правильно.

— Я знаю, ты любишь Пойгина, не меня. И этим тоже Пойгин меня уязвил... Все мог бы ему простить, только не это. Оттого даже во сне вижу, что ты оказалась вдовой... И не только вдовой... но и моей второй женой...

Жаркие глаза Кайти стали еще жарче от негодования:

— Если бы у меня не было на руках ребенка... я выплеснула бы чайник тебе в лицо.

— Побереги кипяток. Я еще не все сказал. Я тебе еще не сказал, что Пойгин уже мечется на аркане мести тех, против кого не шел никто и никогда. Главные люди тундры ничего ему не простят. И рано или поздно ты станешь вдовой...

Кайти чувствовала, как уходит кровь от ее лица.

Ятчоль между тем продолжал с прежней тоской в глазах:

— Не думай, что я плохой, если говорю тебе такие слова. Я просто мудрый. Я могу сказать так и Пойгину. Я могу даже дать ему совет, чтобы он пошел на мир с главными людьми тундры, стал их послушным человеком. Только это спасет его от смерти. Но я знаю: он отвергнет мой мудрый совет, так что тебе все равно суждено стать вдовой...

Кайти осторожно положила спящего ребенка и только после этого, с ненавистью глянув в глаза Ятчоля, вдруг спросила:

— А не ты ли... стрелял ночью по нашей яранге?

У Ятчоля даже чай не пошел в горло. Он долго прокашливался, наконец сказал:

— Женщины есть женщины, все глупы, как нерпы.

— Уходи! Я не могу больше сидеть с тобой рядом!

— Ничего, посидишь. Придет время, и еще, может, лежать будешь со мной рядом. Я терпеливый. Я подожду. Ты еще будешь сушить мои торбаса и шить мне штаны, как мужу...

Ятчоль надел кухлянку, хотел было уже пырнуть под чоургын полога — и едва не столкнулся лоб в лоб со своей женой. Смущенно прокашлявшись, он опять подсел к светильнику, кинул подозрительный взгляд на жену: если слышала, о чем он говорил Кайти,— не миновать скандала. Но Мэмэль словно и не замечала мужа. Склонившись над Кэргыной, она долго смотрела на ребенка, а потом сказала Кайти с нежностью:

— Если бы ты хоть раз дала мне подержать ее на руках...

Ятчоль облегченно вздохнул, полагая, что все самое худшее миновало, и, широко зевнув, промолвил:

— Своего ребенка надо.

Мэмэль зло усмехнулась:

— Ты здесь говорил Кайти, что она будет шить тебе штаны, как мужу. Но что скажут о тебе люди, если и вторая жена не сможет родить?

Ятчоль понял, что Мэмэль все слышала и скандала не миновать.

— Ты же знаешь, какой я шутник. Какой мужчина без шутки?

— Да, ты любишь пошутить — особенно когда другим не до шуток. А настоящие мужчины все до одного там, где Пойгин. Все уехали за перевал...

Кайти невольно схватила Мэмэль за руки, близко заглядывая ей в глаза с надеждой и благодарностью:

— Это правда?! Какую добрую весть ты принесла! Я так боюсь за Пойгина...

— Я тоже боюсь... Мужчины говорят, что стрелял Рырка. Учитель Журавлев запряг культбазовскую упряжку и тоже помчался в тундру.

Кайти невольно дотронулась до одной из дыр в пологе и тихо сказала:

— Только бы они не опоздали... Пойгин вместе с русским уехал, когда в стойбище все еще спали.

Ятчоль сосредоточенно выскребал нагар из трубки.

— После выстрелов в стойбище уже никто не спал,— сказал он, не глядя на женщин.— Я тоже не спал. Почему Пойгин не позвал меня с собой? Я бы выломал клыки этому Рырке!

Мэмэль зло рассмеялась:

— Кто же тебе мешает?

— Вот запрягу собак и поеду. И пусть убьет меня Рырка. Я знаю, ты была бы только рада.

...Ятчоль и вправду выехал в тундру. На коленях его лежал наготове расчехленный винчестер. Не доехав до перевала прибрежного хребта, увидел сразу несколько встречных нарт. На первой Пойгин вез раненого русского. На нарте Журавлева лежал мертвый Рырка. Следом ехало до десятка собачьих упряжек.

Ятчоля встретили насмешками. Только Пойгин даже не глянул на него, яростно погоняя собак: он спешил поскорее доставить раненого русского в больницу. Ятчоль глянул в мертвое лицо Рырки и невольно затаил дыхание. Ему каза-

лось, что вместе с морозным воздухом в него вползает холодный иней страха и всо покрывает внутри.

— Кто его убил?— осевшим голосом спросил Ятчоль.

— Тот, кого хотел убить Рырка,— сурово ответил старик Акко.

— Пойгин?

— Нет, это, верно, ты,— насмешливо выкрикнул Тымнэро.

А лицо Рырки — с оскаленными зубами, исчерченное синеватыми линиями татуировки — слепо смотрело в небо, и Ятчоль почему-то представлял себя на его месте.

Кайти услышала шаги Пойгина, когда тот был еще далеко от яранги.

— Подержи Кэргыну!— попросила она Мэмэль и выбежала на улицу в одном платьице.

Пойгин махал руками, требуя, чтобы Кайти ушла в ярангу. Потом побежал ей навстречу, выкрикивая:

— Уйди в полог! Уйди, заболеешь!

Схватив Кайти, Пойгин поднял ее и нырнул внутрь яранги. В пологе плакала Кэргына. Слышался голос Мэмэль:

— Не плачь, не плачь, олененок, не плачь, нерпенок, успокойся, зайчонок.

Кайти, дрожа от холода, спряталась в полог, приоткрыла чоургын, с нетерпением дожидаясь, когда войдет муж.

— Живой, живой,— приговаривала она, не в силах унять дрожь.

Когда Пойгин оказался в пологе, женщины долго смотрели на него молча, как бы не веря своим глазам, что видят его.

— Верно ли, что стрелял Рырка?— наконец спросила Мэмэль, покачивая ребенка.

Пойгин всмотрелся в следы от пуль на стенах полога, угрюмо кивнул головой.

Кайти оделась, вышла из полога, чтобы вскипятить на примусе чайник. Шумел примус, а Пойгин все смотрел и смотрел на огонь светильника и видел, как расплывалось красное пятно на снегу, слышал, как порой стонал и скрипел зубами раненый русский. Кайти подала в полог вскипевший чайник. А Мэмэль, уложив на шкуры ребенка, достала из деревянного ящичка чайную посуду.

— Где Рырка?— тихо спросила она.

Пойгин, казалось, не услышал вопроса. Он все так же смотрел на огонь светильника, и по лицу его пробегали тени страдания. Наконец он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Я не виноват, что росомахи заставляют меня убивать их...

Кайти забралась в полог, разлила чай. Первую чашку поднесла мужу. Тот не замечал, что жена ждет, когда он примет чашку.

— Согрейся чаем. Потом будем есть,— тихо промолвила Кайти.

Пойгин с трудом понял, что ему говорят. Приняв чашку, он отхлебнул глоток и сказал:

— Рырка ранил русского. Я привез его в больницу...

— Где Рырка?— робко спросила Кайти.

— Рырка? Я не виноват. Сама росомаха заставила разрядить в нее карабин... Я пойду в больницу. Хочу знать, жив ли русский...

4

Хозяевами огромного стада Рырки стали его батраки. Мог ли кто-нибудь подумать, что это было бы возможно, всего лишь несколько лет назад? Самая старая жена Рырки умерла, когда Пойгин еще жил в тундре. Молодые жены, почувствовав освобождение после смерти Рырки, разбежались кто к родителям, кто к родственникам в другие стойбища, даже не помышляя о богатом наследстве: были они, в сущности, подневольными свирепого гаймичилина, хозяина оленей. Других наследников у Рырки не оказалось. В тундру, в стойбище Майна-Воопки, приехал инструктор райисполкома Тагро и сказал: «Я спешу к пастухам Рырки с очень важной вестью. Они становятся хозяевами стада Рырки. Олени будут общими, собственностью тех, кто принимал их в пору отела, растил, пас, берег от волков. Пусть живут пастухи Рырки одной общей семьей. Так начнется артель, в которой разрешено быть каждому из вас. Важно ваше желание — таково слово тех, кто избран в райсовет за достойный рассудок и честность. Это слово не просто выпущено на ветер, оно обозначено знаками на бумаге, навсегда сохраняющей суть сказанного. И было бы хорошо, если бы эта весть пошла из стойбища в стойбище. Пусть люди знают о невиданном и неслыханном. А я немедленно выезжаю к пастухам Рырки».

И запрягли чавчыват стойбища Майна-Воопки самых быстроногих оленей. Свистели в их руках тинэ, храпели олени, летел снег из-под копыт. Выбегали навстречу наездникам взволнованные люди других стойбищ, понимая, что олени загнаны не случайно, спрашивали: не злые ли вести пригнали их таким сильным ветром? И гонцы отвечали: «Слушайте, слушайте,

люди, вести о невиданном и неслыханном! И сами думайте, злые они или добрые. Кажется, все-таки добрые. Может быть, даже очень добрые. Наступают перемены». И думали, думали, думали чавчыват — верно ли, что это добрые вести? Возможно ли многим людям, не состоящим в кровном родстве, жить одной дружной семьей? Ведь бывает, что даже в маленькой семье муж с женой, отец с сыном, брат с братом так переругаются, что страшно становится. И просили люди: пусть и к нам приедет Тагро.

Мчался Тагро из стойбища в стойбище, объяснял, в чем смысл наступающих перемен, в чем смысл таинственного слова «артель». Для чавчыват постепенно становилось понятно, что вся тундра и все побережье от Певека до Рыркапия поделены на части; что Тынуп и вся тундра, которую стали называть Тынупской, образуют собой один сельсовет. Все чукчи Тынупского сельсовета — и береговые и оленные — теперь могут образовать собой одну семью, в которой, как и полагается семье, не должно быть неравных. Неслыханное и невиданное! Каждый в отдельности не должен распоряжаться по своему усмотрению общими оленями. Чтобы убить сколько-то оленей, продать сколько-то мяса и шкур, чтобы распределить пастбища — необходимо согласие всех. Разве это не разумно? Пусть будут споры, но мудрость всегда возьмет верх. А главное, не будет в этой семье безоленных людишек, будут у каждого и мясо, и шкуры на одежду — только не ленись! И для анкалит, особенно для тех из них, кто вечно был голодным, обиженным, для них тоже найдется место в этой семье. Разве не нужны пастухам тюлений жир, шкуры нерп, лахтаков, моржей? Нужны, конечно, и чем больше, тем лучше. Береговые чукчи дают в тундру то, что они добывают в море, а чавчыват дают им оленье мясо, оленьи шкуры. Разве это не разумно? Невиданное и неслыханное! Даже Элькэп-енэр, которая существует со времен первого творения, и та не видела ничего подобного.

Но не сразу доходило до разума и чавчыват, и анкалит, насколько это разумно. Споры были, сомнения были. И там, где происходило больше всего споров,— там появлялся и Тагро с горящими глазами, со словами, которые поначалу, казалось, могли вывихнуть мозги, но в конце концов открывали рассудку хотя и неслыханную, но простую истину: можно жить и без Рырки, без Эттыкая, без Вапыската; безоленным людишкам можно уйти от богатых чавчыват, чтобы самим стать людьми оленными. Можно жить так, чтобы отступила голодная смерть и не было бы в тундре тех, кто обречен

ость одну похлебку из оленьего желудка. Горели у Тагро глаза и хрипело горло: он не щадил его, он очень хотел быть убедительным. А с Тагро, конечно, спорили. «Не возьмут ли береговые люди верх над оленными?— высказал свое сомнение Кукэну в яранге Майна-Воопки, набитой людьми.— Вот ты, сын анкалина, совсем молодой, а уже стал очочем».— «Я не очоч, я инструктор!— возражал Тагро.— И нет теперь очочей, о которых вы знали до сих пор, нет тех, кто сюда приезжал для поборов». И действительно, приехали вслед за Тагро русские очочи, и никто из них не был важным и сердитым, никто не требовал ни оленей, ни шкур, терпеливо выслушивали сомнения, терпеливо старались развеять их, как развевает ветер туманы.

А пастухи Рырки между тем и вправду становились хозяевами огромного стада. Главным у них стал не кто иной, как Выльпа. Неслыханное и невиданное! Безоленный человек, который ел один рылькэпат, стал главным чавчыв. Смущенный и растерянный, Выльпа никак не мог почувствовать себя твердо и уверенно в новом положении. Он всегда был таким забитым и одиноким, особенно после смерти дочери Рагтыны. Бывало, что он сутками никому не говорил ни одного слова. И вот его избрали главным. Тут уж хочешь не хочешь, а с людьми разговаривай. Выльпе сочувствовали, ему помогали, хотя и подсмеивались над ним — кто добродушно, а кто и зло, в зависимости от того, какое было отношение у насмешника к переменам.

В стойбище Выльпы (так сейчас стали именовать стойбище Рырки) приехал на целую зиму учитель Журавлев и сказал, что он называется заведующим Красной ярангой. Еще одна новая весть. Что такое Красная яранга? Может, она покрыта шкурами невиданных красных оленей? И мчались чукчи со всех концов тундры в стойбище Выльпы посмотреть на Красную ярангу.

Это оказалась обыкновенная большая палатка, с просторным, как в яранге, пологом. Но зато сколько в той палатке было занятных вещей! Книги, большие бумажные листы, на которых можно было разглядеть и чукчей, и оленей, и яранги, и русские дома. Еще была здесь черная поющая коробка — патефон называется. Поначалу страшно было слушать ее: перед глазами открытая коробка, а из нее доносится человеческий голос. Иные из чавчыват утверждали, что там упрятан маленький человечек, и Кэтчанро — Журавль (так звучало имя Журавлева по-чукотски) тайно кормит и поит его.

Кэтчанро научил кое-кого из чавчыват передвигать с места на место маленькие деревянные куколки — шахматы называются. Поначалу над ним смеялись: пристало ли молодому парню, уже вполне мужчине, играть в куклы? Но потом для многих стало ясно, что это далеко не игра в куклы, тут чимгун — ум надо иметь, чтобы оказаться победителем. Играл Кэтчанро в шахматы, а сам к чукчам присматривался, в их жизнь вникал. И Тагро часто с ним в шахматы играл. Пошучивают русский и чукотский парни, иногда словно бы и рассердится кто-нибудь из них, когда вынужден куколку сопернику отдавать, а потом опять шутят.

Но случалось, что им было далеко не до шуток...

Сначала все шло хорошо. В палатку, которую почтительно называли Красной ярангой, столько набивалось народу, что приходилось убирать полог; тут теперь объявлялись главные вести, тут их объясняли: и многое, что казалось для чавчыват совершенно непостижимым, в конце концов становилось простым и понятным. И загадочный Кэтчанро, с его хотя и приветливыми, но где-то в самой потаенной глубине настороженными глазами, казался уже совершенно необходимым человеком. Светились глаза чавчыват доброжелательством: а ну, ну покажи, Кэтчанро, высоко ли ты летаешь, расскажи, что за жизнь в тех краях, откуда ты прилетел. И Журавлев действительно как бы взлетал, находясь, как он сам себе говорил, в ударе: его мечта уехать в глубину тундры сбылась, тут уж он развернется вовсю, тут он докажет всем, на что он способен, и прежде всего — Артему Петровичу. Нет, он не собирается поступать ему вопреки, многие уроки Медведева, конечно же, пошли ему на пользу; но все же Журавлев сам себе хозяин, да и жизнь в глубокой тундре таит столько неизвестного, порой даже и опасного, что тут есть на чем проверить себя.

Высоко взлетал Кэтчанро, даже Тагро порой внимал ему так, будто впервые слышал подобное... А Журавлев развязывал мешок сухарей, раскрывал фанерный ящик с галетами, подавал сухари, галеты, сахар к чаю гостям Красной яранги и объяснял, что такое хлеб, какие битвы шли, да и сейчас еще идут за него на Большой земле.

Что ж, для сородичей Кэтчанро, размышляли чавчыват, хлеб — это как для чукчи мясо. В конце концов, истина в том, что и здесь спор сейчас идет о главном: имеет ли право, допустим, Выльпа, еще недавно вечно такой голодный, есть досыта мясо, как ест его, допустим, Эттыкай? Надо ли при этом Выльпе уходить в стадо как обыкновенному пастуху, не

лучше ли ему валяться в теплом пологе, как валялся Рырка? Почему Выльпа никак не может понять, что он теперь не просто пастух, а человек, как бы заменивший Рырку? Да, задавали и такие вопросы. Тагро и Кэтчанро охотно отвечали на них, полностью становясь на сторону Выльпы, который не мог и не желал превращаться в нового Рырку. В том и суть перемен: все должны быть равны, все должны трудиться — только это поможет людям находиться в полном согласии, жить одной дружной семьей.

Выльпа, сидя на шкурах, которыми была устлана палатка, задумчиво покуривал трубку, молча кивал головой. Он редко о чем спрашивал, больше слушал и незаметно уходил в стадо, поражая всех своим трудолюбием. Именно это помогало ему быть главным в бывшем стаде Рырки. Тагро и Журавлев, как могли, помогали ему.

Да, поначалу все шло хорошо. Но однажды в Красную ярангу пришел Вапыскат. Журавлев впервые увидел его. Так вот он каков, знаменитый черный шаман! С виду тщедушный человечишко, суетливый, чешется, дергается, в глаза прямо не смотрит, красные щелки в сторону отводит. Журавлев посадил его там, где сажал стариков,— на почетное место, и все ловил себя на том, что смотрит на свои поступки глазами Артема Петровича: не зарывайся, не действуй в лоб, будь осмотрительным. Красная яранга на этот раз особенно была забита людьми. Был здесь и Выльпа. Приход черного шамана явно смутил его. Длинное, худое лицо Выльпы побледнело, в глазах засветилась тревога. Вапыскат долго смотрел на него, сделал вид, что протягивает ему трубку, затем резким движением сунул ее себе в рот, издевательски рассмеялся: давал понять, что по-прежнему считает Выльпу самым последним человеком.

Понимая, что шаман пришел с вызовом, Журавлев внутри кипел, но виду не подавал — не надо торопиться с ответом, за ним наблюдают десятки пар допельзя внимательных глаз, очень внимательных: а ну, ну покажи, каков ты в полете, Кэтчанро! Подмигнув Тагро, мол, не теряйся, Журавлев завел патефон, и палатку заполнила русская народная песня «Степь да степь кругом». Многоголосый хор здесь, на краю света, звучал особенно проникновенно и скорбно: в степи замерзал человек. И в каком еще месте, как не в снежной тундре, где свирепствует лютый мороз, не понять всю скорбь этой печальной вести? Тагро до этого уже несколько раз переводил смысл песни гостям Красной яранги, и они искренне переживали печальную весть, которую, оказывается, мож-

но сообщать и песней. Мужчины слушали внешне совершенно бесстрастно, женщины откровенно горестно.

Но вот Кэтчанро сменил магический круг на железной коробке, и зазвучала иная песня, которую называли «Конная Буденного». Смысл этой песни тут тоже все уже знали. Мчатся лавиной быстроногие существа, похожие на безрогих оленей,— кони называются. Мчатся с храпом, высекая искры из-под копыт. На конях сидят бесстрашные наездники с большими ножами — сабли называются. Мчатся наездники, саблями размахивают, и у каждого на лбу красная звезда, в которую они верят, как верит каждый чукча в незыблемость Элькэп-енэр. Мчатся наездники и поют о том, что они готовы смести с земли всех богатых, всех, кто похож по своей сути на Рырку. Мчатся всадники и сообщают поющей вестью, что они за Выльпу, за всех тех, кто сейчас с ним доказывает, что пастухам можно обойтись и без хозяина, что они сами себе хозяева, что они способны жить одной дружной семьей. Вот каков удивительный смысл поющей вести. Так ее объяснял Тагро. Так ее объяснял Кэтчанро.

Выльпа слушал поющую весть и постепенно успокаивался: много, очень много каких-то невидимых благожелательных ваиргит, добрых духов стремительно мчатся ему на помощь, чтобы он мог противостоять нежданному гостю — черному шаману. Они бесстрашны и сокрушительны, эти ваиргит, и у каждого красная звезда на лбу, а потому они имеют незыблемость самой Элькэп-енэр. Вот такую же устойчивость должен иметь он, Выльпа. Но как это трудно — обрести подобную незыблемость! Для него ли, для Выльпы, это?

Вапыскат лишь изредка поглядывал на поющий ящик и, когда он умолк, медленно и настороженно, будто перед ним было чудовище, поднялся на ноги, сделал резкое движение руками, как бы что-то не просто отталкивая, а всем своим существом отвергая.

— Я слышал голос железного Ивмэнтуна!— воскликнул он. Внимательно оглядел притихших людей, остановил ненавидящий взгляд на Выльпе.— Ты вор!

Выльпа сначала съежился, потом болезненно улыбнулся, не смея поднять лицо на шамана. И когда тот повторил, что он вор, наконец поднял глаза и тихо сказал:

— Я разрешу отрубить мою руку, если ты докажешь, что я украл хоть горсть снега у чужого очага.

— Ты украл оленей Рырки!

Журавлев чувствовал, что наступает тот миг, когда сама

судьба посылает ему схватку с настоящим шаманом, с настоящим врагом. Но как начать эту схватку?

— Ты украл оленей у Рырки!— уже громко повторил Вапыскат.— Железный Ивмэнтун пометил их невидимым тавром. Вам, кто приходит сюда слушать его голос, он помутит рассудок. Быть страшной беде! Я сказал все!

Расталкивая людей, черный шаман вышел из Красной яранги. За ним поднялось несколько стариков. Поднялся и Кукэну, уже несколько дней гостивший в Красной яранге, сказал со злой усмешкой:

— Одна ноздря у Вапыската... по-моему, правая... громко свистит, когда он пьет чай. Идите, кто хочет, и слушайте, как свистит его ноздря. А я хочу послушать железный ящик.

Чавчыват рассмеялись. Кое-кто из стариков опять вернулся в Красную ярангу.

А Журавлев ненавидел себя: он прозевал схватку с шаманом, он оказался совсем не таким, каким видел себя в мечтах.

— Эх, Тагро, опростоволосились мы с тобой,— с горечью сказал он.— Шаман черт знает что наговорил, а мы как в рот воды набрали.

— Еще успеем поспорить с ним,— попытался Тагро успокоить друга.

Журавлев встал, показал на Выльпу, громко воскликнул:

— Черный шаман оскорбил честного человека. Я попросил бы кого-нибудь из вас догнать его и сказать ему, что Кэтчанро и Тагро приглашают его на спор.

— Я, я верну его!— с готовностью согласился Кукэну.

Но старик вскоре вернулся ни с чем.

— Уехал шаман. Только снежная пыль несется ему вослед. Удирает от железного Ивмэнтуна.— Кукэну ласково погладил поющий ящик.— Я не боюсь этой коробки, особенно когда она поет женским голосом.— С таинственным видом, чуть прикрыв рукой рот, он добавил:— Даже о своей старухе Екки тогда забываю. Не передайте ей мои слова. Иначе сдерет с моей головы кожу. Волосы, как видите, давно уже повыдирала.

Смеялись люди, и снова звучал патефон, а потом и Кэтчанро и Тагро говорили о том, что наступают великие перемены и этому не помешает никакой шаман. И были они по своему возбуждению сами похожи на шаманов, только не на черных, а на белых, потому что говорения их звучали вполне внятно. О, это и в самом деле не простые слова, это неслыханные го-

ворения; и до чего же здесь стало бы глухо и тоскливо, если бы Кэтчанро и Тагро вдруг собрали свою палатку и уехали. Однако именно к этому попытался кто-то их принудить.

Вышли однажды утром из Красной яранги Кэтчанро и Тагро и увидели, что над ее входом висят на нитке из оленьих жил череп какого-то зверька и две гильзы от винчестеровских патронов, в которые были всунуты когти зверя. Журавлев присвистнул, разглядывая все это, и сказал:

— Похоже, что нам послали черную метку... Есть такая книга о пиратах. Нам явно угрожают.

Тагро вытащил коготь из гильзы, понюхал ее.

— Да, это предупреждение,— согласился он, вглядываясь в следы возле палатки.— Нам посылают вызов.

И заспешило сердце у Журавлева: вот и начинается жизнь боевая! Сорвав с головы малахай, он хотел подкинуть его помальчишески, но вовремя остепенил себя: все это не так и весело, да и Тагро может счесть, что друг его оказался легкомысленным человеком.

Журавлев нахлобучил малахай, лихо пристукнул себя по макушке.

— Держись, Тагро, не дрейфь! Мы сумеем достойно ответить куркулям!

Гости Красной яранги долго разглядывали череп евражки и гильзы с когтями волка, хмурились, сокрушенно качали головами.

— Это значит, что вам предложено отсюда уйти,— угрюмо сказал Выльпа. Вскинул на Кэтчанро запавшие воспаленные глаза, перевел взгляд на Тагро, тихо спросил:— Уйдете?

— Ни за что!— клятвенно воскликнул Кэтчанро.

— Ни за что!— в тон ему повторил Тагро.

Выльпа облегченно вздохнул.

Через несколько суток, в лунную ночь, кто-то несколько раз выстрелил по палатке. Журавлев зажег свечу. Заметались по настывшему пологу тени: Журавлев и Тагро быстро оделись. У них не было никакого оружия, и они плохо себе представляли, что им делать. Бежать из палатки в чью-нибудь ярангу? Или не выходить вовсе? Раздалось еще несколько выстрелов. И Журавлев принял самое невероятное решение.

— Если нас хотят убить... то убьют и в палатке. Если решили попугать, то не убьют, даже если мы выйдем наружу. Мы выйдем!

Губы его немножко подрагивали, а глаза светились отчаянной решимостью.

— Пусть найдет суеверный страх... на того, кто стреляет. А если и погибать, так с музыкой.

И Тагро заразился отчаянной решимостью Журавлева. Они вышли под лунный свет, и крикнул Тагро:

— Эй, кто там стреляет! Если ты хоть ранишь нас... завтра придет возмездие.

— Придет возмездие!— повторил и Журавлев, потрясая над головой кулаками.

Они стояли на виду всего подлунного мира, эти два парня, русский и чукча, широко расставив ноги. Длинные синие тени далеко пролегли за их спинами по снегу, мерцающему зелеными искрами. И тот, кто смотрел на них — скорее всего из-за камней ближайшей горы,— мог легко поразить каждого выстрелом. Но пока в них не стреляли. Вот если бы побежали они в паническом страхе, тогда, возможно, и не утерпела бы рука затаившегося, нажала бы гашетку винчестера: так собака не может не укусить того, кто бежит от нее прочь.

Стремительно мчалась луна сквозь легкие облака, словно спешила повнимательнее разглядеть, что там такое случилось, в чем суть странного поединка? Зябко подрагивали в морозной небесной мгле колючие звезды. Лаяли встревоженные собаки. Из яранг один за другим выходили мужчины с карабинами. Вышел и Кукэну, ночевавший в яранге Выльпы. Вскинув винчестер, он выстрелил и крикнул:

— Я слышу, Вапыскат, как свистит твоя правая ноздря! Я угадал тебя...

— Я тоже думаю, что это Вапыскат,— сказал Журавлев, чувствуя, как по телу пробежала дрожь от озноба и возбуждения.— Я вытряхну из него подлую душонку!

Мужчины вскинули карабины и дружно выстрелили вверх. Задыхались от лая собаки. В ярангах плакали дети. Лучи колючих звезд словно ломались, не выдержав мороза, на котором все становилось таким хрупким. Луна летела сквозь белесые облака, спеша увидеть, что происходит в одном из уголков ее холодного таинственного мира, зло перекипающего зелеными искрами.

Еще несколько ночей подряд кто-то дырявил выстрелами верхушку палатки, расстреливал красный флаг над нею. Журавлев и Тагро не покидали ярангу. И по-прежнему приходили к ним люди, слушали патефон, слушали речи Тагро и Кэтчанро. И это, конечно, был поединок с тем, кто стрелял по ночам. А может, стрелял не один человек? По следам пока ничего не понять: те, кто стрелял, были очень осторожны.

Журавлев не сомневался, что стрелял Вапыскат.

— Надо связать и увезти шелудивого на берег,— предлагал он Тагро.

— А если это но он?— осторожно спросил Тагро.

— Он! Кому же быть еще.

— Я лучше тебя знаю тундру,— уже решительней возразил Тагро.— Тут может появиться и новый Аляек...

Журавлев досадливо махал рукой и отворачивался. Настроение у него было дурным, мучила зубная боль. Было ему и голодно и холодно. Сухари и галеты кончились, приходилось питаться одним мясом. Тагро это в привычку, а Журавлев без хлеба не мог. Но главное — невыносимо болел зуб. И Кукэну предложил ему надежный способ избавиться от мучений. Старик захватил больной зуб Кэтчанро ниткой из оленьих жил, второй конец привязал к палке, стоявшей торчком.

— Теперь толкни палку ногой, сколько есть у тебя силы.

Журавлев закрыл глаза, чувствуя, что даже на морозе лицо его покрывается липкой испариной. «Была не была!» — воскликнул он мысленно и толкнул палку ногой. Вырванный больной зуб окрасил снег кровью. Выплюнув кровь, Журавлев поднял зуб и промычал:

— Это будет мой амулет.

Смеялся стеснительно Тагро, боясь обидеть друга. Журавлев грозил ему кулаком с шутливой свирепостью. Смеялись чавчыват, проникаясь к Кэтчанро все большей симпатией и уважением.

В тот же день нежданно-негаданно приехал в Красную ярангу Медведев. Два русских человека обнялись и долго хлопали друг друга по спинам, выколачивая обильный иней из кухлянок.

— О, да у тебя закурчавилась борода! — воскликнул Артем Петрович, разглядывая похудевшее лицо Журавлева.— И кажется, тоже рыжая.

— Нет, русая.

— Ну, ну, вижу, что русая.— Медведев обнял и Тагро.— Ну, как вы тут поживаете?

— Весело живем! Жрать нечего, зубы болят, по палатке какой-то мерзавец каждую ночь стреляет.— Журавлев показал на верхушку палатки.— И флаг наш тоже прострелен. Революция есть революция! Она не может быть без простреленного флага.

Медведев с крайне озадаченным видом осмотрел палатку, вгляделся в флаг.

— Да-а-а, действительно живете весело... Что это ты как-то странно разговариваешь?

— Он часа два назад сам себе зуб вырвал,— не без восхищения сказал Тагро.— Теперь у него есть талисман. И еще вот такой появился у нас талисман.— Нырнул в палатку, тут же вернулся, показывая череп евражки и две гильзы с волчьими когтями, связанными ниткой из оленьих жил.— Вот что повесили нам перед входом в палатку.

Медведев долго разглядывал связку из черепа зверька и гильз винчестера.

— И кто же вам преподносит такие подарочки?

— Вапыскат!— без малейшего сомнения воскликнул Журавлев.— Это он... больше некому.

— Может, он, может, и не он,— возразил Тагро.

— Ну что ж, сухарей и галет я вам привез предостаточно. Идемте пить чай. И там уж попытаемся кое в чем разобраться.

Медведев принялся распаковывать свою нарту.

Вечером, после того как гости Красной яранги разошлись, Артем Петрович с Журавлевым и Тагро забрались в полог, вскипятив на примусе чаю и сварив горшок гречневой каши, обильно сдобренной нутряным оленьим жиром.

Журавлев уплетал кашу, порой, правда, болезненно морщась, прикладывал руку к щеке.

— Я предлагаю связать этого часоточного мужичонку и увезти на берег!— набив кашей рот, едва смог выговорить Журавлев.— До чего же приятна обыкновенная христианская пища! Шевелись, шевелись, Тагро, а то не успеешь оглянуться, как я зачищу дно кастрюли!

— Ешь, ешь,— великодушно подбадривал друга Тагро,— ты же соскучился по русской пище. А я чукча, для меня лучше мяса оленя нет ничего в мире, в котором мы пребываем.

— Вапыската надо скрутить!— твердил свое Журавлев.

Медведев медленно и увесисто погрозил ему пальцем:

— У тебя есть доказательства?

— Интуиция подсказывает.

Медведев поправил фитиль свечи.

— О Пойгине, насколько мне помнится, твоя интуиция тоже кое-что говорила. Да ведь наврала интуиция...

— Может, и не очень наврала. Поживем, посмотрим.

— Так пора кое-что уже и увидеть бы.

— Пойгин, конечно, это не Вапыскат. Откровенный враг, и все. Этот, можно сказать, готовенький, в чистом виде. Впро-

чем, как хотите, пусть он нас перестреляет, как куропаток...

— Может, вам выехать на берег? А сюда приедут те, кому полагается расследовать подобные дела?

— Нет уж, извините, дорогой Артем Петрович!— Журавлев протестующе взмахнул рукой. Свеча замигала, едва не потухла.— Извините. Лично я такого удовольствия какой-то здешней сволочи не доставлю. Уехать — это значит сдаться.

— Я тоже ни за что не уеду!— сказал Тагро, и по виду его было заметно, что он более чем тверд в своем решении. С шуткой добавил:— Мы тут еще не всех обучили играть в шахматы, не говоря уже о грамоте. Кэтчанро, правда, старается, но вот, к примеру, Вапыскат еще не знает ни одной буквы.

— Это ты Кэтчанро?— с мягкой и грустной улыбкой спросил Артем Петрович.

— Да, так меня здесь назвали.

— Красиво звучит. Кэт-чан-ро! Значит, на берег ехать отказываетесь. Что ж, ничего другого я от вас не ждал.— Медведев улегся на шкуры, вытянул затекшие ноги, тихо промолвил, как бы начиная стихотворную строчку:— Эх, Кэтчанро, Кэтчанро... между прочим, на берегу тоже разворачиваются горячие дела. Возникает артель. И, судя по всему... первым председателем быть Пойгину.

5

В Тынуп уполномоченным по организации артели приехал Величко. Пока Медведев был в тундре, Величко остановился у Чугунова, который уже больше года заведовал Тынупской факторией.

— Кто, по-вашему, тут пользуется необходимым авторитетом для председателя?— спросил озабоченно Величко.— Учтите, такого человека должны уважать и охотники и оленеводы.

— Пойгин! Только Пойгин!— без малейшего сомнения сказал Чугунов.

— Шамана председателем?— Величко постучал себя кулаком по голове.— Надо же порекомендовать такое...

Чугунова этот жест обидел. Он упрямо угнул голову, подтянул один торбас, потом второй — так, что затрещали камусы, кинул косой взгляд на гостя, несколько разморенного теплом и обедом.

— Не вздумай, Игорь Семенович, этак вот стучать себя по башке, когда то же самое тебе выскажет Медведев.

Величко обезоруживающе улыбнулся.

— Ну ладно, усач, не лезь в бутылку. Ты по-чукотски калякать научился? Сможем ли мы с тобой потолковать с людьми в ярангах? Собрание провести?

Степан Степанович запустил пятерню в тяжелую густую шевелюру насколько мог, пригладил ее.

— Калякаю я с чукчами, понимаешь, с пятого на десятое. Лучше дождемся Медведева. Или жену его попросим... переводчицей...

Величко расстегнул меховую жилетку, осмотрел комнату Чугунова с насмешливым неудовольствием и сказал, слегка перекосив бровь:

— Ну и берлога же у тебя, усач. Спать-то где я у тебя буду?

— Спи на кровати, а у меня есть спальный мешок. В нем можно не только на полу, но и в снегу.

— Может, мне к Надежде Сергеевне перекочевать? Наверное, уж найдется на культбазе уголок? Медведев-то как... не слишком ревнив? Кстати, у меня с учителями свои профессиональные разговоры...

Чугунов долго смотрел прямо в глаза Величко. И когда тот, несмотря на всю свою вельможность и непринужденность, все-таки отвел взгляд, сказал, тяжело упираясь могучими руками в колени:

— Ты, конечно, ничего двусмысленного не сказал. Но я предупреждаю... это семейство — для меня святое. Я, понимаешь ли, слишком хорошо знаю, что такое неверная жена.

— Ну куда, куда тебя повело, усач?! Давай лучше еще по глотку пропустим. Перемерз я до мозга костей в этой бесконечной дороге.

— От глотка не откажусь, но предупреждаю...

Чокнувшись железными кружками, мужчины отхлебнули спирту, поморщились. Величко покрутил головой, поддел на кончик ножа кусок жареного мяса, долго и сосредоточенно прожевывал его.

— Спирт и женщина... это два смертельных врага у полярника,— наконец изрек он, разглядывая собеседника слегка затуманенным взглядом.— Вернее... тоска по женщине. На полярных станциях такие, брат, возникают драмы... ревность полярным медведем ревет там, где оказалась женщина в коллективе. У вас как тут в этом смысле?

— У нас тут в этом смысле, понимаешь ли, никакого медвежьего рева... Так что ни драм, ни комедий...

— Ну, положим, ты сам, усач, развеселая комедия. Не

обижайся. Для Надежды Сергеевны ты, конечно, просто не совсем отесанный, хотя и добродушный мужик...

— Ну да, да, конечно, конечно! — с дурашливым видом подхватил Степан Степанович.— Вот если бы тут жил такой, понимаешь ли, обструганный, и не просто шерхебелем, а рубаночком, фуганочком... то уж тут устоять было б немыслимо.

Лицо Величко вдруг стало жестким. Закурив папиросу, он сказал трезво и твердо:

— Ну ладно, поболтали, и хватит. Давайте о деле.— Разогнав небрежным жестом дым от папиросы, добавил: — Я знаю, Медведев, возможно, и назовет меня... Фомкой деревянным, но Пойгин не та кандидатура, за которую я лично могу ручаться головой.

— А может, понимаешь ли, важнее то, как на него смотрят здешние чукчи? Уверен... большинство здесь будет за него горой.

— Вот этого и нельзя допустить. Мало ли что они могут сказать при их нынешнем политическом кругозоре... По мне, уж лучше остановиться на Ятчоле.

— На Ятчоле?!

— Да, именно на Ятчоле. Он как-то уже пообтерся, кое в чем поднаторел... С ним можно о чем-то уже говорить, его можно убедить... А Пойгин дремуч, как белый медведь.

Степан Степанович слегка отстранился от гостя, как бы почувствовав необходимость разглядеть его издали:

— Нет, Игорь Семенович, уж кто не пройдет, так это Ятчоль. У меня, понимаешь ли, тоже партийный билет в кармане. Да я запрягу собак и через три дня буду у секретаря райкома. Не говоря уж о Медведеве! Он тебе такое устроит, что ты со своим Ятчолем взвоешь...

Величко плеснул спирту в кружку, выпил один и снова принялся вяло жевать мясо. Напоминание о секретаре райкома было для него не из самых приятных: этот человек не слишком высоко ценил его. «Пора покидать эту проклятую Арктику,— с тоскою думал Величко.— Надо к солнышку пробиваться, поскорее к солнышку. Озябла душа. Все чаще и чаще отогреваешь ее спиртом. А это... это конец. Это гибель». Величко с трудом остепенил себя, чтобы не глотнуть еще спирту. Устало зевнув, попросил с видом страдальческим и даже беспомощным:

— Разреши, Степан Степанович, уснуть с дороги. Пока одолевал эти бесконечные ледяные километры... кажется, все внутри превратилось в вечную мерзлоту.

— Ну, ну, поспи. Я пойду в факторию.

Поспав несколько часов, Величко побрился и долго сидел неподвижно, раздумывая, какую позицию ему занимать. В районе ему было сказано вполне определенно: никакого диктата при выборе колхозного вожака. Если единого мнения нет — умело направить ход событий, чтобы не произошло ошибки. Конечно, в райсовете, в райкоме партии, где знали людей на местах, шел разговор и о Пойгине. Кое-кого очень смущало то, что его считают шаманом.

Величко тихо рассмеялся, внимательно разглядывая в зеркало кое-как побритое лицо. «Ничего себе... шамана в колхозные вожаки. Ну и артисты. Нет уж, я с ума еще не сошел».

Одевшись, Величко направился в факторию с решительным видом. Она была битком набита народом. Поставив два фанерных ящика один на другой, Чугунов почти во весь рост возвышался над прилавком.

— Да тише вы, ради бога! — призывал он, протянув руки, будто дирижер. Выпалил несколько чукотских слов, которых Величко не понял.— Кто вам сказал, что председателем будет Ятчоль? Это чушь собачья. Я знаю, кого вы хотите в председатели...

— Ты почему навязываешь людям свою волю? — строго спросил Величко.— Ты знаешь, что тебе за это скажут в районе? Трибуну-то какую себе соорудил! Ты бы еще на прилавок с ногами взгромоздился.

Чукчи все, как один, повернулись к русскому очочу, что-то строго выговаривавшему Чугунову.

— Что, что он говорит? Он, кажется, ругает Степана.

Чугунов с конфузливым видом слез с ящиков и сказал, обращаясь к чукчам:

— Вы пришли сюда торговать. Так я понимаю или не так?

— Пойгин!

— Пусть будет Пойгин!

— Мы хотим председателем Пойгина!

— Что они тут толкуют об этом Пойгине? — спросил Величко, пробиваясь к прилавку.

— Насколько я понимаю, они требуют, чтобы председателем был Пойгин.

— У вас тут фактория или клуб? Почему занимаетесь не своим делом?

Степан Степанович несколько раз помахал рукой сверху вниз, как бы осаживая Величко.

— Поубавь, поубавь, товарищ Величко, своего начальни-

ческого пылу. Я горжусь, понимаешь ли, что моя фактория — это не только шило и мыло, дробь да ситчик, да еще керосин. У меня, товарищ Величко, миссия...

— Тоже мне миссионер.

— Ты мне этим словечком мозги не мути. У меня революционная миссия. Со мной сам секретарь крайкома...

— Слышал, слышал, ты уже передо мной не один раз хвастался...

Величко достал пачку «Беломора», широко улыбаясь, протянул ее чукчам.

— Закуривайте, друзья!

Десятки рук потянулись к пачке, через несколько минут она была уже пуста.

— Пойгин есть?— громко спросил Величко. И повторил по-чукотски: — Пойгин варкин?

Чукчи зашумели, показывая в сторону моря.

— Пойгин на охоте,— пояснил Чугунов.— Этот мужик не из лежебок. Я не знаю, когда он и спит.

— Ятчоль варкин?— так же громко спросил Величко.

И люди как-то вдруг странно умолкли, если и переговаривались, то вполголоса, поглядывая на русского очоча настороженно, а кое-кто даже с явным отчуждением.

— Этот спит,— пренебрежительно сказал Степан Степанович.— Этот, поди, уже и бражки налакался.

Величко облокотился о прилавок, внимательно оглядел чукчей из-под полуопущенных век, как бы прикидывая, с какой стороны к ним подступиться, тихо сказал:

— Ну-ну, это мы все проверим и учтем. Пьяниц в руководстве, разумеется, не потерпим.

Сказал и подумал: «Что я о них знаю? Не лучше ли дождаться Медведева? Скорей бы он приехал. К тому же и секретарь райкома с ним душа в душу... Ну а если им нужен Пойгин... пусть будет Пойгин, какое мне до этого дело?»

Но вот в сознании Величко всплыла совсем другая мысль, которую он уже не один раз прогонял: нельзя опускать руки, пора показывать свой характер. Да, это рискованно, очень рискованно, однако есть немало шансов доказать, что он кое-что значит, он все-таки личность, независимая личность, со своими взглядами, со своей манерой гражданского поведения. Теперь уже ясно, что с первым секретарем райкома партии у него отношения не наладятся. Сергеев не скрывает своей неприязни к нему. Зато Медведев у секретаря в чести. А не просчитается ли товарищ Сергеев с его политикой, которая вряд ли чем-нибудь отличается от поли-

тики Медведева? И дело не только в злополучном Пойгине. Дело в принципе! Сергеев сейчас находится в серьезном конфликте с работниками Дальстроя. Однако с этой организацией шутки плохи, все-таки она ни много ни мало находится в подчинении самого Наркомата внутренних дел. А секретарь райкома как раз и обвиняет кое-кого из работников Дальстроя в том, что они, как ему кажется, не всегда проявляют должную чуткость к местному населению. Но если чуткостью именовать благоволение к таким типам, как Пойгин,— далеко можно зайти. Кто поручится, что Сергеев в своем споре не проиграет? И что скажут ему, Игорю Семеновичу Величко, если в результате его ответственной командировки председателем артели выберут шамана? После этого может такой шум подняться, что свет не мил станет. Нет, шалишь, он не пойдет на поводу у Медведева. Тут можно, в конце концов, дать бой и самому секретарю райкома, поскольку дело касается принципов.

Облокотившись о прилавок, Величко жадно затягивался папиросой.

— Ну вот что, Степан Степанович, закрывай свою лавочку,— словно бы и шутливо, но в то же время и с вызовом сказал Величко.— Вечером, в семь часов, проведем собрание. Может, не совсем собрание, скорее беседу, потому что я не знаю, кого же все-таки избирать председателем артели.

— Давайте дождемся Медведева. Он тут самый авторитетный человек. Он всех и все знает, зря не посоветует.

— А райком? Райисполком? Это тебе не авторитет? Или тут вотчина Медведева? Может, и ты в князьки метишь?

Ошеломленный Чугунов долго молчал, усмехаясь зло и в то же время конфузливо, как бы очень стыдясь того, что увидел уполномоченного района с такой неблаговидной стороны. Наконец сказал:

— Ну-у-у, знаешь, всякое от тебя ждал, а вот про такое, понимаешь ли, и подумать не мог...

— А ты подумай, подумай. Иногда нелишне. И митинги в этом универмаге прекрати. Лучше занимайся своим непосредственным делом. Пропагандист из тебя липовый, дров наломать можешь...

— Нет, шалишь, братец! Я на самый край света для чего сюда прибыл, а? Для шила и мыла? Дудки! Я здешним людям душу свою отдаю. Я правду про нашу жизнь рассказываю! Я им веру свою...

Чугунов медленно подступался к Величко, удивительно яркий и великолепный в своем гневе и обиде, так что Ве-

личко даже заулыбался, испытывая искреннее чувство симпатии к этому человеку. Чукчи попритихли, изумленно разглядывая русских, стараясь понять, что произошло между ними. Величко по-дружески дотронулся до плеча Степана Степановича и сказал с покровительственным добродушием:

— Ну, ну, успокойся. Да пойми, в конце концов, я же для твоей пользы. Здесь все так дьявольски сложно. Сам не заметишь, как в беду попадешь.

— Не боюсь я никакой беды!

— Не ерепенься. Вы тут явно поотстали, попритупили восприятие, не улавливаете остроты момента...

— Улавливаем! Все, что нужно, улавливаем!

— Ну, ну, как знаешь.— Величко раскрыл портсигар, протянул Чугунову, терпеливо дождался, когда тот возьмет папиросу.— Ну вот, так-то оно лучше. Береги нервы. Мы еще с тобой вечером «пульку» сгоняем, если Надежда Сергеевна поддержит. Как она... в преферансе что-нибудь смыслит? На Севере многие бабы и это освоили...

— Она тебе не баба, а женщина... Слава богу, ничего такого не освоила. Как была, так и осталась женщиной...

6

Тынупцы собрались в клубе культбазы. Прежде чем занять главное место за столом президиума, Величко сказал Надежде Сергеевне тоном усталого человека, обремененного непомерной ответственностью:

— Вся надежда на вас. Разговор, видимо, будет трудным, надо донести до чукчей очень тонкие и важные вещи. А я, к сожалению, так и не освоил язык...

— Не лучше ли дождаться Артема Петровича?— спросила Медведева, зябко кутаясь в белый пуховый платок.

Величко погасил вспыхнувшее раздражение тем, что невольно залюбовался Надеждой Сергеевной. «Бог ты мой, сколько в ней женственности. Даже сквозь пуховый платок видно, что бог, сам бог вылепил ее плечи...» Вслух сказал:

— Жаль, конечно, что Артем Петрович так некстати отправился в тундру.

— Почему же некстати? У него там немало важных дел.

— Я в том смысле, что он здесь очень нужен именно в этот момент. Я мог бы и отложить собрание на день, на два, но время не ждет.— Величко задержал взгляд на лице Надежды Сергеевны.— Кстати, у меня и с вами еще должен

состояться разговор по школьным делам. Надеюсь, вы не забыли, что я все-таки ваше непосредственное начальство...

— Что вы, Игорь Семенович, это я помню.

— Вы удивительно похорошели,— осторожно сказал Величко, как бы тайно страдая, что служебное положение не позволяет ему быть намного прямее в выражении симпатии к этой женщине. Со вздохом добавил, отводя глаза в сторону: — Неодолимая это сила... женственность...

Величко ждал, как отзовется Медведева на его слова, стараясь не показывать своего напряжения. Однако Надежда Сергеевна промолчала, только бросила на собеседника мимолетный взгляд. Но Величко успел заметить, как тень досады пробежала по ее тонкому лицу.

Чукчи размещались на скамьях, а некоторые усаживались просто на пол. Многие из них курили трубки.

— Ну и чадят!— с добродушной насмешкой сказал Величко.— Школьники не балуются трубками?

— Случается. Но главное, родители перестали возмущаться, что их детей лишают такого удовольствия.

— Вы что так зябко кутаетесь в свой роскошный платок?— Величко уже откровеннее посмотрел на Медведеву, стараясь, чтобы она заметила именно то, что минуту назад хотел скрыть от нее. И вопрос, конечно, таил недосказанное, мол, случается, что нас, грешных, порой одолевает озноб невольного возбуждения особого сердечного свойства: не это ли самое происходит и с вами?

И опять по лицу Медведевой пробежала тень досады. Однако она вежливо улыбнулась и сказала:

— Меня почему-то очень беспокоит предстоящее собрание... Надо было бы все-таки дождаться Артема Петровича.

Опустив голову, Величко долго разминал папиросу, едва приметно усмехаясь. Когда прикурил, сказал, кивнув в сторону Чугунова, который что-то объяснял больше жестами, чем словами, председателю Тынупского сельсовета старику Акко.

— Прелюбопытный малый. Уж так ему хочется быть настоящим агитатором. А пороху не хватает...

— Как знать, может, именно ему-то и удастся войти в душу к этим людям..

— С чем войти?

— Это очень добрый и честный человек. С тем и входит...

— Доброта и честность — это, конечно, немало. Но надо и еще кое-что иметь... к примеру, политическое чутье.

Медведева снова поежилась, кутаясь в платок, посмотре-

ла прямо в глаза Величко с выражением какой-то почти обидной отстраненности.

— Думаю, что и этого у него вполне достаточно...

— Вы так полагаете? Что ж, посмотрим, жизнь нам всем устраивает довольно суровый экзамен. — Величко оглядел переполненный клуб.— Не подскажете ли, кто тут Пойгин?

— Вон тот, в самом углу. Сидит на корточках. На индейского вождя похож.

— На вождя? Скажи пожалуйста. Вождь — и вдруг на корточках. Впрочем, и в самом деле, есть, есть в нем что-то такое. Правда, для шамана он недостаточно экзотичен.

— Какой он шаман? По существу, он антишаман...

— Вот даже как. Чувствую, чувствую влияние Медведева.

Надежда Сергеевна поморщила лоб и сказала, глядя с прежней отстраненностью мимо собеседника:

— Влияние Медведева — вещь, конечно, немаловажная. Однако я в состоянии кое-что осмыслить и вполне самостоятельно...

— Извините, я не хотел вас обидеть. Ну а где же здесь Ятчоль?

— Да вот слева от вас, в первом ряду. В пальто нарядился. И ремнем подпоясался так, будто на нем кухлянка.

Величко какое-то время оценивающе всматривался в Ятчоля.

— Лицо добродушное. И есть в нем какая-то... наивная готовность, словно школьник вот-вот руку для ответа поднимет. Жаль только, что подмочил он свою репутацию связями с американскими купцами. Если бы не это...

— В нем не только это.

— Что же еще?

— Двоедушие. Приспособленчество. Нет принципов...

— Ну полно вам... какие могут быть у них принципы...

Надежда Сергеевна вскинула голову, напряженно вглядываясь в лицо Величко.

— Извините, но вы сказали что-то не то. И по интонации, и по сути...

Величко лукаво погрозил пальцем.

— Ой, Надежда Сергеевна! Не слишком ли вы ко мне придираетесь? Но ничего, я не мстительный. Я вас прощаю.— Задержал улыбчивый взгляд на собеседнице, упиваясь своим шутливым великодушием.— Прошу вас, сядьте со мной рядом. И постарайтесь быть как можно точнее в пере-

воде. Тут многое будет зависеть от того, что мне удастся им втолковать.

Величко и Медведева прошли за стол.

— Прошу председателя сельсовета, уважаемого товарища Акко, занять место в президиуме.

Надежда Сергеевна повторила слова Величко на чукотском языке. Старик Акко смущенно вскинул голову, медленно встал. Чугунов ободряюще слегка подтолкнул его ладонью в спину. Старик прокашлялся и громко воскликнул:

— Пойгин!

Величко вопросительно посмотрел на Медведеву.

— Это еще что за выходка?

Надежда Сергеевна пожала плечами.

— Видимо, председатель сельсовета высказывает свое мнение, кого хотел бы видеть во главе артели.

— Ну, знаете! Пригласите Акко сесть за стол. И пусть пока помолчит.

Акко осторожно прошел к столу, уселся. Потом снял с пояса трубку, намереваясь закурить. Величко остановил его жестом.

— Карэм! Нельзя! Договоримся, что хоть в президиуме курить не будем.

Акко удивленно посмотрел на русского очоча, снова подвесил трубку к поясному ремню.

— Нымэлькин! Хорошо! — воскликнул Величко, похлопывая Акко по плечу. — Очень нымэлькин. Или по-чукотски будет вернее колё нымэлькин. Вот, к сожалению, все, что я умею говорить по-чукотски...

Это уже было сказано скорее для Медведевой.

— Пойгин! — негромко, однако вкладывая в голос всю силу своей непреклонности, опять произнес Акко. И сразу же наперебой прозвучало несколько голосов: «Пойгин! Пойгин! Пойгин!»

— Это уже похоже на обструкцию, — сказал Величко и улыбнулся Медведевой. — Странно звучит это словечко в данной ситуации, не правда ли? Я, конечно, пошутил насчет обструкции, просто невежество. Вы хотя бы научили их тут правильно вести себя на собрании. Уже сколько лет культбазе, но даже председатель сельсовета не знает элементарных вещей.

— Зато он, кажется, знает, чего хочет...

Величко сделал долгую паузу, овладевая собой.

— Итак, постарайтесь, Надежда Сергеевна, перевести им дословно следующее. Товарищи, мы сегодня собрались по

очень важному делу. Мы должны подумать, кого следует избрать председателем артели. Пусть это пока не будет выборами. Сначала как следует по-человечески посоветуемся...

— Вот это уже другое дело,— с облегчением промолвила Медведева и перевела на чукотский слова Величко.

Чукчи зашумели, закивали головами, и опять прозвучало несколько голосов в разных местах зала: «Пойгин! Пойгин!»

— Я пока не буду вникать, по какому поводу произносится имя Пойгин. Но скажу вполне категорически. Если кому-нибудь кажется, что председателем можно и нужно выбрать Пойгина, то тут налицо явное заблуждение. На этом посту должен быть человек кристальной честности, ничем не запятнанный, с ясным умом, преданный нашему общему делу... Однако, насколько мне известно, Пойгин даже сам себя называет шаманом... Поймите же, это нелепо — ставить шамана во главе артели. Это не лезет ни в какие ворота. Переводите, Надежда Сергеевна.

Медведева осторожно положила карандаш на раскрытую тетрадь, тихо сказала:

— Я не могу, Игорь Семенович.

— Не можете? Почему?

— Во-первых, вы просили переводить дословно. Ну как я переведу, допустим, такую фразу: не лезет ни в какие ворота. Чукчи понятия не имеют, что такое ворота...

Величко заставил себя рассмеяться.

— Ну уж тут вы могли бы найти смысловой перевод, что-нибудь доступное их пониманию...

— А во-вторых,— уже настойчивее сказала Медведева,— я не могу произносить слова, которые могут очень обидно прозвучать в адрес Пойгина. Как раз именно он и является человеком кристальной честности. Если вы позволите хотя бы чуть-чуть публично усомниться в этом — будет оскорблен не только Пойгин...

Величко не мог скрыть, что он на какое-то мгновение растерялся.

— Конечно, конечно же, Надежда Сергеевна, ничего оскорбительного здесь прозвучать не должно. Однако четкость нашей позиции, точность политической линии — это они должны понять. Мы не имеем права поступать иначе...

— Я не знаю, чем вам помочь,— напряженно улыбаясь, призналась Надежда Сергеевна.— Видите ли, я тоже за четкость политической линии... Но это здесь невозможно объяснить словами, это нужно проводить точными действиями, с пониманием людских душ... Надо каждого из этих лю-

дей знать как самого себя, только тогда можно найти верный ход.

Величко нервически поморщился и, заметив на себе насмешливый взгляд Чугунова, рассердился.

— Верный ход,— иронически повторил он слова Медведевой.— Тот ход, который здесь мне подсказывается, с вашим прекрасным знанием людей мне кажется настолько неверным, что...

Величко не успел докончить фразу: со своего места вскочил Ятчоль и громко воскликнул:

— Пойгин очень шаман! Пойгин очень плёко!

Чукчи зашумели, догадываясь, что Ятчоль порочит Пойгина. Величко поднял руку, призывая к тишине, попросил Медведеву:

— Спросите у них, кто еще думает так же, как Ятчоль?

Надежда Сергеевна встала, сказала по-чукотски:

— Ятчоль говорит, что Пойгин шаман, что Пойгин плохой человек. Кто еще так думает, как Ятчоль? Встаньте и скажите.

Никто не встал и не проронил ни слова.

— Они поняли ваш вопрос?— теряя терпение, спросил Величко.

— Да, да, поняли.

— Пойгин шаман!— снова воскликнул Ятчоль.

— Да сядь ты!— вдруг взревел Чугунов.— Или ты, спекулянтская твоя душонка, может, сам метишь в председатели артели?

— Это еще что такое?!— очень тихо, однако негодующе спросил Величко.— Вы как себя ведете?

Досадливо крякнув, Степан Степанович сел на скамейку, безнадежно махнул рукой. Долго длилось неловкое молчание.

— Верно ли, что Ятчоль баловал спекуляцией?— наклоняясь к Медведевой, спросил Величко.

— Степан Степанович знает, о чем говорит.

— Так ли уж знает? Мне все больше кажется, что на Ятчоля вы смотрите однобоко и предвзято. Ну, возможно, были у него грешки, однако люди не ангелы. Надо реально смотреть на вещи и опираться на то, что есть...

Надежда Сергеевна почти испуганно посмотрела на Величко.

— Неужели вы полагаете, что председателем артели может быть этот человек?

— Почему бы и нет. Во-первых, хоть немного, однако

смыслит по-русски, говорят, имеет кое-какое представление о грамоте... Ну хоть расписаться может. И потом я вижу, чувствую, что он готов в лепешку разбиться, только бы...— Величко запнулся, подыскивая слово.

— Угодить,— горько улыбаясь, подсказала Медведева.

— Ну хотя бы и так. Фактор в этих дьявольских условиях немаловажный. Послушание перейдет в осознанную необходимость порядка, дисциплины.

Чукчи переговаривались все громче, и Надежда Сергеевна различала в гомоне голосов злые шутки в адрес Ятчоля. А тот сидел спиной к насмешникам красный, потный, поглядывая на очоча преданными глазами, словно улавливал ход его мыслей.

— Вы знаете, что по этому поводу говорит Артем Петрович?— спросила Медведева, чутко прислушиваясь к говору чукчей в зале.— Он говорит... нам не нужны марионетки, нам нужны равные среди равных...

— Я понимаю, почему вам так приятно цитировать мужа.

— Не тратьте ваши усилия, чтобы так едко выразить иронию, нам не до этого. Вот вы говорили о четкой политической линии. Ятчоль, очутись он председателем артели, великолепно проявил бы лично вам... и любому другому из нас, кто это принял бы... свою угодливость. При верхоглядстве это можно было бы принять и за дисциплину, и за понимание главной линии. Ну а уж дела артели он так испохабил бы, что вы себе и представить не можете. Хамством своим испохабил бы, корыстью. А еще тем, что не любят его люди, не ценят как охотника, как человека, не могут забыть, как он грабил их когда-то...

— Вот это... это, если будет доказано... меня больше всего беспокоит,— вяло ответил Величко, чувствуя, как у него начал пропадать бойцовский азарт.— Черт его знает, куда и вести эту беседу дальше. Чукчи, наверное, уже посмеиваются над нами. Понимаете, я даже боюсь спрашивать их мнение. А вдруг закричат все вместе — Пойгин...

— Может случиться и такое,— не скрывая торжествующей улыбки, сказала Надежда Сергеевна.

— Чему вы радуетесь?

— Тому, что есть тут достойный для большого дела человек.

Величко хотел было сказать что-то откровенно резкое, но в своем углу поднялся Пойгин, продул выкуренную трубку, степенно подвесил ее к поясу.

— Послушайте меня,— тихо сказал он.— Да, я чувствую в новом порядке, который называется артель... справедливость. Я поверил в это. Я знаю... главным в артели должен быть самый лучший охотник, самый бесстрашный мужчина, самый справедливый человек. Давайте думать, кто из нас такой.

Надежда Сергеевна приложила ладони к похолодевшим от волнения щекам, быстро, вполголоса перевела слова Пойгина, наклонившись к Величко. С каким удовольствием она это делала, как бы всем своим видом говоря: вот, вот тебе, послушай, попробуй теперь сказать что-нибудь плохое об этом человеке.

Пойгин помолчал, чему-то печально улыбаясь.

— Вот только что Ятчоль сказал очочу, что я шаман. Да, пусть знает очоч, я действительно шаман. Однако белый шаман. И еще скажу ему, что я не хочу быть тем, кого именуют пред-се-да-те-лем, хотя вы и называете мое имя. Я лучше буду помогать новым порядкам, которые называются артель, как белый шаман. Я буду призывать море не поднимать высоко волну, когда в него выйдут байдары артели. Я буду приносить жертвоприношения морю от имени артели. Я буду просить Моржовую матерь проявлять благосклонность к людям артели. Я буду делать байдары для артели. Вы знаете, какие я умею делать байдары.

И ответили многоголосо люди:

— Да, знаем.

— Это диво просто, какие ты делаешь байдары!

— Плывут, как рыбы, летят, как птицы, твои байдары!

Пойгин благодарно закивал головой.

— Спасибо вам, люди. Как видите, у меня будет много забот. А председателем достоин быть каждый из вас, кроме Ятчоля.

И опять отозвались люди.

— Нет! Ятчоль не может!

— Не хотим Ятчоля!

— Ятчоль — скверный охотник!

— Ятчоль — трус и болтун!

Величко нетерпеливо поглядывал на Медведеву, дескать, что же вы молчите.

А Надежда Сергеевна медлила с переводом на русский язык второй половины речи Пойгина. Ну что, что она скажет Величко? Что Пойгин все-таки называет себя пусть белым, но шаманом? Что он обещает артели благосклонность Моржовой матери? Легко себе представить, как на это отзо-

ветея Величко. И все-таки именно Пойгин мог бы стать настоящим председателем. Это вожак. Это человек, который в новых порядках видит надежду на высшую справедливость. Что ж, она скажет не больше того, что надо знать Величко.

— Пойгин говорит, что он считает достойным стать председателем здесь каждого, кроме Ятчоля.

— Выходит, что и сам не прочь...

— Вот тут вы и ошиблись!— опять не скрывая своего торжества, возразила Медведева.— Пойгин так и сказал... я не хочу быть тем, кого имепуют председателем. Он говорит, что желает людям добра, готов делать байдары для будущей артели. Он прославленный мастер по байдарам. Это я уже добавляю от себя...

— Понятно. Набивает себе цену. В хитрости ему не откажешь...

Медведева поправила платок на плечах и замерла в глубоком отчуждении.

— Ну что ж, будем считать, что если не собрание, то общая беседа состоялась,— стараясь казаться не так уж и расстроенным, сказал Величко.— Пожалуй, завтра надо поговорить с каждым из них индивидуально. Если не откажутся от Пойгина... придется искать кого-то на стороне. Другого выхода не вижу.

Величко уже хотел было объявить, что всем можно расходиться, как вдруг поднялся председатель сельсовета Акко и показал пальцем в сторону Пойгина.

— Именно ты, Пойгин, будешь председателем артели. Так решили старики в Тынупе. Так думают и все остальные мужчины и женщины, и даже дети, мнение которых надо знать взрослым. Да пусть помогают тебе твои добрые ваиргит — свет солнца, устойчивость Элькэп-енэр и вечное дыхание моря. Я прошу, как научили нас русские, всех, кто согласен со мной, поднять за Пойгина руку.

И в то же мгновение чукчи встали и взметнулись их руки. Неподвижным остался только Ятчоль.

— Что здесь происходит?— недоуменно спросил Величко.

— Выборы председателя артели,— боясь обнаружить свою радость и смущение, сказала Медведева.

— Как?! Они голосуют за Пойгина?!

— Да, голосуют за Пойгина.

Величко медленно поднялся за столом, вытащил пробку из графина, постучал стеклом о стекло. Но чукчи после это-

го, казалось, еще старательнее вытянули руки, лица их были напряженны и торжественны.

— Карэм! Нельзя! — воскликнул Величко.— Растолкуйте же им, Надежда Сергеевна, что они действуют незаконно. У нас не было собрания, была лишь беседа.

— Я считаю, что эти люди избрали своего председателя. Так я сейчас и запишу в протокол.

— Вы не имеете права. Вас никто не избирал в президиум. Вы были всего лишь моей переводчицей. Увы, не очень-то удалась вам эта роль...

А каждый чукча в зале, кроме Ятчоля, по-прежнему держал руку над головой. Лишь кое-кто переступит на одном месте, одолевая напряжение, и снова замрет, показывая всем своим видом, каким чувством он переполнен при соблюдении этого нового ритуала, который совершается по столь торжественному случаю.

— Я вижу, вы еще долго готовы держать руки поднятыми,— тоном вершителя ритуала сказал Акко.— Можно теперь опустить и сесть на место. Как видишь, Пойгин, все, кроме Ятчоля, согласились избрать тебя председателем. Иди сюда, и мы послушаем твои говорения...

— Я чувствую, что очоч не согласен с тобой, Акко,— сказал Пойгин, грустно улыбаясь.— Душа его не имеет ко мне даже самого слабого расположения.

Старик Акко приосанился, иссеченное морщинами лицо его, словно выветренное ветрами нелегких и долгих времен, стало непреклонным.

— Я тут тоже очоч. И моя душа давно имеет к тебе самое сильное расположение. А поднятые кверху руки людей имеют, как я понимаю, по новым порядкам неколебимую силу доброго согласия. Таков смысл этого нового для нас обычая. Иди и произноси свои говорения...

Медведева, не глядя на Величко, перевела слова Акко.

— Карэм! Нельзя! — запротестовал Величко.— Скажите им, Надежда Сергеевна, что так председателя не избирают.

Медведева медленно сняла с плеч платок, повесила его на спинку стула, выкраивая для размышления время.

— Люди,— наконец тихо заговорила она по-чукотски.— Возможно, наш гость из района прав в том, что избрание председателя произошло без точного соблюдения обычая. Этому вам еще нужно поучиться. Но важно главное: вы назвали имя самого достойного. Возможно, что вам завтра-послезавтра придется еще раз поднимать руку. И я уверена, что вы это сделаете в честь Пойгина.

На второй день в Тынуп вернулся Медведев, а с ним прибыло еще десятка три чавчыват, среди которых были Майна-Воопка, Выльпа и старик Кукзну. С возвращением Медведева Величко понял, что избрание Пойгина председателем артели становится неизбежным, мучительно ломал голову, как быть дальше.

— Учтите, если избрание шамана председателем артели окажется скандальной историей,— я скажу, что вы и пальцем не пошевелили, чтобы этому помешать,— решительно заявил он в клубе культбазы Медведеву. Понаблюдав, какое впечатление произвел на собеседника, добавил уже тоном искреннего сочувствия: — Видит бог, я старался предостеречь вас от этого шага.

— Да, старались,— угрюмо клоня голову, подтвердил Артем Петрович.— Я так и доложу каждому, кто будет интересоваться вашей и моей позицией.

— А знаете, я, пожалуй, даже совсем отстранюсь от собрания в знак моего принципиального несогласия с вашей линией.

— Понимаю, понимаю, вы будете докладывать в районе, что избрание председателя артели произошло вопреки вашей воле...

Страдальчески улыбаясь, Величко развел руками.

— Да, именно так. И я был бы рад, если бы вы одумались...

— Но ведь не я, а охотники, оленеводы выбирают для себя председателя...

Величко усмешливо покачал головой.

— При вашем-то влиянии, при вашем знании языка можно было бы убедить каждого чукчу, даже самого темного, не поступать опрометчиво.

Медведев потянулся рукой к бороде, пытаясь поглубже упрятать ядовитую усмешку, словно бы запутавшуюся в волосах. А она, как пчела, была упрямой и неукротимой, и все равно обнаруживала себя.

— Что вы так странно улыбаетесь, будто я толкаю вас на бесчестный поступок?

— Да нет, я так не думаю. А что касается чукчей в их поисках вожака, то я в данном случае с ними заодно.

— Вы могли бы это и не подчеркивать.

Медведев разгладил складки кумача, которым был покрыт стол президиума, спокойно возразил:

— Нет, почему же, я должен это особенно подчеркнуть. Сейчас соберутся люди. Пусть, Игорь Семенович, они выбе-

рут именно того, кого хотят. Пусть на этом конкретном примере убедятся, что они действительно берут собственную судьбу в свои руки.

И еще раз все охотники и чавчыват, кроме Ятчоля, подняли руки за Пойгина. Старик Акко был председателем собрания. Долго он смотрел, как маячили руки, чувствуя в душе восторг суеверного человека, для которого соблюдение ритуала — превыше всего. Наконец он глубоко передохнул и сказал торжественно:

— Высоко были подняты руки, кроме одного из нас. Теперь, как я понимаю, все совершилось по законам нового для нас обычая. Иди сюда, Пойгин, ты председатель. Мы готовы слушать тебя.

Пойгин медленно, как бы всем своим существом прислушиваясь к каждому собственному шагу, подошел к столу, в напряженной тишине раскурил трубку, протянул ее Акко и только после этого тихо сказал:

— У нас мало байдар. Лето еще не скоро, но нам уже надо думать, на чем уходить в море. Начнем завтра же делать каркасы для байдар. Чем дальше уходят охотники в море, тем благосклонней к ним Моржовая матерь. Да будет нам всем в охоте удача.

Такой была программная речь председателя артели, и Медведев почему-то не смог удержаться, чтобы не перевести ее дословно для Величко. Тот иронично усмехнулся и сказал:

— Далеко же вы пойдете с вашей Моржовой матерью. Комедия, которая может повернуться трагедией. Я покидаю собрание и снимаю с себя всякую ответственность.

Величко встал и демонстративно ушел. Пойгин проводил его взглядом, в котором были печаль и недоумение, неуверенно присел на стул рядом с Медведевым.

Заместителем Пойгина от чавчыват выбрали Майна-Воопку. Выльпа остался одним из бригадиров.

Старик Кукэну, проявляя необычайную прыть, пробрался к столу, протянул трубку Пойгину.

— На, затянись. И помни, что я первый дал тебе свою трубку как очень большому очочу.

Пойгин глубоко затянулся и ответил:

— Я не был очочем и не буду. Я белый шаман.

Кукэну почесал лысину мизинцем.

— Зря ты отказываешься быть очочем. Я бы ни за что

не отказался. Ну ничего, я Выльпу научу быть очочем. Засвистит у Вапыската правая ноздря, а Выльпа притопнет ногой и громким голосом скажет: смени ноздрю, пора посвистеть и левой, правая надоела!..

Сладко щурясь от глубокой затяжки из трубки, Кукэну с удовольствием слушал, как хохочут люди, и, когда наконец все поутихли, прошел на свое место, улыбаясь самому себе со счастливой застенчивостью.

7

Своенравна река памяти, то плавно течет, то вдруг забурлит, словно одолевая каменистые пороги. Сколько лет прошло с тех пор, когда избрали Пойгина председателем, а вот помнятся ему руки, воздетые кверху. Маячат в памяти руки настолько отчетливо, что их, кажется, и теперь можно сосчитать. А потом вспомнилась и ночь бессонная. Ворочается Пойгин на инаргин, вздыхает.

— Ты почему не спишь, Кайти?

— О тебе думаю. Кто ты теперь? Непривычны для меня слова... артель, председатель.

— Привыкнем.

— Не привлекут ли эти слова к тебе злых духов?

— Не думай о них.

— Тебя уже называли — председатель. Это как понимать? Ты все-таки очоч, что ли?

— Я не хочу быть очочем. Я не хочу устрашать людей.

— А если тебя не станут слушаться?

— Надо, чтоб слушались.

— В Тынупе есть и лентяи. И тебе придется с ними говорить громким голосом.

— Да, наверное, придется.— Пойгин прокашлялся, будто собирался опробовать голос.— Завтра возьму бубен и пойду на берег. Пусть гром бубна дойдет подо льдами до слуха Моржовой матери. Я очень надеюсь на ее благосклонность...

— И я, я тоже надеюсь,— шепчет Кайти, и ладошка ее прикасается к телу Пойгина, как раз против сердца.

Тепло рядом с Кайти. Тепло и — покойно. Если она рядом — все будет хорошо. Пойгин вздыхает полной грудью и улыбается. Кайти не видит его улыбки в темноте полога, но чувствует ее. Блуждает Кайти пальцами по лицу Пойгина, прикасается к его губам. Трепетны пальцы у Кайти и настолько ласковы, что, кажется, они способны прикоснуться даже к душе.

— Мне приснилось прошлой ночью, что мы из яранги перешли в дом,— тихо и почему-то очень робко признается Кайти.

— Я не хочу в дом. Пусть Ятчоль живет в доме...

— Мэмэль злит меня, хвастается, что первой перейдет в дом. И такая, говорит, будет у нее чистота, что я ослепну, когда переступлю черту входа в ее новый очаг. Я тоже хочу в дом... Еще посмотрим, кто ослепнет — Мэмэль или я...

— Ты в доме о дерево поотбиваешь бедра. Вот здесь и здесь больно будет...

Кайти отвечает тихим смехом на прикосновения рук мужа. Проходит мгновение, другое, и Кайти уже забывает, что на свете может быть еще какое-то место, где она была бы настолько же счастлива, как в этом бесконечно родном пологе. Это неправда, что тесен он. Сколько сюда вместилось невидимых добрых духов. Летают духи, шаловливо гоняются друг за другом, тихо пересмеиваются и дышат глубоко-глубоко, дышат, как возможно дышать лишь тогда, когда сердце оленем становится. Мчится, мчится олень, кажется, вот перед ним уже бездна. Но перелетает олень через бездну, и звенят, звенят его серебряные копытца, и легко ему в полете, легко и вольно. Вот он уже в стремительном беге истончился настолько, что стал солнечным лучом. Пробивает солнечный луч каждую кровинку Кайти, пробивает солнечный луч каждую кровинку и Пойгина, и теперь кажется им, что они стали ветром, что они стали солнечным зноем, что они стали разволновавшимся морем. А потом приходит новое постижение, удивительное постижение, что они опять стали Кайти и Пойгином. Мыслимо ли, чтобы они когда-нибудь разлучились? Нет, слышите, добрые духи, нет, это немыслимо. Даже страшный укус гнусной росомахи в образе Аляека не смог разделить их печальной чертой смерти — выжила Кайти! Выжила...

Кайти осторожно прикоснулась к шраму на груди, хотела сказать, что она боится этой метки, но тут же прогнала тревожную мысль, ведь ей так легко и свободно. И Пойгину легко и свободно, это можно понять по его глубокому вздоху.

— Ну а теперь спи,— попросила его Кайти.

Пойгин еще раз вздохнул и долго молчал. Все-таки не вытерпел, снова заговорил:

— Артем сказал, что мне теперь надо постигать тайну немоговорящих вестей. Но на это у меня не хватит рассудка...

Кайти от изумления приподнялась над постелью, наклонила свое лицо над лицом мужа, будто надеялась в темноте его разглядеть.

— У тебя не хватит рассудка? Мне кажется, что во льдах даже умка над твоими словами хохочет. Вслушайся...

Пойгин бережно уложил Кайти на иниргин, прикоснулся к ее груди.

— Я слышу, как в тебе бунтует добрый ваиргин молока.

— Да, в груди моей теперь много молока. Кэргына сыта. Потому и спит крепко.

— Предскажи, какой у меня будет завтра день... Первый день после того, как люди подняли за меня руки по новому обычаю доброго согласия.

— Ты будешь ходить по берегу моря и мечтать о той поре, когда наконец уйдут льды в море.

— Мечтать буду, но это мало. Артем отдает нам большоо деревянное вместилище — склад называется. Завтра начнем там делать остов новой байдары.

— Я боюсь, что ты за своими делами забудешь меня.

Теперь уже Пойгин от изумления приподнялся над постелью.

— Я забуду тебя?! Тут и вправду может расхохотаться умка. Слышишь, хохочет. Кажется, даже лапами за живот от смеха схватился.

— И заодно с ним я хохочу,— сказала Кайти и рассмеялась, но тут же оборвала смех, прислушиваясь к дыханию дочери.

— Спит. Крепко спит. Значит, сыта. Значит, здорова.

Уснул Пойгин под утро. Но когда проснулся, удивился тому, что чувствует себя полным сил и здоровья. Ему очень хотелось взять бубен и уйти во льды, чтобы начать свою председательскую жизнь с доброго общения с морем. И он не выдержал, вышел из полога с бубном и начал прогревать его у костра в холодной части яранги. Он думал о том, как далеко покатится гром его бубна, как выйдут на берег люди и долго будут слушать, о чем рассказывает бубен. И конечно же, гром бубна будет навевать им самые лучшие надежды, вселять уверенность, прогонять тревогу. Да, Пойгин пройдет через весь Тынуп с бубном и ударит в него во льдах моря. Он уже готов был сказать Кайти, что уходит во льды моря, как вдруг в яранге появился Медведев. Был он задумчив, и по глазам его можно было понять, что ему плохо спалось.

— О, ты пришел!— приветствовал его Пойгин, оглаживая чуть запотевшую кожу бубна.

— Да, пришел.— Артем Петрович присел на китовый позвоночник возле костра.— Ну с чего собираешься начать свой первый день в артели, председатель?

— Да вот хочу сходить во льды. Ударю в бубен. Пусть услышит меня Моржовая матерь...

— Я так и думал...

В голосе Медведева Пойгин уловил тревогу и потому осторожно спросил:

— Что тебя беспокоит?

Артем Петрович ответил не сразу. Не хотелось ему говорить, что в Тынупе все еще находится большой очоч из района и ему покажется странным, что председатель артели начал с того, что ушел во льды моря с шаманским бубном.

— Я освободил склад. Теперь он будет называться вашей мастерской. Хорошо бы начать твой первый день председателя именно там. Пусть сегодня начнется изготовление новой байдары. Это будет, надо полагать, быстроходная байдара. Пусть она станет добрым знаком вашей новой жизни в артели.

Пойгин слушал Медведева и все медленнее оглаживал бубен: он догадывался, по какой причине тот не ответил прямо на его вопрос — конечно, все дело в очоче, приехавшем из Певека.

— Почему не все русские понимают, что черный шаман одно, а белый совсем другое? — с печальным недоумением спросил Пойгин.

— Мы не всеведущи так же, как все остальные люди на свете. Однако наш обычай велит судить о человеке по его делам. Твои хорошие дела в артели докажут, какой ты есть человек, даже тем, кто тебя еще плохо знает и потому не понимает.

Пойгин еще раз огладил бубен, слегка ударил в него согнутым пальцем. Бубен тихо отозвался. Пойгин замер, словно звук бубна все еще продолжал отзываться в нем дальним эхом, затем встал и сказал:

— Хорошо, я спрячу бубен. Сегодня мы начнем строить остов новой байдары...

8

Просторным оказалось вместилище, которое теперь называли не складом, а мастерской,— подарок культбазы. И де-

ревянных брусьев, досок Медведев не пожалел. Чугунов тоже кое-что добавил, особенно пригодились его инструменты: пила лучковая, ножовка, рубанок, шерхебели, долото разных форм и размеров, стамески — всем этим он впрок запасся, когда отправлялся на «край света». Главное, он добавил свои умелые руки. Пойгин, как и все чукчи, обычно обходился небольшим топориком-мотыжкой, ножом да буравчиком. А Чугунов ко всему прочему удивительный бурав предложил — ко-ло-во-рот называется.

Возбуждены люди. Раскладывают брусья, доски, примеряют, как лучше их распилить. Пойгин никогда не был суетливым человеком, а тут, в этот воистину торжественный момент, он особенно был степенным, задумчивым. Каждое слово его ловилось на лету.

— Верно говоришь!

— Кто лучше тебя в байдарах понимает?

— Байдары еще нет, а ты, наверное, уже на волнах ее видишь.

И это не было лестью, заискиванием, это была вера в мастера, вера в доброе согласие, которое вчера оказалось торжественно утвержденным по новому обычаю.

Попыхивает трубкой Пойгин, к Медведеву и Чугунову приглядывается. Вертит Чугунов одну из заготовок носа байдары и что-то говорит Артему; в глазах у того и другого любопытство и восхищение.

— Я как-то оленью нарту поднял, а она, понимаешь ли, что тебе перышко, легкая. Вглядываюсь и удивляюсь.— Степан Степанович и вправду состроил удивленные глаза.— Ну просто корзинка. Перекладины, дужки тоненькие, все ремнями напрочь скреплено. А материал-то, по существу,— кустики. Где тут возьмешь иной материал? Но до чего же крепка нарта! Сам знаешь, какие приходятся на нее нагрузки.

— Ты прав,— согласно закивал головой Медведев.— Инженерам на удивление.

— Вот-вот, именно на удивление!.. Нагрузочки-то нешуточные. Во-первых, бешеная скорость, когда мчит такую нарту олень. И мчит-то, понимаешь ли, по сугробам, по кочкам, а то и камни случаются. И груз немалый, человек сидит, а то и два. Да еще и пожитки... другой раз центнера на три.

— Я поездил на этих нартах. Когда первый раз садился... раздавлю, думаю, массой своей. Потом понял, что и двоих таких выдержит,— Медведев поднял еще одну заготовку остова байдары, плавно выгнутое боковое ребро.— А это? Вот

соберут ребрышки да перекладинки в определенном порядке, моржовые шкуры на скелет натянут — и байдара готова. Другой раз кажется, на себе уволок бы это хрупкое сооружение. А на ней тонны по морю перевозят, причем нередко сквозь льды. Как видишь, тот же инженерный расчет, только без формул, приборов, все на чутье, на глазомере, на древнем опыте.

Прислушивается Пойгин к русской речи и смутно догадывается по глазам да по жестам собеседников, что они умеют ценить настоящую работу. В мастерскую вошел Величко, весело воскликнул, поднимая руку:

— Сердечный привет корабелам! Насколько мне известно, здесь происходит закладка первой байдары.

Чукчи на время отвлеклись от дела, улыбчиво закивали головами: по лицу очоча можно было заметить, что он пришел на этот раз с душою, расположенной к ним. Однако Пойгин лишь мельком глянул в сторону Величко и, опустившись на колени, провел острием ножа несколько плавных, стремительных линий на одном из деревянных брусков.

Величко вытащил из кармана карандаш, опустился на корточки.

— Ты бы вот чем попробовал...

Пойгин взял карандаш, сделал несколько крестиков на бруске. Скупо улыбнулся, возвращая карандаш Величко:

— Рука моя нож понимает лучше...

— Скажи ты... не признал карандаш.— Величко окинул насмешливым взглядом Медведева и Чугунова.— Хотя бы расписаться он умеет? Или крестиками будет подписывать документы?

— Научится,— ответил Артем Петрович, стараясь всем своим видом внести дух успокоительности и согласия.

Взяв Медведева за кончик шарфа, Величко отвел его в угол мастерской.

— Я хочу поговорить с вами... с тобой... доверительно... Тебе известна некоторая напряженность в моих отношениях с первым секретарем райкома. Я, собственно, к нему всей душой, но он во мне что-то не понимает...

Медведев сдержанно кивнул головой, дескать, я готов вас слушать, проявляя полнейшую корректность, однако не более того.

— И вот теперь, когда я резко выразил свое отрицательное отношение к избранию Пойгина председателем... это может подлить масла в огонь. Дело в том, что я знаю... Сергеев верит тебе, как себе, он будет с тобой и в этом заодно...

— Надеюсь на его поддержку,— с прежней корректностью ответил Медведев.

— Я прошлой ночью много думал о наших с тобой разногласиях. Говорил себе, а что, если ты прав? Я искренне восхищен тем, что и ты, и твоя жена, да, пожалуй, и Чугунов здесь, среди чукчей, так сказать, свои люди, у вас есть к ним подход. Поверь, искренне восхищен...

Медведев и на это признание ответил лишь легким кивком.

— Так вот, будем считать, что я тоже разделяю ответственность за избрание председателем Пойгина. В конце концов, я присутствовал на собрании.— Величко поднял палец.— Разделяю ответственность! Так и напиши Сергееву. Я не хочу все сваливать на тебя, Артем Петрович...

— Сваливают вину. А я не считаю, что кто-нибудь здесь стал виноватым.

— Ну хорошо, хорошо, возможно, я выразился не совсем удачно. Но я хочу выглядеть в твоих глазах вполне порядочным человеком...

— Рад, что вы кое-что переосмыслили. Впрочем, отношение ваше к Пойгину я так и не понял...

— Я сам пока понять это не могу. Поживем, разберемся. Теперь пойдем потолкуем по нашим родным просвещенческим делам. Тут, слава богу, для меня все ясно: школа вашей культбазы одна из лучших, быть может, на всем Чукотском побережье.

Медведев и Величко ушли. Пойгин проводил их задумчивым взглядом, в котором таился какой-то недоуменный вопрос. Приняв из рук Чугунова коловорот, он покрутил его, восхищенно наблюдая за стремительным вращением сверла, затем решил опробовать его на обрезке доски.

— Ты его ровнее, ровнее держи, а на эту набалдашину нажимай по-разному, в зависимости от материала.

Пойгин кивал головой, будто понимал, о чем толкует русский, и радовался, что с коловоротом справляется вполне успешно. Это, конечно, не просто буравчик. Что ж, дырок в остове байдары надо сверлить много, чтоб потом продеть в них ремни из тюленьей шкуры, все связать в нужном порядке. Ко-ло-во-рот — это хорошо, очень хорошо. И то, что почти все мужчины Тынупа в мастерскую пришли,— тоже хорошо. К лету все, все должно быть готово к выходу в море.

В мастерскую вошла Мэмэль. Мужчины встретили ее насмешками.

— Ятчоля ищешь? Не тут ищи. Говорят, он стелет дорогу для очоча до самого Певека шкурами белого оленя.

— А может, ты его опять на цепь посадила, чтобы не напился веселящей жидкости?

Не обращая ни малейшего внимания на насмешки, Мэмэль вызывающе поглядывала на Степана Степановича. Тот чувствовал это, отводил от нее глаза, конфузливо крякал. «И что надо чертовой бабе? Доведет до греха. Во сне уже не один раз доводила...»

Мэмэль вразвалочку подошла к Чугунову, ласково улыбнулась:

— Хочу бумажную сгорающую трубку твою покурить...

Степан Степанович окинул подозрительным взглядом мужчин (не смеется ли кто?) и окончательно рассвирепел от предательской мысли, что он рад видеть эту женщину, только бы вот не здесь, не на людях.

— Ну что, что тебе от меня надо?— страдальчески спросил он.

Мэмэль жестом показала, что хочет закурить.

— Ну, на, на, кури. Я бы тебе всю пачку отдал, но ты же из яранги в ярангу пойдешь, будешь хвастаться, что я тебя одарил. Эх, Мэмэль, Мэмэль, как ты, голубушка, меня ком-про-ме-ти-ру-ешь. Да, да, есть, есть такое мудреное словечко, сам едва-едва выговариваю...

Мэмэль прикурила от трубки старика Акко и медленно вышла из мастерской с видом, независимым и откровенно вызывающим. Степан Степанович поймал себя на том, что невольно залюбовался ее походочкой. И, еще раз окинув мужчин смущенным, подозрительным взглядом, схватился за лучковую пилу.

— Этот брус вдоль мы расчекрыжим лучковой пилою.

Пойгин предупредительно вскинул руку, видимо имея на сей счет какие-то свои соображения.

— Ну хорошо, действуй по-своему. Буду учиться у тебя мастерить байдары. Но прежде, братья мои иноязычные, соорудим столярный верстак. Без верстака, понимаешь ли, ни туды и ни сюды. Вот тут, в этом месте, я его сейчас и сколочу...

А Пойгин вычерчивал плавные линии на брусьях и в воображении видел уже готовую байдару — много байдар. Легкие, прочные и стремительные, они мчались в море, как стрелы, выпущенные с тынупского берега. Хорошо, очень хорошо начался его первый день, после того как за него

подняли руки и анкалит и чавчыват по новому обычаю доброго согласия.

Придет время, и байдары сменят вельботы, а потом появятся и сейнеры в Тынупской артели, но ту первую байдару, даже не байдару, а заготовки к ее остову, Пойгин запомнит на всю жизнь. Она еще была в задумке, в прекрасной задумке, а Пойгин уже словно бы ощущал движение. Он вычерчивал стремительные линии на дереве, на земле, на снегу, прикидывая, как будет раскраивать моржовые шкуры, и мчался в разгоряченном воображении, мчался на стреле, выпущенной с тынупского берега туда, далеко, далеко, где море постепенно становится небом.

9

Кажется, все шло в артели как надо: сооружались остовы для байдар, возникали бригады, а между ними началось состязание, кто больше поймает песцов, азартное состязание. Веселее стало жить охотникам, в каждом новшестве им виделся огромный, внушающий самые добрые надежды смысл. Да и в тундре, у чавчыват, менялась жизнь. И самым примечательным было то, что уходили пастухи от богатых чавчыват в артель.

Почти все пастухи покинули Эттыкая. И Вапыскат был вынужден все чаще выходить обыкновенным пастухом в свое стадо, которое таяло с каждым днем: то волки отколют косяк, разгонят по тундре, порежут десятки, то мор нападет — никаким камланием не отгонишь. Приехал однажды черный шаман к Эттыкаю и сказал:

— Кажется, сдвинулась со своего места сама Элькэпенэр, приходит конец всему сущему на свете.

— Приходит нам с тобой конец, а не всему сущему,— раздраженно ответил Эттыкай, не очень приветливо принимая гостя.

— Я нашлю порчу на Майна-Воопку. Он научился дерзости у Пойгина. Это ты спас проклятого анкалина. Я вчера нюхал шкуру черной собаки... до сих пор в ней хранится предсмертный пот этого Пойгина.

— Да, спас, это верно,— неотступно думая о чем-то своем, подтвердил Эттыкай.

— И Рырки нет. Сколько он говорил, что наша пуля рано или поздно настигнет Пойгина. А вышло, что пуля Пойгина его настигла. Все ты, ты виноват. Зачем тогда пощадил Пойгина?

— Пощадил, пощадил,— приговаривал Эттыкай, поправляя огонь в светильнике.

— Ну и как теперь будем жить дальше?

— Наверное, будем отдавать оленей в артель, пока их волки не пожрали.

— Что?! — Вапыскат принялся ожесточенно расчесывать свои болячки.— Отдавать оленей в артель?

— Да, отдавать оленей в артель и проситься к Пойгину в пастухи...

— К Пойгину в пастухи?! Я лучше наглотаюсь мухоморов и уйду к верхним людям. И никогда уже сюда не вернусь...

Эттыкай с равнодушным видом пожал плечами:

— Как знаешь, как знаешь. Можно и так. Но скорее всего, когда олени твои разбегутся, ты станешь обыкновенным анкалином, будешь жить на берегу.

Черный шаман от изумления, казалось, и дышать перестал. Наконец закричал:

— Ты что говоришь?! Понятна ли тебе суть твоих слов?! Неужели ты настолько поглупел, что смеешь меня так унижать без боязни быть наказанным?

— Не твоего наказания боюсь...

— Не моего? Может, наказания Пойгина ждешь? Рырка уже дождался...

— Дождался, дождался...

— Пусть на твоих оленей найдет мор!

— Пусть, пусть найдет,— монотонно и равнодушно сказал Эттыкай.— А тебе я прорицаю жизнь анкалина. Хватит, наслушался твоих прорицаний, послушай мои...

Не знал в тот момент черный шаман, насколько был близок к истине Эттыкай. Отставив в сторону чашку с недопитым чаем, Вапыскат принялся быстро одеваться.

— Пусть гостем твоего очага будет Ивмэнтун, но только не я...

Эттыкай на какое-то мгновение пожалел, что разгневал черного шамана, но тут же мысленно махнул рукой и замер с крепко закушенной потухшей трубкой.

Вапыскат ушел. А Эттыкай еще долго сидел неподвижно, пугая жену своим мрачным видом.

— Пора идти в стадо,— робко напомнила Мумкыль.

Эттыкай посмотрел на нее так, будто она оказалась тем самым Ивмэнтуном, которого пожелал ему увидеть собственным гостем черный шаман. Мумкыль юркнула мышью вон из полога. «Пора идти в стадо»,— еще долго звучал

в ушах Эттыкая робкий голос жены. Да, пора идти самому в стадо, как последнему пастуху. Такая теперь у него жизнь. Где же выход? Может, и вправду прийти к Пойгину и попроситься в артель? Однако, что будет дальше? И примут ли его в артель?

Много раз с тех пор возвращался Эттыкай к этой мысли. Осторожно заговаривал с Майна-Воопкой по этому поводу. Однажды приехал к нему в стойбище, застал у костра в яранге. Пэпэв достала белую шкуру оленя, вопросительно посмотрела на мужа. Тот едва приметно кивнул головой, мол, стели. Эттыкай заметил это, сел на шкуру осторожно, почти застенчиво, показывая, насколько он лишен даже в малой степени высокомерия. Долго пили чай молча. Наконец Эттыкай сказал:

— Не жалко тебе, что моих оленей рвут волки?

— Жалко...

— Вот, вот, жалко, очень жалко. А как твое стадо? Большое оно теперь у тебя, о-о-о-чень большое.

— У меня моих оленей не больше, чем было. Остальное стадо общее, артель называется.

— Не режут волки ваших оленей?

— Случается. Но много меньше, чем резали когда-то.

— Не ленятся пастухи?

— Нет, не ленятся.

— Неужели Выльпу слушаются, как слушались Рырку или меня?

— Вас больше боялись, чем слушались.

— Да, да, боялись, это верно, боялись. Какой пастух слушается, если хозяина не боится.

— Есть и такие, которым страх нужен. Привыкли, что Рырка на них должен рычать...

— Или Эттыкай лаяться,— попробовал пошутить гость пад собой, горько усмехаясь.

— Мы научились по-своему вселять в таких страх,— сказал Майна-Воопка, как бы пропуская мимо ушей шутку Эттыкая, которому она, видимо, не так-то и легко давалась.

— Каким образом?

— На всеобщий укор приглашаем — собрание называется. Правда, собрание это не только всеобщий укор тому, кто нарушил запрет на лень, на бесчестие. Это еще и как бы семейный совет по всем общим делам.

Эттыкай поморщил лоб, не в силах осмыслить для него непостижимое, и тихо повторил:

— Всеобщий укор... Смешно как-то...

Майна-Воопка вскинул гордую голову, показывая, что гостю нелишне было бы выбирать слова поосторожнее, а то здесь и обидеться могут. С чувством достоинства ответил:

— Не так уж и смешно. От лодырей пар идет, как от котла над костром, когда выслушивают наш укор.

Эттыкай понял, что допустил оплошность, сказал льстиво:

— Ты умеешь устыдить того, кто достоин порицания...

— Не только я.

Приняв от Пэпэв еще одну чашку чая, Эттыкай отпил глоток и надолго задумался. Потом отпил еще несколько глотков, поправил машинально амольгин, взявшийся жаром в костре, и спросил, напряженно глядя на Майна-Воопку:

— Могу ли я стать человеком вашей артели?

Майна-Воопка подумал, прежде чем ответить.

— Я скажу, если ты позволишь, каждому из чавчыват артели, о чем ты меня спросил сегодня...

— Позволяю.

— Пусть думают об этом чавчыват. Я тоже буду думать... А еще советую съездить к Пойгину, он самый главный у нас...

— Да, да, я знаю. Он давно уже был главным, даже тогда, когда жил у меня простым пастухом.

...Еще несколько месяцев думал Эттыкай, не попроситься ли ему в артель. И только тогда, когда к лету откочевал со своим стадом к морскому берегу, явился к Пойгину в правление артели. Это был деревянный дом у самого берега моря. Здесь толпилось много людей. Эттыкай настороженно огляделся, присел в угол и долго смотрел на Пойгина, отдававшего распоряжения охотникам. «Что ж, может, я тебя и не зря спас от шкуры черной собаки,— мысленно обращался к нему Эттыкай.— Теперь твоя очередь спасать меня. Интересно, каким было твое лицо, когда ты стрелял в Аляека, а потом в Рырку? И так ли уж ты и не заметил, что я к тебе пришел? Скорее всего хочешь обидеть своим пренебрежением...»

Судя по всему, охотники были почтительны к своему председателю. Но вот вошел Ятчоль, протолкался к Пойгину, закричал:

— Я не поплыву в море на пятой байдаре! Она слишком мала и неустойчива на волнах.

— Садись в третью байдару, на мое место. Я буду на пятой,— спокойно ответил Пойгин.

— Нет, я лучше поплыву на пятой. Третья еще хуже.

— Это верно. Потому я и выбрал ее для себя и для тех, кто не трясется от страха перед каждой волной.

— А я трясусь? Ты почему позоришь меня?

Охотники попытались урезонить Ятчоля:

— Помолчи, рваная глотка!

— Покричи на свою жену, она привыкла к этому!

— Не мешай председателю!

— Он сделал три новые байдары, а сам уйдет в море на старой...

— Пусть уходит на новой, кто ему запрещает,— уже потише возразил Ятчоль.

— Совесть ему запрещает.

— Он и на старой тюленей и моржей добывает больше, чем кто-либо другой на новой.

— Он шаман, он приклинает к себе зверя!— опять закричал Ятчоль.— Скоро очочи прогонят его из председателей. Скоро придет газета из округа со словами проклятия Пойгину...

Эттыкай насторожился. О чем болтает этот крикливый человек? Может, все-таки говорит правду? Так ли уж и устойчив Пойгин под своей Элькэп-енэр? Почему он молчит? И все охотники тоже молчат...

Молчание действительно было долгим и тяжелым. Но вот к Пойгину подошел Мильхэр[1] — охотник высокого роста, с рябым от оспы лицом, и вдруг схватил Ятчоля за оба уха и с яростью прямо в лицо сказал:

— Если и вправду придут слова проклятия в листке немоговорящих вестей... я оборву твои уши и скормлю собакам.

Охотники рассмеялись. А Пойгин устало улыбнулся и негромко попросил:

— Отпусти его, Мильхэр. И руки в морской воде вымой. Уши Ятчоля, как и язык его, только с ложью и знаются.

И снова насмешки, как снег в пургу, осыпали Ятчоля. Осторожно потирая уши, он ждал момента, чтобы ответить насмешникам. Наконец дождался такого мгновения, закричал, раздувая в натуге шею:

— Откусите свои языки, угодливые людишки! Вы и передо мной по-собачьи вертели бы хвостом, если бы я был председателем. Но я буду, буду еще вашим очочем! Пусть только придет газета со словами проклятия Пойгину...

---

[1] Мильхэр — ружье.

Ятчоль знал, о чем говорил. Месяц назад, когда артель готовилась к первому выходу байдар в море, Пойгин вышел со всеми охотниками Тынупа на берег со своим бубном. Старик Акко нес в лукошке из моржовой шкуры кусочки нерпичьего мяса, Мильхэр — лопасть от весла, Кайти — глиняный сосуд с жертвенной кровью нерпы. Навстречу людям дул резкий ветер. Море, насколько мог его постигнуть глаз человека, было открыто, нигде даже малейшего намека на ледяное поле. И это было плохо. Моржи, тюлени чаще всего там, где плавают ледяные поля. Надо было попросить море, его хозяйку, Моржовую матерь, пригнать ледяные поля, которые можно было бы достигнуть на веслах.

О, как ощутимо сегодня вечное дыхание моря. Волна за волной обрушивается на берег. И Пойгину кажется, что это живые существа спешат к берегу с добрыми вестями от Моржовой матери. Он жадно втягивает в себя такой знакомый ему запах водорослей, облизывает морскую соль на губах и произносит пока мысленно свои говорения в честь моря, говорения, которым через какое-то время суждено будет уйти грохотом его бубна в морскую даль, до той черты, где море становится небом. Уйдет грохот бубна и в глубь пучины, где находится очаг Моржовой матери. Чайки, гагары, бакланы слетаются к тому месту на морском берегу, где стоят мужчины и женщины, обращенные лицами к морю; кричат птицы, почти крылом касаются Пойгина, словно бы торопя его поскорее вскинуть над головою бубен. О, как глубоко дышит море, как ощутимо его вечное дыхание, как таинственна невидимая жизнь его пучины, как загадочна та черта, где море становится небом. Пойгину в детстве мечталось уйти на байдаре настолько далеко, чтобы он смог пересечь черту, где море становится небом. Ах, как крепко море пахнет морем...

Пойгин поглядывает на Кайти. Несет Кайти в вытянутых руках глиняный сосуд с жертвенной нерпичьей кровью, шаги ее точны и осторожны. Ах, как она верит морю! Сколько раз она выходила на берег, когда он, Пойгин, где-то далеко-далеко одолевал на байдаре волны. Выходила на берег и все смотрела и смотрела вдаль и шептала, что она верит морю, верит, что с его стороны ничего не приходит злого, а значит, не придет и печальная весть, что мужа ее поглотила пучина. Какие у нее удивительные глаза. Когда Пойгину случалось отчаянно пробиваться сквозь волны, ему казалось, что он видит глаза Кайти, и силы его удесятерялись.

Шипит пена прибоя, оседая на гальке, и Пойгину в этом

чудится таинственный шепот самого моря, доверительный шепот, словно кто-то невидимый наклонился к его уху. Что в том шепоте? Скорее всего обещание отозваться добром на жертвоприношения, обещание откликнуться согласием на его просьбу подогнать поскорее льды и вместе с ними моржей и тюленей.

Вот еще пять раз наклонится кто-то невидимый к уху Пойгина с доверительным шепотом, с удивительным шепотом, который слышен даже сквозь грохот прибоя, и он ударит в свой бубен.

Пойгин поднял пятерню левой руки. Один палец загнул, второй, третий. Еще два раза осталось зашипеть пене прибоя. Еще один. И вот все! Сейчас грохот бубна пересилит гром прибоя. Уйдет грохот бубна далеко-далеко, глубоко-глубоко, и Пойгин всем своим существом растворится в вечном дыхании моря.

И загремел бубен! И, казалось, заспешили вал за валом к берегу волны моря, на призыв заспешили. И стал еще доверительней шепот невидимого, который склонился к самому уху Пойгина, словно бы советуя: ударь еще громче, найди в бубне самый проникновенный голос, пусть он войдет в самую душу Моржовой матери.

Бросил Акко из моржового лукошка кусочки мяса в море — прими в дар, Моржовая матерь. Швырнул Мильхэр лопасть весла в море — прими в дар, Моржовая матерь. И наконец настала пора самому главному жертвоприношению. Побледнев ликом, Кайти выплеснула из глиняного сосуда жертвенную кровь в море — прими в дар, Моржовая матерь. А бубен гремел, подтверждая всей своей страстью искренность жертвоприношения. И кричали, ликуя, птицы, и входила в каждую кровинку Пойгина сила вечного дыхания моря.

Журавлев прибыл на летние каникулы из тундры в Тынуп вместе с прикочевавшими на морской берег оленеводами. Постриженный, вымытый, переодетый в европейскую одежду, он чувствовал необычайную легкость и радость человека, который имел право на отдых после нелегкого испытания. Не такой уж и большой поселок Тынуп казался ему сущей столицей. Позади осталось девять месяцев жизни в тундре. Красная яранга его обрела добрую славу в тундре, а он, Кэтчанро, сумел показать себя в полете.

Ах, Кэтчанро, Кэтчанро, отчаянный ты человек, и что вло-

чет тебя порой к самому дьяволу на рога? Писать надо об этом, писать свою душу, а главное — надо бы как можно полнее рассказать об увиденном. Хорошо, что он ведет дневник.

Журавлев достал из тумбочки дневник, полистал его, остановился на одной из записей. «Ездил в стойбище шамана Вапыската. Это был вызов на вызов. Шаман боялся, что я уведу от него последних пастухов, погрозил, что его жена встретит меня пулей из винчестера, а он сам — стрелою из лука. Вот я и явился к нему. Не с пустыми руками явился. То, что я захватил с собой, и явилось моим оружием. Сейчас вспоминаю, и хохот меня разбирает...»

Захлопнув дневник, Журавлев посмотрел на себя в зеркало, не узнавая свое бритое лицо. Вот так, Александр Васильевич, так-то вот, Кэтчанро. Было смешно, но поначалу не слишком...

Встретил Журавлева черный шаман у входа в свою ярангу. Долго смотрел на него, мигая красными веками, наконец спросил:

— Ты знал, чем я грозил тебе, если ты ко мне приедешь?

— Знал. Потому и приехал...

— Может, русские не боятся смерти?

— Я не боюсь твоих угроз.

— Значит, ты приехал ко мне с вызовом?

— Не совсем так. Но если и с вызовом, то не таким, как ты думаешь. Я привез тебе подарок от Рыжебородого. Здесь, в этой банке, мазь. Она, возможно, излечит твои болячки.

Журавлев протянул черному шаману стеклянную банку с противочесоточной мазью. Вапыскат понюхал банку, скривился от отвращения.

— Почему Рыжебородый хочет излечить меня от болячек?

— Наверное, потому, что ты хочешь наслать на него порчу.

— Он что, испугался, хочет задобрить меня?

— Нет, он посылает вызов тебе. Но вызов не зла, а добра...

— Выбрось банку подальше, вон за те синие горы, чтобы запах от этой отвратительной мерзости больше не беспокоил меня.

Вапыскат еще раз понюхал содержимое банки, но Журавлеву ее не вернул.

— Ладно, пусть побудет у меня. Только объясни... это надо есть, в чай намешивать или на мясо намазывать?

— Нет, это надо втирать на каждую ночь в тело, особенно там, где язвы.

— Ну если ты такой добрый... то не вотрешь ли эту мерзость в мое тело, как только старуха поставит полог?

Журавлев не смог скрыть, что на какой-то миг растерялся. Хотел было сказать, что это сумеет прекрасно сделать и его старуха, но потом решил, что нужно в своей операции идти до конца. «Ах, Кэтчанро, Кэтчанро, сумасбродная твоя голова»,— сказал он себе и воскликнул:

— Я согласен!

Вапыскат недоверчиво усмехнулся, опять понюхал банку, а Журавлев размышлял: «Не хватало тебе и самому заразиться чесоткой, дурья твоя голова. А если у шамана не чесотка, а что-нибудь пострашнее?»

Вапыскат, поразмыслив о чем-то своем, громко сказал жене:

— Омрына! Ставь полог! Не медли ни мига. Я принял вызов этого странного гостя. И если мои болячки не исчезнут... ты будешь стрелять в него из винчестера, а я из лука...

«Ого! Вот это поворот, может, он думает, что к утру должен стать здоровым?» — подумал Журавлев, а вслух сказал, стараясь показать, что к угрозе шамана он относится не более как к шутке:

— Болячки твои, возможно, и совсем не исчезнут. Во всяком случае, далеко не сразу. Может, через месяц, через два, если ты будешь втирать мазь каждый вечер...

Вапыскат тоненько ухмыльнулся.

— Тогда выбрось эту пакость вон туда, в те сугробы, куда мы сливаем содержимое ачульгина. Пусть к дерьму добавится другое дерьмо...

— Делай это сам,— с некоторым облегчением сказал Журавлев и подумал: «Слава богу, не придется заниматься черт знает чем...»

Но не тут-то было. Едва нагрелся от выпитого чая полог, как Вапыскат стащил с себя кухлянку, потом штаны и заявил:

— Я готов. Втирай в меня твою отвратительно пахнущую мерзость.— И уже с невольной робкой надеждой добавил:— Кто ж его знает, а вдруг поможет. Замучили меня болячки. И это был голос больного, разнесчастного человека.

Сострадание на какое-то время победило у Журавлева брезгливость. «Хорошо, хоть успел мяса съесть да чаю попить»,— утешал он себя, закатывая рукава гимнастерки.

Ох и отчаянная это была работа! Журавлев втирал в покрытое язвами тело шамана мазь и прогонял подступающую к горлу тошноту глумливыми насмешками в свой адрес.

Вапыскат постанывал, поворачивался с боку на бок, пошлепывал по своему сухолядому телу ладошкой, показывая,

в каком месте особенно невыносимо донимают его болячки.

А Журавлев, войдя в раж, творил свое врачевательное дело, вслух по-русски приговаривая:

— А-а-а, сопишь, черная твоя душонка, покряхтываешь от удовольствия! Пардон, не слишком ли побеспокоил? Мне бы на дуэли с тобой сражаться, на винчестерах, а я черт знает чем ублажаю тебя!

Ваныскат приподнял голову и спросил удивленно:

— О чем твои говорения? Заклятия, что ли?

— Проклятия, а не заклятия!— по-русски ответил Журавлев.— А ну, поднажмем еще! Хорошо, что хоть от мази этой запах деготка доносится. Это даже приятные детские воспоминания навевает. Ну, ну, работай, самозваное медицинское светило, и вспоминай, как пахли сапоги у родного батюшки или шкворень в телеге. Это же надо, до чего докатился, шаманюгу злостного ублажаю, чуть ли не в массажисты к нему напросился. Ведьма бы тебя, мракобесину, помелом своим массажировала!

Омрына, зажав нос рукою, неподвижно сидела в углу полога, порой что-то едва слышно нашептывала.

— Нагрей чайник воды, мне надо отмыть руки,— попросил ее Журавлев.

Старуха долго не могла понять, что от нее хотят, наконец подобострастно закивала головой, выбралась из полога, принялась заново раздувать костер...

На второй вечер Журавлев заставил «врачевать» своего «пациента» старуху Омрыну.

— Побудь сегодня моим ассистентом, поучись у профессора,— по-русски сказал Журавлев, снова настраивая себя на тон отчаянного зубоскала.— Да и самой, поди, нелишне полечиться, вон все руки в язвах.

Когда Журавлев покидал стойбище шамана, тот ему сказал:

— Ты не рассказывай, что втирал в меня вонючую мерзость.

— Что вы, что вы, сэр, врачебная тайна превыше всего!— воскликнул по-русски Журавлев и по-чукотски добавил:— Даю обещание. Но обещай и ты мне, что будешь втирать мазь каждый вечер, пока не опустеет банка. Если будет мало — приезжай за новой.

К удивлению Журавлева, Ваныскат и вправду через полмесяца приехал к нему поздней ночью, вошел в палатку, попросился в полог.

— Впусти меня, я должен быть никем не замеченным...

«Ого!— мысленно воскликнул Журавлев.— Да ты, брат Кэтчапро, никак входишь в тайный сговор с черным шаманом...»

— Спасибо тебе, что обещание выполнил, никому не сказал, что я втираю мерзость в свое тело.

— Почему ты думаешь, что я обещание выполнил?

— У всех людей тундры мозги от удивления выворачиваются, никто не может понять, чем от меня пахнет... Если бы ты хоть слово кому сказал... все сразу поняли бы, что случилось...

А среди чавчыват и в самом деле возникали самые невероятные слухи о странном запахе, исходящем от черного шамана. Кто говорил, что он нажрался какого-то особого снадобья из корней и мухоморов, возможно, что даже помета Ивмэнтуна туда подмешал; кто высказывал предположение, что он и самого Ивмэнтуна сожрал прямо живьем. А старик Кукэну клялся: «Пусть на моей лысине трава болотной кочки вырастет, если Вапыскат, как со своей родной старухой, не обнимался с самой вонючей росомахой. Тут уж, что было, то было, не зря даже волки, кажется, дохнут, как только до них донесется омерзительный запах черного шамана».

— Удивляется тундра моему запаху,— повторил Вапыскат с таким видом, будто приводил доказательства собственной доблести.

— Ну а болячки... проходят?

Вапыскат растопырил пальцы, бережно подул на них, радостно заулыбался:

— Это диво просто, как мерзость твоя помогает. Дай мне еще, я хочу исцелиться до конца.

— Хорошо, я дам еще одну банку мази, однако при одном условии...

Вапыскат насторожился.

— Только плохой человек делает добро на каком-то условии...

— О, и ты о добре заговорил! Браво, браво! — по-русски воскликнул Журавлев, а по-чукотски возразил шаману: — Ты можешь сказать людям, что твое исцеление произошло благодаря твоей сверхъестественной шаманской силе.

Вапыскат прикурил от свечи, которой Журавлев обычно освещал свой полог, и уже тоном необычайной гордыни сказал:

— Так оно и есть! Мерзость твоя отвратительным запахом привлекла моих главных духов, которых я еще в молодости растерял. Вот кто меня исцелил... Теперь можешь рассказы-

вать про это всем.— Вапыскат поклевал согнутым пальцем по стеклянной банке.— А Рыжебородому передай, что он не победил меня. Он хотел своей мерзостью исцелить мое тело, но душу ослабить. Но я как был черным шаманом, так и остался им. Однако заклятия свои я, пожалуй, сниму, пусть теперь не боится, что моя порча его настигнет.

Язвительно улыбаясь, Журавлев воскликнул по-русски:

— О, как вы великодушны, ваше шаманское преподобие!

Нырнув рукой под чоургын полога, Вапыскат достал тряпичный узелок, бережно развернул его.

— Вот тебе моя старуха гостинец прислала... лепешку прэрыма[1].

Журавлев присвистнул:

— Ну-у-у-у, брат Кэтчанро, тебе уже и подношения делают. Далеко пойдешь, профессор дерматологии. Впрочем, ты и зубы теперь рвать можешь. Черт его знает, может, я и в самом деле медицинское светило в себе погасил.

— Ты что, опять меня лечишь заклинаниями? — спросил Вапыскат, и в тоне его явственно прозвучали дружелюбные нотки.

«Ишь ты, как сладенько заговорил, а недавно по палатке из винчестера садил»,— подумал Журавлев и спросил у шамана в упор:

— Ну а стрелять по Красной яранге больше не будешь?

Вапыскат долго мигал, наконец ответил загадочно:

— Бывает, что страх человека накликает в его сторону пулю. Трусливый иногда так вот и уходит в мир предков.

— Видал, каков гусь!— оскорбленно воскликнул Журавлев.— Он меня пытается уличить в трусости. Нет уж, шаманское твое преподобие, такого ты от меня не дождешься!

— Я чувствую... ты по-русски бранишься, потому ухожу,— заявил шаман, завертывая в освободившуюся от прэрыма тряпицу банку с мазью.

— Катись, катись!— с веселой злостью напутствовал Журавлев шамана.

Долго не мог уснуть в ту ночь Журавлев, зажег еще две свечи, принялся за дневник. Нет, он не просто записывал факты, он размышлял, размышлял по поводу фактов. В тот раз он записал: «Мало, конечно, в противочесоточной мази романтики, и, может, куда было бы романтичнее выходить на поединок с шаманом, имея винчестер в руках. И все-таки я ему вмазал кое-что посущественней, чем пулю винчестера...»

[1] Прэрым — мясная лепешка, сдобренная жиром из толченых оленьих костей.

И вот теперь, наслаждаясь простором и чистотой своей комнаты на культбазе, Журавлев перечитывал дневник, заполнял новые страницы. Комично приосанившись перед зеркалом, он взвесил на ладони засаленную, залитую стеарином толстую тетрадь, сказал с шутливой велеречивостью:

— Это тебе, брат, мысли. Наблюдения и мысли!

В комнату ввалился корреспондент окружной газеты Геннадий Коробов. Он уже больше недели жил у Журавлева, и молодые люди успели подружиться. Был Коробов высок и нескладен, с кудрявой гривой волос, знал на память уйму стихов, любил пофилософствовать. Стихи он читал с упоением, подвывая, философствовал заумно, клялся, что напишет роман о Чукотке, даже язык чукотский начал для этого изучать. Завидовал Журавлеву: «Здорово ты настропалился по-чукотски говорить, да и опыт у тебя... целую зиму в кочевье. Мне бы твои наблюдения».

«Они и для меня пригодятся».

«Но я тоже кое-что поднакопил, забираюсь порой к черту на кулички со своей журналистской настырностью. В нашем деле, дорогой Александр, без настырности никак не возможно».

«Ну, ну, действуй, настырный Гена!»

И вот настырный Гена ворвался в комнату и закричал, возбужденно тараща небесно-голубые глаза:

— Вот это кадрик!— потряс фотоаппаратом, висевшим на груди.— Да что там кадрик — целая тема, проблема острейшая!

— Да сядь, отдышись.

— Сейчас.— Гена сел на кровать, несколько раз подбросил себя на пружинистой сетке.— Это черт знает что я увидел! На уровне лучших страниц «Робинзона Крузо». Не-е-ет, уж я это распишу, уж я это разделаю!

— О чем ты?

— Неужели ты не слушал, как грохотал бубен?!

— Когда, какой бубен?

— Слушай все по порядку,— Гена прижал длиннопалые пятерни к узкой груди.— Сижу я в учительской... стараюсь взять в плен моего обаяния... эту прелестную Надежду Сергеевну... Она учебники там подклеивает. Да, сижу, значит, Бальмонта ей читаю. И вдруг в дверь просовывается лукавая физиономия... как его... Ятчоля! Манит меня, шельмец этот, лукаво рукою. Я вышел. А он сообщает, что председатель артели... грандиозное шаманство на берегу моря устроил...

Журавлев помрачнел.

— Да, уж это он зря. Над ним и так тучи сгущаются... Грамоту не признает, в дом переселяться не хочет, а тут еще шаманство...

— Вот, вот! Чем не тема? Тридцать шестой год идет. А тут председатель... вместо того, чтобы в море... на охоту... в бубен колотит. И жена его... из лохани... кровищу в море выплескивает. Это как... жертвоприношение, что ли?

— Наверное. Ты вот что, не горячись, настырный Гена. Пойгина так, с ходу, не раскусишь. В море он выйдет и вернется, будь уверен, с добычей. Это охотник удивительный...

— Но сам посуди — бубен! Жертвенная кровь! У всех на глазах... при белом свете... И как ты там еще сказал... сейчас запишу. В дом, значит, переходить не желает и не учится. Существенная дополнительная информация.

— Да подожди ты со своей информацией.— Журавлев досадливо поморщился, зачем-то заглянул в свой дневник, опять захлопнул.— Я сам не знаю, чего у меня больше к этому человеку. Порой чувствую, что нахожусь прямо-таки под гипнозом его личности. И злюсь на себя за это. Гипноз, конечно, не буквальный. Злюсь и стараюсь прогнать невольную симпатию к нему. Но было, было и другое. Поначалу я испытывал к нему не только неприязнь, но и вражду. Однако Артем Петрович открыл мне глаза...

— Всыплют, всыплют по первое число и твоему Артему Петровичу. Кстати, не слишком любезно он принял тут меня. Наверное, к жене бородач ревнует.

— Чушь, чушь все это, настырный Гена.— Журавлев положил руки на плечи Коробова, вгляделся в него так, будто художник выбирал натуру.— А знаешь, я вдруг в тебе самого себя увидел...

— Вот и прекрасно. Родство духа. Не случайно же мы так быстро подружились.

Журавлев чуть оттолкнул от себя Коробова, с шутливой яростью погрозил ему пальцем.

— Нет, шалишь, братец! Я этот дух вон из себя изгоняю!..

Коробов недоуменно замигал.

— Я тебя что-то не пойму.— Долго молчал, вдруг сникнув. Потом сделал какие-то записи в блокноте, сказал, опять возбуждаясь:— Я знаю, как подам этот материал. Я его подам через Ятчоля. Вполне современный чукча зло высмеивает отжившие суеверия... Чем не ход?

— Если и ход, то ход конем. Ты не знаешь Ятчоля...

— Что ж, узнаю. Я пошел! Я из тех, у кого девиз: куй железо, пока горячо!

И так уж вышло, что настырный Гена как следует повозился с Ятчолем и увез в окружную газету «потрясающий, проблемный» материал. Вот это и имел в виду нынче Ятчоль, когда заявил в правлении артели, что скоро придет газета со словами проклятия Пойгину.

Ятчоль ушел из правления, оставив Пойгина в угрюмом раздумье. Охотники, получив распоряжения, один за другим потихоньку, чуть ли не на цыпочках, уходили из правления. Наконец Пойгин остался один на один с Эттыкаем, который по-прежнему сидел в углу, как сонная птица.

— О, ты пришел!— казалось, с искренним удивлением приветствовал Пойгин неожиданного гостя.— Как это я тебя не сразу увидел...

— Я давно пришел. Сижу и слушаю. Стараюсь понять, каким ты стал.

— Понимал ли ты, каким я был?

— Понимал.— Эттыкай наконец поднялся на ноги, несмело подошел к столу, осмотрел с конфузливой усмешкой табурет, осторожно присел.

— Ушли от меня почти все пастухи. Теперь я да старуха моя пасем оленей. Боюсь, что волки скоро разгонят все стадо.

— Не хочешь ли пригласить меня в пастухи?

— Времена изменились. Я пришел к тебе в пастухи. Забирайте оленей. Оставьте для меня, сколько полагается, остальных берите.

— Полагается пятнадцать раз по двадцать.

— Вот и хватит. Я все хорошо обдумал. Иду к тебе пастухом.

— Нет, ты не все обдумал и не все понял. У меня нет пастухов. Я сам такой же, как любой пастух или охотник. Тебя может принять только артель. Напиши заявление.

Эттыкай непонимающе уставился на Пойгина.

— Ты должен написать немоговорящую клятву.

— Клятву?

— Да. Именно так.— Пойгин задумчиво набил трубку, прикурил, протянул ее гостю и только после этого продолжил:— Ты должен поклясться: «Я, Эттыкай, прошу вас, люди, простить меня за то, что вы пасли моих оленей, мерзли, часто были голодными, тогда как я был всегда сыт и одет. Я прошу вас простить меня за то, что я был несправедлив к вам. Я прошу несчастного человека Гатле, переименованного в Клявыля, услышать меня в Долине предков и простить за то, что

я так долго мучил его. Мне стыдно подумать, как я мучил его...»

— Хватит,— прервал Эттыкай.— Хватит. Ты сам меня мучаешь...

— Я, Эттыкай, клянусь,— продолжал Пойгин, накаляя голос и поднимаясь за столом,— что иду к вам в артель человеком, а не росомахой. Я буду рад, если вы примете меня как равного. Я буду делать все, что делаете вы, буду делить беду и радость вместе с вами.

Эттыкай тоже встал, изумленно глядя в побледневшее лицо Пойгина, тихо спросил:

— Ты почему так громко говоришь?

— Потому что говорю голосом справедливости.

— Может, это и впрямь голос справедливости...— Эттыкай снова присел, отдал Пойгину трубку и после долгого молчания вкрадчиво спросил: — Тебе не снятся Аляек и Рырка?

— Мне снится снег, красный от крови Кайти, Клявыля и русского. Русские шаманы вытащили пулю Аляека из груди Кайти. Но моя жена все время кашляет, я боюсь, что немочь вселилась в нее...

Эттыкай опустил голову и снова надолго умолк. Пойгин вывел его из оцепенения.

— Я ухожу. Мне надо в море.

— Я готов дать такую клятву,— с трудом поднимая лицо, сказал Эттыкай.— Умеешь ли ты чертить немоговорящие знаки?

— Не умею. И, наверное, никогда не сумею. Не хватает рассудка...

Эттыкай медленно поднял руку, поклевал согнутым пальцем себя по лбу:

— У тебя... не хватает рассудка?

— Кайти женщина, а вот в этом оказалась способней меня... Даже Ятчоль и тот способней...

Эттыкай с сочувственным недоумением покачал головой.

— Я думал, ты всесильный.— Конфузливо помолчал, как бы страдая оттого, что увидел Пойгина в слабости, несмело спросил:— О каких это словах проклятья болтал Ятчоль?

— Не знаю. Но если листок бумаги... газета называется... придет со словами проклятья... я откажусь дальше быть председателем.— И, словно спохватившись, что не перед тем человеком раскрывает душу, Пойгин добавил: — Ну а пока я председатель... пиши клятву. Нам поможет Тильмытиль... сын Майна-Воопки.

— Помню, помню его. Вапыскат предрекал ему смерть, а он живет.

— Ты, наверное, забыл, что я предрек ему жизнь...

— Нет, не забыл. Никто в тундре об этом не забыл... Вапыскат оказался тобой побежденным.

— Он тоже остался без пастухов?

— Да, тоже без пастухов. Вот так, дул, дул странный ветер с берега моря и все изменил в жизни чавчыват. Да и у вас столько перемен. Что ж, чему быть, тому быть. Я готов... готов дать клятву.

Через месяц Эттыкай дал клятву на собрании товарищества. Ему поверили. И когда настухи и охотники подняли за него руки, Майна-Воопка вышел из-за стола, за которым сидел рядом с Пойгином, и сказал:

— Ты будешь главным человеком по отелу оленей. Я знаю, лучше тебя никто не может проводить отел.

Едва Эттыкай вернулся в свое стойбище, расположенное на берегу морской лагуны, как к нему явился Вапыскат. Приблизил почти вплотную свое лицо к лицу Эттыкая и потребовал, задыхаясь:

— А ну... ну-ка... высунь свой язык...

Эттыкай сел на грузовую нарту возле яранги, принялся усиленно отгонять комаров. Черный шаман рядом присел.

— Покажи язык!

— Надоел ты мне, как вот эти комары,— досадливо сказал Эттыкай и снова замахал рукой.— Знаю, зачем тебе нужно видеть мой язык. Будешь уверять, что после клятвы моей на собрании артели он стал языком самого Ивмэнтуна.

— Можно, можно и так сказать. Правильно догадался.

— Ну а ты как будешь дальше пребывать на этом свете?

Вапыскат крепко сжал костлявые кулачки, потряс ими возле своего лица.

— Мстить буду. Порчу на всех насылать. Ко мне вернулись самые мои сильные духи. Еще в молодости я их потерял. Теперь вот вернулись.— Растопырил перед глазами Эттыкая пальцы.— Видишь? Исчезли язвы. Помогли мои прежние духи победить того, кто наслал на меня порчу. На мне теперь ни одной болячки. Вот, посмотри.

Вапыскат суетливо расстегнул ремень, задрал летнюю кухлянку, оголяя живот. Комары в одно мгновение облепили оголенное тело.

— Вот видишь? Убедись, какая сила теперь у меня...

— Ничего не вижу,— с обидным равнодушием сказал Эттыкай.— Комаров только вижу...

Вапыскат опустил кухлянку, подпоясался. Затем вырвал трубку из рук Эттыкая, затянулся, тут же вернул ее.

— Не надо мне твою трубку. Дели ее с Выльпой, с этим бывшим... вошеедом.

Эттыкай огляделся по сторонам и закричал в расчете на то, что его услышат другие люди:

— Не оскорбляй человека артели! Я вступил в их семью. Теперь это мои родичи...

— Родичи?!— Вапыскат, казалось, не столько был возмущен, сколько зашиблен предательством бывшего сподвижника. Рот его плаксиво покривился, а красные щелки глаз наполнились слезами.— Вот, значит, как... Выльпа стал тебе роднее меня.

— Роднее...

Вапыскат застонал и пошел прочь, как слепой, спотыкаясь о кочки.

...И стал Эттыкай ходить в стадо, как обыкновенный пастух. Правда, в стаде больше сидел на кочке или камне, смотрел на оленей и думал какую-то бесконечную думу. Было лето. Светилась лагуна, залитая солнцем, звенела мошкара, кричали птицы, хоркали олени, жадно набрасываясь на траву, которая росла здесь прямо на глазах при круглосуточном свете.

Смотрит Эттыкай на оленей и прежде всего примечает своих, которые стали теперь общими. Наваливалась тяжким сугробом тоска, порой разражалась в душе снежной выогой лютая злоба: на земле зеленое лето, а в душе седая зима.

Пасутся олени, Эттыкай пересчитывает своих, меченных его личным тавром. Считает оленей Эттыкай и чувствует, будто на его сердце выжигают каленым железом тавро, которое он видит на крупах бывших своих оленей. Когда-то было и такое, что он клеймил своим тавром чужих оленей, отбитых у других чавчыват, а теперь словно бы его самого выхватили арканом из прежней жизни и выжгли тавро на сердце. И кажется Эттыкаю, что от него пахнет паленой шерстью, которой обросло его сердце.

И стало навязчивой страстью у Эттыкая клеймить в воображении раскаленным железом оленей всех подряд, и бывших своих и чужих. Трепетали ноздри от жадного вздоха: горелое мясо, жженая шерсть чудились ему в воздухе... Закроет глаза Эттыкай и слышит, как хрипят от ожога олени, видит, как мчатся они, обезумев, по кругу. А в центре круго-

верти сидит он, Эттыкай, и скалится, скалится — не поймешь, не то улыбка на его лице, не то гримаса ненависти. Открывает глаза Эттыкай и видит лагуну, меченную красным тавром солнца, мирно пасущихся оленей. И нет в его руках раскаленного железа, и не пахнет горелым мясом и паленой шерстью...

10

Ятчолю на почте вручили письмо в большом синем конверте. Не просто взволнованный, а потрясенный, он крутил в руках конверт, нюхал его и гадал, мучительно гадал, что бы это значило? Пришло в голову, что письмо прислал Гена — человек, сотворяющий газету. Спрятав бумажный мешочек за пазуху, Ятчоль помчался к своей яранге.

Да, это было первое письмо в жизни Ятчоля. Первое! И потому он был обуреваем каким-то непривычным чувством новизны своего положения. Ятчоль еще не знал, что заключено в бумажном мешочке, но гордость уже распирала его. Теперь-то все пойдет по-другому, теперь он сможет достойно ответить любому насмешнику. Да, кажется, появилась возможность доказать всем тынупцам, что он вправе чувствовать свое превосходство над каждым из них.

А что, если письмо не от Гены? Ятчоль остановился на полпути к своей яранге, воровато огляделся: нет ли кого поблизости, достал из-за пазухи письмо. На бумажном мешочке было что-то написано, но, кроме собственного имени, Ятчоль ничего другого прочесть не мог. Конечно же, Гена прислал. Наверное, хочет порадовать доброй вестью, что он скоро все-таки совершит такое действие, при котором слова проклятья Пойгину проступят знаками на листе бумаги. И это будет самый большой подарок судьбы Ятчолю, потому что давний и непримиримый соперник и враг его, Пойгин, окажется жестоко посрамленным. Надо поскорее узнать, что же таится в бумажном мешочке...

Ятчоль вошел в свою ярангу, осмотрелся, нет ли кого постороннего, и сказал Мэмэль с таинственным видом:

— Закрой вход в ярангу и никого не пускай. Чтобы даже мышь не посмела юркнуть сюда...

Сказал и прилег на шкуру возле костра, переживая всю исключительность счастливого случая: ведь ему пришло письмо!!!

— Закрыла вход?— строго и важно спросил Ятчоль, разглядывая жену с той огромной высоты своего превосходства

над всем сущим (а над этой скандальной женщиной тем более), с той высоты, которую он ощутил, едва ему вручили в сельсовете письмо.

— Раздуй как следует костер, а то в яранге темно. А мне кое-что о-о-очень важное увидеть надо...

Крайне изумленная, Мэмэль никак не могла понять, что происходит с мужем.

— Не нахлебался ли ты веселящей жидкости?

— Хорошо, хорошо бы глотнуть глоток, другой. Но это потом...

Ятчоль снял с себя летнюю кухлянку, расстегнул ворот рубахи, полез за пазуху.

— Здесь, вот оно...

— Что там у тебя?!— Мэмэль бросилась к мужу, приложила руку к его груди.— Ничего нет. Я уж думала, ты кусок материи мне на платье купил или украшение какое...

— Материя — чепуха. Украшения — совсем чепуха. Тут есть кое-что куда поважнее...

И вдруг Ятчоль выхватил из-за пазухи синий конверт:

— Вот! Письмо! Мне... Мне письмо! Ни один тынупец не имел письма. А я имею. Пусть теперь все тынупцы прикусят языки и чтят меня, как того я всю свою жизнь был достоин.

На лице Мэмэль разочарование боролось с крайним любопытством.

Руки Ятчоля чуть дрожали, на лбу проступил пот.

— Раздуй как следует костер, чтобы пламя было.

Понюхав конверт, Ятчоль заулыбался от блаженства.

— Никогда я еще не чувствовал такого запаха. Теперь эти чукчи... по-собачьи хвостами завиляют при встрече со мной.

— А ты кто... разве не чукча?

— Я? Давно уже должна бы догадаться, кто я... Сколько раз говорил, что меня, пожалуй, зачал американец. Только ты помалкивай. Русские не очень любят, чтобы сюда совали свой нос американцы...

— Если бы твоя мама не была человеком... я бы сказала, кто тебя зачал.

— Ну, ну, не бранись. Не до этого. Я не могу сообразить, как отклеить крышку бумажного мешочка. Дай чайную дощечку, только вытри ее как следует.

Положив конверт на чайную дощечку, Ятчоль поскреб ногтем то место, где шел рубец приклеенной крышки. Ничего не добившись, попытался орудовать ножом. Но крышка не отклеивалась. Ятчоль сопел, кряхтел, вытирал залитые потом глаза.

— Может, его опустить в горячую воду?— робко спросила Мэмэль и сама удивилась, что она способна на такой вот странный для нее голос по отношению к мужу.

— Ты совсем лишилась рассудка! Немоговорящие вести боятся воды, они в ней исчезают.

— Тогда мешочек надо подержать над костром.

— Так сгорит же!

— Ну дай я посижу на нем, может, само откроется.

— Совсем обезумела, женщина. Что же от него останется, если ты посидишь на нем?! Кому оно будет нужно после этого?!

Мэмэль обиженно отвернулась.

— Тогда можешь сожрать его, все равно ничего не поймешь, ты только притворяешься, что умеешь читать.

— Я?! Притворяюсь?! Не говори мне больше никогда таких лживых слов. Я теперь человек, имеющий письмо. Понимаешь, что это значит? Я уверен, это Гена прислал. Наверное, пришла долгожданная весть, что скоро сотворится газета со словами проклятия Пойгину.

— За Пойгина я сама кого угодно прокляну... и тебя тоже.

— Ты?! Меня?! За Пойгина?!

Ятчоль, наверное, поколотил бы жену, но тут было не до нее: он обладает письмом. И это совершенно меняет положение.

— Отблагодари добрых духов, что они послали мне письмо, иначе я оттаскал бы тебя за косы! Повырывал бы из них все твои украшения.

Мэмэль поправила косы, потрогала медные пуговицы, вплетенные в них, достала из полога зеркальце.

— Вот так сиди перед зеркалом, любуйся своей красотой и не мешай...

Налив из чайника в чашку теплой водицы, Ятчоль стал смачивать те места, где была приклеена крышка конверта. И все-таки добился своего, сообразительный человек: смоченная бумага разбухла и отклеилась.

— Смотри!— заорал Ятчоль.— Смотри сюда. Оставь свое зеркало, пока я его не разбил. Здесь газета! Видишь — газета!

Мэмэль едва не уронила зеркало. А Ятчоль осторожно разворачивал газету. Мэмэль дотронулась до нее рукой, понюхала и сказала ядовито:

— Ну, читай, если умеешь. Читай, читай...

Ятчоль крутил газету и так и сяк, расстелил ее на чайной дощечке, лежащей на земле, встал на четвереньки, на-

пряженно вглядываясь в ровные столбики бесчисленных черных значков — буквы называются. В глазах рябило, значки были на редкость мелкими. «Уж не могли сделать газету хотя бы с такими буквами, как в букваре»,— сердито подумал Ятчоль.

— Ты что стоишь на четвереньках? Можно подумать, что вот-вот по-собачьи завоешь от досады, что не умеешь читать,— издевалась Мэмэль.

— Замолчи, иначе поколочу!— не меняя позы, погрозил Ятчоль. И вдруг, ткнув пальцем в газету, как-то странно хохотнул.— Прочитал! Одно слово прочитал! Смотри, здесь написано — Ятчоль!

Теперь уже и Мэмэль встала на четвереньки, долго всматривалась в то слово, которое Ятчоль показывал пальцем.

— Да, это и я прочитала... Ят-чоль.— Мэмэль подняла лицо и ошеломила мужа неожиданным открытием: — Так в газете слова проклятья не Пойгину, а тебе...

Ятчоль раскрыл рот и долго смотрел на жену бессмысленными глазами. Еще раз всмотрелся в газету и промолвил в полной растерянности:

— Как же так... Гена обещал ругать Пойгина, а не меня. Давай ищи, ищи, говорю, может, здесь есть и слово Пойгин. Приоткрой хоть немного вход. У меня перед глазами какие-то комашки ползают.

На сей раз Ятчоль лег на спину с газетой в руках и долго разглядывал каждую строчку. Вдруг вскочил.

— Есть! Вот здесь, здесь обозначено буквами «Пойгин»! И вот здесь тоже. Много раз обозначено «Пойгин».

— Ну и что?— теперь уже равнодушно спросила Мэмэль.— Насколько я понимаю, газеты часто говорят спасибо тем, кто не лодырь. Пойгин не лодырь. А ты ленив, как старый морж. Значит, ему спасибо, а тебе проклятье.

И опять Ятчоль бессмысленно уставился на жену. От волнения он еще больше вспотел.

— Нет ли у нас хоть капли веселящей жидкости? Если бы хоть глоток, я во всем разобрался бы.

— Ну да, как же! От веселящей жидкости ты станешь еще глупее.

— Ох и поколочу я сегодня тебя,— вяло погрозил Ятчоль, соображая, как ему узнать, что написано в газете.— Пойду к учителю Журавлеву. Он друг Гены, он все прочитает и все объяснит. А чтобы лишнее не болтал, если проклятье мне, а не Пойгину... надо ему что-нибудь подарить...

После долгих пререкательств с женой Ятчоль решил подарить Журавлеву старый примус, который, кажется, уже невозможно было починить.

— Дай мне мое галипэ и вытри от грязи примус,— приказал он жене.

— Может, не надо надевать галипэ?— стараясь настроить голос на просительный лад, спросила Мэмэль.

— Почему?!

— Да потому, что смеются не только над тобой, но и надо мной. Это же я сшила эти штаны с ушами.

— Сама ты нерпа с ушами. Давай галипэ.

Пока Ятчоль обряжался в «галипэ», Мэмэль чистила примус.

И вот Ятчоль уже важно шагает к дому на культбазе, где живет учитель Журавлев. Когда проходил мимо правления артели, услышал голос Мильхэра:

— Ты куда это примус несешь?

— Чинить.

— Почему в галипэ не спрячешь? Такой большой карман, пожалуй, даже чайник вместить можно. Разожги примус, чайник поставь... Потом чайку вместе попьем.

Ятчоль не стал терять время на ответ насмешнику. Однако Мильхэр кричал ему в спину:

— Ты только поосторожней с кипятком! А то кое-что ошпарить можешь... Мэмэль тогда через трубу к Чугунову залезет, если он будет закрываться от нее на серьгу железную — замок называется.

Ятчоль было хотел повернуться и запустить в насмешника примусом, но в кармане «галипэ» лежала газета с ее мучительной тайной, тут было не до Мильхэра. «Ничего, рябой, я еще заставлю тебя по-собачьи хвостом вилять»,— мысленно грозился Ятчоль.

Журавлев долго не мог понять, зачем Ятчоль сует ему в руки примус.

— Починить, что ли?

— Нет, это подарок тебе. Примус, правда, испорчен, но его можно починить.

— Зачем мне твой примус?

— В Красной яранге у тебя, говорят, всегда горит примус и кипит чайник для гостей. Починишь этот, будет два чайника чаю.

— Тогда по какой же причине такая щедрость?

— Моя душа давно имеет к тебе сильную расположенность.

— Ну, ну, ну, понимаю.— Журавлев озадаченно рассматривал неожиданного гостя.— Что это у тебя за штаны?

— Галипэ называются. Мэмэль из самых лучших оленьих шкур пошила. Надоело быть чукчей, хочу быть как русский...

— Это почему же надоело быть чукчей?

— Чукча плёко. Чукча — зто яранга. Чукча нет паня,— уже по-русски заговорил Ятчоль.— Я хочет паня.

— Ах, вот ты как впитываешь ци-ви-ли-за-цию.— Журавлев встал, обошел вокруг Ятчоля, разглядывая со всех сторон его роскошные «галипэ».— Значит, не хочешь быть чукчей... Устроил бы я тебе баню...

Ятчоль топтался на одном месте, все чаще и чаще засовывая руку в карман, где лежала в конверте газета. Наконец вытащил конверт, осторожно извлек из него газету. Чувствуя недоброе, Журавлев потянулся к газете.

На второй полосе на чукотском языке была напечатана статья за подписью Ятчоля «Мой добрый совет». «Так, значит, настырный Гена все-таки состряпал опус»,— враждебно подумал Журавлев.

Статья оказалась намного мягче, чем предполагал Журавлев. Некий Ятчоль (конечно же, с реальным Ятчолем он не имел ничего общего) отдавал должное председателю Тынупской артели Пойгину, как честному человеку, прекрасному охотнику, уверял, что искренне его уважает. И только после этого следовали укоры и дружеские советы побыстрее вырваться из капкана суеверий, забыть о несуществующих духах, не позорить себя дикими обрядами жертвоприношений. А еще некий Ятчоль, человек, судя по всему, уже просвещенный, стоявший по своему развитию на целую голову выше Пойгина, советовал ему как можно скорее научиться грамоте, в противном случае успешно руководить артелью он не сможет. Внушал добрый и снисходительный Ятчоль председателю Тынупской артели и то, что ему уже пора бы покинуть ярангу и переселиться в дом.

«Ах ты ж Гена, настырный Гена,— грустно размышлял Журавлев,— хорошо, что хоть на это тебя хватило, не стал хребет ломать человеку. А может, твой опус умные люди выправили? Прочел редактор разнос и с помощью собственного пера поубавил твой пыл. Случается и такое».

Ятчоль изнемогал от нетерпения: когда же учитель промолвит хоть слово? А тот шелестел газетой, хмурился, что-то сердито бормотал.

Ятчоль не выдержал, спросил, заглядывая по-собачьи в глаза учителя:

— Ну что там? Кому проклятье... Пойгину или мне?

— Какое проклятье?

— Гена говорил, что газета будет сильно ругать за шаманство Пойгина, пошлет ему немоговорящее проклятье.

— Ах вот в чем дело!— Журавлев, скрестив руки на груди, казнил Ятчоля издевательской усмешкой.— Ты что-нибудь смог прочесть в газете?

— Вот, вот здесь, увидел слово Ятчоль. А вот здесь Пойгин... Так и не знаю, кому проклятье.

Журавлев, наклонив лобастую голову, казалось, был готов боднуть Ятчоля, а в уголках жесткого рта его блуждала все та же издевательская усмешка.

— Так вот, слушай, Ятчоль, о чем говорит газета. Она говорит о том, что вот это все... целых два столбца... написал ты.

— Я?!

— Да, ты. А чтобы люди знали, кто писал, здесь вот внизу напечатали твое имя...

Ятчоль не верил ушам своим и боялся только одного, что учитель его расшучивает.

— Ты не шутишь?

— Нисколько.

— Значит, проклятье Пойгину?!!

— Нет. Вот здесь, здесь и здесь ты очень хвалишь его за то, что он хороший человек, настоящий охотник... Тут вот так и написано: «Я очень уважаю Пойгина».

— Я?! Уважаю Пойгина?!

Выражение счастья на лице Ятчоля сменилось такой горестной гримасой разочарования, что Журавлев едва не рассмеялся.

— Врешь?!— вскричал Ятчоль.

Журавлев выпрямился. Строго нахмурил брови.

— Ты почему выбрал такое скверное слово, обращаясь ко мне?!

Ятчоль в своем страдании плохо понимал, о чем его спрашивают. Все, что так высоко его вдруг вознесло в собственных глазах, исчезло, как туман при ветре. Ему хотелось кричать от обиды, браниться, пинать собак, таскать за волосы Мэмэль. И конечно же, в это мгновение он больше всего ненавидел обманувшего все его надежды Гену.

— Рунтэтылин[1]. Это я о Гене такое слово сказал. Он мне

[1] Рунтэтылин — врун.

обещал проклятье шаману Пойгину. А тут выходит, что я расхвалил его...

— Так и выходит. Правда, здесь есть и упреки Пойгину. За то, что не научился до сих пор читать и писать, и за то, что в духов верит...

— Упрек?!— Ятчоль выхватил газету из рук Журавлева, порвал первую страницу.— Где упрек? В каком месте?

— А ты читай, читай сам. Люди в других местах, где не знают тебя, верят, что ты умеешь писать, а стало быть, и читать. Верят, что в газету ты сам написал.

— Прочитай, где упрек! Какие там слова!

— Не-е-ет, Ятчоль, читай сам. Теперь я понимаю, зачем ты старый примус мне в подарок принес.

— Новый. Почти новый примус. Могу и чайник еще подарить.

— Ого, какой щедрый!

— Бери подарок и поскорее читай.

— Не прочту!

Ятчоль долго смотрел в непреклонное лицо учителя, и просительное выражение в его заплывших глазках постепенно менялось откровенной ненавистью.

«Как же в тебе уживается вот это бесконечно злое со смешным, порой почти трогательно смешным?— размышлял Журавлев, как-то по-новому открывая для себя этого человека.— Да если бы ты был добрым — смешному в тебе цены не было бы...»

Кое-как сложив газету, Ятчоль сунул ее в карман «галипэ», ухватил примус за ножку и устремился к двери. На пороге замер и сказал, не оборачиваясь:

— А примус почти новый. Не отдам!

И пошел Ятчоль из яранги в ярангу, всюду показывая газету, тыкал пальцем то в одно, то в другое место: «Вот, вот здесь упрек Пойгину за его шаманство. Даже не упрек, а, пожалуй, проклятье. Это я, я написал. Имя мое в самом низу... вот оно... доказательство, что я написал».

Люди разглядывали газету: кто недоверчиво, кто недоуменно, а кто просто прогонял Ятчоля: «Не оскверняй мой очаг своими лживыми речами. Уходи!»

В яранге Мильхэра, пока Ятчоль якобы зачитывал «слова проклятья», ему кто-то засунул в карман «галипэ» щенка. А Ятчоль в этот раз превзошел самого себя в «чтении» газеты. Щенок в кармане, конечно, зашевелился — и Ятчоль все понял, но ему было трудно прервать «чтение». Он с таким упоением «читал» слова проклятья, направленные Пойгину,

что осекся лишь тогда, когда щенок совершил свое щенячье дело. Ятчоль смешно присел, широко расставил ноги. Не меняя позы, аккуратно сложил газету и чуть было не сунул ее в мокрый карман со щенком, да вовремя спохватился, спрятал ее за пазуху через ворот рубахи. А люди уже так хохотали, что даже собаки Мильхэра начали от возбуждения выть. Выхватив щенка, Ятчоль какое-то время держал его за холку перед глазами, видимо придумывая, как его наказать. Потом, к удивлению всех его насмешников, осторожно опустил щенка на землю, ласково приговаривая:

— Иди, иди спокойно к своей матери. Ты не виноват, что галипэ мое осквернил. Это хозяева твои настолько глупы, что до сих пор не могут понять, чем может закончиться их непочтение ко мне.

И снова хохотали люди и выли собаки.

Ятчоль поднял многозначительно палец, погрозил совсем тихо, полагая, что в этом будет куда больше устрашающей, зловещей силы:

— Ничего, ничего, Мильхэр. Вот ты смеешься, а скоро икать от страха будешь. Придет еще одна газета. И это уже будут тебе слова проклятья.

Пока Ятчоль «читал» в ярангах газету, Пойгин осваивал на плаву подвесной руль-мотор. Учил его понимать «живое железо» Чугунов. А коль скоро они не понимали друг друга, им помогал в разговоре Тильмытиль. Мальчишка был чрезвычайно горд, что эти два хороших человека взяли его в байдару и, в сущности, не могут без него обходиться.

Руль-мотор достал Чугунов в Певеке и уверял Пойгина, что в скором времени в Тынупскую факторию привезут еще пять таких моторов.

Не все было понятно в руль-моторе и Чугунову. Он то и дело заглядывал в книжицу с техническим описанием механизма и приговаривал:

— Я как-никак с трактором на лесозаводе управлялся, а уж тут как-нибудь управлюсь. Сейчас, сейчас он зачихает, голубчик. Важно не суетиться. А еще у настоящего механика должно быть, понимаешь ли, дьявольское терпение.

Пойгин внимательно следил за тем, как Степан Степанович развинчивал руль-мотор, разбирал его на части, продувал какие-то трубки, искал упрятанный в железо огонь, который порой нет-нет да и выскакивал искоркой.

— Тут главное — добиться искры. Вот это называется све-

чи. Переводи, Орел,— обращался Степан Степанович к мальчишке, размазывая на собственном лице машинное масло.— Ты знаешь, что твое имя по-русски звучит О-рел?

— Знаю.

— Так вот объясни, Орел, Пойгину... это называется свеча. Ввинчивается она вот сюда, в так именуемое гнездо. И здесь должно быть абсолютно чисто и сухо. Засаленная или замоченная свеча — это беда-а-а.

Тильмытиль, склонившись над руль-мотором, старательно переводил слова Чугунова, и Пойгин все жадно запоминал, одержимый страстью постигнуть тайны «живого железа». И невольно ему вспоминался железный Ивмэнтун, выпущенный Чугуновым в его яранге, и все тяжкие последствия этого поступка торгового человека, которого он сначала едва не успел полюбить, а потом готов был возненавидеть. Позже Чугунов не один раз объяснял Пойгину, что никакого Ивмэнтуна не было, просто обрезки консервной банки, не больше. Может, может, и так. Но что было, то было, и важно теперь другое: важно, что он, Пойгин, снова поверил в Чугунова, поверил в «живое железо» и не испытывает перед ним никакого страха. А уж чем не Ивмэнтун по виду своему этот огнедышащий идол? И голова у него есть, и руки, которыми он крепко ухватился за корму байдары, и еще не то нога, не то хвост, которым он так бешено вертит, что байдара мчится быстрее ветра. Вот так по-страшному можно представить себе этого головастого идола, который руль-мотор называется. Но теперь Пойгин только посмеялся бы над тем, кто вздумал бы пугать его огнедышащим железным Ивмэнтуном; теперь он готов сутками не есть, не пить — только бы поскорее обрести над ним свою твердую власть.

Еще целый месяц, а может, и полтора можно будет на этом «живом железе» далеко уходить в море, туда, где много морского зверя. Быстротечно лето, надо спешить сделать достойный настоящих охотников запас мяса и шкур. Кое-что уже запасли. Пожалуй, даже больше, чем кое-что. Много моржового, тюленьего мяса вывезли в тундру на подкормку песцов прямо к их норам. Надо, чтобы не ушли песцы в поисках пищи. Когда придет время добычи — все подкормленные песцы должны попасть в капканы охотников Тынупской артели. Пойгин думал об этом еще тогда, когда зимой сооружал байдары. Теперь все видят, как пригодились они. Говорят, что это прекрасные байдары. Каждое утро они устремляются в море, словно стрелы, выпущенные с Тынупского берега. Пойгин и артель свою представляет в виде какой-то особенной

байдары, плывущей по бурным волнам жизни. Стремительно мчатся отважные охотники в море, и благосклонный к ним ветер дует в их паруса. А что же будет, когда каждую байдару помчит по волнам вот это «живое железо»?!

— Попробуем завести! Теперь ты... ты сам. Намотай шнур на диск и дергай. Тут главное, понимаешь ли, компрессию чувствовать...

Пойгин, прежде чем дернуть за шнур, даже дыхание затаил. Наконец глубоко передохнул — и дернул шнур. Руль-мотор зачихал, но тут же умолк.

— Чихает! Это уже хорошо!— радовался Степан Степанович.— Наматывай снова и дергай, пока не взревет.

И Пойгин терпеливо повторял одно и то же десятки раз. Шлепала о днище ленивая морская волна, манили к себе ледяные поля, которые двигались бесконечной вереницей вдали от берега по своим извечным путям, по воле течений и ветра.

— Давай-ка еще раз проверим свечи. Отвинчивай сам. Та-а-ак, правильно. Железо, оно хоть и железо, а требует, понимаешь ли, как женщина, вполне ласкового обращения,— глянув смущенно на мальчишку, Степан Степанович громко прокашлялся и сказал:— Это, Орел, можешь не переводить, да и вряд ли ты понял, о чем толкую...

Пойгин отвернул свечи, аккуратно протер их, снова ввинтил, повертел рукою диск, напряженно прислушиваясь к тайной жизни огнедышащего идола. И когда железный идол взревел и затрясся, он поначалу все-таки испугался, едва не выпустил из рук рукоятку.

— Не робей, брат ты мой иноязычный! Не робей!— кричал Чугунов, пересиливая шум руль-мотора.— Учись на скоростях рулить байдарой. Тут, брат, особая необходима сноровка.

Ревел огнедышащий идол, подвластный руке человека, пенилось море за бортами стремительной байдары. Пойгин подставлял лицо ветру и думал о том, что он едва ли когда-нибудь чувствовал себя настолько бесстрашным и сильным.

— Хорошо-о-о, очень хорошо-о-о,— нахваливал его Степан Степанович.— Крутых поворотов не делай, вмиг перевернешь байдару. И еще запомни, как святая святых, когда будешь заливать бак... тут уж трубку не смоли. И другим строжайше закажи! Зарекись навсегда!

Мотор вдруг зачихал и опять заглох. И тогда началось все сначала.

— Не надоело тебе с нами, Орел? Может, к своим ненаглядным оленям пойдешь? Покажи, где твое стойбище?

— Вон там, за лагуной. В бинокль хорошо видно.— Тильмытиль поднес к глазам бинокль Пойгина.— Сегодня ночью буду пасти оленей. Скоро стадо опять далеко в тундру погонят.

— Ну ничего, ничего, мы тебя оторвали от оленей всего на несколько дней. Спасибо папаше твоему за то, что тебя отпустил. Больно мне нравится твой папаша. Серьезный, понимаешь ли, мужик этот Майна-Воопка — Большой Лось. Интересно вы себя именуете, дорогие мои иноязычные братья. Красиво звучит. Большой Лось. Вес, понимаешь ли, имя имеет. Ну ладно, займемся мотором.

Чугунов полистал книжицу, разглядывая чертежи руль-мотора. В задумчивости чуть было не полез рукой в свою буйную шевелюру, да вовремя вспомнил, что пятерня в машинном масле.

— Ну и пишут же... умники, мозги свихнешь. Нет чтобы, понимаешь ли, простым человеческим языком объяснить, так нет, надо с выкрутасами...

Пойгин тоже заглядывал в книжицу, и чувство уверенности покидало его. Конечно же, ему никогда не понять помещенные в книжицу советы, как обходиться с мотором. О своей неспособности овладеть тайнами чтения и письма он в последнее время думал с мучительной болью. Можно было бы ходить на ликбез каждый вечер, сидеть, подобно мальчишке, за партой. Но ему же некогда! Это сколько же времени надо потратить, чтобы сидеть в школе, как сидит его Кайти. Хорошо бы понять тайну немоговорящих вестей как-то сразу, постигнуть ее вдруг пришедшим наитием. Это должно быть как прозрение! Пойгину иногда снилось, что такое прозрение пришло, и он теперь умеет читать и писать, и не гнетет его больше стыд за немощь своего рассудка.

Прошлой зимой он просил Кайти научить его читать и писать. «Поясняй мне то, что ты поняла в школе». Кайти поясняла, а Пойгин мало что понимал и отстранялся от букваря, от тетради, презирая себя за тупоумие. Потом он попросил Тильмытиля научить его тому, чему он сам научился в школе. Он брал мальчишку с собой на проверку капканов, останавливал нарту где-нибудь под горой, в затишке, где не таким был пронзительным ветер, и требовал: «Учи здесь». И тогда Тильмытиль вычерчивал на снегу буквы, цифры и, стараясь подражать Надежде Сергеевне, громко говорил:

— Запомните на сегодня главное. Есть в чукотском языке две группы гласных, это как два отдельных стада оленей. Их еще называют рядами гласных. В первом ряду, или стаде, находятся «и», «э», «у»; во втором — «э», «а», «о»...

— Ты что разговариваешь так, будто здесь не я один? К тому же в твоей речи слишком много русских слов, которых я не понимаю.

Тильмытиль смущенно умолкал, обдумывая, с чего же начинать. Хочешь не хочешь, надо разговаривать с Пойгином, как с первоклассником. Стыдно со взрослым человеком так обращаться, но что поделаешь? Не станешь же ему объяснять падежи чукотского языка: абсолютный, творительный, сопроводительный. А жаль. Если бы дали волю Тильмытилю, он даже птицам, сидящим на скалах, растолковал бы, что такое детально-направительный падеж, отправительный, определительный. А еще — слушайте, слушайте, птицы! — есть еще и назначительный падеж. Но рано Пойгину знать это. Если бы он понял, что такое слог,— и то уже было бы хорошо.

— Ты меня не учи пустякам. Ты главному учи,— между тем требовал Пойгин, стараясь скрыть за строгостью тона смущение.— У меня рассудок не хуже, чем у Ятчоля, получше внуши — и я все пойму.

— Ладно. Постараюсь внушить. Только не обижайся, если я буду разговаривать с тобой, как с первоклассником.

— Разговаривай как хочешь. Однако о почтении не забывай... Я постарше твоего отца...

И Тильмытиль не забывал о почтении. Особенно он помнил об этом, когда Пойгин учил его своей грамоте охотника-следопыта.

Однажды Тильмытиль не смог отличить след волка от следа обыкновенной собаки. Пойгин на второй день, перед уходом на охоту, зашел в класс, сказал Надежде Сергеевне:

— Отпусти его со мной.

— Нельзя. Уроки только начались.

Пойгин мрачновато усмехнулся, поманил пальцем учительницу из класса.

— Иди, иди сюда, я кое-что тебе объясню.

Надежда Сергеевна, несколько недоумевая и сердясь, вышла из класса.

— Дети наши научились различать знаки немоговорящих вестей, как я умею различать следы зверя. Это хорошо. Но плохо то, что Тильмытиль вчера не отличил след волка от следа собаки.

— Научится.

— Когда? Это надо познавать сразу же, как только мальчик забывает вкус молока своей матери.

— Пусть дети познают это на каникулах, в конце концов после занятий..

— Нет, так не познаешь. Это надо видеть даже во сне.

Надежда Сергеевна с досадой поглядывала на дверь класса.

— Ты мне мешаешь, Пойгин,— сказала она.— Я тебя уважаю, но нельзя же так...

— Я тоже тебя уважаю. Но почему ты не хочешь понять, что в мое сердце вселилась тревога?

— Все будет хорошо, Пойгин. Грамотный человек найдет себе дело.

— А кто будет ловить песцов, пасти оленей?

— Ты что, хочешь сказать, что школа ни к чему? И это тебе, председателю, пришли такие мысли?

— Какой я буду председатель, если наши дети вырастут и не смогут отличить след волка от следа собаки?

К изумлению Надежды Сергеевны, Пойгин с решительным видом распахнул дверь класса, подошел к парте Тильмытиля, схватил его за руку и увел с собой. Тильмытиль упирался, даже заплакал, но Пойгин был неумолим.

Едва выехали в тундру, Пойгин приказал Тильмытилю сойти с нарты.

— Долго сидеть за партой ты научился. Теперь учись бегать.

Тильмытиль побежал. Шло время, а Пойгин словно забыл о мальчишке.

— Я больше не могу!— закричал Тильмытиль, задыхаясь.

— Можешь!

И Тильмытиль побежал дальше. Ему было очень трудно — от усталости, от обиды, от вины перед учительницей. Подумалось: не ослушаться ли Пойгина, не повернуть ли назад, в школу? Но он пересилил себя. И потом, когда к нему пришло второе дыхание, о котором ему было еще не известно, он посветлел лицом, даже заулыбался: оказывается, это такое счастье — бежать, бежать, бежать и чувствовать себя неутомимым!

У одной из приманок Пойгин наконец остановил нарту. В капкане метался песец.

— Снимай его!— приказал Пойгин.

Тильмытиль не раз снимал с капканов песцов, но уже мертвых. Видел, как Пойгин снимал и живых. Он ловко опрокидывал ногой песца на спину, прикладывал походную палку к груди зверька и наступал на оба ее конца. Песец кричал, и это было похоже на плач ребенка. Однажды, заметив на лице Тильмытиля сострадание, Пойгин спокойно сказал:

— А ты представь, как этот песец пожирает птенцов в

гнездах птиц. Никогда не видел? Летом я тебе покажу. Один раз увидишь, и вся твоя жалость исчезнет.

И вот сейчас Тильмытилю самому предстояло задушить песца. Пойгин протянул ему палку.

— Только осторожнее, не испорть шкуру.

Долго мучился Тильмытиль с песцом. Пойгин, сидя на нарте, бесстрастно курил трубку.

— Он кусается! — вскричал Тильмытиль.

— А как же. Птенцы хорошо знают, как он кусается. И не только птенцы. Гуси, лебеди, журавли в линьку, когда теряют маховые перья, не знают, куда деваться от его зубов.

Наконец песец заплакал под ногами Тильмытиля. Закрыв глаза, мальчишка крепился. А Пойгин по-прежнему продолжал бесстрастно сосать трубку.

— Все,— с трудом выдохнул Тильмытиль и принялся раскрывать капкан.

Подняв песца, он подул на его мех и сказал уже не без важности:

— Кажется, не тронул на нем ни одной шерстинки.

— Плохо, совсем плохо,— вдруг мрачно сказал Пойгин.

Тильмытиль испугался: наверное, сделал что-то не так...

— Не о тебе говорю, Тильмытиль, ты достоин похвалы. Я о себе говорю... Учишь ты меня, учишь, а рассудок мой по-прежнему постигнуть тайну не может.

— Ты бы слоги скорее понял! — с величайшим сочувствием и отчаяньем воскликнул Тильмытиль.— Наверное, плохо я объясняю.

— Нет, это я плохо понимаю. Что-то есть здесь недоступное моему рассудку.

Вот об этом Пойгин с горечью думал и сейчас, наблюдая, как Тильмытиль вместе с Чугуновым заглядывает в книжицу и что-то там, видно, понимает. А он, Пойгин, так никогда из этой книжицы ничего и не поймет. Умолкнет мотор, и ничего не сделаешь, если не обратишься к книжице за советом.

Ветер дул с берега, и байдару все дальше уносило в море. Трудно будет возвращаться в Тынуп, если придется идти на веслах. Маячат на берегу жилища Тынупа. Вон стоят рядом три новых дома — подарок райсовета тынупцам. Один для Акко, второй для Мильхэра, а третий... третий... Пойгину предназначается. Сколько раз подходил Пойгин к этому дому, заглядывал в окна, открывал дверь, внутрь заходил и чувствовал, что душа его никак не располагалась к новому очагу. Зато Кайти и во сне бредила этим домом. Ах, Кайти, Кайти,

ну чем тебе не нравится родная яранга? Не так давно и поставил ее Пойгин, на самом хорошем месте в Тынупе. Но не это главное. А что?

Пойгин всматривается в жилища Тынупа, напряженно морщит лоб: что же все-таки главное? Привычка, наверное. В яранге все знакомо с детства, даже дымок от костра, шкуры, пропитанные дымом, пахнут по-особенному; и жить без этого запаха — это все равно что воду пить во сне — никогда не утолишь жажду.

А Кайти ходит к дому по нескольку раз в день, умоляюще смотрит на Пойгина, ждет, когда он переборет себя. Пожалуй, надо перебороть, именно ради Кайти. Когда она рассказывает, каким чистым будет их дом, то вся будто светится и слова такие находит, что их можно назвать по праву говорениями. Да, надо вселяться в новый очаг, надо порадовать Кайти.

Чугунов закрыл книжицу, дотронулся до плеча Пойгина:

— О чем размечтался? Очнись. Я, кажется, понял главную причину, почему глохнет мотор. Необходимо жиклер поточней отрегулировать. Вот смотри, как это делается...

Увлеченный постижением мотора, Чугунов только сейчас заметил, как далеко унесло байдару.

— Ого! Того и гляди, у Северного полюса очутимся. Ну и попыхтим на веслах против ветра, если мотор не заведется.

Однако мотор завелся. Когда он взревел, Пойгин по-отечески прижал голову Тильмытиля к своей груди и сказал:

— Учись и ты понимать этого железного идола — у тебя рассудок, достойный рассудка твоего отца, ты сможешь.

Тильмытиль заулыбался, потом важно приосанился, щуря глаза от встречного ветра.

— Ну, капитан, бери власть на корабле в свои руки. Одним словом, рули сам.

Пойгин пересел на корму, взялся за ручку мотора. Огнедышащий головастый идол дрожал от избытка яростной силы, и эта дрожь передавалась через руку к самому сердцу Пойгина: вот такая же сила бушует и в нем, и потому он все сможет и все одолеет, даже тайну немоговорящих вестей. Вот однажды проснется что-то необыкновенное, и Пойгин поймет, что тайна постигнута, рассудок его пробился в неведомое, как свет Элькэп-енэр пробивается в земной мир через облака и туманы.

Почти все тынупцы выбежали встречать байдару, на которой гудел мотор. Пойгин окинул толпу внимательным взгля-

дом. Вон и Кайти чуть в стороне от всех. Смотри, смотри, Кайти, что умеет делать твой Пойгин, какая силища «живого железа» теперь подвластна ему. Не волнуйся, Кайти, Пойгин не расшибется, врезаясь на полном ходу в берег.

— Та-а-ак, сбавь обороты,— подсказывал Чугунов,— гаси скорость. Теперь совсем выключай. Байдара сама с ходу дойдет до косы.

Едва Пойгин сошел на берег, как перед ним оказался Ятчоль в своем «галипэ».

— Вот газета!— потряс синим конвертом перед самым носом Пойгина неукротимый в своем ликовании Ятчоль.— Тут я... я тебе укор... можно сказать, не только укор... пожалуй, даже проклятье!

Мильхэр попытался оттеснить скандалиста от Пойгина, но тот забегал к нему с другой стороны и твердил свое:

— Да, можно сказать, что это даже проклятье! А те хорошие слова, которые я в газете о тебе говорю... это так, их придумал Гена. Молод еще, глуповат, наверное.

Пойгин, мрачно посасывая трубку, мучился в недоумении.

— О чем ты болтаешь? Смотри, как бы ветром не унесло тебя в море на крыльях твоего галипэ.

Кайти по-прежнему стояла чуть в стороне. Лицо у нее было таким печальным, что Пойгин отмахнулся от Ятчоля, устремился к жене.

— Почему у тебя такое лицо? Ты заболела?

Кайти медленно покачала головой, дескать, дело не в этом.

— Я вижу, что-то случилось. Тебя обидели?

И опять Кайти, будто видел Пойгин ее во сне, медленно покачала головой, отрицая и это.

— Я хочу тебя обрадовать. Я все обдумал. У нас будет новый очаг. Через день, через два состоится наше вселение в дом...

И опять Кайти отрицательно покачала головой, а в глазах ее отразилась такая боль, что Пойгин невольно схватил ее за плечи.

— Что случилось с тобой? Ты не хочешь вселяться в дом?

— В дом будет вселяться Ятчоль,— едва слышно промолвила Кайти и заплакала.

— Почему Ятчоль? Кто сказал?!

— В Тынуп приехал большой очоч. Он сказал...

А в Тынуп прибыл не кто иной, как Величко. Был он к этому времени уже заместителем председателя райисполко-

ма; в гору пошел, как только в край отозвали секретаря райкома Сергеева. Медлительный, вальяжный, он не растерял своей улыбчивости, пошучивал, посмеивался, хотя и давал понять тем, кто раньше не слишком чтил его, что он не так уж и забывчив. Особенно он это подчеркивал сейчас, при встрече с Медведевым.

— Давненько не бывал я в Тынупе,— сказал Величко с тем наигранным добродушием, за которым таилось: ну вот я до вас наконец и добрался.— Преображается Тынуп. Летом я здесь впервые... Вид прекрасный.

— Не могу не согласиться,— сдержанно ответил Артем Петрович.— Прошу вас, присаживайтесь.

Величко медленно опустился в кресло у стола, Медведев сел во второе — напротив гостя.

— Да, поселок стал посолиднее,— с удовольствием повторил свою мысль Величко.— Кстати, три этих дома... подарок райсовета лучшим охотникам, как они... уже заселены?

— Два завтра-послезавтра заселяются.

— Кем?

— В одном будет жить председатель сельсовета Акко. Во втором — лучший бригадир Мильхэр. Ну а третий... Третий... полагаю, там будет жить председатель артели Пойгин.

Величко вытащил из портфеля окружную газету:

— Вот это читал?

— Прочел...

— Ну и что скажешь?

— Сочинил некто Коробов человека по имени Ятчоль. И тот дал председателю артели кое-какие полезные советы. Но лучше бы Коробов сделал это от собственного имени.

Величко сбил пепел мизинцем той же руки, в которой держал папиросу. До чего же был изящным его этот привычный жест. Казалось, отучись от него Величко — и сразу что-то заметно убудет в его обаянии. Еще раз слегка ударив мизинцем по кончику папиросы, Величко многозначительно вздохнул.

— Нет, почему же. То, что чукча дает совет другому чукче побыстрее расстаться с пережитками прошлого... это куда эффективнее.

Медведев потянулся к бороде, чтобы спрятать усмешку-осу, как бы запутавшуюся в волосах.

— Но ведь реальный Ятчоль и тот, статью которого вы читали,— это небо и земля...

— Досадно, конечно. Но не беда. Есть выход. Будем подтягивать реального Ятчоля до идеала, изображенного Коро-

бовым. А заодно потянутся к идеалу и другие. Вот в чем ценность журналистского хода Коробова. Важно и то, что он видел реального Ятчоля, поверил в него. Значит, почувствовал в нем, как говорится, нечто...

— Я не знаю, что он в нем почувствовал. Однако мне понятно, как нелепо все это выглядит здесь, на месте. Люди должны верить газете. Но кому же неизвестно, что из себя представляет Ятчоль?..

— Жаль, очень жаль,— несколько капризно и в то же время сокрушенно промолвил Величко.— Жаль, что мы с вами опять расходимся... Даже вот как-то невольно перешел на «вы».

Медведев удовлетворенно закивал головой и поспешил успокоить собеседника:

— Ничего, ничего. Мне, знаете ли... даже так приятней...

«Все такой же, независимый и ядовитый,— отметил для себя Величко.— Ничего, я с тебя кое-какой гонорок посшибаю». Вслух вяло сказал, показывая легким зевком, что он нисколько не уязвлен:

— Ну, ну, будем на «вы». Я человек добрый, сделаю, сделаю вам приятное... Итак, вернемся к Ятчолю. Уверяю вас, имя его после этой статьи прогремит на всю Чукотку. Ведь он заговорил об очень тонких, деликатных вещах. Представляется образ чукчи сегодняшнего... Ну если не сегодняшнего, то завтрашнего. Возможно, Коробов его немножко поднял, преломил, так сказать, через свою мечту. Однако важен пример...

Заметив, что Медведеву слушать все это невыносимо, Величко поскучнел, а затем и рассердился.

— Ну вот что, Артем Петрович, вы знаете мою деликатность... Я не однажды проявлял ее по отношению к вам...

— О, как же, как же!

— Напрасно иронизируете. Теперь имейте в виду следующее. В третий дом войдет не Пойгин, который, как мне известно, предпочитает ярангу, и это вполне логично, подчеркиваю... войдет не Пойгин, а Ятчоль. И нового председателя артели придется искать, не исключено, что пришлем со стороны...

Артем Петрович, запрокинув голову, долго смотрел в потолок, как бы в этом видел выход, чтобы зло не рассмеяться.

— Да, мы именно Ятчоля поселим в дом, хотя бы в знак благодарности вот за это!— Величко пришлепнул растопыренной пятерней по газете, лежавшей на столе.— Проведем это через райсовет. А ваша задача... задача работников культба-

зы... сделать все возможное, чтобы этот человек тянулся к тому уровню, на каком его будут видеть чукчи других мест, полагая, что такой Ятчоль действительно уже существует. Он должен, должен быть таким! Только постарайтесь, подойдите к нему без предвзятости, по-человечески...

Артем Петрович мрачно молчал, потому что ничего, кроме негодования, не испытывал.

— Что же вы молчите?

— Вы хотите, чтобы я заговорил?

— Вы не угрожайте. Забудьте старые замашки. В конце концов, оцените факт, что я прибыл к вам на сей раз совершенно в новом качестве.

— Простите, но я посмею возразить... Коль скоро вас устраивает фикция... я вижу вас совершенно в прежнем качестве...

От пухлых щек Величко отхлынула кровь. Он долго смотрел остро прищуренными глазами на Медведева, который повернулся к нему боком с подчеркнутым видом полнейшего пренебрежения, наконец сказал:

— Боюсь, Артем Петрович, что нам в одном районе дальше не жить...

— Меня направил сюда крайком...

— Это вам не поможет. Ну ладно, поговорили по душам, и хватит. Иногда очень полезно поставить точки над «и». Однако дела есть дела, пойдемте посмотрим на эти дворцы...

Артем Петрович не просто встал, а вскочил, вытягивая руки по швам, издевательски изображая готовность и подобострастие.

— А вы все такой же артист. И до чего же у вас колючий характер.

Когда проходили мимо правления артели, наткнулись на Ятчоля. Шагал он воинственно, в крайнем возбуждении, в своих «галипэ» и в засаленной телогрейке, которую подпоясал ремнем, как гимнастерку.

— Вот ваш прославленный Ятчоль,— не просто сказал, а продекламировал Артем Петрович.

Величко вскинул руку, хотел было размашисто подать ее чукче, но вдруг замер:

— Постой, постой... это что на тебе такое?— подошел к Ятчолю, подергал за одно из крыльев его странных штанов.— Это как понимать?

Ятчоль скособочил голову влево, потом вправо, разглядывая самого себя, наконец выпалил:

— Это русский штана... галипэ называется!

Величко чуть изогнулся, словно у него резануло живот, и так расхохотался, что стали сбегаться тынупцы.

— Галипэ! Вот это ты уморил меня, братец. Ну и учудил!.. Русская штана.— И опять зашелся в хохоте до слез.

Ятчоль сначала настороженно смотрел на очоча, стараясь определить, что будет потом, когда он перестанет смеяться, и вдруг тоже захохотал дурашливо.

Медведев, подчеркнуто безучастный к происходящему, наблюдал за байдарой в море: он знал, что в ней Чугунов обучает Пойгина владеть руль-мотором. «Эх, Пойгин, Пойгин, сумеешь ли выдержать эту комедию с газетой? Не сорвался бы».

— Послушайте, Артем Петрович!— с веселым добродушием окликнул Величко Медведева.— Бросьте хмуриться. И не надо уж так жестоко презирать этого малого.— Широким жестом положил руку на плечо Ятчоля.— Ну смешон... смешон, куда денешься. Но ведь искренне тянется к новому! Неужели его галифе хуже того, что председатель колхоза колотит в бубен, плещет в море кровищу и совершает всякую прочую чертовщину.

Артем Петрович по-прежнему смотрел в море, упрямый и непримиримый в своем упорном молчании.

— Как знаете. Я подавал вам руку. В конце концов, мне надоело перед вами унижаться...

У дома, который предназначался Пойгину, скопилось много людей, была среди них и Кайти. Величко степенно обошел вокруг дома, взобрался на крылечко и громко воскликнул:

— Здесь будет жить Ятчоль!

Кайти поднесла судорожно сжатые кулачки ко рту, чтобы не вскрикнуть: властный жест очоча в сторону двери дома, произнесенное имя Ятчоль ей все объяснили...

В комнату Величко, отведенную ему на культбазе, вошел Чугунов. Был он сдержан в своей мрачной решимости: дал себе наказ не проявлять ее бешено, хотя внутри у него все клокотало.

— Здравствуй, Игорь Семенович.

— Здравствуйте,— подчеркнуто на «вы» ответил Величко, тем самым давая понять, что Чугунову неукоснительно надо последовать его примеру.— Присаживайтесь.— Озабоченно глянул на часы.— Только учтите, у меня очень мало времени.

Степан Степанович чуть передвинул стул, уселся основательно, словно угрюмой скалой навис над душою Величко.

— Я слышал, вроде бы дом Пойгина... теперь переходит Ятчолю...

— Никакого дома Пойгина не было.

— Как не было?— пока все еще сдерживая в себе черта, спросил Чугунов.— Я сам в нем все до последнего плинтуса вот этими руками ощупал. Строгал, красил, подгонял...

— Честь и хвала вам. Я знаю, руки у вас золотые.

— Но неужто я для этого болтуна старался?

Величко покривился в нервической усмешке.

— Степан Степанович, дорогой, мне очень некогда. Если у тебя есть дела ко мне как к заместителю председателя райисполкома, то...

— Есть, есть дела! — вдруг все-таки выпустил черта Чугунов.— Кто тебе позволил... допускать такое самоуправство? Ну если ты взъелся на Пойгина... то подумай о других людях! Чукчи всего Тынупа переполошились. Удивляются люди. Так, понимаешь ли, недолго и веру подкосить... веру в справедливость...

Величко все это выслушал хотя и терпеливо, но с тем недобрым видом, который как бы говорил: всему бывает предел, плохо будет, если вы это не поймете.

— Твое самоуправное решение... боком выйдет нашему общему делу. Надо же понимать. Ты же партийный человек! Пост вон какой ответственный занимаешь!..

— Ну вот что, я не намерен обсуждать с вами вопросы, к решению которых вы не имеете никакого отношения. Я вас уже предупреждал... вы заведующий факторией... у вас есть свои непосредственные обязанности.

Чугунов схватил с подноса второй стакан, наполнил водою, осушил его так, будто гасил в себе пожар.

— Ты меня, товарищ Величко, в стойло не загоняй! Я тебе не бык или прочая рогатая скотина. У меня билет партийный. Я ехал сюда действовать во всеобщем нашем масштабе. И впредь буду действовать на всю широту своей души. И ты ее из меня не вышибешь!

— С партийным билетом при таких махновских замашках... можно и расстаться.

Степан Степанович распахнул меховую куртку, приложил пятерню к карману гимнастерки, не просто приложил, а припаял к груди. И чтобы не сорваться на крик, ударился в обратную сторону, в какой-то клокочущий полухрип, полушепот:

— Ты мне... эти угрозы... не смей! Со мной расподобные шуточки... никто еще себе не позволял. И запомни, что я тебе

сказал. Слепую политику здесь не разводи. К секретарю райкома поеду... до округа доберусь, а суть твоей слепоты политической как есть обрисую!

Чугунов замахнулся кулаком, чтобы грохнуть по столу, но остепенил себя на полпути, плечом саданул дверь и ушел прочь, оставив после себя густой запах махорки, морской соли, машинного масла.

11

Пойгин не верил, что газетой ему послано проклятье, и все-таки, когда уже почти все тынупцы улеглись спать, пошел к Медведеву, осторожно постучал ему в окно. Артем Петрович еще не спал. Отдернув занавеску, узнал Пойгина, жестом пригласил войти.

И вот сидит Пойгин, угрюмый, с опущенной головой, смотрит на Медведева печально и недоуменно. Потом печаль его и недоумение выливаются в слова:

— Почему дом отдают Ятчолю?

Артем Петрович собрал бумаги на столе, мучительно соображая, как отвечать.

— Сейчас будем пить чай.

Пойгин в знак согласия кивнул головой.

— Ладно, не будем говорить о доме. Я сам виноват. Все медлил, сомневался. Старый очаг меня в новый не пускал. А вот Кайти хотела. Она так ждала этот новый очаг. Обидел я Кайти, радость отнял... Так что о доме говорить не надо.

— Будем говорить и о доме и о многом другом.

Пойгин нетерпеливо повел рукой:

— О доме потом. Я хочу узнать о другом. Правда ли, что газета послала мне проклятье? Есть ли у тебя такая газета?

— Есть.

Нетерпение в лице Пойгина стало каким-то мучительным.

— Покажи!

Артем Петрович открыл стол, достал газету, развернул.

— Прочитать?

— Дай я сначала сам посмотрю.

Осторожно, словно боясь обжечься, Пойгин взял газету и долго смотрел в ее столбцы, испещренные мелкими знаками — буквы называются. Странно, он, Пойгин, живет в Тынупе, а о нем рассказали этими мелкими черточками, кружочками, хвостиками какую-то весть, и она теперь идет по всей Чукотке на листе бумаги. Если газета сотворяется столь таинственным образом, почти при участии сверхъестественных

сил, надо полагать, добрых сил, то может ли она нести в себе ложь? Как было бы хорошо, если бы он уже мог сам постигать тайну этих черточек, кружочков, хвостиков. Еще надо радоваться, что есть Артем, он, конечно, ничего не скроет, о чем говорит газета, а если бы не было его? Тогда хочешь не хочешь — верь тому, о чем болтает Ятчоль. Можно было бы попросить помочь одолеть неведение жену Артема, учителя Журавлева, ну а если бы их тоже рядом не было? Чугунов хоть и умеет понимать немоговорящие знаки, но только на своем языке. А тут, кажется, газета говорит по-чукотски.

Пошелестев газетой у самого уха, Пойгин неожиданно улыбнулся:

— Будто шепчет о чем-то...

Медведев взял из рук Пойгина газету:

— Так вот слушай, что здесь написано.

Пойгин откинулся на спинку стула, замер в непомерном напряжении: что бы там ни говорили, для него это была встреча с чем-то сверхъестественным... Медленно и внятно читал Артем Петрович. И по мере того как получала высказанность странная весть, якобы принадлежащая Ятчолю, Пойгин все мучительней страдал от недоумения. И когда Медведев умолк, откладывая газету в сторону, Пойгин спросил с видом полной растерянности:

— Так Ятчоль уже научился болтать не только языком, но и немоговорящим способом? Разве мало того, что он болтает просто языком?

— Нет, Ятчоль этого не умеет.

— Но как же все это стало газетой?

— Приехал сюда человек, умеющий делать газету, увидел Ятчоля... послушал его...

— Но разве Ятчоль мог кому-нибудь сказать, что я человек вэймэну линьё[1]?

— Наверное, нет.

— Почему же газета утверждает это? Выходит, произошел обман?

— Человек, делающий газету, не знал чукотского разговора, он не все понял у Ятчоля. А Ятчоль чем-то сумел ему понравиться. И этот человек, журналист называется, поверил, что Ятчоль может тебя уважать. Поверил, что он имеет право делать тебе дружеский укор. Потом от имени Ятчоля заставил говорить об этом газету.

Пойгин во все глаза смотрел на Артема Петровича, ста-

[1] Вэймэну линьё — уважаемый, почитаемый.

раясь уразуметь непостижимое, снова взял в руки газету:

— Но почему же она стерпела обман? Почему черточки эти, кружочки, которые буквы называются, не разбежались в разные стороны, возмутившись обманом? Почему они не прожгли бумагу?

«Вот это вопросик!» — мысленно воскликнул Медведев и после долгой паузы ответил:

— Ты придаешь газете сверхъестественную силу. А она лишь размышления людей. Конечно, газета, вернее, люди, делающие газету, очень стараются, чтобы не прокрался обман, чтобы размышления на бумаге помещались только самые верные и серьезные... Но раз газету делают не сверхъестественные силы, а люди... то и ошибки бывают людскими...

Пойгин вдруг засмеялся.

— Вот это ошибка получилась у газеты! Ятчоль меня уважает. Что ж, тут можно только посмеяться. Но укоров Ятчоля я не приму. Не ему делать мне укоры...

— Будем считать, что это укоры того журналиста. Но и он... он тоже... ему надо было бы сначала пожить рядом с тобой, прежде чем судить о твоих поступках... Однако один укор ты должен стерпеть и от него...

— Какой?

— Ты должен научиться читать и писать. Все это грамота называется.

Пойгин болезненно поморщился:

— Мне уже снится, что я эту тайну постиг. Все надеюсь, может, во сне придет прозрение.

Медведев улыбнулся, отчего борода его чуть-чуть раздвоилась.

— Вот о чем мне пришло в голову у тебя спросить. Сколько раз, по-твоему, нужно взмахнуть веслами, чтобы доплыть на байдаре от Певека до Тыпупа?

Пойгин недоуменно вскинул брови, мол, что за шутка? Ответил с усмешкой, как и подобает отзываться на шутку:

— Наверное, столько же, сколько на небе звезд.

— А за один взмах весел не доедешь?

— Я не сверхъестественное существо.

— Вот, вот. Однако грамоту ты хочешь постигнуть, как сверхъестественное существо, в один миг, всесильным прозрением.

Пойгин засмеялся, оценив ум собеседника, сумевшего шуткой высказать очень серьезную мысль.

— Да, пожалуй, ты прав,— с глубоким вздохом удовлетворения от сердечной и непустой беседы сказал Пойгин.—

Я вздумал одним взмахом весел промчаться на байдаре от Певека до Тынупа. Я тебя понял. Но у меня нет лишней жизни, чтобы каждый вечер ходить в школу...

— Ты с избытком наверстаешь потраченную часть жизни, когда научишься грамоте. Поверь, тебе это совершенно необходимо... Ну а теперь давай пить чай. Я совсем забыл, что гость, возможно, мучается от жажды...

— Зато я утолил рассудок...

Кайти отпустила мужа в тундру еще в то время, когда весь Тынуп был в глубоком сне.

— Иди,— сказала она Пойгину.— Я чувствую, тебе хочется поговорить с птицами. Только возвращайся хотя бы к времени нового сна.

Кайти не могла сказать возвращайся к вечеру, потому что в земном мире была счастливая пора круглосуточного солнца.

Пойгин закинул за плечи карабин, взял кэпунэ[1] и подался в прибрежную тундру с мыслью посмотреть, что происходит с подкормкой песцов. У него были свои заветные места и тропы, по которым он не один раз ходил в пору возвращения песцов к своим норам. Сразу же, как только заканчивался сезон охоты на пушного зверя, он отправлялся в разведку, бродил вблизи морского побережья, по склонам холмов, по берегам рек, угадывал норы по приметам, видимым только его глазу, определял, какова будет охота следующего сезона. Он знал, насколько искусно песцы устраивают свои норы, с множеством разветвлений, входов и выходов. Опускаясь на колени возле входа в нору, он постигал тайную жизнь зверьков, возвращающихся из дальних зимних странствий в свои родные места. Песцы чистили старые норы, рыли новые; здесь переживут они свои брачные страсти, здесь родится новое потомство, отсюда в октябре — ноябре они будут готовы уйти опять далеко-далеко, если поблизости не окажется корма. Нельзя, чтобы песцы ушли. Надо сделать все, чтобы они остались в капканах, расставленных на охотничьих угодьях артели.

Пойгин подбирал клочки песцовой шерсти, потерянной в линьке, мял ее, нюхал, что-то нашептывал, вслушивался в драки самцов, в их яростное тявканье, по голосам угадывал, велика ли колония зверьков, старался прикинуть, каков будет приплод. Пройдет пятьдесят с лишним дней — и появится

[1] К э н у н э — походная палка.

новое потомство зверьков. А после этого промчится еще дней тридцать (быстротечно время), и молодняк начнет выходить из нор — самая пора проследить, насколько велик приплод: самка может родить пять-семь щенят, а может и больше двадцати. Все это надо знать, брать в расчет, надо приучить молодняк к подкормке, которая — как только придет охотничий сезон — станет приманкой. Песцы привыкнут к тому, что вкопанное в землю мясо вполне доступно, что здесь нет никакого подвоха. А придет время — будут поставлены капканы, и пусть тогда сопутствует охотнику удача.

Сейчас была пора, когда молодые песцы начинали уходить от нор, чтобы утолить голод у подкормок.

Солнце одолевало свой извечный кочевой путь. И все живое круглые сутки славило его, ликуя. Гуси, лебеди, журавли, потерявшие маховые перья при линьке, вытягивали шеи к солнцу, тоскуя по небу; молодые песцы, впервые в жизни своей увидевшие солнце, изумленно смотрели на него, присев на задние лапы, потом начинали скулить от нетерпения: видимо, им очень хотелось лизнуть этот загадочный ослепительный круг; бурые медведи валялись на спине, широко расставляя передние лапы, будто надеялись, что солнце сойдет к ним прямо в объятия.

Пойгин вслушивался в живой мир летней тундры, порой отвечал на журавлиное курлыканье, на гогот гусей, на лай песцов, лисиц, испытывая то удивительное чувство, когда он сливался душой со всем сущим на земле: и с этой вот куропаткой, затаившейся в кочках со своим выводком, и с зайчатами, припустившимися что было духу наутек, и с каждой травинкой, которая тоже знала, что такое солнце, ибо была она его дитем.

Останавливаясь то у одной, то у другой приманки из мяса моржей и тюленей, вкопанного в землю, Пойгин внимательно оглядывал все вокруг и по вытоптанной траве, по следам на мясе от зубов и когтей, наконец, по запаху, оставленному песцами, определял их число, нрав, возраст. Вот здесь возились молодые песцы, это видно по вытоптанной траве чуть в стороне от приманки: после утоления голода резвились малыши вдоволь.

В какое бы время Пойгин ни блуждал по тундре один на один со своими мыслями, он все время чувствовал кого-то рядом, пусть не человека, пусть птицу, зверька — все равно живая душа; а след зверя для него часто был тропою к мысли, что человек и зверь — существа очень близкие, что кровь у них одинаковая, горячая и красная, что тот и другой снача-

ла были детьми, что тот и другой одинаково дышат воздухом. В запахе зверя в такие мгновения Пойгин чувствовал запах древности, в голосе зверя он слышал собственный голос, исторгнутый давным-давно, еще в пору первого творения. И кто знает, возможно, что он, Пойгин, в пору того, первого древнего существования был лисою, а вот эта лиса, по следу которой идет он, была человеком. Может, потому так и хитроумна лиса, что была когда-то, в незапамятные времена, человеком. Ну не диво ли то, как она запутывает свои следы? Бывает, бежит, бежит лиса, и не просто по свежему снегу, где только и виден был бы ее след, бежит хитроумная по следу зайца; потом отпрянет в сторону, напетляет немыслимо, еще и еще раз пройдет по собственному следу, чтобы уже ничего не мог понять преследователь, и снова выходит на заячью тропу. И что за радость охотнику видеть, как лиса, в свою очередь, становится охотником за мышью. Юркнет мышь под снег, а лиса присядет и совсем по-человечески то одним ухом прильнет к снегу, то другим. И тихо становилось во всем мироздании — так, по крайней мере, казалось Пойгину, и сам он замирал, внушая себе: не дыши, лиса слушает тайную перекочевку мышиного народца под снегом! Лиса слушала свое, а Пойгин свое — ветер древности слушал, голос первозданности и потому чувствовал себя существом бесконечным и вечным.

А лиса, расслышав то, что было ей нужно, вдруг круто взмывала над тундрой факелом и, плавно изогнувшись, падала в снег головой — именно в то место, где затаилась мышь. И если ты хоть один раз видел это, думал Пойгин, можешь сказать, что встретился с чудом, и оно приснится тебе, поманит в снега, поманит уйти по следу зверя так далеко, что ты в конце концов придешь на край земли и предстанешь один на один перед всем мирозданием, предстанешь для самых глубоких дум о человеке, о звере, о земле, о жизни. Лиса будет сидеть на холме, смотреть на тебя, па звезды, и, когда ты очнешься, она опять помчится по тундре, увлекая тебя все дальше и дальше к тому, к чему ты пришел в своих думах; и тогда ты поймешь, что сам себя выслеживал, шел по собственному следу, направленному из древнего прошлого в день сегодняшний, шел по тропе вечности. Что было бы с тобой, если бы вдруг исчезли все звери? Ты потерял бы свой след, идущий из прошлого, ты не смог бы продлить его в бесконечное будущее, ты был бы не вечностью, а кратким мигом...

Об этом думал Пойгин и сегодня, блуждая по тундре, от-

вечая голосом гусей на их гогот, курлыканьем журавлей на их курлыканье, стоном лебедей на их стоны. Он был счастлив, что ему удалось еще раз пережить то чувство, когда убеждаешься, что ты идешь по тропе собственной вечности.

А солнце совершало свой круг, оглядывая земной шар со всех сторон, и, видимо, было довольно; земля живет, земля разговаривает голосами зверей, голосами птиц, земля понимает себя и все сущее на ней умом человека.

У озера, которое можно было назвать братом солнца — такое было оно круглое и ослепительное,— снова загоготали гуси. Пойгин долго вслушивался в их гогот, и ему казалось, что там идет осмысленная беседа, скорей всего совет старейшин, а может, матери и отцы обучают своих детей тому, чему их никто другой не научит. Пусть разговаривают гуси, у них свои заботы, пусть им во всем сопутствует удача.

Взобравшись на горную террасу, Пойгин сел на плоский камень лицом к морю, которое было хорошо видно отсюда. И Тынуп отчетливо виден. Жилища его толпятся у моря, как стая птиц. Мираж колеблет дома, яранги, порой поднимает их над землей, и тогда кажется, что птицы взлетают и снова садятся.

Где-то там, в одной из яранг, его Кайти. И не только Кайти, а еще удивительно родное существо, оно было сначала Кайти и Пойгином, вернее, тем, что чувствовали они друг к другу, а потом стало крошечной девочкой Кэргыной — женщиной, сотворенной из света,— таков смысл ее имени.

Пойгин хорошо различил и тот дом, в который так хотела вселиться Кайти. Он готов, давно готов, этот дом, и если бы Пойгин вовремя согласился с женой, не было бы того, что случилось вчера, когда Кайти узнала, что это уже дом Ятчоля... Горько Пойгину, мучительно стыдно Пойгину, обидно за Кайти. Почему он медлил? Бывало, подойдет Пойгин к дому со стороны пустынного моря, чтобы никто его не увидел, прильнет всем телом к стене, приложит ухо к дереву и слушает, слушает, себя и дом слушает. Что он хотел услышать, понять? Наверное, хотел понять, возможно ли соответствие его собственной души с миром этого дома. Но миром его стали бы Кайти и Кэргына, а это значит, было бы и соответствие...

Горько Пойгину, обидно Пойгину, стыдно, мучительно стыдно Пойгину от чувства вины перед Кайти.

Выкурив трубку, Пойгин хотел было уже спуститься с террасы, но вдруг увидел учителя Журавлева. Поднимался учитель по складкам откоса, с ружьем за плечами, в широкополом накомарнике, с сеткой, закинутой на затылок. Взобрался

на террасу, сделал несколько шагов в сторону Пойгина и вдруг остановился.

— Я знаю, что человеку иногда хочется побыть один на один с собой. Мне неловко, что я возник перед твоими глазами.

— Если ты увидел меня издали и все-таки решил не пройти стороной... значит, понадеялся, что я буду рад тебя видеть.

— Да, я увидел тебя издали и понадеялся...

— Тогда садись рядом.

Журавлев, обутый в высокие резиновые сапоги с завернутыми раструбами, не спеша подошел к Пойгину, снял заплечный мешок — рюкзак называется, достал железную бутыль с неостывающим чаем, потом кружку, наполнил ее. Себе налил в крышку от железной бутыли, термос называется, разложил на камне сахар, хлеб и кусочки жареного мяса.

Когда опорожнили термос и съели снедь, Журавлев закурил свою русскую трубку, протянул Пойгину. Тот с достоинством принял трубку.

— Я очень хотел бы, чтобы сегодняшняя наша встреча... была встречей большого понимания,— сказал Журавлев, заканчивая свою мысль уже не словами, а взглядом: именно взгляд должен был подсказать, о каком понимании идет речь.

Пойгин ответил на это не прямо, однако ответил:

— Вон в той стороне, у озера, я слышу, как разговаривают гуси. Я научу тебя угадывать их разговор, различать их беседы большого понимания. Научу, если захочешь...

Пойгин помнил просьбу Кайти вернуться домой ко времени нового сна, пришел именно в эту пору, застал в яранге гостью — жену Медведева. Сидела она рядом с Кайти и держала в руках газету, которая разволновала весь Тынуп. Кайти засуетилась, встречая мужа. Пойгин присел у светильника, показал глазами на газету:

— Я вчера был у твоего мужа, он мне все объяснил. Я вполне утолил рассудок, у меня больше нет недоумения.

— Кайти тоже все поняла,— ответила Надежда Сергеевна, медленно складывая газету,— но самое главное то, что Кайти сумела сама прочитать, что здесь написано.

Изумленный Пойгин повернулся к жене, собиравшей еду на ужин. Лицо Кайти зарделось, можно было подумать, что ей стало очень неловко.

— Ты зря застеснялась, Кайти,— сказала Надежда Сер-

геевна.— Я ничего, кроме восхищения, в лице твоего мужа не вижу.

Пойгин смутился в свою очередь, тихо сказал:

— Это верно. Я восхищаюсь...

Надежда Сергеевна выждала, когда пройдет смущение Пойгина, и вдруг спросила:

— Ну так доплывешь ли ты на байдаре от Певека до Тынупа... если единственный раз взмахнешь веслами?

Пойгин рассмеялся.

— Значит, слышала наш разговор с Артемом?

— Да, слышала. Я легла спать в другой комнате. Но сон не шел... Было так интересно вас слушать...

— Что ж, буду плыть от Певека до Тынупа так, как плывет на байдаре каждый.

— Я тебя поняла. Приходи в школу завтра же.

Пойгин лишь кивнул головой, изумленно наблюдая за Кайти. Надежда Сергеевна проследила за его взглядом и спросила:

— Ты, наверное, никак не можешь поверить, что Кайти умеет читать и писать?

— Это верно, мне трудно поверить. Но я, конечно, верю...

— Вот и хорошо,— улыбнувшись Кайти, Надежда Сергеевна шутливо добавила:— Если ты хочешь знать, твоя жена уже способна написать письмо о том, как любит тебя. И ты будешь несчастным человеком, если не сможешь прочитать его...

— Теперь я знаю, почему мне надо учиться,— пошутил и Пойгин. Долго молчал, как бы утверждая себя в непреклонной решимости.— Завтра я приду в школу. Буду ходить до тех пор, пока ты не скажешь: хватит...

Надежда Сергеевна многозначительно переглянулась с Кайти.

— Раз он решил, значит, теперь не отступит,— ликующе улыбаясь, сказала Кайти.

— Вот и прекрасно,— по-русски промолвила Надежда Сергеевна.

Заторопившись, гостья от ужина отказалась, ушла веселая и довольная. А Пойгин схватил жену за руки и сказал:

— Доставай бумагу, карандаш. Писать будешь.

— Что писать?

— Как любишь меня. Письмо называется.

Кайти рассмеялась:

— Я и так тебе об этом скажу. Вот покормлю, погашу светильник и скажу.

— Тогда скорее корми и гаси.

Когда легли спать, Пойгин долго каялся, что не послушал Кайти, не поселился в дом.

— Ничего, будем ждать другой,— успокаивала мужа Кайти.— А может, Ятчоль откажется от этого дома?

— Нет, Кайти, он не откажется. Он вселится в дом и очень скоро сделает таким же грязным, как и его яранга.

— Зато у нас было бы так же чисто, как здесь. Даже еще чище. Там окна есть. Большие окна. Два в сторону моря. Я так мечтала смотреть в окно и ждать тебя с моря. А если бы тебя в море застала тьма... я подходила бы к окнам с лампой и ты...

Не договорив, Кайти вдруг заплакала от несбывшейся мечты. Пойгин виновато молчал. Он гладил ее тело, осторожно прикасался к шраму. Раны ее зажили. Но все-таки, видно, немало ушло из Кайти жизненной силы, кажется, она стала понемножку таять.

— У меня все меньше остается тела,— печально сказала Кайти.

Пойгин еще сильнее обнял жену, словно бы испугался, что ее сможет отнять у него какая-то невидимая сила.

— У тебя есть тело. Вот, вот, вот оно...

И забылась Кайти, чувствуя, что где-то под самым сердцем опять, как всегда, ворочается, пытаясь улечься половчее, мягкая, пушистая лисица. Она еще способна дотрагиваться острыми коготками до самого сердца, эта вкрадчивая, ласковая лисица. Осторожно дотрагивается коготками до сердца, зубами покусывает. Играет лисица с сердцем Кайти, будто с любимым своим лисенком. Радостно лисенку. Жмурится лисенок, глядя на солнце... И когда Пойгин затих, Кайти приложила руку к его сердцу, долго слушала, как оно колотится. И чудилось Кайти, что чем больше успокаивается сердце Пойгина, тем все дальше уходит он от нее. Кайти хотела сказать об этом Пойгину, но он сразу уснул, усталый и счастливый. Мерным и глубоким было его дыхание. Посапывала в своем углу Кэргына. Вот они, два самых родных ей существа. Неужели ей скоро суждено разлучиться с ними? Кайти хотела снова плакать.

Унимая вдруг проснувшийся снова кашель, Кайти зажгла светильник. Долго смотрела в лицо Пойгина, потом повернулась к дочери. Девочка чему-то улыбалась во сне. Как жаль, что она непохожа на отца. Нет, непохожа, вся в мать. Может, это и лучше. Если Кайти не станет в этом мире, Пойгин будет видеть ее в дочери...

Поправив шкуру, которой был накрыт ребенок, Кайти до-

стала тетрадь и принялась писать письмо Пойгину. Она долго думала над каждым словом, беззвучно шевеля губами, а потом старательно выводила буквы на тетрадном листе. О, это диво просто, как много она могла уже написать, сама удивлялась: когда успела научиться? Что ж, она уже два года учится грамоте. При таком старании, как у нее, можно было и научиться. Писала Кайти письмо и чему-то улыбалась, порой вздыхала, даже принималась плакать. А Пойгин лежал рядом в крепком сне и дышал глубоко и ровно.

Когда письмо было закончено, Кайти долго читала его, сначала беззвучно, потом шепотом, наконец вполголоса:

«Я шью тебе торбаса. Палец уколола иглой. Люблю тебя. Я разжигаю костер. Огонь горит. Горит огонь. А я тебя люблю. Тебя рядом нет. Воет волчица. Значит, тоска. Значит, я тебя люблю. Скорей приходи. Я сказала все».

По лицу спящего Пойгина пробежала тень, казалось, что он весь напрягся, даже наморщил лоб, и можно было подумать, что он мучительно старается расслышать слова Кайти, но что-то мешает ему. С глубоким вздохом удовлетворения Кайти вырвала листок из тетради, сложила его несколько раз, аккуратно вложила в пустой спичечный коробок, перевязала его ниткой из оленьих жил, засунула в кисет мужа.

Утром Пойгин полез за табаком, вытащил коробок, перевязанный ниткой, спросил:

— Что это?

— Мои слова для тебя. Письмо называется.

Пойгин хотел развязать коробок, но Кайти его остановила.

— Наверное, ты когда-нибудь научишься читать. Тогда и узнаешь, какие там слова. Пока носи с собой. Пусть письмо будет тебе амулетом.

И все-таки Пойгин развязал коробок, достал письмо, осторожно развернул.

— Что ж, пусть это будет моим амулетом.

Вечером Пойгин пришел с Кайти в школу и сказал:

— Я не знаю, сколько потрачу здесь жизни из вечера в вечер, но тайну немоговорящих вестей постигну до конца. Хорошо, если бы это случилось к лету будущего года.

— Я думаю, что это случится гораздо раньше,— сказала Надежда Сергеевна, сообщнически улыбаясь Кайти.— Я верю в твою решимость, а в рассудок тем более.

12

Руль-мотор на байдаре Пойгина стал предметом новых волнений в Тынупе. Одни говорили, что надеяться на это железо нет никакого смысла: это тебе не собака, не олень, хоть кричи на него, хоть бей, хоть за ухом чеши — толку никакого не добьешься, да и ушей у него нету; другие добавляли, что запах его и устрашающий голос распугают все зверье. Но большинство охотников, особенно молодых, были в восторге от огнедышащего идола, просили Пойгина, чтобы он взял их в море с собою.

Пойгин сделал уже несколько выходов в море, управляясь с мотором уже без Чугунова, и всякий раз возвращался с завидной добычей. Те охотники, которые плавали вместе с ним, не могли нахвалиться огнедышащим идолом, говорили о нем, как о живом существе, достойном человеческого покровительства и заботы не меньше, чем собака или олень.

Однажды, когда мчался Пойгин к берегу, торопясь на занятия в школу, он еще издали увидел чуть в стороне от Тынупа одинокую ярангу.

— Кто это к нам подкочевал?— спросил он озадаченно.

Передав руль Мильхэру, Пойгин поднял к глазам бинокль: у яранги стоял человек. И было в нем что-то удивительно знакомое. И когда Пойгин разглядел против входа в ярангу шест, увенчанный мертвой головой оленя,— все понял.

— Черный шаман!— воскликнул он, еще раз поднося бинокль к глазам.— Да, это Вапыскат.

Байдара на сей раз была не очень загруженной — всего три нерпы и один лахтак. И Пойгин, снова пересев на корму, принял у Мильхэра руль, направил байдару прямо к яранге.

Когда охотники причалили к берегу, Вапыскат покачал шест, и мертвая голова оленя словно бы начала им кланяться.

— О, вы пришли!— в каком-то нервном возбуждении приветствовал Вапыскат Пойгина и его товарищей.— Вернее, не пришли, а примчались на вонючем железном Ивмэнтуне. Я уже побывал у тынупских стариков и все знаю... Богата ли ваша добыча?

— Мы не досаждаем Моржовой матери ненасытной жадностью,— ответил Пойгин, сумрачно разглядывая ярангу черного шамана.

— Не дадите ли мне хотя бы кусок нерпы, жрать хочу, а нечего. Старуха моя умерла, варить некому. Да и варить нечего.

— Где же твои олени?

— Отдал сыновьям моего двоюродного брата Аляека, того самого, которого ты убил. Они в состоянии сохранять и пасти стадо.

— Сколько сыновей у Аляека?

— Зачем тебе знать?

— Их, кажотся, трое,— вспомнил Пойгин и повернулся к охотникам.— Пусть кто-нибудь принесет нерпу.

Один из молодых охотников проворно спустился вниз, побежал к косе, забрался в байдару, и через некоторое время нерпа уже лежала у яранги.

— Обещали сыновья Аляека кормить меня моими оленями, да вот забыли, наверное, что я еще дышу и нуждаюсь в пище.

— Ну и где ты намерен жить дальше?— спросил Пойгин, присаживаясь на каменный валун.

— Здесь!— Вапыскат с вызовом ткнул в сторону яранги пальцем.— Здесь буду жить, как последний анкалин. Мне это Эттыкай напророчил.

— Ну а как живет Эттыкай, давно ли видел его?

— Я не хочу его видеть. Он стал человеком артели. Теперь трубку свою раскуривает... этому вошелову Выльпе.— Вапыскат помолчал, задыхаясь от негодования.— Ты почему забыл, что я почтенный человек, достойный угощения трубкой?

— Хватит того, что я угощаю тебя нерпой. И знай, я ничего не забыл. И никогда не забуду,— кивнул головой в сторону яранги.— Шкура черной собаки здесь?

Вапыскат раскурил свою трубку и, присев на корточки против Пойгина, долго смотрел в землю. Наконец промолвил:

— Черная шкура иногда обращается в живую собаку, и я слышу, как от нее пахнет твоим предсмертным пóтом...

Пойгин побледнел настолько, что Мильхэр, молчавший до сих пор, вдруг сказал черному шаману:

— Перекочевал бы ты в стойбище Птичий клюв, в Тынупе тебе делать нечего.

— Нет! Именно в Тынупе у меня будут дела! — Вапыскат расстегнул ремень на кухлянке, задрал подол, обнажая живот.— Видишь, Пойгин, мои болячки исчезли! Это значит, я победил того, кто наслал на меня порчу. Ко мне вернулись самые мои сильные духи. У меня есть хорошие помощники для моих дел...

Мильхэр подошел к шесту с мертвой головой оленя, покачал его и спросил:

— Это зачем? Для устрашения?

— С самых древних времен люди знали, что со стороны моря ничего не приходит злого. Теперь все переменилось. С морского берега дует ветер несчастий. Я должен остановить этот ветер...

— Смотри, как бы тебя самого не унесло штормом вместе с твоей ярангой,— сказал Пойгин, наблюдая, как Вапыскат разделывает нерпу.

— Вы бы мне женщину прислали, чтобы сварила мяса,— ворчливо промолвил черный шаман. Руки его были красны от нерпичьей крови. Со вздохом тоскующего человека добавил: — Умерла Омрына; умерла моя бедная старуха — и печаль с тех пор не покидает меня...

Мрачно воспринял Пойгин переселение черного шамана на морской берег, но прошел день, другой в заботах, и он, кажется, забыл о нем. По вечерам Пойгин ходил в школу, ранним утром уплывал в море. В байдару с мотором просилось все больше и больше охотников. Предъявил свои права на это и Ятчоль. Он успел переселиться в дом и теперь был весь преисполнен важности и гордыни.

— Очоч Величко сказал, что я самый лучший анкалин на всей Чукотке,— уверял он каждого, требуя почтения.— Мой очаг теперь как у русского. Я даже тикающую машинку на стенку повесил — часы называется.

Ятчоль действительно приобрел ходики, но время они показывали как попало, главным назначением их было тикать — больше от них ничего не требовалось.

— Ты меня должен взять в байдару. Не зря же газета рассказывала, что я тебя уважаю,— упрашивал Ятчоль Пойгина, понимая, что проявлением гордыни тут ничего не добиться.

И Пойгин оценил это — взял Ятчоля пятым охотником в байдару.

— Только надень галипэ. Если мотор погасит свой огонь, мы тебя вместо паруса поставим,— добродушно пошутил он, показывая людям, что случай с газетой он забыл, как недостойный внимания серьезного человека.

И вот ранним утром до десятка байдар вышли в море. Но только одна из них мчалась по воле огнедышащего идола. Прошло всего несколько мгновений, как весельные байдары остались далеко позади. Даже тогда, когда были подняты на них паруса, они по-прежнему оставались позади,

выбирая свой доступный для них предел проникновения в ледовые поля.

Уже начиналась та пора, когда солнце на какое-то время покидало земной мир и тут же снова появлялось. Пойгин направил байдару по красным бликам на морской воде. Расступался ветер, кричали чайки, словно дивясь тому, что они вынуждены отставать от людей, которые на этот раз и парус не ставили, и не наваливались на весла. Мерцали красные блики на спокойных волнах, как бы обозначая прямую дорогу к верной удаче; и Пойгину казалось, что он не просто плывет по морю, нет, он плывет в будущее по волнам самой жизни; и не ему ли, солнцепоклоннику, не радоваться, что огромный солнечный круг, быть может, вытолкнутый из морской пучины самой Моржовой матерью, предсказывает ясную погоду и удачу в охоте.

Потом, когда доведется Пойгину плавать и на моторных вельботах, и на сейнерах, он не один раз повторит эту дорогу к солнцу, вытолкнутому из морской пучины Моржовой матерью, но всегда он будет вспоминать ту байдару, которой управлял сам, видя впереди себя огромный солнечный круг. Его, этот солнечный круг, легко можно было представить и ликом Моржовой матери, и потому Пойгин смотрел на него с невольным суеверным трепетом и произносил мысленно свои говорения: «Я еще никогда так быстро не мчался к тебе, Моржовая матерь. У меня нет тягости на душе, совсем наоборот, мне весело, как было весело, когда я совсем еще мальчишкой первый раз уплыл в море на первую в моей жизни охоту. Я клянусь тебе, что не буду слишком жадным, не возьму у моря больше того, что ты мне даешь с твоей ко мне благосклонностью. Но сознаюсь тебе, Моржовая матерь, что мне надо много, очень много, и потому я мечтаю о большой удаче. Не для себя мне надо много, а для большой моей семьи, очень большой. Яранги ее дымятся по всему тынупскому побережью и по всей тынупской тундре. Пусть дымятся все чукотские яранги. Когда есть дым над ярангой — значит, есть в ней жизнь. Пожелай мне, Моржовая матерь, жаркого костра в каждой яранге, полного котла над каждым костром и дыма над каждой ярангой».

Да, это были привычные говорения Пойгина, без которых он не мог обойтись, если наступали в его жизни какие-нибудь значительные мгновения: на этот раз, когда так стремительно мчалась его байдара к солнцу, мгновения эти были для него очень значительны.

Но то ли нарушил Пойгин клятву, данную Моржовой

матери (байдара его оказалась слишком перегруженной лахтаками и нерпами), то ли он просто в охотничьем азарте пренебрег предчувствием возможного шторма — на обратном пути он вместе со своими товарищами едва не погиб. Заглох мотор. А ветер крепчал, и волны все чаще обдавали брызгами встревоженных охотников. Пойгин приказал прикрепить к бортам пыгпыг[1]. Чайки, словно злорадствуя, что на этот раз люди не могут обогнать их, истошно кричали, порой почти касаясь крыльями их голов. Лучи солнца кроваво сочились сквозь рваные тучи. На почерпевшем море особенно были заметны белые гребни шипящей пены, и слышалось в этом шипении что-то злое и неумолимое. То и дело вытирая мокрое лицо, стараясь сохранить равновесие, Пойгин чинил мотор, вслушиваясь в голоса охотников.

— Только безумные уходят так далеко в море,— брюзжал Ятчоль.

Его никто не поддерживал, но и возражений, упреков скандалисту Пойгин не слышал.

— Набили полную байдару тюленей, а жрать их будут чавчыват,— все более озлобляясь, продолжал Ятчоль.— Надоели мне эти новые порядки. Раньше я был сам по себе. Хочу — иду на охоту, хочу — сплю. Что добыл, то и сожрал...

— Не всегда ты жрал то, что сам добывал,— наконец возразил Мильхэр.

А волны крепчали.

— Выбросьте половину тюленей за борт!— приказал Пойгин.

— Вот, вот оно, чем все кончается!— заорал Ятчоль, поднимаясь на ноги и снова падая на скользкие туши тюленей. Подполз на коленях вплотную к Пойгину.— Ты зачем нас заманил так далеко в море?

Пойгин чинил мотор, не обращая внимания на скандалиста. Но его удивило, что на этот раз даже Мильхэр не возразил Ятчолю.

Высокая волна ударила в борт, и, если бы не пыгпыг,— байдара, наверное, перевернулась бы. Ятчоль, наглотавшись морской воды, дышал тяжело и прерывисто, и вдруг он потянулся к горлу Пойгина, но волна опять опрокинула его на туши тюленей.

Начали роптать и другие охотники. «Пойгин потерял рас-

[1] Пыгпыг — надутая воздухом нерпичья шкура, снятая чулком, прикрепляющаяся к байдарам в шторм для устойчивости.

судок». — «Он слишком понадеялся на своего огнедышащего идола».— «Железо есть железо, и оно никогда не заменит живое». — «Лучше бы поплавали вдоль берега на веслах, теперь сидели бы себе спокойно в ярангах». — «Вполне хватило бы того, что убили бы у берега. Все равно добыча пойдет для чавчыват». — «Моржовая матерь рассвирепела, услышав, как ревет вонючее железо».

Так все нарастал и нарастал вместе со штормом ропот. Еще и еще раз ударила волна в борт байдары, то вздымая ее вверх, то бросая в бездну, словно бы прямо на клыки рассвирепевшей Моржовой матери...

— Всю добычу за борт!— приказал Пойгин и снова склонился над мотором.

Он вспомнил Чугунова, все его действия, когда тот оживлял мотор. Но это не помогало. Отчаянье нарастало в душе Пойгина. Он прогонял его, понимая, что спасение только в ясном рассудке. «Нет, ты все-таки будешь дышать огнем,— мысленно обращался Пойгин к железному идолу.— Ты видишь, как я терпелив. Я не бранюсь. Я ощупываю твое железо, как будто надеюсь найти в тебе сердце».

А море, то самое море, в котором Пойгин всю свою жизнь искал поддержку, с неизменной верой в добрую силу его вечного дыхания, сегодня грозило гибелью. Почему?! Чем провинился Пойгин?! Или черный шаман смог разворочать пучину? Да нет, слишком он слаб и тщедушен, чтобы суметь всколыхнуть целое море. А в памяти звучали его слова, когда он говорил о черной шкуре, превратившейся в живую собаку: «Я слышу, как от нее пахнет твоим предсмертным потом». На какое-то время Пойгин почувствовал, что самообладание покидает его. Глянул в одну сторону, в другую на всклокоченные волны: то здесь, то там ему мерещилась черная собака со вздыбленной шерстью. Порой ему хотелось обернуться и что-нибудь швырнуть в проклятую собаку, чтобы она не прыгнула ему на спину.

Сквозь разорванные тучи явственно проступила заря восходящего солнца. Озарились светом зари косматые волны. Да, это были морские волны — и только волны. Воображаемая собака исчезла. Свет солнечной зари словно влился в самую душу Пойгина. Спасительный свет! Теперь ему виднее мотор, и это уже немало. Вспомнились Кайти и Кэргына. Вернее, не вспомнились, они все время были с ним в подсознании, а теперь будто приблизились вместе с хлынувшим светом зари. Даже отчетливее представилось, как раскачивается Кайти с ребенком на руках, подавленная

и перепуганная грохотом моря. Если бы состоялось переселение в дом, то стояла бы Кайти у окна и держала бы лампу в руках. А может, это уже последнее мгновение в его жизни, когда он думает о Кайти, о Кэргыне? Вот ударит еще одна волна в борт — и опрокинется вверх днищем байдара...

Нет! Нет! Нет! Пойгин оживит железо. Ремень намотан на диск. Сейчас... Сейчас Пойгин рванет на себя ремень — и взревет огнедышащий идол. Это, кажется, последняя надежда. Если не взревет мотор, то уже ничто не спасет, люди выбились из сил, и байдара не повинуется веслам.

И все-таки взревел мотор! И кажется, вспыхнул в сознании Пойгина свет лампы, высоко поднятой над головою Кайти. Нет, он еще увидит ее. Он будет, будет жить. Он спасет и себя, и тех, кто поверил ему, уходя так далеко в море. Только бы не подвел огнедышащий идол...

Ревет мотор. И мчится байдара по гребням волн, и мягчеют лица охотников. Спасибо, железный идол, ты все-таки послушался Пойгина. Что принести тебе в жертву?

Ревет мотор и одолевает волны. Хорошо, что ветер не встречный, а в спину. Значит, Моржовая матерь осталась благосклонной к Пойгину и его друзьям. Надо бы точно выйти на берег. Хорошо, что солнце уже вынырнуло из пучины. Зарево поглощает тьму. Где-то далеко-далеко воображается Кайти с лампой в руках. За спиной полыхает заря, впереди светит лампа Кайти. И это спасение. Натужно ревет огнедышащий идол. Ему трудно, он задыхается. Только бы опять не умолк. Пойгин умоляет живое железо не подвести, заклинает его, как живое существо, как самого благожелательного доброго духа.

Бесконечно долго продолжался путь сквозь бушующие волны. Казалось, что ему не будет конца. К берегу добрались уже, когда было совсем светло. С огромным трудом одолели прибойную полосу. На берегу их ждал весь Тынуп — от мала до велика. Радовались охотники, почувствовав спасительную твердь берега под ногами, радовались их жены и дети. Мэмэль обнимала мокрого с ног до головы Ятчоля и кричала ему на ухо, одолевая грохот прибоя:

— Ты вернулся! Как я рада, что ты вернулся!..

Ятчоль с победоносным видом поглядывал по сторонам, громко хвастался:

— Видели бы, какая была у нас удача! Все пришлось выбросить в море. Что поделаешь, случается и такое...

А Пойгин стоял против Кайти и все смотрел и смотрел на нее, не проронив ни слова. И Кайти смотрела на мужа

и плакала, улыбаясь. Кайти знала, что именно Пойгин увел охотников слишком далеко в море, настолько далеко, что они могли и не вернуться. Об этом все раздраженнее говорили и старики, не выдерживая томительного ожидания. «Пойгин до безумия храбр, но он может погубить наших сыновей»,— сетовал даже старик Акко, вглядываясь слезящимися глазами в рассвирепевшее море.

Но теперь, когда все закончилось благополучно, никто не сердился на Пойгина: отвага есть отвага, море не любит тех, кто боится его. Чаще всего так и бывает, что гибнет именно тот, кто боится.

Успокоившись, тынупцы уже собирались разойтись по своим очагам, как вдруг словно из-под земли вынырнул Ваныскат. Стоял он спиной к морю, не обращая внимания на брызги волн, и что-то кричал, воздев руки кверху. Люди невольно придвинулись к нему, пытаясь расслышать, о чем его речь. Пойгин тоже было шагнул в его сторону, однако Кайти остановила его.

— Не ходи. Он скажет тебе что-нибудь очень обидное. А может, даже устрашит тебя.

Но Пойгина, одолевшего могучие силы развороченной морской пучины, теперь было трудно чем-нибудь устрашить.

— Я его не боюсь!— сказал он Кайти, какой-то необычайно дерзкий и веселый в своем бесстрашии.— Я его и раньше не боялся, а теперь тем более.

Гремел прибой. О чем-то кричал шаман, порой указывая на море. И был он обыкновенным смертным в сравнении с громадой бушующего моря, смертным и жалким. И Пойгину казалось, что никто здесь не верит в сверхъестественную силу шамана.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Бежит, бежит река памяти, то плавно течет, то вдруг заспешит на перекатах. Течет река, на дне каждый камушек виден. В реке-то и вправду камушек, а в памяти — случай, событие, жизненный урок.

Пойгин встал с кровати, подошел к столику, где лежали газеты, взял одну из них. Вот она, бумага с немоговорящими вестями. Все в ней понятно и ясно. Одолел Пойгин грамоту, одолел и Ятчоля оставил далеко позади. Помнится, пристрастился Пойгин навязывать Ятчолю поединки в устном счете. В школу иногда приходили чуть ли не все жители Тынупа — понаблюдать за невиданным поединком. «Идемте скорей,— приглашали друг друга люди.— Пойгин опять делит с Ятчолем школьную доску».

Надежда Сергеевна проводила мелом черту на доске, на одной половине писала имя Пойгина, на второй — имя Ятчоля. Соперники подходили к доске. Учительница называла числа, которые надо было слагать, вычитать, делить или умножать. Те, кто наблюдал за поединком, имели право делать вычисления на бумаге, а Пойгин и Ятчоль — только в уме. Пойгин закрывал глаза и замирал на несколько мгновений, потом вскидывал руку. Надежда Сергеевна подходила к нему, и это был самый смешной момент. Пойгин прикладывал рупором руки ко рту и сообщал учительнице на ухо свой ответ, а Ятчоль пытался подслушать. Вытирая потное красное лицо, он досадливо морщился, закатывал глаза к потолку, иногда стучал себя кулаком по лбу, вероятно, для того, чтобы поострее работала мысль, наконец робко поднимал руку. Надежда Сергеевна наклонялась к нему. Ятчоль нашептывал ей на ухо что-то невнятное.

— Громче, не слышу,— просила учительница.

Ятчоль тянул время, бормотал что-то несуразное.

— Ну, хватит,— сердилась учительница,— пиши первым свой ответ.

Ятчоль и тут выкраивал время: вытирал доску, ронял

мел, долго поднимал его. Наконец дрожащей рукой писал ответ. За ним то же самое делал Пойгин. Класс взрывался. Ятчоль вглядывался в лица насмешников и догадывался, что он проиграл. А тут еще подходила к доске Надежда Сергеевна и перечеркивала неверный ответ. Увы, чаще всего перечеркнутым было то, что писал дрожащей рукой Ятчоль. А Пойгин, этот всесильный Пойгин, который, казалось, мог и моржа заставить летать, как гагару, никогда не ошибался. Что ж, оно и понятно — шаман!

— Пойгин — шаман!— кричал Ятчоль, стараясь пересилить шум, поднятый насмешниками.— Он не один считает. Ему помогают сразу сто духов!

— Ого, сразу сто! Ты, оказывается, духов считал, потому и ошибся.

— Я стал глуховат,— отчаянно искал выход из незавидного положения обескураженный Ятчоль.— Я не расслышал учительницу. Совсем не то, что надо, помножил. Немножко перепутал. Уши меня подвели.

— У твоих ушей плохая голова!

И опять взрывался класс от хохота.

— Давай еще раз поделим доску!— входил в азарт Ятчоль.

— Давай поделим,— охотно соглашался Пойгин ко всеобщей радости.

Да, так было. Весело было. Но не всегда весело, случались и горести, и даже беды. Приезжал несколько раз Величко, настаивал на смене председателя артели, но тынупцы никого другого, кроме Пойгина, признавать не желали. Потом и Величко успокоился, убедившись, что Пойгин и грамоте научился, и артель его больше всех в районе морского зверя добывала и, что самое главное, больше всех ловила песцов, лисиц. Оленьи стада в Тынупской артели тоже из года в год увеличивались. Так что Величко оставил в покое Пойгина. Однако горе пришло с другой стороны: наступила такая пора, когда Пойгин окончательно убедился, что немочь невидимой росомахой преследует Кайти.

Как-то прибыл Пойгин с моря на моторной байдаре с богатой добычей и удивился, что его не встречает Кайти.

— Где Кайти?— чувствуя недоброе, спросил Пойгин у жены Мильхэра Кэунэут.

— Она в доме Ятчоля. Лежит на шкуре оленя и встать не может...

— Почему в доме Ятчоля?

— Она очень стыдила Мэмэль за грязь в доме. Потом рассердилась и стала все там чистить и мыть.

Пойгин подбежал к дому Ятчоля, рванул дверь, едва не споткнулся о ведро с водой у самого порога. На полу валялась мокрая тряпка. Полы в двух комнатах уже оказались выскобленными и вымытыми. В одной из комнат лежала Кайти на оленьей шкуре, а с ней рядом сидела заплаканная Мэмэль. Пойгин упал на колени перед Кайти, всмотрелся в ее обескровленное лицо.

— Что с тобой случилось?

Кайти слабо улыбнулась, едва слышно ответила:

— В груди почему-то не хватает дыхания.

— Ты что тут делала?

Кайти закрыла глаза, закашлялась.

— Она изгоняла грязь из моего дома и меня тоже заставила мыть и скоблить.— Мэмэль показала на мокрый подол своего платья.

— Зачем тебе нужно было изгонять грязь из этого дома?

Кайти долго молчала, не зная, что ответить. Потом попросила пить. Пойгин приподнял ее голову, помог напиться.

— Вот, теперь... Легче стало дышать. Скоро пройдет,— стараясь как можно глубже вздохнуть, сказала Кайти.— Обидно мне было... такой хороший дом и весь в грязи...

— Да, да, весь в грязи,— виновато повторила Мэмэль, выжимая мокрый подол.— Ятчоль выбросил столы, говорит, что выбросит и печь, установит полог, как в яранге.

— Запрети ему из дома делать ярангу!— обращаясь к мужу, воскликнула Кайти и даже приподнялась над шкурой.— Если бы у нас был такой дом... в нем все, как солнце, от чистоты сияло бы...

— Ну почему, почему не вам отдали этот дом? Теперь на него и смотреть противно. Такая вот я грязнуля,— искренне казнила себя Мэмэль.— Если бы здесь жили вы — все, все было бы по-другому...

Пойгин горестно покачал головой, поднял жену на руки и удивился тому, что она стала легонькой, как ребенок.

2

Кайти положили в больницу. А назавтра в Тыпуп пришла страшная весть, что где-то там, далеко-далеко, еще дальше того места, где стоит главный город Москва, рвется с громом вражеское железо и полыхает такой огонь, что даже неба не видно.

Фашистов Пойгин назвал для себя росомахами. А их предводителя Гитлера представлял себе самой матерой, разжиревшей на человеческой крови, самой вонючей и грязной росомахой. Пойгина ужасали документальные фильмы о войне, которые начали показывать и здесь, на Чукотке. Полыхали пожары, падали убитые, плакали осиротевшие дети... Однажды с экрана донесся стон смертельно раненной женщины и плач ребенка, на глазах которого умирала мать. Стон этот и плач потом преследовали Пойгина во сне, и он не мог отделаться от ощущения, что горе переступило порог его собственного очага, а это, в свою очередь, намного обостряло его тревогу за Кайти. Он часто приходил к ней в больницу и не мог скрыть своей подавленности.

Через два месяца Кайти вернулась домой и все никак не могла насмотреться на маленькую Кэргыну, за которой все это время присматривала Кэунэут. Пойгин наблюдал за женой и дочерью, а из памяти не уходили та умирающая женщина и обреченный ребенок.

— Почему у тебя такой странный взгляд?— почти испуганно спросила Кайти.— Мне кажется... тоска съедает твои глаза...

Пойгин долго молчал, потом тихо сказал:

— Странно, это происходит где-то далеко-далеко, а я уже не могу смотреть на восход и заход... Не солнечное зарево, а пожары вижу.

— Такая у тебя душа,— печально сказала Кайти.— Не зря говорят, она у тебя намного обширней, чем надо бы одному человеку...

— Мне кажется, что даже звери чуют беду. Представляю, как вздыбливается их шерсть, и слышу, как глухо рычат они. Звери всегда чувствуют смерть...

И звезды Пойгину казались глазами самой вселенной, которые порой с ужасом смотрели туда, где вершилось невиданное зло. Очеловечив в своем воображении природу, наделив ее чувством великого сострадания к тем, кто был подвергнут насилию росомах, Пойгин тем самым находил единственно верную меру всей громадности несчастья, и потому каждый выход его в тундру или море — это был уже выход на тропу волнения...

— Завтра я уйду в прибрежную тундру на десять дней,— близко разглядывая лицо Кайти, сказал Пойгин.— Из района пришел наказ выставить в пять раз больше капканов, чем ставили мы до сих пор. Мы зарядим в десять раз больше капканов. Только вот опять не заболела бы ты...

— Иди. Я здорова. Хорошо, что ты будешь со мной до зари.

Пойгин был с Кайти до утренней зари. В ту ночь он верил: в очаге его со временем станет на одного человека больше — в этот мир явится сын! Обязательно сын! Возможно, именно это исцелит Кайти... Если бы можно было через дыхание вселить в Кайти хотя бы половину своей силы.

У Кайти кружилась голова, и ей казалось, что она падает в бездну. Ну кто, кто спасет ее? Она же падает... падает... Конечно же, только Пойгин может спасти ее. Только он! Нельзя, чтобы он провалился в туман. Но он уходит, исчезает в тумане. Нет, вот он, вот его плечи, спина, шея. Руки Кайти, из которых, казалось, вынули кости, оживают. Они чувствуют, как переполнилось тело Пойгина солнечным зноем. А солнце — это жизнь, жизнь! Кайти чувствует себя птицей, еще способной на взлет, на немыслимый взлет к солнцу...

Пойгин ушел на рассвете. А вернулся через полмесяца, в обледенелой одежде, с запавшими глазами, и, кажется, руки его были обмороженными.

— Ты с ума сошел? Как ты выжил на морозе в такой одежде? — испуганно спросила Кайти, срывая с мужа одежду.

— Мы начали подледный лов рыбы. Песец хорошо идет на рыбную приманку,— простуженно прохрипел Пойгин.

— А что с руками?

— Это от раскаленного на морозе железа. Капканы, капканы, капканы. Я их уже и во сне заряжаю... Пока мы больше всех в районе поймали песцов.

— А я шью для чельгиармиялит[1] одежду. Вот смотри: торбаса, рукавицы, шапки.

Ах, Кайти, Кайти, какая же она прекрасная швея, какие нежные и ловкие руки у нее! Только вот высыхают ее руки. Пойгину они кажутся уже почти невесомыми. Пойгин взял в свои огрубевшие ладони руки жены. Ему хотелось дышать на них.

Кайти тихо спросила:

— Не потерял ли ты свой амулет... мое письмо?

Пойгин почувствовал, как холодеют его щеки: кисет с коробком, в котором было письмо Кайти, он потерял и боялся сознаться в этом.

---

[1] Чельгиармиялит — красноармейцы.

— Ты почему так побледнел?— сама бледнея, спросила Кайти.— Я вижу у тебя совсем другой кисет. Где прежний?

— Я его потерял,— испытывая суеверное чувство страха, признался Пойгин.— Но я помню твое письмо. Все помню до каждого слова.

— Я могла бы тебе написать другое. Но то... то стало амулетом. Нехорошо, когда человек теряет амулет... Это недобрый знак.

Пойгин стиснул худенькие руки Кайти, прижал их ладони к своему лицу.

— Не надо так говорить. Я, может, еще найду амулет. Ну а если напишешь другое письмо... оно станет новым амулетом.

— Нет, настоящий амулет... именно то письмо.

Пойгин не знал, как унять в себе чувство вины.

— Мне все чаще и чаще является во сне къочатко[1],— печально сказала Кайти.— А иногда и наяву слышу, как он ревет, особенно в пургу. Бродит вокруг яранги и все ревет, меня выкликает...

Пойгин закрыл глаза, выждал, когда голос его может стать ровным и твердым.

— Не бойся никакого къочатко. Если есть я, если о тебе думаю... къочатко не тронет тебя. Это тебе чудится от усталости. Надо поменьше шить. Ты же больная, а шьешь больше всех.

— Я детишкам хотела бы шить рукавички и меховые чулки. В кино видела... бредут по снегу, в платки закутанные, а, кругом трупы... И плачут, плачут. Во сне слышу, как они плачут...

— Да, там бродит железный къочатко... танк называется. И клеймо на нем. А горло его — пушка называется. Огонь и раскаленное железо вместе с ревом горло его изрыгает. Но есть, есть танки и у нас. Когда будешь в кино, примечай: если не клеймо, а звезда — значит, наш танк.

— Я это уже приметила.

— Думай о тех, о детишках, о женщинах,— и къочатко перестанет мерещиться.

— Но у меня все наоборот... Чем больше о них думаю, тем ближе къочатко подходит. Къочатко... Это смерть... Только когда шью, шью, о чудовище забываю, о тебе думаю... Как ты там? Особенно тоска, когда уходишь в море к разводью. А вдруг лед оторвется и понесет тебя в открытое море...

[1] Къочатко — белый медведь-ревун, чудовище.

— Надо, надо идти к разводьям. Песец теперь попадается только на свежую приманку. Я готов на дно моря нырять, только бы добыть как можно больше свежей нерпы.

И опять Пойгин ушел в прибрежную тундру на несколько суток. А когда вернулся, узнал, что Кайти снова лежит в больнице.

Завидев мужа в белом халате, Кайти встрепенулась, обрадованно заулыбалась.

— Ты как куропатка зимой, весь белый.

— Почему не заяц?— спросил Пойгин, присаживаясь возле больной.— Он тоже зимой белый.

— Нет, куропатка. Помнишь, как я любила с тобой в тундре смотреть на куропаток? Вот думаю... когда оба умрем... кем опять в земной мир вернемся? Если нельзя будет человеком... пусть куропаткой. Только ты тоже...

Кайти закрыла глаза, и ей представился сухой треск в кустарнике на берегу речки: клювом крошат куропатки хрупкие, остекленевшие на морозе ветки — это их зимняя еда. Заснеженная тундра вся в крестиках от следов куропаток. Но не всегда эти птицы следы оставляют: перед сном взлетит вверх и упадет камнем в снег, зароется с головой — попробуй, лиса или волк, найди ее, выследи.

— Вот бы мне от къочатко спрятаться, как куропатке,— без следов.

— Ты и так здесь как в снегу.— Пойгин внимательно оглядел палату.— Чисто и бело, как в снежной тундре. Никакой къочатко тебя здесь не найдет. Не думай о нем. Тебя вылечат.

— Скорей бы весна. Я в тундру хочу, туда, где живет народец куропаток. Я знаю, что вернусь куропаткой. Буду на гнезде сидеть, а ты летать будешь, лис, песцов отгонять.

Кайти знала, как бесстрашна куропатка на гнезде. Другая птица давно бы уже не выдержала, улетела бы с криком, а эта сидит до последнего мгновения. Кайти, бывало, даже притрагивалась к наседке и тихо уходила от гнезда, с изумлением и восхищением перед матерью-птицей. Удивляло Кайти и бесстрашие самцов-куропаток. Скликав друг друга в стаю, они нападали на лисиц, песцов, изгоняли непрошеных пришельцев прочь. Если погибает самка — самец заменяет выводку мать, порой принимает в свое семейство и других сирот. Пока самки высиживают птенцов, самцы строго охраняют частицу именно своей тундры: не смей перелетать сюда другой самец — будет битва до крови. Правда, самки могут быть в любом месте — их не тронет никто. Но

вот высидели самки птенцов, прибавилось народцу в племени куропаток, и тогда тундра становится общей, никто не прогоняет друг друга, ходи в гости, новости рассказывай, детишками хвались. Нет, что и говорить, нравился Кайти народец куропаток...

— Чистые они, детей своих любят,— полушутя объясняла Кайти, почему ей хотелось бы на крайний случай вернуться на землю куропаткой.— Муж о жене всегда заботится. Хотя и маленький, но смелый и добрый народец...

Пойгин улыбался, стараясь окончательно повернуть рассуждения Кайти на шутку:

— А вдруг ты вернешься куропаткой, а я песцом? Это что же тогда получится?

— Получится, что ты меня съешь...

— Давай уж лучше подольше поживем людьми. Учитель Журавлев мне о другом говорит...— Пойгин замялся, не зная, продолжать ли мысль, пришедшую, быть может, не совсем ко времени.— Говорит, что оттуда никто никем и ничем не возвращается...

Кайти приподняла голову, в глазах ее был страх.

— Как же это... не возвращается?

— Да так, не возвращается, и все. Потому и надо здесь жить, как полагается человеку. Понадеешься на вторую жизнь, вот как ты думаешь, на жизнь куропатки, а человеком так и не станешь... Так говорит Журавлев.

Пойгин много думал об этом, не знал, соглашаться ли с Журавлевым, верить ли ему... Потом пришел к выводу, что все-таки надо жить человеком, пока ты человек, а что будет там,— это уже другой разговор. И надо сделать все возможное, чтобы Кайти жила, жила и жила...

3

Культбазы на Чукотке к этому суровому военному времени были упразднены, сыграв свою роль в преобразовании жизни далекой северной окраины. Медведев получил назначение в окрисполком, а Журавлев, прокочевав в тундре три года с Красной ярангой, стал директором школы. Он просился на фронт, однако ему сказали, что он нужен здесь. Журавлев сердился, ругал «бюрократов» и находил успокоение лишь в том, что взваливал на свои плечи многие обязанности в поселке и колхозе. Был он и комсоргом, и секретарем сельсовета, и ответственным за военную подготовку жителей Тынупа, и пропагандистом. Журавлева очень обра-

довало, что к нему за помощью потянулся Пойгин; да и сам Александр Васильевич старался быть нужным правлению артели.

Пойгин уже хорошо мог и читать, и писать, но у него не исчезла боязнь перед каждой бумагой, приходившей из района или округа. И Журавлев порой снился ему: сидит рядом, терпеливый, спокойный, пальцем по бумаге водит, раскрывает суть немоговорящих наказов. А наказы были суровы.

На стене правления артели висела карта, в которую были воткнуты красные и черные флажки. Наступали черные флажки, тесня красные. Вот они уже приблизились к самой Москве, обозначенной на карте красной звездой. Эта звезда была для Пойгина чем-то вроде Элькэп-енэр на небе, и ему хотелось верить: она обладает той же силой устойчивости, что и Полярная звезда, вокруг которой все сущее вращается. Но, как ни странно, фашисты уже совсем близко от этой главной звезды. Неужели они погасят ее? Мыслимо ли это?

Пойгин пришел к Журавлеву в школу и попросил подарить ему карту. Тот долго выбирал что-нибудь подходящее, наконец решил отдать ему атлас:

— Вот возьми, здесь обозначены все земли и страны, реки и леса, горы и моря. Я тебе помогу понять, что где находится.

— Спасибо, Кэтчанро. Мы будем летать с тобой над дальними землями,— шутливо сказал Пойгин.— Приходи сегодня.

Журавлев часто бывал в яранге Пойгина, изумлялся чистоте и порядку, понимал, как это непросто дается Кайти. Несуетливая, но расторопная, она все время чем-нибудь была занята: шила, выделывала шкуры, охорашивала полог, который освещался большой керосиновой лампой. Шестилетняя Кэргына помогала матери. На учителя девочка поглядывала с любопытством, застенчиво принимала гостинцы и подарки и говорила по-русски, почему-то нараспев: «Спасибо-о-о-о!»

Так встретила Кэргына Журавлева и на этот раз, когда он ей протянул пачку цветных карандашей.

— Садись пить чай,— пригласил Пойгин, бережно листая атлас.

Кайти наполнила чашки чаем и принялась чинить мужу охотничью одежду. Ранним утром он должен был уехать в море, к открытому разводью. Она знала, насколько это опасно: льдины иногда откалывались и уносили охотников

нередко на верную гибель. Но разве Пойгина остановишь? Приходится только надеяться на то, что море всегда благосклонно к нему, в какую бы беду он ни попадал, может, так будет и на этот раз.

После чая Пойгин бережно протянул Журавлеву атлас, сказал вроде бы шутя:

— Ну, полетим, Кэтчанро. Полетим к Москве.

Журавлев открыл атлас в нужном месте, показал на Москву, обозначенную красным кружочком.

— Тут она выглядит не звездой, а солнцем,— сказал Пойгин, осторожно дотрагиваясь до кружочка.

Склонилась над картой и Кайти. Она не задавала вопросов, лишь поглядывала на мужа и, когда тот о чем-нибудь спрашивал, блуждая пальцем по карте, кивала головой: мол, именно это и меня очень интересует. В чистом ситцевом платьице, с аккуратно заплетенными косами, без всяких украшений, она была удивительно милой, похожей на хрупкую девочку, хотя на лице ее были признаки преждевременного увядания.

— Вот эта река как называется?— спросил Пойгин.

— Днепр.

— Покрывается ли она льдом?

— Зимой замерзает.

— Тогда чельгиармиялит должны прогнать фашистов за эту реку, пока зима. Мы их так тепло оденем, что ни один не замерзнет.— Пойгин повернулся к Кайти:— Вчера мне жаловались, что кладовщик недостаточно дает женщинам камусов. Верно ли это?

Кайти показала на кучу камусов в углу:

— Это он дал на десять дней. Но я могла бы пошить торбасов вдвое больше...

— Ну что ж, я сегодня с ним поговорю. Громким голосом поговорю!— погрозил Пойгин.— Надо бы заставить кладовщика встать перед собранием и произнести двадцать раз слово «фронт».

Для Пойгина это слово имело магическое значение. Он произносил его как заклинание. Таинственное, обозначающее и кровь и огонь, отвагу и честь, оно само по себе, по мнению Пойгина, стоило целой речи. Иногда он так и делал. Вставал на собрании за столом, долго осматривал лица людей и произносил тоном не простой беседы, а говорений: «Фронт!» Опять долго молчал и только после этого переходил к конкретным делам: сколько следует добавить капканов на охотничьих участках, кого послать в море к разводью,

упрекал провинившихся и ленивых и, перед тем как сесть, произносил снова с прежним значением: «Фронт!»

— От этой реки далеко ли до того места, где живет главная росомаха? Кажется, Берлин называется.

— Да, ты правильно запомнил...— Журавлев перелистнул несколько страниц атласа.— Вот он, Берлин.

— Когда росомахи пойдут вспять... дойдем ли мы до Берлина?

— Непременно дойдем!

— Надо, надо, Кэтчанро, дойти до Берлина. Только бы не скрылась куда-нибудь главная росомаха. Она должна узнать, что такое татлин[1]!

— Да, Гитлер еще узнает, что такое татлин!

Пойгин долго молчал, не отрывая взгляда от карты. Вдруг спросил:

— Знают ли в Москве, сколько наша артель поймала песцов, лисиц, сколько пушек, самолетов куплено за них?

Журавлев, всем своим видом стараясь показать, что он в этом нисколько не сомневается, твердо сказал:

— Знают.

Пойгин открыл деревянный ящик, вытащил районную газету, наклонился к лампе.

— Тут написано, что наша артель больше всех в районе добыла песцов и лисиц.— В который уж раз прочел дорогие для него строки в газете, беззвучно шевеля губами.— Надо пятой бригаде добавить еще сто капканов. Я все подсчитал. Послезавтра начнем подледный лов рыбы. Песец хорошо идет на рыбную приманку...

— Я рад, что похвала в газете помогает тебе в работе.

— Похвалы делают ленивым того, кто ее недостоин.— Пойгин осторожно сложил газету, спрятал в ящик.— Хороший помощник Майна-Воопка. Убедил каждого чавчыв добавить еще по десять капканов к прежним. Тундра дает нам много лисиц. Я знаю, американцы очень любят не только песца, но и лисицу. Пусть продают самолеты и на эту пушнину.

— Я напишу о Майна-Воопке в газету.

— Правильно, напиши.— Пойгин опять склонился над картой.— Ну что ж, полетим, Кэтчанро, дальше. Покажи, где находятся земли, на которых никогда не бывает льда и снега.

Кайти изумленно вскинула глаза.

— Разве бывают такие земли?

---

[1] Татлин — возмездие.

— Да, бывают.

Журавлев опять перелистал атлас:

— Вот здесь эти земли. Африка называется. Запоминайте...

— Водятся ли там звери? И есть ли там охотники?

Рассказ Журавлева об африканских зверях Пойгин и Кайти слушали будто сказку. Пойгина особенно поразил слон, которого люди заставляют ворочать огромные тяжести.

— Умка тоже сильный. Однако его, наверное, никто не приучил бы ворочать камни или вытаскивать моржа из воды.— Помолчав, он опять заговорил о своем: — Пожалуй, надо Мильхэра сделать главным на подледном лове рыбы.

Так много раз возвращался Пойгин к мыслям о насущных делах, прерывая воображаемый полет с Кэтчанро по разным землям мира. Когда пришла пора прощаться, сказал:

— Спасибо. Ты действительно Кэтчанро.— Осторожно полистал атлас.— Тут еще много разных земель. Мы их все облетаем. Приходи еще, когда вернусь с моря.

Вернулся Пойгин с моря благополучно и с богатой добычей. Свежую нерпу тут же вывезли на приманки. Едва отогревшись, Пойгин достал, как истинное сокровище, из деревянного ящика атлас. Подумал, что хорошо бы позвать Кэтчанро.

К счастью Пойгина, Журавлев сам не просто пришел — прибежал в его ярангу, воскликнул ликующе:

— Фашисты отступают от Москвы!

Пойгин на какое-то время закрыл глаза, осмысливая всю важность удивительной вести, наконец сказал:

— Мне приснился вещий сон... будто я наступил на хвост главной росомахи. Но, к сожалению, только на хвост, на самый кончик...

— Мы еще схватим за глотку эту росомаху! Она еще взвоет!— яростно грозился Журавлев, раскрывая атлас.

На этот раз не могла умолчать и Кайти.

— Далеко ли от Москвы до того места, где находится Гитлер?

— Вот, вот это место. Отсюда беда поползла. Сначала вот сюда, Австрия называется. Потом Чехословакия. Вот она. Потом Польша. А потом Франция...

— Много ли там людей?— робко спросила Кайти.— Можно ли было бы упрятать их детей... ну в сто, в двести яранг?

— Я не знаю, сколько звезд на небе, но детских глаз в тех землях, наверное, не меньше.

— О, это диво просто, как много!— изумилась Кайти, пе-

реводя расширенные глаза на мужа, как бы приглашая подивиться невероятному.— Когда воет пурга, мне кажется... ветер доносит их плач.

Долго в тот раз в пологе яранги Пойгина не закрывали атлас. Пришел Чугунов.

— О, да вы тут как маршалы-стратеги! А ну, дайте и мне па карту глянуть. Погнали фашистов взашей! Пришел и на нашу улицу праздник! Я чуть не прорвал ухом свой репродуктор. Всегда орал во все горло, а тут, как назло, осип... Вот, вот, значит, в этом месте их погнали. Прямо на запад!

Увидев подвешенные к потолку полога песцовые шкуры, Степан Степанович снял одну из них, привычно встряхнул, подул на мех, сказал восхищенно:

— И что у тебя, Пойгин, за капканы! Что ни песец, то редкостный экземпляр.

Чугунов знал, что говорил: к этому времени он уже был признанным знатоком пушного дела. Не зря стал главным пушником большой округи, занимая к тому же должность директора Тынупской торгбазы. Заматерел усач. Лицо его, не потеряв добродушия, стало грубее, мужественнее, казалось, потяжелели крепкие скулы, во взгляде появилась та уверенность, когда чувствуется: человек знает себе цену.

Продолжая рассматривать шкурку песца, Чугунов вдруг горестно задумался, после долгого молчания сказал Журавлеву:

— Вот же несуразица. Когда жил в Хабаровске, собирался воевать с самураями. Так и думалось: если уж и грянет проклятая — то именно с маньчжурской стороны. А вышло вон как... Совсем по-другому, понимаешь ли, вышло. И оказались, Александр Васильевич, мы с тобой в глубочайшем тылу. Война кончится — в глаза людям стыдно будет смотреть. Попробуй докажи, что тебя не пускали. Не шибко, значит, и рвался, скажут, а то бы пустили...

— Мне три заявления вернули,— угрюмо промолвил Журавлев.

— Да и мне, понимаешь, не меньше.

— Не исключено, что хватит и на нашу голову... Неизвестно еще, как поведет себя Япония. Наверное, не зря нас здесь оставляют...

И опять склонились мужчины над картой. Пойгин остановил взгляд на аленькой точке на чукотском берегу, которую поставил красным карандашом учитель. Это был Тынуп. Здесь жил он, Пойгин. Далеко, ох как далеко от Москвы! Если ехать на собаках, наверно, и года не хватит. Сколько

речек надо пересечь, сколько горных хребтов перевалить. Вот она, красная Элькэп-енэр. Отступают росомахи от нее, пятятся назад. А как же иначе? По-другому и не могло быть! Никто и никогда не сдвигал и не сдвинет с места Элькэп-енэр.

Раскурив трубку, Пойгин кинул быстрый взгляд на Чугунова и сказал:

— В пятой бригаде не хватает цепей к капканам. И свечи кончаются. И еще там просят охотники привезти три палатки. Эта бригада больше всех поймала песцов. Хороший бригадир старик Акко, очень хороший.

— Завтра же пошлю туда нарту развозторга,— пообещал Чугунов, опять склоняясь над картой.— Если так дело пойдет и дальше... к лету, глядишь, и война закончится. Хорошо бы к двадцать второму июня ворваться в Берлин. Чем начал Гитлер-подлюга, то и получай!

Так мечталось Чугунову в тот раз в яранге Пойгина. Однако главные испытания были еще впереди. И летом сорок второго, и зимой сорок третьего года все в Тынупе жадно искали на карте Сталинград. И опять ликовал Пойгин вместе с Кэтчанро, склоняясь над атласом, когда росомахи были повергнуты и в Сталинграде. И, спрятав свою драгоценность в ящик, Пойгин мчался на собаках в море, как прежде, отчаянно рискуя, чистил и снова заряжал капканы в пургу. Ятчоль изумленно разводил руками и говорил: «Песцы сами лезут в капканы Пойгина, ну просто воют, чтобы поскорее в железо лапу сунуть».

Наконец наступил и долгожданный День Победы. Пойгин впервые за долгие четыре года войны вспомнил о бубне. После митинга он пригласил Журавлева к себе в ярангу, откупорил бутылку со спиртом и сказал:

— Сегодня буду немного пьяным. Но в бубен ударю, пока трезвый. Я белый шаман. Бубен мой способен только на внятные говорения.

Журавлев хотел сказать, дескать, не надо бубна, но вовремя одумался: это, наверное, очень обидело бы Пойгина. В тот раз Журавлев впервые увидел, каков Пойгин со своим гремящим бубном. Чуть побледневшее лицо его стало отрешенным, глаза смотрели не столько вдаль, сколько вовнутрь себя — туда, как он сам говорил, где живут душа и рассудок. Бубен его не просто гремел, он повторял стук сердца, он куда-то спешил с доброй, очень доброй вестью, он по-детски смеялся, он скорбел, он обвально обрушивался громом возмездия.

Журавлев ушел от Пойгина, весь переполненный звуками его бубна. Он даже как-то весело рассердился: «Да что это, черт подери, со мной происходит?!» А бубен звучал в нем, и это были удары парадного шага и тех солдат, кто дожил до победы, и тех, кто пал... Встали павшие, выстроились и пошли, пошли, чеканя шаг; все дальше уходят, уходят в бессмертие. Охмелев от радости и выпитого, Журавлев смотрел на ликующий Тынуп, поглядывал на майское солнце, уже не уходившее за черту горизонта, и ему чудилось, что солнце тоже звучит, как бубен Пойгина...

Вельботы! Это диво просто, настоящие вельботы! Пойгин оглаживал борта вельботов, на которые отныне пересаживались охотники, и смеялся от радости, как мальчишка. Потом отходил чуть в сторону, смотрел вдоль стремительных линий вельботов, нащурив глаз, как это бывало, когда он целился из карабина. Вельботы еще были на берегу, но он уже чувствовал их стремительное движение, стремительное, как выстрел, он знал толк в этих линиях, он столько соорудил за свой век байдар. Но байдара, с ее легким каркасом, хрупка, байдара почти плоскодонна. А у вельбота — киль! Вельбот не боится морской волны, у вельбота могучий мотор — намного сильнее руль-мотора.

Вельботы! Вельботы! Их пять в Тынупской артели. Пять вельботов. Это значит, артель становится в десять, в двадцать раз сильнее. Завтра ранним утром Пойгин поведет пять вельботов по солнечной дороге, навстречу солнечному лику, возникающему из морской пучины, который он так легко и с такой радостью представлял себе ликом Моржовой матери.

Вот и долгожданное утро. Вельботы на воде. Бежит, задыхаясь, Журавлев, не бежит, а летит Кэтчанро, машет руками:

— Возьмите меня!

И вот мчится Журавлев в флагманском вельботе, подставляя лицо резкому ветру, смотрит на солнечный шар, поднимающийся из моря. Увидишь один раз такое — на всю жизнь запомнишь. Да, тебе известно, что дневное светило где-то далеко-далеко во вселенной, вне земного мира, но ты не можешь избавиться от мысли, что оно родилось где-то в недрах земли и теперь выходит из ее чрева, пробив морскую пучину. Земля родила свет, земля родила тепло, земля

родила жизнь! И кричат, кричат об этом чайки, высовывают тюлени круглые головы, торопясь не пропустить этот удивительный миг, где-то далеко на горизонте, приветствуя солнце, выпускает фонтан владыка морей — кит. И кажется, что вот так и твоя душа, как недра земли, взрастила что-то огромное, светлое и теплое, и ты способен обнять все человечество, все сущее на земле. «Эх, Кэтчанро, Кэтчанро, восторженный ты человек!» — обращался сам к себе Журавлев. Ему нравилось его чукотское имя. Он повторял его, как поэтический рефрен, в минуты особого настроения, когда хотелось взлета мысли и чувства. Он будет, будет писать книгу! Будет рассказывать людям о том, что он увидел за три года жизни в кочевье. Вот и сейчас он не случайно попросился в море. Поднимайся, Кэтчанро, все выше и выше, тебе есть о чем рассказать.

Мчались вельботы навстречу солнцу. Пойгин сидел у мотора, порой поднимая бинокль к глазам. Внешне он был бесстрастным, но Журавлев чувствовал, как все существо этого человека пронизывает восторг, порожденный мощью мотора и стремительным бегом вельбота по морским волнам.

На носу вельбота полулежал Мильхэр, покуривая трубку. Все насмешливее становилось его лицо, густо побитое оспой. Журавлев догадывался: сейчас Мильхэр начнет подшучивать над Ятчолем, не зря кидает в его сторону бесовски-лукавые взгляды. А Ятчоль устроился подремать у самых ног насмешника.

— Если приснится стадо моржей, скажи нам,— начинает Мильхэр задирать Ятчоля.

— Ему чаще умка снится,— с хрипотцой, прокашливаясь, подыгрывает Мильхэру старик Акко.

— Проснись, Ятчоль, расскажи, как умка поломал твой патефон и «Калинку-малинку» сожрал.

Ятчоль пока помалкивает, неопределенно улыбаясь. Он знает, что его терпимость к насмешкам смягчает людей, имевших все основания его ненавидеть. Ожесточение против него как бы растворялось порой в злых, но все-таки насмешках, а не в проклятьях. И когда люди, нахохотавшись, чувствовали себя отомщенными, Ятчоль сам позволял себе высказать все, что он о них думал. И пусть ответный хохот часто повергал Ятчоля в бессильную ярость, но это было для него все-таки лучше, чем выходить на поединок уже другого рода, когда мужчины сводят счеты по-мужски,— Ятчоль всегда избегал такой неприятной для него возможности. Так все это понимал Журавлев.

А история с патефоном была еще совсем свежей, и насмешники отводили душу, пересказывая ее вновь и вновь, оснащая с каждым разом все более невероятными подробностями.

Однажды Ятчоль пришел к Чугунову на торгбазу и попросил в долг немало товаров, конечно, имелась в виду и акамимиль — плохая вода, иначе говоря, спирт.

— Ну, зачем тебе плохая вода? Сам ведь говоришь, что она плохая,— горестно морщась, остепенял Степан Степанович Ятчоля, которому захотелось почувствовать себя «немножко веселым».

— Печаль в меня вселилась,— оправдывался Ятчоль.— Помрачение от печали находит. На Мэмэль, будто келючи, рычу. Она вздрагивает от страха по ночам так, что, боюсь, яранга развалится.

— Может, не от страха она вздрагивает? Мужчина должен знать, как лучше избавить жену от дрожи,— пытался все перевести на шутку Степан Степанович.

— Без плохой воды не получается.

— Ну хорошо, муки, керосину, свечей, спичек, табаку я тебе в долг дам, хотя ты и редко долг отдаешь. Сам, понимаешь ли, потом из своего кармана за тебя рассчитываюсь. Но плохой воды не дам.

— Тогда я керосину напьюсь,— с разнесчастным видом погрозил Ятчоль.— Напьюсь керосину, трубку закурю и загорюсь. Одна зола от меня останется. Вечественное доказательство, что ты виноват. Судить тебя будут.

Чугунов хохотал, вытирая кулачищами глаза. Успокоившись, сказал назидательно:

— Ты бы почаще в море выходил. Вон другие охотники за день по нескольку нерп добывают.

— Нерпа не любит печального охотника. Когда человек веселый, тогда и нерпе приятно. Он у отдушины сидит, посвистывает, шутит сам с собой, песенки напевает, смеется, рукояткой ножа по льду постукивает. А нерпы, они народец такой — как женщины, любопытны. Ни за что не утерпят, чтобы не вынырнуть и не посмотреть, кто там сидит такой веселый.

— Ну, и ты сидел бы себе, да и ножиком постукивал, если свистеть или петь тебе не хочется, если тебе совсем не до смеху. Нерпу добудешь — сразу запоешь...

Ятчоль безнадежно махнул рукой:

— Нет. Не получается. Стучишь, стучишь, а толку никакого. Стук какой-то невеселый. Неумные люди про нерпу

выдумали, что она глупа. О-о-очень умна нерпа. Все понимает.

И тут Чугунов в шутливом своем отчаянье подал совет, который и привел Ятчоля к невероятным поступкам.

Еще в первой своей фактории Чугунов подарил ему балалайку. Правда, Ятчоль, кроме «Барыни», так ничего другого бренчать и не научился, зато появилась у него страсть к музыке. Купил он патефон и множество пластинок. И вот, памятуя это, Степан Степанович и сказал, выходя из-за прилавка и обнимая неудачливого покупателя за плечи:

— Поставь, понимаешь ли, патефон у отдушины, и пусть он себе играет! Нерпы тучами к тебе попрут.

Ятчоль какое-то время чесал себя за ухом, что-то прикидывая в уме глубокомысленно, и вдруг ушел из магазина, не сказав ни слова. В тот же день он отправился в морские льды пешком, пока неподалеку, чтобы испытать патефон. Нашел отдушину нерпы, разрушил ледяной колпак, завел патефон. Замерз патефон, никак не крутится. Ятчоль и руками его отогревал, и дул на него, наконец что-то такое в нем разработалось, и в безмолвных арктических льдах зазвучало танго «Брызги шампанского».

А Ятчоль, нацелив гарпун на отдушину, терпеливо ждал, приговаривая:

— Ну, сейчас нерпа пойдет. Только вот зря я рассказал всем, что ушел с патефоном. Теперь и другие будут патефоном выкликать нерпу.

Отзвучали «Брызги шампанского», а нерпа так и не показалась.

— Ничего, сейчас приплывет,— не терял надежды Ятчоль.— Вот заведу «Калинку-малинку» — сразу приплывет целое стадо.

Завел Ятчоль самую любимую свою пластинку и снова нацелил гарпун. Еще раз завел ту же пластинку, чувствуя, что ручка патефона крутится все труднее. Удрученный плачевными результатами своих испытаний, Ятчоль опустил гарпун, от тоски напала на него сонливость — он уже начал было клевать носом под «Калинку-малинку».

До того момента, как Ятчоль начал клевать носом, рассказ этот, повторяемый в разных вариациях, не менялся. А дальше, сколько было рассказчиков, столько и вариантов. Мильхэр сегодня уверял, что Ятчоля якобы разбудил умка. Заревел за спиной Ятчоля умка, поддал его пинком, чтобы возле отдушины зря не сидел. Ятчоль едва в торос лбом не угодил. Потом спрятался за торос, осторожно выглянул. Умка обнюхал пате-

фон, полизал. Видно, поранив язык о мерзлое железо, зарычал, ударил патефон лапой.

— Осторожнее, глупая твоя голова! — закричал Ятчоль.— Ты же мне патефон поломаешь!

А умка пинал патефон, грыз его зубами, видно, хотел в середку заглянуть: нет ли там живого существа, которое только что подавало голос? Потом пластинки раздавил и начал их жрать.

— Ты бы хоть «Калинку-малинку» не трогал! — кричал Ятчоль.— Чтоб ты, обжора, патефонную иголку проглотил! Жаль, что я карабин у отдушины забыл! Узнал бы ты у меня, кто такой Ятчоль!

Исковеркав патефон, умка фыркнул, встал на задние лапы, потоптался вокруг отдушины. И вдруг замер.

— Вот къочатко проклятый,— тихо промолвил Ятчоль,— сейчас мою нерпу поймает...

Так ли оно было или не совсем так, но Ятчоль уверял, что умка ударил по голове на редкость большую нерпу, которую он «Калинкой-малинкой» выкликал. Вытащил обжора нерпу и начал жрать. И, наверное, к отдушине еще целое стадо нерп приплыло, и все до одной Ятчоль мог бы загарпунить, если бы патефон был цел и не мешал умка.

Вот эту историю заново и начал рассказывать Мильхэр, а Ятчоль лежал с закрытыми глазами у его ног и слушал, как ревел мотор, как плескалась морская волна о борта вельбота. Охотники хохотали, смеялся и Журавлев, правда, намного сдержаннее: он был здесь больше гость, а не хозяин, надо было проявлять соответствующий такт. Пойгин управлял вельботом, всматривался в море, посасывая трубку, и улыбался одними глазами, с удовольствием внемля шуткам. А Мильхэр не унимался.

— Когда умка сожрал добычу, сел на снег, по голове себя пошлепал. И вылетела из головы умки его дума в образе ворона. Пролетел ворон над Ятчолем и сказал человеческим голосом: «Хорошую нерпу ты приманил. Спасибо тебе. Приходи на следующий раз с балалайкой».

Охотники изнемогали от хохота. Тымнэро, повалившись на спину, тоненьким голоском сквозь хохот кричал:

— Вот Ятчоль «Барыню» играл бы, а умка плясал!..

— И еще один ворон вылетел из головы умки, сел перед Ятчолем на снег и вдруг говорит: «Что-то непонятный запах идет от тебя, смотри не навлеки на себя тем запахом къочатко».

Тут уж Ятчоль не вытерпел. Резко поднявшись, он уперся

в колени насмешника и обрызгал его в ярости слюной.

— Ты рунтэтылин — врун! Было совсем не так! Ворон полетал, полетал над моей головой и сказал: «Ты храбрый мужчина. Другой уже добежал бы до самого берега, а ты спокойно смотришь, как медведь жрет твою нерпу, и трубку покуриваешь».

— Послушайте, что было дальше!— словно припомнив еще более интересную подробность, на этот раз воскликнул Акко.— Умка карабин Ятчоля схватил и начал стрелять. Хорошо, Ятчоль за торос спрятался, а то не было бы теперь среди нас одного из самых храбрых и достойных охотников!

Ятчоль повернулся в сторону Акко, выхватил из его рук трубку, глубоко затянулся, с неподдельной печалью сказал:

— Вам что, а мне «Калинку-малинку» жалко. Сожрал ее умка. Будто сахар на клыках хрустел.

— Ничего, купишь новую,— сказал Пойгин, поднося к глазам бинокль. Видно, что-то заметил в море.— А патефон у тебя есть. Цел он у тебя. Мэмэль недавно к Кайти с ним приходила...

— Это другой!— вскричал Ятчоль.— Можешь спросить у Чугунова. Я лучшего песца отдал за новый патефон.

— Ну, ну, пусть будет другой. Посмеялись, и хватит,— не то чтобы строго, но в то же время как-то непререкаемо сказал Пойгин. Исчезли улыбки с лиц охотников, появилась на них озабоченность и еще ожидание встречи с возможной удачей, пробуждающийся азарт.

Море манило все дальше и дальше. Позади далеко-далеко виднелся берег, обозначаясь снежными вершинами прибрежного хребта. Оттуда, покинув свои скалы, летели чайки и протяжными вскриками словно предупреждали: море уже намекает, что там, дальше, оно не просто море, а Ледовитый океан. Журавлев поеживается от студеного дыхания океана, поднимает к глазам бинокль. Вдали маячат ледяные поля. Охотники, наверное, видят их невооруженным глазом. Парят над вельботом чайки, в дыхании моря крепкий настой йода и соли. Журавлев поворачивается в сторону берега, набрасывает в блокноте силуэты снежных вершин. Он не один раз выходил с охотниками в море, вглядывался в морских зверей, расспрашивал об их повадках, записывал в блокнот и даже зарисовывал увиденное. Пойгин смотрел на его рисунки и дивился тому, что моржи на бумаге лежат точно так же, как те, живые, что лежат на льдине. Это поразило его. Пойгин сам попробовал рисовать, но понял, что это ему недоступно, и чувство расположения к Кэтчанро у него еще больше окреп-

ло: если ты не умеешь делать того, что умеет другой, то у тебя есть одна возможность уравняться с ним — выразить ему свое уважение, зависть лишь покажет, насколько ты ничтожен. Эту истину внушал Пойгину еще его дед.

А жизнь Журавлева наполнялась особенным смыслом от ощущения, что он все глубже и глубже постигает душу истинного чукчи, что ему стали доступны его толкования мира, стала ясней его философия, этика, что он понимает, в чем незаурядность этой личности.

Так было и на этот раз. Поднимайся, поднимайся, Кэтчанро, все выше и выше, тебе есть о чем рассказать. Да, Журавлев думал о том, что ему надо браться за перо: пусть он напишет не роман, не повесть, на это он не претендует, нет, пусть это будут просто записки учителя, живой человеческий документ. Ведь это правда, что душа Пойгина открывается ему все новыми и новыми гранями, и рассказать о нем — это значило бы очень многое объяснить в жизни маленького чукотского народа, и не только в его жизни.

Журавлев смотрел на море, залитое солнцем, переводил взгляд на Пойгина, который упивался стремительным движением вельбота, вспоминал Медведева, его размышления об этом человеке.

Конечно, то были бесценные уроки.

«Дважды два не всегда четыре,— любил повторять Артем Петрович, остерегая Журавлева от однозначного взгляда на людей и явления.— Ясность одномерности только кажется ясностью, по сути своей это коварная слепота, потому что человек с одномерным зрением лишен аналитического, диалектического взгляда на вещи». Медведев говорил о пагубности вульгарного социологизма, который порождается слепотой одномерности: «Придет время, и мы откровенно скажем, что вульгарный социологизм — категория глубоко безнравственная. Запомни это, Саша, запомни и вытрави в себе недоброе зерно, занесенное в тебя ветром твоего отчаянного максимализма. Если не вытравишь, разрастется оно в тебе диким чертополохом левачества, и ты наделаешь немало бед».

Да, он был бескомпромиссным, этот удивительный человек, истинный большевик Артем Петрович Медведев, с его глубоким чувством реализма, с его ненавистью к прожектерству, левачеству, тупому догматизму.

И теперь Журавлев понимал: как легко было бы последователям вульгарного социологизма сотворить из Пойгина плоскую черную мишень, в которую и слепому попасть нетрудно. Да что там, только слепой и способен стрелять в та-

кую мишень, стрелять без промаха. Однако за ней, за этой мишенью,— живой человек, жизненное явление. Пойгин — шаман, а стало быть, мракобес,— вот мишень уже и готова. Ты думаешь о нем так, а он между тем сражается насмерть с истинным мракобесом, становится под пули своего и твоего истинного врага. Как много он, Журавлев, мог бы наломать дров, если бы действительно впал в левачество вульгарного социологизма, если бы не понял правоты Медведева!

Да, Пойгин во многом еще суеверный человек, он язычник, поклоняющийся солнцу. Представления его о жизни и смерти, об устройстве мироздания наивны. Страхи перед злой силой таинственных явлений природы, неизвестно откуда возникающих болезней до сих пор держат его в плену жесточайших суеверий. Но как же ты хочешь спасти пленника? Обвинив его в мракобесии? Тогда ты губитель, а не спаситель. Чему же тогда поклоняешься ты? Почему забыл, что сутью твоих идеалов является вера в человека как в единственную разумную созидательную силу? Так вот он перед тобой — именно такой человек. А ты, потеряв в него всякую веру, выносишь ему безапелляционный приговор — шаман, мракобес. И выступает в твоем приговоре на первое место тяжкое своей карающей силой слово «мрак». И от солнца Пойгина в твоем обвинении уже ничего не остается, от солнца, как веры в добро, веры, у которой была такая жажда наполниться реальной жизненной сутью...

Журавлев не считал, что он когда-либо был таким уж откровенным самозваным судьей Пойгина, хотя у него и чесались руки схватиться с шаманом. И Медведев этот его зуд чувствовал. Да, Артем Петрович знал, что делал, когда вытравлял в нем зерно чертополоха одномерного взгляда на вещи. Молодому учителю так хотелось как можно скорее увидеть разительные перемены. Между тем перемены происходили естественно и необратимо. И вот он, солнцепоклонник, теперь утоляет свою жажду добра и справедливости конкретными делами. Смотришь на него и меньше всего думаешь о его языческой религии, скорее думаешь о том, что знаком солнца он обозначил свои высочайшие нравственные принципы, то, к чему всю жизнь тянулся как человек.

А к чему тянулся Пойгин? Прежде всего — к справедливости. Он так ненавидел тех, кто властвовал над ближними. И вот ему самому дана власть. Все ли выдерживают испытание властью? Далеко не все. Не зря говорится: дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он такой. В Пойгине, получившем власть, люди еще больше узнали именно Пойгина. Он не вла-

ствовал, он не был над теми, кому стал вожаком, он был в них самих. Такая власть никого не мучила, не обессиливала. Наоборот, такая власть каждого делала сильней и мудрей. И если эти люди и не всегда думают, откуда пришел тот ветер перемен, при котором Пойгин стал во всей своей силе Пойгином, то, по крайней мере, вдыхают этот ветер полной грудью.

Мчался вельбот, разрезая килем морские волны, расступался ветер. Журавлев вдыхал всей грудью морской воздух и думал о том, что он, пожалуй, уже начал писать. Глянул в сторону берега. Мираж поднял здания Тынупа: казалось, что дома стояли прямо на воде. Мираж то вытягивал их в высоту, превращая в фантастические башни, то рассекал на части, перекашивал, сдвигал с места на место. Где-то там, возможно, стоит на берегу Кайти и все смотрит и смотрит, как стремительно уносит вельбот ее мужа. Она знала, что значит для Пойгина пересесть с байдары на вельбот. Что ж, о Кайти тоже надо писать. О любви этих двух удивительных людей надо писать, об истинной любви, такой, о которой многие люди, даже те, что претендуют на особую тонкость своих чувств, и мечтать не могут.

4

Кайти прожила после войны еще десять лет, однако последние годы больше лежала в постели. Врачи как могли продляли ее жизнь, но настоящего здоровья, прежнего блеска в глазах, прежнего удивительного ее тела уже никто вернуть ей не мог. Пойгин садился у кровати жены, когда она лежала дома, и все смотрел и смотрел на нее, а потом тихим голосом начинал свои говорения.

— Мы прошли с тобой по горам и долинам длинную тропу жизни. Но она еще не настолько длинна, чтобы нам не идти дальше. Тебя еще покинет немочь. Свет того самого солнца, которое я встречал на перевале, когда подлая росомаха с ликом Аляека ранила тебя,— этот свет не дал тебе умереть тогда, продлит твою жизнь и теперь. Пусть продлит солнечный свет твою жизнь. Пусть продлит до той поры, когда закончится и моя тропа жизни. Я вхожу своей тоской по тебе, своей тревогой за тебя в твою душу и разжигаю там костер из солнца. Я сжигаю на этом костре твою немочь. Сжигаю всю, до золы. Я собираю в одну и в другую горсть золу и сыплю на ветер, идущий с моря. С моря, как тебе известно, никогда не приходит ничего скверного...

Умолкнув, Пойгин долго покачивался, сидя на шкуре ум-

ки, и только после этого с надеждой в глазах, в голосе, во всем своем облике спросил:

— Ты чувствуешь, как в тебе разгорается костер из солнца и немочь превращается в золу?

— Чувствую,— едва слышно отвечала Кайти.

— Чувствуешь, как свежий ветер с моря опять молодит тебя и наполняет жизненной силой?

— Чувствую.

— Чувствуешь, как свет Элькэп-енэр проникает в тебя и дарит тебе уверенность, что ты скоро твердо встанешь на ноги?

— Чувствую.— Слабо шевельнув рукой, Кайти обвела медленным взглядом чистую, солнечную комнату.— Я так полюбила этот новый очаг. Только бы жить и жить... а вот пришла пора умирать...

Пойгин протестующе повел рукой, как бы прогоняя неосторожно вымолвленные слова Кайти.

— Я не слышал, что ты сказала. Никто не слышал. Ветер с моря унес твои слова, как золу, которую оставил костер солнца, сжигая твою немочь.

— Я люблю ветер с моря. Я чувствую его. Мне стало легче дышать.— Кайти еще раз оглядела комнату.— Наша дочь любит чистоту и опрятность. Она такая, как мы.

— Она такая, как ты. Совсем уже большая. Скоро и замуж.

— Я так и не узнаю, кто будет ее мужем.

Пойгин предостерегающе вскинул обе руки:

— Тише! Эти слова тоже унес ветер с моря. Я их не слышал...

Кайти приподнялась на кровати, как-то прощально осмотрела стены, пол, потолок, остановила взгляд на окнах:

— Ты помнишь, я сидела на берегу моря на камне и смотрела, как строили наш дом... А ты помогал строить...

— Помню.

...Это была летняя пора. Дом привез пароход. Когда его выгружали по частям, щит за щитом, Кайти ничего особенного не чувствовала, она даже не верила, что из этих огромных досок скоро на самом высоком месте Тынупа вырастет дом в четыре комнаты, с большими окнами, с крышей и трубой над нею. Но вот возникли стены, потом потолок. Кайти смотрела на возникновение дома как на рождение чуда, вслушивалась в русскую речь плотников с полярной станции, любовалась мужем и говорила себе, что уж теперь-то выздоровеет, радость излечит ее.

Плескалось за спиной море, а на самом высоком месте Тынупа, где строили дом, стучали топоры, визжали пилы, смеялись и шутили люди. Пойгин, широко расставив ноги, смотрел с высоты на Кайти, махал ей рукой, приглашал подняться к нему, посмотреть на море, на тундру, на мир с высоты. Кайти робко подошла к дому, со страхом поднялась по лестнице. О, это диво просто, как высоко! Пожалуй, так было лишь там, на том перевале, когда Кайти и Пойгин забыли, что они беглецы, когда им казалось, что они самые счастливые люди. Это чувство Кайти переживала и сейчас. Она смотрела в море, провожая взглядом пароход, который привез откуда-то издалека этот дом. Как удивительно пахнут опилки и щепки! Где-то далеко-далеко росли деревья, их спилили, сделали из них дом. Кто его делал?

Кайти дотронулась до шершавого дерева, словно стараясь ощутить тепло рук тех незнакомых ей людей, которые делали для нее дом. Как жаль, что она не знает их и не может сшить им рукавицы. Ну ничего, она сошьет рукавицы вот этим русским парням, которые устанавливают их дом. Наконец и она тоже будет жить в доме!

А пароход уходит все дальше и дальше. Чувство беспричинной тоски заставляет Кайти провожать пароход печальным взглядом. Порой ей кажется, что она сама уплывает на пароходе, а дом, долгожданный дом, постепенно исчезает из виду. И Кайти хочется вскрикнуть, как это бывает в тревожном сне. И она говорит себе: только бы пожить в этом доме, хотя бы еще немножко. Она так будет убирать его — просто всем на удивление. Странно, неужели когда-нибудь над этим потолком появится крыша, а над крышей труба, а над нею дым? Кайти затопит печь, и это будет дым ее очага. Пойгин, возвращаясь с моря зимой, услышит запах дыма родного очага, и ему станет теплее. А потом он увидит свет в окнах. Вот эти три окна смотрят прямо на море. Неужели в них скоро появятся стекла? Кайти будет стоять то у одного, то у другого, то у третьего окна, дожидаясь Пойгина с моря. И лампу в руки возьмет, чтобы окна светились поярче.

Уплывает пароход все дальше и дальше. Плывут мечты Кайти. Хорошо, если бы мечты могли стать облаком. Пусть проплыло бы это облако над самым пароходом, который привез ей такой удивительный дом...

Когда все было готово к вселению, Пойгин попросил Кайти переступить порог первой.

— Пусть первой войдет дочь,— торжественно сказала Кайти.

Кэргына закричала от восторга, побежала, открыла двери в одну, в другую, в третью комнаты. Хорошо, что первым здесь поселился веселый детский голос. А теперь пусть поселится в нем тихий-тихий шепот Кайти. Не сделав от порога еще и единственного шага, Кайти повернулась к мужу и сказала шепотом:

— Мы будем жить здесь двадцать лет и еще пять раз по двадцать... И пусть все болезни, которые селились в прежнем очаге, останутся там, не переступив вот эту черту.

Кайти показала на порог. Пойгин опустился на корточки, бережно провел рукой по порогу, кивнул головой:

— Пусть будет так.

Но не осталась болезнь Кайти за порогом, пришла вместе с ней и в новый очаг. Кайти мыла, скребла, вытирала все в доме, в самые темные углы заглядывала, выгоняла из нового очага собственную немочь, но тщетно. Однако Кайти не сдавалась. Она развешивала занавески, стелила меховые коврики, изготовленные собственными руками, вытирала до блеска стекла всех ламп, чтобы в доме стало еще светлей. Соседки с радостью и завистью переступали порог ее очага, а когда уходили, клялись, что все точно так же сделают и в своих домах, но не всем это удавалось.

Да, прошло всего три года, как поселилась Кайти в этом доме. Как ей хочется встать и пройтись по всем углам и закоулкам, нигде не оставить ни пылинки. Но что поделаешь, немочь уложила ее в постель. Порой ей кажется, что она смотрит на свой дом откуда-то со стороны, издалека, а Пойгин подходит с лампой к окнам и все машет, машет ей рукой, к себе кличет...

Кайти дотянулась невесомой рукой до плеча Пойгина и тихо сказала:

— Я хочу послушать, о чем думает твой бубен.

Пойгин подошел к шкафу, вытащил бубен. Потом сел на шкуру умки перед кроватью Кайти, долго смотрел на жену. Кайти терпеливо ждала. Да, она лечилась у врачей, но верила, глубоко верила, что и Пойгин спасал ей жизнь.

— Я вхожу в твою душу и разжигаю костер из солнца...— повторял свои говорения Пойгин.

Пластинка из китового уса в его руках начинала осторожно стучать в бубен. Звук, тихий и древний, словно кто-то бесконечно добрый, доказав свою доброту еще в незапамятные времена собственной жизнью, пробивался сквозь вечность, чтобы сотворить добро и в этот миг столь быстротечной в земном мире жизни. Кайти, закрыв глаза, внимала это-

му звуку всем существом, и ей казалось, что она чувствует запахи трав, которые отцвели, быть может, еще во времена первого творения, что она ощущает на горячем лбу ветер, который начал свой дальний путь еще в ту бесконечно давнюю пору. А голос бубна усиливался, говорения его становились все быстрее. И Кайти мнилось, что все доброе, что способно прийти ей на помощь, торопится, спешит, сбиваясь с ног, чтобы спасти ее. И спасение — вот оно, уже совсем рядом. Спасение идет отовсюду — из прошлого, из будущего, с неба, с моря, с речных долин, с горных вершин, из каждого угла этого светлого, чистого дома.

Нет, бубен Пойгина не разламывал ее череп громоподобными звуками, как это происходит, когда камлает черный шаман. Этот бубен совсем другой, потому что он в руках белого шамана, отвергающего невнятные говорения, отвергающего исступленный крик, потерю человеческого лика, когда глаза шамана становятся сплошными бельмами, а изо рта его течет пена. Бубен Пойгина думал как человек, и думы его были и тихими, и громкими, и медленными, и быстрыми. Но это были думы, а не вопли и стенания, это были думы, внушающие надежду на лучший исход, надежду, идущую от самого светлого, ничем не истребимого солнечного начала,— надо только верить, верить, очень верить в его всемогущество.

Так Пойгин лечил Кайти, готовый с каждым ударом в бубен, с каждым словом выстраданных, найденных где-то в самой глубине души говорений переселить в нее каплю за каплей всю свою жизненную силу, только бы жила она. Как знать, на сколько он продлил ее жизнь, но, наверное, все-таки продлил...

Однако не вечна жизнь человека. С этим трудно, страшно смириться, если думать о жизни такого близкого человека, каким была Кайти для Пойгина. Даже если верить, что она может вернуться к живым в образе другого человека,— все равно немыслимо представить, что Кайти не будет с ним рядом.

Но ее не стало...

Кайти умерла в пору, когда солнце уже надолго покидало землю. То была осень. Птицы, обновившие свои крылья и вырастившие птенцов, собирались в стаи и покидали север. Грустная, грустная, бесконечно грустная пора. Пойгин смотрел на неподвижное лицо Кайти, слушал, как оплакивают покойницу женщины, и думал, стоит ли ему жить дальше... Внешне

он был спокоен, неправдоподобно спокоен, но внутри у него все готово было прийти в движение, подобно горному обвалу... Если сделать какой-то один неосторожный жест, сказать одно лишнее слово — начнется обвал, и тогда поднимется даже покойница, чтобы умереть во второй раз... Надо сдержаться. Надо осторожно пройти по самому краю пропасти, не вызвав горного обвала. Надо найти в себе силы, чтобы похоронить Кайти, а там пусть будет как будет...

Все в Тынупе гадали, как Пойгин похоронит жену. И когда он сказал, что похоронит ее по-чукотски, на самой высокой горе, на какую только сможет подняться, никто не посмел ему возразить. Даже Ятчоль, приготовившийся было написать очередное письмо, разоблачающее шамана Пойгина, посидел, посидел над чистым листиком бумаги, потом аккуратно сложил его вчетверо, порвал на мелкие куски и пустил по ветру в глубокой скорбной задумчивости; смерть Кайти и в его душе отозвалась острой человеческой болью. Кайти была для него непонятной и недоступной женщиной, как самая далекая загадочная звезда; и то, что звезда потухла,— с этим немыслимо было смириться...

Тундра была еще бесснежной, хотя облака уже дышали грядущим снегом. Пойгин впрягся в нарту, на которой лежала Кайти, и повез по голой земле, никому не разрешая помогать себе. Только Кэргына порой дотрагивалась до потяга, глядя в сгорбленную спину отца с жалостью и тревогой за него.

У подножия горы Пойгин остановился, вытер пот на бескровном лбу, сказал, едва раздвигая запекшиеся губы:

— Теперь все возвращайтесь домой. В горы я уйду только с Кайти... И ты, Кэргына, иди, иди домой... Хорошие люди тебя успокоят. Я к вечеру вернусь.

Долго и упорно поднимался Пойгин в гору, втаскивая все выше и выше нарту с покойницей. Порой останавливался у молчаливых великанов.

— Вот так, хороню жену,— говорил он им вполголоса.— Коротка жизнь человека. У вас жизнь вечная, а у нас коротка... Вот думаю, стала бы Кайти одним из молчаливых великанов — тогда и я застыл бы рядом. Смотрели бы мы друг на друга, и было бы нам хорошо... Хоть бы уж это, если теперь ее нет совсем...

И опять поднимался Пойгин в гору, волоча нарту между скал, скрежетали по камням ее полозья.

Положил Пойгин тело Кайти на каменное ложе высоко-высоко, где летают только птицы. Именно птицам он хотел от-

дать ее тело — существам, знающим, что такое небо и солнце. По одну сторону гребня прибрежного хребта, где он выбрал похоронное ложе для Кайти, была видна бескрайняя тундра, по другую — вечное море. Давно ли было, когда Кайти, живая и юная, вот так же оказалась с ним один на один перед тундрой и морем? Давно ли им показалось в один бесконечно счастливый миг, что именно от них зачалось в земном мире все живое? И вот теперь спит Кайти на каменном ложе и, кажется, внемлет отдаленному шуму моря, внемлет голосу вечности. Как же вышло, что ее век оказался таким коротким? Спит Кайти и будто чему-то улыбается. Прощально и даже виновато улыбается... Почему виновато?! Перед кем ее вина?! Это перед ней есть, есть виноватые! Вон там, в стороне праворучного рассвета, находится перевал, где прогремели выстрелы Аляека. Страшным оказался укус, обессиливший Кайти, укус росомахи с ликом Аляека. Вот кто виноват, вот кто Скверный! И Пойгин завтра же выйдет на «тропу волнения», чтобы наказать Скверного. Пусть Аляека давно уже нет, но Пойгин все равно еще и еще раз накажет его...

Когда Пойгин спустился в прибрежную долину, то увидел, что его поджидают Кэргына и Тильмытиль. Парень встал, а Кэргына продолжала сидеть, низко опустив голову.

— Не оставляй ее одну,— попросил Пойгин и, не оглядываясь, пошел дальше.

На второй день Пойгин вышел на «тропу волнения». Тундра была еще черна, но тучи, тяжелые темные тучи, уже несли в себе снег. Птицы, не успевшие покинуть места гнездовья, теперь спешили с отлетом, оглашая небо смятенными криками. На одном из озер, на самой середине которого осталось незамерзшим небольшое пространство, все еще плавала пара лебедей. Пойгин долго всматривался в птиц и понял, что одна из них не может подняться на крыло.

А тучи, беременные снегом, почти касались тундры тяжелыми животами. Казалось, что зима, прежде чем разразиться вьюгой на земле, оглядывала ее сверху, неумолимая и мстительная, не в силах простить всему живому, что оно так радовалось быстротечному лету. Никто и ничто не уйдет от наказания: ни эти два лебедя, ни евражка, какой бы глубокой его нора ни была, ни листочек, который все еще держится на ветке тальника. Плыли тучи, таившие горе всему живому, давили на землю, и от этого было трудно дышать.

Пойгину казалось, что все это происходит не только над его головой, но и в нем самом. Тучи его скорби тоже несли в себе горе, давили на сердце, и торопливые птицы его мыслей

о том, что беду надо перенести достойно, тяжко пробивали себе путь, и было мало надежды, что они достигнут ясного неба благоразумия...

А тут еще обреченные лебеди все маячат и маячат перед глазами. Открытой воды осталось совсем мало. Один из лебедей, тот, который, видимо, был не ранен, разбивал лед крыльями. Не выдержал Пойгин, пополз к полынье, надеясь разбить ее закрайки; лед затрещал, и Пойгин едва успел отпрянуть от образовавшейся новой полыньи. Помочь несчастным птицам он оказался не в силах... Долго Пойгин оглядывался на озеро, уходя все дальше в тундру, и видел, как отчаянно взмахивает лебедь крыльями, разбивая лед. На это было невыносимо смотреть, и Пойгин почти побежал от озера по черной тундре. Скоро, совсем скоро она станет белой. Но Пойгину не хотелось, чтобы она становилась белой, как не хотелось тому лебедю, чтобы замерзло озеро. Эти пожухлые, поржавевшие травы на кочках видели солнце, которое видела Кайти, они были свидетелями того, как она дышала, ходила, разговаривала, жила. Когда здесь выпадет снег — исчезнут и травы. Снег этого тяжелого для Пойгина года скроет что-то такое, что навсегда ушло с Кайти. Это будет первый снег его настоящей, лютой зимы...

Хлестко ударили по лицу первые хлопья влажного снега. Черная тундра на глазах становилась белой. Уходят, уходят под снег травы, которые могла последний раз в жизни видеть Кайти. Начинается первая настоящая зима в жизни Пойгина — зима его жизни. Как жаль, что она не началась тихим, спокойным морозом. Бывает же часто: снега еще нет, а вся тундра седая от инея. А нынче озера и реки уже почти покрылись льдом, но пришла оттепель, и оттаяла тундра. Теперь покрывает ее мокрый, тяжелый снег. И тело Кайти — там, высоко в горах, покрывает мокрый снег. Обвальный, косой нахлест снега толкает Пойгина в спину, как раз в ту сторону, где тянется гряда прибрежных гор. Еще совсем недавно маячили вдали их белые вершины, а теперь все скрылось — ни гор, ни моря, ни тундры...

Подталкиваемый в спину бешеным снежным нахлестом, Пойгин почти бежал в сторону гор, чувствуя, как все, что происходило внутри его, вдруг тоже подчинилось безумству внешнего мира, а птицы благоразумных мыслей обломали себе крылья, и ничто теперь не удержит его от отчаяния. Какое-то время, пока Пойгин еще не чувствовал, что выбивается из сил, он сравнивал себя с этой закипевшей снежной бурей: вот сейчас он домчится вместе со снежной лавиной до гор

и разломает, сокрушит весь хребет, оставит лишь одну-единственную гору, на которой покоится тело Кайти. А тот перевал, где ранила Кайти подлая росомаха с ликом Аляека, он сокрушит и разотрет в песок и пустит его по ветру, который послало море. И пусть Скверный, так жестоко оскорбивший род человеческий,— сколь бы глубоко под землей он ни таился, какой бы всесильный Ивмэнтун его ни охранял,— пусть он почувствует, как летит этот песок прямо ему в глаза, в горло, в подлую душу его!

...Но вот Пойгин почувствовал, что ему не хватает дыхания и ноги его подгибаются. Представился где-то совсем рядом къочатко, о котором рассказывала Кайти... Ревет къочатко, широко раздирая пасть, и вторит ему своими воплями Древовтыкающая женщина. Это она, похитительница сына солнца, вскормила собственной грудью къочатко. Она боится возмездия и потому втыкает в каждый свой след дерево, чтобы никто не смог ее выследить. Однако Пойгин ее выследит и настигнет! И пусть къочатко не пытается пересечь его путь. Вот он ревет где-то совсем уже рядом. Где он? Где?! Пойгин схватит его за горло и задушит собственными руками...

Бушует вьюга. Вопит Древовтыкающая женщина. Ревет къочатко. Сугробы все глубже, вот они уже по колено. Пойгин спотыкается и падает в снег. Под ним не сугроб, под ним сам къочатко. Так ему кажется. Ревет къочатко, подминает Пойгина под себя. Но Пойгин выворачивается и душит, душит, душит ревуна...

...Пойгина нашел Тильмытиль, когда снежная буря уже утихла. Пойгин лежал под снегом, втянув руки через рукава, а голову через головной вырез кухлянки, как обычно делают чукчи, когда спят в снегу.

С трудом поднявшись из снежной берлоги, Пойгин какое-то время смотрел, часто мигая, на Тильмытиля, на его упряжку, наконец спросил обессиленным голосом:

— Сколько суток меня не было дома?

— Сегодня пошли четвертые...

— Уезжай. Я не закончил мое пребывание на тропе волнения. Я попросил бы у тебя трубку... но нельзя...

— Ты болен. Ты можешь умереть.

— Пусть будет так.

— А Кэргына? Она все эти четверо суток не спит, не ест...

— Да, да, Кэргына. Она мне снилась. Звала во сне. И Кайти во сне говорила: береги дочь...

— Тогда поехали.

Пойгин долго смотрел на снежную тундру. Как все изменилось. Зима. Первая зима его жизни. Мороз. Бесчисленные снежные заструги нацелены в сторону гор. Ветер с моря, как тончайшим оселком, которым Пойгин точит бритву, выточил закрайки козырьков каждого заструга: дотронься пальцем — и потечет кровь. Бесчисленные искры мерцают на снежной равнине, рассыпанные низким угрюмо-сумрачным солнцем.

— Я задушил къочатко,— сказал Пойгин, оглядываясь так, будто надеялся увидеть поверженного умку.

Тильмытиль развязал нерпичий мешок, достал термос, налил в железную кружку чаю...

— Согрейся.

Пойгин некоторое время раздумывал, принять ли кружку, потом осторожно обхватил ее оголенными руками.

— Я задушил къочатко,— повторил он.

И, опять почувствовав безотчетное волнение, выплеснул чай на снег, бросил кружку под ноги, закричал:

— Уезжай! Я еще не задушил къочатко.

Тильмытиль поднял кружку, опять наполнил чаем.

— Тебе надо помнить о дочери.

Несколько дней Пойгин пролежал в постели. Кэргына неотлучно была подле него. Врачи нашли истощение и воспаление легких. Пришлось Пойгину лечь в больницу. Из больницы он вышел через месяц. Похудевший, с наголо стриженной головой, он угрюмо молчал, неподвижно глядя в одну точку. К нему приходили люди по артельным делам, он слушал их с отстраненным видом, вяло махал рукой:

— Поступайте как хотите...

Кэргына замечала, что отца время от времени охватывало безотчетное волнение, и тогда он раздражался, начинал браниться. Ругал лентяев, требовал к себе Ятчоля:

— Пусть явится мне на глаза, я с ним поговорю. Громким голосом поговорю!

Но Ятчоль так и не появился. И совсем пришла в смятение Кэргына, когда заметила, что отец стал пить. Пьяный, он садился посреди комнаты и долго пел, раскачиваясь: «О-го-го, го-о-о-о-го-го-го-о-о». Однажды вытащил бубен, долго оглаживал и снова спрятал, так ни разу и не ударив в него.

К своему изумлению, Кэргына обнаружила, что спирт отцу приносит Мэмэль. Однажды застала ее сидящей на полу рядом с отцом. Убирая с лица распустившиеся волосы, она пьяно улыбалась и говорила:

— Я похитила твой амулет. Он у меня. Давно похитила.

Пойгин не слушал, о чем она говорит, по-прежнему пел надсаженным голосом. Кэргына с отвращением смотрела на Мэмэль. Заплакав, крикнула ей:

— Уходи! Разве ты не видишь, что у него от горя помрачился рассудок?

Мэмэль пьяно смеялась, шарила рукой, чтобы найти кружку со спиртом, опрокинула ее. Спирт, источая резкий ядовитый запах, растекался по полу.

И тогда Кэргына схватила недопитую бутылку спирта, замахнулась на Мэмэль:

— Уходи!

Мэмэль прикрыла голову руками, в страхе отшатнулась. А Пойгин словно находился где-то далеко-далеко, не видел, что происходит рядом, тянул заунывно: «О-о-о-го-го-го. О-о-го-го-го-о-о-о».

Кэргына принялась поднимать Мэмэль на ноги и выталкивать ее из дома.

— Уходи! Мать не любила тебя. Она терпеть тебя не могла. Не приходи больше никогда!

— Я похитила амулет... давно похитила,— твердила Мэмэль, безотчетно повинуясь Кэргыне.

Когда Мэмэль была выдворена, Пойгин на какое-то время вернулся в дом из своего далека, глянул на дочь осмысленным взглядом.

— Мне приснилось... ты сказала Мэмэль... что мать не любила ее.

— Да, она ее ненавидела!

— А еще приснилось, что Мэмэль похитила мой амулет...

— Она рассудок твой похищает!

Пойгин долго тер руками лоб.

— Надо завести волка. Да, да, я буду приручать волка.

— Делай что хочешь, только не пей.— Кэргына опять замахнулась бутылкой.— Вот выйду на улицу и разобью бутылку о лед!

— Я сам... сам разобью. Помоги встать. Разобью... Только чтобы не видели люди.

— Оденься. Опять заболеешь.

— Я разобью бутылку... и заведу волка. Волк не любит пьяных. Волк не любит крикливых. Волк не любит суетливых. Волк любит... таких, каким был мой дед. Пойдем. Помоги мне...

Кэргына увела отца за дом, где торчали из снега валуны морского берега.

— Бей об этот камень.

Пойгин покрутил в руках бутылку, понюхал ее и вдруг, едва не упав, ударил о камень.

— Все. Не пускай ко мне Мэмэль. Кайти ненавидела ее. Не пускай. Летом я поймаю волчонка. Только бы поскорее дожить до лета. Волк поможет мне...

5

Сложные были у Пойгина отношения с волками: он знал, как опасны они, когда нападают на оленей, иногда режут их куда больше, чем могут съесть. И, конечно же, Пойгина обуревала ярость, когда он видел такое. Но чаще добычей волка становился все-таки олень обессиленный, больной, что можно было простить.

В тайны волчьего бытия Пойгина посвятил его дед. Уже тогда его, мальчишку, поразило многое в жизни волчьей стаи. Однажды он был потрясен, услышав, как волк скулил, сострадая своему раненому собрату. Волчий плач доносился по ветру в горный распадок, где затаились Пойгин с дедом. «Плачет,— скупо объяснил дед.— Когда плачет, у него вот такой голос. Запоминай».

Дед научил Пойгина подкрадываться к волчьему логову, к стае. Это очень непросто — подкрасться к волку так, чтобы можно было разглядеть, каков он, когда никого не боится. Главное у волка слух, меньше он чует носом и еще меньше надеется на свое зрение.

Несколько раз за долгую жизнь Пойгин видел, как волки проводят свой кричмин — праздник. На кричмин собираются несколько семей. Здесь и матерые, и молодые. Как ни странно, поначалу игривую возню начинают матерые. Хватают друг друга за загривок, валяются, повизгивают, добродушно урчат. Двухлетки и однолетки сидят чуть в стороне, с почтением наблюдая за возней матерых. Но вот успокоились матерые. Молодые начинают сдержанно подступаться к ним. Выражая почтение и покорность, они припадают к земле, вытягивают шеи перед зубами матерых. И даже тогда, когда чувствуют, что матерый проявил благосклонность, по-прежнему остаются сдержанными.

Зато какую неудержимую возню затевают молодые, когда матерые дают им на то свое благосклонное разрешение! Однако отчаянная потасовка никогда не доходит до драки, как это часто случается у собак. Да и взрослые волки дерутся только за самку, и здесь уже уступок не бывает. Только тогда, когда один из соперников признает себя побежденным

и откровенно подставляет шею под страшные клыки победителя,— только тогда битва прекращается. Победитель великодушно дарует побежденному жизнь — пусть только уходит прочь от самки.

На кричмине волки чаще всего состязаются в прыжках в высоту. Пойгин с восхищением следил за этими состязаниями. Разбежится один и вдруг, будто стрела из лука, летит вверх. За ним второй, третий. Пойгин знал, как необходим волку такой прыжок. За короткое мгновение, когда волк поднимается круто вверх, он многое успевает разглядеть вокруг.

Случается, что именно на кричмине двухлетки, трехлетки окончательно выбирают подругу и уходят из стаи. Но не по первому знакомству, нет. Сватаются чаще всего в однолетнем возрасте и еще год или два выказывают друг другу свою нежность и преданность. И уж как они стараются показаться друг другу ловкими, быстрыми, чистоплотными!

Волк, который не сумел отстоять в смертельном поединке подругу, не прочь стать нянькой счастливой пары, которая обзавелась детьми. Он будет так же заботлив к волчатам, как и родители. Волк и волчица могут усыновить или удочерить сирот, и ничем они не будут отличаться в семье от родных волчат.

Уважал Пойгин волка и за его чистоплотность: у логова никогда не найдешь отбросов, не то что у лисицы или песца, где у норы вперемешку с пометом можно увидеть и остатки крыльев птиц, и кости животных, и оленью шерсть.

Своего волчонка Пойгин выловил в начале июня. К этому времени выводки начинают подавать голос в утреннюю и вечернюю зори. Малы еще, но голоса налаживают, приспосабливают друг к другу, чтобы не просто кричать, а именно выть. Пойгин умел подражать голосам всех зверей, ну а волчьему вою подражал в совершенстве. Таким уж уродился волк — не может не откликнуться на вой, часто не подозревая, что его выманивает человек. Да, случается, что бедой оборачивается для волка его безотчетное желание во что бы то ни стало откликнуться на вой собрата. К своему изумлению, он обнаруживает, что собрат оказывается двуногим, да еще способным посылать громовую огненную смерть с далекого расстояния.

Знал Пойгин и о другой странной особенности этого зверя. Волк, тот самый волк, который так заботлив и нежен к своим детям, никогда не защищает их от человека и даже от собак. С обреченным видом бродят волк и волчица невдалеке от ло-

гова, обнаруженного человеком, слышат, как волчата грызутся с собаками, и не могут ринуться на защиту выводка, только поднимают изредка морду и оповещают вселенную тоскливым воем, как тяжко им расставаться с детьми. Изумляло Пойгина и то, что волк убегает от собаки, если она преследует его. Но стоит собаке струсить и побежать от волка, он тут же настигнет ее, и не будет ей пощады. Мчится волк наперерез собаке, если она гонится за лисицей, песцом или зайцем; но если пес осмелится побежать за волком, тот уходит со всех ног. «И что же вы за странный такой народ, совсем непонятный»,— размышлял Пойгин, вглядываясь в волчью жизнь.

Своего волчонка Пойгин сунул в мешок без особого труда, схватив его за загривок. Хотел перестрелять всех остальных (а их в логове оставалось еще пятеро), но рука дрогнула. Ему казалось, что пойманный волчонок не может не запомнить, кто погубил его братьев и сестер, и, конечно же, ни за что после этого не покорится человеку. Где-то неподалеку завывали мать и отец, обреченно дожидаясь страшного исхода. Собак с Пойгином не было. Он взвалил мешок с волчонком на спину, спустился к реке и поплыл к морю на легкой байдаре из моржовых шкур. Волчонок возился в мешке, скулил, а Пойгин его уговаривал: «Потерпи маленько, успокойся. Ты же сам видел, я не тронул твоих братьев и сестер. Мать и отца тоже пощадил. Нам надо с тобой поладить».

Пока волчонок был мал, ладить с ним Пойгину было нетрудно. Он прежде всего приучил к нему собак. Детская доверчивость волчонка постепенно смирила собак с его присутствием, хотя поначалу их очень раздражал столь им знакомый ненавистный волчий дух. До второго месяца доверчив был волчонок и к человеку. С любопытством принюхивался к нему, играл, мягко покусывал руку. Но потом все чаще и чаще волчонка, который уже носил кличку Линьлинь, начинала одолевать неясная тоска. Он метался по собачнику, сооруженному из досок и брезента, рыл по углам мерзлую землю, порой принимался завывать, отчего шерсть на собаках становилась дыбом. Начал Линьлинь скалиться на собак, игры с ними его уже не забавляли. Но не столько озлоблялся Линьлинь, сколько впадал в обидчивость. Иногда он забивался в угол собачника и застывал в неподвижности. И такая обида светилась в его глазах, такая тоска, что Пойгин невольно приговаривал: «Ну, что ты, будто человек, плакать собрался. Ну, покажи волчьи клыки своим обидчикам, и они не посмеют трогать тебя».

Однако Линьлинь оставался волком и собачью грызню презирал. Однажды он с таким остервенением начал царапать землю задними лапами, что Пойгин замер от изумления: он вспомнил, как говорил ему дед, что волки таким образом выражают свое презрение. «Это диво просто, какой ты гордец! Ну, ну, я отделю тебя от этих презренных собак, сделаю для тебя перегородку».

Наступила пора, когда Пойгин начал брать волка на охоту и даже впрягать в нарту.

Ох, как обиделся волк, когда на него надели ошейник и повели на поводке. Упираясь лапами в землю, он пятился назад, вертел головой и, казалось, готов был удушиться, только бы не идти вслед за человеком на привязи. Пойгин был терпелив. Он уговаривал волка спокойно, вполголоса, не позволяя своей руке быть нервной и резкой. Отпускал поводок, предлагал волку мясо. Тот с тоскливым недоумением смотрел на человека, как бы спрашивая: кто ты все-таки и кем мне доводишься? И Пойгин объяснял, разговаривая с волком, будто с больным человеком, которого надо было излечить говорениями: «Я знаю, в тебе просыпается волчья душа, тебе надоело быть собакой. Да ты и не был собакой. Не обижайся на них, что поделаешь, если им до тебя далеко. Ты лучше стань их вожаком. Да, я знаю, ты можешь стать их вожаком и моим верным помощником. Ну, ну, я не буду дергать поводок. Иди, иди ко мне сам. Я угощу тебя кусочком свежей нерпы. Ну, ну, иди ближе, не бойся меня. Ты же слышишь, какой у меня доброжелательный, ровный и тихий голос. Излечись от тоски, посмотри на солнце, послушай, как шумит море, и порадуйся тому, что мы оба с тобой в этом мире пребываем».

Волк настораживал то одно, то второе ухо, будто бы пытался понять, о чем говорил человек, и, успокоенный его ровным и тихим голосом, подходил ближе, аккуратно брал зубами кусочек мяса с его руки, не спеша съедал. Постепенно у него стала возникать потребность слушать ровную, словно ручей журчащую человеческую речь. И когда человек появлялся перед ним вновь, он настораживал уши и как бы спрашивал взглядом: «Ну, о чем еще мы поговорим сегодня?» Пойгин привязывал поводок к поясу, пятился, показывая кусочек мяса, и уговаривал: «Ну, пойдем, пойдем на волю. Тебе же надоело сидеть взаперти. Пойдем, я покажу тебе солнце, землю, небо, море. Я покажу тебе тропы, по которым ходят твои сородичи. Только уж ты оставайся со мной. Сам понимаешь, волки бывают очень виноватыми перед человеком. Майна-Воопка сказал, что вчера твои сородичи зарезали семнадцать

оленей. Ну, зачем так много? А съели двух, не больше. Придется тебе выходить на тропу волнения, чтобы искупить их вину. Пойдем, я поведу тебя по этой тропе. Что поделаешь, мне тоже судьбой предопределено выходить порой на тропу волнения. Вот и получается, что мы с тобой одной судьбы».

Пришло время, когда волк стал трусить рядом с человеком, как бы не замечая, что он на поводке. Потом не очень удивился, когда на него надели упряжь и пристегнули к потягу нарты. Это было похоже все на тот же поводок, возмущение и страх перед которым постепенно пропали, только теперь пришлось бежать не рядом с человеком, а рядом с собаками. Правда, Пойгин поначалу и постромки для Линьлиня сделал куда длиннее, чем для собак: пусть волк пока чувствует себя как на поводке.

Иногда Пойгин приводил Линьлиня в дом, просил Кэргыну разговаривать вполголоса, не делать резких движений. Волк внимательно оглядывал человеческое логово, все обнюхивал, какая-то неведомая сила влекла его в темные углы, в закоулки под кроватями, под столом. К негодованию Кэргыны, волк царапал в углах пол, даже пытался грызть его, но она молчала, не желая обидеть отца. Однако чувство ревности к волку у нее росло, и она однажды спросила:

— Кто тебе дороже — я или волк?

Пойгин медленно перевел взгляд на дочь, не в силах отрешиться от тяжких дум и вникнуть в ее вопрос. Когда понял, о чем она спросила, печально вздохнул, привлек дочь к себе. Волк, казалось, с любопытством смотрел, как матерый человек обходится со своим детенышем.

— Почему ты задаешь такой глупый вопрос?

— Ты забыл обо всем... даже обо мне... ты помнишь только о своем волке.

— Волк помог мне.

— Как?

— Это могла бы объяснить только твоя мать, если бы видела, что со мной было.

— Я видела.

— Ты видела многое, но не все. Ты не смогла увидеть, чем помог мне волк.

Кэргына застегнула пуговицы на рубахе отца и тихо сказала:

— Может, и я догадываюсь, как он тебе помог. Ты меня прости за глупый вопрос. Я не буду больше ревновать тебя

к волку. Он изгнал твою вспыльчивость, ты стал меньше поддаваться тоске...

— Ну вот, видишь, ты, оказывается, все понимаешь...

Кэргына сама за собой замечала, что, когда волк был в доме, она даже ходила иначе — спокойнее, ровнее. И с отцом разговаривала так, чтобы волк не настораживал с подозрением ухо.

Однажды в дом вошел Ятчоль и по своему обыкновению еще с порога закричал:

— Приехал Тагро... председатель райисполкома!

Пойгин предостерегающе вскинул палец, показал глазами на волка. Ятчоль на цыпочках прошел в комнату, осторожно присел на стул, сказал на сей раз шепотом:

— Я боюсь твоего волка. Он взглядом своим всю душу мне продырявил.

Волк слегка зарычал, не спуская с Ятчоля внимательных глаз.

— Вот видишь? Люди удивляются твоей дружбе с волком. Всю артель, говорят, на волка променял.

Линьлинь опять зарычал.

— Что ему надо?— спросил Ятчоль, до хрипоты понижая голос.

— Чтобы ты не врал. Кроме тебя, никто таких слов не говорит.

— Известно ли тебе, что все собаки Тынупа стали худеть от страха перед твоим волком? Нарты не могут тянуть, совсем отощали.

— А ты сам не отощал?

— У меня вся душа в дырках. Пойду к врачу, пусть просветит. Будет вечественное доказательство.

— Для чего?

— Чтобы сняли тебя с председателей.

— Я сам себя сниму.

— Как?!— вскричал Ятчоль, изумленный заявлением Пойгина. Линьлинь шагнул к нему, зарычал.— Выгони его прочь, поговорить не дает по-человечески.

— Мне он помогает говорить по-человечески. Иначе бы я уже с тобой так поговорил, что ты головой дверь открыл бы.

— Дрался бы?

— Нет, просто вытолкал бы тебя вон, чтобы ты оставил меня в покое.

— Хорошо. Очень хорошо. Я это запомню.

— Ты всю жизнь запоминаешь, какой я, и никак запомнить не можешь.

— Собаки от твоего волка худеют. Я заявлю вопрос. Никакой план мы на таких дохлых собаках не выполним. Волка надо убить.

Увидев, как изменилось лицо Пойгина, Ятчоль на всякий случай отодвинулся от него вместе со стулом. Волк опять зарычал. Ятчоль хотел было погрозить ему пальцем, но вовремя одумался, спрятал руку в карман.

— Ну, так когда ты уйдешь с председателей?

— Зачем тебе знать?

— Может, я сам хочу стать председателем. Если бы в Тынупе не было тебя, то председателем был бы я. Это даже каждому ребенку ясно. Так что ты и здесь тропу мою пересек.

Пойгин вдруг рассмеялся. Линьлинь слегка повернул голову, внимательно заглядывая в глаза хозяина, потом вытянул лапы, положил на них морду.

— Ты почему смеешься?

— Да, наверное, не только я смеюсь. Вон, кажется, и Линьлинь едва сдерживает смех. Ну какой же ты председатель? Всю артель пропьешь.

— Ты сам пил!— со страхом глянув на волка, Ятчоль перешел на жесты, изображая, как пил Пойгин.— С моей женой пил. Я вопрос заявлю. Большой вопрос. В район напишу.

— Там твои письма давно никто не читает.

— Я у председателя райисполкома спрошу. Писал-то я ему. Где твоя дочь? Почему спряталась? Почему не угощает чаем?

— Ты слишком громко сопишь, когда чай пьешь. Волк этого не любит. Услышит, как сопишь, еще разорвет в куски...

Взбешенный Ятчоль резко поднялся. Вскочил и волк. Ятчоль протянул руку, сделал такое движение, будто хотел погладить Линьлиня, сказал, медленно приседая:

— Ну, ну, успокойся. А то ты еще снимешь с меня штаны. Для твоего же хозяина будет плохое вечественное доказательство. На улице мороз, сам понимаешь, как без штанов... Я думаю, ты мне разрешишь закурить...

Пойгин долго молчал, с любовью глядя на волка. И только после того, как Ятчоль закурил, повернулся к нему.

— Ну вот видишь, ты и заговорил по-человечески. Я бы этого волка сделал воспитателем для таких, как ты.

— Может, ты его сделаешь председателем вместо себя?

— Председателем будет Тильмытиль.

Ятчоль от изумления поперхнулся трубкой.

— Тильмытиль?! Этот мальчишка?!

— Он настоящий мужчина. Иные старики перед ним мальчишки.

— Ты про кого?

— Про тебя, конечно.

— Ну, если бы не этот проклятый волк! Я бы все окна повыбивал в твоем доме за такие оскорбления! Я заявлю вопрос! Тильмытиль не будет председателем. Слишком молод еще.

— Вот это и хорошо, что молод. Плох тот старик, который не выводит на свою тропу молодого. Тильмытиль давно идет по моей тропе. Теперь я вижу, что он может идти дальше меня.

— Подержи своего волка, мне надо идти. Не хочу я твоего чаю.

— Тебя никто и не угощает.

— Да, да, я это чувствую. В этом доме уже живет не чукча. Чукча давно бы меня напоил чаем.

— Ты только тогда и помнишь, что родился чукчей, когда пьешь чай. Однако этого для чукчи маловато.

Из своей комнаты вышла Кэргына.

— Твой отец выжил из ума!— зло сказал Ятчоль.— Пойду заявлять большой вопрос. Уведи в другую комнату вашего проклятого волка. Он мне всю душу взглядом своим издырявил.

— Мой отец не может выжить из ума,— со сдержанным негодованием сказала Кэргына.— Чтобы такие слова говорить, надо не иметь своего ума...

— О, да ты тоже огрызаешься, как волчонок! И за что только тебя любит Мэмэль.

Кэргына с изумленным видом ткнула себя пальцем в грудь:

— Меня любит Мэмэль?

— Только о тебе и говорит. Слезы утирает и приговаривает: «Мне бы такую дочь...»

В дом вошел Тильмытиль и сказал, что Пойгина просит прийти в правление артели председатель райисполкома.

— Ага! Дождался!— вскричал Ятчоль.

Волк в один прыжок оказался рядом с крикливым человеком. Глухо зарычав, уставился на него пристальным взглядом.

— Тебе надо надеть чистую рубаху,— посоветовала Кэргына. И, увидев, что отец заколебался, мягко добавила:— Так сказала бы тебе мама.

— Да, да, так сказала бы Кайти. Спасибо, я надену чистую рубаху.

Пойгин и Кэргына ушли в соседнюю комнату. А Тильмытиль вдруг тихо рассмеялся, наблюдая, как Ятчоль, казалось, даже дышать перестал под взглядом волка.

6

Пойгин присел за свой председательский стол как-то сбоку, словно стесняясь занимать главное место, тогда как Тагро сидел у окна. Да, много, очень много выпало снегов с тех пор, как Пойгин впервые увидел этого человека. Но снег забвения не выпадал. Все помнится, как будто случилось вчера. Горит костер в яранге Эттыкая, лица людей изумлены: в руках Пойгина тоненький листочек бумаги — немоговорящая весть о том, что его приглашают в Певек. И есть в этом листочке бумаги какая-то волнующая тайна: предсказывает немоговорящая весть перемены в жизни Пойгина, да и не только в его жизни...

Не добрался тогда Пойгин до Певека: пули Аляека прервали его большую тропу, а кровь Кайти и Клявыля словно бы разожгла на снегу костер горя. Услышал свист пуль Аляека и Тагро. Именно он тогда увез Кайти в больницу культбазы. Значит, и он тоже один из ее спасителей... Был он в ту пору совсем еще юноша, а теперь вон какой мужчина, волосы кое-где иней прихватил, наверное, ему скоро уже два раза по двадцать.

Тагро действительно в пятьдесят шестом году было тридцать восемь. К этому времени он окончил Высшую партийную школу в Москве и уже несколько лет возглавлял исполком своего родного района.

Закурив сигарету, Тагро глубоко затянулся, щуря глаза с желтоватыми, словно подпаленными белками.

— Я знаю, ты сейчас вспомнил тот перевал,— сказал он.

— Да, вспоминал. Тогда ты помог спасти Кайти...

И опять оба долго молчали.

— Пока была жива Кайти, моя старость, как сова, сидела где-то высоко в скалах. Но после того, как я отвез Кайти на гору, я спустился вниз вместе с этой совой. Теперь она во мне. Все видит, все понимает...

Председатель райисполкома принялся ходить из угла в угол. Вдруг остановился у стола, тяжело уперся в него руками, близко заглядывая в лицо Пойгина.

— Я понимаю, к чему ты клонишь. Однако ты еще не

стар. Ты просто очень устал от забот и горя. Но больше от горя...

— Сова все видит и все понимает,— повторил Пойгин.

— Что же ты собираешься делать дальше?

— Глаза мои еще различают след зверя. А на земле, к радости человека, еще есть следы лис, песцов, горностаев, зайчишек. Я охотник. К тому же мне надо кое-чему научить молодых... Ну, что ты на это скажешь?

— Скажу, что ты лучший председатель артели в районе, а может, и не только в районе. И тут тебя никто не заменит. Ну кто? Назови мне такого человека...

Широко распахнулась дверь, и на пороге появился Ятчоль.

— Вот Ятчоль заменит,— словно и не думая шутить, ответил Пойгин.

Не разобравшись, о чем идет речь, Ятчоль закричал:

— Ты не слушай его, Тагро! Он всю жизнь старается мне досадить. Он с моей женой спирт пил! Волка приручает! Все собаки поселка похудели — волка боятся. Одни кости да кожа от собак остались. На чем на охоту будем ездить? Надо ставить очень большой вопрос...

— Все сказал?— строго спросил Тагро.

— Нет, не все!

— Жаль. Тут вот Пойгин в председатели колхоза тебя выдвигает, а ты столько на него наговорил.

Ятчоль долго смотрел на Тагро, потом перевел взгляд на Пойгина, полный недоверия и подозрения.

— Я не такой глупый, чтобы поверить в это. Он для смеха сказал. Он с моей женой спирт пил и песни пел. У меня есть вечественное доказательство — пустая бутылка...

Пойгин вдруг тихо рассмеялся, покрутил головой. Ятчоль ткнул в его сторону пальцем.

— Вот видишь, ему и возразить нечего, потому и смеется. Волка его я все равно застрелю...

Пойгин встал, медленно подошел к Ятчолю, взял его за рукав.

— Пройди-ка вот сюда, на середину...

Ятчоль упирался, однако порог все-таки покинул, всем своим видом показывая, как он страдает от насилия. А Пойгин с таинственным видом обошел вокруг Ятчоля и сказал:

— Я заключил тебя в круг моего предостережения...

— Вот видишь, он шаманит!— закричал Ятчоль, тараща глаза на Тагро.— Он шаманит, а ты, такой большой очоч, сидишь как ни в чем не бывало. Выходит, ты заодно с шаманом?! В Анадырь напишу! В Хабаровск, в Москву!

— Я заключил тебя в круг моего предостережения,— уже громче повторил Пойгин.— Если выстрелишь в волка, то...

Пойгин сделал долгую паузу. Не выдержав шаманской пытки, Ятчоль вскричал:

— Договаривай! Что, что будет тогда?! Пусть очоч услышит. Ты совсем обнаглел, никого не боишься...

— После выстрела в волка... ты больше никогда не опьянеешь от спирта. Будешь пить, как простую воду, и даже не поморщишься!

И стало понятно, что Пойгин опять вышутил Ятчоля. Тагро громко рассмеялся:

— Вот это шаман! Вот это придумал наказание!

— Он может, может наслать и такое! Он может огонь сделать водой, а воду огнем. Но я не боюсь! Я все равно спасу Тынуп от волка!— Ятчоль подошел к Тагро.— Еще такую скажу тебе весть, самый наш большой и уважаемый очоч. Волк Пойгину, видно, рассудок помрачил. Иначе с чего бы это пришло ему в голову вместо себя выдвигать председателем Тильмытиля? Это же просто смешно! Тильмытиль еще совсем мальчишка.

Тагро перевел озадаченный взгляд на Пойгина.

— Тильмытиль?— и по-русски добавил:— Любопытно, очень любопытно. Как это я о нем не подумал...

— Я же говорю... просто смешно! Его никто не будет слушаться. Я первый буду смеяться над ним.

Тагро погрозил Ятчолю пальцем:

— Не советую. Ты знаешь, как может посмеяться в ответ Тильмытиль? Я ездил с ним по тундре, присмотрелся к нему и кое-что понял...

То было год назад. Тагро в поездках по району старался разобраться в проблемах оленеводства. Тильмытилю, главному ветврачу Тынупской артели, в это время было около тридцати. Приехал он вместе с председателем райисполкома в стойбище отца. Майна-Воопку застали в стаде: учил старый олепевод молодых зоотехников пересчитывать оленей. Майна-Воопка был явно не в духе. Рядом с ним стоял Эттыкай. Покуривал старик трубку, разглядывал молодых практикантов оленеводческих курсов и скептически улыбался. Особенно насмешливо смотрел на высокого, сутуловатого парня Коравгэ, у которого было уж слишком разнесчастным лицо с толстыми, потрескавшимися от мороза губами. Майна-Воопка выхватил из рук парня аркан, потряс им в воздухе.

— И это называется чавчыв! Как ты собрал аркан?! Ты не забыл, что имя Коравгэ происходит от «кораны»[1].

Майна-Воопка ткнул пальцем в пробежавшего мимо оленя. Парень смущенно топтался на снегу, не смея поднять глаза. Завидев сына, Майна-Воопка набросился на него:

— Может, и ты забыл, как собирают аркан?

Тильмытиль, улыбаясь, принял из рук отца аркан, распустил его и снова спокойно собрал в кольца, передал Коравгэ и сказал:

— Придется тебе ночей пять подежурить в стаде. Будешь пасти оленей и метать аркан. Пять ночей хватит, если очень стараться...

— Я зоотехник, а не пастух,— самолюбиво вскинув голову, промолвил по-русски Коравгэ.

— Что, что он сказал?— спросил Майна-Воопка и даже малахай с головы сорвал, наставил с насмешливым видом ухо.

— Он сказал, что пять суток не будет ни пить, ни есть, ни спать, но арканом владеть научится.— Заметив, что Коравгэ хочет возразить, Тильмытиль вскинул руку и добавил со своей неизменной улыбочкой:— Пищу я буду тебе приносить в стадо. Даже чаю в термосе принесу. Заодно сам пометаю аркан. Чувствую, что рука отвыкает...

Коравгэ прогнал с лица гримасу уязвленного самолюбия, посмотрел на Тильмытиля с невольной благодарностью.

— Считать оленей мы с вами научимся!— уже веселее сказал Тильмытиль, стараясь ободрить практикантов.— Это совсем просто.— Притронулся доброжелательно к плечу низенького, присадистого паренька, на лице которого еще были следы ожесточения.— Сколько у оленя ног? Ну, ну, можешь не отвечать, по глазам вижу — знаешь...

Парни невольно рассмеялись. И лицо Майна-Воопки тоже будто стало оттаивать. А Тильмытиль продолжал пошучивать:

— Вот так же один якут учил меня считать коней. Табун был огромный! «Все очень просто,— сказал якут.— Кони бегут, а я их ноги считаю. Потом делю на четыре».

Шутку эту Тагро слышал не раз, однако рассмеялся вместе со всеми. «Кажется, он уже поймал этих парней на свой аркан»,— размышлял председатель райисполкома, проникаясь к Тильмытилю глубокой симпатией.

Желая как бы противопоставить Тильмытиля практикантам, Эттыкай всем своим видом старался выразить ему свое почтение. Сын Майна-Воопки был для него загадкой: живет на

---

[1] Кораны — олень.

берегу в доме, как русский, женился на русской, до оленей ли ему? Однако все видят, да и сам Эттыкай еще не ослеп: нет у Тильмытиля жизни без оленей.

Эттыкай много думал, пытаясь понять: куда же ведет кочевой путь сегодняшних оленных людей? Исчезли такие хозяева, как Рырка, такие, каким он был сам,— можно ли теперь ждать порядка? Раньше страх заставлял пастухов подчиняться порядку. Боязнь остаться голодными и раздетыми заставляла когда-то безоленных людишек слушаться не только окрика, но даже взгляда, жеста хозяина. Теперь пастухи никого и ничего не боятся. Хорошо ли это? И хорошо, и плохо. Вон бригадир Выльпа стар уже, однако сам за всю бригаду оленей пасет, а молодые пастухи только над ним посмеиваются. Но Майна-Воопку слушается каждый, и прежде всего Эттыкай. Если дела взяли в свои руки такие, как Майна-Воопка,— порядок будет. А Выльпа что, он всю жизнь исполнял чужие повеления, привык подчиняться, вот и теперь, хоть и бригадир, а своим пастухам, как бывшим хозяевам, подчиняется. Но, однако, не все безоленные людишки ведут себя подобно Выльпе, на иного посмотришь и только руками разведешь: можно подумать, что он всегда был настоящим хозяином и не знал, что такое голод. Так и хотелось Эттыкаю сказать подобному гордецу: что нос к звездам задираешь, забыл, как одевался в лохмотья шкур, а мясо оленя знал только по запаху, когда его варили на кострах в чужих ярангах? Но нельзя гордецов задирать, а то такое самому тебе дадут понюхать — собакой побитой заскулишь.

Многое, очень многое изменилось в жизни оленных людей. И Эттыкай благодарит себя за то, что не пошел против ветра перемен,— иначе не выжил бы. Правда, не всегда он был рад тому, что выжил. По-прежнему было его страстью считать оленей, меченных личным тавром. Сколько их — да вот теперь и твои, и не твои.

Но шли годы, все меньше становилось оленей Эттыкая в артельных стадах, нарождались новые, и этих уже никто не клеймил тавром. Зачем? Все они общие. И было чудно Эттыкаю смотреть на немеченых оленей, он, как прежде, мысленно раскалял добела железо, мысленно прижигал крупы оленей; но бессильным был его воображаемый огонь, и не пахло горелым мясом и паленой шерстью. Так во сне все пьешь, пьешь воду и никак не можешь утолить жажду. Однако надо было как-то жить. И Эттыкай утешал себя тем, что он сыт и одет, как прежде, что никто не заставляет его мерзнуть по ночам в стаде. И все было бы не так уж плохо,

если бы его не преследовала мысль, что он прощенный, а стало быть, немало обязан тем, кто его простил. В повадках его появилась угодливость, он порой заискивал перед самым последним пастухом, которого раньше в ярангу свою не пустил бы. Это мучило Эттыкая, бесило. Иногда он с яростью спрашивал себя: «Что я все время перед ними, как собачонка, хвостом виляю?! Наверно, не зря мне родители имя такое дали, словно предвидели, до чего доживу».

Упрекал, язвил себя Эттыкай, а сам по целым суткам не спал во время отела оленей, старался показать, на что он способен. В зимние месяцы приучал оленей возить парты. Конечно, это не очень легко — обучать ездовых оленей, но Эттыкай не щадил своих старческих сил и порой искренне радовался, когда замечал, что его уважают. Особенно важно было ему видеть, как относится к нему Майна-Воопка. Этот настоящий чавчыв очень его ценил, и все видели, как он к нему почтителен.

Осторожно подступался к Эттыкаю по тропе благожелательства и Тильмытиль. Правда, он ко всем благожелателен, особенно к старикам. Когда стал в колхозе главным оленьим доктором, старался показать: он меньше всего считает себя очочем. Однако если дело касалось заботы об оленях, тут он, как и его отец, был строг, крепко держал в руках невидимый аркан и пускал его в ход неумолимо, обламывая рога тем пастухам, которым казалось, что при новых порядках они могут, как быки, бодаться. Есть и такие, которые бодаются, а оленя хотели бы видеть только тогда, когда им подают в теплый полог сваренные куски его аппетитно дымящегося мяса.

Нет, Тильмытиль, как и его отец, настоящий чавчыв. Эттыкай не один раз видел, как он валился с ног в пору отела, спасая телят от пурги и морозов. Олененок для него—что собственное дитя, не зря он в детстве чуть не лишился рассудка, когда Вапыскат заколол его белого кэюкая. И хотя Тильмытиль много лет на оленьего доктора учился, в других краях побывал, на других чавчыват нагляделся — на якутов, на ненцев, эвенов, коряков, их оленьи стада повидал, все равно к своим старикам идет, у них совета спрашивает, у Эттыкая тоже. А что может быть дороже для старика, когда его умудренный старостью рассудок ценят молодые?

Да, Тильмытиль истинный чавчыв, он никогда не предаст оленей. Только вот много ли таких, как он? Похожи ли хоть чем-нибудь на него вот эти парни? Эттыкай снова оглядел Коравгэ скептическим взглядом, не скрывая своего пренебрежения и недоверия к нему. И это выводило парня из себя. Если

бы не появился Тильмытиль, не отогрел бы как-то вдруг его душу, Коравгэ, наверное, сбежал бы отсюда куда глаза глядят: еще не хватало, чтобы этот бывший богатей над ним издевался.

Вечером Коравгэ вышел в стадо на ночное дежурство. Присматривал за оленями по ночам целую неделю, как обыкновенный пастух, аркан из рук не выпускал. За ним вышли в стадо и все остальные практиканты. Тильмытиль приходил к ним, согревал хорошим словом и чаем из термоса, рассказывал об оленях, порой вылавливая арканом то одного, то другого. «Если полюбишь оленя, он тебе само солнце на рогах принесет,— пошучивал он, между тем стараясь внушить очень серьезные мысли.— Зоотехник должен уметь все, что умеет пастух, только намного лучше».

Пришел однажды ночью в стадо вместе с Тильмытилем и Тагро.

— Ну, как твоя губа?— участливо спросил он у Коравгэ.

— Да вот, как назло, на морозе лопнула. Но ничего, терплю. Стараюсь еще и посвистывать.

Коравгэ попытался засвистеть, рассмеялся.

— Не всякий свист мне нравится,— пошутил Тагро,— а этот понравился. Я рад, что вы все как-то сразу сдружились с Тильмытилем.

Коравгэ проследил за ветврачом, подкрадывавшимся с арканом к огромному быку, сказал по-русски:

— Вовремя он приехал. А то мне показалось, что у меня не только губа лопнула, но и что-то вот здесь.— Он приложил руку к сердцу. Помолчав, с тоскою добавил:— И не надо бы нас называть балбесами только за то, что мы не можем забыть, что такое человеческая жизнь. Работы мы не боимся. Мало того, мы не можем без работы. И оленей любим не меньше этого Эттыкая. До чего же ядовитый старик, посмотришь на него — кажется, будто мухомора наелся...

Коравгэ сплюнул, снял рукавицы, осторожно дотронулся до больной губы.

— Ничего, вы заставите и этого мухомора себя уважать.

— Пусть он сначала постарается, чтобы я сам его уважал,— самолюбиво ответил Коравгэ.— Так вот, оленей мы любим. Это у нас в крови. Но как я буду здесь жить с женой? Я скоро женюсь... Как она будет здесь рожать и вскармливать ребенка? Я родился в кочевье, знаю, что это такое...

Тагро молчал. Почувствовав его досаду, Коравгэ тяжко вздохнул и пошел к Тильмытилю, заарканившему быка. Тагро вслушивался в неумолчный шум пасущегося стада и думал

о словах Коравгэ. Да, здесь многое осталось от прежнего кочевья, старикам, может, и нравится многовековой уклад пастушьей жизни. Но как быть Коравгэ? Оказалось, что проблемы оленеводства стали самыми беспокойными. А он, Тагро, весь в другом: строятся морские порты, аэродромы, промышленность цветных металлов набирает такой размах — только успевай поворачиваться. Все это хорошо, но надо помнить, что значит олень для Чукотки, да и не только для Чукотки: оленеводство — немалый вклад в богатство всей страны. Конечно, нельзя сказать, что тут все осталось без перемен. Возникли крупнейшие оленеводческие хозяйства, поголовье оленей по сравнению с довоенным уровнем удвоилось. Все большую роль стали играть такие люди, как Тильмытиль,— ветврачи, зоотехники. Но быт, уклад... тут мало что изменилось.

А Коравгэ собирается жениться, растить детишек... Можно понять, почему он так болезненно приложил руку к сердцу...

Практиканты вместе с Тильмытилем повалили быка на бок, принялись осматривать его копыта. Подушечки под копытами, на которых к зиме вырастает густая жесткая шерсть, были в порядке, значит, олень прихрамывал по другой причине.

— Наверное, потянул ногу,— предположил Коравгэ.— Вот эту. Видите, как ему больно?

— Молодец! Все правильно.— Тильмытиль похлопал Коравгэ по спине, присел на корточки, провел пятерней по заиндевелой гриве вздрагивающего и хрипящего оленя, росшей снизу его могучей шеи.— А грива, грива какая! Ну, кто из вас знает, зачем природа одарила оленя такой гривой?

— Для красоты,— пошутил один из практикантов.

— Для красоты у тебя скоро усы вырастут,— ответил шуткой Тильмытиль.— Грива оленя — прекрасный теплоизолятор. Кому из вас приходилось смотреть на волос оленя в микроскоп? Не смотрели? Э, тогда вы не знаете, что в волосе оленя есть пустоты, наполненные воздухом. Волос и тепло удерживает, и помогает оленю быть отличным пловцом. Плывет через реки, лагуны и чувствует себя так, будто у него спасательный пояс. Ну, снимайте аркан. Пусть пасется. Посмотрим еще два-три дня, может, и поправится нога...

«Не знаю, поправится ли нога у быка, а вот парней этих он может поставить на ноги,— размышлял Тагро.— Завтра же поеду с ним дальше, посмотрю, как принимают его в других бригадах».

После того как объездили всю Тынупскую тундру, Тагро

и Тильмытиль опять вернулись в стойбище Майна-Воопки. Практиканты к тому времени уже уехали.

— Ну что, будет ли из них хоть один настоящим чавчыв? — спросил у Майна-Воопки Тагро. Тот долго молчал. И только тогда, когда допил чашку чая, скупо сказал:

— Коравгэ будет.

— Коравгэ?!

— Да. Едва из стада затащили в ярангу просушить одежду. Я подарил ему свой аркан...

— А ты мне подаришь свой каменный молоток,— неожиданно сказал матери Тильмытиль, не сводя с нее грустного и нежного взгляда.

Пэпэв, отрываясь от шитья, медленно подняла уже совсем седую голову, удивленно спросила:

— Молоток?

— Да. Молоток.

— Зачем он тебе?

— Надо...

— Нет, в самом деле: зачем тебе каменный молоток? — спросил Тагро, стараясь понять, чему так странно улыбается Тильмытиль.

— Ты видел, как мама сегодня разбивала этим каменным молотком в моржовом лукошке мерзлое мясо нам на завтрак?

— Видел. Молоток, конечно, хоть сейчас сдавай в музей предметов каменного века. Но железным-то, по-моему, нельзу дробить мерзлое мясо, будет привкус железа.

— Да, будет привкус железа,— после долгого молчания ответил Тильмытиль.— Но в этом ли дело?

— О чем вы говорите? И почему по-русски? — спросил Майна-Воопка, починяя оленью упряжь.

— Я говорю о том, как уважаю тебя, отец, как люблю маму,— отозвался Тильмытиль почему-то очень печально.

— Ну, ну, тогда можно и по-русски, а то мама еще расплачется.

Пэпэв и вправду всплакнула. Поправила огонь в светильнике и снова склонилась над шитьем.

— Коравгэ сказал мне, что собирается жениться,— промолвил Тильмытиль с прежней печальной улыбкой.— Привезет жену в кочевье. Представляю, как она испугается каменного молотка...

— Что он тебе дался, этот молоток?

Тильмытиль только вздохнул в ответ и перевел разговор на другое.

Через несколько недель он приехал в Певек на районное

совещание оленеводов и, когда наступил его черед идти на трибуну, подошел к столу президиума, расстегнул портфель, вытащил каменный молоток — подарок матери — и положил прямо перед председателем райисполкома.

— Что это значит?— строго спросил Тагро. Взял молоток, покрутил его во всеобщей тишине, даже зачем-то понюхал.

Тильмытиль между тем взошел на трибуну и все с той же своей невеселой улыбкой спросил:

— Ну, чем пахнет?

Тагро чуть было не вспылил, но одолел себя и сказал шутливо по-русски:

— А ты, оказывается, фрукт! Что ж, возможно, это и хорошо, что на Чукотке стали вызревать такие «фрукты». Это, в конце концов, может быть, самый главный наш урожай. Я понимаю, ты требуешь коренным образом изменить быт оленеводов.

— Да, требую!— по-русски же ответил Тильмытиль. Выждал, когда в зале утихнет гул одобрения.— И не один я требую! Где современные поселки в глубокой тундре? Чтобы дома были нормальные, баня, книги, радио. Где обещанные палатки из специальных материалов — такие, как у полярников, что на льдинах дрейфуют? В других районах появились на кочевых путях перевалочные базы. Дома стоят, склады. Там тебе и радио, и книги, и кинофильмы. Почему у нас нет этого? Или вот еще другой выход. У буровиков, допустим, сменные бригады доставляют вертолетами к месту работы за десятки, а то и за сотни километров. Почему бы и нам не сделать такие вот сменные бригады?

— На вертолетах?— насмешливо спросил Тагро.

— На вертолетах.

— Так они же всех оленей распугают,— попытался отшутиться Тагро.

— Пошутить, председатель, я тоже люблю, но давайте говорить серьезно.

— Да уж, что ты шутник, это всем видно,— со значением сказал Тагро и увесисто помахал каменным молотком.— Я помню, как ты у своей матушки выпрашивал этот подарочек. Думал, так, шутит сыночек, а он, оказывается, себе на уме. Придется эту каменную штуку в сейф спрятать...

Тильмытиль рассмеялся.

— Спрячь, председатель. И время от времени доставай и нюхай, пока наши дела оленеводческие на современную ногу не поставим. Я могу об этом сказать и по-чукотски, думаю, получится не хуже. Но меня, наверное, здесь поняли все.

И зал ответил Тильмытилю долгим рукоплесканием. Расшибал себе ладони и председатель райисполкома. «Видал, какой вызрел «фрукт»! Молодец!— мысленно нахваливал он Тильмытиля.— Побольше бы нам таких»...

7

Вот какую историю имел в виду председатель райисполкома, напомнив Ятчолю, что Тильмытиль тоже умеет посмеяться.

— Он тебе такой шуткой ответит, что над тобой даже нерпы будут смеяться.

— Молодой он еще. Не буду я ему подчиняться,— упрямо повторил Ятчоль и покинул правление колхоза, рассерженный тем, что такой важный очоч, как председатель райисполкома, не внял ни одному его совету.

Тагро проводил его насмешливым взглядом.

— Так вот, председателем будет Тильмытиль. Я знаю, со мной согласятся все,— сказал Пойгин и зачем-то открыл сейф, достал печать.

— Ты что, уже и печать решил сдавать? Нет, ты подожди, подожди. Не мы с тобой назначаем и снимаем председателей.

Пойгин подул на печать, с усилием прижал ее к чистому листку бумаги и долго смотрел на оттиск отрешенным взглядом. Потом сложил листочек в несколько раз и спрятал в кисет.

— Пусть это будет моим амулетом.

Нелегко согласились тынупцы с Пойгином, когда он заговорил о новом председателе. «Тильмытиль всем хорош, но нам нужен именно ты»,— уверяли его. Однако Пойгин был непреклонен. «Вы говорите, Тильмытиль молод. Но разве это плохо?— Поднял руки, растопырив пятерни, встряхнул ими.— Ему уже двадцать да еще десять! Разве это мало? Важно то, что он в свою молодую пору знает и умеет куда больше, чем мы, старики. К тому же он строг и добр. Не всем такое дано — быть строгим и добрым. Он никогда не надувается, как пыгпыг. Бывает так, посмотришь — важный человек, очень важный. А жизнь, как умка, царапнет его своим когтем, и становится ясно, что это пыгпыг. Нет, не пустой человек Тильмытиль, не пыгпыг. И если вы считаете, что и я не пустой, то пусть вам будет известно, что я в Тильмытиле хотел бы видеть самого себя. Считайте, что он Пойгин. Однако намного лучше, чем Пойгин, потому что он молод, а еще потому, что он не кто иной, как Тильмытиль. Волк учит волчонка быть

настоящим волком. Умка учит своего детеныша быть настоящим умкой. Я, человек, учил Тильмытиля быть тем, кем он стал. И если бы вы его не избрали, я счел бы, что вы изгоняете меня из вашей души, даже если бы я по-прежнему оставался председателем».

Последние слова Пойгина были для всех неожиданны. Но в то же время и убедительны. Нет, это были не просто слова — это были говорения. Пойгина не хотели изгонять из своей души охотники и оленеводы Тынупской артели, об этом, кроме Ятчоля, никто и помыслить не мог. А Пойгин, почувствовав, что с ним соглашаются, продолжил свои говорения с еще большей проникновенностью:

«Однако не только я учил Тильмытиля, но и вы — каждый в отдельности и все вместе — учили его. Поэтому Тильмытиль — это и вы. Это и школа, которая учила его, а потом еще и другая школа, институт называется, где научили его быть оленьим доктором. Учила его каждым днем своим вся наша жизнь. И если для вас все, что мы называем жизнью нашей, не просто пыгпыг, то вы должны избрать председателем Тильмытиля. В нем самый главный знак всего лучшего, чем мы стали и чем мы хотели бы стать. Я сказал все». Это, несомненно, были говорения, убедительную силу которых никто опровергнуть не мог. Потому председателем был избран Тильмытиль. Он сел за руль уже не вельбота, которым до сих пор управлял Пойгин, он сел за штурвал первого в артели сейнера.

Сейнер. Он пока один. Но это ведь сейнер! Осторожно, однако уверенно повел Тильмытиль не просто сейнер, а нечто такое, что Пойгину представлялось символом, каким была для него первая артельная байдара, которую он никогда не забудет. Неподалеку от штурвала этого сейнера сидел и Пойгин. Нет, он не подменял нового председателя и Тильмытиль не смотрел ему в рот, дожидаясь подсказки. Но мудрому совету всегда был рад. А советовать Пойгин умел. Порой так искусно подавал совет, что не каждый и догадывался, от кого же исходит столь мудрая мысль: казалось, что именно от того, кто в ней больше всего и нуждался.

Шел год за годом, и все убеждались, каким оказался прозорливым Пойгин, воспитав такого преемника. Если ты убедился, что сын твой идет верной тропой впереди тебя, можешь быть спокойным, что твоя тропа не оборвалась. Недаром Пойгин считал Тильмытиля родным сыном. Все чаще и чаще он мысленно вглядывался в его тропу, присев где-нибудь на холме или забравшись на торос в своих неутомимых

охотничьих походах. Особенно любил он об этом думать в пору предвестия круглосуточного дня, когда вечерняя заря сходилась с зарею утренней, изгоняя ночь за черту печальной страны вечера. Не так ли и его жизнь, которую можно уподобить вечерней заре, сошлась с молодой жизнью Тильмытиля, похожей на утреннюю зарю? Сошлись их зори и, быть может, изгнали что-то похожее на мрак неведения, неуверенности и еще, как любит говорить по-русски Тильмытиль, застоя. И не байдарой теперь управляет Тильмытиль. Сначала пересел на вельбот, потом на сейнер. Охотники теперь способны идти не только на тюленя, моржа, но и на кита! Не на веслах уходят в море охотники, не под парусом. Моторы, дизели мчат их в море! Вот теперь какой руль в руках Тильмытиля. Нет, что и говорить, Пойгин вовремя уступил ему свое место. Его заря вовремя слилась с зарею Тильмытиля.

Сидел Пойгин на возвышенности, покуривал трубку и наблюдал истинное чудо — изгнание ночи. Вечерняя заря зажигала полнеба. И тут же утренняя заря зажигала вторую половину неба. И все сущее в этом мире как бы очищалось в тихом, спокойном огне. Птицы парили бесшумно, словно бы не прилагая никаких усилий для своего полета. Звери, как и человек, выбрав место повыше, в тихом изумлении смотрели на встречу двух зорь. И только волки, которым заря всегда подает какой-то великий знак, поднимали кверху морды и принимались выть. Что их заставляло так настойчиво возвышать свой голос, который, казалось, исходит из самой глубины их существа? Может, они кого-нибудь пугали? Но Пойгин не раз видел волчий лик в пору встречи вечерней зари с утренней: в нем не было ничего устрашающего, скорее наоборот, в нем было что-то похожее на счастливое самозабвение, когда невозможно хищно оскалить клыки, тем более пустить их в ход. А еще думалось Пойгину, что волки в это мгновение страшно тоскуют по встрече с любым живым существом, по мирной, доброй встрече. И не зря же они так доверчиво откликаются на любой ответный зов, даже если он мало похож на их волчий вой. Порой Пойгину казалось, что волки, когда они воют на зарю, как бы говорят тем самым: «Тытваркин — я есмь, я пребываю в этом мире». И Пойгину тоже хотелось встать и громко крикнуть им в ответ: «Тытваркин!» Да, он тоже пребывает в этом мире, и хорошо, что, кроме него, есть много иных существ, и все, все они имеют возможность видеть, как вечерняя и утренняя зори изгоняют ночь, как сгорает в чистом зареве призрак луны — светило злых духов.

Рядом с Пойгином часто смотрел на встречу двух зорь Линьлинь — и тогда, когда был еще зрячим, и когда уже был ослеплен. Он и слепой смотрел на огонь двух зорь и, подняв морду, чуть раскрывал рот — выл без голоса. Из горла его вырывалось лишь надсадное шипение или слабый хрип, было похоже, что он давится собственным голосом. Пойгин внешне бесстрастно наблюдал за волком, но сам готов был завыть вместо верного друга. Мучительная жалость и чувство вины перед волком заставляли Пойгина искать спасения в очистительном огне двух зорь. Он наблюдал за их неотвратимой встречей и мысленно произносил свои говорения в честь солнца: «Я смотрю на вечернюю зарю, равно как и на зарю утреннюю, и говорю: счастлив я, что еще пребываю в этом мире. Я смотрю, как сгорает призрак луны в солнечном огне, и говорю: пусть будет проклят Скверный, ослепивший волка. Сгорает призрак луны, сгорает и зло Скверного до белой золы, и приходит искупление. Твой огонь, солнце, породивший две зари, таков, что его не может не увидеть даже ослепленный волк. Пусть видит Линьлинь твой огонь, солнце. Пусть простит меня волк, что я не уберег его от злого поступка Скверного по имени Ятчоль. Пусть простит меня Линьлинь за то, что я унес его волчонком в мешке из волчьего логова. Но вот взошли две зари, и оказалось, что они сестры, способные изгнать мрак ночи. Вот и я, человек, встретился с волком. Пусть это будет означать, что мы изгоняем злого духа вражды и страха. Пусть вражда и страх не разделяют человека и зверя. Да, я знаю, что человек всегда будет идти по следу зверя, а зверь — по следу другого зверя. Бывает, что и зверь идет по следу человека. Так уж предопределено в этом мире. Но тем более необходимо, чтобы Линьлинь теперь вот, когда вечерняя заря встречается с утренней, сидел как друг со мною рядом. Мы готовы перед ликом мироздания ответить за все... Да, я говорю, ничего и никого не остерегаясь: мы готовы...»

И Линьлинь, словно желая подтвердить свое согласие с человеком, приручившим, но не унизившим его, опять хрипел, подняв к небу морду и вытянув шею. Может, волчий вой, который жил в Линьлине, потому никак не мог прорваться наружу, что прирученный зверь боялся накликать волчью стаю: тогда обнаружилось бы, что между человеком и волком существует извечная вражда. А Линьлиню так не хотелось вражды в пору изгнания ночи, когда он, даже незрячий, видел огонь двух зорь.

Человек понимал волка. Человек курил трубку, кивал задумчиво головой, человек соглашался, что не надо вражды.

Пусть олененок, который умеет затаиться, словно бы сливаясь с тундрой, останется не замеченным волком. Пусть куропатка не попадется на зубы песца. Пусть собаки, выпущенные человеком, не догонят медведицу с ее медвежатами. Пусть не прольется кровь хотя бы в этот миг, когда вечерняя заря встречается с зарей утренней, одолевая рубеж печальной страны вечера. Пусть это будет миг великого прощения и прозрения. Пусть в этот миг в голове каждого разумного существа, именуемого человеком, возникнет спасительная мысль, что в этом мире, в котором он пребывает, все должно быть справедливо и разумно.

Так думал Пойгин, сидя на холме, очищая себя огнем зорь. На багровом фоне четко обозначились далекие черные точки: это летели со стороны моря два ворона. Как знать, может, они только что покинули голову умки. Где-то там, во льдах берегового припая, сидел на задних лапах умка, смотрел на встречу двух зорь и думал о своем. И думы его, превратившись в воронов, полетели к человеку, чтобы пожелать ему долголетия и мудрости. Этот человек, по имени Пойгин, ни разу в своей жизни не выстрелил в медведицу и ее детенышей. На этого человека можно надеяться. Пусть вороны, в которых превратились думы умки, скажут ему об этом...

Все ближе, ближе вороны. Вот они прокаркали уже над самой головой человека. Внимательны глаза человека. Обычно, когда над ним каркает ворон, в его глазах можно уловить суеверный страх: не накликал ли черной беды? Но в этот миг встречи двух зорь человек был спокойным, ему не хотелось думать о беде, ему хотелось верить в добро.

На горизонте клубились тучи. В воображении Пойгина они превращались в живые существа. Плывут в чистом огне медногогие олени, а вон взмахнул арканом пастух. Сверкнул аркан солнечным лучом, захлестнул сердце Пойгина. Однако не больно сердцу. Оно послушно солнечному аркану. Словно бы верный друг Майна-Воопка подал Пойгину знак своей дружбы и преданности. Пусть еще много лет живет настоящий чавчыв Майна-Воопка. Пусть те два ворона, которые недавно прокаркали над головой Пойгина, пролетят и над Майна-Воопкой и пожелают ему долголетия. А вон дочь Кэргына — Женщина из света. Выплыла улыбчивым ликом, подтверждая свое явление из солнечного света. Из ее смеющихся глаз вылетели стрелы солнечных лучей. И угодили все стрелы прямо в сердце Пойгина. Но не больно сердцу. Мягко и тепло сердцу. Хорошо, что есть Кэргына. Хорошо, что есть Антон. Хорошо, что есть три внука и скоро будет четвертый...

Но что это? Почему так стало беспокойно Пойгину? Снова над его головой пролетело два ворона. И один из них как будто бы сказал: «Кайти!» И второй тоже сказал: «Кайти!» Тучи на красном фоне двух зорь образовали высокую, очень высокую гору. И на самой вершине ее вдруг встала Кайти. Словно поднялась с каменного ложа, куда он отвез ее много лет назад. Манит Кайти Пойгина к себе руками и, похоже, о чем-то спрашивает. Слева, где-то внизу, сидит Мэмэль. Обхватила голову руками и качается из стороны в сторону. Кайти показывает на нее и по-прежнему о чем-то спрашивает. И пронзила Пойгина догадка: Кайти хочет знать, не нашлось ли ее письмо, которое стало амулетом. Да, нашлось! Нашлось! Его вернула Мэмэль. Это она похитила у Пойгина кисет, узнав, что в нем хранится письмо Кайти. Потом, много-много лет спустя, пришла Мэмэль в дом Пойгина и протянула с виноватым видом спичечный коробок, перевязанный нитками из оленьих жил. Вот, вот он!

Пойгин торопливо достает кисет, извлекает из него спичечный коробок, развязывает нитки. Он знает, что Кайти ему только воображается, но волнуется так, как будто Кайти предстала перед ним живой. Вот, вот оно, ее письмо. «Я шью тебе торбаса. Палец уколола иглой. Люблю тебя. Я разжигаю костер. Огонь горит. Горит огонь. А я тебя люблю. Тебя рядом нет. Воет волчица. Значит, тоска. Значит, я тебя люблю. Скорей приходи. Я сказала все». Слова эти Пойгин знает наизусть. Они доносят до него голос Кайти. Шелестит листочек бумаги, а Пойгину кажется, что это вздыхает его Кайти. Ах, как хорошо, что две зари, изгоняющие ночь, подарили Пойгину воспоминания о Кайти. Это диво просто, как хорошо...

Пойгин достает из коробки другой листок, сложенный много раз, осторожно разворачивает. На листке оттиск его председательской печати. Это теперь тоже амулет. Спрятав оба амулета в коробок, Пойгин аккуратно перевязывает его нитками из оленьих жил, прячет в кисет, предварительно набив из него трубку табаком.

Дымится трубка. Текут, как дым, изменчивые мысли Пойгина. Вон в той стороне, где поднимается гряда высоких холмов, должны быть норы песцов. Надо бы пройтись там, приглядеться. Кажется, даже отсюда видно, как пробегают, будто тени, уже линяющие песцы. Может, проверяют свои тайники? Пойгина всегда поражало то, что песцы заготавливают пищу еще в летнюю и осеннюю пору, но не для себя, а для потомства, которое у них пока даже не зачато. Это

лишь потом, когда пройдет долгая зима и наступит весна, когда останутся позади брачные страсти, родятся те, для кого запасалась пища. И как бы ни был голоден песец зимой, пусть даже смерть голодная настигает его, он ни за что не раскопает тайник: это не для него, это для будущего потомства, которое пока даже не зачато.

Однажды Пойгин рассказал об этом Антону и Журавлеву. Изумленные, они долго о чем-то говорили по-русски, а Кэргына потом перевела их разговор отцу. Оказывается, их поразила забота этого зверька о своем потомстве, и они пожелали человечеству заглянуть на много лет вперед, подумать о благополучии будущих поколений. Ведь если это умеет даже зверь, то каков же должен быть человек!

Поглядывал Пойгин в сторону гряды холмов и, кажется, кожей видел мелькающие тени суетливых песцов. Не один раз он наблюдал, как песец утрамбовывал носом свои тайники. Крутится без устали и все тычется и тычется носом в землю, а потом прикроет заветное место травкой, разного хлама туда натаскает. И ни за что не догадаешься, где тайник.

А до этого рыл песец землю, добирался до вечной мерзлоты. Вот яма и готова. И тащит, тащит песец — то птицу, то птенца — и аккуратно складывает в рядок, хвостами ровненько в одну сторону, а клювами в другую. Тут же и яйца птичьи уложит по двадцать штук, а то и два раза по двадцать. Аккуратно уложит на птичий пух, чтобы остались целы до нужного дня, когда придет пора все это скормить потомству.

Да, правы Антон и Журавлев, очень правы: человеку есть чему поучиться даже у этого зверька.

Поглядывает в сторону гряды холмов и незрячий Линьлинь: чувствует волк, что у песцов начинаются брачные страсти. И хотя он уже стар, все равно непонятное волнение возбуждает его, и он опять пытается выть.

То была последняя весна в жизни Линьлиня. Пойгин еще не знал, что пройдет чуть больше полугода, и он расстанется со своим верным другом в торосах застывшего моря. Умрет Линьлинь. И придет в голову Пойгину, что пора умирать и ему. Да, пора, тем более что дочь опять ждет внука, в живой сути которого так хотелось Пойгину возвратиться на землю из Долины предков...

8

Но не рано ли умирать? Может, Кэргына права: не лучше ли дождаться четвертого, пятого, а там и шестого внука? «Ого! Вот это ты разохотился!» — мысленно воскликнул Пойгин, опуская ноги с кровати на медвежью шкуру. В комнате внуков звучало радио. Веселая музыка подмывала Пойгина повторить то, на чем застигла его дочь: должен ведь он все-таки понять, в чем секрет русской пляски. А то так и умрет, не утолив своего давнишнего желания.

Искренне страдая, что не может одолеть эту странную прихоть, Пойгин опять вышел на середину комнаты, с конфузливой улыбкой поддернул кальсоны и начал выделывать ногами немыслимые движения, пытаясь подчинить их ритму развеселой музыки. Он очень старался, злясь на то, что кальсоны все время спадали и тесемки путались в ногах. Он готов был подпоясаться ремнем и оборвать тесемки, но музыка могла закончиться, а без нее не было никакого смысла пытаться постигнуть и без того непостижимое.

И что за наказание! Именно в то мгновение, когда вроде бы ноги его начали подчиняться ритму, дверь отворилась, и на пороге возник почтальон Чейвын.

— Что с тобой происходит? — изумленно спросил Чейвын, уже пожилой человек, носивший очки. Медленно сняв очки, он попытался объяснить свое недоумение: — Похоже, ты решил на старости лет заняться пис-куль-турой, как это делают школьники прямо перед окнами моей почты.

— Да, да, я занимался пис-куль-ту-рой! — с запинкой выговорил трудное русское слово Пойгин, радуясь тому, что нашелся выход из его затруднительного положения. — Умирать собрался, долго лежал, ноги затекли. Вот и вздумалось мне как следует потоптаться. Сам знаешь, путь в Долину предков не очень короткий...

— Ты шутишь или говоришь как серьезный человек? — спросил Чейвын, то надевая, то опять снимая очки.

— Может, шучу, а может, и не шучу...

— Ну, если не шутишь, то получи телеграмму. Не каждому перед уходом в Долину предков приходит телеграмма. — Чейвын с важным видом полез в почтальонскую сумку. — Вот она, получи. А тут распишись...

Крайне изумленный, Пойгин крутил в руках жесткий листок бумаги с наклеенными ленточками, на которых были напечатаны буквы.

— Прочти, ты в очках.

— Сначала распишись. Возьми мой карандаш. Вот здесь. Да куда ты? Совсем с тропы сбился...

— Тут собьешься. Видишь, руки трясутся. Очень волнуюсь. От кого телеграмма?

— От Артема Медведева!

— Так чего же ты молчишь! — закричал Пойгин. — Скорее читай!

— Слушай! — Чейвын неторопливо поправил очки на носу, выводя Пойгина из себя своей медлительностью. — Слушай. «Тынуп. Пойгину. Прилетел Москвы Анадырь тчк Через несколько дней прилечу Тынуп тчк У меня большие добрые вести тчк Они будут ответом твое письмо тчк Артем Медведев».

Пойгин, забыв подтянуть кальсоны, стоял посреди комнаты.

— Артем. Прилетает Артем! А я собрался было умирать. Значит, вспомнил о моем письме, вспомнил...

— Что это за письмо? — несколько ядовито спросил Чейвын. — Весь Тынуп о нем говорит, особенно Ятчоль.

— Ятчоль наговорит. Что такое «тчк»?

— Ну, точка. Бывает еще зпт — запятая значит. Забыл, что ли, как нас учили?

— Да, да, запятая, — машинально повторил Пойгин. — И еще восклицательный знак. И вопросительный тоже. — И вдруг, словно что-то вспомнив, ринулся к двери, закричал: — Кэргына! Где ты?! Прилетает Артем! Отец Антона прилетает!

Кэргына едва не столкнулась с отцом на пороге, взяла телеграмму.

— Вот это радость. Через несколько дней прилетит. Может, к тому времени я и внука рожу...

Чейвын ушел. Пойгин опять лег на кровать, все вертел и вертел в руках телеграмму, думал о Медведеве. Видел он его три года назад, в Москве. Когда Пойгин летал во второй раз в Москву получать Золотую Звезду — Медведева там не оказалось: был он в гостях у гренландских эскимосов. Но та первая летняя встреча в Москве Пойгину теперь вспоминалась, как сон.

Прилетел Пойгин в Москву поздним вечером. Когда самолет начал снижаться, он прильнул к иллюминатору и едва не вскрикнул: ему почудилось, что самолет летит вверх колесами, потому что перед глазами вдруг оказалось звездное небо. Но какие здесь странные звезды! Убедившись, что

самолет летит нормально, Пойгин подумал: «Так что же это такое, неужели Москва?»

Сосед по креслу, пожилой русский человек, наклонился к иллюминатору и сказал восторженно:

— Москва! Море огней!

Москва?! Все-таки это действительно Москва светится неисчислимыми огнями, как небо светится звездами! Пойгин, такой всегда бесстрастный в минуты волнения, сейчас был похож на суетливого мальчишку. Он то прилипал лбом к иллюминатору, то поворачивал голову к противоположному борту, прикладывал руки к ушам, чувствуя, как их заложило. Что, если он от волнения вдруг оглох? Но сосед тоже прикладывал руки к ушам и повторял, стараясь разглядеть в иллюминатор море московских огней:

— Матушка столица. Ох, как давно я не был в Москве! Море огней...

Когда Пойгин вышел из самолета, перед его глазами открылся как бы неземной мир. Все, все здесь было невероятно — и здание аэропорта, и множество самолетов, и необычайно жаркий воздух, несмотря на то, что была ночь. Пойгин высоко поднимал ноги и шел по трапу так, как, наверное, шел бы по другой планете, если бы его туда вдруг занесло. Сколько тут людей! Среди них должен быть и Артем: в телеграмме обещал встретить. Но как они найдут друг друга в таком скопище людей? Однако Артем словно из-под земли вынырнул, обнял Пойгина по-медвежьи.

— О, ты пришел!— воскликнул он, приветствуя дорогого гостя по-чукотски.— Я вижу, ты не совсем уверен... в земном ли мире пребываешь?

— Да, показалось, что земля осталась там, откуда я взлетел,— признался Пойгин, вытирая потное лицо чистым платком, как напутствовала его Кэргына.

Когда проходили сквозь огромное стеклянное здание, Пойгин едва не свернул шею, вращая головой: все, все здесь было удивительно. Он по-прежнему высоко поднимал ноги, словно разучившись ходить по-земному. Опять вышли на улицу. И тут тоже вокруг были истинные чудеса. Огромной высоты дома светились бесчисленными окнами. Пойгин задирал голову, и ему казалось, что он попал на морской берег, уходящий ввысь крутыми утесами. И сидят на этих утесах ровными рядами невидимые птицы, у которых светятся огромные глаза. По улицам текли реки огней, в одну сторону светлые, в другую — красные. Нет, это не похоже на земной мир. Неужели он видит ту самую Москву, которую в годы

войны с такой тревогой искал на карте? Маленький красный кружочек... Солнышко. А это... это оказалась целая вселенная...

Медведев чувствовал, насколько Пойгин ошеломлен встречей с невиданным, догадывался, что на какое-то время тот может оказаться даже подавленным. И первый же вопрос Пойгина подтвердил его опасения.

— Куда гонится это железное стадо?

— Ты про автомобили?— спросил Артем Петрович, выкраивая время для ответа.— Конечно, сначала тебе покажется даже страшным такое множество машин. Особенно когда будешь переходить улицы. Но тут, поверь мне, во всем разумный порядок. В чем суть его, я тебе объясню. Видишь, все автомобили, как и наш, остановились, и люди спокойно переходят дорогу?

Пойгин напряженно всматривался в проходящих мимо людей. На этот раз его поразило, что их так много. Потом, на второй, на третий день жизни в Москве, Пойгин поймет, что людей тут неизмеримо больше, чем увидел он в те поздние вечерние часы. Да, он знал, что здесь живет много народу, но что так много — этого он не мог вообразить даже тогда, когда смотрел на небо и думал о звездной неисчислимости. Оказывается, есть еще и людская неисчислимость. Это где же взять столько пищи, чтобы всех накормить? Где взять столько одежды, чтобы всех одеть?

Было первое время на душе у Пойгина такое чувство, что он всего лишь крошечная песчинка в этом огромном людском море; и если бы вдруг с ним что-нибудь случилось, ну попал бы под автомобиль, что ли, то никто и не заметил бы его исчезновения в этом мире, кроме Артема Петровича, который все-таки знает, что Пойгин не песчинка, а человек. Отчужденность людской толпы казалась Пойгину невыносимо обидной, он ловил себя на том, что ему хотелось остановить хоть одного человека, заглянуть ему в глаза и спросить: «Рад ли ты меня видеть? Я же первый раз в Москве. Знал бы ты, как я много думал о Москве, когда к ней подступали росомахи». Впоследствии нашлись такие люди, которым Пойгин мог сказать эти слова; чуткий, внимательный Медведев, читавший мысли своего старого друга, испуганного, подавленного чукчи, делал все возможное, чтобы тот чувствовал себя по-иному. Но это будет впоследствии, а пока Пойгин ощущал себя именно песчинкой. Такая мысль пришла ему в голову уже тогда, когда он остановился перед громадиной-домом, услышав шутку Медведева: «Вот и моя яранга».

Ничего себе яранга!

— Где же твой огонек?— робко спросил Пойгин, задирая, насколько возможно, голову.

— Высоковато. На тринадцатом этаже. Почти под самой крышей. Впрочем, крыши в этом доме нет...

— Как же ты туда ходишь? Помнится, ты не слишком хорошо лазал по скалам, когда мы с тобой подбирались к птицам. Все за сердце хватался.

— Сейчас увидишь...

В квартиру Артема Петровича поднимались в каком-то ящике, который неведомая сила поднимала вверх. А ну, ну, что за жилище у Артема? В нем не однажды жила Кэргына с Антоном, покидая Тынуп и на год, и на два. Артем надавил на какой-то кружочек, послышался звон. Дверь отворилась, и на пороге показалась Надежда Сергеевна. Обняла Пойгина, чмокнула в щеку, потом еще и еще раз.

— Ты ли это, гость дорогой? Вижу, устал, очень устал. И, кажется, растерялся...

Пойгин смущенно улыбался и рассеянно вертел головой. Наконец остановил взгляд на яркой люстре в большой комнате. Долго смотрел на нее мигая. Значит, в море огней, которые он увидел с самолета, светились маленькой звездочкой и эти огни. Перевел взгляд на огромные шкафы до самого потолка, заполненные множеством книг.

— Ка кумэй!— изумился Пойгин.— Это сколько же надо жизней прожить, чтобы прочитать столько книг?

— Надо успеть в одну жизнь,— ответил Артем, поглаживая уже седую бороду.

Пойгин знал, что его сват называется ученым, пишет книги о людях, которые живут, как и чукчи, в холодных краях.

За ужином Артем и Надежда Сергеевна расспрашивали о сыне, о внуках, о Кэргыне. Пойгин успокаивал, мол, все у них там хорошо. Артем кивал головой и приговаривал по-русски:

— Ну и слава богу, слава богу.

— Да, совсем забыл, Антон передал письмо.— Пойгин, изменив своей степенности, суетливо полез в карман, достал письмо.— И Кэргына сказала по-русски... что посылает вам большой привет.

— Спасибо, большое спасибо!— благодарила Надежда Сергеевна.

— Как я хочу их всех увидеть,— вздыхал Артем.

Ночь Пойгин провел в сновидениях, едва чем-либо отли-

чавшихся от увиденной им яви, в которой тоже все было фантастично, быстротечно, непонятно.

С этим чувством ехал он утром по Москве вместе с Артемом Петровичем на говорения великих охотников. Вот когда он мысленно схватился за голову, увидев столько народу на улицах.

— Кто из этих людей знает, что ты есть ты?— спросил Пойгин, удивленный тем, что на Медведева никто не обращает внимания. Ну, пусть не видят его, Пойгина, он здесь впервые, но Артем-то здесь живет много лет!

— Знакомого на улице встретить трудно. Даже в доме, в котором живу, далеко не все люди знают друг друга. Но все равно, если по всей Москве собрать моих друзей, то их будет куда больше, чем жителей в Тынупе вместе с полярной станцией и аэропортом.

Пойгин помолчал, наблюдая из автомобиля за людскими толпами, что-то трудно осмысливая.

— Возможен ли хоть какой-нибудь порядок, когда так много людей?

— Как видишь, ничего плохого на улицах не происходит. Мало того, чем больше людей, тем больше возможности находить рабочие умелые руки, умные головы, добрые сердца. А когда шла война с фашистами... разве не радовало тебя, что у нас было столько воинов?

— Да, когда смотрел в кино, изумлялся и радовался, что у нас так много чельгиармиялит.

— Вот-вот, потому ты и должен почувствовать себя не маленьким и бессильным в людской толпе, а большим и сильным. Надо слиться душой с этими вот парнями и девушками, с этими вот солдатами, с этими вот двумя стариками, что сидят на лавочке, с каждым человеком из огромной толпы. Слиться душой и каждому пожелать добра...

Пойгин ответил не сразу, как-то мягчея лицом и умиротворяясь:

— Да, ты прав. Надо пожелать всем добра. Для этого надо иметь в себе много добра... Разве они виноваты в том, что не знают, кто я такой? Я тоже не знаю, кто такие те старички... Но мне хотелось бы посмотреть им в глаза. Я белый шаман. Я должен знать, что на душе у каждого человека. А вдруг этим старичкам понадобилась бы моя помощь?

— Ты имеешь право думать, что приходишь на помощь каждому хорошему человеку. Даже незнакомому.

— Почему я могу так думать?

— Ты честно трудишься. Ты делаешь добро. Вот на гово-

рении великих охотников ты будешь убеждать не просто одного, двух людей, а все человечество, что зверей надо добывать с умом, что, допустим, моржей, медведей нельзя истреблять. Об этом будет твоя речь. Так я тебя понял. И если ты тем самым подвинешь все человечество хоть чуть-чуть к мысли, что ты глубоко прав, то, значит, сделаешь столько, что это будет даже трудно оценить...

— Разве может понять меня все человечество?

— Когда говоришь ты, другой, третий, когда собираются вместе такие, как ты, вас не может не услышать сначала наша страна, а через ее голос все человечество. Вы не зря приехали именно в Москву со всего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

И уже потом, когда Пойгин сидел в президиуме собрания людей, в руках которых была судьба всего охотничьего и звероводческого дела страны, он понял, насколько был прав Медведев. Здесь происходили именно те говорения, которые необходимо было слышать всем людям на земле. Настоящие охотники, те, кто не только добывает больше всех зверя, но те, кто при этом знает, когда и какого добывать зверя, чтобы не прервался его след на земле. Человек, однажды навсегда потерявший из виду след исчезнувшего зверя, может сам завыть волком от тоски и предчувствия беды: плохо, когда в доме пахнет покойником, а земля — наш дом...

Эту мысль выступавшего на совещании ученого-охотоведа Медведев перевел Пойгину, и тот подумал потрясенно, чувствуя, что у него пробежал холод по спине: да, такие говорения должно слышать все человечество. Вскоре и Пойгина попросили высказать свои мысли. Переводил его Артем Петрович, стоя рядом с ним за трибуной.

— Я не знаю, верите ли вы, что в наших северных морях вечно живет Моржовая матерь. Не каждому дано услышать, как она стучит в ледяной покров, как в бубен. Такое слышишь не просто ушами...

— Как видите, наш славный оратор обращается к человеческой совести,— добавил от себя Медведев, точно переводя каждое слово Пойгина.

— Настоящий охотник должен это слышать.— Пойгин на какое-то время замер, будто вслушиваясь в звуки того символического бубна.— Тогда никто не будет убивать моржей лишь затем, чтобы выломать их клыки. Я не знаю, все ли верят в то, что думы умки порой вылетают из его головы черными воронами. Но пусть все-таки люди послушают, о чем хочет сказать вещая птица. Может, она и вправду —

жуткая дума умки. Потому жуткая, что его теперь легко убить с самолета, из вертолета. Просто так убить, для забавы, чтобы сначала погонять его по ледяному полю, посмотреть, как он становится на дыбы и ревет перед смертью. Я когда-то думал, как много на свете птиц, как мало в сравнении с ними людей. Теперь, когда я увидел, как много на свете людей, я думаю, как мало в сравнении с нами птиц. А разве возможно жить и не видеть и не слышать птиц? У нас, на Чукотке, птицы меняют свои крылья. Я видел, как плохие люди скручивают головы птицам, у которых нет крыльев,— гусям, журавлям, лебедям. Пусть эти скверные люди послушают, о чем хочет сказать вещая птица ворон — жуткая дума умки. Если поймут — им станет стыдно и страшно. Я в своих говорениях накликаю вещую птицу на головы таких скверных. Накликаю беспощадно! Я сказал все.

Пойгин не один раз слышал, как ему рукоплещут люди. Но на этот раз рукоплескания изумили его. Значит, не пустые слова были у него. Значит, разъедутся эти люди по всей стране и скажут, почему и на кого он, Пойгин, накликает вещую птицу ворона. Смущенный и очень обрадованный, Пойгин ступил шаг от трибуны, пробираясь на свое место, и вдруг угодил в объятия ученого-охотоведа. Обнимал его пожилой, седой человек, и чувствовалось, сколько в нем доброты и силы.

Говорения великих охотников и звероводов продолжались два дня. На третий день Пойгин сказал Медведеву:

— Покажи мне те места, куда добирались в войну росомахи.

— Хорошо, покажу. Где стояли насмерть панфиловцы, покажу.

Мчался автомобиль через Москву, Пойгин вертел головой, всматриваясь в громады зданий, в переплетения мостов. На одном из мостов, который, казалось, висел в воздухе прямо над автомобилем, грохотал поезд. Пойгин невольно съежился, а когда пришел в себя, сказал:

— Не могу поверить, что все это сделали люди. Наверное, так было со дня первого творения.

— Нет, Пойгин, люди, люди все это сделали,— Артем Петрович показал на сквер.— И деревья эти насажали, и цветы, и мосты соорудили... А вот и начинаются те места, где были остановлены фашисты. Каменные памятники видишь? Это в честь тех, кто погиб, защищая Москву.

Пойгину вспомнились молчаливые великаны, с которыми

он разговаривал, поднимаясь в горы, чтобы посетить каменные стойбища. Это тоже молчаливые великаны, правда, судя по всему, их сотворили люди. Особенно потрясла Пойгина высеченная из камня мать, склонившаяся над убитым сыном. Пойгин подошел к ней, рукой дотронулся. Ему подумалось, что с этой каменной матерью, пожалуй, можно было бы поговорить так, как он привык беседовать с молчаливыми великанами; но тут было много людей, и каждый стоял молча и скорбно, и лучше было не нарушать тишины. И тогда Пойгин решил смотреть неподвижно на каменную матерь до тех пор, пока не покажется, что она хоть чуть-чуть шевельнулась: ведь удавалось же ему добится подобного, когда он смотрел и смотрел на молчаливых великанов. Шла минута за минутой, а Пойгин не отрывал немигающего взгляда от каменной матери и ждал, ждал, ждал, когда она хоть на мгновение оживет. И все-таки уловил тот удивительный миг! Кивнула ему едва приметно головой каменная матерь, благодарно кивнула за участие и добрую память о ее сыне. Пойгин хотел сказать об этом Артему Петровичу, но почему-то раздумал. И только вечером, когда пили дома чай, он сказал, глядя в одну точку:

— Каменная матерь кивнула мне головой...

— Да, эти камни живут,— задумчиво ответил Медведев, наливая Пойгину новую чашку чая.

— Антон мне говорил, что в Москве есть такое место, где собраны звери со всего света. И слон тоже там живет. Я хочу посмотреть...

— Да, есть, есть такое место. И умка там, и морж...

Изумленный Пойгин отставил чашку в сторону.

— Умка? Как же он терпит такую жару?

На следующее утро отправились в зоопарк. Пойгин попросил первой встречи не с умкой и моржом, а со слоном. Было похоже, что смотреть на своих зверей, попавших в неволю, он был не очень готов. Увидев слона, Пойгин замер от удивления, потом зачем-то присел, разглядывая его снизу. Пожалуй, он мог бы даже испугаться этой громадины столь диковинного вида, если бы не помнил рассказы Журавлева и Антона, насколько добр слон, когда его приручают. Бивни почти как у моржа. Вот и слонов, по рассказам Журавлева, убивают порой лишь затем, чтобы выломать его бивни. Надо, надо бы накликать вещую птицу ворона и на тех скверных, кто губит слонов.

Не скоро отошел Пойгин от слона, потом долго стоял у клетки с тигром, столько же у клетки со львом. Изумляли

его и другие звери. Как много их, и у каждого, конечно, свои повадки. И Пойгину так уж и не суждено знать их. А жаль. Но что поделаешь, невозможно одному человеку постигнуть все. Пусть каждый постигает свое, да только как следует.

— Ну что же ты не ведешь меня к моим зверям?— угрюмо спросил Пойгин.

— Я чувствую, что ты не решаешься подойти к ним. Я знаю, тебе будет очень больно...

— Да, будет больно. И все-таки пойдем...

Наконец Пойгин предстал перед умкой. Невольно приложил руку к сердцу. Немилосердная жара показалась еще страшнее, когда Пойгин стоял рядом с умкой, который мучился здесь, видимо, больше любого другого зверя. Артем Петрович чуть отошел в сторону, искоса окидывая Пойгина взглядом, полным сострадания. Умка стоял в клетке, высунув от жары язык, и раскачивался всем туловищем, не обращая ни малейшего внимания на людей. Пойгин никак не хотел поверить, что умка и на него не кинет хотя бы мимолетный взгляд. Ну как же так? Это же не простая встреча! Может, Пойгин один-единственный человек, находящийся в Москве, которому ведомо, что такое великий зверь умка!

Пойгин слегка зарычал, зафыркал, подражая, ко всеобщему удовольствию зевак, умке. И тот вдруг перестал качаться, поднял голову, принюхался. И можно было подумать, что пробудилось в глазах умки какое-то смутное воспоминание. Он замер, глубоко задумавшись, а потом снова начал раскачиваться, как прежде, безучастный ко всему, что происходило перед его глазами.

Встреча с моржом, плававшим в большом вместилище, наполненном водой, тоже больно отозвалась в сердце Пойгина. Морж плавал взад и вперед, верно бы надеялся вырваться в океан, фыркал, тяжко стонал. Иногда поворачивался на спину, смотрел в небо, и глаза его слезились: может, не выдерживал здешнего солнца, а может, от тоски плакал.

Артем ходил тут же, чуть поодаль, стараясь показать, что у него достаточно деликатности, чтобы не мешать Пойгину в его встрече со зверями, душу которых он понимал, как редко кто мог ее понимать. И уже потом, когда плыли на катере по Москве-реке, он сказал:

— Может, зря я повел тебя посмотреть на зверей?

Пойгин не торопился с ответом. Прикурив папиросу (трубку свою он почему-то стеснялся курить в Москве), сказал с грустью:

— Конечно, жалко зверей. Однако люди должны их видеть и думать о них. Если не видишь — не всегда помнишь.

Пойгин вытер разопревшее лицо, шею, с отчаянием посмотрел на солнце.

— Жарко тебе? — сочувственно спросил Артем и тоже вытер лицо платком. — Тут всем жарко.

— Хорошо Москву было бы построить... в наших местах, — не то пошутил, не то всерьез сказал Пойгин.

Медведев засмеялся, не стал возражать.

Вечером, когда Москва опять стала морем огней, сели в какое-то качающееся вместилище и начали кружиться вместе с огромным кругом — чертово колесо называется. Артем почему-то конфузливо улыбался, а Пойгин, поднимаясь все выше и выше, жадно оглядывал сверкающую огнями Москву и вспоминал свои путешествия по карте вместе с Кэтчанро. Мог ли Пойгин в ту пору предположить, что когда-нибудь увидит Москву, окунется в море ее огней? Крутилось и крутилось чертово колесо, и голова Пойгина кружилась, и замирала душа. И это плавное движение вверх, вниз и снова вверх напоминало ему качку в море, и он представлял себе, что плывет на сейнере, плывет по волнам самой жизни, и как хорошо, что Артем по-прежнему рядом. А тот ловил каждое мгновение, когда видел, что Пойгин приходил хоть немного в себя от встречи с невиданным, и все расспрашивал и расспрашивал о Чукотке, что-то записывал в блокнот, приговаривая:

— Порадовал ты меня, очень порадовал, многое изменилось у вас к лучшему. Но кое-чем и опечалил...

Еще несколько дней жил Пойгин в Москве, постигая ее с помощью Артема Петровича. По вечерам, когда возвращался в дом, выходил на балкон, долго смотрел на многоцветье огней, как бы укладывая в душе то, что увидел, чему изумился. Артем Петрович сидел тут же, рядом, на балконе, стараясь не нарушать задумчивость Пойгина.

— Не могу привыкнуть к тому, что летом здесь нет круглосуточного солнца, — признался в один из таких вечеров Пойгин. — И еще не могу привыкнуть к высоте. Если бы пожил здесь еще месяц, наверное, вообразил бы себя птицей и прыгнул бы с этого гнезда...

Пойгин постучал по перилам балкона, засмеялся.

— Кэргына любила сидеть на этом балконе. Часами смотрела на Москву.

— Да, она рассказывала. Теперь я буду ей рассказывать. До конца жизни хватит мне вестей, которые люди будут слу-

шать с открытыми ртами. Москва гудит во мне. Сначала она меня вобрала в себя, как маленькую частичку. Теперь я ее вобрал в себя, хотя она и огромная.

С этим чувством Пойгин и улетел домой. Когда самолет поднимался, жадно прильнул к иллюминатору, глядя на Москву, на ее окрестности уже сверху. Перед мысленным взором его все шли и шли несметные людские толпы, и он уже не чувствовал себя в этом море песчинкой. Он заглядывал людям в глаза, как смотрел бы на звезды, и соизмерял все, что было внутри его, с тем, что происходило вокруг. Он мысленно шел сквозь толпу, умудряясь как бы смотреть на себя со стороны, листая при этом атлас, который до сих пор хранил как самое дорогое, что было в его доме. Он шел теперь не только сквозь толпы людей, населявших Москву, он шел сквозь все человечество, он сын его, а все хорошие люди — его дети. Вот куда теперь простирается предел его познания всего сущего в мире. Земля круглая. И если бы не было морей, можно было бы идти и идти сквозь все человечество, чтобы вернуться в родной Тынуп уже с противоположной стороны. А в центре этого огромного круга, который обозначает самый крайний предел его познания всего сущего на земле, находится Москва, незыблемая, как сама Элькэп-енэр. Идет Пойгин сквозь все человечество, зная, что может сделать добро каждому хорошему человеку, и все время возвращается к каменной матери, у которой на руках ее убитый сын. И приглашает Пойгин все человечество остановиться перед каменной матерью и долго, долго смотреть на нее, пока не покажется каждому хорошему человеку, что она кивнула ему головой благодарно.

Уплывает самолет ввысь. Вот уже и земли не видно. Внизу облака, облака, облака, так удивительно напоминающие снега и торосы закованного льдами моря. Стучит в ледяной бубен Моржовая матерь, плывет животом вверх, как плавал морж в бассейне зоопарка. Ревет умка, поднимаясь на дыбы, смотрит с тоскою вслед улетающему Пойгину. Но есть, есть в глазах умки и надежда: должно быть, верит, что Пойгин в чем-то его спаситель. Кивает головой слон, размахивая ушами, и тянется его смешной хобот кверху: этот зверь, кажется, тоже верит, что Пойгин в чем-то его спаситель. Машет прощально рукой Артем Петрович, и губы его беззвучно шевелятся, Пойгин не слышит слов, но все равно понимает, в чем суть его наказов.

Улетал самолет все дальше от Москвы. Улетал Пойгин в своих думах в обратную сторону, улетал к Москве. Да,

Москва по-прежнему жила в нем. И если он не мог больше оставаться в ней, то был способен унести ее с собой. Он смотрел вовнутрь себя, где живут душа и рассудок, и приводил в соответствие то, чем был переполнен, с порядком самого мироздания. А скорбная каменная матерь, живущая теперь в нем, кивала и кивала ему благодарно головой, и это значило, что он признан ею как родной человек.

Когда Пойгин прилетел в Тынуп, то несколько дней больше молчал, размышляя над тем, какие вести он сюда привез. Потом день за днем изумлял своих слушателей удивительными рассказами, и каждый раз находил что-нибудь новое, чем мог изумить даже самого недоверчивого и равнодушного. Полгода тому назад написал Медведеву письмо. Артем ответил, что письмо получил, прочел и очень задумался. Так и написал: «Письмо твое очень помогло председателю Чукотского окружного Совета. Мы встретились с ним в Москве, куда он приехал по важным делам, и много говорили о тебе. Я дал ему прочесть то, что ты мне написал. Видимо, я смогу скоро сообщить тебе очень важные и добрые вести. И это будет ответом на твое письмо».

Да, прошло с тех пор не меньше полугода. Пойгин уже думал, что Артем забыл о своем обещании, но вот забеспокоились очочи в районе и сельсовете, начались какие-то непонятные разговоры о его письме в Москву...

9

Ятчоль пришел в дом Пойгина с расспросами о его письме за два дня до смерти Линьлиня.

— Весь Тынуп о каком-то твоем письме говорит. Почтальон Чейвын больше всех болтает. Кажется, ты очень рассердил многих очочей,— сказал Ятчоль, присаживаясь по своему обыкновению на корточки у порога.

— Почему рассердил?

— Откуда я знаю.

Ятчоль потянулся к трубке.

— Удивляюсь тебе. Живешь в тепле, всегда сыт, кругом чистота. Чай самый лучший — в твоем доме. Звезду получил. Можно сказать, Элькэп-енэр сошла тебе на грудь. Сиди себе, лежи, трубку кури, чай пей. Старик уже. Можно и не ходить на охоту.

— Э, нет, на охоту не ходить для меня все равно что умереть.

— Ну, ходи, ходи на охоту. Но зачем не в свою нарту

впрягаешься? Даже очочей учишь, подгоняешь, стыдишь. Как только они все это тебе прощают...

— Неглупые люди, потому и прощают.

— А я, по-твоему, глупый?

— Ты хитрый и двоедушный. Опять пришел ко мне с каким-нибудь подвохом. Кто тебя поймет, говоришь одно, думаешь другое...

— Я пришел к тебе просто попить чайку. Никто так не заваривает чай, как твоя дочь.

— Ну, тогда пей чай и молчи. А я буду о Линьлине думать. Что-то странно ведет себя волк, не собрался ли умирать...

— Ты напомнил о Линьлине, чтобы меня укорить... Не можешь забыть, что я его ослепил. Но я буду пить чай и терпеть твой укор.

— Пей, пей чай и молчи. Так будет лучше.

Чай пили долго, не проронив ни слова, внимательно разглядывая друг друга, будто давным-давно не виделись. Наконец Ятчоль сказал, вытирая руками разопревшее лицо:

— Чаек ничего. Но бывает у тебя и получше. Видно, пожалела Кэргына для меня заварки покрепче.

Пойгин промолчал, снова наполняя свою чашку. Ятчоль сделал то же самое.

— Говорят, ты плохие слова в письме написал о председателе райисполкома.

Пойгин и на этот раз промолчал.

— Говорят, ты плохие слова написал о Тильмытиле. Говорят, что ты хвастался, будто при тебе артель была хорошая, а при Тильмытиле стала плохой.

— Кто говорит?— наконец не выдержал Пойгин.— Не ты ли? Артель при мне была как олененок безрогий, а при Тильмытиле стала как рогатый гаканкор[1]. Вот насколько она стала сильнее. Мог ли я написать, что артель стала плохой?

— Но ты же завидуешь Тильмытилю...

— Я его с детских лет учил. Когда ему было всего пятнадцать лет, я сказал себе однажды: вот кто станет председателем... И не ошибся. Оленей знает так же, как его отец. И охотник не хуже меня...

— Лучше тебя нет охотника. Это даже я признаю...

Ятчоль, разгоревшись чаем, снял кухлянку, расстегнул грязную, засаленную рубаху.

---

[1] Гаканкор — коренной в упряжке олень.

— Тебе хорошо, ты в чистом, а я уже полгода в баню не ходил.

— Кто же мешает?

— Лень. А может, думы. Часто стал думать... Зачем нас к бане приучили? Помню, когда вымылся первый раз, шел домой, будто и земли под ногами не было, как птица летел.— Ятчоль расставил руки, изображая крылья.— Даже рассердился. Почему так много лет прожил и не знал до сих пор, какая радость тебя разбирает, когда тело чистое? Теперь все чаще спрашиваю себя: зачем я все это узнал? Зачем узнал много такого, без чего чукча раньше обходился? Жил бы себе и жил. Теперь вот вижу, что ты чистый, а я грязный. И завидую, потому что знаю, насколько тебе лучше.

— Тогда, может, не надо было родиться? А то вот родился, стал узнавать, что хуже, что лучше...

— Ты не сбивай меня с мысли. Я еще не все сказал. Жили раньше чукчи в ярангах. Что находится там, за самыми дальними горами, не знали. Не знали никакого электричества. Без него я не видел бы, какая грязная у меня рубаха. Теперь вижу. К чему мне это?

— К тому, что если тебе дана жизнь человека, то живи как человек, а не как грязная росомаха. Я не хочу такой несправедливости. Мы родились людьми, но жили, как песцы в норах. Даже в полог входили на четвереньках. Разве это справедливо, разве это не обидно?

— Мне другое обидно. Я теперь никогда не голодаю. Забыл, что такое голод. Но у меня появился какой-то другой голод. Ты вот был далеко, даже в Москве. Я не был и потому тебе завидую. И потому говорю: зачем мне знать, что есть там, за дальними горами? Зачем? Когда я живу в охотничьей избушке — все время хочу уйти поскорее домой. Пусть проверяет за меня капканы умка! А я буду кино смотреть. Потому так думаю, что стал бояться мороза.

— И спирту не терпится глотнуть,— подсказал Пойгин с гримасой отвращения.

— Да, не терпится...

Пойгин заметно помрачнел.

— Почему меня вот этот дом не сделал человеком, боящимся мороза? Наоборот, это раньше было страшно с мороза вернуться в холодную ярангу. Теперь я знаю, что, как бы ни замерз, я отогреюсь вот в этом доме. И песцов я поймал, зверя добыл куда больше, чем в ту пору, когда жил в яранге. Не помешал мне теплый дом, не сделал слабым...

— А других?— осторожно, очень осторожно спросил Ят-

чоль, напряженно щуря узенькие глазки.— Молодых, которые родились в доме, а не в холодной яранге?

О, он знал, этот хитрый человек, в какую болячку Пойгина ткнуть, словно рыбьей костью. Как раз об этом, кроме всего прочего, писал Пойгин Медведеву в Москву. Охотник должен быть охотником, даже если он учился в школе много лет. И оленей кто-то должен, как самого себя, понимать, пасти их, каждого олененка при рождении принимать и растить, как растили чукчи всегда. Когда старики покинут этот мир, кто будет песцов ловить, оленей пасти? Это хорошо, если чукчи становятся врачами, учителями, летчиками, геологами, но плохо, если молодые чукчи забывают, как запрячь оленя, не знают, где поставить капканы. Да, об этом прямо и сердито написал Пойгин в своем письме...

— Ну, что же ты, будто язык проглотил?— по-прежнему напряженно щуря глаза, спросил Ятчоль.

Пойгин молчал, все больше мрачнея. А Ятчоль продолжал его донимать:

— Плохо, очень плохо, что чукчи стали знать слишком много лишнего. Однако свое главное стали забывать. Поломать надо все дома. Кино ослепить, чтобы ничего не показывало. Радио заставить замолчать, почту закрыть. Книги порвать и развеять по ветру...

Пойгин смотрел на Ятчоля, как на сумасшедшего.

— Может, и видение голодной смерти вернуть?— начиная наливаться гневом, спросил он.— Пусть голодают люди и к тебе в долговой капкан, как песцы, попадают. Лучше иди, вымойся в бане да надень чистую рубаху — может, думы твои станут иными!

— Не пойду я в баню. И дом брошу. Поставлю ярангу рядом с ярангой Вапыската.

...Давно Вапыскат волей судеб стал анкалином, но с ярангой своей не расставался; стояла она, единственная в Тынупе, чуть в стороне от домов. Черный шаман по-прежнему поклонялся луне, по-прежнему можно было видеть рядом с его ярангой шест, увенчанный мертвой головой оленя, глядящей вверх, на светило злых духов. Однако же Вапыскат признал врачей, часто наведывался к ним, с удовольствием объяснял им свои недуги, злился, когда его не понимали. А причины своих недугов он объяснял так: «Вчера я распорол себе живот и наставил на рану кусок стекла... зеркало называется. Я увидел, что на печенке моей сидит ворон. Прогонял, прогонял его, а он так и не улетел. Изгоните во-

рона, чтобы он не клевал мою печенку». Врачи просили странного пациента лечь, ощупывали его живот. Вапыскат беспрекословно приспускал штаны и просил: «Вы уж не разрезайте живот, я и так измучился, когда сам его вспарывал. Дайте какой-нибудь порошок, чтобы подох проклятый ворон». Врачи давали Вапыскату порошки, он бережно завертывал их в тряпицу и шел в свое убогое жилище, ждал, когда приедет кто-нибудь из племянников, привезет оленьего мяса. Племянники приезжали не часто.

Старик часами сидел неподвижно у потухшего костра, ждал, когда кто-нибудь придет, разведет огонь. И жалостливые люди приходили, приносили ему пищу, кипятили чай. Особенно часто сюда заходила жена Ятчоля. «Ты меня позоришь!— ругал Ятчоль жену.— Ты же знаешь, как я не люблю шаманов. В газету про тебя напишу». — «Пиши,— равнодушно отмахивалась Мэмэль.— Но лучше бы ты убил нерпу, я бы принесла старику свежего мяса». — «Я тоже скоро перейду в ярангу. В доме ни ты, ни я жить не научились. Не дом, не яранга. Грязно у нас, не лучше, чем в яранге Вапыската. У Пойгина порог переступишь — и словно обиталище солнца увидишь. Пол такой чистый и желтый, будто солнце под ногами. Зависть мое сердце раздирает. Лучше бы я не знал, что так можно жить». — «Ты всегда завидовал Пойгину,— с застарелой тоской отвечала Мэмэль.— А я всегда завидовала его Кайти. Можешь об этом тоже написать в газету». — «Больше я в газеты ничего не пишу. Когда писал, думал, меня сочтут за самого грамотного человека. Очочем сделают, председателем изберут. Но даже бригадиром не был. О, если бы я стал очочем! Я бы за все отомстил. Я бы многим напомнил, как они раньше хвостом по-собачьи передо мной виляли. Но месть моя, как старая волчица, зубы скалит, а укусить не может. Зря писал в газеты. Зря ругался на собраниях. Зря очочам доносил на тех, кого избирали вместо меня. Так я ничего при новых порядках и не добился. Зачем теперь мне эти порядки? Поселюсь лучше рядом с Вапыскатом, сам стану черным шаманом. Дай кусок мяса, может, выменяю бубен у Вапыската».

Иногда заходил к черному шаману и Пойгин с неизменным куском мяса оленя или свежей нерпы. Доставал табак, протягивал старику, но трубки своей ему не давал и не принимал от него. «Ты почему не берешь мою трубку?» — обижался Вапыскат. «Она пахнет шкурой черной собаки». — «Я ее сохранил. Хочешь, покажу?» — «Я и так хорошо ее помню». Пойгин блуждал по яранге тоскливым взглядом и

думал: «Если бы во сне увидел, что живу в таком жилище, наверно, с ума сошел бы».

И вот теперь Ятчоль завел речь о том, что чукчам надо возвращаться в яранги. Странный человек. Именно он еще смолоду меньше всего старался быть похожим на чукчу, хотел, чтобы видели в нем американца. Потом приноравливался к русским. Противно и жалко бывало на него смотреть...

— Так вот, скоро перейду в ярангу,— продолжал Ятчоль упрямо и нудно.— И сам стану шаманом. Смешно! Столько лет я в бубен твой целился... да что там бубен, в сердце целился, и все пули мои пролетели мимо.

— Не все. Были такие, что рану во мне оставляли...

— Теперь можешь отвечать мне тем же. В газету можешь написать, что Ятчоль сам стал шаманом.

— Не учи меня своим повадкам.

— А твои не лучше. Я знаю, что ты в Москву написал. Ты боишься, что чукчи слишком стали бояться мороза. Значит, и ты в мыслях хочешь, чтобы они опять вернулись в яранги, чтобы не страшным им казался мороз. Вот и получается: жили мы с тобой, жили, спорили, спорили, а стариками стали — и оказалось, что не о чем нам спорить.

Пойгин от негодования какое-то время не мог вымолвить ни слова. Наконец закричал:

— Нет, нам было и есть о чем спорить! Ты первым перешел в дом и кичился этим. В газету писал, какой ты счастливый в новом жилище. А я не торопился. Я вокруг дома круги делал, как умка, и думал, не разломать ли это жилище... Но раз я вошел в него, то вошел навсегда. И обратно в ярангу ты меня не затащишь. Никого не затащишь! Ты и сам не пойдешь. Просто язык у тебя — будто кусок шкуры на ветру болтается.

— Наверно, ты прав, в ярангу я не вернусь. Я даже не знаю, как ее ставить. Забыл. Видно, я самый несчастный в этом мире...

— Ты всю жизнь прожил росомахой! И в дом вошел с повадкой грязной росомахи. Ты сожрал сам себя. Вот почему ты несчастный.

— Да, я несчастный. Я даже стал бояться мороза... И в капканы мои не идут песцы.

— Твои капканы всегда забиты снегом. Надо чистить их. И если ты завтра не почистишь капканы, за тебя это сделают другие. Они посрамят тебя на весь Тынуп!

— Кто посрамит?

— Те, кто способен тебя посрамить, а в меня вселить добрый дух надежды и гордости.

— Я вижу, ты что-то задумал...

— Да. Задумал. Я задумал кое-кого так разогреть, чтобы навсегда перестал бояться мороза. Что такое чукча-охотник — теперь знают даже там, за дальними горами! Я слышал, какие хорошие слова говорили в Москве о нас, когда мне давали Звезду. Это знак не только для меня, но и для всех нас...

— Для всех? Тогда и мне дай поносить...

— За что? За то, что капканы твои забиты снегом?

— Другим дай.

— Кто захочет достойный... пусть берет.

— Э, ты знаешь, никто, кроме меня, не попросит. Постесняются. А вот я надел бы. Медаль, правда, у меня есть, помнишь, еще в войну получил. За хорошую охоту. Как я тогда радовался, что мне воздали почет! Надо бы почистить медаль, чтобы не хуже твоей Звезды блестела. Почищу и нацеплю, чтобы все видели, что я не хуже тебя.

— Лучше иди и почисти свои капканы.

— В кино не успею...

— Уходи из моего дома! Ты мне надоел болтовней. Сколько бы я лишних песцов за всю жизнь поймал, если бы не слушал твою болтовню. Уходи! Мне мало остается пребывать в этом мире. Я должен еще кое-что успеть...

— Что ж, я пойду. Я выведал главное — о чем ты написал в Москву. Теперь весь Тынуп будет об этом говорить.

— Ты не знаешь, о чем я писал. Никогда не поймешь. Уходи!

Пойгин так разволновался, что уронил со стола чашку. Разбилась чашка. Ятчоль медленно натянул кухлянку, постоял у порога, насмешливо наблюдая, как Пойгин собирает черепки. Едва за ним закрылась дверь, Пойгин сам лихорадочно оделся и направился с грозным видом в правление колхоза. Тильмытиль встретил его изумленным взглядом:

— Что случилось? Почему у тебя такое лицо?

— Ты помнишь, как я однажды утащил тебя за руку прямо из школы в тундру? Помнишь, как учил снимать песца?

Тильмытиль задумчиво улыбнулся, вспоминая далекое детство.

— Я все помню.

— Ну, если помнишь... идем в школу, будешь мне помогать.

— В чем? Да ты садись...

— Некогда сидеть. Идем в школу.

— Но там урок.

— Ты вспомни свой урок.

Тильмытиль медленно вышел из-за стола, все с той же усмешкой: он догадывался, чего хочет от него Пойгин.

Стал Тильмытиль к этой поре, семидесятым годам, плотным, коренастым мужчиной, чуть за сорок, в полном расцвете сил; лицо открытое, простовато-добродушное, однако чувствовалось, что он не так прост, как могло показаться с первого взгляда. Тильмытиль никогда не бранился, но шуткам его не только радовались, но порой и побаивались их.

— Я не хочу, чтобы оказался прав Ятчоль!

— В чем?— усмешливо спросил Тильмытиль.

— В том, что чукчи будто бы стали бояться мороза.

— Есть, есть такие, которые стали бояться мороза.

— А кто виноват? Мы, мы с тобой виноваты прежде всего. Сколько в Тынупе мальчишек? У каждого ли из них есть чукотская одежда, чтобы выйти в тундру в самый сильный мороз и поставить капканы? А карабины или свои капканы у них есть?

— Малы еще, чтобы доверять им карабины.

— Пятнадцать, семнадцать лет... это тебе мало? Идем в школу. Я буду там ругаться. Я такое учителям и ученикам скажу, что от стыда они станут красными, как лисицы.

Тильмытиль опять сел за стол.

— Зачем же ругаться? Мы сделаем иначе.— Председатель набрал номер телефона.— Мне директора школы. Здравствуйте, Александр Васильевич. Да, это я... Есть очень важный разговор. Вам надо прежде всего выслушать Пойгина. Разумеется, меня тоже...

10

Как много вмещает память: не только события, людские поступки, слова, но и запахи, звуки и еще что-то такое, что порой постигается только шестым чувством. Так запомнился Журавлеву взгляд Пойгина, когда они однажды выехали на собаках во льды еще не вскрывшегося моря. Давно это было, а настолько отчетливо помнится, будто именно тот ветер сейчас обдувает лицо, именно то самое солнце слепит глаза...

Казалось бы, ничего особенного не происходило тогда:

летел над ледяными полями, над торосами полярный ворон и каркал, а Пойгин следил за его полетом и о чем-то разговаривал с вещей птицей шепотом. Александр Васильевич стоял чуть в стороне и наблюдал за самым знаменитым на всей Чукотке охотником; и ему показалось на миг, что он уловил в глазах этого человека нечто такое, что понять одним лишь рассудком — немыслимо. Да, да, всего-навсего едва уловимый миг жила какая-то особая мысль в глазах чукчи. Может, то была зависть, обида, что не его, человека, а ворона одарила судьба завидным долголетием? Нет, не это. Может, суеверный страх шевельнулся в душе Пойгина и так смятенно отразился в его взгляде? Нет, в его глазах было что-то намного сложнее. Может, во взгляде его вспыхнула на миг пронзительная разгадка, прозрение, на какое способен только врожденный следопыт?.. Вполне возможно, однако не только это. Так что же еще?

Катилось по зубцам громадных торосов майское солнце. Скоро оно поднимется над береговым ледяным припаем и станет невыносимо жарким по здешним меркам. Пока держится у берега ледяной припай, здесь всегда солнце. Это уже потом, когда льды уйдут в открытое море и поползут туманы, солнце скроется во мгле и трудно будет сказать, какое время суток тебя застигло в пути: то ли полночь, то ли полдень. А сейчас все вокруг лучилось нестерпимым светом, который, казалось, ощущался даже ноющим затылком.

Белый цвет как бы стал осязаемой энергией, пронизывающей все тело. Сползал рыхлый снег с торосов, обнажая ослепительные грани голубого, зеленоватого или хрустально-прозрачного льда. То там, то здесь встречались снежные проталины, звенела капель заслезившихся торосов, все отчетливей обозначались трещины, расчертившие острыми зигзагами ледяные поля; они были похожи на упавшие с неба молнии. Упали молнии и застыли,— Арктика и на такое способна. Расширялись трещины, и казалось, что они — само воплощение жутковатой тайны, которую всегда чувствуешь в морской пучине. Невольно приходило на ум, что каким бы ни был толстым лед — все равно это, в сущности, хрупкая пленка над бездной океана, который может шутя с грохотом и скрежетом изломать, искорежить ее. Все чаще встречались на пути зигзаги трещин во льду: седой океан как бы очерчивал пределы возможного в дерзости человека, рискнувшего удалиться от берега. А солнце, неистовое солнце, казалось, бросало вызов дремучей Арктике, настолько весе-

лый вызов, что даже она, смиряясь, уступала, лучась в ответ несвойственной ей праздничной радостью.

Журавлев знал, что если поставить нарту под торосы, укрывшись от ветра, то можно загорать, как на пляже. Однажды он так и сделал, чем изрядно удивил Пойгина. К тому времени они прошли уже немало общих охотничьих троп, немало протекло у них бесед, немало накопилось подтверждений взаимной привязанности и уважения.

Журавлев написал несколько очерков о Чукотке, определив их как «записки учителя», опубликовал в журналах, издал отдельной книгой. И Пойгин занимал в этих очерках едва ли не главное место. Возвращаясь вновь и вновь в каждом очерке к этому человеку, Александр Васильевич говорил: «Пойгин непостижим до конца, как непостижима и его загадочная страна».

Сначала Журавлев попытался осмыслить Пойгина в его взаимоотношениях с Медведевым. И ход его мысли был таков. Нет, не миссионер искал пути к сердцу Пойгина с тем, чтобы с помощью христианской проповеди любви и братства обезличить его, растворить все краски его самобытности в цивилизации так называемой господствующей расы, нации. Если бы Медведев пришел с миссионерскими устремлениями для утверждения духовной и любой другой власти тех, кто его сюда послал, он неизбежно встретил бы в Пойгине врага непреклонного и сильного: такого не причешешь на свой лад, из такого не сотворишь, при всей иезуитской хитрости и тонкости, марионетку. Но именно то, что Пойгин не мог стать марионеткой, именно это и привлекло к нему Медведева. Да, он так и говорил, что запомнилось Журавлеву на всю жизнь: «Нам не нужны марионетки, нам нужны равные среди равных». «Нам» — это тем, кто перестраивал отношения между народами на совершенно новых началах, проводя беспримерный исторический эксперимент. «Не нужны марионетки, нужны равные среди равных». В том был ключ подхода не только к отдельной личности, но и к целым народам, а стало быть, и к чукотскому народу.

С какой одержимостью изучал Медведев чукотский язык, писал учебники, собирал сказки и предания, составлял словари, проявляя глубочайшее уважение и бережность к языку чукчей, в судьбе которых произошло великое событие: они обрели свою письменность.

А сколько у Медведева оказалось учеников, к которым с гордостью причисляет себя и он, Журавлев!

Не один раз Александр Васильевич покидал Север и

опять возвращался. Долгое время работал в Министерство просвещения республики инспектором северных школ и вот в пятьдесят шесть лет опять попросился именно в ту школу, где начинал свой путь педагога: задумал новую книгу о чукотской школе.

Север манил Журавлева неудержимо, в этом была какая-то необъяснимая тайна. Да, многое, конечно, было понятно: он, специалист по просвещению народов Севера, не расставался со школами автономных северных округов, даже когда жил в Москве; посвятил этому делу всю свою жизнь; десятки его учеников стали душой огромных преобразований на их родной земле. По примеру своего старшего друга и учителя Медведева он написал немало учебных пособий для северных школ, десятки методических разработок. Да, все это стало смыслом его жизни, его судьбой. И все-таки было еще что-то такое, что манило его на Чукотку. Это испытывают многие люди, хоть однажды побывавшие здесь.

Тянулись по весне на север караваны птиц, и Журавлев следил за ними тоскливым взглядом, с тем же щемящим чувством грусти, какое испытывал и при их осеннем перелете. «Эх, Кэтчанро, Кэтчанро!» — вздыхал он, и ему хотелось вслед за птицами умчаться за Полярный круг. Представлялось движение круглосуточного солнца, виделись в памяти причудливые льды, отраженные в зеркальной воде, сводила с ума какая-то безумная фантазия морских миражей, когда эти бесчисленные плавучие льдины отражались не только в воде, но и в небе. Там кричали на разные голоса птицы, и казалось, что взмахи лебединых крыл овевают тебя, сметая с души все никчемное, очищая ее, настраивая на особый полет, когда человек способен как бы приобщиться к вечности, поднимаясь над суетой сует. Пели птицы свои брачные песни, устраивая гнездовья, взламывали зеркала бесчисленных озер какие-то огромные, буйные рыбины, морские звери таращили изумленные глаза, дивясь чудесам земного мира, громко переговаривались бесстрашные зверобои с бронзовыми лицами, обуреваемые охотничьим азартом и надеждой на удачу...

Все это было там, далеко, невообразимо далеко, но Журавлев, лежа где-нибудь на цветущей поляне в Подмосковье, был весь во власти той северной жизни, до сердечной боли чувствуя зов голубого, синего и ослепительно белого Заполярья. Эти цвета — голубой, синий и белый — как бы имели свой особый звук, в котором слышалась монотонная, но полная первозданного смысла естественного бытия

чукотская песня, сопровождаемая едва слышными ударами бубна. Ох, этот древний, как сама жизнь, бубен! Удары его, то дробные, то редкие, то совсем тихие, то тревожно гулкие, врываются в сознание как звуковые сигналы особой азбуки общения с древним прошлым. Далеко-далеко звучал бубен, и казалось, что это звучит само солнце, совершающее круглосуточный путь над морем, тундрой и горами. На голубом, синем, белом фоне резко оттенялись черные, коричневые, желтые, темно-красные пятна угрюмых скал, обрывистых морских берегов, служивших вечным обиталищем птичьих базаров.

Гомон этих базаров порой слышался Журавлеву во сне; случалось, что он, томимый неясной тоской по Северу, поднимался в быстротечных сновидениях на головокружительную высоту обрывистых скал, замирало от страха и восторга сердце, казалось, что вот пройдет миг — и падение неизбежно; однако его подхватывала неведомая сила, и он улетал вслед за чайками, гагарами, кайрами, и ему представлялось, что он растворяется в чистейшей синеве...

Конечно, Журавлев помнил и серые, промозглые дни летней Арктики, когда моросил мелкий, почти ядовитый в своей занудливости дождь, когда бродили, как овеществленное воплощение лютой тоски, туманы, когда в охотничьих походах изнурял гнус. Но как любил он уходить с ружьем в тундру — бесконечную, пустынную и такую мокрую, чавкающую под ногами, что порой не было даже крошечного местечка, чтобы присесть, передохнуть. Знал он не только голубое море, в котором, как в чистейшем зеркале, отражались льдины, но и море бурное, свинцово-тяжелое, порой до жути черное, с белыми пунктирами бешеной пены на гребнях волн. Знал он и бесконечные зимние вьюги — вечные спутники полярной ночи, вьюги, которые иногда срывали крыши с домов и навек околдовывали неосторожных путников, нередко замерзавших у собственного порога. Да, он знал и такое. Но даже то, что там не однажды раздражало, угнетало,— здесь понималось совсем по-иному, манило к себе, как манит бездна. Смотришь в бездну — и словно бы соизмеряешь глубину вечности с глубиной собственной души; и чем бесстрашнее смотришь в бездну, тем пронзительней ощущение, что ты все-таки хоть малая, но частица вечности...

Звал Журавлева Север, звал звучанием какой-то до предела натянутой струны, криками птиц, ревом полярного медведя, звал тоскливым воем волка, будто серый безумно

тосковал именно потому, что нет здесь его, Журавлева, звал топотом серебряных копыт стремительно летящего оленя.

И не только одного Журавлева звал Север. К примеру, Чугунов тоже два раза пытался уйти из-под его необоримой власти и возвращался опять. Во второй раз он вернулся с женой. Нашел лихой усач девушку на двадцать лет моложе себя; ее тоже, как и первую жену, звали Ритой. Шли годы, родилось у Чугуновых четыре сына, и только один из них после службы в армии остался на Большой земле, а трое нашли или ищут свою судьбу именно здесь. А дети Журавлева, сын и дочь, к Северу не прикипели, хотя и родились за Полярным кругом.

Север... Далекое Заполярье... Здесь Журавлев мужал и утверждал себя как личность. И если на Севере стало теплей, светлей, надежней людям, то в этом есть частичка и его воли, разума и надежды...

И вот уже идут своим чередом семидесятые годы. Постарел Пойгин. Да и Александр Васильевич перевалил, как говорится, свой пик. Сидит Пойгин в кресле в кабинете директора Тынупской школы, колюче поглядывает на Журавлева. Видно, на языке у него что-то далеко не благостное...

Впрочем, Журавлев догадывался, о чем так не терпится заговорить с ним старому охотнику. Недавно Александр Васильевич получил письмо от Медведева, в котором тот размышлял о тревоге Пойгина. «Он написал мне об этом с такой мудрой обстоятельностью, что я зачитываю его послание самым ответственным людям, и все находят, что это мысли ума ясного, острого, беспокойного». Сейчас Журавлев прочтет Пойгину эти строки,— пусть узнает, что думает о нем их общий старый друг...

Но почему, почему всплыл в памяти тот особенный взгляд Пойгина, когда глаза его пристально следили за полетом ворона?

А не хотел Пойгин, глядя на этого, может быть, уже древнего ворона, мысленно переселиться в него? Ведь говорил же он не однажды, что способен вселиться в любую птицу, чтобы посмотреть на все сущее в этом мире из-под солнечной высоты. Может, и в тот миг хотел он подняться не только над пространством, но и над временем и заглянуть в прошлое, равно как и в грядущее?..

Именно во льдах Севера, где жизнь обнаруживает себя едва заметно, именно там она острее всего впечатляет порой своим неожиданным проявлением. Громоздятся бескрайние торосы, куда ни глянь — пустынный мертвый край, будто бы

попал на безжизненную планету. И вдруг — ворон. Можно себе представить, как встрепенулась душа человека, который верил, что он способен вселиться в любую птицу. Как знать, может, чем-то намекнул ему ворон в своей картавой речи, что там, если идти прямо на север, лежат туши моржей, убитых, допустим, у далекой Гренландии. Убитых всего лишь из-за их удивительных бивней... Ревели моржи, гремели выстрелы, сверкали алчные взгляды двуногих существ, которым ничего не стоило загубить сотни и сотни жизней, чтобы потом выломать у каждого загубленного зверя по паре бивней. Отстреляли и уплыли, быть может, даже улетели на самолетах либо вертолетах удачливые добытчики драгоценной кости, а льды, которые стали похоронным полем для сотен моржей, пошли в свой извечный дрейф и вот подплыли и сюда, оказались видимыми зоркому глазу ворона. И теперь ворон прокаркал о том, что он доволен: у него много пищи...

Но это Журавлев мог бы понять и в том случае, если бы Пойгина рядом с ним не было. Что же он понял в тот день еще? Чем так глубоко не просто озадачил, а всколыхнул его тот мимолетный взгляд мудрого чукчи, шепотом отвечавшего на картавую речь ворона? Может, во взгляде его, когда он переселялся мысленно в древнюю птицу, вдруг всполохом промелькнули смятение и укор? Ведь Пойгин из тех людей, которым суждено отвечать перед ликом мироздания за поступки скверных, оскорбивших весь род человеческий... А разве те, кто убил сотни и сотни моржей из-за драгоценной кости, не заслуживают того, чтобы их именовать скверными?

Поднялся Пойгин мысленно над пространством и временем в облике вещей птицы, заглянул в прошлое и в то, что грядет, и подумал с болью: «Не все двуногие существа — люди, есть среди них чудовища, и если их не остановить — придет возмездие всему человечеству». Так читал теперь Александр Васильевич тот особенный взгляд Пойгина, устремленный на вещую птицу, так он понимал его шепот. Внимал Журавлев думе Пойгина и, казалось, слышал, как с хрустом выворачивают двуногие существа бивни из моржовых челюстей. И представлялся ему какой-то один огромный человек, которым вдруг стало все человечество. Вслушивался огромный человек в хруст сокрушаемой кости и потрясенно догадывался, почему у него так мучительно болят зубы...

Вот что, пожалуй, прочитал Журавлев в том странном взгляде, которым старый охотник смотрел на ворона. И не

потому ли вспомнил все это Александр Васильевич, что во взгляде старика и сейчас, когда он усаживался в кресло, промелькнуло нечто подобное? Многому, очень многому научил Пойгин Журавлева. Но, пожалуй, самое главное, чему он его научил, можно было определить так: пред ликом природы и всего сущего в ней надо иногда хотя бы на миг почувствовать себя совестью всего человечества.

Да, это был главный нравственный урок Пойгина, который усвоил он, Журавлев...

Маячит перед его глазами ворон, будоражит память, заставляет думать о том, что человек иногда бывает по отношению к природе не просто палачом: тот все-таки выполняет справедливую или несправедливую волю судей; а тут — он безрассудный губитель. Убить сотни и сотни моржей, чтобы удовлетворить ненасытную страсть добытчиков драгоценной кости, которая потом осядет в их сейфах золотом. Взята у природы капля, а загублено нечто такое, что в сравнении с ней больше, чем океан. Разве не исчезли с лика земли живые существа только потому, что кому-то скверному надо было выдернуть из них единственное перышко? И когда Журавлев думает об этом, он чувствует, что у него самого мучительно болят зубы...

В тот раз, когда ворон улетел, Пойгин долго курил трубку, сидя на нарте. Курил и молча смотрел себе под ноги, наконец сказал:

— Ворон — это дума, которая вылетает из головы умки.

Журавлев поднял изумленное лицо и ждал, что скажет Пойгин дальше.

— Все знают, какая мудрая птица ворон. Все знают, что он — летающая дума умки. Какой же тогда мудрый сам умка!..

«Да уж, что мудрый, то мудрый,— мысленно согласился Александр Васильевич.— Не случайно его поступки похожи порой на человеческие».

Некоторые из уловок умки Журавлев видел сам, а многие представлял себе по рассказам Пойгина. Особенно его поражало, насколько искусно белый медведь подкрадывался к своей жертве. Пойгин уверял, что в этом умка умнее человека и если бы ему дать в лапы карабин или капканы, еще неизвестно, кто был бы искусней в охоте.

Залезет хитроумный умка на торос, по-человечески на задние лапы встанет, и только бинокля ему не хватает, чтобы вокруг оглядеться. Внимательно смотрит и носом поводит: запахи он слышит, быть может, лучше всех зверей. Тут

же прикинет, с какой стороны дует ветер, чтобы подкрасться к жертве непременно с подветренной стороны. И вдруг, что-то заметив, заскользит с тороса полулежа или даже на брюхе, пригормаживая передними лапами. Теперь он знает, где его жертва и каков путь до нее.

Как ползет умка по снегу, Журавлев видел сам. Распластается на снегу, влипнет в него насколько возможно и поползет по-пластунски, любому новобранцу на зависть. Если встретится сугробик, осколок льда — затаится, переждет. Зная, что лишь глаза да нос могут выдать его своей чернотой, закроет морду лапой. Шевельнет от нетерпения коротким хвостом и опять начинает ползти, как бы загребая пространство передними лапами и волоча задние. Устанет — оттолкнется задними лапами, скользя передними...

А тюлень, греясь на солнце, то поднимет голову, то опустит, засыпая меньше чем на минуту. И умка знает, сколько времени будет тюлень оглядывать пространство, прекрасно знает и потому замрет на тот миг, прикрыв лапой нос. Опустил тюлень голову — опять умка пополз. И вот наступает роковой для тюленя миг, когда он, к своему удивлению, вдруг видит, что умка сидит на его отдушине. Сидит спокойно, довольный своей хитростью и ловкостью, и передние лапы широко разводит, как бы приглашая жертву в свои смертельные объятия. И некуда деваться тюленю. Повинуясь инстинкту, он ползет к отдушине. Медведь взмахивает лапой, чаще всего левой, бьет тюленя по голове — и охота закончена. Коварный левша привередлив в еде. Чаще всего сожрет внутренности тюленя, жир его и мясо оставит песцам да воронам.

Журавлев не один раз наталкивался на остатки пиршества умки. Может он и закопать недоеденного тюленя в снег — запас на всякий случай. Выкопает яму, потом нарежет когтями кирпичики твердого снега, удивительно ровные, укроет добычу и ляжет рядом подремать. Порой так насытится, что брюхо чуть ли не по снегу волочится: тут уж лучше, конечно, полежать, понежиться. Зевает умка, потягивается, на спине катается, фыркает, от воронов, как от мух, отмахивается. Это когда умка сыт.

Но Журавлев знал, как голодает умка зимой, когда тюлень не вылазит на лед и его надо терпеливо поджидать у отдушины. Над каждой отдушиной тюленя — ледяной колпак, да еще укрытый снегом. Нелегко разглядеть, где тот колпак. Бредет умка по льду, нюхает лед, фырчит недовольный. Но вот он замер — нашел то, что было ему нужно.

Нащупав ледяной колпак, счистит с него снег, поднимется на задние лапы и с ловкостью, которой позавидовал бы любой циркач, подскочит и упадет передними лапами на ледяной колпак, стараясь сокрушить его всей тяжестью своей туши. Не вышло с первого раза — неважно, можно повторить еще и еще раз, пока колпак не разрушится. Теперь надо только дождаться, когда тюлень вынырнет глотнуть спасительного воздуха. А ждать его порой надо бесконечно долго. Но терпелив умка, и левая лапа его всегда наготове.

Умка знает, что у тюленя не одна отдушина, бывает до десятка, и попробуй угадай, в какую ему вздумается выглянуть. Неглуп тюлень, как не в пример умке думают о нем некоторые люди. Умеет он распознавать, где именно подкарауливает его коварный враг. Вот почему медведи нередко охотятся по двое. Посидят вместе у одной лунки, а потом один из них отходит в сторону, да еще старается, чтобы шаги были погромче, потяжелее: пусть думает тюлень, что враг его ушел, надоело, мол, ему до смерти неподвижно смотреть в дурацкую лунку. Тюлень решается вынырнуть, и тут обрушивается стремительный удар левши. Мгновение, другое — и добыча уже на льду. Теперь двум хитрецам остается лишь поделить ее. И делят справедливо, лишь изредка фыркают друг на друга, морщат носы, скалят клыки, этим все и обходится: дерутся умки редко и чаще всего тогда, когда завоевывают право на самку. Бывает так, что один умка сидит у отдушины, а второй засыпает снегом все остальные, и так затрамбует их, что тюленю ничего не остается, как вынырнуть в ту, единственную, у которой все равно его ожидает смерть.

Умеет умка и притвориться миролюбивым и безобидным. Это однажды Журавлев наблюдал сам, с вельбота, вместе с Пойгином. Увидел умка на ледяном поле моржей, выбрал моржонка и моржиху (с самцом он связывается редко, особенно в воде, тот может вспороть ему брюхо бивнями, сломать хребет, выворотить ребра) и поплыл к жертве так, что над водой один нос торчал.

— Смотри, смотри, еще и льдину впереди себя толкает, прячется,— сказал Пойгин, передавая Журавлеву бинокль.

И действительно, плывет по разводью льдина, и моржи не видят, что за ней умка. Но вот он выбрался потихоньку на льдину и давай притворяться, что моржиха и моржонок ему совершенно безразличны. Зевнул умка, вроде бы даже поспал, греясь на солнышке, потом на спине покатался, а сам все ближе и ближе подбирается к намеченной жертве. Поднимет

моржиха голову: похоже, умка на прежнем месте, а главное, никаких угрожающих действий, зевает, лапами паразитов вычесывает. Но вот наступил тот миг, когда притворщик сделал стремительный рывок,— и закричал смертельно раненный моржонок. Заревела моржиха, попыталась отнять детеныша — умка и ее ударил по голове лапой.

Пойгин отвернулся, болезненно морщась, закурил трубку, сказал притихшим охотникам:

— Вы уж моржат не троньте. Умка все-таки не человек, да и не нам, людям, упрекать умку...

С восхищением и почтением относился Пойгин к белой медведице, видя в ней примерную и преданную мать. Редко она рожает больше двух детенышей. В конце марта — в начале апреля выводит их из берлоги, начинает учить уму-разуму, и прежде всего — подкрадываться к тюленю. Ползет, влипая в снег, на детенышей поглядывает, а те стараются все делать точно так же, как мать. Если оскандалится медвежонок, вдруг слишком подняв голову или зад,— тут же получит увесистый шлепок. Не всегда хватает терпения у медвежонка бесконечно сидеть у отдушины, но если вздумает хоть на мгновение отвлечься — мать заставит непослушного опять замереть, да еще носом ткнет в снег, чтобы не почувствовал тюлень запаха дыхания своего мужающего врага. Пусть голодна будет мать, а детенышей накормит как всегда и ни за что не оставит одних, если семейство начнут преследовать охотники. Загнанная медведица упирается спиной в торос или скалу и, прижимая детенышей к груди, рвет собак клыками. Страшна медведица в такой битве. Охотники выпускают не больше двух самых увертливых собак, если не хотят остаться без упряжки. Ревет медведица, лают собаки, скулят, обливаясь кровью, и кажется, что даже сам седой океан ухает и стонет, сочувствуя обреченной матери.

Пойгин уверял Журавлева, что он ни разу в жизни не выстрелил в медведицу и не убил ни одного медвежонка. «Когда я вижу ее, говорю: иди, иди себе своей тропой, а я пойду своей. У тебя свои думы — у меня свои думы. У тебя свои дети — у меня свои дети. И если я пролью кровь твоего детеныша — приснится страшный сон моему. А вместе со страшными снами приходят к человеку тоска, помрачение души, болезнь». Журавлев знал, что чукчи стараются как можно реже убивать медведя и всегда уйдут от соблазна разрядить в хозяина льдов или тундры свое оружие, если к этому не понудят голод или страх перед зверем.

В тот раз, проводив своим странным взглядом ворона

и выкурив трубку, Пойгин молча тронул упряжку и предоставил собакам возможность самим выбирать дорогу. Так прошел, быть может, добрый час. И вдруг Пойгин резко затормозил нарту, осторожно приблизился к торосу, снег вокруг которого был истоптан. То были давние следы умки. Снег тут подтаял, но солнце еще не могло разрушить снежные столбики медвежьих следов.

— Кажется, тут было целое стадо медведей,— сказал Александр Васильевич, дотрагиваясь ногой до одного из столбиков, торчавшего прочно, потому что снег под лапой медведя плотно спрессовался.

— Нет, тут был один умка,— ответил Пойгин, почему-то с улыбкой осматривая следы.— Веселый был умка, плясал от радости, вокруг тороса бегал, сам свой хвост догонял. Вот тут он плясал на задних лапах, как человек. Тут перевернулся через голову и подпрыгнул сразу на четырех. Здесь выгреб снег, а потом валялся в яме.

— Что случилось с ним? Почему он так развеселился?

— Не знаю. Может, нерпа ластами его по животу пощекотала, прежде чем он ее съел. А может, он лахтака перехитрил. Тоже умке радость... Правда, не всегда умка бегает вокруг тороса от радости.

— Отчего же еще?

Пойгин сел на нарту, потянулся за трубкой, долго продувал ее, скреб железным когтем чашечку.

— Случается, что на умку находит безумие. Ждет-ждет нерпу или лахтака и только замахнется, чтобы по голове ударить,— добыча в воду уходит. И тогда начинает умка от ярости по отдушине лапами колотить. Ревет, колотит как попало. Случается, даже лапы ломает. И тогда еще страшнее ярость вселяется в умку. Бежит к торосу, лбом в него с разбегу бьет. И находит на умку помрачение...

Журавлев опустился на корточки, потрогал оголенной рукой столбик от следа медведя.

— Может, и тут умка бегал помраченный?

— Этот был веселый. И лапы целые у него. У хромого умки след другой... Из безумного умки получается къочатко. Из головы къочатко вылетает целая туча воронов. Кричат, мечутся вороны, дерутся. Такие сумасшедшие думы у къочатко.

«Страшновато»,— невольно подумалось Журавлеву.

— Больно умке, он лапы себе лижет, и кажется ему, что стал он ребенком. И тогда къочатко не ревет, а плачет, как ребенок. И на его плач отзывается воплями Древовтыкающая

женщина. Кэчатко спешит к ней, плачет, как ребенок, грудь ее сосет... И тогда появляется у него необыкновенная сила и становится он еще злее. Иногда в сильную пургу можно услышать, как вопит Древовтыкающая женщина, как ревет и плачет кэчатко.

«Да, страшновато»,— повторил про себя Александр Васильевич.

— А бывает, что из головы кэчатко вылетает всего один ворон. Выберет себе человека, летает за ним и все каркает и каркает над его головой, беду накликает...

Пойгин посмотрел в небо.

— Тебя чем-то встревожил тот ворон? — осторожно спросил Александр Васильевич.

Пойгин промолчал, опять пристально оглядел небо, не донеся трубку до рта.

— В своем безумии кэчатко становится медвежьим черным шаманом... Он смотрит на луну и думает, что это бубен. Высоко бубен, и кэчатко задирает голову, ревет и колотит куда придется лапами, ломает себе кости. Больно ему, ревет от боли и еще сильнее колотит. Такому лучше не попадаться...

— Ты видел кэчатко?

— Нет, только слышал. Когда он ревет, у всех от страха душа снегом покрывается...

— И у тебя покрывалась?

— А как же. Но я белый шаман. Я знаю, что кэчатко — черный шаман. У меня к нему ярость. А ярость — это огонь... Снег тает от огня, и страх проходит... Ну, поехали дальше. Скоро разводье.

На этот раз Пойгин направлял вожаков упряжки по какому-то одному ему известному пути. Иногда останавливался у тороса, приметив в сугробе впадину. Он знал, что тут может встретиться отдушина тюленя — лахтака или нерпы.

В марте — апреле тюлени прогрызают колпаки своей отдушины, образованной под глубоким сугробом, сгребают часть снега ластами в воду, строят себе родильный очаг — закрытую камеру. От воды и дыхания тюленя детенышу его тепло в таком очаге. Белый пушистый мех малыша еще способен намокать, и потому для него страшнее всего упасть в воду. Иногда, оставшись один, он сползает в воду и тонет. Но больше всего бед для потомства тюленей — от того же умки или от песцов.

Умка разгребает снег, просовывает лапу в родильный очаг тюленя и вытаскивает детеныша наружу. Бывает, что, прежде чем съесть его, он долго играет им, как кошка с мышкой,

подбрасывает, валяет на снегу, щекочет его носом. Обезумевший от страха, тот кричит, а умка поглядывает на отдушину: не покажется ли мать — должна же она прийти на помощь своему детенышу...

Пойгин проткнул впадину в сугробе, потом обошел его и обнаружил с обратной стороны ход, проделанный песцами. Разворотив снег, он достал из ямы шкуру нерпы — все, что осталось от нее после пира песцов. Вплоть до ластов шкура была вывернута, как рукавица, наизнанку и аккуратно очищена острыми зубами песцов от жира. Песцы проедают шкуру тюленя у самого рта и начинают, словно бы из мешка, вытаскивать мясо жертвы, выворачивая при этом ее шкуру.

— Большая была нерпа,— сказал Пойгин. Осмотрел следы песцов.— Стая напала — семь песцов.

Журавлев не удивился, что Пойгин так точно определил количество песцов: для него понять это было так же просто, как Александру Васильевичу прочесть страницу букваря.

Все выше поднималось солнце. Льды погружались в марево. То там, то здесь возникали миражи: небо становилось гигантским зеркалом, в котором плавали, как в океане, опрокинутые вершинами вниз причудливые торосы. Все вокруг становилось подвижным, зыбким, и можно было подумать, что ледяной припай уже оторвался от берега и пошел в свой дрейф. Это порождало в душе Журавлева безотчетную тревогу и в то же время переполняло его ощущением, что он видит истинное чудо. В растревоженном воображении, таком же зыбком, как все, что плавилось, перекипало в солнечном мареве, виделись ему призраки белых медведей, стремительные, как видения быстротечного сна. Вот один из медведей приостановился, сел по-человечески на задние лапы, а передними пришлепнул себя по голове. И взметнулись черные вороны — беспокойные думы умки, выпущенные им на волю... Какой удивительный образ! Умка думает. И человек тоже думает. Следит человек за птицей вещей, вылетевшей из головы умки, и пытается понять: в чем смысл ее тревожного и настойчивого предостережения? Может, вещая птица напоминает о том, как необходимо человеку понимать душу зверя?

Каркает ворон — но не накликает беду, а остерегает от нее. Далеко-далеко отзывается на голос ворона седой океан. Зародившись где-то в холодной пучине, голос океана наполнялся хрустальным звоном льдов, устремлялся ввысь и, казалось, превращался в фантастические видения арктического миража, во всполохи северного сияния. Да, Журавлев чувствовал Арктику, он был весь безраздельно в ее плену...

Вот и сейчас, сидя за столом своего кабинета, Александр Васильевич слышал, как дышит Арктика, как глубок, но и тревожен ее сон. И ворон летает над льдами. Смотрит и смотрит Пойгин на вещую птицу, и таким странным, полным непостижимой тайны кажется его взгляд. Разгадать этот взгляд — значит еще глубже в чем-то постигнуть Пойгина, еще глубже постигнуть ту истину, что встреча с этим человеком, многолетняя дружба с ним — бесконечно дорогой подарок судьбы. Вот он сидит в кресле кабинета директора школы и ждет, когда его собеседник отрешится от каких-то важных дум: нельзя прерывать мысли человека...

— Я рад, что вы пришли,— наконец заговорил Журавлев. Улыбнулся Тильмытилю, перевел многозначительный взгляд на Пойгина, полез в стол.— Вот письмо от Медведева. Сейчас я переведу на чукотский слова Артема Петровича о тебе...

Пойгин напряженно вытянул шею, вникая в то, что говорил о нем в письме старый его друг.

— Значит, и мне Артем скоро пришлет письмо,— сказал он, чрезвычайно довольный.— Я так понял его слова...

— Да, ты понял правильно.

— Сегодня сам напишу ему письмо. Про Ятчоля напишу. Ятчоль мне сказал, что он стал человеком, который боится мороза. Вот я и думаю, что делать. Прогонять с нашей земли мороз или прогонять страх перед морозом у таких, как Ятчоль?

Тильмытиль засмеялся, оценив шутку Пойгина. Тот строго посмотрел на него и добавил:

— А может, надо прогонять Тильмытиля с председателей колхоза? Какой он председатель, если не думает, кто будет ловить песцов, пасти оленей завтра...

— Сейчас, Александр Васильевич, и вам достанется,— шутливо пообещал Тильмытиль.

Журавлев крепко потер залысины, высоко обнажавшие лоб.

— Я думал... я много думал о тревоге Пойгина... Да это, собственно, и наша с тобой тревога, председатель. Немножко мы отстали... Ведь есть, есть на Чукотке школы, где внедряется ранняя специализация. Это еще опыты, поиск. Программу обучения выработали так, чтобы выпускники имели достаточные знания по оленеводству, звероводству, по охотничьему промыслу. Вот и мы введем уроки оленеводства и охотоведения, охотничьего следопытства. Да, да, уроки во всех классах — от первого до десятого, чтобы с самого начала, как говорится, с молоком матери... Так что быть и Пойгину, и тебе,

и многим другим охотникам и оленеводам профессорами в нашем университете. Я знаю, это непросто. Но ведь какие у нас помощники! Есть Пойгин, есть Тильмытиль, есть такие, как вы.

— Что ж, есть и такие, как Александр Васильевич Журавлев,— сказал Тильмытиль.— Сейчас мы обрадуем старика, переведем ему наш разговор на чукотский. И если он нам все-таки намылит шею... думаю, пойдет на пользу.

— Я тоже так думаю. Меня радует, что его письму в Москве придается особое значение.

Зазвонил телефон. Журавлев поднял трубку, и через минуту передал ее Тильмытилю:

— Зачем-то тебя разыскивает Чугунов.

— Что делать, председатель?— спрашивал Чугунов по телефону.— Пришел ко мне директор торгбазы и сказал... Пойгин прислал своих двух внуков со странным заказом... продать на его имя ни мало ни много — тринадцать карабинов.

— Тринадцать?

— Именно. Чертову дюжину.

Пойгин догадался, о чем разговаривает Тильмытиль с Чугуновым.

— Да, тринадцать карабинов!— воскликнул он и показал обе пятерни, потом добавил еще три пальца.— Я подарю их своим внукам и их друзьям, тем, кто не боится ни мороза, ни умки! Им уже по семнадцать лет. Они охотники!

— А не лучше ли будет, если купит карабины правление артели?— не очень смело спросил Тильмытиль, прикрыв трубку телефона рукою.— Зачем ты будешь зря тратить свои деньги?

— Я сам знаю, как тратить мои деньги.— Пойгин похлопал себя по карману.— Я хочу, чтобы молодые охотники помнили, что это именно подарок Пойгина!

— Ну, что все-таки будем делать, председатель?— между тем спрашивал по телефону Чугунов.

— Стрелять, стрелять будем, Степан Степанович!— весело ответил Тильмытиль.— Стрелять морского зверя, медведей. Карабины Пойгина могут попасть в цель не только пулями. Не понимаете? Ну как же, как же, разве может Степан Степанович Чугунов не понимать таких важных вещей. Это должны понять все, кто знает, что такое северный охотник, от Чукотского до Кольского полуострова...

Тильмытиль рассмеялся, опустил трубку и внимательно посмотрел в глаза Журавлева. Директор улыбнулся в ответ.

— Пределы символических выстрелов карабинов Пойгина

ты определил точно. Правда, сюда надо еще добавить Камчатку, Сахалин и, пожалуй, Приамурье.— Потянулся с хрустом, крепко смыкая руки на затылке.— Эх, скорее бы весна, да уйти бы с ружьишком в тундру...

11

На следующий день после уроков тринадцать старшеклассников, вооруженные карабинами, уехали с Пойгином на охотничий участок Ятчоля, где находились его приманки для песцов. Но Ятчоль на этот раз не дал себя посрамить. Выехав к приманкам ранним утром, он очистил от снега капканы, перезарядил их. Юных охотников и Пойгина он застал у охотничьей избушки. На груди его, прямо на заиндевелой кухлянке, поблескивала медаль.

— Это и есть те, кто вселяет в тебя надежду и гордость?— спросил он у Пойгина, насмешливо оглядывая парней. Притронулся пальцем к носу одного из них:— Не боишься, что от мороза нос отвалится?

Парень самолюбиво хмыкнул:

— Если чукча будет бояться мороза, то все умки передохнут от смеха.

— Что ж, посмотрим, как ты стреляешь из своего карабина. Или это не твой? Взял взаймы у деда?

— Это подарок Пойгина.

Ятчоль запустил руку под малахай, озадаченно почесал за ухом.

— А у тебя чей?— обратился он еще к одному из парней.

— У нас у всех карабины, подаренные Пойгином.

Ятчоль взял карабин у старшего внука Пойгина, долго крутил его, щелкая затвором. Да, когда-то он тоже раздавал если не карабины, то винчестеры, но не дарил, нет. Это были его винчестеры, и то, что ими было добыто, принадлежало ему, и только ему. Вот так, хочешь не хочешь, а Пойгин опять его посрамил. Через много лет, но посрамил. Какая-то ленивая, словно замороженная, досада бродила старой волчицей в сумеречной душе Ятчоля. Чтобы изгнать ее, он с напускной веселостью сорвал с себя малахай и крикнул:

— Ну, кто из вас попадет?!

Достал из походной сумки цепь от капкана, вложил в малахай, чтобы стал потяжелее.

— Я сейчас подброшу, а вы стреляйте.

Парни вопросительно смотрели на Пойгина. Старик бесстрастно сунул трубку в рот, едва приметно кивнул головой,

дескать, издырявьте ему малахай, раз сам напросился.

Ятчоль раскачал малахай и швырнул его как можно выше. Грянул залп. Продырявленный в нескольких местах малахай упал в снег. Послышался запах паленой шкуры. Ятчоль медленно подошел к малахаю, извлек из него цепь, долго считал дыры.

— Кажется, все попали. Теперь буду нарочно ходить в дырявом малахае, пусть все видят, что чукчи еще не разучились стрелять,

Поймав на себе одобряющий взгляд Пойгина, Ятчоль надел малахай, вошел в избушку, вынес несколько капканов с цепями, прикрепленными к ним.

— Теперь посмотрим, как вы наживляете приманку. Не отхватит ли кто-нибудь из вас себе пальцы...

Пальцы никто из юных охотников не отхватил. Они с удовольствием заряжали капканы, польщенные тем, что их нахваливали два старых охотника, терпеливо снося их упреки и насмешки.

— Ты чем закрыл капкан в лунке?— возмущался Ятчоль.— Надо, чтобы снежная корочка даже на свет просвечивала. Тогда нога песца провалится, и капкан захлопнется. А ты даже рукавицы побоялся снять, вот сугроб на капкан и навалил.

Ятчоль упал на колени, ловко вырезал ножом квадратик снега и принялся осторожно строгать его, чтобы получилась тоненькая пластинка.

— Вот, вот как надо! Тут в рукавицах ничего не сделаешь. Смотрите, как надо накрывать капкан.

Пойгин наблюдал за Ятчолем и чувствовал, как волна великодушия заполняла его: сейчас он был готов простить ему многое.

Не пропало у него это чувство и на второй день, когда Ятчоль снова вошел в его дом. Это был именно тот день, когда Пойгин нацепил на свою шаманскую кухлянку Золотую Звезду. Ятчоль не пропустил случая, чтобы не попугать своего давнишнего соперника:

— В газету напишу большую заметку. Начало будет такое. Шаман Пойгин нацепил на грудь себе Золотую Звезду и сказал, что снял с неба Элькэп-енэр.

Пойгин не рассердился на Ятчоля, мало того, дал ему взаймы пять рублей и сказал:

— Поедем завтра в море к разводьям за нерпой. Я буду изгонять из тебя злого духа зависти.

Так оказался Пойгин вместе с Ятчолем в морских торосах

в день смерти Линьлиня. Поначалу все было хорошо, мчалась упряжка Пойгина между торосами, раскалывались с гулом от мороза ледяные громады, и снова наступала такая тишина, что Пойгин слышал, как стучит собственное сердце. И приходило ему в голову, что это не сердце, а Моржовая матерь стучит головой в ледяной покров моря...

Не поднял Пойгин карабина на моржа, нашедшего спасение в отдушине. И Ятчоля не пустил к моржу. Казалось, он ничем не разгневал Моржовую матерь, можно было надеяться на удачную охоту и благополучное возвращение домой. Но не получилось благополучного возвращения: умер Линьлинь, покинул земной мир раньше своего хозяина прирученный волк. И это потрясло Пойгина...

Линьлинь умер. Может, он почувствовал, что хозяину пришла пора уходить в Долину предков, и потому поспешил сделать это раньше его?

Кэргына должна родить не сегодня-завтра четвертого внука. Четвертая возможность возникает у Пойгина вернуться в земной мир и начать жизнь заново уже под другим именем. Но все ли он сделал в этом мире под именем Пойгина? Нет, не все. Выходит, рано еще умирать...

Вот и о его письме, посланном Медведеву, заговорили. А скоро Артем и сам прилетит. Вот она, телеграмма. Интересно, что он скажет в ответ на письмо? Наверное, как всегда, будут советы. Но Пойгин и сам кое-что обдумал. Надо бы на всякий случай дать наказы.

— Кэргына!— закричал Пойгин, поднимаясь с кровати.— Иди сюда. Ты слышишь меня?

Дочь вбежала с испуганным видом.

— Тебе плохо?

Пойгин снова бесцеремонно уставился на ее живот.

— Когда родишь? Потерпела бы хотя бы два дня... Мне надо дать людям важные наказы.

Дочь смущенно развела руками.

— Ну, ну, понимаю, глупость сказал. Рожай хоть сегодня. Но раньше вскипяти самый большой чайник и зови ко мне всех тынупских очочей. Председателя артели, председателя сельсовета, директора школы, главного врача, директора торгбазы и Чугунова, потому что он парторг. Пусть все идут! Я должен дать им важный наказ...

Кэргына замялась:

— Придут ли очочи? У всех важные дела...

— Придут! Пошли за ними моих внуков. А мне подай пиджак от нового костюма. Штаны не надо, хватит пиджака.

— Кто же в кальсонах пиджак надевает?

— Я, я надеваю пиджак в кальсонах! И Звезду прицеплю. Хорошо бы ее на шапке носить, вот тут, прямо на лбу. Дай шапку, примерю...

— Ты что, будешь перед очочами сидеть в шапке и в кальсонах? Да еще со Звездой на лбу?

— Не возражай, когда с тобой говорит отец! Иди зови всех очочей. Я должен дать им наказ...

Кэргына вышла из комнаты. Пойгин застелил кровать, поставил у стола поровнее стулья: скоро придут главные люди Тынупа и всей тынупской тундры, надо навести порядок. У Тильмытиля он спросит: знаешь ли ты, сколько в Тынупе домов с хорошими печами, с недырявыми крышами, с невыбитыми стеклами в окнах? Да, таких домов много. Но есть и такие, как у Ятчоля. Ни дом, ни яранга. Надо, чтобы дом был домом! Пусть колхоз починит все плохие печи, все плохие крыши. Надо, чтобы в каждом доме было тепло и чисто. Вот так же чисто, как в доме Пойгина.

Главному врачу больницы он скажет: пусть врачи и медсестры идут в такие дома, как у Ятчоля, и помогают наводить чистоту. Вон сколько появилось врачей, медсестер из чукчей! Разве это не радость — видеть анкалит и чавчыв в белых халатах, разве не радость знать, что они умеют лечить людей? Так пусть же помогут таким, как Ятчоль, излечиться от грязи. Да, да, грязь — это тоже болезнь. А если, допустим, Ятчоль не будет слушаться, если его Мэмэль опять разведет грязь — надо вести их в сельсовет на всеобщий укор. Да, пусть такие, как Ятчоль, боятся всеобщего укора, пусть вспомнят, что у человека должен быть стыд!

Найдет Пойгин что сказать и директору школы. Не только грамоте учит школа, но и порядку. Вон как строго следят школьники за чистотой в интернате, в столовой, в школе. Пусть идут в дома и помогают наводить такой же порядок тем, кто к этому еще не привык. Пусть покажут, чему они научились.

И директору торгбазы тоже будет наказ. Строгий наказ. Пойгин уверен, что директор все поймет, послушается парторга Чугунова. Уж кто-кто, а Степан хорошо знает своих бывших покупателей. И если кто-нибудь прежде всего спрашивает спирт — пусть продавцы не пускают такого даже на порог магазина! Не пускают до тех пор, пока дурная голова не догадается купить что-нибудь намного полезнее, чем этот проклятый спирт. Надо на собрании прийти к уговору: если Ятчоль или такие, как он, дуреют от спирта,— не продавать им

ни капли! Надо объявить самый страшный всеобщий укор тем, кто не противится пьянству. Если будут стыдить не один, не два, не три человека, а сразу много людей — тогда повергнутый в стыд не сможет переступить запрет. Но если осмелится и переступит — надо еще беспощадней предъявить ему самый страшный укор!

Вот что скажет Пойгин главным людям Тынупа. Пусть задумаются, пусть действуют! Не затем их столько учили в школе, чтобы они не понимали, как поступать с такими, как Ятчоль. Этот человек говорит, что чукчи стали бояться мороза. Пусть он знает, что чукчи, как и все честные люди на земле, больше всего боятся стыда!

Об этом Пойгин писал в письме Медведеву, об этом он сейчас скажет всем главным людям Тынупа.

Вошла Кэргына:

— Идут! Все очочи идут. Где будем пить чай, в большой комнате?

— Да, конечно, в большой,— согласился Пойгин.— Звезда у меня на шаманской кухлянке. Не надо кухлянки, пиджак надо. И Звезду на пиджак!— Посмотрел на кальсоны, подтянул их.— И штаны, пожалуй, надо надеть. И самую чистую рубашку. Я же собираюсь говорить о порядке! А ты меня чуть не выставила на смех в кальсонах...

Кэргына хотела возразить, что именно она уговаривала его надеть и брюки, но лишь улыбнулась:

— Прости, отец. Дай я помогу надеть рубаху. Да что ты так волнуешься? Даже руки трясутся.

— Мне в бубен хочется ударить. Вот ударил бы сначала перед очочами в бубен, а потом начал бы свои говорения. Но бубна лучше не надо. Смеяться будут. А я хочу, чтобы у них были серьезные лица. У меня к ним не просто слова, у меня... говорения...

12

Антон пришел с полярной станции веселый, обрадованный вестью, что скоро прилетит отец. Пойгин к тому времени уже закончил свой разговор с главными очочами Тынупа, пил вместе с гостями чай, усталый, глубоко погруженный в себя.

— Сколько дорогих гостей!— воскликнул Антон и поздоровался с каждым за руку. Перед Пойгином остановился, поправил Звезду на его груди, сказал по-чукотски:— Рад видеть тебя не в постели...

— Ты знаешь, что скоро прилетит отец?— спросил Пойгин, наливая в блюдце чай.

— Знаю. Кэргына мне позвонила на полярную станцию, сказала о телеграмме.— Антон присел рядом с Пойгином.— Значит, тебе стало полегче.

— Лежал бы до сих пор, да вот надо было дать наказ,— сдержанно ответил Пойгин, степенно поднося блюдце ко рту.

— Судя по лицам гостей, наказ был серьезный.

— О-о-очень серьезный,— нараспев сказал Тильмытиль,— не знаю, от чего больше вспотел, от чаю или от наказа.

Антон повернулся к Кэргыне, убиравшей чайную посуду со стола, спросил шутливо:

— Ну, когда будем рожать?

— Да вот поужинаем, попоем песни — и можно рожать. Не хочу никого отпускать, послала сыновей за женами наших гостей. Давно вот так все вместе не собирались.

Антон искренне обрадовался.

— Прекрасно! Придумаем имя сыну или дочери. Опять же скоро конец полярной ночи. Надо настроиться на солнце...

— Тут уже все за тебя решили,— сказал Чугунов и глянул на часы.— Моя супружница закончила дежурство полчаса назад. Сейчас появится.

Однако первой пришла жена Тильмытиля, Ирина Николаевна, преподавательница математики. Она была очень подвижной и шумной, эта белокурая женщина. Бросив на руки мужа шубу, подбежала к Кэргыне, обняла ее.

— Я думала, ты уже родила, потому и зовут в гости. Учти, я буду кумой!— Повернулась к мужу, погрозила кулачком.— Сыновей взбаламутил! Говорят, отец каждому по карабину обещал. А старший уже вооружен с ног до зубов. С карабином спать ложится. Уверяет, что это подарок нашего уважаемого героя...

Гостья не совсем почтительно глянула на Пойгина, видимо, намереваясь сказать что-то не очень-то благодарное о его подарке. Тильмытиль почувствовал это и постарался шуткой отвлечь жену.

— Дочка пулемета не просит? Правда, она сама пулемет, тысяча слов в минуту!

У Тильмытиля было три сына и дочь; старший учился уже в десятом классе и действительно в числе «чертовой дюжины» удостоился подарка Пойгина.

— Выброшу я этот карабин!— воскликнула Ирина Николаевна.

Журавлев посмотрел на нее со скрытой неприязнью. Он недолюбливал Ирину Николаевну за прямолинейность и высокомерие. Мужа своего она любила и до смешного его ревновала, однако ей не хватало такта, чтобы не подчеркивать мнящегося ей своего превосходства над ним. Стояла за этим душевная скудость и еще что-то такое, чего не мог простить ей Александр Васильевич и как женщине, и как русскому человеку.

Ирина Николаевна, почувствовав неприязнь во взгляде Журавлева, немного поутихла. Она и уважала, и побаивалась директора школы, его ироничной утонченности. «Надо бы ему дипломатом где-нибудь в Париже, а он на Чукотке почти весь свой век прожил»,— неприязненно размышляла она.

Журавлев пристрастно наблюдал за отношениями Тильмытиля с супругой: как же, это был один из его любимых учеников, в немалой степени, как он полагал, творение его души и ума. Не один раз Александр Васильевич замечал, как глубоко страдал Тильмытиль, когда Ирина Николаевна теряла чувство меры, ущемляла его самолюбие. Спасало Тильмытиля врожденное чувство достоинства и воспитанность, которой особенно гордился Журавлев. При том самозабвении, с каким Тильмытиль был привязан к супруге, при ее деспотизме и душевной глухоте он мог бы выглядеть просто жалким. Но Тильмытиль жалким не был. Наоборот, он умел подниматься над тем, что могло бы привести к семейным дрязгам, чем и покорял свою супругу и вызывал чувство глубокого уважения у всех, кто наблюдал и понимал их жизнь.

Ирину Николаевну бесила непонятная власть Журавлева над нею. «Вечно чувствуешь себя школьницей под его взглядом. Не буду я ходить перед ним на цыпочках». Жестикулируя преувеличенно раскованно, почти развязно, Ирина Николаевна полистала журнал мод, бросила его на диван, прошлась по комнате.

— Нет, в самом деле, вы что, с ума посходили? Вооружили детишек карабинами. Да они перестреляют друг друга!— Остановилась перед зеркалом, сердито взбила кудряшки.— Я вот в районо напишу.

— Чем недовольна эта сварливая женщина?— чуть насмешливо спросил Пойгин.

Ирина Николаевна знала немного чукотский язык, поняла вопрос Пойгина. Повернувшись к мужу, она сказала с притворно сладкой улыбкой:

— Пойдем, мой миленький, домой. А то тут тебя еще угораздит надраться. Наугощаешься...

Нетрудно было заметить, как потемнело лицо Тильмытиля, но он сдержал себя и шутливо спросил:

— Это на каком языке... надраться? Просвети темного чукчу...

Ирина Николаевна подошла к мужу, взъерошила его волосы:

— Не такой ты уж у меня и темный...

— Ну, ну, понимаю,— продолжал шутить Тильмытиль,— так, слегка темноват местами, как нерпа пятнистая...

Пойгину не нравилась эта женщина, он уже готов был уйти к себе, но пришла жена директора школы, Татьяна Михайловна. Она тоже была учительницей, преподавала английский язык. Хрупкая, с темными задумчивыми глазами, она выглядела намного моложе своих лет. Едва приметно кивнув мужчинам, подошла к Кэргыне, вручила ей сверток.

— Это кое-что для будущего малыша.

Ирина Николаевна почти выхватила из рук Кэргыны сверток, развернула его на кровати.

— Какая прелесть! Распашоночки да пеленочки. Господи, как все это знакомо и дорого...

И осветилось лицо Ирины Николаевны таким светом, что всем увиделось: это женщина, это мать. «Нет, есть в ней, есть что-то в этой чертовке,— подумал Александр Васильевич,— и Тильмытиля можно понять».

Теперь оставалось дождаться жены Чугунова. Маргарита Макаровна переступила порог с хохотом. С нее снимали заиндевелую оленью доху, а она не могла унять смех.

— Ну и послал мне бог пациента!

— Опять Вапыскат, что ли?— не без досады спросил Чугунов.

Степану Степановичу было известно, что Вапыскат во всей больнице самым главным лицом признавал врача Чугунову. Не было недели, чтобы он не появился на пороге больницы и не потребовал: «Пусть мне потрогает живот Ратватыр». Так он назвал Маргариту Макаровну, что в переводе означает Самострел. Чугунов умирал от хохота, обыгрывая новое имя жены. «Вот уж что верно, то верно — Самострел. По себе знаю, как глянул в ее глазищи, так и лег, убитый наповал, будто действительно ненароком набрел в тайге на самострел».

— Позвал меня Вапыскат в свой замок,— принялась рассказывать Маргарита Макаровна, уняв смех.— С мальчишками просьбу передал. Пусть, говорит, принесет мне касторки. Ну, я взяла флакон на всякий случай и на всех парах к нему.

Вижу, у костра сидит, качается и песню поет. Думаю, уж не хватил ли чего горького мой дорогой пациент?

— Он мухоморы глотает,— усмешливо сказал Тильмытиль.— Наглотается и вступает в беседу с верхними людьми... Иначе говоря, с покойниками... Так ему кажется.

Маргарита Макаровна взмахнула руками, как бы прогоняя нечистую силу:

— Господи, страх-то какой!— уселась на стул.— Так вот, спрашиваю у него, что болит, где болит. А он что-то бормочет, никак понять не могу, на чукотский-то разговор я туговата. Тут мальчишка явился, который позвал меня к больному, объяснил... Старик, оказывается, просил картошки, а не касторки, малость перепутал слова.

И опять рассмеялась Маргарита Макаровна. Рассмеялись и все, кто слушал ее.

— Я его как-то картошкой угостила у нас в больнице, когда дежурила. Вот и понравилась ему. Когда разговорились, мальчонка пояснил, что он картошку мою, бульбу вареную, посчитал за самое лучшее лекарство из всех, какими его пользовали. Совсем, говорит, поправился, пойду на медведя.— Помолчав, тяжко вздохнула.— Так ему там холодно и неприютно, в его шалашике. Завтра принесу картошки, сварю на его костре, самого научу варить. Внушил себе, что целебней нет ничего на свете. Жалко старика...

— Да, теперь жалко,— задумчиво промолвил Тильмытиль, прогоняя обычную свою усмешку.— А когда-то он мне смерть предрек...

У Маргариты Макаровны расширились и без того огромные глаза:

— Смерть предрек?

— Да, было дело. Черный шаман смерть предрек, а белый — жизнь. Такой был поединок двух шаманов, что всю тундру лихорадило. Вот он — белый. Верный друг моего отца, да и мой второй отец.

Пойгин почувствовал на себе взгляды гостей, выходя из задумчивости, осторожно поставил блюдце на стол и сказал:

— Пью чай и о Линьлине думаю. Умер волк. Как старый человек умер... Показал бы ты, Антон, кино про Линьлиня...

И Журавлев тоже попросил, приложив руку к груди:

— Давай, Антон Артемьевич, прокрутим! С удовольствием еще раз посмотрю...

Они были так самобытны в своей естественной сути — человек и прирученный волк. В проявлении любви друг к другу, преданности они были сдержанны, очень сдержанны, однако это была настоящая любовь и настоящая преданность. Так это видел автор киноленты Антон Артемьевич Медведев, так воспринимал это Александр Васильевич Журавлев.

Антон успел заснять Линьлиня эрячим. Надвигался на зрителя идущий передовиком в упряжке прирученный волк. Заиндевел его лоб, язык высунут, из пасти вырывается горячее дыхание. И глаза, удивительно осмысленные глаза, смотрят с экрана.

Остановилась упряжка. Крупные, жилистые руки прикасаются ко лбу волка, сметая с него иней. Волк благодарен. Однако он не позволяет себе никаких движений, тем более не опускается до того, чтобы завилять хвостом. Он сдержан, он — весь достоинство.

А вот человек кормит волка, по-прежнему видны только руки. Деликатно, без малейшего проявления нетерпения берет волк из рук человека кусочки мяса. И, словно в укор младшим братьям волка — собакам, особенно заметно, как суетливо они ловят на лету мерзлые куски мяса, как, жадно давясь, грызут его, как нетерпеливо ждут следующего куска. Волк сидит на задних лапах чуть в стороне и наблюдает за этой непристойной картиной с угрюмым укором и даже, кажется, с презрением.

Между собаками завязывается драка. Волк недоволен. Он какое-то мгновение наблюдает, словно надеясь, что младшие братья еще образумятся, потом решительно ввязывается в свалку: одного драчуна схватил за загривок, отшвырнул в сторону, другого потеснил, третьего потащил за хвост. Драчуны разбегаются. Волк усаживается в том месте, где только что была сплошная коловерть из дерущихся псов, оглядывает провинившихся хотя и строго, но умиротворяюще и, кажется, даже немножко снисходительно.

Потом те же руки надевают на волка упряжь; уверенны, однако не суетливы их движения, и никаких поглаживаний по голове или почесываний за ушами. Вот проверен вертлюг, вдета костяная продолговатая пуговица в петлю потяга. Волк, как всегда, впереди. Есть упряжки, где к потягу пристегиваются два передовика. Здесь один. Это волк Линьлинь. Он вожак и властитель упряжки. Собаки, поскуливая, смотрят на вожака-волка, совсем как перед человеком виляют хвостом,

подобострастно выражают свою готовность тянуть нарту сколько хватит сил. Волк пока даже не смотрит на младших братьев, он уверен, что его не посмеют ослушаться, по крайней мере, до той поры, пока не устанут. Вот тогда он будет оглядываться, и плохо придется тому псу, который вздумает поослабить постромки своей упряжки. А сейчас волк весь в думах о предстоящем пути. Он еще не знает, куда направит его хозяин, но готов к пути дальнему и нелегкому. И пусть будет спокоен человек: волк вознаградит его за сдержанность, уравновешенность, за уважительность к стае собак и к ее вожаку. Да, незлобив человек, но и в доброте своей не угодлив, не суетлив, и это превыше всего ценит волк. Именно этим в конце концов покорил его человек, покорил, но не унизил...

Так кто же он, этот человек, кому принадлежат эти большие, жилистые руки с такими уверенными и точными движениями? Вот эти руки набивают трубку. Лицо человека по-прежнему пока еще скрыто. Но по рукам его видно, как он задумчив. Да, руки тоже думают...

А вот возникает и лицо человека. Сначала — одни глаза. Спокойные, что-то пристально разглядывающие вдали и в то же время внутри себя, где живут душа и рассудок, глаза в густой сетке подвижных морщинок. Щеки чуть ввалились под скулы, отчего лицо кажется тонким, аскетическим. Редкие усики, редкая бородка. Рот жесткий, волевой. Во рту неизменная длинная трубка с медной чашечкой на конце. К трубке подвешен небольшой кисетик из замши, железный коробок для спичек, железный коготь для выскабливания нагара.

Курит человек трубку, смотрит вдаль и внутрь себя. Не просто курит человек, а думает, думает, думает. И дымок из трубки такой же бесконечный, как бесконечны его думы; и, может, извивы дыма так же неожиданны, как неожиданны повороты мысли человека. О чем он думает? Возможно, и о тебе, о зрителе, которого мог и не знать. Он думает о том, чтобы ты был здоров, как и все хорошие люди, пребывающие в этом мире, чтобы тебя никто не обидел, чтобы не повредило тебе злое начало. Он думает о земле, о небе, о море, о том, что его душа слита с ними, что мироздание и он — это одно целое и солнце не только над его головой, но и в нем самом.

Знал ли этот человек, что такое радость? Да, знал. Знал ли он, что такое горе? Знал, конечно, знал. Не так-то просто прочесть следы на его лице: следов на нем не меньше, чем на земле.

Следы умеют понимать не только люди, но и звери. Но не все звери умеют понимать следы на лице человека. Волк Линьлинь этому научился, вот почему он намного превзошел своих вольных собратьев. Он познал душу старшего брата — человека. Потерял ли он волю, покорившись человеку? А надо ли об этом думать, если стало доступным, казалось бы, недоступное — дружба со старшим братом — человеком? Дружба и понимание. Без понимания дружба немыслима.

Идет волк по морскому берегу рядом с человеком. Волны бьют о берег, парят над головой чайки. Человек смотрит в море, он хочет постигнуть, что такое вечность. Волк смотрит в море, он тоже прикасается к вечности. Потом волк и человек садятся друг против друга, глаза в глаза. Едва приметно улыбнулся человек и угадал ответную улыбку волка. Человек знает, что вообще-то волки тоже умеют улыбаться. Но — лишь в общении друг с другом. Разные у них бывают улыбки — от нежной до застенчивой. Но не каждый волк умеет улыбаться человеку. Линьлинь умеет. Не каждый человек умеет улыбаться волку. Этот умеет.

Так понимал Журавлев то, что запечатлела кинокамера. Смотрел Александр Васильевич на Пойгина, который был там, на экране, чувствовал его рядом, порой прикасался к нему локтем и не мог расстаться с мыслью, что прикасается к человеку особенному: да, он, ни много ни мало, посредник между человеком и его меньшими братьями. «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове»,— вспомнились Журавлеву стихи Есенина, и тут же ворвалось в сознание предостережение поэта: «Не развяжите узел!» Да, вот так, не развяжите узел, не расторгните связь между всем сущим на земле, в том числе связь человека с природой, с ее животным и растительным миром.

Прикасался Журавлев локтем к локтю Пойгина, и думалось ему, что он имеет честь сидеть рядом с личностью значения общечеловеческого: много ли их, таких вот людей, осталось на планете, которые понимают душу зверя, как собственную, понимают его язык и повадки, а главное, понимают, как необходима для человека естественная связь с его меньшими братьями, и не только с ними, а с каждым листочком, с каждой травинкой, со всем, что входит в великое понятие — жизнь? Уникального этого человека надо бы приглашать на мировые конгрессы и слушать, слушать, слушать каждое слово его говорений во славу волка, во славу Моржовой матери, которой он поклоняется, во славу лебедя, голосом которого он владеет, как собственной речью. Да много ли их, таких

людей, как Пойгин, кого можно назвать истинными посредниками между человеческим миром и тем, кого представляет этот волк, которого Пойгин назвал Линьлинь — Сердце?

Александр Васильевич знал одну из заповедей Пойгина: выстрелить в Моржовую матерь — все равно что выстрелить в собственное сердце. И не усвоить уроки Пойгина — значит вступить на гибельный путь. Пусть спит сын Тильмытиля в обнимку с карабином, пусть зреет в нем будущий охотник, будущий зверолов, будущий следопыт, наследник уникального опыта вот этого человека, локоть которого чувствует Журавлев. И дело здесь совсем не в карабине, дело в том, что человек должен понимать зверя, а зверь — не ужасаться перед человеком, тогда и тому и другому найдется место на земле, тогда земля вечно будет землей, море морем, а небо небом...

Вот оно, лицо человека, имя которого Пойгин. Наклоняется Пойгин, всматривается в следы на снегу. Любой след — это печать живого существа, его нрав, его походка, его суть. У собаки пальцы каждый сам по себе, растопырены, может быть, для того, чтобы не такая уж крупная лапа ее была поустойчивей. У волка все пальцы собраны, и в этом он весь — жесткий, взведенный, как пружина, решительный.

Человек отрывает глаза от следов на земле, устало проводит рукой по лицу, на котором жизнь тоже оставила свои следы. Есть на нем и глубокие следы невозвратимых утрат и незатихающей боли...

14

Потух экран. Линьлинь исчез. И Пойгин еще потрясеннее вдруг ощутил, что волка уже нет, и не просто волка, а друга.

Внимательно оглядев гостей, Пойгин понял, что они глубоко переживают его горе. Ну а о зяте, о дочери, о внуках, потихоньку вышедших из своей комнаты, чтобы посмотреть кино о Линьлине, и говорить не приходится. Внуки ушли в свою комнату. Пойгин поманил к себе дочь и тихо спросил:

— Рожать будешь в больнице?

— Как все...

— Если повезут в больницу — разбуди меня. Я пошлю тебе вслед мое заклинание.

Пойгин подошел к двери в свою комнату, постоял, как бы не решаясь остаться в полном одиночестве, потом медленно повернулся и какое-то время смотрел на Ирину Николаевну. Так ничего и не сказав, скрылся за дверью.

— Ну и взгляд,— перевела дух Ирина Николаевна.— Кажется, чем-то я не угодила нашему патриарху.

Ей никто не ответил.

Перед тем как лечь в постель, Пойгин еще раз прочел телеграмму от Медведева, бережно положил ее под лампу, которая стояла на тумбочке: иногда неожиданно отключался электрический свет.

Беспокойный был день. Наказ, который дал Пойгин в своих говорениях всем очочам Тынупа, отнял много сил. Но ему хорошо, он высказал главное. Теперь надо спокойно уснуть. Только бы не проспать тот миг, когда повезут Кэргыну в больницу рожать внука. Надо послать ей вдогонку заклинание, предостерегающее от злого начала. Интересно, о каких добрых вестях говорит в телеграмме Артем? О вестях, которые будут ответом на его письмо?.. Скорее бы он прилетел.

Сквозь дрему на память опять пришло кино о Линьлине. Много раз смотрел Пойгин это кино и все ждал, что Линьлинь сойдет с белой материи и сядет перед ним, как живой. Но чему не бывать, тому не бывать. И то ладно, что хоть так Пойгин может видеть Линьлиня. Как жаль, что не успел Антон сделать кино о Кайти...

Все тяжелее становились веки Пойгина, сон туманил рассудок, пережитое за день зыбко переходило в сновидения. Будто бы сошел Линьлинь с белой материи, на которой Антон показывал кино. Сначала сошел волчонком. Потом вдруг сел возле ног уже старым, уставился в лицо Пойгина пустыми глазницами. Тут же крутился Ятчоль. Был он какой-то суетливый, с виноватым лицом. Совал в руки Пойгина трубку и просил, чтобы он простил его за Линьлиня. Пойгин не принимал от Ятчоля трубку, с негодованием отворачивался. Линьлинь все ниже и ниже клонил голову, и капали из его пустых глазниц слезы. Пойгин хотел схватить Ятчоля за ворот, как следует потрясти, но тот был словно из дыма, руки никак не могли его ощутить.

Исчез Ятчоль, как исчезает дым. Линьлинь превратился в умку. «Ты же был волком. Почему стал умкой?» — спросил Пойгин. Умка потер голову лапами и вдруг выпустил из нее целую тучу воронов. Каркают вороны над Пойгином, некоторые норовят его клюнуть. Пойгин отмахивается, кричит. А умка вдруг превращается в Ятчоля. Хохочет Ятчоль, на воронов показывает: «Это я их на тебя накликал, чтобы беду тебе предсказали». Появились парни с карабинами, среди них

два внука Пойгина. Стреляют парни в воронов, а внук Гриша кричит: «Не каркайте! Вы — мысли къочатко!»

Потом Пойгин стал подниматься на гору, волоча за собой нарту с мертвой Кайти. Все круче дорога. У Пойгина не хватает дыхания. Но вот он уже сидит на нарте вместе с живой Кайти. Линьлинь везет нарту легко и свободно и говорит почеловечески: «Кайти стала живой, а я стал зрячим». Лицо Кайти видно смутно, хотя сидит она как будто совсем рядом, словно сквозь туман пробивается ее улыбка. Линьлинь увозит нарту все выше и выше, и совсем легко ему, будто не нарту везет, а перо птицы. Вот и вершина горы. По левую сторону бескрайняя тундра, по правую — вечное море. Кайти по-прежнему где-то совсем рядом и в то же время далеко-далеко, никак не разглядишь ее лицо. Проходит еще мгновение, и она совсем исчезает.

Пойгин оглядывается и нигде не видит Кайти. Ему становится страшно. Он хочет закричать, чтобы Кайти вернулась, но крик только душит его и никак не может вырваться на волю. Кто-то схватил Пойгина за плечи, стал трясти. Кто это? Кажется, Артем. Да, да, это Артем Медведев. Волнуется Артем, показывает на пропасть, на краю которой стоит Пойгин. Сделай лишь единственный шаг — и полетишь в пропасть. А тут Рырка появился. Раздуваются свирепо его ноздри. Пойгин чувствует, что Рырка через мгновение толкнет его, надо отступить от пропасти, однако ноги не слушаются. «Артем! — зовет на помощь Пойгин. — Останови его, Артем. Ты же всегда спасал меня». Но нет Артема, а Рырка превратился в росомаху — гибель неминуема.

И снова кто-то потряс Пойгина за плечи. Так вот же Артем! Он все-таки пришел на помощь, не мог не прийти.

Пойгин открыл глаза и увидел Артема совсем еще молодым. Долго смотрел на него и не мог понять, как этот человек спас его. А спасение — вот оно, он чувствует всем существом, что спасение пришло. Пойгин обвел медленным взглядом комнату, нащупал на тумбочке лампу. Да, именно лампа ему нужна! Зачем? В комнате уже совсем светло.

— Родилась девочка. У тебя внучка!

Пойгин с напряжением морщит лоб, с трудом возвращаясь из сна к яви. Так это же не Артем, это Антон... О чем же он говорит? Какая-то важная весть прорывается туда, где живут душа и рассудок.

— Где Кэргына?! — вскричал Пойгин, чувствуя, что голос его, так мучительно теснивший грудь, наконец вырвался на волю.

— Кэргына в больнице. Я же тебе говорю, она родила дочь. У меня наконец есть дочь, понимаешь, дочь! А у тебя внучка.

Пойгин медленно поднимается над кроватью, опускает ноги на пол.

— Внучка?! Ты сказал... родилась внучка?! Так это же... это, наверное... вернулась Кайти...

Антон ничего не сказал. В глазах его, похожих на два просвета в небе, когда ветром разрывает тучи, были радость и грусть.

— Да, это вернулась Кайти. Дай бубен. Подожди, я лучше сам...

Пойгин подошел к шкафу, вытащил бубен, осторожно провел по нему вздрагивающей ладонью.

— Верно ли, что я получил телеграмму... или это приснилось?

— Это верно, вчера ты получил телеграмму. Отец будет через несколько дней.

Пойгин осторожно положил бубен на кровать, поднял лампу, под которой вчера спрятал телеграмму.

— А, вот она. Значит, не приснилось. И весть о внучке тоже не приснилась... Хорошо, что я не слишком стал торопиться к верхним людям.— Улыбнулся лукаво, поддернул кальсоны.— Мы еще здесь поживем, с земными людьми. Артема увижу, Кайти увижу... Я очень надеюсь, что внучку мы назовем Кайти. Согласен ли ты?

Антон поспешно закивал головой, словно боялся, что запоздает с ответом.

— Да, да, конечно, согласен. По-русски это будет Катя...

Пойгин долго смотрел на Антона. Не отрывая от него глаз, нащупал на тумбочке трубку, закурил.

— Очень ты похож на отца. Именно таким я его увидел впервые...— Глубоко затянулся, посмотрел на бубен, провел по нему рукой.— Ты иди, иди... я побуду один. Я буду вместе с бубном думать...

Антон осторожно закрыл за собой дверь. А вслед ему донесся тихий рокот бубна. Пойгин думал. Пойгин жил...

Оглавление

Шундик Н. Е.

Ш96 Белый шамап: Роман. — М.: Сов. Россия, 1981.— 512 с., 1 л. портр.— (Лауреаты премии РСФСР им. М. Горького).

Роман «Белый шаман» рассказывает о жизни и обычаях чукотского народа, о переменах, которые принесла Советская власть в жизнь народов Севера.

Ш $\frac{70302-140}{М-105(03)81}$ 87—81 4702010200 Р2

Николай Елисеевич Шундик

БЕЛЫЙ ШАМАН

Роман

Редактор Н. И. Нетесина
Художник Л. Ф. Шканов
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор Т. Г. Дугина
Корректоры Н. В. Бокша, Т. В. Новикова,
М. Е. Барабанова, Л. В. Дорофеева,
Э. З. Сергеева и М. С. Никитина

ИБ № 2431
Сдано в набор 04.09.80. Подп. в печать 02.02.81. Формат 84×108/32 Бумага типографская № 1 (на вкл.— мелован.). Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,99 (в т. ч. вкл.— 0,105). Уч.-изд. л. 30,0 (в т. ч. вкл.— 0,03). Тираж 100.000 экз. Зак. № 1401. Цена 2 р. 20 к. Изд. инд. ЛХ-269.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

